

ЭДМУНД ВНУК-ЛИПИНЬСКИЙ

СОЦИОЛОГИЯ  
ПУБЛИЧНОЙ  
ЖИЗНИ



ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ



**ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ**

Edmund WNUK-LIPIŃSKI

SOCJOLOGIA  
ŻYCIA PUBLICZNEGO

WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR

Эдмунд ВНУК-ЛИПИНЬСКИЙ

СОЦИОЛОГИЯ  
ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ



·МЫСЛЬ·  
МОСКВА

УДК 316.3.7  
ББК 60  
В69



**ФОНД ЛИБЕРАЛЬНАЯ МИССИЯ**

Перевод с польского: *Е. Г. Гендель*

**Внук-Липиньский Э.**

**В69 Социология публичной жизни / Эдмунд Внук-Липиньский ; пер. с польского Е. Г. Генделя. — Москва : Мысль, 2012. 536 с.**

ISBN 978-5-244-01165-4

Настоящий учебник представляет собой попытку очертить поле исследований для социологии публичной жизни, а также упорядочить новейшие теоретические знания и эмпирические установления именно с этой точки зрения.

У социологии публичной жизни более широкая сфера, чем у социологии политики, потому что в поле интереса первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных микроструктур, с одной стороны, и уровнем национального государства — с другой. Публичную жизнь любого общества не удастся свести к политической сфере: существует огромная территория публичной жизни, которая носит аполитичный характер. Многие — а возможно, даже большинство — из институтов и проявлений активности гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно такой, сугубо аполитичный характер.

УДК 316.3.7  
ББК 60

ISBN 978-83-7383-307-4 (польск.)

ISBN 978-5-244-01165-4 (рус.)

© by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp.  
z. o. o., Warszawa, 2005, 2008

© Мысль, 2012

# Содержание

Предисловие . . . . .	11
Вступление . . . . .	13
<b>Глава 1. Теории радикального общественного</b>	
<b>изменения, демократические революции . . . . .</b>	<b>28</b>
Введение . . . . .	28
Формы радикального изменения	
общественного строя . . . . .	30
Классические революции . . . . .	32
Общества открытые и закрытые. . . . .	43
Главные типы современных режимов	
по Линцу и Степану . . . . .	45
Теории демократии . . . . .	49
Либерализация и демократизация . . . . .	59
Демократические революции	
в условиях глобализации мира . . . . .	63
Теории перехода к демократии . . . . .	69
<b>Глава 2. Общественная структура, относительная</b>	
<b>депривация и участие в публичной жизни . . . . .</b>	<b>83</b>
Введение . . . . .	83
Социальная структура: основные понятия . . . . .	86
Виды социального неравенства: поляризация	
и изменение межклассовых дистанций . . . . .	91
Принципы социальной справедливости	
и легитимация неравенства . . . . .	94
Относительная депривация . . . . .	102
Три категории неравенства и публичная жизнь . . . . .	104
Внеструктурные общественные размежевания . . . . .	109
Общественные размежевания — и варианты поведения	
в публичной жизни . . . . .	112
Неравенство и качество демократии . . . . .	118
Социальная политика . . . . .	119

Глава 3. Социальная субъектность и чувство действенности . . . . .	124
Введение . . . . .	124
Вебер и хитросплетения развития <i>theory of agency</i> . . . . .	129
Действенная субъектность – понятия и определения . . . . .	133
Индивидуальный и коллективный актор . . . . .	139
Структура и действенная субъектность. . . . .	142
<i>Микроуровень</i> и <i>макроуровень</i> . . . . .	148
Культура и социальная субъектность. . . . .	150
Риск и ответственность – и субъектность . . . . .	153
Субъектность в плюралистическом обществе . . . . .	156
Глава 4. Гражданский статус . . . . .	158
Введение . . . . .	158
Определения основных понятий . . . . .	159
Историческое развитие концепции гражданственности . . . . .	165
Либеральная и коммунитарная концепции гражданственности. . . . .	170
Гражданственность, национальное государство и общественно-политический порядок . . . . .	174
Воспроизведение гражданства после коммунизма . . . . .	177
Радикальные концепции гражданства . . . . .	180
Глава 5. Гражданское общество . . . . .	184
Введение . . . . .	184
Понимание гражданского общества . . . . .	187
Специфика гражданского общества в Центральной и Восточной Европе . . . . .	196
Спор о гражданском обществе: либеральная и республиканская точки зрения . . . . .	208
Гражданское общество и национальное сообщество. . . . .	214
Гражданское общество и политическое общество . . . . .	217
Между общностью и объединением (обществом) . . . . .	219
Глава 6. Гражданственность и гражданское общество в условиях глобализации мира . . . . .	223
Введение . . . . .	223
От вестфальской модели к космополитической демократии . . . . .	227

Либерально-интернационалистический подход . . . . .	228
Республиканский подход . . . . .	231
Космополитический подход . . . . .	234
Почему утопия? Теоретическое отступление . . . . .	238
Критика концепций	
по демократизации глобализации . . . . .	242
К глобальному гражданскому обществу? . . . . .	251
<b>Глава 7. Политическая культура</b>	
и качество демократии . . . . .	256
Введение . . . . .	256
Понятия и определения . . . . .	259
Запас политической культуры у поляков . . . . .	265
Политическая культура как фактор, тормозящий агрессию и насилие в публичной жизни . . . . .	271
Социальный капитал	
и политическая культура . . . . .	279
Политическая алиенация . . . . .	282
<b>Глава 8. Ценности, интересы и идеологии.</b> . . . . .	285
Введение . . . . .	285
Аксиологическая сфера публичной жизни (ценности) . . . . .	288
Прагматическая сфера публичной жизни (интересы) . . . . .	293
Конфликтные шкалы оценки — и варианты поведения и установки индивида . . . . .	299
Публичная жизнь как пространство согласования притязаний . . . . .	301
Идеология как легитимация требований . . . . .	303
Разновидности идеологий и их притязания . . . . .	306
<i>Консерватизм</i> . . . . .	306
<i>Либерализм</i> . . . . .	308
<i>Социализм</i> . . . . .	310
<i>Коммунизм</i> . . . . .	312
<i>Национализм</i> . . . . .	314
<i>Фашизм</i> . . . . .	316
<i>Популизм</i> . . . . .	318
<i>Фундаментализм</i> . . . . .	321
<i>Феминизм</i> . . . . .	328
Интересы и ценности	
в условиях системного изменения . . . . .	329
Идеологии после коммунизма . . . . .	336



Глава 9. Коллективные акторы публичной жизни . . . . .	338
Введение . . . . .	338
Коллективные действия . . . . .	343
<i>Толпа</i> . . . . .	356
<i>Общественное движение</i> . . . . .	363
<i>Группы интересов</i> . . . . .	368
<i>Гражданские неправительственные организации</i> . . . . .	370
<i>Политические партии</i> . . . . .	373
Глава 10. Социальные конфликты . . . . .	390
Введение . . . . .	390
Классические теории социального конфликта . . . . .	391
Современные теории социального конфликта . . . . .	397
Определение социального конфликта . . . . .	402
Типы социальных конфликтов . . . . .	404
Социальные конфликты в демократическом и недемократическом обществе . . . . .	413
Способы разрешения конфликтов . . . . .	418
Социальные конфликты в Польше после Второй мировой войны . . . . .	422
<i>Познанский Июнь (1956)</i> . . . . .	424
<i>Польский Октябрь</i> . . . . .	425
<i>Март '68.</i> . . . . .	427
<i>Декабрь 1970-го и конфликты 70-х годов</i> . . . . .	429
<i>Польский Август и его последствия</i> . . . . .	431
<i>Конфликты в III Речи Посполитой</i> . . . . .	435
Глава 11. Маргинализация и социальное исключение . . . . .	437
Введение . . . . .	437
Концепции и определения: маргинализация и исключение . . . . .	439
Причины маргинализации и исключения . . . . .	449
Маргинализация как побочный эффект системной трансформации . . . . .	455
Последствия маргинализации и социального исключения . . . . .	456
Глава 12. Патологии публичной жизни . . . . .	459
Введение – что является частным, а что публичным . . . . .	459
Патология публичной жизни и социопатология – определения . . . . .	461

Теоретические подходы к проблеме патологии публичной жизни . . . . .	465
Коррупция. . . . .	468
Политический капитализм . . . . .	473
Причины патологий публичной жизни . . . . .	476
Эпилог . . . . .	480
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b> . . . . .	<b>488</b>
<i>Акт Тарговицкой конфедерации (фрагменты)</i> . . . . .	488
<i>Декларация прав человека и гражданина,     принятая 26 августа 1789 г.</i> . . . . .	490
<i>Варшавская конфедерация 28 января 1573 г.</i> . . . . .	492
<i>Конституция 3 мая     Правительственный закон (3 мая 1791 г.)</i> . . . . .	497
<b>БИБЛИОГРАФИЯ</b> . . . . .	<b>508</b>
<b>МАЛЫЙ ПОДРУЧНЫЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ТЕРМИНОВ</b> . . . . .	<b>528</b>

## Предисловие

Данная книга создавалась в Институте политических исследований Польской Академии наук (ПАН). Несомненно, она была в значительной степени инспирирована дискуссиями в отделе общественно-политических систем названного института. Книга наверняка получилась бы беднее, если бы отсутствовал еще один источник того интеллектуального воодушевления и стимулирования, которые проистекали от регулярных встреч на кафедре социологии в Collegium Civitas<sup>1</sup>. Благодарю проф., д-ра наук Ядвигу Коралевич (Jadwiga Koralewicz) и проф., д-ра наук Анджея Антошевского (Andrzej Antoszewski) за их рецензию на первый замысел этой работы. Особую благодарность должен выразить проф., д-ру наук Александру Мантерису (Aleksander Manterys), чьи проницательные замечания позволили мне улучшить текст. Хочу также выразить признательность рецензенту данной работы проф., д-ру наук Хиерониму Кубяку (Hieronim Kubiak) за возможность использования его дельных и весьма существенных соображений. Нет нужды добавлять, что любые недостатки и оплошности, которые заметит читатель, лежат исключительно на моей совести.

В конце должен также высказать слова благодарности проф., д-ру наук Петру Штомпке, который предложил мне написать данную работу, а также проф., д-ру наук Яцеку Рациборскому (Jacek Raciborski), чьи тактичные, хотя и неусыпные напоминания об

---

<sup>1</sup> *Collegium Civitas* («Гражданская коллегия») — непубличное академическое высшее учебное заведение, возникшее в Варшаве в 1997 году по инициативе ряда научных сотрудников Института политических исследований ПАН и действующее ныне под покровительством пяти институтов общественных наук ПАН, в том числе Института философии и социологии, а также Института истории. Автор настоящей книги, проф. Э. Внук-Липиньский, является ректором *Collegium Civitas*. В этом негосударственном вузе, имеющем право присуждать ученую степень доктора гуманитарных наук по социологии, обучается в настоящее время около 1700 студентов и слушателей последипломного обучения, а занятия ведут свыше 200 преподавателей — видных ученых и практиков. *Collegium Civitas* шесть раз занимала первое место в рейтинге высших школ Польши среди негосударственных вузов, не относящихся к сфере бизнеса. — *Здесь и далее все примечания и сноски, не помеченные как принадлежащие автору настоящей книги, подготовлены переводчиком.*

уходящем времени помогли мне завершить работу в разумные сроки. Наконец, хочу поблагодарить свою жену и дочь, которые в меру терпеливо выносили мои длительные *tête-à-tête* (свидания с глазу на глаз) с компьютером.

## Вступление

Без малого пять столетий назад {видный польский гуманист и общественный деятель} Анджей Фрыч Моджевский (1503—1572) писал: «*Sit igitur finis hic rei publicae, ut civibus omnibus bene beateque, hoc est honeste recteque vivere liceat*» («Таковою должна быть цель государства, дабы все его граждане могли жить хорошо и счастливо, честно и благородно»)¹. В атмосфере Ренессанса, которая завладела тогда почти всей Европой — а Польша была одной из крупных монархий на континенте, — создание государства, дружелюбного к людям и защищающего гражданские добродетели, казалось достижимым. Сегодня, обогащенные историческими сведениями, а также знаниями, черпаемыми из общественных наук, мы воспринимаем требование Фрыча Моджевского как утопическое, чтобы не сказать наивное. Нигде в мире на протяжении прошедших с той поры веков не возникло такое идеальное государство, основополагающей и реализованной целью которого было бы благо и счастье его граждан, не материализовалась мифическая Аркадия, где все живут «честно и благородно». Опыт минувших столетий доказывает скорее нечто противоположное: возникло множество государственных структур, основанных на эксплуатации и порабощении своих граждан; таких государств, где система вознаграждала скорее подлость и низость, нежели благородство или честность. Аушвиц (Освенцим) и Колыма стали в XX веке мрачными иконами предельной — как представляется — развращенности государства, последствиями чего стали чудовищные преступления геноцида, совершенные против как собственных граждан, так и граждан других государств, которые были завоеваны насилием или обманом. Проявления исторического опыта скорее склоняли бы нас к пессимизму.

Но ведь исход XX века, особенно после падения мировой коммунистической системы, явился вместе с тем периодом подлинного взрыва демократии. Никогда в мировой истории количество демократических государств не было столь велико. И, хотя

---

<sup>1</sup> Это написано в книге Фрыча Моджевского «*Commentariorum de Republica emendanda*», libri V, 1554 (1551?); перевод первых трех книг на польский сделал Ц. Базилик (С. Bazylik), и он вышел в 1577 году под названием «*O porzawie Rzeczypospolitej*» («Об исправлении Речи Посполитой»).

тогдашний прогноз, который провозглашал, что мы являемся свидетелями окончательной победы либеральной демократии над другими формами правления, в наши дни выглядит — как минимум — преждевременным (если вообще верным), все-таки это правда, что в настоящий момент число граждан, живущих в странах с демократическим строем, больше, чем когда-нибудь ранее, а та глобальная тенденция, которую Сэмюэл Ф. Хантингтон (*Huntington*, 1991) назвал **третьей волной демократизации**, по-прежнему обнаруживает много энергии, и не видно симптомов, сигнализирующих бы о ее быстром угасании.

Публичная жизнь старых и новых демократий претерпевает эволюцию, отдаленные последствия которой сегодня трудно предвидеть. Даже в авторитарных системах, кажущихся реликтом эпохи **холодной войны**, происходят медленные преобразования публичной жизни, которые, быть может, принесут в будущем плоды в виде ее качественного изменения. Пространство публичной жизни тем самым представляет собой поле для наблюдения увлекательных и порой даже захватывающих явлений, в которых мы выступаем свидетелями или же сознательными либо невольными действующими лицами, иначе говоря деятелями («актерами»<sup>1</sup>).

Основная цель данного учебника состоит в ознакомлении читателя с актуальными знаниями на указанную тему. Возникает, однако, необходимость объяснить, почему в его заголовке оказалось выражение «**социология публичной жизни**». Другими словами, можно ли вычленив из социологии такой раздел или субдисциплину, которую можно было бы назвать **социологией публичной жизни**, и если да, то чем эта отрасль социологии могла бы отличаться от, например, социологии политики? Различие это представляется относительно простым. Социология политики занимается политической проблематикой, а следовательно, тем фрагментом коллективной жизни, который более или менее тесно увязывается со сферой властвования. Стержнем указанной сферы является проблема власти, ее распределения, правомочности, функционирования и т.д. Таким образом, предметом интереса для социологии политики являются институты, акторы,

---

<sup>1</sup> Этот термин, представляющий собой кальку английского *actor*, уже достаточно широко используется в русскоязычной специальной литературе. Подробнее он обсуждается в разделе «Индивидуальный и коллективный актер» главы 3.

взаимоотношения, явления, установки, формы и варианты поведения, верования, нормативно-инструктивные материалы, указания и многие другие аспекты, которые в ясно и четко определенном смысле относятся к власти.

Тем временем публичную жизнь всякого общества не удается свести к политической сфере — точно так же, как не удается свести статус гражданина к политической активности. Дело в том, что существует огромная территория публичной жизни, которая носит аполитичный характер (иногда «программно» аполитичный). Многие — а возможно, даже большинство — из институтов и проявлений активности гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно такой, сугубо аполитичный характер. Тем самым публичная жизнь определенного общества по своему охвату оказывается шире, нежели его политическая жизнь. Видимо, как раз по этой причине часть теоретиков (о чем еще пойдет речь в настоящем учебнике) проводит различие между политическим обществом и гражданским обществом *sensu largo* (в широком смысле).

Аналогично у социологии публичной жизни более широкая сфера, нежели у социологии политики (хотя отчасти сферы этих двух разделов общей социологии перекрываются), потому что в поле интереса первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных (общественных)<sup>1</sup> микроструктур, с одной стороны, и уровнем национального государства — с другой. Предметом исследований для социологии политики является само государство и его институты. Тем временем для социологии публичной жизни государство представляет собой один из самых

---

<sup>1</sup> В польском языке, как и в русском, присутствуют оба слова: «социальный» и «общественный» — с той разницей, что если в современной русскоязычной научной литературе они используются с примерно одинаковой частотой (ранее это было не так — преобладало слово «общественный»), то в польской соотношение между ними составляет ныне примерно 1:5, а в оригинале данной книги даже 1:100. Учитывая это обстоятельство (а также решительно высказанное мнение автора данной книги, проф. Э. Внук-Липиньского, который хорошо владеет русским языком) и стремясь в указанном вопросе, как и везде, с максимальной точностью воспроизводить авторскую волю, было принято решение в переводе иногда отдавать предпочтение слову «общественный» даже в тех случаях, когда российская традиция ныне чаще употребляет слово «социальный».

существенных факторов, устанавливающих граничные условия<sup>1</sup> функционирования публичной сферы определенного общества, и, следовательно, оно является существенной точкой отсчета для попыток объяснить и истолковать эту сферу публичной жизни, но не предметом исследования *per se* (само по себе). Государство представляет собой одну из ключевых независимых переменных – если воспользоваться языком эмпирической социологии, – с помощью которых объясняется функционирование публичной сферы.

Это, разумеется, не означает, что политика не должна входить в поле интересов социологии публичной жизни. Скорее напротив, ведь политика – как бы *ex definitione* (по определению) – «вершится» в публичном пространстве. Исключение этой проблематики из рассмотрения и концентрация единственно на аполитичных публичных акторах и действиях было бы процедурой искусственной, чтобы не сказать странной, особенно с учетом того, что те или иные действия, которые были интенционально (по своим намерениям)<sup>2</sup> аполитичными, вполне могут порождать политические последствия. Встает, следовательно, вопрос о том, где должна проходить демаркационная линия, отделяющая социологию публичной жизни от социологии политики.

Провести между ними точную границу наверняка не удастся, да в этом и нет необходимости. Невозможно, например, строгое разграничение политологии и социологии политики, что не воспринимается ни политологами, ни социологами политики как некий особый дискомфорт. Аналогичным образом обстоит дело и в данном случае.

Интуитивно можно принять, что обсуждаемая здесь потенциальная субдисциплина социологии могла бы концентрироваться на том фрагменте общественной реальности, где она носит публичный характер, хотя и необязательно институционализированный. Ключевой исследовательской проблемой был бы тогда

---

<sup>1</sup> Хотя автор использует здесь и далее (например, в главе 5) именно этот термин, характерный в большей степени для математических моделей, его следует понимать скорее как необходимые или же минимально необходимые условия.

<sup>2</sup> Учитывая, что данная книга задумана как учебник, редакция сочла целесообразным здесь и далее кратко разъяснять в скобках значение тех терминов и понятий, которые могут быть недостаточно известны кому-либо из менее подготовленных читателей, еще только осваивающих социологию, а также уделять повышенное внимание терминологии и ее вариантам.



вопрос социальной субъектности индивидов и групп, социальных взаимоотношений в публичной сфере, а также того весьма разнообразного спектра социальных ролей, которые можно исполнять только в публичной сфере. Поэтому очевидно, что особый интерес возбуждали бы такие роли, из которых складывается понятие **гражданства**, хотя нет разумных причин ограничивать интересы исследователей только подобными ролями. Если нам бы не хотелось, чтобы рассмотрение этих центральных проблем повисло в вакууме, то надлежало бы соотносить их с более широким социальным контекстом, а следовательно, с одной стороны, с государством и общественной системой вместе с логикой их функционирования, а с другой — со стихией неформальных социальных микроструктур, из которых вырастает значительная часть динамики публичной жизни. Впрочем, у этой проблематики довольно зыбкие границы, но другими они и не могут быть.

Настоящий учебник представляет собой попытку очертить поле исследований для социологии публичной жизни, а также упорядочить новейшие теоретические знания и эмпирические установления именно с этой точки зрения.

Конструкция данного учебника опирается на предположение, что наиболее существенным фактором, определяющим условия функционирования публичной сферы (иначе говоря, самой существенной «независимой переменной»), является национальное государство, понимаемое в соответствии с просвещенческой, а не романтической традицией. Современное национальное государство необязательно должно быть этнически гомогенной (однородной) общностью<sup>1</sup>. В сегодняшнем мире вместе с миграциями,

---

<sup>1</sup> При переводе терминов *wspólnota* и *zbiornowość*, которые являются одними из центральных в этой книге (в общезыковых польско-русских словарях первое из них переводится как «сообщество, содружество, общность, община», а второе — «коллектив, ассоциация»), переводчик, выбирая между двумя единственно возможными вариантами («сообщество» или «общность») и вполне осознавая заметно более высокую популярность и «современность звучания» слова «сообщество», все-таки отдал предпочтение второму и тем самым согласился с концепцией, изложенной в статье А. А. Грицанова «Общность и общество» из обширного труда «Социология: Энциклопедия» (сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко и др. Минск: Книжный Дом, 2003. 1312 с.), где, в частности, сказано: «...выбор в пользу „общности“, а не „сообщества“ сделан потому, что последнее этимологически связано со словом „общество“, оно производится от него путем прибавления приставки „со-“; „сообщество“ как бы подразумевает первичность „общества“, которое

усиливающимися в глобальном масштабе, существует все больше государств, внутренне дифференцированных с этнической точки зрения, хотя это не означает, что они перестают быть организационной формой народа или нации. Это такая нация, в рамках которой этнические критерии не теряют существенности применительно к формированию индивидуальной идентичности ее членов, однако применительно ко всей общности, организованной в государство, они имеют второстепенное значение. Типичным примером такого государства служат Соединенные Штаты Америки. Дефиниция «**национальное государство**» будет здесь **применяться по отношению к народу, который определяется политически, а не этнически.**

Отдельные проблемы, укладываемые в тот диапазон, который охватывает социология публичной жизни, будут обсуждаться в рамках понимаемого именно так современного национального государства. Разумеется, это не означает, что мы станем игнорировать более широкий контекст функционирования современных национальных государств, а особенно глобализацию. Во внимание будут также приниматься контексты локальных сообществ, функционирующих ниже уровня национального государства. Как глобальный контекст, так и контекст местный, локальный во все более отчетливой степени совместно устанавливают условия функционирования публичной сферы, а следовательно, их никак нельзя обойти в наших рассуждениях. Однако по-прежнему наиболее важным фактором в этом смысле останется национальное государство, и именно оно явится главной точкой отсчета для предпринимаемых нами попыток объяснения публичной жизни.

Современные национальные государства в огромной степени дифференцированы, и нет возможности учесть все их модели, встречающиеся в мире. Посему возникает проблема отбора и применяемых для этого критериев. Наши рассуждения будут в первую очередь касаться публичного пространства в тех национальных государствах, у которых за плечами имеется исторически совсем недавний опыт коммунистической системы и которые представляют собой относительно «молодые» демократии.

---

на определенной стадии своей эволюции дорастает до более высокой формы — «сообщества», подобно тому как «дружба» дорастает до «содружества». Что касается термина «сообщество», то он используется в данном переводе примерно там, где уместно английское «community».

Ибо этот фактор — так же как и травма перехода от коммунистической системы и распорядительно-распределительной экономики к демократической системе и свободному рынку<sup>1</sup> — в довольно существенной степени определяет отдельные специфические свойства функционирования публичной жизни в этих странах. Там, где это необходимо, будут проводиться сравнения с публичным пространством в демократических национальных государствах Запада, а также в таких еще продолжающих существовать государствах, где действует авторитарная или даже тоталитарная система.

Книга начинается главой, где подвергнутся обсуждению различные теории радикального общественного изменения. Естественно, наиболее радикальным общественным изменением является революция, результатом которой становится полное изменение общественного порядка, а вместе с ним фундаментально иная организация публичной жизни. Однако демократические революции, которые возбудили третью волну демократизации, значительно отличались от классических революций в смысле как своего протекания, так и роли масс в указанном перевороте. Посему специфика демократических революций, особенно тех, что сопровождали падение коммунистических режимов, будет показана на фоне классических теорий революции, которые в данном случае могли объяснить ход событий лишь в ограниченных пределах. Повергнутся систематизации и разнообразные теории системной трансформации, будет показана их полезность для описания и интерпретации как самого изменения, так и его последствий. Дело

---

<sup>1</sup> В русскоязычной литературе ныне вместо слова «переход» в этом контексте чаще используется калька с американского термина «транзит» (которая, кстати, в ходу и у польских политологов). Однако, как и в ряде других случаях, в том числе для пары общественный—социальный, после беседы с автором данной книги проф. Э. Влук-Липиньским предпочтении, причем еще более решительное, было отдано тому польскому термину «przejście», который применяет автор. (При этом надо отметить, что в польском языке он, помимо основного значения: «переход» [иногда «проход»], означает также «переживание, испытание», и этот оттенок смысла прекрасно подходит для характеристики всякой смены общественного строя, даже если эта смена проходит мирно. К сожалению, у русского термина «переход», как, впрочем, и у термина «транзит», этого привкуса нет.) Все вышесказанное относится также к термину «общественное изменение», который и в польском оригинале, и, соответственно, в настоящем переводе предпочитается термину «трансформация», используемому в несколько ином смысле, о чем пойдет речь далее.

в том, что исследования перехода от недемократической системы к демократии создали некую типичную **транзитологическую** парадигму<sup>1</sup>, плодом которой явилась весьма обильная социологическая литература. Коль скоро речь идет о переходе к демократической системе, то в данной книге необходимо представить — по крайней мере, хотя бы на самом элементарном уровне — и избранные теории демократии. Данная проблема будет показана как в ее динамичном аспекте, так и в сравнительной перспективе. Это даст возможность обрисовать причины системного изменения и фазы перехода от недемократической системы к демократии. А также позволит обратить внимание на два параллельных и синхронных процесса, формирующих переход к демократической системе, а именно на либерализацию и демократизацию.

Вторая глава посвящена обсуждению структурных детерминант для разных вариантов поведения в публичной жизни. Прежде всего, будет предпринята попытка ответить на вопрос, действительно ли место в социальной структуре существенным образом обуславливает участие в публичной жизни. Чтобы ответить на данный вопрос, следует ввести понятия стратификации и общественного (социального) статуса, а также понятия легитимированного и нелегитимированного социального неравенства. Ведь лишь на их основании можно формулировать утверждения об относительной депривации и ее влиянии на установки и варианты поведения, проявляющиеся в публичной жизни. Очередным шагом является обсуждение принципов социальной справедливости, а также способа их функционирования в публичной жизни. Ибо я исхожу из предположения, что признание определенных принципов социальной справедливости (на почве которых вырастают разнообразные идеологии) выступает в качестве ключевого фактора легитимации тех или иных типов социального неравенства либо отказа им в правомочности. В свою очередь, те виды и проявления неравенства, которые не располагают общественной легитимацией, образуют первичный источник относительной депривации. Если же относительная депривация перешагнет за пределы уровня социальных микроструктур и обретет общий вектор, то она высвободит коллективные действия, нацеленные на устранение

---

<sup>1</sup> Как и во многих других случаях, предпочтение здесь отдано авторскому термину, а не более привычному в русскоязычной литературе термину «парадигма транзита».

или по меньшей мере на сокращение нелегитимизированного социального неравенства.

Главной проблемой очередной главы является вопрос социальной субъектности и чувства действенности (т.е. способности к активной, волевой деятельности). Как известно, одним из самых существенных мотивов, который подтолкнул поляков к коллективным выступлениям в 1980 году (когда родилась первая «Солидарность»), было желание восстановить социальную субъектность, а также чувство контроля над собственной жизнью. Лишь после восстановления субъектности можно реалистически думать о воздействии не только на превратности собственной биографии, но и на судьбы того сообщества, к которому принадлежишь, и шире — на судьбы всей страны. Вдобавок к этому чувство социальной субъектности является необходимым (хотя и не достаточным) условием появления гражданского общества. Ведь гражданство неразрывно связано с социальной субъектностью, а та, в свою очередь, с определенной сферой свободы в пространстве публичной жизни, предоставляющей возможность не только гражданской экспрессии (внешнего выражения), но и свободной институционализации общественных сил, создающих плюралистический конгломерат организаций, объединений и партий, которые заполняют своей активностью пространство между уровнем социальных микроструктур (семьей и малыми неформальными группами) и уровнем государства и народа. Чувство субъектности связывается с чувством действенности (*agency*), а оно, в свою очередь, связано с чувством ответственности за собственные поступки и их последствия. Нельзя быть ответственным за нечто такое, на что не имеешь реального влияния, — точно так же, как нельзя избежать ответственности за нечто такое, что является непосредственным следствием хорошо подающейся идентификации собственной действенности.

Обсуждение этих взаимоотношений и взаимозависимостей необходимо для более глубокого понимания того контекста, в котором появляется феномен гражданства (что явится темой главы 4), а также гражданского общества (глава 5).

Вопрос гражданства обсуждается применительно к концепции Т. Х. Маршалла (Т. Н. Marshall)<sup>1</sup>, но в нее введены новые под-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду классическое исследование гражданства и прав граждан «Гражданство и социальный класс» (1950) этого британского социолога, которое остается отправной точкой для большинства современных

ходы, которые помещают проблему гражданства в контекст перехода от авторитарной системы к демократии. Обрисованы также различия между гражданином, потребителем и клиентом. Подвергнется обсуждению и концепция «плюралистического гражданина», а также проблема гражданства в глобализирующемся мире.

Следующая глава начинается указанием источников исторических гражданских обществ, восходящих к временам Древней Греции и Рима. Указанный материал образует, однако, лишь кратко изложенный контекст, который позволяет лучше понять историческую эволюцию данного понятия и всего того комплекса общественных явлений, которые оно образует. Приводится объяснение довольно широкого и обобщенного понимания гражданского общества, а также его специфики в Центральной и Восточной Европе. Особое внимание уделяется формированию гражданского общества именно в этом регионе мира, поскольку многие из теоретиков придерживаются мнения, что нынешний ренессанс гражданского общества в общественных науках и в публичном дискурсе нужно в большой мере считать обязанным как раз событиям в Центральной и Восточной Европе на склоне XX века.

Либеральная и республиканская перспективы (а также, в определенных пределах, и родственная последней коммунитарная перспектива) по-разному позиционируют индивида в социальном контексте. Спор по этому поводу, ведущийся уже много лет, касается не только единичного человека, но переносится также на понимание общества в целом и гражданского общества в особенности. На сегодняшний день это весьма серьезная теоретическая дискуссия, последствия которой носят практический характер, например в сфере идеологии и политики. Поэтому реконструкция позиций, занимаемых сторонами этого спора, становится существенным дополнением к знаниям о гражданском обществе. Часто бывает так, что публичные дебаты вытекают из различающихся исходных предпосылок, на которые молча, а иногда и бессознательно опираются разнообразные антагонисты, и в итоге подобные диспуты редко приводят хотя бы к лучшему пониманию позиции противоположной стороны, уже не говоря о консенсусе.

Гражданское общество не тождественно национальной общности, хотя почти все члены обоих типов совокупностей — это

---

дискуссий на данную тему (недавно оно вышло по-русски, см. раздел «Библиография» в конце книги).

одни и те же лица. Тем не менее участие в каждой из названных общностей характеризуется различными свойствами и чертами, которые подвергаются в данной главе краткому обсуждению. С похожими отличиями мы сталкиваемся при описании гражданского общества, которое контрастно сопоставляется с обществом политическим. И в данном случае будет полезным ознакомление с природой указанных различий.

В последние годы определенные структуры гражданского общества пересекают границы национальных государств и начинают функционировать в глобальных масштабах. Подобные явления склоняют некоторых исследователей к следующему выводу: мы наблюдаем современные зачатки чего-то такого, что в не столь уж отдаленном будущем может стать глобальным гражданским обществом. А в более радикальной версии — что мы уже сейчас имеем дело с таким явлением. Поэтому есть смысл указать на осложнения, которые должен был бы преодолеть процесс формирования глобального гражданского общества, чтобы стать реальным общественным явлением. Размышления на эту тему присутствуют в главе 6.

Следующая глава поднимает проблему качества демократии. Ведь нельзя не согласиться с мнением, что отдельные конкретные демократии, которые похожи между собой с процедурной точки зрения, все-таки отличаются, причем иногда весьма отчетливо, с точки зрения качества. В свою очередь, для качества демократии решающую роль играют, с одной стороны, четкость и эффективность демократических институтов, а с другой — гражданская культура. Стоит сразу же отметить, что гражданская культура не тождественна культуре политической. Разъяснению этих понятий, а также их отношения к качественному уровню демократии и будет посвящена основная часть данной главы. Одним из существенных мерил качества демократии является прозрачность применяемых процедур, обязательность одних и тех же правил участия в публичной жизни (в том числе и в политической жизни) по отношению ко всем индивидуальным и групповым акторам, а также принятие на себя ответственности за свои действия и решения перед теми, на кого указанные действия и решения оказывают влияние. В англосаксонской литературе эта последняя проблема определяется термином *accountability* (подотчетность). На польском языке его точный эквивалент отсутствует, и поэтому используются описательные приближения (которые напрямую переносятся в русский текст. — *Перев.*).

Мы обсудим также вопрос, зависит ли четкое и эффективное функционирование демократической системы (*democratic performance*) от гражданской культуры — как это предполагается в некоторых теориях — или же скорее от четкости и эффективности функционирования институтов и правил игры. Опережая приводимую там аргументацию и умозаключения, есть смысл сразу констатировать, что мы имеем здесь дело с синергическим (взаимоусиливающимся) союзом двух вышеназванных факторов. Высокая гражданская культура и эффективные институты, а также понятные, прозрачные, повсеместно применяемые и устойчивые правила игры взаимно подкрепляют друг друга. Низкая гражданская культура может «испортить» теоретически эффективные институты, а также ограничить понятность правил игры, подорвать их стабильность и поставить под сомнение их повсеместность. Аналогично неэффективные институты и туманные, непонятные правила игры с постоянно растущим числом привилегированных исключений для неких индивидов или групп могут снизить уровень гражданской культуры.

В главе 8 обсуждаются ценности и интересы (явные и скрытые), на почве которых вырастают идеи и идеологии, образующие необычайно сложный аксиологический регулятор функционирования публичной жизни. Текст не будет систематическим лекционным изложением основных идеологических доктрин, поскольку не в этом состоит цель данной главы. Она скорее представляет собой описание механизмов, формирующих разнообразные идеологии, а также дает определения групповых интересов, функционирующих в публичной жизни. Здесь присутствует еще и попытка воспроизвести — в условиях радикального изменения общественного строя — динамичные взаимозависимости между двумя принципиально разными подходами, когда в публичной жизни руководствуются скорее ценностями или же скорее интересами. Кроме того, тут показан и механизм преобразования определения групповых интересов под воздействием фундаментальных изменений в логике функционирования общественной системы (в том числе ее публичной сферы). На этом фоне вкратце описаны общественные механизмы формирования различных идеологий — консервативных, либеральных, социалистических, коммунистических, националистических, фашистских, популистских, фундаменталистских и феминистских. Эти идеологии будут соотнесены с теми принципами социальной справедливости, о которых пойдет речь в главе 2.



Глава 9 содержит характеристику типичных акторов публичной жизни. В этой связи мы найдем здесь информацию об общественных движениях, о гражданских неправительственных организациях, об организованных группах интересов и о политических партиях. Каждый из этих коллективных акторов публичной жизни характеризуется иным, отличающимся способом институционализации, он иначе определяет цели действия, а также иным способом формирует гражданскую идентичность своих членов. Проблема формирования гражданской идентичности под воздействием участия в публичной жизни через разные формы активности представляется особенно важной в условиях радикального изменения строя. Именно поэтому данное существенное общественное изменение служит основанием для соотнесения конкретных описаний отдельных коллективных акторов публичной жизни. Нельзя, однако, игнорировать тот факт, что в условиях национального демократического государства акторы публичной жизни действуют в общественном пространстве, которое открыто также влияниям со стороны глобализирующегося мира. Поэтому в тексте главы учитывается и эта совокупность обстоятельств.

Социальные конфликты являются устойчивым компонентом плюралистической публичной жизни. Так происходит по той причине, что в публичном пространстве сталкиваются противоречивые интересы и ценности. Иногда эти конфликты перерастают в более серьезные социальные волнения, которые нарушают «нормальное» функционирование демократической общественной системы. Именно поэтому в главе 10 можно также найти типологию конфликтов, характерных для либеральной демократии и рыночной экономики, и, кроме того, способы их разрешения. Особый акцент делается при этом на следующие два способа: во-первых, в соответствии с демократическими процедурами, во-вторых, в соответствии с корпоративными процедурами. Указанная общая типология конфликтов, а также способов их разрешения в плюралистическом пространстве публичной жизни контрастно сопоставляется с конфликтами, характерными для недемократических систем, а особенно для коммунистической системы и распорядительно-распределительной экономики.

В главе 11 затрагиваются проблемы социальной маргинализации. За этим понятием скрывается сложное переплетение обстоятельств, которое приводит к тому, что определенная часть общества не пользуется своим гражданским статусом, не принимает

участия в потреблении плодов экономического роста (или, по крайней мере, это участие является непропорционально малым по отношению к остальному народонаселению) и не участвует в культуре. Будут представлены как причины социальной маргинализации в демократических и рыночных обществах, так и механизмы, ведущие к межпоколенческой репродукции этого пониженного, дегенеративного статуса. Указанное явление обсуждается в более широком контексте перемен общественного строя, протекание которых послужило одной из причин (хотя и не единственной) деградации отдельных сегментов общества.

Последняя глава посвящена проблематике патологий публичной жизни. Прежде всего, непосредственно самим патологическим явлениям (в частности, коррупции, а также организованной преступности), но помимо этого еще и причинам возникновения всевозможных патологий и их последствиям для качества демократии, гражданской культуры и для эффективности функционирования различных институтов публичной жизни.

Сфера охвата данного учебника наверняка не исчерпывает всей проблематики, которую следовало бы учесть при рассмотрении публичной жизни. Но можно надеяться, что представленные далее знания касаются того круга вопросов, который в первую очередь интересует граждан, желающих активно участвовать в публичной жизни.

Наряду с печальным опытом прошлого, а прежде всего ужасами XX века с его мировыми войнами, идеологическими безумствами и этническими чистками, которые могли бы склонять к пессимизму, существуют и основания для умеренного оптимизма. *Errando discimus* (ошибаясь, мы учимся). Можно предполагать, что эта древняя поговорка содержит в себе житейскую мудрость — однако при том условии, что об ошибках не забывают (по крайней мере, в следующем поколении), а память о прошлом сопровождается более глубоким — а не просто обыденным и поверхностным — познанием механизмов тех общественных явлений, которые происходят на наших глазах. Довольно распространенное в масштабах всего мира отступление от авторитаризма может быть интерпретировано как результат учебы на ошибках прошлого, а знания, почерпнутые из сокровищницы достижений общественных наук, могут трактоваться в качестве такого инструмента, благодаря которому мы становимся более устойчивыми к авторитарным искушениям и соблазнам, ибо лучше понимаем как ошибки,

совершенные в прошлом, так и современные нам тенденции и явления, частью которых мы являемся. А лучшее понимание механизмов, управляющих публичной жизнью современных обществ, позволяет перейти к следующему шагу, а именно к рефлексии — на основании существующих к этому моменту знаний — над возможностями создания «дружелюбного государства» или же над направлениями таких изменений, которые могли бы в итоге привести к возникновению «дружелюбного общества» и к хорошей жизни в нем. А это в какой-то степени приближает нас к видению Фрича Моджевского, иначе говоря к многовековой мечте о собственном государстве, справедливом и эффективном, граждане которого имеют шанс «жить хорошо и счастливо, честно и благородно».

# ГЛАВА I

## ТЕОРИИ РАДИКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ<sup>1</sup>

### Введение

То обстоятельство, что учебник, посвященный социологии публичной жизни, начинается с теории радикального общественного изменения, а также с описания волны демократических революций, которые на исходе минувшего столетия прокатились по значительной части планеты, имеет свое сущностное обоснование. Прежде всего, публичная жизнь в демократическом национальном государстве принципиально отличается от публичной жизни в недемократическом государстве. Различия настолько фундаментальны, что в данном случае мы можем говорить о двух качественно различных типах организации публичного пространства. Следовательно, рассмотрение публичной жизни должно быть отнесено к какому-либо одному из этих двух типов. Но в рамках демократических систем некоторые из демократий молоды, а наследие предыдущей, недемократической системы все еще продолжает там присутствовать не только в «институциональной памяти», но и в общественной ментальности, а это приводит к тому, что и публичная жизнь такого общества тоже имеет свою специфику, которую нельзя игнорировать. Значительную часть подобной специфики можно объяснить процессом перехода от недемократической системы к демократии. Указанный процесс наряду с определенными универсальными свойствами насыщен также такими

---

<sup>1</sup> Переводчик выражает благодарность д-ру полит. наук, директору Института политических исследований «Палітычная сфера», гл. редактору журнала на белорусском языке «Палітычная сфера» («Политическая сфера») А. Н. Казакевичу за помощь в редактировании текста данной и ряда других глав, а также за отдельные полезные замечания, высказанные при этом или в ходе дискуссий.

чертами, которые носят сугубо местный, частный характер, будучи укорененными в традиции и истории конкретного народа. Универсальные признаки перехода к демократии поддаются теоретическому обобщению, но о специфически местных, локальных признаках это уже нельзя утверждать с уверенностью.

Переход к демократии характеризуется двумя процессами. Один можно назвать либерализацией, а второй – демократизацией. Несомненно, синхронное протекание этих процессов весьма повышает вероятность благополучного перехода к демократии. Однако их детальному разъяснению необходимо предпослать более широкую панораму демократических революций, свидетелями которых мы были в Европе и Латинской Америке, в Азии и Африке. Словом, имеет место глобальная тенденция, в рамках которой надлежит найти место и для переходов к демократии, наблюдавшихся в регионе Центральной и Восточной Европы. Таким образом, встает вопрос, можно ли эту глобальную тенденцию уложить в какие-то теоретические рамки и имеет ли она общую причину (либо причины).

Сколько-нибудь полному ответу на данный вопрос должно предшествовать введение в современные и классические теории демократии, а также рассмотрение основных аналитических понятий, позволяющих описать демократическую систему. Лишь на таком основании можно разумным, осмысленным способом описывать вышеуказанную глобальную тенденцию конверсии (преобразования) авторитарных режимов в демократические.

В свою очередь, описание демократического порядка вместе с функционирующими в нем правилами игры выглядит подвешенным в социальном вакууме, если ему не предпосланы размышления над природой закрытых и открытых обществ. Здесь мы будем ссылаться на Карла Поппера (Karl Popper) и его знаменитое исследование, посвященное родословной открытого общества<sup>1</sup>.

Какая-то часть демократических систем появилась путем долговременной, затяжной эволюции. Однако большинство стало результатом кардинального общественного изменения. Такое

---

<sup>1</sup> Имеется в виду его сочинение «The Open Society and Its Enemies», в. 1–2 («Открытое общество и его враги», т. 1–2, 1945), которое в 1992 году было переведено на русский язык (подробнее см. раздел «Библиография»). Далее в этой главе автор достаточно подробно рассматривает указанную работу.

максимально радикальное общественное изменение, в результате которого происходит полная замена старого строя новым, обычно называется революцией. Переходы к демократии, имевшие место в конце минувшего столетия, характеризовались именно такой радикальностью и исторически быстрой (а следовательно, незволюционной) продолжительностью. Но это не были классические революции, к которым нас приучила история. С точки зрения классических теорий революции они характеризовались — в большинстве случаев — нетипичным протеканием. Их итогом стало появление молодых демократий, публичной жизни которых свойственны некоторые особенности. Дело в том, что для формы публичной жизни в подобных демократиях небезразличен не только путь, каким они шли (а таковых может быть по меньшей мере несколько), но также точка старта, иными словами природа той недемократической системы, от которой началось и далее происходило их продвижение к демократии. Поэтому необходимо разъяснить специфику демократических революций на фоне революций классических, а также представить актуальные теоретические переосмысления различных взглядов, относящихся к революции как явлению. Таким способом мы подошли к началу главы, которое вместе с тем представляет собой начало отмеченного выше увлекательного путешествия от порабощения к свободе огромных масс людей, особенно из стран бывшего советского блока.

### **Формы радикального изменения общественного строя**

Что собой представляет радикальное изменение общественного строя и чем оно отличается от «обыкновенного» изменения, происходящего в обществе? Почему у нас сложилась привычка какие-то одни радикальные изменения характеризовать наименованием «революция», а другие описывать как бунты, восстания, свержения, государственные перевороты, путчи или мятежи? Должны ли терминологические несовпадения этих названий всего лишь обозначать идеологическое отношение к тому или иному радикальному изменению или же они затрагивают некие существенные различия, скрывающиеся за теми названиями, с помощью которых определяются данные явления? Почему бы, наконец, всю эту категорию изменений не характеризовать именем «революция», иначе говоря понятием, которое издавна функционирует

как в академических теориях, так и в разговорном языке? Ответы на эти вопросы позволят не только обосновать и оправдать применение понятия «радикальное изменение строя», но и сделают также возможным уточнение иных понятий, значение которых очень часто бывает нечетким, расплывчатым, а вдобавок исторически изменчивым.

Прежде всего, стоит заметить, что термин «революция» содержит в себе весьма сильный аксиологический заряд, чтобы не сказать идеологический. К примеру, Баррингтон Мур-мл. (*Moore Jr.*, 1978) резервирует понятие «революция» исключительно для тех общественных изменений, которые в результате приносят модернизацию общественной структуры, сокращение социальной несправедливости, увеличение свободы и эмансипацию тех сегментов общества, которые перед революцией принадлежали к числу обделенных, ущемленных, обиженных слоев<sup>1</sup>. Кстати, подобным же образом думала о революции Ханна Арендт, добавляя, однако, при этом, что свержение старого, несправедливого порядка, вообще говоря, связывается с применением насилия (*Arendt*, 1991). Однако исследователи в большинстве случаев не употребляют определений, в которых столь сильно выражен их оценочный характер, ибо в общем и целом наименованием «революция» характеризуют *бурное и внезапное изменение общественного порядка вместе с правилами его функционирования, а также с принципами системной стабилизации и репродукции.*

Однако в истории (особенно новейшей) известны стремительные и резкие изменения общественного порядка, которые не сопровождались ни насилием, ни даже всеобщей мобилизацией масс. Глубина системных изменений не была в подобных случаях меньшей, но все-таки интуитивно мы испытываем трудности с названием такого изменения революцией. Эти трудности коренятся в традиции, которая выработала у нас привычку ассоциировать революцию с режущими знаменами, баррикадами и кровавыми жертвоприношениями – с жертвами, становящимися мифом, который закладывается в фундамент нового общественного порядка. Но это всего лишь привычка, являющаяся следствием истори-

---

<sup>1</sup> Популярнее более броское замечание Б. Мура, что революции часто рождаются не из победного клича восходящих классов, а из предсмертного рева тех социальных слоев, над которыми вот-вот сомкнутся волны прогресса.

ческого протекания классических революций. Поэтому более полезным представляется в данном случае нейтральное определение «радикальное изменение общественного строя». Это название было бы приложимо ко всем тем разновидностям общественных изменений (безотносительно к их конкретному ходу), в результате которых старый общественный порядок рушится, поскольку перестали эффективно действовать механизмы его стабилизации и репродукции, а на развалинах старой системы вырастает новый порядок, характеризующийся совсем иными правилами игры, которые обеспечивают его стабилизацию и репродукцию. В таком контексте революция была бы одной из форм радикального изменения общественного строя, хотя надо признать, что формой максимально эффективной, наглядной и зрелищной, так как она выстраивает в коллективной памяти очень отчетливую цезуру между старым и новым порядками. Радикальное изменение общественного строя должно также охватывать те процессы, которые лишь в небольшой степени напоминают классические революции, но все-таки ведут к изменению общественного порядка. В первую очередь я имею здесь в виду «демократические революции» на исходе XX века, которые проходили скорее в кабинетах и залах заседаний, чем на улице (о них пойдет речь в дальнейшей части данной главы).

## Классические революции

История знает много эпизодов, которым современники присваивали наименование революции (чаще всего еще с каким-нибудь прилагательным), но по-настоящему радикальных и бурных изменений, в результате которых возникал абсолютно новый общественный порядок, было немного. Исторически — пожалуй, в первый раз — понятие «революция» появилось применительно к событиям 1688—1689 годов в Англии, именовавшимся *Glorious Revolution* (Славная революция), когда в итоге там была установлена конституционная монархия, сильно ограничивавшая власть короля, а основанием легитимности власти, которую королю с этого момента предстояло делить с сильным парламентом, явился Билль о правах (*The Bill of Rights*), составляющий и донныне в Великобритании важный документ конституционного характера. Тем не менее, однако, *Glorious Revolution* ввела всего лишь нововведения в феодальную систему, которая пережила эти события и благополучно



сохранилась. Таким образом, это была не революция в том значении, которое мы придаем данному понятию сегодня, а скорее глубокая реформа всей системы власти<sup>1</sup>.

Незадолго до конца XVIII века имели место два события, которые по праву назвали революциями, ибо в результате каждого из них старый общественный порядок не только оказался заменен новым, но указанные перипетии еще и сопровождались кровопролитием, а также разрушением старых общественных иерархий и их заменой на новые. Хронологически первым из них была Американская революция (1775–1783), в результате которой возникли Северо-Американские Соединенные Штаты {(так именовались США в русском языке вплоть до середины XX века)}, учрежденные на основании двух документов, составивших и продолжающих составлять нормативную базу нового общественного порядка: Декларации независимости (1776), а также Конституции Соединенных Штатов (1787). Вторым событием такого же ранга была Великая французская революция (1789–1799), в результате которой феодальный порядок в этой стране оказался свергнутым. Принятая во Франции в 1789 году Декларация прав человека и гражданина явилась в тогдашнем историческом контексте революционным переломом, поскольку она подтверждала, среди прочего, принцип равенства всех граждан перед законом (независимо от их общественного статуса), а также принцип свободы слова. Развитие событий после того, как Великая французская революция разразилась, было бурным и полным самых разных поворотов и превратностей: в 1791 году там провозгласили конституционную монархию, через год – Первую республику. В 1793 году власть захватили якобинцы, которые выступили инициаторами революционного террора и диктатуры, что привело к хаосу, а в 1799 году – к государственному перевороту ген. Бонапарта, в 1804 году провозгласившего себя императором. Тем не менее влияние Великой французской революции на формирование понятий гражданства, демократии и прав человека трудно переоценить.

Китайская революция (1911–1913) привела к свержению маньчжурской династии Цин и провозглашению Китайской Республики. В 1912 году Сунь Ятсен основал новую партию (Гоминьдан),

---

<sup>1</sup> Сейчас в русскоязычной литературе, как правило, принято считать эти события, завершившиеся свержением короля Якова II и утверждением на престоле Вильгельма III Оранского, государственным переворотом.

которая группировала сторонников демократической формы республики. Перелом был совершен, хотя последовавшие за этим гражданские войны, расколы, мятежи и восстания не привели к возникновению стабильного и способного к репродукции общественного порядка вплоть до захвата власти коммунистами под предводительством Мао Цзэдуна.

Февральская революция в России (1917) свергла царизм и провозгласила демократический строй, но тогдашние революционные элиты не сумели взять под контроль хаос, вызванный падением царизма и Первой мировой войной, и это привело в октябре 1917 года к тому, что революционной стихией овладели большевики и лишили Временное правительство власти; это сделал Ленин, который провозгласил «диктатуру пролетариата». Таким образом, из Февральской революции выросла коммунистическая система, которая сохранилась в России вплоть до начала 1990-х годов и оставила свой отпечаток на всем облике мира в XX веке.

В 1979 году мы были свидетелями исламской революции в Иране, когда контрэлита, состоящая из мусульманских священнослужителей во главе с Хомейни и поддерживаемая мобилизованными массами, свергла режим шаха Реза Пехлеви и образовала исламскую республику, иначе говоря теократический строй, управляемый в соответствии с законами Корана (шариатом). Иранская исламская революция стала импульсом к созданию теократических правительств в нескольких других мусульманских государствах.

Это, разумеется, не все радикальные изменения общественного строя, которые приняли форму классической революции. Достаточно указать, в частности, на следующие революции: бельгийскую (1830), краковскую (1846), февральскую революцию (1848) во Франции, мартовскую революцию (1848) в Вене и Берлине, мексиканскую революцию (1910–1917). Все эти события были попытками свержения старого порядка (чаще всего удачными) и установления нового общественного порядка, что уже не всегда протекало в согласии даже с самыми общими программными принципами революционных элит; однако значение данных изменений носило местный, локальный характер.

Революция представляет собой процесс, который — будучи однажды запущенным в ход — приобретает собственную динамику, не поддающуюся до конца контролю со стороны кого-нибудь из акторов этой драмы (индивидуального или группового). Нет у нее также единственного режиссера, а ее результат носит

неопределенный характер. Вот как писал де Токвиль в середине XIX века о Великой французской революции: «Во Франции перед началом Революции ни у кого не было ни малейшей мысли о том, что ей надлежит свершить» (Tocqueville, 1994: 32; в рус. пер. с. 10)<sup>1</sup>. Трудно сказать, что будет потом, но повсеместно известно, что дальше так быть не может, — это и есть то состояние духа у масс и контрэлиты, которое создает предреволюционное напряжение, когда достаточно всего лишь невинного предлога, чтобы запустить выступления, дающие начало революции. Такая внутренняя динамика революционного процесса создается в отношениях между массами — а точнее той их частью, которая отобилизована и готова к совместным выступлениям, — и элитами (иначе говоря, элитой старой системы, а также контрэлитой, не только выступающей против старой элиты, но и оспаривающей старый общественный порядок и ставящей его под сомнение). Революция по определению не протекает в рамках традиционных (установленных обычаем) или же юридических правил игры старого порядка, ибо эти правила тоже подвергаются сомнению, делегитимируются и в конечном итоге отвергаются контрэлитой. «Революция в границах права» — это *contradictio in adjecto* (логическое противоречие), нечто такое же, как «сухая вода» или «аромат без запаха».

Если старая элита заменяется отвергающей ее контрэлитой при одновременной пассивности масс, то мы имеем дело с государственным переворотом, или «дворцовой революцией». Если старую элиту отвергают массы, но контрэлита отсутствует или же существующая контрэлита не вступила в союз (как минимум тактический) с протестующими массами и осталась пассивной, то мы также имеем дело не с революцией, а всего лишь с мятежом либо бунтом, который раньше или позже будет подавлен старой

---

<sup>1</sup> См. главу I «Противоречивые суждения, вынесенные о революции в самом ее начале» книги первой указанного сочинения. В польском тексте эта фраза звучит так: «Во Франции накануне революции никто в точности не отдаст себе отчета в том, что из нее получится». Принимая во внимание, что данная книга писалась ее автором как учебник, а также наше решение уделять повышенное внимание терминологии и ее вариантам, было сочтено целесообразным давать используемые автором цитаты из классических работ не только в переводе с польского текста (который, разумеется, сам является переводом с английского или немецкого и т.д., а иногда даже двойным переводом), но и приводить там, где это возможно, прямой русский перевод.

элитой. Революционный процесс может начаться в тот момент, когда контрэлита обретает лояльность отобюрокразированных масс, отказывающихся старой элите в повиновении, или же в ситуации, когда массы, мобилизованные в протестном порыве, оказываются в состоянии быстро выдвинуть контрэлиту, по отношению к которой они лояльны даже в ситуации серьезного риска (включая сюда риск ущерба для здоровья или даже утраты жизни).

Большие, по-настоящему великие революции приносят последствия, перешагивающие далеко за пределы локального контекста, а также уходящие далеко за горизонт воображения всех их участников. Неудачные революции порождают среди своих участников миф, к которому в случае чего могут обращаться, если это понадобится, следующие поколения, уже не помнящие по собственному опыту тогдашней горечи поражения и не скованные по рукам и ногам парализующим чувством нереальности цели, которая преобразуется в миф. Тем временем, пишет де Токвиль, «великие революции, увенчанные победой, укрывая причины, породившие их, становятся, таким образом, абсолютно недоступными пониманию именно благодаря своему успеху» (*Tocqueville, 1994: 34; в рус. пер. с. 12*)<sup>1</sup>.

Задумавшись в этой связи, можно ли на основе протекания известных из истории «классических» великих революций аналитически выделить их причины. А если да, то являются ли указанные причины такими, которые — коль скоро они появляются — в любых общественных условиях ведут к революционному взрыву.

Многие исследователи революций пытались уловить эти причины и придать им теоретическую ценность — иными словами, построить такую модель, на основании которой можно было бы с высокой вероятностью прогнозировать вспышку революции. Среди таких причин указывали плохие и коррумпированные правительства, унижающее военное поражение, голод, чрезвычайно высокий уровень безработицы, слишком высокие налоги, исключение больших сегментов общества из каких-то статусных позиций, сфер или должностей (иначе говоря, существование граждан

---

<sup>1</sup> Это заключительная фраза из той же главы I «Противоречивые суждения, вынесенные о революции в самом ее начале». В польском тексте данная фраза звучит следующим образом: «Удачные великие революции, устрояя причины, которые их вызвали, становятся непопятными из-за своих собственных побед».

второй категории) и т.д. Сразу же нужно констатировать, что среди подобных попыток теоретизирования по поводу причин революций не нашлось удачных. Поскольку можно без труда показать, что каждая из перечисленных выше причин в одних исторических условиях приводила к началу революции, а в других — нет. Плохие и коррумпированные правительства иногда бывают свергнуты под напором революционного кипения, тогда как в других случаях они продолжают долго оставаться у власти и никакая революция им не угрожает. Очень высокая безработица может, правда, способствовать возрастанию радикализации общественных настроений, но отнюдь не обязательно должна вести к революции — точно так же как социальная и политическая маргинализация количественно значительных категорий людей. Даже голод и непосредственная угроза для жизни многих миллионов человеческих существ не может считаться стопроцентной причиной для начала революции, о чем свидетельствует не только апатия тех групп населения, которые периодически страдают от катастрофического голода в Субсахарской Африке, но также относительная пассивность масс в 30-х годах XX века на Украине, когда форсируемая Сталиным коллективизация деревни довела до чудовищного голода, собравшего многомиллионную жатву смерти.

Сказанное не означает, однако, что мы совсем беспомощны в познавательном плане. Может быть, построение теоретических моделей, которые бы наверняка и без сбоев предвидели приход революции, действительно слишком амбициозная задача, если исходить из реальных возможностей общественных наук. Однако это не освобождает нас от обязанности заниматься теоретизированием по поводу причин революции — как минимум с целью лучше понять революции, уже имевшие место, а также лучше подготовиться в познавательном плане к тем революционным событиям, которые еще только могут наступить в разных местах планеты.

Многосторонние попытки разобраться в том сложном процессе, каким является революция, и понять его, можно свести к двум теоретическим традициям, исходящим из совершенно разных предпосылок. Первая из них — это Марксова традиция, тогда как вторая ведет свою родословную от Алексиса де Токвиля.

Диагноз Маркса, изложенный в «Коммунистическом манифесте», содержит предвидение того, что растущее угнетение пролетариата достигнет наконец критической точки, когда рабочие осознают, что им уже нечего терять, «кроме своих цепей» (*Marks*,

1949). Тогда-то и родится бунт, который положит начало революции. В ее результате рабочий класс свергнет общественный порядок, созданный буржуазией и ставящий ее в привилегированное положение. Следствием пролетарской революции станет изменение характера классового господства, потому что рабочий класс сменит буржуазию в этом привилегированном положении и займет ее место. Ту самую буржуазию, что в свою очередь свергла когда-то феодальный строй и отменила привилегии, которыми при феодальном строе с удовольствием пользовалась аристократия. При взгляде под таким углом зрения основной и первичной причиной великих революций является борьба социальных классов, а мотором, толкающим массы к революции, выступает свержение того общественного порядка, при котором противоречия между производительными силами и производственными отношениями настолько велики, что их не удается ликвидировать без революционного изменения всего общественного устройства. Другими словами, революция вспыхивает в тот момент и в той ситуации, когда прогресс производительных сил призывает к жизни новый, многочисленный общественный класс (подобно тому как ранний капитализм создал неизвестный феодальному строю рабочий класс), эксплуатируемый при старом общественном порядке тем классом, который когда-то создал этот порядок (вместе с действующими в нем обязательными правилами и игры) и ныне господствует в его рамках. Ибо словно бы по определению тот порядок, который рожден определенным общественным классом, построен таким образом, чтобы интересы данного класса оберегались и защищались как можно лучше. Тем самым революции представляют собой форму разрядки постепенно нарастающих противоречий классового характера, поскольку иным способом успокоить и снять их невозможно.

Алексис де Токвиль подходит к объяснению главных причин революции совершенно иначе. На основании внимательного изучения источников Великой французской революции, ее протекания и результатов он приходит к парадоксальным, на первый взгляд, выводам. Токвиль пишет: «...французам их положение казалось тем более невыносимым, чем больше оно улучшалось. <...> К революциям не всегда приводит только ухудшение условий жизни народа. Часто случается и такое, что народ, долгое время без жалоб переносивший самые тягостные законы, как бы не замечая их, мгновенно сбрасывает их бремя, едва только тяжесть его

несколько уменьшается. Общественный порядок, разрушаемый революцией, почти всегда лучше того, что непосредственно ему предшествовал, и, как показывает опыт, наиболее опасным и трудным для правительства является тот момент, когда оно приступает к преобразованиям. Только гений может спасти государя, предпринявшего попытку облегчить положение своих подданных после длительного угнетения. Зло, которое долго терпели как неизбежное, становится непереносимым от одной только мысли, что его можно избежать. И кажется, что устраняемые злоупотребления лишь еще сильнее подчеркивают оставшиеся и делают их еще более жгучими: зло действительно становится меньшим, но ощущается острее» (Tocqueville, 1994: 188; в рус. пер. с. 140)<sup>1</sup>. Эта цитата позволяет нам проникнуть в самую суть новаторского и многое объясняющего наблюдения Токвиля. Оказывается, революционное брожение представляет собой результат присущего человеку довольно тонкого психологического механизма, а именно: в умах людей должна наступить переориентация или переосмысление ситуации, заключающиеся в качественном изменении критериев оценки социальной реальности; то, что казалось неотвратимым, оценивается теперь как случайное, то, что выглядело

---

<sup>1</sup> Это отрывок из перевода на русский главы IV «О том, что царствование Людовика XVI было эпохой наибольшего процветания старой монархии и каким образом это процветание ускорило революцию» книги третьей указанного сочинения. В польском тексте данный фрагмент звучит следующим образом: «Французам их положение казалось тем более невыносимым, чем в большей степени оно улучшалось. <...> Революция не всегда вспыхивает в тот момент, когда тем, кому было плохо, начинает становиться еще хуже. Чаще всего происходит так, что народ, который без слова жалоб, словно бы с полным безразличием, выносил самые обременительные законы, бурно отвергает их, когда их тяжесть несколько облегчается. Строй, который революция свергает, почти всегда бывает лучше того, который ему непосредственно предшествовал, а опыт учит, что наиболее опаснейшей минутой для плохого правительства бывает обычно та, когда оно начинает проводить реформы. Только огромная личная гениальность может спасти власть после облегчения судьбы своих подданных, осуществленного вслед за длительным периодом угнетения. Зло, которое люди терпеливо сносили как неизбежное, кажется невыносимым с того момента, когда в умах начинает брезжить мысль, что можно вырваться из-под его гнета. Слово бы каждое ликвидированное в это время злоупотребление позволяет тем отчетливее увидеть остальные, еще более усиливая впечатление их докучливости. Да, зло стало меньшим, это правда, но чувствительность к злу углубилась».

крайне нужным, перестает считаться необходимым, то, что представлялось нереальным, становится, по субъективной оценке, вполне осуществимым. Такая переоценка не появляется в том случае, если человек вынужден в прямом смысле слова бороться за выживание, ибо тогда он полностью поглощен проблемами добытия элементарных средств к существованию для себя и своей семьи. А возможна она лишь в момент, когда определенные обременения оказываются ликвидированными, так как именно в такую минуту рождается мысль, что и остальные жизненные неудобства тоже удастся устранить. Причем эти обременения совсем не обязательно должны быть одинаковыми для всех. Скорее напротив: для одних (самых бедных) это будет вопрос приобретения хлеба и молока для голодающего ребенка, для других – избавление от унижительного общественного статуса, для третьих – освобождение от даней, податей и налогов, не позволяющих удовлетворить сильно ощущаемые потребительские запросы и устремления. Таким образом, в разных социальных слоях причины недовольства могут быть (и, как правило, действительно бывают) разными, но общим знаменателем выступает фрустрация, ощущаемая еще более болезненно, если ей сопутствует мысль, что дела могут обстоять иначе, поскольку опыт говорит о возможности какого-то улучшения ситуации. А когда эта мысль находит в обществе широкое распространение, то именно в такое время и наблюдается наибольшая вероятность революционного взрыва.

Итак, с одной стороны, мы имеем тезис Маркса, что революция вспыхивает, когда угнетение эксплуатируемых классов достигает некоторой (впрочем, никак конкретно не уточняемой) критической точки, – иными словами, когда нарастающий регресс достигает такого уровня, на котором угнетенным людям (пролетариату) уже все равно. При взгляде сквозь такую призму революция представляет собой рефлекторную реакцию отчаяния, нацеленную в старый общественный порядок, хотя в более общей историософии Маркса она должна разразиться обязательно и неизбежно, так как логика истории – это очередные переходы от одной общественной формации к другой, осуществляемые посредством революций, которые возбуждаются новыми производительными силами. С другой стороны, мы имеем тезис де Токвиля, гласящий, что революционный взрыв наиболее вероятен, когда угнетение слабеет, а угнетаемые массы могут кое-что потерять из-за революции (и, в общем-то, теряют), но все-таки выиграть могут еще



больше. В этом случае революция является совместным, коллективным действием вследствие внезапного резкого роста запросов и устремлений, реализация которых в условиях старого общественного порядка невозможна и недостижима.

Поначалу кажется, что оба эти подхода не могут одновременно быть правильными, поскольку различия между ними фундаментальны. И действительно, если мы станем трактовать их как интерпретацию некоторого состояния дел, абстрагируясь от того факта, что это состояние дел представляет собой фрагмент какого-то более широкого и чрезвычайно сложного процесса, то тогда примирить их не удастся. Если же, однако, мы подойдем к данному вопросу как к определенному процессу, который длится во времени и который необязательно должен носить линейный характер, тогда эти два взаимно противоречащих утверждения можно признать различными аспектами одного и того же явления, а именно нарастания противоречий (проигнорируем пока их природу), ведущих к революционному взрыву. Попытку примирения обеих вышеизложенных теоретических позиций предпринял Джеймс К. Дэвис (J. C. Davies). В своем анализе он приходит к следующему заключению: «Легче всего дело может дойти до революции в ситуации, когда после достаточно длительного периода экономического и социального развития наступает короткий период резкого регресса. В течение первого периода самым важным является создание в умах людей, живущих в данном обществе, убеждения, что имеются устойчивые возможности удовлетворения их потребностей, которые неустанно растут, тогда как в течение второго периода — ощущения беспокойства и разочарования, когда существующая реальность не отвечает реальности ожидаемой. Текущее состояние общественно-экономического развития менее важно, чем убеждение, что былой прогресс — сейчас затормозившийся — может и должен быть продолжен в будущем» (Davies, 1975: 390). Дэвис объясняет механизм революции через неудовлетворенные потребности, а точнее через расхождения между запросами и устремлениями, с одной стороны, и реальными возможностями их достижения — с другой. В соответствии с его теорией запросы всегда несколько опережают уровень удовлетворения потребностей, потому что запросы растут быстрее, нежели возможности их достижения. Когда разница между запросами и уровнем удовлетворения потребностей относительно постоянна и не очень велика, вероятность революционного взрыва минимальна. Она резко возрастает, когда

эта разница внезапно увеличивается, а увеличивается она обычно в тех случаях, когда запросы растут в своем умеренном и относительно постоянном темпе, тогда как возможности реального удовлетворения потребностей падают ниже уже достигнутого уровня. Когда кривая роста запросов постоянно идет вверх, а кривая роста удовлетворения потребностей не только не поспевает за ней, но и начинает падать, следует – по мнению Дэвиса – считаться с возможностью революционного взрыва.

Эта теория имеет, естественно, свои ограничения, а наибольшая ее слабость состоит в абстрагировании от природы той общественной системы, которую такая революция должна была бы свергать. Об этих вопросах речь пойдет в дальнейшей части данного учебника, но уже здесь можно констатировать, что авторитарные системы, а тем более системы тоталитарные, которые полностью контролируют пространство публичной жизни и способны манипулировать запросами и устремлениями масс таким способом, чтобы удерживать имеющиеся запросы на безопасно низком уровне или даже понижать его (например, с помощью такой социотехники, как пропаганда угрозы со стороны внешнего либо внутреннего врага и, соответственно, необходимости самопожертвования и лишения, связанных с устранением этой угрозы), сохраняя тем самым запросы и устремления на уровне, мало отличающемся от реального уровня текущего удовлетворения потребностей. Другой слабостью является абстрагирование от функционирующих в данном обществе принципов социальной справедливости, на основании которых можно одобрять либо опротестовывать и ставить под сомнение законность существующего неравенства и привилегированного места определенных статусных должностей или даже целых социальных классов. Позиция Дэвиса не учитывает также самой природы того общества, к которому должны относиться его теоретические положения, и в этом смысле его точка зрения представляет собой внеисторическое теоретизирование на тему революции. Запросы и потребности формируются по-разному в современных и традиционных обществах, или, другими словами, в сильно урбанизированных постиндустриальных обществах и в обществах аграрных. Дело в том, что в них функционируют совсем разные типы социальных связей, а публичная жизнь регулируется качественно разнящимися нормами. Чтобы учесть данный фактор, нам необходимо ввести предложенное Карлом Поппером (Karl Popper, 1902–1994) разделение на закрытые и открытые общества.

## Общества открытые и закрытые

Закрытым обществом Поппер (*Popper*, 1984: 173) называет три типа обществ: 1) примитивные первобытные, основывающие свою систему верований на магии; 2) племенные; 3) коллективистские. В закрытом обществе индивид без коллектива ничего собой не представляет, а его место в иерархии статусов задано и, по сути дела, неизменно. В обществе такого типа перевешивают родственные связи или связи коллективистские, представляющие собой эквивалент традиционных родственных связей (с сильным и ясным различием **свой—чужой**, иначе говоря **враг**). «Закрытое общество, — пишет Поппер, — сходно со стадом или племенем в том, что представляет собой полуорганическое единство, члены которого объединены полубиологическими связями — родством, общей жизнью, участием в общих делах, одинаковыми опасностями, общими удовольствиями и бедами» (*Ibid.*; в рус. пер. т. 1, с. 218)<sup>1</sup>. В такой общности доминирует магическая или иррациональная установка по отношению к обычаям, принятым в совместной жизни, а также ригоризм в соблюдении указанных обычаев. Это, разумеется, не означает, что закрытое общество статично. В его пределах тоже происходят изменения, говорит Поппер, но, во-первых, они случаются редко, а во-вторых, обнаруживают много черт религиозной конверсии либо аверсии или же создания новых магических табу (*Ibid.*: 172). Эти изменения не вытекают из рационального обозревания действительности и попыток усовершенствовать условия жизни, поскольку рационализм не является частью данного общественного порядка. В качестве строгих регуляторов коллективной жизни выступают установленные обычаями традиционные нормы, а также разнообразные табу. По этой же причине член подобного общества редко испытывает сомнения в том, каким образом ему следует действовать; «надлежащее» действие установлено обычаями и отношением к табу. В закрытом обществе индивид не должен ничего выбирать, так как при этом типе социального

---

<sup>1</sup> В польском тексте эта фраза звучит следующим образом: «Закрытое общество напоминает первобытную орду или племя, потому что оно представляет собой наполовину органическое целое, члены которого тесно скреплены между собой благодаря наполовину биологическим узам — родству, совместной жизни, разделению совместных усилий, совместных опасностей, совместных радостей и совместных страданий».

порядка существует не слишком много места для мышления в категориях альтернативы. Индивид, по сути дела, лишен возможности выбора и, как правило, не осознает этого факта. А коль скоро у него нет выбора, то нет также и индивидуальной ответственности.

Открытое общество не носит столь «органического» характера, как общество закрытое. Оно является обществом в том абстрактном смысле, что в значительной степени (хотя и не полностью) теряет характер реальных групп людей или федераций таких групп. Растущая часть взаимоотношений и зависимостей носит деперсонализированный, деловой характер, при этом ограниченный той социальной ролью, в рамках которой указанные взаимоотношения завязываются. Такого рода взаимоотношения чаще всего ограничиваются транзакциями (сделками) обмена и кооперирования, тогда как их эмоциональный компонент или вообще отсутствует, или сведен к минимуму. Индивиды становятся все более и более анонимными, а социальная изоляция — по сравнению с закрытым обществом — велика. В связи с существованием многих возможностей, функционирующих в публичной жизни, индивид оказывается вынужденным выбирать. Вместе с выбором появляется проблема личной ответственности. Увеличивается не только сфера выбора, перед которой стоит индивид, но и сам выбор также во все большей степени становится рациональным, а очередные табу теряют свои функции регулятора общественной жизни. Коллективизм вытесняется индивидуализмом. Падение закрытого общества как единственной формулы совместной, коллективной жизни и появление уже в древности первых открытых обществ распахнуло перед человеком совсем новые горизонты коллективной жизни, а в публичную жизнь ввело конфликт, гонку за занятие тех или иных социальных позиций и проблему правомочности власти. «Переход от закрытого общества к обществу открытому, — говорит Поппер, — можно охарактеризовать как одну из глубочайших революций, через которые прошло человечество» (Popper, 1984: 175; в рус. пер. т. 1, с. 220). Но это не была революция, принесшая людям счастье и беззаботную жизнь. Напротив, появление открытого общества разрушило чувство безопасности, вытекающее из принадлежности к закрытой и статичной общности, подорвало многие из эмоциональных связей, типичных для закрытого общества (которые, в принципе, сегодня сохранились только в семьях, да и то не во всех), поколебало иерархию статусов, возложило на индивидов бремя ответственности за свою жизнь, а в первую очередь

изменило оптику восприятия всей организации общественного порядка: из неизменной и заданной не очень-то внятно определенными и, как правило, магическими внешними силами — на изменчивую и составляющую продукт самого общества. «Случилось так, что мы однажды стали полагаться на разум и использовать способность к критике, — пишет Поппер, — и, как только мы почувствовали голос личной ответственности, а вместе с ней и ответственности за содействие прогрессу знания, мы уже не можем вернуться к государству, основанному на бессознательном подчинении племенной магии. Для вкусивших от древа познания рай потерян» (*Popper*, 1984: 200; в рус. пер. т. 1, с. 247–248). Потеря той мифической Аркадии, той естественной и простой жизни, по которой тосковал еще Ж.-Ж. Руссо, явилась ценой, которую пришлось заплатить за возможность выбора, за освобождение себя от исторического фатализма и от иррациональных форм поведения, за рациональный критицизм и самокритичность, за замену приписываемого, назначаемого статуса на статус достигаемый и за рост влияния на то, каким образом складываются собственные жизненные пути, а также условия совместной, коллективной жизни. Такова была цена открывшихся перед людьми новых горизонтов, после достижения и преодоления которых оказалось возможным не только придать качественно новый импульс экономическому и технологическому развитию, но также отыскивать пути к демократии и положить начало подлинной эволюции статуса человеческой личности в направлении к ее сегодняшним гражданским и человеческим правам.

### Главные типы современных режимов по Линцу и Степану

Хуан Хосе Линц и Альфред Стéпан (*Linz, Stepan* 1996: 44–45) выделяют и различают следующие типы современных политических режимов: 1) демократию; 2) авторитаризм; 3) тоталитаризм; 4) посттоталитаризм; 5) султанизм. Разумеется, тут представлены идеальные типы в веберовском смысле, а это означает, что их теоретическое описание, отнесенное к эмпирически наблюдаемым случаям, как правило, проявляет какие-то отклонения. Однако в реально существующих режимах основные характерные черты определенного типа остаются неизменными, что позволяет соотносить приведенную типологию с эмпирически наблюдаемыми режимами.

Поскольку теориям демократии, как и самой демократии, посвящен следующий раздел данной главы, то здесь характеристика этой системы не затрагивается, и мы сосредоточимся на описании остальных четырех типов. Представленная Линцем и Степаном характеристика учитывает четыре аспекта каждой из систем: степень плюрализма, роль идеологии, способы мобилизации масс, а также вид политического лидерства.

**Авторитаризм** характеризуется ограниченным плюрализмом в политическом измерении, однако это не такой плюрализм, который бы генерировал альтернативные политические опции, добивающиеся власти. Именно поэтому данный плюрализм является ограниченным, так как механизм конкурентной борьбы за власть здесь отключен и не угрожает авторитарной власти. Даже если он принимает форму разрешенной оппозиции. В общественной и экономической сферах допускается большая степень плюрализма, но, как правило, это формы плюрализма, «унаследованные» от предыдущей системы, которые политически нейтрализованы и, следовательно, непосредственно не угрожают авторитарной власти. Мы имеем здесь дело скорее с толерантным отношением к достигнутым формам общественного и экономического плюрализма, нежели с плюрализмом, генерируемым авторитарной системой *per se* (самой по себе).

В **тоталитарной** системе плюрализм в публичной жизни в принципе отсутствует. Правящая партия безраздельно осуществляет фактическую власть, причем эта монополия власти санкционирована действующим законодательством. Те формы плюрализма, которые существовали перед возникновением тоталитарной системы, устранены из публичной жизни — точно так же, как и пространство для возможного функционирования «второй экономики» или же «параллельного общества».

В **посттоталитарной** системе уже появляются отдельные формы общественного и экономического плюрализма, однако они не в состоянии сгенерировать альтернативные политические опции, поскольку пространство публичной жизни закрыто для политического плюрализма. Может появиться «вторая экономика» как дополнение к жесткой, неэффективной, но все равно продолжающей доминировать распорядительно-распределительной экономике, которая полностью контролируется государством. Власть терпит диссидентские группы, возникшие в оппозиции к тоталитарному режиму. В условиях зрелого посттоталитаризма диссидентские

группы часто предпринимая попытки создания «второй культуры» или даже «второго общества», которые не подчинялись бы контролю со стороны посттоталитарного государства.

**Султанизм** характеризуется далеко продвинутой толерантностью к экономическому и общественному плюрализму, однако он является полем для исходящих сверху непредсказуемых и деспотических интервенций. Никакой актор публичной жизни не избавлен от возможности любого подобного вмешательства со стороны «султана». Не существует верховенства права, а институционализация публичной сферы невелика. Граница между тем, что является публичным, и тем, что относится к частному, зыбка и не кодифицирована.

Роль идеологии в конкретных типах описанных выше систем различается. В условиях авторитаризма политическая система не организована вокруг какой-то ведущей идеологии, однако эта система вознаграждает определенный тип ментальности, а именно авторитарный (Koralewicz, 1987). Зато в условиях тоталитаризма существует ведущая идеология, в которой для данного общества, а иногда даже для всего мира вполне членораздельно артикулируется тот утопический порядок, к которому должны устремляться объединенные усилия масс. Указанная идеология служит источником легитимации тоталитарной власти, а также источником того ощущения миссии, которое присутствует здесь не только среди политических руководителей, но и у разнообразных групп населения и даже у индивидов. Из этой ведущей идеологии вытекают также исходные предпосылки для текущей политики тоталитарной власти. В посттоталитарной системе ведущая идеология, правда, по-прежнему существует, но она уже не имеет такой магнетической силы, как при тоталитарном строе, ибо слабеет вера в возможность достижения тех утопических целей, из которых исходит данная идеология. Место идеологических отсылок занимает более прагматический способ принятия решений, а также более прагматический публичный дискурс. Однако у подобного прагматизма существуют вполне определенные границы, а именно нерушимый характер основных устоев посттоталитарного порядка, которые позволяют ему сохраняться и воспроизводиться. При «султанстве» никакой идеологии в классическом толковании указанного понятия не существует. Вместо идеологии присутствует беспредельное восхваление и прославление лидера, а также произвольная манипуляция какими-то символами и интерпретацией действительности.

Авторитарная система не нуждается в массовой мобилизации людей. Ей достаточно, что те занимаются своими делами и не вмешиваются в политику. Технологии мобилизации масс применяются лишь спорадически, в единичных случаях, когда по каким-либо причинам возникает угроза для стабильности системы. Зато в условиях тоталитаризма безостановочно используется непрекращающаяся мобилизация масс через создаваемые системой массовые организации, принадлежность к которым если не обязательна, то как минимум «воспринимается властями одобрительно». Кадры всех уровней и активисты должны быть во всеоружии, иначе говоря в полной готовности к поддержанию энтузиазма масс, направляемого властями. Частная жизнь — в которой контроль государства ограничен — выглядит подозрительной. В посттоталитарной системе мобилизация масс ослабевает и вместе с этим уменьшается заинтересованность лидеров и активистов в поддержании такой мобилизации. Рутинная мобилизация через организации, контролируемые государством, разумеется, по-прежнему продолжает существовать, но она носит ритуализированный характер и лишена реального содержания. Фанатичные активисты заменяются карьеристами, оппортунистами и приспособленцами, а в публичной жизни преобладают скука и ритуальное окостенение. Власти принимают уход людей в приватную жизнь и одобряют его. В «султанской» системе мобилизация масс, как правило, невелика, но время от времени (главным образом по случаю неких церемониальных мероприятий) она все-таки организуется властями и получает широкий резонанс — либо по причине применяемого принуждения, либо из-за клиентелистской зависимости людей от власти. Иногда случаются эпизоды мобилизации неформальных парагосударственных групп, используемых для применения насилия по отношению к другим группам, на которые указал «султан» (это режиссируемый свержу «гнев народа»).

В авторитарной системе руководство принадлежит или лидеру, или узкому кругу предводителей, реализующим свое правление по правилам, которые довольно стабильны и предсказуемы, хотя формальным образом не до конца кодифицированы. В этой системе существует относительная автономия в смысле возможностей делать карьеру в администрации и армии (разумеется, до определенного уровня). Рекрутирование в элиту авторитарной власти происходит, как правило, через кооптацию.



В условиях тоталитаризма руководитель часто бывает харизматическим, а для власти, которой он обладает, характерны неопределенные границы и большая степень произвольности. Рекрутирование во властную элиту происходит исключительно через партийные каналы. При посттоталитаризме лидеры редко бывают харизматическими, зато они больше заботятся о личной безопасности и собственных интересах. Правда, рекрутирование во властную элиту по-прежнему возможно главным образом по партийным каналам, но не исключена также и кооптация (как при авторитаризме). Ведущие руководители, или так называемые первые лица, чаще всего рекрутируются из технократов, имеющих в партийном аппарате.

В «султанской» системе руководство является в высокой степени произвольным, безапелляционным, не терпящим возражений и личным. Положения или предписания законов никак не ограничивают лидера — скорее его воля служит источником права и уж как минимум хотя бы временных норм поведения. Повиновение руководителю «султану» опирается на механизм наказаний и вознаграждений. Рекрутирование в состав элиты, окружающей правителя, тоже носит крайне произвольный характер, а ее члены набираются из числа ближайших или более дальних родственников «султана», из его друзей, деловых партнеров либо из числа тех, кто особенно старательно, усердно и брутально применял насилие с целью максимального упрочения режима. Положение в этой своеобразной элите сильно зависит от сугубо личной лояльности повелителю и от готовности безоговорочно подчиняться ему.

Представленная здесь — вслед за Линцем и Степаном — краткая характеристика типовых режимов представляет собой, естественно, лишь одну из возможных типологий социально-политических систем. Таким образом, если я привлекаю именно эту типологию, то потому, что она особенно удобна для описания как исходной, стартовой точки при переходе от недемократического режима к демократии, так и влияния этой точки на протекание указанного перехода.

## Теории демократии

Утверждение, гласящее, что демократия — это правление народа, или народовластие, банально и, кроме того, не до конца правильно. Обойдем пока вопрос о правлении народа (им мы займемся

несколько позже). Попробуем дополнительно уточнить само понятие «народ» («демос»). Начиная с афинской демократии и вплоть до сегодняшнего дня не все люди принадлежат к «народу», иначе говоря к той части общества, которая располагает голосом в публичных делах. «Народ» — это, другими словами, граждане, которые пользуются всей полнотой публичных прав. К «народу» не относятся, к примеру, дети либо лица, по приговору суда лишённые публичных прав (обычно на какое-то время). Так обстоит сегодня дело в демократических системах, но история развития демократии является вместе с тем и историей борьбы за гражданские права тех общественных категорий, которые по каким-то причинам были исключены из гражданства. Об этом пойдет речь в главе, посвященной гражданству. А здесь будет пока достаточно констатировать, что сегодняшнее понимание демократии исходит из ее инклюзивности (включенности), иначе говоря из того, что никого не исключают {из нее, т. е. из обладания публичными правами} по соображениям пола, вероисповедания, провозглашаемых взглядов, расы, имущественного или образовательного статуса (ценза) и других качеств, свойств и черт, которые в прошлом лишали гражданских прав определенные группы лиц или социальные совокупности.

Если говорить максимально кратким образом, то демократия — это правление большинства при уважении прав меньшинства. В случае, когда мы имеем дело с правлением большинства без уважения прав меньшинства, такая система перерождается в «тиранию большинства» (Sartori, 1998: 170). Уважение прав меньшинства представляет собой, выражаясь другими словами, защиту прав оппозиции — она, правда, проиграла выборы, но правовая защита ее деятельности является одним из краеугольных камней, на которых зиждется демократическая система. Если же мы имеем дело с правлением меньшинства, то тут демократия перерождается в олигархию или прямо-таки в диктатуру.

Демократия может носить непосредственный (прямой) или представительный характер. Прямая демократия возможна в том случае, когда численность «народа», располагающего правом голоса, не слишком велика (так было, например, в афинской демократии). В подобной ситуации оказывается возможным разрешение важных, но текущих публичных вопросов путем непосредственного выражения поддержки тому или иному решению данного конкретного вопроса. В сегодняшних, огромных в количественном

отношении гражданских общества проявления прямой, непосредственной демократии принадлежат к исключениям и принимают вид всеобщих референдумов. Чтобы не парализовать процесс принятия решений и вместе с тем сохранить его демократический характер, была изобретена представительная демократия, иными словами выборы представителей в состав органов по принятию решений, которые от имени избирателей обсуждают и одобряют те или иные решения.

Вторым краеугольным камнем демократии являются конкурентные выборы в структуры публичной власти (*Schumpeter*, 1995). Конкурентный характер выборов означает, что каждый член демоса имеет право активного и пассивного участия в выборах, где за получение поддержки конкурируют по меньшей мере две партии. Активное избирательное право означает ничем не стесненную возможность выбирать представителей властей, а пассивное избирательное право означает точно так же ничем не стесненную возможность выставлять себя кандидатом на выборах, иначе говоря возможность быть избранным.

На эти два устоя и опирается демократическая система, облик которой на практике может иметь много разных вариантов. Исторически наблюдаемые модели демократии, функционирующие в конкретных обществах, в целом обычно отличаются от идеального типа демократического строя. Отклонения от этого идеального типа вызваны местным культурным контекстом, характером перехода от недемократической системы к демократии, а также разнообразием тех конкретных решений, в соответствии с которыми функционирует определенная общественная система. Тем не менее, невзирая на возможные отклонения, она не перестает быть демократической системой, если сохранены упомянутые ранее два фундаментальных принципа (правление большинства с уважением прав меньшинства, а также конкурентные выборы). Роберт Даль (*Dahl*, 1971) предлагает определять эти эмпирически функционирующие демократии названием «полиархия» (и данный термин будет далее широко употребляться). «Полиархия является политическим строем, в самой широко взятой форме отмеченным двумя общими характеристиками. Гражданство распространено на сравнительно большую часть взрослого населения. Права гражданства включают возможность выступать против высших должностных лиц в правительстве и смещать их посредством голосования», — пишет Даль (*Dahl*, 1995: 310; в рус. пер. с. 340).

Для устойчивости полиархии и ее стабильности определяющую роль играет в первую очередь стабильность и правомочность некоторого набора институциональных решений, которые позволяют, кроме того, с достаточной точностью отличить демократические системы от квазидемократических или просто недемократических. Как я писал в другом месте (*Wnuk-Lipiński*, 1996: 38, *passim*), лишь применение указанных институциональных решений дает возможность окончательно установить, действительно ли мы имеем дело с полиархией. Чтобы конкретная система осуществления правления могла быть признана демократической, ее должны характеризовать следующие семь институциональных решений (*Dahl*, 1995: 221; в рус. пер. с. 341).

1. **Выборные власти** (*elected officials*<sup>1</sup>). Выборные власти облечены конституцией правом контроля над правительственными решениями по поводу политики.
2. **Свободные и справедливые выборы**. Выборные власти избираются на свободно и справедливо проводимых выборах, где злоупотребления сравнительно редки.
3. **Включающее избирательное право** (*inclusive suffrage*). Практически все взрослое население имеет право голосовать во время избрания властей.
4. **Право претендовать на избрание**. Почти все взрослые вправе выдвигать свою кандидатуру на выборах на правительственные должности, хотя существующие ограничения на занятие постов могут превышать те, которые установлены для голосования.
5. **Свобода выражения своего мнения**. Граждане имеют право выражать свое мнение без страха строгого наказания по политическим мотивам в широком смысле, включая критику властей, правительства, режима, социально-экономического порядка и господствующей идеологии.
6. **Альтернативная информация**. Граждане располагают правом на поиск альтернативных источников информации.

---

<sup>1</sup> Вообще говоря, разные англо-русские словари дают в этом контексте следующие переводы слова *officials*: руководители; власти; должностные лица, чиновники (крупные, влиятельные). Кроме того, здесь и далее, в п. 3, английский термин принадлежит автору книги; в опубликованном русском переводе его нет.

Более того, альтернативные источники информации существуют и защищены законами.

7. **Организационная самодеятельность.** Для достижения различных прав, включая вышеперечисленные, граждане также вправе формировать сравнительно самостоятельные ассоциации или организации, включая независимые политические партии и группы интересов.

Вышеуказанные институциональные решения представляют собой необходимое, хотя и не всегда достаточное условие для соблюдения пяти основных – по мнению Р. Даля – критериев демократического порядка, а именно: 1) обеспечения равенства выбора; 2) обеспечения реального участия общества в политическом процессе; 3) создания возможностей для понимания того, что происходит в публичной жизни; 4) создания институциональных условий для общественного контроля за правительственными приоритетами; 5) включения взрослой части общества в состав демоса<sup>1</sup>.

Как вытекает из приведенных ранее рассуждений, демократия в большей степени является процедурой, нежели идеологией; она представляет собой прежде всего форму, совокупность формальных правил и институтов, в рамках которых есть место для самых разнообразных идеологий, причем каждая из них формально равноправна. Пространством столкновения таких разнообразных идеологий является публичная жизнь определенного общества. Это, разумеется, не означает, что демократия – как система – совершенно лишена ценностей. Подобное утверждение было бы слишком далеко идущим, а следовательно, никак не точным. Демократия имеет свою собственную аксиологию, где на передний план выдвигаются роль и права индивида, заключающиеся в его гражданском статусе и заимствованные из либеральных доктрин (эти вопросы будут рассмотрены в одной из последующих глав). Поэтому к понятию «демократия» часто добавляется прилагательное «либеральная» – как раз для того, чтобы акцентировать

---

<sup>1</sup> В разделе «Критерии демократического процесса» монографии Р. Даля «Демократия и ее критики» (с. 162–171) говорится про «пять стандартных – если угодно, идеально стандартных – критериев», но указаны и подробно разобраны лишь следующие четыре: эффективное участие; равенство голосования на решающей стадии; просвещенное понимание; контроль над повесткой дня.

в сегодняшних демократических системах именно весомость человеческой личности и ее прав.

На практике встречается много моделей полиархии, которые — хотя иногда они весьма ощутимо различаются между собой — не перестают, однако, удовлетворять тем институциональным критериям Даля, которые приписываются демократии. И речь здесь идет не только о естественных — ибо вытекающих из местной политической традиции — различиях в структурах власти, не об избирательных законах и положениях о выборах, а также не о способах пересчета набранных голосов на количество мандатов в представительных органах (если этот пересчет честен). Все указанные различия, разумеется, важны и могут ощутимо влиять на состав властной элиты или даже на структуру партийной системы, но они носят «технический» характер, потому что относятся к дифференцированным институциональным решениям одной и той же проблемы, а именно создания демократического представительства демоса в структурах власти (какими бы они ни были).

Гильермо О'Доннелл (O'Donnell) определяет демократию несколько другим способом. Он пишет, что «демократический режим (или политическая демократия, или же полиархия) содержит следующие составные элементы: а) честные и институционализированные выборы; б) определенные контекстные свободы, по поводу которых можно в разумных пределах полагать, что их совместное наличие создает высокую вероятность честных выборов; в) государство, которое на своей территории устанавливает, кто может быть признан в качестве политического гражданина; г) правовую систему того же самого государства, которая присваивает людям политическое гражданство исходя из принципов универсальности и инклюзивности и действуя при этом через защиту и поддержку вышеупомянутых контекстных свобод, а также пассивного и активного избирательного права и в целом различных способов участия в честных выборах» (O'Donnell, 1999: 27).

В подходах О'Доннелла, Роберта Даля, а также Йозефа Шумпетера (Schumpeter) есть одна общая черта, так как, по мнению всех этих теоретиков, она представляет собой стержень демократической системы; эта общая черта — существование свободных, честных, всеобщих и конкурентных политических выборов. Ибо только посредством таких выборов возможно создание по-настоящему демократического представительства. Если данный критерий удовлетворяется, то наименование демократической системы

может принадлежать очень сильно различающимся вариантам олиархии. Расхождения между отдельными эмпирически наблюдаемыми демократическими системами могут вытекать из разных институциональных решений, но могут также иметь и более глубокие социальные первопричины.

Более глубокие различия коренятся, с одной стороны, в структуре общества, а с другой – в исторически обусловленных и тоже коренящихся в социальной структуре вариантах и формах поведения политических элит. Причем важна здесь не только присутствующая в каждом обществе структура, обусловленная разделением труда, но также – и даже в большей степени – структура, обусловленная культурной фрагментацией общества (например, это могут быть этнические различия, глубокие религиозные расколы или разобщенность между образованным слоем и широкими массами, которым присущ низкий или очень низкий уровень образования).

Названные различия позволили Лейпхарту (Lijphart) сформулировать следующую типологию демократических режимов.

Таблица 1

#### Типология демократических режимов

Поведение элит	Структура общества	
	Гомогенная	Плюралистическая
Союзническое (кооперативное)	Деполитизированная демократия	Консоциональная демократия
Конфронтационное	Центростремительная демократия	Центрбежная демократия

Источник: (Lijphart, 1977: 106), а также схема 2 «Типология элит» в разделе «Типология демократических режимов» русского перевода этой работы (с. 142).

**В деполитизированной демократии** идеологические и религиозные виды напряженности ослабевают, зато появляется тенденция к заключению союзов между элитами, принадлежащими к разным политическим лагерям, во имя технократической эффективности при принятии решений. Ослабление идеологических и религиозных видов напряженности оказывается возможным потому, что в религиозном смысле общество носит относительно гомогенный характер, а в его общественной структуре (которая принимает форму ромба) доминирует большой по численности средний класс, тогда как разнообразные идеологии – продолжающие, правда, присутствовать в публичном дискурсе – уже не

возбуждают особой «общественной лихорадкой» и трактуются с изрядной дистанцированностью даже теми, кто их провозглашает. Такой тип демократической системы эволюционирует в направлении бюрократическо-корпоративных решений, где политическая конкуренция, доктринальные дискуссии и мобилизация поддержки со стороны масс для определенного варианта действий (определенной опции) угасают, а на этом месте появляются постоянные переговоры, к которым подключаются все существенные акторы публичной жизни. В деполитизированной демократии выбор определенного варианта или приоритета развития перестает быть публичным делом, а становится результатом компромисса разных акторов публичной жизни, включенных в процесс принятия решений. Исторически симптомы такой модели демократии впервые обнаружили на Западе в начале 60-х годов XX века (особенно в Скандинавских странах), когда часть теоретиков стали задумываться, не вступает ли западный мир в период всеобщих сумерек идеологии в публичной жизни. Но эта тенденция продержалась недолго, потому что уже на исходе 60-х и в 70-х годах идеологическая проблематика вновь начала становиться существенным фактором структуризации публичной жизни. Однако, как отмечает Аренд Лейпхарт, «из всех западных демократий скандинавские страны пошли дальше всех в направлении деполитизированной модели демократии» (*Lijphart, 1977: 111; в рус. пер. с. 147*)<sup>1</sup>.

**Центростремительная демократия** появляется в тех обществах, которые точно так же, как и в предыдущем случае, с точки зрения социальной структуры и религии относительно гомогенны, а кроме того, в них доминирует сильное чувство общности и наблюдается относительно гомогенный уровень политической культуры. В таком социальном контексте даже конфронтационное поведение элит наряду с явно отмечаемой политической борьбой между правительством и оппозицией не нарушает стабильности всей системы. Именно благодаря этой относительной однородности социальной базы указанные конфронтации никогда не

---

<sup>1</sup> При этом сам Лейпхарт, приводя фразу «из всех западных демократий скандинавские страны наиболее приблизились к деполитизированному типу», ссылается на работу: Heisler M. O., Kvikvik R. B. *Patterns of European Politics : The «European Polity» Model* // M. O. Heisler (ed.) *Politics in Europe: Structures and Processes in Some Postindustrial Democracies*. N. Y. : McKay, 1974. P. 46—48.



приобретают радикального уклона и в некотором смысле носят ритуализированный характер. К данному типу относятся, по мнению Лейпхарта, демократии англосаксонского типа, особенно Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия (Lijphart, 1977; в рус. пер. с. 147).

**Центробежная демократия** появляется в тех случаях, когда культурная фрагментация общества значительна и вместе с тем линии водоразделов резко очерчены. Кроме того (а может быть, и вследствие того), в функционировании элит преобладает конфронтация, а не политические союзы или хотя бы прагматическая кооперация. Примерами такой центробежной демократии могут послужить две французские республики (Третья и Четвертая), Веймарская республика или послевоенная Италия. Лейпхарт к перечню демократий данного типа добавляет еще Первую республику в Австрии, а также недолго просуществовавшую в начале 30-х годов XX века Испанскую республику и Северную Ирландию, которая, правда, не является суверенным государством, но пользуется огромной автономией (Ibid.: 114, 134; в рус. пер. с. 150, 170)<sup>1</sup>.

Последний тип системы назван Лейпхартом **сообщественной (или консоциональной)<sup>2</sup> демократией**. Этой модели он

---

<sup>1</sup> Нужно сказать, что Северная Ирландия подробно рассматривается Лейпхартом, но не применительно к центробежной демократии, а в обширном разделе, озаглавленном «Пределы общности: Северная Ирландия» (в рус. пер. с. 170–177).

<sup>2</sup> Этот термин используется, в частности, в названии отрывка из статьи Лейпхарта «Консоциальная демократия» (см.: Теория и практика демократии / пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М.: Ладомир, 2006. С. 119–122), хотя, как уже отмечалось, в переводе его труда «Демократия в многосоставных обществах...» широко используется термин «общественная демократия». При этом редакторы данного перевода, объясняя выбор указанного термина, пишут: «Понятие „общественность“... производно от слова „общество“ (consociation), достаточно распространенного в научной литературе (известно, например, что еще Дж. Локк размышлял о религиозном обществе). Сегодня оно широко употребляется не только в политической науке, но и в политической практике (например, „мировое сообщество“, „региональное сообщество“, „Европейское экономическое сообщество“ – ЕЭС, „локальное сообщество“, в том числе в рамках отдельных государств, и т.п.), отражая вполне конкретные реалии современной политической жизни». К сожалению, не очень понятно, почему эти редакторы посчитали, что слово consociation переводится как «общество» (не говоря уже о том, что ни в одном из приведенных ими

уделяет больше всего места, полагая, что она представляет собой самый многообещающий тип демократического режима, где культурная и классовая сегментация, создающая очень сильно плюрализованное («многосоставное») общество, может, однако, функционировать стабильным и относительно эффективным способом. Сообщественную (или консоциональную) демократию, пишет Лейпхарт, «можно определить через следующие четыре ее характерных элемента, из которых первым и самым важным является осуществление власти большой коалицией политических лидеров всех значительных сегментов<sup>1</sup> многосоставного общества. <...> Три других важных элемента общественной демократии — это (1) взаимное вето или правило „совпадающего большинства“, выступающие как дополнительная гарантия жизненно важных интересов меньшинства; (2) пропорциональность как главный принцип политического представительства, распределения постов в государственном аппарате и средств государственного бюджета и (3) высокая степень автономности каждого сегмента в управлении своими внутренними делами» (*Lijphart*, 1977: 25; в рус. пер. с. 59).

Центростремительная демократия и консоциональная (сообщественная) демократия являются очень устойчивыми, стабильными системами. Деполитизированная демократия на короткой дистанции весьма стабильна, но на более длинной она теряет не только стабильность, но и легитимацию, так как в публичной жизни появляются силы, подрывающие ее правомочность как раз по

---

примеров это английское слово не используется). Во всех англо-русских словарях, в том числе в специализированном «Социологическом словаре», оно переводится как «объединение», «товарищество», «ассоциация», поэтому понятие «сообщественность» и в тексте книги Лейпхарта, и в данной книге следовало бы, строго говоря, заменить на «объединенность» или «ассоциативность», которые в данном контексте неприемлемы, поскольку они уже имеют четкие (и абсолютно иные!) значения. Остается либо «товарищественность», либо какой-то синоним (например, «альясность»), либо калька «консоциальность», которая представляется наилучшим выбором.

<sup>1</sup> Как отмечают редакторы русского перевода работы Лейпхарта (с. 27), «под сегментами автор понимает некие совокупности индивидов, представляющие собой организованные или неорганизованные группы, которые различаются по языковым (лингвистическим), религиозным, этническим и т.п. признакам, исповедуют разные взгляды и имеют разные интересы».

той же самой причине, которая ненадолго гарантирует ей стабильность, а именно потому, что при ней сходят на нет все виды политической конкуренции, а также любые идеологические дискуссии и граждане постепенно вытесняются экспертом, который — как в корпоративной модели — берет на себя контроль над процессом принятия решений. Центробежная демократия наименее стабильна, и вследствие этого ее историческое существование, как правило, не бывает продолжительным — она либо переходит в консоциональную демократию, либо исчезает, поскольку ее место занимает авторитарный режим.

### Либерализация и демократизация

Обсуждение теории перехода от авторитарной системы к демократии для начала требует разъяснения двух ключевых понятий, полезных и помогающих при описании данного явления. Одним из них является либерализация, а вторым — демократизация. Проблемой демократизации и либерализации занимались многие теоретики — Джузеппе Ди Пальма (*Di Palma*, 1990: 81), Линц, Степан (*Linz, Stepan*, 1996: 3), Кауфман (*Kaufman*, 1986), Пшеворский (*Przeworski*, 1986: 56), а более всего Гильермо О'Доннелл и Филипп К. Шмиттер (*O'Donnell, Schmitter*, 1986).

Либерализация и демократизация представляют собой два разных аспекта процесса перехода от авторитаризма к демократии. В перечисленных выше работах даются очень разные способы определения указанных явлений, равно как и взаимозависимости между ними. К примеру, Линц и Степан (*Linz, Stepan*, 1996: 3) предполагают, что либерализация обычно наблюдается совместно с демократизацией, поскольку либерализация в недемократических условиях означает такие изменения, как ослабление цензуры, увеличение пространства для автономной деятельности рабочих организаций, внедрение некоторых правовых гарантий, обеспечивающих защиту индивида (например, принципа *habeas corpus* [личной неприкосновенности]), освобождение большинства политзаключенных, возможность возвращения для политических эмигрантов, а также — что, по мнению этих авторов, является самым важным — появление терпимого отношения к существованию неформальной оппозиции. Демократизация же — с их точки зрения — представляет собой более широкое понятие, ибо она требует возможности открытого протеста и выступлений

против сил, контролирующих правительство, а как следствие — требует конкурентных выборов, результат которых устанавливает, кто управляет страной.

Однако для употребления в дальнейших рассуждениях я приму несколько другую интерпретацию указанных понятий, отчасти являющуюся попыткой как минимум упорядочить те разнообразные определения, на которые я ссылался ранее. В такой трактовке либерализация — говоря с максимальной краткостью — относится к правилам, действующим в публичной жизни определенного общества в качестве обязательных, тогда как демократизация — к тем социальным категориям (группам), которые включаются в рамки демоса и могут этими правилами пользоваться.

Определенная таким способом либерализация отнюдь не предрешает, что внесение в авторитарную систему более либеральных правил непременно должно нарушать идентичность этой системы и неизбежным способом вести к ее эрозии, а в конечном итоге к падению. Причина в следующем: все зависит от того, кто может пользоваться указанными более либеральными правилами (а следовательно, от степени демократизации системы). Если либеральные правила зарезервированы единственно для какого-то узкого слоя (например, для сети должностей, носящих стратегический характер с точки зрения стабильности и репродуктивных способностей системы), в то время как для подавляющего большинства общества они недоступны, то мы имеем дело с такой либерализацией, которая — по крайней мере, на какое-то время — может даже укрепить авторитарную систему. Ведь либерализация в таком случае равнозначна созданию для особо отобранной узкой группы «преторианцев системы» неких либеральных отступлений от обязательных для всех правил игры, иначе говоря образованию привилегий, которые — в условиях, когда социальные коммуникации контролируются механизмом цензуры, — могут оставаться общественно незаметными и не будут запускать в публичной жизни механизм относительной депривации (об этом механизме пойдет речь в следующей главе). Взамен за такой привилегированный доступ к более либеральным правилам игры авторитарная система может добиться укрепления лояльности к себе (уже не из идеологических, а из чисто прагматических соображений) со стороны тех групп, которые занимают в структуре власти и экономики ключевые позиции с точки зрения стабильности системы и ее репродукции. При-

чем это отнюдь не только теоретический аргумент. На практике всякая недемократическая система применяет для своих «преторианцев» разнообразные привилегии, которые, по сути дела, представляют собой либеральное отступление от ортодоксального употребления одних и тех же правил в публичной жизни.

Демократизация может пониматься как степень общественной эмансипации, или, другими словами, как степень эгалитаризации правил игры, обязывающих в публичной жизни, либо, выражаясь еще иначе, уравнивания публичных прав, которые положены членам определенного общества. Чем больше социальных категорий уже на старте исключаются из самой возможности участия в публичной жизни на принципах, доступных другим, или, формулируя это на иной лад, чем больше существует социальных субъектов, которые не могут реализовать на практике публичные права, доступные другим субъектам, тем в меньшей степени демократизирована определенная система и *vice versa* (наоборот).

Зависимость между либерализацией и демократизацией иллюстрируется рис. 1.

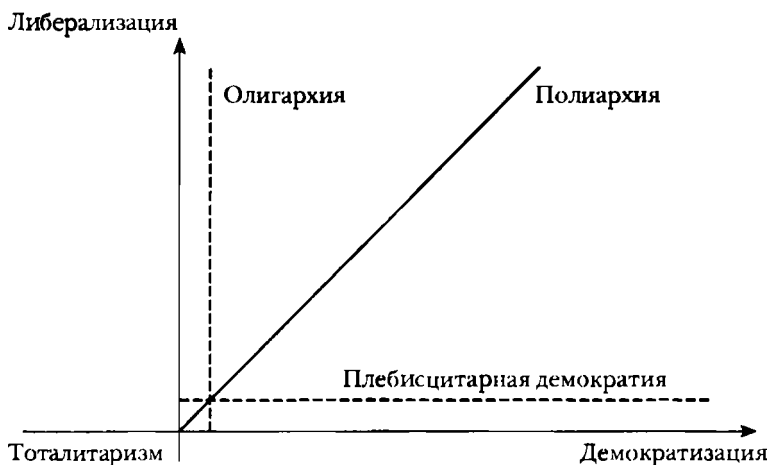


Рис. 1. Либерализация и демократизация

За исходную точку мы можем принять идеальный тип тоталитарного строя, в котором правила игры даже для самых высоких функционеров системы максимально далеки от либерализма, и вместе с тем в такой системе вообще нет подлинной публичной жизни, поскольку все это пространство целиком и без всякого

остатка заполняют события, которые порождаются сверху. Указанная система представляет собой удобную исходную точку по той причине, что уровень обеих рассматриваемых ценностей (т.е. либерализации и демократизации) здесь близок к нулю. Теоретически — что вытекает из рис. 1 — возможна как демократизация без либерализации, так и либерализация без демократизации.

Демократизация без либерализации — это процесс, включающий очередные сегменты общества в пределы демоса, однако же при этом правила игры, действующие в публичной жизни в качестве обязательных, остаются далекими от либерализма. Причем это вовсе не правила, навязываемые сверху (как в тоталитаризме), но принимаемые и одобряемые теми, кто конституирует демос, а такие лица образуют преобладающее большинство. Этому процессу соответствует линия, параллельная оси демократизации и, по правде говоря, не очень далеко от нее отстоящая — ввиду незначительного прогресса на оси либерализации.

Как бы странно ни выглядело такое сочетание, оно отнюдь не является искусственной конструкцией, теоретически придуманной единственно для окончательного дополнения обсуждаемой модели. В отдаленной истории — да и во вполне современной тоже — можно с легкостью найти много эмпирических иллюстраций именно такого процесса. Достаточно назвать популистскую систему в Аргентине времен Перона, Беларусь в период правления Лукашенко с существующими там сильными элементами популизма, Алжир, который являет собой случай особенно необычных последствий демократизации. До 1989 года единственной легальной партией в этой стране был Фронт национального освобождения. Вступление Алжира в 1989 году на путь демократизации сделало возможным создание партий, являющихся политическими соперниками по отношению к Фронту национального освобождения. Первые по-настоящему конкурентные выборы в этой стране, проведенные в 1990 году, принесли решительную победу Мусульманскому фронту спасения — партии фундаменталистского толка. Это привело к серьезным общественным волнениям и беспорядкам, результатом которых стало введение чрезвычайного положения. В 1991 году там провели повторные свободные и всеобщие выборы, которые снова с большим перевесом выиграл фундаменталистский Мусульманский фронт спасения. В соответствии с волей большинства в Алжире, вероятно, возникла бы очередная исламская республика, если бы через месяц после указанных

выборов армия не совершила государственный переворот и не запретила деятельность Мусульманского фронта спасения<sup>1</sup>.

Либерализация без демократизации — это процесс, в рамках которого правила игры, правда, делаются все более и более либеральными, но пользоваться ими может лишь узкая группа привилегированных личностей. Результатом такого процесса становится олигархизация системы, характеризующаяся наличием относительно небольшой группы привилегированных лиц, которые косвенно или непосредственно правят огромными массами людей, лишенных доступа к этим привилегированным правилам игры и оказывающихся тем самым — вследствие отсутствия надлежащего прогресса демократизации — гражданами второй категории. Такой ситуации на рисунке соответствует линия, параллельная оси либерализации и тоже не очень далеко от нее отстоящая — ввиду узкого состава группы, которая вкушает плоды однобокой либерализации.

Между двумя указанными только что крайними случаями (либерализацией без демократизации, с одной стороны, и демократизацией без либерализации — с другой) располагаются разнообразные пути отхода от авторитарной системы в направлении какой-либо из моделей демократии. Чем более равномерен прогресс в одном и другом измерениях, тем выше вероятность того, что изменение системы приведет к возникновению полиархии, по возможности максимально близкой к идеальному типу либеральной демократии. На рис. 1 этому процессу соответствует линия, идущая под углом 45 градусов к обеим осям координат.

## **Демократические революции в условиях глобализации мира**

Конец XX века был отмечен таким значительным ростом числа демократических стран и таким небольшим их выбыванием из этого перечня, что не возникало сомнений: мы имеем дело с глобальной тенденцией, добирающейся до разных континентов, даже до тех цивилизационных и культурных кругов, где общества и государства никогда ранее не функционировали в рамках демократической системы. Указанную тенденцию стали, вслед за Сэмюэлом

---

<sup>1</sup> Как известно, весной 2011 года и позднее, т.е. уже после написания этой книги, ситуация в Алжире получила дальнейшее развитие в рамках так называемой арабской весны.

Хантингтоном (*Huntington, 1991*), называть **третьей волной демократизации**.

Хантингтон подверг пристальному рассмотрению возникновение и исчезновение демократических государств на протяжении без малого двух последних столетий. Из этих его наблюдений вытекало в качестве итогового вывода, что в течение одних периодов численность государств с разными вариантами демократического строя возрастает, а в течение других — уменьшается. Другими словами, дело обстоит отнюдь не так, что переход от авторитарного строя к демократии означает окончательный разрыв с недемократическим прошлым. Хантингтон зафиксировал много случаев, когда переход к демократии оказывался лишь кратковременным эпизодом, за которым следовало возвращение к недемократическому строю, иногда даже в более репрессивной форме, нежели перед этим эпизодическим изменением. Такие смены видов общественного строя напоминали волнообразные колебания, и отсюда взялась его метафора о волнах демократизации, которая привилась в качестве обозначения этих глобальных процессов. Волна демократизации определяется Хантингтоном как «группа переходов от недемократических режимов к демократическим, происходящих в определенный период времени, количество которых значительно превышает количество переходов в противоположном направлении в данный период» (*Huntington, 1991: 15*; в рус. пер. с. 26). В соответствии с его хронологией первая волна демократизации, достаточно длительная, но относительно невысокая, проходила в 1828—1926 годах. Эта волна была долговременным отголоском двух революций, случившихся в конце XVIII века: американской и французской, но демократические институты, которые возникли в результате этой волны, были уже продуктом XIX века. Симптомы отката первой волны демократизации просматривались уже в начале 20-х годов XX века. В целом 20-е и 30-е годы прошлого столетия характеризовались отступлением от демократии либо в направлении традиционных авторитарных режимов (например, в Латинской Америке), либо в направлении фашистского или же коммунистического тоталитаризма (например, в Европе и Азии). Вторая, короткая волна демократизации возникла на исходе Второй мировой войны. Хантингтон связывает указанную волну демократизации с образованием демократических режимов на территориях, освобожденных западными союзниками от фашизма (в частности, это Западная Германия, Япония, Корея,



Австрия, Италия, Норвегия). Вторая волна демократизации — по мнению Хантингтона — исчерпала себя в самом начале 60-х, главным образом вследствие авторитарных переворотов в Латинской Америке. Однако, как показывают более точные и детализированные исследования Ренске Доренсплита (*Doorenspleet*, 2000), не было столь уж отчетливого отступления второй волны демократизации, как утверждает Хантингтон, а скорее имел место некоторый застой, который продолжался вплоть до середины 70-х годов XX века. Расхождения между подсчетами Хантингтона и Доренсплита возникают из-за того, что Хантингтон при датировке подъема и спада двух первых волн демократизации опирался на такой показатель, как меняющийся процент демократических государств в общем количестве государств на планете. Тем временем в абсолютных цифрах число демократических государств демонстрировало лишь незначительные флуктуации — даже в те периоды, когда, по оценкам Хантингтона, мы имели дело с угасанием второй волны демократизации. Доля демократических государств в общем количестве государств на Земле оказалась показателем, который в определенном смысле сбивает с толка, поскольку период деколонизации означал весьма ярко выраженный рост числа суверенных государств, так что база для расчетов была непостоянной.

Начало третьей волны демократизации Хантингтон датирует 1974 годом, когда наступил конец диктатуры в Португалии (революция красных гвоздик). Однако лишь после падения мировой коммунистической системы третья волна приобрела особую стремительность, хотя снова в оценках Хантингтона быстрый рост числа суверенных государств после распада СССР (база для вычислений) несколько снизил рост процента демократических государств. Тем временем выкладки Доренсплита (*Doorenspleet*, 2000: 399) показывают, что третья волна демократизации имела две явно выраженные фазы. В первой, более умеренной (1976—1990 годы), 24 страны перешли от авторитарной системы к демократической, а 12 прошли путь в противоположном направлении (что дает прирост, составляющий 12 демократических стран). Во время второй фазы (1990—1994 годы), которую Доренсплит называет «взрывообразной волной», целых 34 страны перешли от авторитаризма к демократии и только 4 — в противоположном направлении, что дает прирост в 30 демократических стран. Третья волна может по-прежнему нарастать, и уж наверняка сегодня отсутствуют видимые симптомы того, что она скоро повернет вспять.

Чтобы хорошо понять третью волну демократизации, нужно позиционировать ее в контексте глобализации, поскольку именно этот контекст придает ей особенный характер, отличающий данную волну от предыдущих двух. Первая и вторая волны демократизации характеризовались довольно ограниченной областью действия, тогда как нынешняя волна, особенно после 1989 года, приобрела глобальный характер. И, хотя значительная часть человечества по-прежнему живет при таких режимах, которые никоим образом и ни по каким меркам нельзя причислить к демократическим, все-таки никогда в истории число демократических государств (полиархий) не достигало столь больших значений, как теперь.

В конце 70-х годов Иммануил Валлерстайн (*Wallerstein*, 1979) предложил типологию такого явления, как экономическая и хозяйственная глобализация мира, причем указанную типологию удастся применить не только к экономическому слою глобализации. В соответствии с его взглядами мир можно разделить приблизительно на три уровня: (а) первый уровень образуют государства (или даже группы государств), составляющие ядро глобализационных процессов; (б) на втором уровне располагаются государства либо группы государств, которые Валлерстайн называет «полупериферией», тогда как (в) на третьем уровне пребывают государства, оказавшиеся на периферии названного основного потока мировых изменений. При отнесении той или иной конкретной страны к одному из этих трех выделенных выше уровней решающую роль играет положение, которое экономика этой страны занимает в мировом разделении труда.

Территории, относимые к первому, центральному, уровню, первенствуют в технологической гонке, концентрируют у себя ресурсы мирового капитала, отличаются высокой производительностью труда, низкими инвестиционными рисками, а также высоким национальным доходом *per capita* (на душу населения). А вот периферийные страны третьего уровня поставляют на мировой рынок сырье и продукты с низкой степенью переработки и простыми технологиями, а окупаемость этого производства основана на дешевой рабочей силе.

Периферийные страны пребывают в экономической зависимости от стран, принадлежащих к ядру, и эксплуатируются этими последними. Пространства, отнесенные Валлерстайном к полупериферии, также эксплуатируются центром, но вместе с тем

принимают участие в эксплуатации периферии<sup>1</sup>. Тем самым согласно основным идеям этой концепции глобализация представляет собой явление с иерархической структурой, причем привилегированное или ущемленное место в такой структуре определяется экономикой данной территории.

Многие из теоретиков демократии, в частности Даль (*Dahl*, 1971), Линц и Степан (*Linz, Stepan*, 1996), Хантингтон (*Huntington*, 1991), Липсет, Сен и Торрес (*Lipset, Seong, Torres*, 1993), обращают внимание на тот факт, что вероятность устойчивого закрепления полиархии после удачной демократической революции отчетливо возрастает, если уровень экономическо-цивилизационного развития страны более высок, социальное неравенство в ней не слишком велико и не достигает драматического уровня, а в обществе жив какой-то опыт гражданских действий.

Вышеперечисленные условия сильно разнятся в зависимости от того, располагается ли данная страна в центре нынешних процессов глобализации, на их полупериферии или же на периферии. Чем дальше от полиархий, составляющих ядро глобализации, тем — в общем и целом — ниже уровень экономического развития, сильнее экономическое неравенство и ниже гражданская культура. По этим причинам следовало бы ожидать, что третья волна демократизации примет концентрическую форму и сумеет добираться с относительно большой амплитудой до полупериферии, но на периферии уже начнет затухать, поскольку будет сталкиваться со все менее выгодными условиями для своего укоренения и консолидации.

Тем временем эмпирические данные (*Doorenspleet*, 2000) показывают, что демократические принципы во все большей степени внедряются и на периферии тоже. Такое происходит как минимум по трем причинам. Во-первых, действует «демонстрационный эффект». Все без исключения страны, принадлежащие к ядру глобализации, являются полиархиями и добились заметных экономических, хозяйственных, а также технологических успехов, благодаря которым стали мощными экономическими и политическими силами, а некоторое из них — еще и сильными военными державами. Страны, расположенные на полупериферии, а также и на

---

<sup>1</sup> Надо сказать, что Валлерстайн относит к полупериферии Россию и даже СССР в годы холодной войны, называя его «субимпериалистической державой» при единственной сверхдержаве — США.

периферии, в большинстве своем предпринимают попытки, нацеленные на подражание и следование этому успеху через внедрение основных принципов свободного рынка в экономику, равно как демократических принципов — в политическую сферу. При этом они рассчитывают, что таким способом им удастся покинуть статус полупериферии или даже периферии и присоединиться к зажиточным странам из центрального ядра глобализации.

Во-вторых, полиархии, принадлежащие к указанному центру (особенно США), ведут такую внешнюю политику, элементами которой являются как популяризация экономики свободного рынка и поддержка дерегулирования внутренних и международных экономических и хозяйственных отношений, так и поддержка устремлений к демократизации, проявляющихся на периферии и полупериферии (Robinson, 1996). Эта поддержка выражается в применении разнообразных стимулов, поощряющих к вступлению на путь демократизации (от экономических стимулов через содействие местным демократическим движениям и их снабжение техническими и финансовыми ресурсами, дающими им возможность вести свою деятельность, вплоть до передачи *know-how*).

Наконец, в-третьих, здесь действует «эффект домино» либо «снежного кома» (Diamond, 1993; Nagle, Mahr, 1999). Если какая-то одна страна конкретного региона отважилась вступить на путь демократизации, то в соседних странах, как правило, вставал вопрос: коль скоро они смогли, то почему не мы? Этот синдром, к примеру, наверняка сработал в Центральной и Восточной Европе в 1989 году, где по примеру Польши стали действовать и другие страны данного региона, а также в Южной Азии, где в середине 80-х годов примеру Филиппин последовала Южная Корея.

Перечисленные три фактора объясняют, почему третья волна демократизации добралась в том числе и до тех районов планеты (за исключением мира ислама), которые не располагали ни соответствующим историческим опытом, ни живыми традициями демократического и гражданского свойства.

Третью волну демократизации, особенно после падения коммунистической системы, мы вправе назвать волной **демократических революций**. Эти революции — в отличие от обсуждавшихся ранее классических революций — протекали в целом без применения насилия и без кровопролития. Именно по этой причине определенная часть теоретиков колеблется, можно ли характеризовать эти фундаментальные изменения общественной системы

с применением термина «революция» или же их скорее надлежало бы определять как глубокие системные реформы. Если, однако, принять, что революция – это относительно внезапная и быстрая смена одного общественного порядка на другой, то правомочно определять такое изменение как революцию, даже если оно не сопровождается ни баррикадами и революционной идеологией, ни даже мифологией, присутствующей в классических революциях.

### Теории перехода к демократии

Демократические революции имели место в разных странах и в далеко не совпадающих экономических, политических, хозяйственных и даже культурно-цивилизационных контекстах. Как следствие, встает вопрос, присущи ли тем явлениям, которые укладываются в поток третьей волны демократизации, какие-то общие черты, какие-то закономерности, сопровождающие – независимо от контекстных отличий – столь глубокие перемены? И обладают ли эти черты такими общими свойствами, что их можно интерпретировать в рамках одной из существующих теорий? Если бы никаких закономерностей идентифицировать не удалось, это означало бы, что мы беспомощны в познавательном смысле и не в состоянии сказать об указанных демократических революциях ничего существенного, кроме того что они случились и протекали таким-то способом, поддающимся исторической реконструкции. К счастью, дело обстоит совсем не так и отдельные закономерности удастся вычленивать и интерпретировать, а это позволяет считать, что разным вариантам перехода к демократии – безотносительно к дифференцированному общественному контексту и различающимся точкам старта – все-таки свойственны определенные общие черты, которые уже предоставляют нам возможность вести теоретические рассуждения на данную тему.

Однако вначале необходимо разъяснить два ключевых понятия, которые присутствуют в теоретических рассмотрениях и зачастую трактуются, хотя и ошибочно, как синонимы. Первым из этих понятий является **трансформация**, тогда как вторым – **переход**, или **транзит** (*transition*). Трансформация – если говорить с максимальной краткостью – означает системное изменение с неизвестным результатом. Это процесс, о котором мы можем с полной уверенностью сказать единственно следующее: он представляет собой

преобразование старой системы, причем настолько фундаментальное, что уже нельзя говорить о продолжении ее существования. У трансформации нет ясно и точно сформулированной цели, на достижение которой направлены изменения. Поэтому, в частности, точкой отсчета для оценки протекания трансформации служит точка старта; так происходит по той причине, что при таком подходе мы в состоянии установить эмпирически, насколько ход изменений отдаляет нас от старой системы. Тем временем у понятия «переход» (или «транзит») имеются сильные телеологические коннотации, поскольку оно означает такие системные изменения, которые ведут к некой (в большинстве случаев не слишком строго определенной) модели общественной системы. Как раз по указанной причине при употреблении данного понятия оно обычно дополняется названием этого целевого типа общественного порядка (например, переход к демократии). В таком случае эталонной точкой отсчета и сопоставления, служащей для оценки протекания изменений, а также их направленности, является точка назначения, а именно мы исследуем, насколько происходящие изменения приближают нас к задуманной модели общественной системы. Если мы хотим исследовать, имеет ли протекание изменений только выборочный, секторальный характер или же оно является революционным (а следовательно, охватывает все существенные сферы публичной жизни), то можем локализовать упомянутые точки отсчета в трех разных измерениях — политическом, экономическом и общественном. Если мы имеем в виду переход от коммунизма к демократии или трансформацию коммунистической системы, то такие разные точки отсчета в отдельных конкретных измерениях представлены в табл. 2.

Таблица 2

**Точки отсчета для оценки протекания трансформации перехода к демократии**

	Политическая сфера	Экономическая сфера	Общественная сфера
	Точки отсчета		
Трансформация	Однопартийная система	Распорядительно-распределительная экономика	Закрытое общество
Переход к демократии	Либеральная демократия	Свободный рынок	Открытое общество

**В трансформационной** парадигме предположением, которое фигурирует на выходе, является тезис о том, что старая система закончилась, поскольку оказались запущенными процессы, делающие невозможной ее стабилизацию и репродукцию, но при этом отнюдь не очевидно, к чему приведут указанные трансформационные процессы. Чтобы изучать изменения, их темп, глубину и направленность, надо позиционировать их по отношению к каким-то постоянным точкам отсчета. В данном случае функцию таких постоянных точек отсчета выполняет точка старта. Тем самым в политической сфере исследуется, насколько изменения политической системы (правила игры, институциональные изменения, а также изменения в политических установках и вариантах поведения) разнятся от точки старта, которая относительно хорошо определена как однопартийная система – вместе с набором ее правил игры в публичной жизни, с характерными для этой системы институтами, а также с такими установками и формами поведения в публичной жизни, которые генерируются данным специфическим набором правил игры и институтов. В экономической и хозяйственной сфере предметом заинтересованности в данной парадигме является степень отклонения от правил, институтов, а также установок и форм поведения, типичных для распорядительно-распределительной экономики. В свою очередь, в общественной жизни исследовательский интерес концентрируется на том, насколько, в общем и целом, трафареты установок и вариантов социального поведения отличаются от установок и вариантов поведения, типичных для закрытого коллективистского общества.

**В транзитологической** парадигме точками отсчета служат некоторые модельные или нормативные аспекты демократии (известные из теории либо из опыта других стран со стабильными демократиями). В политической сфере исследования концентрируются в данном случае на том, насколько происходящие изменения устремлены к более или менее приблизительно определенной модели либеральной демократии, в экономической сфере основным вопросом становится степень регулирования экономики рыночными механизмами, тогда как в общественной сфере главной проблемой делается вопрос о том, в какой мере происходящие изменения приблизили определенное общество к идеальному типу открытого общества и насколько коллективизм оказался замененным индивидуализмом.

Демократические революции в отличие от революций классических носили в целом мирный характер. Именно поэтому их

также называют иногда «переговорными революциями» (Bruszt, 1991). Относительно мирный характер имели переходы к демократии в Португалии и Испании в 70-х годах, а также в Латинской Америке в 80-х годах минувшего столетия (Linz, Stepan, 1996), и именно они положили начало третьей волне демократизации. В этой связи возникают вопросы, можно ли идентифицировать причины вступления недемократических режимов на путь демократизации, или это всякий раз были такие причины, которые составляют уникальное сочетание местных факторов, запустивших в ход системную перемену, или же мы имеем здесь дело с более универсальными факторами, которые запускают процессы отхода от недемократической системы.

Наиболее часто упоминаемым фактором падения недемократических режимов является легитимационный дефицит, или, другими словами, крах веры в правомочность системы среди людей, живущих в этой системе. Теории такого типа исходят из предположения, что никакая система не может продолжать свое существование и воспроизводиться без общественной легитимации, без поддержки или хотя бы позволения со стороны масс. Однако такие утверждения можно поставить под сомнение. Адам Пшеворский (Przeworski, 1986: 51–52), к примеру, аргументирует, что «для стабильности какого-нибудь режима решающую роль играет не легитимность данной конкретной системы господства, а наличие или отсутствие желательных альтернатив. <...> Режим не рухнет так долго, пока ему не будет организована какая-нибудь альтернатива, причем таким способом, чтобы она представляла собой реалистический выбор для взаимно изолированных индивидов». Подобная аргументация довольно убедительна. Ведь известны чрезвычайно репрессивные режимы, которые долго держали своих подданных в повиновении исключительно путем принуждения и возбуждения страха перед санкциями за неподчинение. Легитимация такой системы, иначе говоря вера в ее правомочность, была незначительной, но реалистическая альтернатива отсутствовала (например, так было на Украине в 30-х годах XX века во время форсированной коллективизации, в результате которой голод собрал многомиллионную жатву смерти, но, невзирая на это, стабильность сталинской системы не подвергалась угрозе).

Однако, чтобы такая альтернатива могла возникнуть, а вдобавок еще и удовлетворять критерию реалистического варианта выбора для изолированных системой индивидов, в монолитной — по



крайней мере, внешне – властной элите недемократической системы должна возникнуть трещина, причем она должна быть видимой для общественности. Раскол во властной элите происходит в результате воздействия самых разных причин, которые меняют контекст настолько, что удержание хотя бы фасада единства оказывается уже невозможным. Таких причин может быть много (например, смерть безраздельно правившего деспота и борьба за наследование, унижительное военное или дипломатическое поражение, которое напрочь лишает вождя бывшего мифа непогрешимости и неприкосновенности, глубокий экономический кризис и т.д.), но запускают процессы системного изменения не сами такие события, а их воздействие на сплоченность властной элиты в старой системе.

Такого рода демократические революции, осуществленные переговорным путем, отнюдь не обязательно должны быть единственным типом перехода от недемократической системы к демократии. Степан (*Stepan*, 1986: 65–84) описывает восемь разных путей фундаментального изменения недемократической системы<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Это следующие типы перехода к демократии: 1) реставрация демократии после освобождения от оккупации со стороны недемократического режима (так обстояло дело во многих странах Западной Европы после Второй мировой войны, в частности в Голландии, Бельгии, Норвегии и Дании); 2) внутреннее переформулирование системных правил; этот путь к демократии появляется в те моменты, когда недемократический оккупант побежден – главным образом внешними силами, – а внутренние антидемократические и коллаборационистские силы, сотрудничавшие с оккупантом, отстранены от власти внешними силами (так выглядела ситуация Франции и Греции после Второй мировой войны; Италия же – по мнению Степана – представляла собой случай, являющийся сочетанием путей с померами 2 и 3); 3) контролируемое и наблюдаемое извне установление демократической системы (таков был в первую очередь случай Западной Германии и Японии после Второй мировой войны, а также частично Италии); 4) вступление на путь демократии, инициированное самим авторитарным режимом; так происходит в тех случаях, когда старая властная элита видит, что ввиду меняющихся внешних и внутренних обстоятельств ее долговременные интересы будут обеспечены лучше, если на смену авторитарным решениям придут решения демократические (к этой категории можно отнести, в частности, Испанию, Португалию и Перу); 5) свержение недемократического режима общественными силами (например, в Аргентине); 6) пакт в пользу демократии, согласованный прежде всего между оппозиционными партиями и направленный против авторитарного режима (такими были случаи Колумбии и Венесуэлы,

По поводу этой типологии можно высказать много оговорок и возражений (как логических, так и интерпретационных), поэтому я не привожу здесь ее подробного описания. Более того, системное изменение, реализованное переговорным путем, совсем не обязательно должно носить демократический характер (например, когда пакт между элитами исключает из игры какие-то существенные сегменты общества и их политическое представительство); кроме того, даже пакт, задуманный в качестве демократического, может быть заключен между партнерами, слишком слабыми для того, чтобы воплотить этот пакт в жизнь и в дальнейшем сохранить его, поскольку может появиться третья сила, никоим образом не связанная положениями пакта, и смести со сцены как старую элиту, так и договаривавшуюся с ней контрэлиту. Таким образом, если я вспоминаю здесь типологию Степана, то единственно потому (и здесь Степан прав), что история знает много путей к демократии и нет какой-либо одной надежной и бесспорной теоретической формулы, которая описывала бы данное явление и – более того – позволяла бы предвидеть его наступление. Поэтому обсуждаемые далее схемы перехода к демократии охватывают не все виды демократических переломов, а только те из них, которые были наиболее типичными для третьей волны демократизации и добавок появлялись более чем в одном культурно-цивилизационном круге. Таким образом, речь здесь идет о демократических революциях, у которых существуют в первую очередь эндогенные (имеющие внутреннее происхождение) причины и которые вспыхивают вследствие эрозии единства и сплоченности авторитарной властной элиты.

Лишь появление разногласий и расколов в старой элите открывает поле для мышления в категориях альтернативы тому, что было до сих пор. И пусть примером запуска процессов системного изменения для нас послужит демократическая революция в Испании. После смерти диктатора – генерала Франко – правительство предприняло попытки довольно скромного реформирования

---

а также Уругвая); 7) внезапный и бурный мятеж, организованный и координируемый реформистскими демократическими партиями (Коста-Рика в 1948 году); 8) революционные войны, которые ведутся марксистскими группировками (неясно, почему Степан выделил этот тип перехода к демократии, коль скоро он сам констатирует, что до сей поры не было ни одного примера марксистской революции, в результате которой появилась бы демократическая система, – как правило, в подобных случаях происходила замена одного авторитаризма другим). – *Авт.*

авторитарной системы, оставленной генералом Франко в качестве наследства, но быстро выяснилось, что даже скромные реформы не удастся провести без участия демократической оппозиции. В свою очередь, включение оппозиции в процесс реформирования системы настолько расширило сферу изменений, что консервирование остатков прежней системы стало выглядеть сомнительным, коль скоро существовала возможность вообще отказаться от нее. Динамика нарастания радикализма реализуемых изменений привела в конечном итоге к подлинной демократической революции и характеризовалась тремя стадиями, отчетливо поддающимися вычленению (*Stepan, 1986: 74*): скромные изменения, инициатором которых выступила элита старого режима (так называемая *reforma*, т.е. реформа) и которые затем привели к согласованным на переговорах с оппозиционной контрэлитой заметно более радикальным изменениям (*reforma-pactada*, договорная реформа). В свою очередь, эти более радикальные изменения поставили под вопрос сам смысл сохранения прежнего режима и вместе с тем запустили размышления элиты и контрэлиты над совершенно другим системным решением, иначе говоря над демократией, которая могла бы заменить авторитарный режим (*ruptura-pactada*, разрыв договоренностей).

Вывод, который можно извлечь из последовательности этих событий, нам уже известен — он представляет собой подтверждение обсуждавшегося ранее тезиса де Токвиля, что угроза для жесткой недемократической системы возникает не в тот момент, когда ее репрессивность достигает кульминации, равно как и не в период, когда она испытывает глубокий легитимационный дефицит, и даже не в ситуации, когда социальное неравенство становится очень глубоким, а бесправные или пауперизованные классы — весьма многочисленными. Наибольшая угроза для такой закостеневшей, негибкой системы появляется в то время, когда властители предпринимают попытку ее реформирования, обычно означающего какую-то степень либерализации жестких и — по всеобщему ощущению — непоколебимых правил игры. В такой ситуации оказываются запущенными в ход два процесса: во-первых, монолитная до сих пор элита старой системы дифференцируется в зависимости от отношения к внедряемым реформам и, во-вторых, среди широких масс распространяется подозрение, что, быть может, правила игры, действующие в публичной жизни, не столь уж нерушимы, как казалось, а коль это так, то на повестку дня ставится вопрос об их дальнейшей

либерализации. Совершенно иная организация публичной жизни перестает быть пустыми, нереалистическими мечтаниями и, более того, становится предметом переговоров и торга между элитой старой системы и контрэлитой (последняя либо рекрутируется из того сильно ограниченного диссидентского движения, которое власть как-то терпела, либо выдвинулась в качестве побочного следствия того первого реформаторского импульса, инициатором которого выступала определенная часть старой элиты).

Когда же такая демократическая революция протекает мирным путем? Схемой, объясняющей данное явление, может послужить теория четырех игроков (*Przeworski, 1992; Linz, Stepan, 1996*). Теория четырех игроков предполагает существование элиты старой системы, разделенной на твердолобых и реформаторов, и контрэлиты, тоже разделенной (на умеренных и радикалов). Когда такие разделения действительно наступают, трансформационная игра охватывает уже четырех игроков (отсюда и название указанной теории). Цели обоих игроков старой элиты идентичны, только пути, ведущие к этим целям, существенным образом различаются. И твердолобые и реформаторы хотят сохранить старую систему, но знают, что без глубоких изменений достигнуть этого не удастся. Однако первые из них убеждены, что спасти систему может лишь возвращение к доктринальной ортодоксии, а кризис системы они связывают с отходом или отклонением от основополагающих догматических принципов системы. В то же время вторые уверены, что систему способны спасти только глубокие реформы, внедрение которых связано с отказом от некоторых догматов доктрины. Другими словами, мнение реформаторов таково: система находится в кризисе вследствие того, что она слишком судорожно цепляется за идеологические догмы, которые не находят подтверждения на практике.

Разобщенность, возникающая в контрэлите, тоже не касается генеральной цели, которой является замена старой системы на новую (это стремление – общее и для умеренных, и для радикалов); на два названных крыла контрэлита делится ввиду разного диагноза ситуации и различающихся стратегий достижения генеральной цели. Умеренные считают, что, хотя старая система находится в кризисе, все-таки по-прежнему не нужно пренебрегать ее силой, чтобы не погубить ту степень либерализации, которая уже достигнута. Посему к генеральной цели нужно двигаться методом малых шажков. Радикалы тем временем считают систему уже

слишком слабой для того, чтобы она могла подняться и выйти из состояния упадка. Поэтому следует применять методы из арсенала классической революции; иначе говоря, надлежит, привлекая сильные средства и даже прибегая к насилию, свергнуть старую властную элиту (которая в глазах радикалов представляет собой единственный связующий элемент, цементирующий старую систему) и установить новые порядки.

В соответствии с этой схемой реальный ход событий обуславливается тем, кто контролирует старую элиту и контрэлиту. Если в старой элите доминируют твердолобые, шансы на мирную демократическую революцию невелики. Впрочем, подобным же образом обстоят дела, если в контрэлите доминируют радикалы. Так происходит по той причине, что если старую элиту держат под контролем твердолобые, то расклад сил в контрэлите не имеет значения, поскольку старая элита в этом случае ищет рецепт для выхода из системного кризиса не в попытках договориться с контрэлитой, а в придании старой системе доктринальной жесткости и несгибаемости. В подобной ситуации, даже если в контрэлите первоначально доминировали умеренные, их подход к решению проблем проигрывает, слово там получают радикалы, а конфронтация между старой элитой и контрэлитой становится неотвратимой. Результат такой конфронтации труднопредсказуем для обеих сторон и в большой мере зависит от способности мобилизовать общественную поддержку как твердолобыми, с одной стороны, так и радикалами – с другой. У тех, кто сумеет заручиться значительно большей поддержкой, шансы на успех обычно выше, хотя старая элита обладает тем преимуществом, что она контролирует силовые структуры авторитарного государства (армию и полицию), которые могут быть употреблены для расправы с радикалами в составе контрэлиты, а позднее и с остальной ее частью.

Если в контрэлите доминируют радикалы, то до договоренности дело тоже не доходит (на сей раз – из-за отсутствия готовности к ней у контрэлиты) и снова конфронтация неизбежна, поскольку в таком случае реформаторы из старой элиты слабеют, а контроль там перехватывают твердолобые.

Наибольшие шансы на мирную демократическую революцию возникают в том случае, когда старую элиту контролируют реформаторы, тогда как контрэлите – умеренные. При такой расстановке сил и для старой, и для новой элиты открывается переговорное пространство. Правда, цели обеих сторон, участвующих

в переговорах, существенным образом расходятся, а уровень взаимного доверия низок, но тем не менее между ними начинается переговорный процесс, результат которого далеко не predetermined. Реформаторы, как правило, нацелены на кооптацию какой-то части контрэлиты в состав старой элиты. Таким способом они добиваются двух промежуточных целей: (1) ослабления контрэлиты и возможности изолировать ее радикальное крыло как безответственное или скандальное, а также (2) увеличения общественной легитимации старой элиты, что предоставляет ей возможность для проведения непопулярных в обществе, хотя и необходимых реформ старой системы, дабы восстановить ее способность к самовоспроизведению. Умеренные, в свою очередь, вступают в игру с реформаторами старой элиты, будучи убежденными, что переговоры ускорят либерализацию старой системы и доведут ее до такой точки, когда реформаторы из старой элиты перестанут поддерживать сохранение старых, недемократических правил игры. С какого-то момента этой игры в группе реформаторов происходит перераспределение интересов (особенно если со стороны умеренных даны какие-либо гарантии безопасности партнерам по переговорам из состава старой элиты): тем самым успех переговоров начинает быть общим делом и предметом совместной заинтересованности реформаторов и умеренных. Ведь альтернативой выступает потеря влияния реформаторов в старой элите и умеренных в контрэлите, а также такое явление, когда вместо переговоров начинается силовая конфронтация между твердолобыми и радикалами. Линц и Степан (*Linz, Stepan*, 1996: 61–65) отмечают, что механизм, описанный в теории четырех игроков, может иметь применение единственно по отношению к демократизации и либерализации авторитарного и посттоталитарного режимов; идеальные типы «султанских» и тоталитарных режимов не создают возможностей для подобного решения. В «султанском» режиме любая позиция в элите и само пребывание в ней возможны только благодаря принадлежности к персоналу «султана», а среди этой клики нет места для формирования фракции реформаторов, которые хотели бы менять какие-то элементы существующей системы против воли ее предводителя. В свою очередь, при тоталитарном режиме нет места не только для четырех, но даже для двух игроков. Твердолобый лидер тоталитарной системы элиминирует в зародыше любой росток фракции в собственной группировке и не допускает формирования контрэлиты (хотя бы в зачаточной форме).

Как и всякие теоретические обобщения, теория четырех игровых тоже является упрощением, поскольку она описывает гораздо более сложную действительность в схематической форме. Однако ее слабость состоит не в этом, но в игнорировании указанной схемой двух существенных факторов, а именно (1) общественных реакций на игру элит (об этих реакциях и их структурных обусловленностях пойдет речь в следующей главе), а также (2) динамики выстраивания переговорного процесса элиты и контрэлиты вокруг системных правил.

Переход к демократии — это процесс, в ходе которого перемены претерпевают не только элементы существующей системы, но и главные акторы изменений, а также общество, которое отчасти эти изменения порождает, а отчасти является их объектом. В максимальном упрощении могут быть выделены следующие стадии указанного процесса<sup>1</sup>.

1. **Начальная стадия**, в которой трансформационные процессы оказываются запущенными в ход. Начальную стадию удастся лучше описывать в категориях трансформации, чем перехода к демократии, ибо уже известно, что старая система подвергается распаду, но результат этого процесса даже в самом лучшем случае не совсем ясен. **Трансформационная сила**<sup>2</sup> данного

---

<sup>1</sup> Перес-Диас (Pérez-Díaz) применяет для выделения стадий перехода к демократии другие аналитические категории. В соответствии с его подходом системное изменение представляет собой комплекс из следующих трех процессов, частично налагающихся друг на друга: перехода, консолидации и институционализации. Переход (transition) — это период переговоров между акторами публичной жизни и установления основополагающих правил игры. Консолидация представляет собой широкое распространение убежденности в том, что новая система выживет и сохранится, а ее правила игры начинают столь же широко соблюдаться в публичной жизни. Институционализация означает, что преобладающая часть общества признаёт новую систему правомочной, а новые правила игры усвоены и интернализированы как политиками, так и обществом (Pérez-Díaz, 1996: 15–16). Указанная категоризация, правда, относительно хорошо описывает переход к демократии в Испании, но она не учитывает того факта, что первоначальная динамика изменения вовсе не обязана вести к демократии, а потому ее трудно описывать в парадигме перехода, или транзита. — *Авт.*

<sup>2</sup> Трансформационная сила понимается здесь или как инициирование взбунтовавшимися массами некоего процесса, в результате которого появляется контрэлита, становящаяся во главе мятежа, или же как

процесса характеризуется его способностью преобразовать *ancien régime* (старый порядок. — фр.) в новую систему (не предвешая, какой эта система окажется).

2. **Межсистемная стадия**, на которой старая система перестает функционировать, а основные конструкции новой системы лишь создаются. Если эти конструкции указывают на то, что из данного изменения может родиться демократическая система, то данную стадию — так же как и следующую — лучше удастся описать в категориях перехода, чем трансформации.
3. **Стадия консолидации**, на которой новая система стабилизируется, а действующие в ней обязательные правила игры являются практически единственным доступным в публичной жизни способом проявления различных интересов и ценностей.

**Начальная стадия** характеризуется острым легитимационным дефицитом старой системы, массовым отказом от лояльности перед институтами и правилами игры прежней системы, а также появлением гражданского протообщества в форме слабо структурированных общественных движений (или одного-единственного движения, объединяющего все виды протеста), которые явным образом выражают этот отказ от лояльности перед старой системой и переносят свою лояльность на контрэлиту. Старая система уже не только не способна себя воспроизводить, но даже ее повседневное функционирование нарушено до такой степени, что, в принципе, единственным способом избежать хаоса является либо возникновение другой системы, либо насильственная реставрация правил и логики прежней системы.

**Межсистемная стадия** характеризуется двумя существенными свойствами: 1) правила игры неясны, а граница между позволительным и недозволенным зыбка; старые правила игры еще действуют — благодаря инерции (правда, их выполняемость уже невелика), тогда как новые правила игры пока не только не усвоены политиками и обществом, но даже еще не до конца установлены и определены; 2) общественное движение, составляющее политическую базу контрэлиты, начинает дифференцироваться: какая-то его часть претерпевает демобилизацию, а ряд

---

договоренность (пакт) между старой элитой и контрэлитой (поддерживаемой массами), которая на практике ведет к падению старого режима и открывает дорогу к созданию нового режима. — *Авт.*



активных до сих пор членов движения отходит от дел и отступает в пространство частной жизни, в то время как другая часть подвергается плюрализации и институционализации или в форме политической партии, или же в форме какой-нибудь организации, функционирующей в пределах гражданского общества. Среди значительной части тех, кто отступил либо маргинализировался, доминирует состояние аномии, или, иначе говоря, аксиологической дезориентации, а также страх перед неопределенностью завтрашнего дня и в целом разочарованность последствиями изменений (*Kolarska-Bobińska, 1992*).

**Стадия консолидации** демократии характеризуется следующими чертами и свойствами:

1) новые правила игры уже настолько распространены и интернализированы (усвоены и привиты), что становятся практически единственным регулятором взаимоотношений не только на макроуровне (институты государства), но также на мезоуровне, т.е. на среднем уровне (в пространстве деятельности гражданского общества);

2) новая система легитимирована — по меньшей мере в том смысле, что попытки мобилизовать поддержку для альтернативной системы (и альтернативных правил игры) не находят сколько-нибудь существенной поддержки ни в гражданском обществе, ни в ранее демобилизовавшейся части широких масс, которые ушли от активной деятельности и отступили в частную сферу;

3) взаимоотношения между институтами демократического государства и разнообразными ветвями, ведомствами и подразделениями гражданского общества эволюционируют от антагонистических к неантагонистическим.

Демократия вместе с ее процедурами становится на стадии консолидации — если воспользоваться метафорой Линца и Степана (*Linz, Stepan, 1996: 5*) — «единственной игрой в городе». Правила игры, кодифицированные в конституции, делают нормативным фундаментом всей системы, а также регулируют функционирование государства и гражданского общества, равно как и принципы участия граждан в публичном пространстве. Эти формальные правила игры, если их не сопровождают явления институционализации неформальных правил игры, скрывающихся за фасадом демократических институтов, признаются правомочными не только в писаном праве, но и в убеждениях тех индивидов, которые

активизируются в публичном пространстве. Если все указанные требования соблюдаются, то демократию можно признать консолидированной, а переход к демократической системе — завершившимся успехом.

Однако, как пишет О'Доннелл (*O'Donnell*, 1997: 46), «многие из новых полиархий не страдают отсутствием институционализации, но концентрация только на в высокой степени формализованных и сложных организациях не позволяет нам заметить небывало влиятельные неформальные, а иногда скрытые институты: клиентелизма и, более общо, — партикуляризма». Стоит помнить об указанном предостережении, ибо эти неформальные, а иногда и институционализированные, но скрывающиеся от общественного мнения связи и структуры создают «плодотворную почву» для разнообразных патологий публичной жизни (о них пойдет речь в последней главе). В тех странах, которые вышли из коммунизма и успешно завершили переход к демократии, консолидация системы «подтачивается» двумя способами. С одной стороны, мы имеем дело с инерцией навыков и неформальных связей, сформированных еще предыдущей системой. С другой — со стратегиями функционирования в новой системе, сформировавшимися в ходе межсистемной стадии (когда новые правила игры лишь формировались, а их соблюдение и проведение в жизнь были слабыми). Данные стратегии, которые на межсистемной стадии оказывались для разнообразных групп интересов эффективным способом достижения частных целей (особенно на стыке политической и экономической сфер), по-прежнему продолжают присутствовать и на стадии консолидации демократии. Они заключаются в «обходе» формальных правил игры — в убеждении, что сильные связи с сегодняшней властной элитой обеспечат возможность избежать дисциплинарных и уголовных санкций. Как следствие, это ведет к явлениям коррупции в сфере государственных институтов, на промежуточном уровне — к торможению эволюции от клиентелизма к гражданству, а на микроструктурном уровне — к широкой распространенности убеждения в том, что формальные правила игры представляют собой фасад, за которым люди власти и денег реализуют свои частные интересы за счет общего блага.

## ГЛАВА 2

# ОБЩЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЕПРИВАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

### Введение

Существует много аргументов в пользу того, что место, занимаемое индивидом в структуре, существенным образом обуславливает формы его поведения, его действия и поступки (или их отсутствие) в публичной жизни. Другими словами, вхождение в сферу публичной жизни в роли гражданина, а также демонстрация в рамках этой роли определенных установок и вариантов поведения связаны с тем, что человек занимает определенное общественное положение либо место на лестнице социального неравенства. Разумеется, это наблюдение нельзя назвать новым. Марксов тезис, гласящий, что бытие определяет сознание, равно как и более тривиальная разговорная формулировка, что «точка зрения зависит от точки сидения»<sup>1</sup>, представляют собой лапидарные выражения того интуитивного соображения, что люди не только обладают разными взглядами и проявляют разные варианты поведения в зависимости от того, богатые они или бедные, просвещенные или необразованные, правящие или управляемые, а также что людям помимо этого свойственна тенденция менять вышеупомянутые взгляды и поведение под воздействием своих перемещений в рамках социальной структуры.

Приведенный только что тезис будет главной проблемой данной главы. Однако уже теперь есть смысл сделать одну оговорку. А именно что взаимозависимости между позицией в социальной структуре, с одной стороны, и установками и вариантами поведения, проявляющимися в сфере публичной жизни, — с другой, не имеют характера четкой математической функции. Одним словом, мы не способны на основании места определенного человека

---

<sup>1</sup> Многие считают, что эта формулировка принадлежит Леху Валенсе.

в социальной структуре наверняка и безошибочно предвидеть его возможные публичные установки и варианты поведения. А способны мы только с некоторой вероятностью, поддающейся вычислению на основании эмпирических исследований, ожидать от него, например, определенных политических предпочтений или же типов поведения в публичной жизни. Однако указанная вероятность настолько высока, что стоит исследовать и описывать эти взаимоотношения и зависимости. Кроме того, влияние места в социальной структуре на установки и формы поведения в публичной жизни не носит автоматического характера еще и в том смысле, что оно сопровождается сложным психосоциальным механизмом, действие которого тоже формируется под воздействием многих факторов, а это вносит в упомянутую зависимость или взаимоотношение дополнительный элемент неопределенности.

Обсуждение данной проблематики начинается с введения основных понятий. Прежде всего, мы приведем определения самой социальной структуры, а также определения общественного класса и статусной позиции; обсуждению подвергнется также проблематика горизонтальной и вертикальной социальной мобильности. Кроме того, будет уточнено понятие социального неравенства и его видов.

Какие-то разновидности неравенства порой трактуются как несправедливые, другие — как справедливые. Более того, совершенно одинаковые виды неравенства могут рассматриваться одними как справедливые, а другими — прямо противоположным образом. Оценивание неравенства в категориях социальной справедливости не только представляет собой очень частое явление, но и вместе с тем служит одним из самых сильных мотивов, склоняющих людей к активности в публичной жизни. Эти индивидуальные оценки формулируются с опорой на те или иные **принципы социальной справедливости**. Указанные принципы — также, впрочем, как и вытекающие из них оценки — бывают самыми разнообразными и иногда коррелируют с позицией индивида в социальной структуре. Другими словами, влияние, оказываемое расположением человека в определенном месте социальной структуры на его взгляды и поведение в публичной жизни, не носит ни механического, ни прямого, непосредственного характера. Посредничающим фактором выступает здесь — как я уже сказал — сложный психосоциальный механизм, о котором пойдет речь в последующем тексте данной главы. Однако можно уже теперь

сказать, что элементами этого механизма являются как индивидуальные, как и групповые **определения социальной справедливости**, а также произрастающее на этой почве явление **относительной депривации**.

Виды и формы социального неравенства будут обсуждены в трех измерениях: политическом, социальном и экономическом. Я выделяю именно эти три измерения социального неравенства, ибо у их оснований скрывается гипотеза, что каждое из названных измерений содержит такие виды неравенства, последствия которых для формы публичной жизни несколько отличаются, причем эти отличия настолько существенны, что было бы трудно их игнорировать.

Формы неравенства, выступающие в определенном обществе, зависят, естественно, от формы его социальной структуры, степени ее модернизации, а особенно от размеров и степени консолидации среднего класса. Отсюда же берет свое начало большинство социальных размежеваний, которые, в свою очередь, структурируют публичную сцену. Однако социальная структура и распределение разных видов неравенства служат почвой не для всех социальных размежеваний. Потому что бывают такие размежевания, которые являются существенными осями, структурирующими акторов публичной жизни, но которые вместе с тем идут как бы поперек социальной структуры и, следовательно, у них нет с ней отчетливой корреляции (например, таковы размежевания аксиологического характера). Подобные размежевания тоже надлежит учесть в описании, если картина факторов, структурирующих публичную жизнь, должна быть в достаточной мере полной.

Существуют хорошо обоснованные гипотезы, утверждающие, что слишком большие масштабы социального неравенства снижают качество демократии и ослабляют ее консолидацию. В том числе и поэтому проблематика социальной структуры и генерируемого ею распределения неравенства будет далее соотнесена с консолидацией демократической системы.

Глава заканчивается рассуждениями по поводу социальной политики государства, которую наиболее кратко можно определить как перераспределение общественных ресурсов, корректирующее эффекты чистого рыночного механизма и имеющее целью сокращение таких масштабов социального неравенства, которые превышают определенные границы, устанавливаемые принципами дистрибутивной (распределительной) справедливости.

## Социальная структура: основные понятия

Социальная структура не принадлежит к главным предметам нашего интереса. Она трактуется здесь только как «независимая переменная», которая хотя бы частично должна объяснить установки и варианты поведения, демонстрируемые людьми в публичной жизни. В частности, именно поэтому обсуждение структуры мы ограничим самыми элементарными аспектами, которые дадут возможность использовать этот фактор в аналитическом смысле. А посему мы не будем здесь входить в сложные и чаще всего спорные проблемы, связанные с преобразованиями структуры в условиях радикальной перемены. Не будем мы обращаться и к огромному числу эмпирических исследований, описывающих самые разнообразные аспекты социальной структуры как в динамическом измерении, так и в сравнительном. Наша цель значительно скромнее; дело в том, что нас интересует по возможности правильное определение этой переменной, а также понятий, производных по отношению к ней, — таких, как социальная мобильность, социальное неравенство, статус, класс. Социальная структура — это неизменное свойство всех обществ (кстати говоря, состоящих не только из людей, но и из животных). Пока не появился Пятница, Робинзон Крузо жил вне всякой социальной структуры, так как вокруг не было других человеческих существ, с которыми он мог бы соотносить свое положение: у него не было никого, над кем он мог бы господствовать или кому мог бы подчиняться, никого, кто оказался бы богаче или беднее него, никого, кто был бы умнее или же глупее него, никого, к кому он мог бы питать уважение или кто питал бы уважение к нему. Наконец, Робинзон Крузо не имел вокруг себя никого, кто имел бы больше или меньше, чем он, личных достоинств или материальных объектов, позволяющих лучше жить и выживать на необитаемом острове. Лишь появление Пятницы инициировало социальные взаимоотношения, а также выявило их неравную оснащенность предметами, пригодными и полезными на необитаемом острове (у Крузо их имелось больше), а также личными достоинствами, дающими возможность занять доминирующее положение в складывающихся взаимоотношениях (и в этом случае лучше наделен ими был Крузо). Это еще не являлось структуризацией в полном смысле данного слова, поскольку для нее нужно более многочисленное сообщество людей, но уже и в данном случае начали проявляться зачатки того, что структурирует человеческие

общности и что в существенной степени обуславливает установки и типы поведения в публичной жизни.

В максимально абстрактной, можно сказать энциклопедической, трактовке **структура** представляет собой множество элементов, а также взаимоотношений между ними. Однако применительно к социальным человеческим общностям такого определения структуры, разумеется, недостаточно. Прежде всего по той причине, что вышеупомянутыми элементами множества являются люди, т.е. думающие и чувствующие личности, которые не только пассивно подчиняются взаимоотношениям и зависимостям, функционирующим в структуре определенного типа, но и способны также формировать эти взаимоотношения, а вытекающие из них обусловленности – переступать или нарушать (*Mach, 2003: 19*).

На социальную структуру можно смотреть как на сложный стереотип взаимоотношений (*relation, реляций*) между людьми, но ее можно также понимать как распределение (*distribution, дистрибуцию*) социально важных свойств и качеств в определенной человеческой общности. В первом случае мы имеем дело с **реляционным** аспектом социальной структуры, тогда как во втором случае – с ее распределительным, **дистрибутивным** аспектом. Следовательно, когда мы говорим о социальной структуре, есть смысл уточнять, имеем ли мы в виду ее распределительный (дистрибутивный) аспект или же реляционный.

Социальная структура, понимаемая в распределительном аспекте, – это просто некоторые существенные (и неравным образом распределенные в данном обществе) социальные свойства, степень обладания которыми играет в значительной степени решающую роль для жизненных судеб индивида и для характера его взаимоотношений с социальным окружением. Примерами таких свойств может служить **доход**, который обычно структурирует общность на людей бедных, богатых и среднеобеспеченных; **власть**, которая главным образом структурирует людей (1) на тех, которые управляют; (2) на тех, которые управляют, но вместе с тем и управляются людьми, расположенными выше них в иерархии власти, и, наконец, (3) на тех, которыми управляют; **образование**, которое структурирует людей на очень образованных, среднеобразованных и малообразованных; **престиж** (или, иначе говоря, признание либо уважение), который люди приписывают тем или иным профессиональным позициям (должностям, постам) и величина которого тоже неравным образом распределяется

среди населения, поскольку люди занимаются разными работами и имеют разные профессии, пользующиеся меньшим или большим престижем. Это может быть также величина располагаемого имущества (в том числе владение средствами производства), или, говоря кратко, **собственности**, которая тоже распределяется в обществе неравным образом, поскольку наряду с акулами бизнеса и владельцами огромных состояний существуют и мелкие предприниматели, мелкие владельцы недвижимого имущества (например, квартиры или небольшого дома), но еще и те, кто всю свою собственность могут упаковать в одну сумку.

Все вышеперечисленные измерения социальной дифференциации часто признаются факторами **социального статуса**, который представляет собой сводное, синтетическое мерило позиции данного индивида в социальной структуре. Однако, как обращает наше внимание Нароек, «основополагающее значение с точки зрения социальной структуры имеет распределение власти, распределение экономических благ и распределение общественного престижа. Распределение этих благ приводит к определению взаимного размещения членов общества, которые занимают разные места в системе разделения труда» (*Narojek*, 1982: 9).

В распределительной трактовке социальной структуры поднимается также вопрос **доступности** широко определенных благ, запас которых ограничен, но обладание которыми увеличивает шансы индивида на хорошую, обеспеченную, безбедную жизнь и увеличивает возможности выбора им определенного стиля жизни. Именно в этой трактовке определяет социальную структуру Сломчиньский, который пишет, что «социальная структура понимается как композиция социальных групп, характеризующихся неравным доступом к повсеместно желаемым благам» (*Słomczyński*, 2002: 11).

В реляционном аспекте социальной структуры прежде всего принимаются во внимание общественные отношения, которые генерируют определенную форму и иерархию позиций, должностей или постов, занимаемых конкретными людьми. В такой трактовке исследование структуры важно именно потому, что из нее вытекают разнообразные взаимоотношения господства и подчинения, кооперации и конфликта, принижения и привилегированности или, наконец, уважения и презрения, которые складываются между людьми, занимающими самые разнообразные общественные позиции. Примером такого понимания социальной



структуры является определение Скулер, которая пишет, что социальная структура — это «сложившаяся картина взаимоотношений между категориями индивидуальных и организационных статусов, которые определяются природой их вступающих в интеракцию социальных ролей» (*Schooler, 1999: 44*). Переводя это определение с социологического жаргона на более понятный язык, мы можем сказать, что в трактовке Карми Скулер для социальной структуры решающую роль играет сложившаяся во времени картина взаимоотношений между разными статусными должностями либо позициями (индивидуальными или групповыми, формальными или неформальными). Люди, занимающие эти позиции, так сильно детерминированы в своих формах поведения и взаимоотношениях с другими людьми, что, в принципе, не имеет существенного значения, кто конкретно занимает указанные должности, ибо приписанный к ним стереотип взаимоотношений и социальная роль будут «играться» каждым человеком, который эту должность занимает. Подобным же образом детерминистский подход касается и сложившихся образцов взаимоотношений между организациями, а не только между индивидами.

Многие исследователи — продолжая веберовскую, дюркгеймовскую или марксовскую теоретическую традицию — считают, что основным структурообразующим фактором является **общественное разделение труда**. В свою очередь, разделение труда, которое образовывается в определенном обществе, зависит прежде всего от экономики, а точнее от правил и законов, управляющих хозяйственно-экономической жизнью. В настоящее время мы можем выделить две принципиально различные конфигурации таких правил и законов. Во-первых, это правила и законы, типичные для распорядительно-распределительной экономики (которые часто называются также правилами и законами централизованно планируемой экономики); во-вторых, это правила и законы, типичные для рыночной экономики. Каждый из этих двух типов экономики генерирует в определенной мере различающиеся способы разделения труда, а в первую очередь определенные рабочие места создаются в них на совершенно разных основаниях. В случае капиталистической экономики регулятором рабочих мест, а также разделения труда служит свободный рынок вместе с законом спроса и предложения. В свою очередь, в распорядительно-распределительной экономике ее регулятором выступает государство, потому что рыночные законы здесь приостановлены

и не действуют. В связи с этим принципы, регулирующие разделение труда, а также возникновение рабочих мест, не вытекают из соображений рыночного рационализма, а становятся следствием политических решений правящего центра. Основным структурообразующим фактором в распорядительно-распределительной экономике и моноцентрической системе является иерархическая власть, структуры которой обрастают явными и скрытыми группами интересов, а доминирующие взаимоотношения и зависимости можно определять в категориях «патрон—клиент» (*Tarkowski*, 1994). Скажем, Нароек (*Narojek*, 1982: 28) напрямую констатирует, что **основным структурообразующим фактором планирующего социалистического общества служат публичные решения.** Тем временем в условиях рыночной экономики и демократической системы образуется в основном трехчленная классовая структура; высший класс составляют крупные владельцы средств производства, средний класс — мелкие владельцы средств производства, а также квалифицированные работники умственного труда, тогда как нижний класс — это рабочие, занятые физическим трудом (*Giddens*, 1973). Несколько более сложной выглядит классовая структура в трактовке Эрика Олина Райта (*Wright*, 1997: 98). Основой структуризации здесь также является рынок, но классовая принадлежность определяется местом, занимаемым в трех измерениях: 1) наличием в собственности средств производства или их отсутствием, иначе говоря черпанием средств существования из наемного труда; 2) местом в структуре управления; 3) степенью обладания профессиональными квалификациями, востребованными на рынке. Владельцы средств производства представляют собой класс, который внутренне очень дифференцирован, а основным критерием этой дифференциации служит количество занятых работников: от очень многих (в случае «акул» хозяйственно-экономической жизни) до нуля (в случае мелких собственников, работающих в одиночку на свой страх и риск). Среди занятых наемным трудом существенным считается место в структуре управления, а также квалификация. На вершине данной иерархии располагаются высококвалифицированные менеджеры, которые в таком измерении, как квалификация, делят место с экспертами, но эти последние не занимают руководящих должностей. Затем следуют обычные менеджеры, далее — руководящий персонал среднего и нижнего звена, а ниже всех располагаются рабочие, которые по уровню квалификации делятся на квалифицированных

рабочих-специалистов и простых неквалифицированных рабочих. Трактовка Райта показывает сложную систему взаимоотношений, скрывающуюся за трехчленной классовой структурой Гиденса.

### **Виды социального неравенства: поляризация и изменение межклассовых дистанций**

Социальная структура вместе с ее интерпретацией в категориях какого-то принципа социальной справедливости позволяет рассматривать различия между людьми или группами людей в категориях социального неравенства. Социальное неравенство принимает разные формы, которые носят иерархический характер. Дело в том, что они позволяют выстроить в ряд и тем самым упорядочить в категориях «высшие—низшие» позиции, занимаемые отдельными людьми (например, позиции либо должности в иерархии власти), или же самих людей по степени наличия определенного, социально важного свойства (например, по величине дохода).

С точки зрения исследования динамики изменений в области социального неравенства имеет смысл указать на два отличающихся процесса: 1) изменения дистанций между отдельными социальными категориями (например, классами); 2) социальную поляризацию (Wolfson, 1994).

В первом случае изменения касаются различий между средним значением данного свойства (например, дохода или уровня потребления), рассчитываемым для каждой из выделенных социальных категорий. Если указанные различия растут, это означает, что по отношению к данному свойству дистанция между отдельными социальными категориями растет. Если же указанные различия уменьшаются, то мы можем констатировать, что дистанция между социальными категориями уменьшается. Графически эти ситуации иллюстрирует рис. 2 (с. 90).

Увеличение межклассовой дистанции означает, иными словами, что, хотя в абсолютном смысле нижние категории лестницы социального неравенства могут пребывать в лучшей ситуации, чем это было в прошлом, в относительном смысле они теперь находятся в худшем положении, поскольку по сравнению с социальными категориями, располагающимися выше, они выиграли меньше. Такая ситуация, как мы увидим далее, порождает серьезные последствия для восприятия и легитимации изменений в общей системе социального неравенства. В результате такого рода

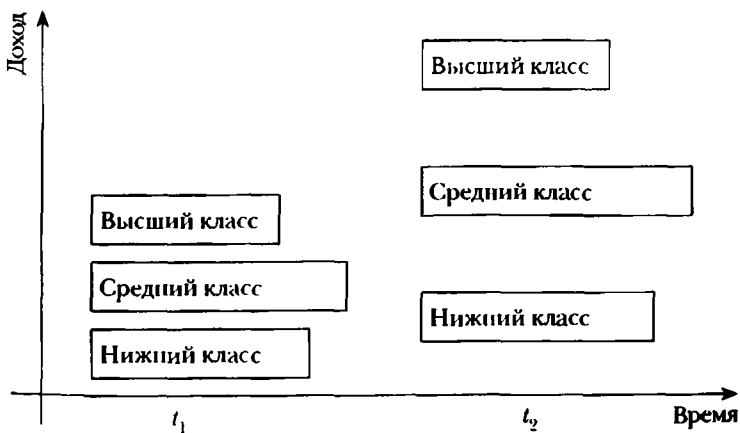


Рис. 2. Увеличение межклассовой дистанции за период  $t_1 - t_2$

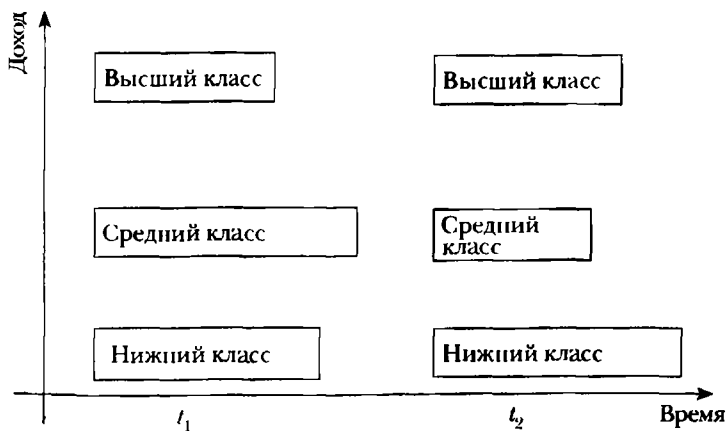


Рис. 3. Поляризация классовой структуры за период  $t_1 - t_2$

изменения переключаются при демократическом порядке на установки и варианты поведения в публичной сфере и могут приводить к парадоксальной, на первый взгляд, ситуации: хотя по объективным показателям среднее значение некоего желательного свойства (например, дохода или уровня потребления) в течение сравниваемого периода выросло во всех социальных категориях, но все-таки отчетливое увеличение дистанции между классами приводит к тому, что эти изменения воспринимаются как углубление социального неравенства. Так происходит потому, что мы имеем здесь дело не столько с перемещением индивидов между отдельными социальными категориями, сколько с неодинаковым темпом улучшения ситуации у целых социальных категорий – при остающихся, в сущности, устойчивыми показателями принадлежности индивидов к тем или иным из указанных категорий.

Поляризация системы неравенства представляет собой, как уже я упоминал, совершенно иной процесс. В этом случае расположение отдельных социальных категорий (например, классов) на лестнице неравенства, в принципе, не подвергается существенным изменениям. Зато меняется численность отдельных категорий, а именно уменьшается численность промежуточных категорий и увеличивается численность крайних категорий. Иллюстрацией указанного процесса служит рис. 3.

Поляризация означает, что исчезает средний класс, зато растет численность нижнего и высшего классов, хотя численность первого из них растет, как правило, в значительно более высоком темпе. Поляризация может быть началом появления, с одной стороны, большого «требующего класса», который зависит от социального обеспечения и пособий, а с другой стороны, относительно меньшего «продуктивного класса», активность которого предоставляет возможность – через налоговый механизм перераспределения – поддерживать средства социального обеспечения и пособия в опекающем государстве всеобщего благосостояния на уровне, примерно отвечающем ожиданиям «требующего класса» (Rieger, Leibfried, 1998: 366). Социальная поляризация, если она уже происходит, порождает серьезные последствия в сфере публичной жизни. Во-первых, с этим процессом связана деградация какой-то части среднего класса до уровня нижнего класса, а также деградация части нижнего класса с опусканием в районы хронической бедности и социальной маргинализации. Подобные перемещения, в свою очередь, подрывают жизнеспособность гражданского

общества, а также превращают часть граждан в клиентов государства или институтов социальной помощи, а в более длительной перспективе делают эту социальную категорию постоянно зависимой от пособий, помогающих им жить и выживать. Во-вторых, исчезновение среднего класса ликвидирует ту структурную почву, на которой функционируют демократические институты, а сама система обнаруживает тенденцию к олигархизации. Среди крупных сегментов общества появляются авторитарные искушения, которые раньше или позже порождают авторитарных лидеров. Исчезают также горизонтальные социальные взаимоотношения и зависимости в пользу взаимоотношений вертикальных, которые типичны для системы «патрон—клиент» (Tarkowski, 1994). Деградирующий нижний класс становится «недоклассом» (*underclass*), т.е. «мелюзгой», люмпенами, низшими, беднейшими слоями общества, и постепенно исключается из основного течения общественной жизни. Главной целью его членов становится выживание, а вместе с социальной деградацией прогрессирует также деградация цивилизационная.

### **Принципы социальной справедливости и легитимация неравенства**

Как уже я упоминал, понятие неравенства связано с проблемой социальной справедливости. Говоря самым общим образом, те разновидности неравенства, которые не нарушают чувства социальной справедливости, повсеместно одобряются и воспринимаются в качестве справедливых, тогда как другие виды неравенства, которые, напротив, противоречат чувству социальной справедливости, рассматриваются в качестве несправедливых. Первую категорию разновидностей неравенства мы можем назвать легитимированными разновидностями, а вторую — разновидностями неравенства, не обладающими общественной легитимацией. На столь общем, чтобы не сказать неопределенно огульном, уровне, эти тезисы не являются спорными, но нельзя их назвать и особо новаторскими, открывающими нечто неведомое. Осложнения начинаются в тот момент, когда мы несколько глубже окунемся в проблематику связи между чувством справедливости и разновидностями социального неравенства.

Основанием для всяких рассуждений о социальной справедливости служит понятие распределительной (дистрибутивной)

справедливости, предложенное впервые едва ли не Аристотелем. Распределительная справедливость, говоря наиболее кратко, относится к распределению желательных благ в обществе. Это распределение может быть справедливым или несправедливым. Роберт Нозик (*Nozick*, 1999: 181–182) относится к понятию распределительной справедливости критически, ставя ему в вину то, что оно не является нейтральным. Вместо справедливого распределения общественно желательных благ — а подобный подход требует существования механизма распределения или даже прямо-таки особого дистрибутора-распределителя, — более естественно, по мнению Нозика, оперировать категорией справедливых прав собственности<sup>1</sup>. Справедливости прав собственности присущи два аспекта: 1) первичное приобретение прав собственности, иначе говоря способ вступления во владение этими правами, который может быть справедливым (например, покупка) или несправедливым (грабеж); 2) передача прав собственности от одного лица к другому, которая тоже может быть справедливой (например, путем продажи) или несправедливой (например, с применением обмана либо мошенничества, завышающего стоимость данного права собственности). «Полный принцип распределительной справедливости, — пишет Нозик, — просто гласил бы, что распределение справедливо, если каждый уполномочен на владение теми правами собственности, которые он получил в результате данного распределения» (*Nozick*, 1999: 183)<sup>2</sup>. Распределение указанных «прав собственности» или общественно желательных благ решающим образом определяет, в свою очередь, место индивида на лестнице социального неравенства.

---

<sup>1</sup> В русском переводе вышеуказанной работы Нозика вместо термина «право собственности» используется «титул». Соответствующий английский термин *entitlement* трактуется англо-русскими словарями как право (или установленная норма) на что-либо: на доход, владение, помощь, иммунитет и т.д. Польский термин *udział*, который использует проф. Э. Внук-Липиньский, переводится в словарях как «доля, удел, пай или участие».

<sup>2</sup> В русском переводе этой работы Нозика данное место (глава 7 «Распределительная справедливость», раздел I «Теория справедливости, основанная на титулах собственности», абзац 3) выглядит таким образом: «В полном виде принцип распределительной справедливости утверждал бы просто, что распределение справедливо, если каждый обладает титулом собственности на имущество, которое он имеет в соответствии с этим распределением».

Однако же такой подход к проблематике социальной справедливости не уточняет принципов или хотя бы критериев, благодаря которым мы могли бы отличить справедливое приобретение и передачу общественно желательных благ от несправедливого. Таким критерием не может, к примеру, выступать всеобщее ощущение, причем не только потому, что сам этот термин в высокой степени неточен, но еще и по той причине, что не существует одного, повсеместно принимаемого и одобряемого чувства социальной справедливости.

Каждое оценивание своего места или места других в иерархии социального неравенства требует обращения к какому-то принципу справедливости. В любом обществе функционирует по меньшей мере несколько таких принципов, причем некоторые из них взаимно исключаются. Кроме того, наличие множества таких принципов приводит к тому, что в целом существует положительная связь между местом индивида в системе разных видов неравенства и обращением к такому принципу неравенства, который легитимирует притязания данного индивида на улучшение своей ситуации. Другими словами, индивиды из нижних диапазонов определенного измерения неравенства проявляют тенденцию прибегать к такому принципу, который позволяет определить их место в данной конкретной системе неравенства как несправедливое. В подобном контексте полностью легитимированными видами неравенства следовало бы признать лишь такие, которые принимаются и одобряются в качестве справедливых не только теми, кто занимает привилегированное положение, но и теми, чье положение противоположно, кто, иными словами, обделен и обижен.

Среди разнообразных определений социальной справедливости мы можем выделить четыре основные категории принципов их построения:

- 1) эгалитарные;
- 2) меритократические;
- 3) «султанские»;
- 4) вытекающие из традиции.

Несомненно, шире всего и дольше всего обсуждаемым является эгалитарный принцип, а точнее многие принципы, ссылающиеся на требование о равенстве. Само понятие неравенства построено, по сути дела, на обращении к эгалитарному принципу, в соответствии с которым любые виды неравенства представляют собой отрицание равенства. Понятие равенства с древнейших



времен и до сегодняшнего дня является одним из самых мощных инструментов социальной мобилизации — это во имя равенства вспыхивали революции и вскипали перевороты. Стремление к равенству было (и остается) устойчивым элементом философских рассуждений, а также фактором, кристаллизующим гражданское общество. Это стремление было одной из главных причин возникновения опекающего государства. Таким образом, мы видим, что равенство — это необычайно существенная ценность, а ориентация на данную ценность порождает важные последствия как в сфере публичной жизни, так и в способе организации современного демократического государства, а также в установлении приоритетов, которые это государство должно реализовать.

И все-таки общие разговоры о равенстве — это занятие, столь же бесплодное в познавательном смысле, сколь и вносящее никому не нужную путаницу в понятия, поскольку равенство как таковое, без дальнейшего уточнения, а именно без указания, о каком конкретно равенстве идет речь, вызывает, правда, в общем-то, позитивный общественный резонанс, но реально может относиться к очень разным подходам, иногда взаимно исключаящимся. Как отмечает Джованни Сартори, «Янусов характер понятия равенства лучше всего подтверждает его связь с понятием свободы, поскольку равенство способно быть самым лучшим ее дополнением или же наихудшим врагом» (*Sartori, 1998: 416*).

Равенство может, например, означать равенство условий или равенство шансов. Равенство условий — это, выражаясь другими словами, абсолютно одинаковые результаты для всех безотносительно к усилиям, вложенным в их достижение. Равенство шансов, в свою очередь, означает, что на старте никто не находится в привилегированном положении. Если бы мы захотели проиллюстрировать эти два эгалитарных принципа, к примеру, забегом на сто метров, то в первом случае все участники соревнования имели бы на финише одинаковое время независимо от того, насколько быстро они бежали. Легко догадаться, что такой гипотетический бег являлся бы бегом только по названию, так как для участников не существовало бы никаких рациональных оснований надрываться. Данное мероприятие превратилось бы скорее в прогулку за заранее установленным и равным для всех призом. А вот во втором случае все участники забега стартовали бы в один и тот же момент, а дорожки и трасса бега были бы для каждого из участников соревнований идентичными — так же, как и индивидуальный

спортивный инвентарь. Результаты на финише не оказались бы одинаковыми, но все участники состязания имели бы шансы выиграть, причем они наверняка старались бы достичь как можно лучшего времени.

Принцип равенства условий, трактуемый ортодоксально, может стать основанием для признания любых проявлений неравенства несправедливыми. Применение такого принципа справедливости означает, что вся лестница социального неравенства лишится легитимности. Разумеется, на практике никакой разумный человек не рассматривает этот принцип ортодоксальным образом, поскольку при такой трактовке его внедрение в жизнь породило бы два серьезных последствия. Во-первых, убило бы мотивацию к любому, хоть какому-нибудь усилию, что катастрофически отразилось бы на экономической эффективности, производительности труда, результативности обучения, а в итоге – на способности любой общественной системы выживать и успешно сохраняться. Во-вторых, внедрение данного принципа справедливости никак не удалось бы осуществить в условиях либеральной демократии и рыночной экономики, ибо оно должно было бы означать очень резкое ограничение гражданских свобод и экономических свобод для заметной части граждан. Поэтому, в частности, единственные попытки в этом направлении – не продолжавшиеся, впрочем, долго – предпринимались на тоталитарной стадии коммунистической системы (период «уровнировки»<sup>1</sup> в сталинском СССР). Сегодняшний, неортодоксальный облик указанного принципа социальной справедливости предполагает лишь, что вилка (разность между крайними точками) отдельных видов неравенства не должна быть слишком широкой, причем, как правило, в этом случае имеют в виду величину или вилки зарплаток, или вилки доходов, или же уровня потребления.

Принцип равенства шансов означает, что существование лестницы социального неравенства не является несправедливостью *per se* (само по себе) – несправедлива лишь ситуация, когда отдельные члены общества имеют неодинаковые шансы продвижения на очередные ступеньки этой лестницы. А неодинаковые шансы могут появиться вследствие дефектного механизма социального продвижения вверх (фаворизирующего какие-то социальные

---

<sup>1</sup> Это слово в оригинале написано хоть и латинскими буквами, но по-русски.

категории, оказывая им предпочтение) или вследствие механизма социального исключения (лишающего какие-то социальные категории всяких возможностей продвижения к вершинам).

Понимание равенства или в категориях равенства условий, или же в категориях равенства шансов не исчерпывает, естественно, всего великого множества возможных интерпретаций расплывчато огульного эгалитарного принципа. Как пишет Амартия Сен (*Sen*, 1992: 12), когда мы говорим о равенстве, то должны уточнять, о чем говорим, иными словами о равенстве какого показателя, свойства или качества идет речь. Ведь можно иметь в виду столь разные вопросы, как, например, равенство доходов, зажиточности, шансов, достижений, свобод или прав. Следовательно, за сформулированным в очень общем виде эгалитарным принципом социальной справедливости скрывается много конкретизированных принципов. К примеру, равенство доходов, зажиточности или достижений укладывается в упомянутый ранее принцип равенства условий, но находится в противоречии с равенством прав или свобод, которые скорее располагаются ближе к общему принципу равенства шансов.

В соответствии с меритократическими принципами социальной справедливости {от английского *merit* — заслуга, восходящего к латинскому *meritum* — воздаяние} само существование лестницы социального неравенства не рассматривается как несправедливое. В этой трактовке те или иные виды социального неравенства являются справедливыми, если соблюдается одно необходимое условие, а именно награды пропорциональны внесенным вкладам, иными словами каждому по заслугам (распределительное понятие социальной справедливости). Если, таким образом, кто-либо прилагает больше усилий для исправления своей ситуации на рынке труда (например, посредством наращивания профессиональной квалификации, улучшения своего образования и т.д.), то в результате он должен получать отдачу, компенсирующую эти увеличенные усилия (например, в виде более высоких заработков). Таким образом, меритократический принцип легитимирует те виды социального неравенства, которые обусловлены тем, что индивиды располагают неодинаковыми ресурсами общественно желательных свойств (образования, квалификации), а это позволяет кому-то лучше устроиться на рынке труда. Практической проблемой является, однако, оценка заслуг или вкладов. В рыночных экономиках принимается, что механизмом, оценивающим заслуги,

является свободный рынок. В авторитарных и тоталитарных системах, где политический фактор сильно вмешивается в правила свободного рынка или вообще приостанавливает их действие, принцип «каждому по заслугам» неизбежно толкуется совершенно произвольным образом, и по этой причине в таких системах отдаются от меритократического принципа в сторону совсем другого принципа – «султанского» (Hayek, 1979)<sup>1</sup>.

Обратим внимание на то, что меритократический принцип легитимирует неравенство условий, но не оправдывает отсутствия равенства шансов. Более того, указанный принцип не легитимирует также неравенство таких условий, которые являются результатом социально неправомерных способов достижения ранее упоминавшихся общественно желательных ресурсов (например, по знакомству, путем взяточничества и т.д.).

«Султанский» принцип социальной справедливости относится непосредственно к структурам власти и легитимирует привилегии, приписанные к тем должностям, которые стратегически важны для стабильности и репродукции действующей системы власти. Уже из самого названия этого принципа, парафразирующего термин Вебера (Weber, 2002: 173), следует вывод, что он применяется для оправдания неравенства, или, точнее, для оправдания привилегий властной элиты в любых разновидностях авторитарного или тоталитарного строя, где лояльность «преторианцев власти» по отношению к лидеру имеет ключевое значение для функционирования всей системы. Наделение данных должностей привилегиями связывает общностью интересов ближайшие административно-политические тылы власти с лидером и носит функциональный характер применительно к устойчивости системы. Особый вопрос состоит в том, насколько в авторитарной или тоталитарной системе этот принцип одобряется и принимается всем обществом, но не подлежит сомнению следующий факт: та часть общества, которая входит (на разных уровнях) в структуры власти подобной системы, принимает этот принцип во внимание в проявляемых ею установках и вариантах поведения в публичной

---

<sup>1</sup> Надо сказать, что в русском переводе классической монографии лауреата Нобелевской премии Ф. А. фон Хайека «Дорога к рабству», на которую ссылается здесь автор, применительно к принципам социальной справедливости такие понятия, как меритократический или «султанский», не упоминаются.

жизни (и в этом смысле уже как минимум приемлет его). В коммунистической системе на основании именно этого принципа легитимировались привилегии партийной номенклатуры (другое дело, насколько эффективным был данный метод легитимации, состоящий, в частности, в своеобразной сакрализации героев общественного порядка данного типа).

Легитимация неравенства, вытекающего из традиции, имеет некий привкус фатализма. Причина в том, что при такой трактовке существование каких-то измерений неравенства признается устойчивым и неотъемлемым свойством каждой человеческой общности и не рассматривает их как несправедливые — точно так же, как люди не рассматривают в категориях несправедливости проливные дожди во время отпуска или необходимость соблюдения какого-либо обычая, хотя иногда и то и другое может оказаться обременительным. Именно таким способом на протяжении длительного исторического периода легитимировалось, например, неравенство между мужчинами и женщинами в публичной жизни.

Определенные принципы социальной справедливости образуют составную часть разнообразных идеологий, проявляющихся в публичной жизни плюралистического гражданского общества. Но бывает и так, что они используются также для делегитимации определенных видов неравенства, иначе говоря для признания их несправедливыми.

Неравенство оказывается полностью легитимированным в том случае, когда принцип, который обеспечивает его легитимацию, одобряется и принимается как теми, кто благодаря применению указанного принципа занимает в системе неравенства более высокие места, так и лицами, оттесненными на более низкие позиции. Неравенство считается полностью нелегитимным, если принцип, который его делегитимирует, принимается и одобряется как привилегированными слоями, так и теми, кто применительно к данному измерению неравенства оказываются обойденными и обиженными. Разумеется, на практике не происходит так — даже в тоталитарных системах, — чтобы любое измерение неравенства было полностью легитимированным или же полностью отвергалось как несправедливое. Особенно невозможна такая ситуация в плюралистической демократической системе. Поэтому, когда мы говорим о легитимации по отношению к какому-то измерению социального неравенства, то, вообще-то, имеем в виду тот факт, что это большинство принимает и одобряет принцип,

легитимирующий данную разновидность неравенства как справедливую. Аналогично принцип большинства относится и к таким видам неравенства, которые страдают легитимационным дефицитом; это означает, другими словами, что большинство одобряет принцип, который позволяет интерпретировать данный тип неравенства в качестве несправедливого.

### **Относительная депривация**

Понятие **депривация** относится к блокированию возможностей по удовлетворению какой-то категории потребностей. **Абсолютная депривация** – это блокирование возможности удовлетворить базовые потребности, иначе говоря такие потребности, удовлетворение которых необходимо для выживания (пища, питье, убежище). В этом случае определение уровня депривации не требует обращения к каким-либо точкам сравнения, поскольку на этом базовом уровне физиологические потребности легко установить и они не дифференцируются в зависимости от общественного положения индивида. С абсолютной депривацией мы имеем дело в экстремальных условиях (например, в нацистских концлагерях либо в советском ГУЛАГе абсолютная депривация была повседневным опытом узников). Сегодня, как вытекает из сообщений гуманитарных организаций, абсолютная депривация случается на территориях, затронутых катастрофическим голодом и собирает обильную жатву смерти (например, в некоторых районах Субсахарской Африки, в Северной Корее).

**Относительная депривация** – это несколько другое явление. Относительная депривация представляет собой ощущение социальной обездоленности, которое вызывается сравнением с какой-то точкой отсчета. Такой точкой отсчета может быть другой человек, общественная группа и даже норма социальной справедливости, принимаемая и одобряемая данным индивидом. Ведь чувство относительной депривации появляется в тех случаях, когда из такого сравнения вытекает следующее: согласно оценке данного индивида он не получает того, что ему полагается по праву. При такого рода сравнениях наиболее частым мерилom выступает заработная плата по месту работы или же доходы, хотя, естественно, относительная депривация может также возникать по отношению к другим измерителям социального неравенства. Относительная депривация встречается не только в группах с низкими доходами, хотя там мы

сталкиваемся с нею чаще всего. Относительную депривацию может испытывать, к примеру, врач при сравнении своих заработков с заработками коллег на той же самой должности в других странах Европейского союза, или пенсионер, сравнивающий величину своей пенсии со средней зарплатой на родине, или младший научный сотрудник из института Польской академии наук, сравнивающий свои заработки с доходом помощницы (ассистентки) какого-нибудь начальника в крупной промышленной корпорации. Таким образом, относительная депривация представляет собой субъективное ощущение бедности. Уже Сенека Младший в «Нравственных письмах к Луцилию» писал: «*Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est*», или: «Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше»<sup>1</sup>. Именно чувство того, что «мне полагается больше», является ядром явления относительной депривации.

Относительная депривация появляется в тех случаях, когда соблюдены по меньшей мере два предварительных условия. Во-первых, определенная система неравенства должна быть общественно видимой, а во-вторых, должен существовать какой-то принцип справедливости, который в этой системе неравенства нарушается. Общественная видимость определенной системы неравенства означает, что принадлежащие к ней виды неравенства не скрываются от общественного мнения, что информацию по поводу формы этой системы неравенства можно добыть относительно легко, так как она находится в публичном доступе (например, в прессе или интернете публикуются размеры заработков, которые могут быть достигнуты на тех или иных конкретных должностях в польской экономике).

Если вдобавок к этому пространство публичной жизни открыто для свободного общественного коммуницирования и свободного объединения в группы, то можно ожидать, что наступит кристаллизация таких групп интересов, члены которых ощущают схожую разновидность относительной депривации. Соблюдение названных условий чаще всего ведет к совместным действиям, иными словами к вхождению в сферу публичной жизни таких группировок, члены которых не только характеризуются похожим типом ощущаемой ими относительной депривации, но и, кроме того, формулируют групповую идеологию, которая делегитимирует систему неравенства, являющуюся источником конкретной относительной депривации, и вместе с тем легитимирует требования членов данной

---

<sup>1</sup> Перевод С. А. Ошерова. М.: Наука, 1977.

группы по изменению их социальной позиции относительно других групп, составляющих для нее точку отсчета. Примером могут быть совместные, коллективные действия разных групп польских трудящихся, которые часто проводят демонстрации перед канцелярией главы Совета министров с целью ликвидации тех проявлений неравенства, которые для демонстрантов служат причиной болезненного чувства относительной депривации (это касается медсестер, анестезиологов, горняков, крестьян и даже полицейских).

Когда тот или иной конкретный тип относительной депривации широко распространен, а возможности устранения причин этого явления правящими властями ограничены, можно ожидать вспышки бунта или массового отказа от гражданского повиновения (сравн.: *Gurr, 1970*). Если удовлетворение требований по устранению мучительной и повсеместно ощущаемой относительной депривации могло бы нарушать идентичность существующей общественно-политической системы, мы имеем дело с предреволюционной ситуацией, которая при возникновении любого предлога может перерасти в революцию.

### Три категории неравенства и публичная жизнь

Разные системы неравенства можно сгруппировать в три основные категории: социальные виды неравенства, политические виды неравенства, а также экономические (материальные) виды неравенства. Каждая из этих трех разновидностей неравенства оказывает влияние на форму публичной жизни. Однако это влияние не является единообразным, поэтому каждую из только что выделенных категорий следует обсудить отдельно.

Применительно к социальному измерению разные виды неравенства, которые ставятся под сомнение, особенно на основе меритократического принципа справедливости, касаются двух вопросов: 1) шансов на достижение лучших позиций в социальной структуре — шансов, которые отнюдь не равны для всех взрослых членов определенного общества; 2) отсутствия пропорциональности между тем, что индивид вносит от себя в рамках общественного разделения труда, и тем, что он получает взамен. Неравенство шансов не нужно понимать как отсутствие одинакового для всех доступа к отдельным статусным позициям или должностям. Такого механически понимаемого равного доступа не существует ни в каком обществе (и существовать не может), ибо целого ряда



статусных позиций или должностей можно достигнуть лишь после приобретения определенной квалификации, которая дает возможность компетентного функционирования в ролях, приписанных к этим позициям (должностям). Не может быть равного для всех доступа к должности, например, врача, мостостроителя или университетского профессора. Чтобы добиваться этих должностей, надо сначала достигнуть соответствующего уровня и профиля образования. Следовательно, образование служит фактором, посредничающим в достижении желательных должностей, а его адекватный уровень и профиль открывают дорогу к одним должностям и закрывают к другим. Тем не менее, однако, чем выше уровень образования, тем шире открыта дорога к занятию самых разнообразных профессиональных позиций, которые, в свою очередь, служат главным фактором, играющим решающую роль в том, насколько статусной будет позиция и должность индивида (Domański, 1996). Но это наверняка не единственный фактор. Из социологических исследований вытекает, что не менее существен здесь и фактор социального происхождения. «Влияние социального происхождения, — пишет Доманьский, — это, в свою очередь, экономические ресурсы родителей, культурный капитал, охватывающий, среди прочего, передачу детям компетенций и навыков в области умения эффективно справляться с жизненными проблемами, а также „социальный“ капитал, проистекающий, в частности, из знакомства с „нужными“ людьми, которые облегчают профессиональный старт или — в случае их отсутствия — ограничивают возможности» (Ibid., 1996: 41). Как мы видим, относительно простой принцип равенства шансов значительно усложняется, когда мы соотносим его с замысловатой, порой запутанной тканью социальной жизни вместе с сетью встречающихся в ней взаимоотношений и взаимозависимостей.

Те или иные виды социального неравенства иногда оспариваются и в тех случаях, когда вознаграждения (например, в виде зарплаток) несоразмерны затратам, которые должен нести индивид, чтобы достичь определенного общественного положения или должности (здесь имеются в виду, например, затраты в виде многих лет обучения и совершенствования своей квалификации, а также связанного с этим расходования времени и денег). Другими словами, несправедливо — в соответствии с этим принципом, — чтобы батрак в деревне зарабатывал столько же, сколько, к примеру, выпускник высшего учебного заведения, начинающий научную

карьеру. Правда, несовместимость вознаграждений с затратами нарушает меритократический принцип социальной справедливости, но может согласовываться с другим принципом, эгалитарным.

В политическом измерении разные виды неравенства вращаются вокруг проблематики равного гражданского статуса. Об этих вопросах пойдет речь в одной из последующих глав настоящего учебника. Здесь есть лишь смысл констатировать, что чувство неравенства применительно к гражданскому статусу вызывает мучительные депривации и представляет собой сильную предпосылку для появления в публичной жизни таких форм коллективного поведения, которые направлены на ликвидацию этой депривации или по меньшей мере на ее редуцирование (ослабление). Дело в том, что любое неравенство в политическом измерении нарушает такие значимые ценности, как субъектность и достоинство индивида, а существование в качестве гражданина второй категории или же ощущение обобщенной депривации гражданских прав низводит индивида (в том числе в его собственной самооценке) до статуса невольника, раба. Именно такие чувства послужили в значительной мере почвой «солидарностной» революции в Польше в 1980 году, бархатной революции 1989 года в Чехословакии, а также оранжевой революции 2004 года в Украине.

Политическое неравенство может принимать разные формы — от тонких и малозаметных в общественном смысле вплоть до очевидных для каждого члена определенного общества. Первая категория политических форм неравенства становится публичным вопросом лишь в тех случаях, когда на сцене коллективной жизни появляется сила, которая идентифицирует данные виды неравенства, назовет их и публично раскроет, сделав явными для всех. Это такой шаг, который предоставляет возможность агрегировать личные тревоги и беспокойства распыленных индивидов в публичный вопрос, если воспользоваться миллсовскими (C. W. Mills) аналитическими категориями. Лишь в этот момент может быть запущен процесс редуцирования или устранения этих типов неравенства (как правило, посредством реформирования политической системы). Вторая категория подобных неравенств связывается с самой природой системы и не может быть уничтожена без ее изменения; дело в том, что политические неравенства такого рода специфичны для недемократической системы, а их устранение не только нарушает идентичность недемократической системы, но и лишает ее возможности воспроизводиться

в существовавшей до этого форме. Иллюстрацией неравенства такого типа может быть, к примеру, механизм рекрутирования на должности во властной элите только людей, лояльных к нынешней правящей команде, чье привилегированное положение легитимизируется на основе «султанского» принципа справедливости. Посему устранение неравенств подобного типа происходит, как правило, революционным путем (хотя это может быть революция нового типа — без применения насилия). Мы имеем тут дело с явлением, описанным Парето (*Pareto*, 1994: 84, 280–282) как «циркуляция элит»<sup>1</sup>, иными словами с заменой одной элиты на контрэлилу, которая вследствие блокирования каналов продвижения наверх, т.е. в состав старой элиты (из-за функционирования «султанского» механизма), не могла занять места старой элиты иначе, чем путем ее революционной ликвидации.

Наименее видимым проявлением политического неравенства является создание властной элитой разных неформальных структур, которые становятся причиной того, что нарушается нормативный канон гражданского общества и демократической системы в целом, а именно равенство всех граждан перед законом. Дело в том, что благодаря упомянутым неформальным структурам и связям становится возможным такое функционирование властной элиты или по меньшей мере каких-то ее членов, когда они оказываются выше формально действующего закона и не считаются с ним.

Несколько более видимы для общественности те виды неравенства, результатом которых становится существование граждан второй категории, не пользующихся такой же полнотой гражданских прав, как и остальные люди. Наличие неравенств такого типа, характерных, например, для коммунистических систем и появляющихся вследствие действия механизма так называемой номенклатуры (иначе говоря, резервирования стратегических политических, хозяйственных и экономических должностей исключительно для членов коммунистической партии), ведет к гражданской маргинализации огромной массы людей, которые — по определению — оказываются исключенными (частично или полностью) из определенных областей публичной жизни.

Сильнее всего видны те формы политического неравенства, которые разделяют общество на две категории: авторитарную

<sup>1</sup> Нередко используется и термин «ротация элит», а иногда — «круговорот элит».

власть и подданных. Такого рода неравенство, характерное для тоталитарных систем, но также для авторитаризма «султанского» типа, означает, что гражданского общества вообще нет, оно отсутствует. Общественная заметность подобных видов неравенства велика, поскольку благодаря им каждый знает свое место. Хотя эти варианты неравенства нарушают как эгалитарные, так и меритократические принципы социальной справедливости, их, однако же, легитимирует обсуждавшийся ранее «султанский» принцип, который – если подданные подвергнутся соответствующей индоктринации – может выполнить свою задачу, иными словами широко распространить убеждение, что неравенство данного типа вполне справедливо.

В экономическом измерении проявления неравенства могут касаться трех вопросов: 1) зарплат; 2) доходов; 3) зажиточности. Неравенство по зарплатам может быть делегитимировано на основании эгалитарного и меритократического принципов социальной справедливости. Примером применения первого принципа является «слишком большая» разбежка между самыми низкими и самыми высокими зарплатами (независимо от того, за выполнение какой работы они выплачиваются или какой квалификации требует данное занятие). Такова чаще всего встречающаяся разновидность делегитимации неравенства по заработной плате на основании эгалитарного принципа. Призывы к абсолютному равенству зарплат не находят сегодня слишком многих сторонников. Во втором случае неравенство по зарплатам оспаривается, когда оно касается лиц, располагающих идентичной квалификацией или выполняющих идентичную работу (на основании указанного принципа ставятся, например, под сомнение неравные зарплаты мужчин и женщин, обладающих одинаковой профессиональной квалификацией либо образованием или же выполняющих одинаковую работу за разную оплату).

Разные формы неравенства по доходам могут – так же, как и в случае зарплат, – оспариваться на основании эгалитарного принципа; и в этом случае речь идет о «слишком большом» разбросе доходов, а не о выравнивании всех доходов. Такие типы неравенства могут быть также признаны несправедливыми на основании меритократического принципа – к примеру, если источник подобных доходов (или какой-то их части) неясен либо нарушает общепринятые правила извлечения доходов. В таком случае нарушается принцип пропорциональности затрат вознаграждению

(например, если кто-нибудь черпает доходы за счет доступа к информации, которая для других недоступна, что приносит плоды в виде «политического капитализма», или же когда источником доходов служит попросту преступная деятельность). Аналогичным образом может оспариваться неравенство по уровню зажиточности, но в этом случае иногда появляется – на основе эгалитарного принципа – вариант оспаривания зажиточности, достигаемой путем наследования собственности. Такая разновидность делегитимации неравенства была типичной для коммунистической системы, особенно на ранней стадии ее существования.

Любые виды неравенства независимо от того, определяют ли они как несправедливые или же как справедливые, создают социальные разделения, которые в упрощенной форме функционируют в общественном сознании (например, разделение на богатых и бедных, управляющих и управляемых, пользующихся уважением и малоуважаемых). В свою очередь, эти упрощенные разделения влияют на способ функционирования индивидов в публичной жизни. Во-первых, они формируют социальную идентичность индивида, который определяет себя и себе подобных через самоидентификацию с каким-то из компонентов этих разделений. Во-вторых, они помещают эту самоидентификацию в контекст разнообразных принципов социальной справедливости, и, если найдется достаточно сильный принцип, на основании которого индивид может признать свое место в системе неравенства явно несправедливым, то в публичном пространстве мы можем ожидать от него требовательной, притязательной установки и специфических вариантов поведения, нацеленных на снижение чувства социальной обездоленности. В-третьих, коллективным формам поведения, вытекающим из широко распространенного ощущения относительной депривации, присущи отсылки уже не к единичным, индивидуальным жизненным ситуациям, а к функционирующим в общественном сознании упрощенным структурным размежеваниям.

### **Внеструктурные общественные размежевания**

Не только общественная структура и генерируемая ею система неравенства влияют на форму публичной жизни. Липсет и Роккан (*Lipset, Rokkan, 1967*) заметили, что некоторые существенные исторические события не только меняют повседневную жизнь огромной массы людей, принимающих участие в этих событиях, но

и становятся также источником общественных размежеваний, которые продолжают существовать значительно дольше, чем само событие, которое вызвало указанные размежевания. Названные авторы обращают внимание на три таких фундаментальных исторических события, последствия которых в сфере общественных размежеваний можно было чувствовать еще на протяжении несколько столетий после них. Хронологически первым из них явилась Реформация и Контрреформация. Появление протестантизма не только внесло глубокие размежевания в среду христиан, но и прежде всего выявило размежевания на фоне взаимоотношений «церковь—государство», а также «церковь—общество». Отношение государства (властных элит) и общества к церкви стало осью, вдоль которой сложилось первое из тех долговременных размежеваний, которые идентифицировали Липсет и Роккан.

Второе историческое событие с долговременными последствиями — это Великая французская революция вместе с ее влиянием как источника образцов на появление национальных демократических государств. Великая французская революция привела на публичную сцену широкие массы, но, чтобы такое могло случиться, должен был начаться, с одной стороны, процесс наделения этих масс ощущением гражданства, иначе говоря предоставления им гражданского статуса, а также гарантирование им защиты прав личности, а с другой стороны, должна была возникнуть иерархическая структура современного государства, которая, правда, стала гарантом публичного порядка, но вместе с тем создала оппозицию между центром власти и управляемыми периферийными областями. Похожие последствия имела также американская революция.

Третьим историческим событием явилась промышленная революция, особенно изменения в отношениях собственности, произошедшие в народном хозяйстве и экономике, а также появление в пределах городов быстро развивающейся сферы индустриального производства. Промышленная революция сгенерировала два долговременных размежевания, а именно размежевание на: 1) владельцев средств производства и наемных работников; 2) сельскую аграрную экономику и городскую индустриальную экономику.

Очередным событием — вероятно, тоже сгенерировавшим новое и долговременное общественное размежевание — было появление коммунизма, который в течение большей части XX века составлял повседневный опыт огромной массы людей во всем мире. Я пишу «вероятно», поскольку, как справедливо отмечает

Грабовская (*Grabowska*, 2004: 61), «то, что может сделаться размежеванием в сильном смысле, становится окончательно известным лишь с перспективы времени, *ex post* (после того, как сделано; постфактум)». А ведь с момента падения коммунизма прошло исторически короткое время. Посему у нас нет уверенности, что размежевания, описываемые теперь как наследие коммунизма, будут действительно носить характер длительной тенденции. Одно из таких размежеваний, которое явно бросается в глаза как итог коммунизма, идентифицировали и описали в своем исследовании четыре автора (*Kitschelt, Mansfeldova, Markowski, Tóka*, 1999) — это размежевание на сторонников и противников коммунизма. Указанное размежевание, отчетливо видимое сегодня в обществах Центральной и Восточной Европы, в значительной степени формирует установки и варианты поведения, проявляемые в публичной жизни. Нет, однако, никакой уверенности, что оно будет носить долговременной характер, воспроизводящийся из поколения в поколение даже в отдаленную эпоху, когда коммунизм будет известен живущим в те времена только со страниц книг по истории. Чтобы размежевание носило устойчивый характер, оно должно формировать не только текущие общественные установки, но еще и социальную идентичность, а кроме того, должно присутствовать в межпоколенческой передаче ценностей. Углубленный подход к этому явлению представила Грабовская (*Grabowska*, 2004), формулируя — с опорой на эмпирические аналитические исследования — утверждение, что коммунизм создал глубокое общественное размежевание, которое продолжает существовать еще и сегодня, причем, скорее всего, оно продолжит также присутствовать в будущем. Данное размежевание является более глубоким, чем сами социальные установки и, к примеру, являющееся их следствием выборное поведение, поскольку оно касается не только непосредственно политических проблем, но также находит выражение и в других областях публичной жизни. Следовательно, возникает вопрос, на каком основании мы вправе ожидать от этого размежевания настолько устойчивого характера, что оно станет в какой-то степени воспроизводиться из поколения в поколение. Среди факторов, закрепляющих указанное размежевание, Грабовская перечисляет «существование посткоммунистических и антикоммунистических идентичностей, в том числе среди молодежи (а это означает, что они присутствуют в социализации молодого поколения и настолько привлекательны, что принимались, одобрялись внутри и демонстрировались вовне), а также

стереотипы разных вариантов выборного поведения, связанных с религиозностью и церковью. <...> Религиозность, равно как и предпочтительная модель отношений между церковью и государством, которые сами по себе стабильны в общественном масштабе и вдобавок стабилизируются принятыми правовыми решениями, тоже будут насыщать, подпитывать и закреплять посткоммунистическое размежевание» (Grabowska, 2004: 362). Дополнительными факторами, закрепляющими, по мнению Грабовской (Ibid.: 363–364), посткоммунистическое размежевание, являются идентификация в разрезе «левые—правые», а также относительно устойчивая социально-политическая география Польши, обусловленная традициями и культурой определенных региональных и локальных сообществ, в результате чего в одних регионах люди более религиозны и проявляют более сильную тенденцию к поддержанию постсолидарностных правых сил, тогда как население других регионов в меньшей степени привязано к религии и обнаруживает более внятную тенденцию к поддержанию посткоммунистического левого крыла политического спектра.

### **Общественные размежевания — и варианты поведения в публичной жизни**

Общественные размежевания — как те, почвой для которых служит социальная структура и создаваемая ею система неравенства, так и такие, почвой для которых выступают внеструктурные факторы, — влияют на установки и варианты поведения отдельных индивидов, а также групп в сфере публичной жизни. Как я уже упоминал, это, разумеется, не то влияние, которое полностью детерминирует их установки и формы поведения. Другими словами, дело обстоит отнюдь не так, что, зная место индивида в системе неравенства, а также его позиционирование во внеструктурных размежеваниях, мы способны с полной уверенностью предвидеть, каким образом он поведет себя в конкретной ситуации. Единственное, что мы можем, — это ожидать появления определенных установок или вариантов поведения с некоторой долей вероятности. Указанная вероятность тем выше, чем сильнее связь между установками и вариантами поведения индивида (либо группы), с одной стороны, и принадлежностью к определенной ступеньке на лестнице неравенства (либо принадлежностью к определенной стороне длительного внеструктурного размежевания) — с другой.



Правда, связи между расположением в социальной структуре и установками в публичной жизни подвергались критике, причем многими самыми разными способами (*Sartori, 1998; Szawiel, 1982*), но, однако, со времени опубликования работы «Homo politicus» («Политический человек») Сеймура Липсета<sup>1</sup> (1998) и его тезиса, что выборы представляют собой выражение демократической борьбы классов, принимается, что социальная структура и генерируемая ею система неравенства имеет значение для формирования установок и форм поведения, проявляемых в публичной жизни (в том числе в политике). Данное утверждение Липсета нельзя назвать непосредственной отсылкой к известному тезису Маркса, что бытие определяет сознание, но оно, несомненно, является каким-то его отголоском. Как пишет Липсет (*Lipset, 1998: 243*), самым простым объяснением этого всеобщего стереотипа является собственный экономический интерес. Партии левого толка представляют себя в качестве инструментов общественных изменений, ведущих к равенству; группы с пониженными доходами поддерживают их, чтобы подправить собственную экономическую ситуацию, тогда как группы с более высокими доходами противостоят им, дабы сохранить свои экономические преимущества. Доказательствами могут быть признаны статистические данные, свидетельствующие о значении классовых факторов в формах политического поведения. Однако сам Липсет признает, что эти корреляции далеки от систематической причинно-следственной зависимости. Далее он пишет, что «некоторые социальные позиции предрасполагают к формированию консервативных взглядов, в то время как другие способствуют более левым политическим взглядам. Перед лицом противоречивых форм и направлений общественного давления некоторые лица более податливы влиянию каких-то видов нажима, благодаря чему они создают видимость отклонений от трафарета классового голосования» (*Ibid.: 243*).

В условиях радикального общественного изменения ситуация еще более усложняется, а связи между местом в социальной

---

<sup>1</sup> Автор ссылается здесь на польский перевод классической монографии Сеймура Мартина Липсета «Political Man: The Social Bases of Politics» («Политический человек. Социальные основы политики»), датированной 1960 годом. В Польше при переводе этой книги в ее названии появилась латынь, которая в оригинале, как мы видим, отсутствовала. Недавно фрагменты этой работы С. Липсета переведены на русский язык (см. раздел «Библиография»).

структуре и установками, а также вариантами поведения в публичной жизни представляются менее жесткими. Как вытекает из результатов эмпирического анализа Шавеля (*Szawiel, 2001: 276*), расклад голосов на выборах действительно не является случайным с точки зрения социально-профессиональной принадлежности респондентов, и это означает, что какая-то связь между социально-профессиональной структурой и политическими предпочтениями существует, но эта связь не является сильной, а в качестве наиболее правдоподобной посредничающей категории выступает способ определения группового интереса. Шавель пишет: «Мы не заметили, однако, устойчивого, однонаправленного тренда по сосредоточению голосов данной социальной категории на одной партии или группировке. Приливы голосов сопровождались обычно отливами» (*Ibid.: 277*). Явление зыбкой связи между социально-профессиональным положением и политическими предпочтениями он объясняет тремя факторами. Во-первых, тем фактом, что в условиях радикального изменения социальные группы находятся на стадии поиска новой идентичности, переопределения групповых интересов, а также поиска политического представителя для своих уже сформировавшихся интересов. Во-вторых, существующие политические партии не мобилизуют своих сторонников, взывая к их групповому интересу, а скорее заняты своими внутренними проблемами. В-третьих, политические партии пренебрегают определением интересов своей социальной базы, а тем самым оказываются не в состоянии ни правильно их артикулировать, ни также мобилизовать своих сторонников вокруг этой артикуляции.

Из приводившихся до сих пор рассуждений вытекает, что место индивида в социальной структуре и системе неравенства действительно оказывает влияние на варианты его поведения в сфере публичной жизни, но это все-таки далеко не единственное влияние (поскольку воздействует также и его позиционирование в комплексе внеструктурных размежеваний); кроме того, не всегда удастся точно реконструировать причинно-следственные зависимости между социальной структурой, с одной стороны, и формами поведения и гражданскими установками — с другой. Следовательно, классовое обоснование публичной активности граждан является одним из возможных объяснений, но ограничивать себя исключительно этим аспектом было бы — в свете эмпирических исследований — слишком далеко идущим упрощением.

Правда, для выяснения того, чем обуславливается активность в публичной сфере, можно применить обсуждавшуюся перед этим категорию **относительной депривации**. Относительная депривация может, но не обязательно должна обуславливать варианты поведения, проявляемые в публичной сфере. Не подлежит, однако, сомнению, что чувство относительной депривации довольно непосредственным образом формирует общественные установки. Одним из многочисленных эмпирических доказательств в поддержку этого тезиса являются, например, исследования, проведенные в Польше в середине 80-х годов (*Koralewicz, Wnuk-Lipiński*, 1987), которые показали, что сфера публичной жизни была в 1984 году источником очень острых деприваций в сфере гражданского статуса. Данный факт можно связать с опытом гражданских свобод в годы легальной деятельности первой «Солидарности» (1980–1981 годы), заблокированных введением военного положения 13 декабря 1981 года. Эта депривация отчетливо просматривалась в сфере установок, но в сфере поведения данная зависимость была уже не столь явной. Словом, крайне остро переживаемое чувство гражданской депривации не находило в 80-х годах автоматического отражения в таких вариантах поведения, которые вели бы к смягчению ощущения депривации; значительная часть людей, испытывавших чувство депривации, подавляла подобные формы поведения, опасаясь санкций со стороны режима Ярузельского, сумевшего восстановить свой контроль над странством публичной жизни.

Даже в тех случаях, когда чувство депривации столь сильно, что не только выражается в установках, но и порождает определенные виды поведения, последние — если не принимают форму каких-то коллективных акций (требующих организации) — могут как максимум вылиться в отчаянные единичные поступки, обычно малоэффективные для устранения источников испытываемой депривации. Причина в том, что публичная жизнь является прежде всего областью действия организованных сил, хотя степень формализации этих организаций может быть разной — от слабо структурированного общественного движения до политической партии или профессионального союза с собственным исполнительным аппаратом, состоящим из профессиональных администраторов.

В этой связи возникает вопрос, в каких условиях относительная депривация может довести до коллективных форм поведения, стремящихся ликвидировать или хотя бы ослабить ее источники.

Чтобы это произошло, должны быть удовлетворены по меньшей мере следующие четыре условия:

- 1) система неравенства должна быть общественно видимой;
- 2) должен пользоваться относительно широким признанием тот принцип социальной справедливости, который нарушается этой хорошо видимой системой неравенства;
- 3) должны существовать средства и возможности для социальной коммуникации, не зависящие от контроля государства;
- 4) должна возникнуть какая-то автономная по отношению к государству форма организации тех, кто ощущает аналогичную депривацию.

Лишь в том случае, когда все эти четыре условия соблюдены, можно с высокой вероятностью ожидать коллективных действий, которые вступают в сферу публичной жизни и будут преследовать ясную цель — разрядить эту накопившуюся относительную депривацию.

Когда система неравенства не является общественно видимой, до чувства депривации дело вообще не доходит. Люди проявляют тогда тенденцию принимать и одобрять свое место в определенной системе неравенства, даже не очень осознавая то обстоятельство, что их обошли, принизили и обидели. Причина в одном: они полностью уверены, что примерно так же или очень похоже живут «все». Подобное происходит в тех случаях, когда привилегии правящего класса успешно скрываются или когда этому правящему классу удастся широко распространить убеждение, будто общественно видимые привилегии указанного класса принадлежат к числу «заслуженных», а следовательно, они справедливы.

В том случае, когда не существует широко одобряемого и повсеместно принимаемого принципа социальной справедливости, на основании которого индивид мог бы идентифицировать свое место в системе неравенства как несправедливое, чувство неудовлетворенности, правда, может появиться, хотя оно не достигает отчетливой кристаллизации и заглушается убеждением, что таков уж порядок общественной жизни и с этим ничего не поделаешь. Даже если видны такие точки отсчета, на основании которых индивид мог бы определить свое положение как ущемленное, он, однако же, все равно не относится к нему как к несправедливому, поскольку не хватает нормативного принципа, ставящего под сомнение справедливость существующей системы неравенства. На протяжении чрезвычайно

длительного — даже в историческом смысле — времени неравное положение женщин и мужчин трактовалось — в том числе и самими женщинами — именно таким образом, пока не появились идеологии, которые оспаривали приниженность женщин, привлекая в качестве основания либо эгалитарный, либо меритократический принцип.

В свою очередь, если независимые от государства средства и возможности социальной коммуникации отсутствуют, то эти единичные чувства депривации могут в самом крайнем случае всего лишь найти отражение в чьих-то отдельных установках, так как у людей нет ощущения, что в похожей ситуации пребывает много других лиц, а если они даже знают об этом, то без горизонтального общественного коммуницирования не могут набраться уверенности в том, что другие индивиды, находящиеся в столь же ущемленной и приниженной ситуации, тоже оценивают ее как несправедливую. Недостаток, а тем более отсутствие межличностной коммуникации, независимой от государственных институтов, порождает явление общественной изоляции, ибо в подобной ситуации люди могут общаться между собой только через посредство институтов, контролируемых государством. В таком случае чувство относительной депривации уже как-то может проявиться и даже принять резкую форму, но опять-таки вследствие отсутствия коммуникаций никто не знает, каков диапазон общественной распространенности данного явления. В результате мы можем ожидать многих единичных проявлений социальной фрустрации, которые, однако, не находят общего вектора, иначе говоря не ведут к коллективным формам поведения.

Наконец, если все перечисленные выше барьеры оказываются устраненными (т.е. система неравенства является общественно видимой, существует принцип или принципы, на основании которых можно эту систему определить как несправедливую, и, наконец, существует горизонтальное общественное коммуницирование, благодаря которому люди, испытывающие чувство определенной депривации, знают, что подобным же образом думают многие или даже очень многие другие лица), то, чтобы эти ощущения депривации довели до конкретных коллективных видов поведения, кто-либо должен стать центром кристаллизации какой-нибудь организационной формы, благодаря которой это коллективное поведение будет характеризоваться совместно поставленной целью, некой координацией выступлений, а также согласованным адресатом совместно предъявляемых требований.

## Неравенство и качество демократии

К числу расхожих мнений принадлежит убеждение в том, что фундаментом устойчивой демократии является многочисленный средний класс, интересы, запросы и устремления которого лучше всего реализуются в условиях демократического и рыночного порядка. Низшие классы обычно обнаруживают более радикальные и вместе с тем авторитарные тенденции. Из исследований Липсета (*Lipset, 1998: 107, passim*) вытекает, что низшие классы проявляют более левые убеждения в своих взглядах на экономику и хозяйство (т.е. в большей степени высказываются в пользу расширения опекающего государства, или государства всеобщего благосостояния, поддерживают прогрессивный налог и т.д.; иначе говоря, в целом они стоят за увеличение перераспределительной роли государства), но в общественном измерении характеризуются меньшей толерантностью к другим социальным группам, увеличенным авторитаризмом, а также меньшей, чем у представителей средних классов, привязанностью к демократическим нормам.

Современный средний класс – это не только группа мелких собственников, но также количественно возрастающая категория менеджеров, высококвалифицированных специалистов, преподавателей, администраторов разного уровня, научных сотрудников и других наемных работников высокой профессиональной квалификации. Столь широко определенный средний класс охватывает в наиболее развитых полиархиях свыше половины всего народонаселения и составляет солидную социальную базу как для демократического строя, так и для реализации капиталистических экономических принципов. Несколько иначе представляется ситуация в молодых демократиях, которые недавно вышли из коммунистической системы. В этих странах социальная структура вместе с сопровождающей ее системой неравенства претерпевает глубокие перемены, главным образом вследствие замены экономики, основанной на централизованном планировании, рыночными принципами. Средний класс является там чем-то таким, что лишь создается в качестве одного из последствий демократической революции. Как пишет Мокшицкий (*Mokrzycki, 1995: 233*), наблюдение за восточноевропейскими обществами ведет к парадоксальному выводу, что новый средний класс по-прежнему является скорее идеологическим артефактом, чем реально существующим объектом. Функцию среднего класса выполняет там в первую очередь

общественная категория, называемая интеллигенцией, которая — иногда вопреки своим узко определенным интересам — выступает в качестве социальной базы демократических и рыночных реформ. Мокшицкий предвидит, что эти реформы — в длительной перспективе — будут способствовать преобразованию традиционной интеллигенции в средний класс в том значении, которое приписывается указанной категории в западных обществах.

Когда средний класс слаб, а социальное неравенство, особенно в экономическом измерении, велико, социальная база для демократии ограничена, а демократические институты характеризуются отсутствием стабильности. Слабеет также интерес людей к публичным вопросам, что неблагоприятно сказывается на жизнеспособности гражданского общества. Если в общественной структуре количественно доминируют слабо образованные социальные категории, характеризующиеся низким доходом, то социальные взаимоотношения в этом сегменте общества несложны и, в общем, ограничиваются добыванием средств к существованию, причем простыми способами (например, путем самообеспечения). Это сопровождается тенденцией уходить в частную жизнь, в приватность, а также общественной апатией, которая, однако, иногда может преобразиться в поддержку каких-то радикальных группировок популистского толка. Особенно часто нечто подобное происходит в том случае, когда система неравенства поляризуется, а привилегии лучше обеспеченных слоев нарушают какую-то широко одобряемую норму социальной справедливости.

Повышение уровня зажиточности общества и уровня его образования, а также существование развитого среднего класса — все это факторы, которые положительно коррелируют со спросом на демократические решения в политической сфере (*Lipset, Seong, Torres, 1993; Vanhanen, 1997*), а также улучшают качество функционирования демократической системы. Вместе с тем они снижают вероятность поворота значимых сегментов общества в направлении радикализма или даже политического экстремизма, а тем самым содействуют упрочению того, что называется консолидацией демократического порядка.

## Социальная политика

Главная цель социальной политики состоит в снижении уровня социального неравенства, создаваемого «чистым» рыночным

механизмом. В этом специфическом контексте политика становится областью, где происходит согласование принципов социальной справедливости.

Широко понимаемая социальная политика может быть определена как устойчивые действия демократического государства, а также неправительственных институтов, направленные на поддержание относительного равновесия между двумя ценностями: свободой и равенством. В первый момент кажется, будто этот тезис звучит довольно-таки парадоксально, но его углубленное рассмотрение устраняет парадокс. Дело в том, что социальная политика в наиболее общем смысле представляет собой процесс перераспределения ценностей и услуг в соответствии с некоторыми нормативными предпосылками (которые ранее мы назвали принципами социальной справедливости).

Государство вместе со своим развитым и многочисленным бюрократическим аппаратом обычно выступает в качестве наиболее влиятельной силы, контролирующей приоритеты социальной политики и их проведение в жизнь. При тоталитарном строе оно — *ex definitione* (по определению) — является единственной действующей силой. Некоторые другие силы, присутствующие в публичной жизни определенного общества (профессиональные союзы, всевозможные объединения, религиозные общины и т.д.), играют в этом процессе, в общем-то, второстепенную роль, лишь дополняющую деятельность государства. Чем более демократизирован общественный порядок, тем важнее становится роль этих дополняющих структур и общественных сил при проведении в жизнь социальной политики. Однако же государство всегда остается доминирующей силой, ибо оно контролирует значительную часть перераспределительного процесса.

Таким образом, социальная политика, понимаемая как процесс перераспределения, осуществляется для «корректирования» тех экономических и общественных процессов, которые нарушают комплекс ценностей, определяемых как социальная справедливость. К примеру, в либеральной рыночной экономике корректировке подвергаются результаты действия чистых рыночных механизмов; в нерыночной экономике, остатки которой по-прежнему продолжают присутствовать в странах Центральной и Восточной Европы, действия социальной политики были направлены на модификацию последствий централизованной системы хозяйственного и экономического планирования. Это не означает,



что в государствах с рыночной экономикой нет государственного интервенционизма (политики вмешательства). Скорее напротив: интервенционизм и социальная опека там иногда развиты очень сильно (например, в Скандинавских странах). Однако в экономике, которая планируется централизованно, мы имеем дело уже не с интервенционизмом государства в результате каких-то экономических или хозяйственных действий, а с почти полным контролированием всякой экономической деятельности. В обоих случаях перед нами целенаправленное вмешательство в общие принципы, организующие общественную жизнь, ради сохранения целого ряда ценностей, которые связываются с доминирующим в данной системе понятием справедливости. Реализация социальной политики, ее проведение в жизнь продиктованы также одним прагматическим соображением, особенно существенным с точки зрения властной элиты. А именно речь идет о сохранении социального мира и минимизации вероятности того, что в обществе будут вспыхивать острые социальные конфликты.

Перераспределительный процесс означает, по сути дела, что происходит переназначение благ и услуг в пользу одних социальных групп за счет других социальных групп. Самым тривиальным примером перераспределения является прогрессивная налоговая политика в рыночных экономиках, а в нерыночных экономиках — непосредственная концентрация ресурсов в руках центральной власти; при этом собранные таким способом средства предназначаются на самые разнообразные социальные цели (школьное дело, стипендии для студентов, здравоохранение и медицина, пособия для безработных и т.д.).

Это означает, что для социальной политики (невзирая на приоритеты и на тип общественного строя) основной ценностью является равенство; люди должны быть более равными, даже если бы следствием этого оказывалось некоторое ограничение свободы для какой-то части населения. В условиях крайне либерального общественного порядка вообще нет места для перераспределительной социальной политики, поскольку люди должны сами нести ответственность за свою жизнь. С другой стороны, в идеальном типе коммунистического строя нет ничего иного, кроме социальной политики, так как перераспределение является там полным и повсеместным (все ресурсы сконцентрированы под контролем государства, которое в результате контролирует почти все сферы жизни каждого индивида и несет ответственность за

них). Оба эти крайних примера носят, разумеется, чисто теоретический характер, хотя в тоталитарных коммунистических государствах второй из них почти реализовался на самом деле.

Вопрос, что важнее — равенство или свобода, не содержит в себе ничего нового. Если мы не станем углубляться в более отдаленные исторические источники этого извечного спора, то, с одной стороны, обнаружим либеральные (или неолиберальные) идеологии, делающие акцент на свободу как самую важную из ценностей (Hayek, 1979). С другой стороны, имеются коммунистические идеологии — они вырастают из Марксовой доктрины, которая составляла нормативный фундамент для послевоенных государств с тоталитарным строем, где в качестве такой базовой ценности, казалось, выступало равенство.

Демократический порядок, постепенно складывающийся сегодня в Центральной и Восточной Европе, поместил эту проблему в новый контекст — каким образом сочетать возросшую свободу со значительным ростом экономической эффективности, сохраняя вместе с тем отдельные эгалитарные ценности, которые на протяжении десятков лет присутствовали в этих обществах и оказались усвоенными большинством населения. Данный контекст полностью отличается от ситуации в западных демократиях. Это отличие сводится, по сути дела, к тому, что в западных демократиях основная проблема социальной политики состоит в том, каким образом сократить проявления социального неравенства, не нарушая вместе с тем неких базовых экономических и гражданских свобод (дабы не снижать эффективности системы). Тем временем в посткоммунистических обществах главная проблема заключается в чем-то совершенно ином — каким путем увеличить базовые экономические и гражданские свободы без чрезмерного роста неравенства, которое могло бы нарушить социальный мир.

Таким образом, в демократическом государстве социальная политика является суммой действий в публичной сфере, направленных на то, чтобы, с одной стороны, социальное неравенство не превосходило определенного порога, после нарушения которого отдельные сегменты общества подверглись бы маргинализации и, как следствие, оказались лишены возможности участия в публичной жизни, тогда как иные — лучше организованные — сегменты могли бы разрушить социальный мир; а с другой стороны, чтобы перераспределение благ и услуг не снижало эффективности существующей экономической системы и не нарушало

мотивацию к новым достижениям среди инициативных и предприимчивых членов общества. Следовательно, говоря с некоторым упрощением, это состояние неустойчивого равновесия между двумя принципами социальной справедливости: эгалитарным и меритократическим.

Подводя итоги данной главы, можно констатировать, что место человека в социальной структуре является важной детерминантой его поведения в публичной жизни, но на этом основании нельзя безошибочно прогнозировать реальные формы его поведения. Это означает, что существуют также другие – внеструктурные – причины установок индивидов и вариантов их поведения, которые должны приниматься во внимание, если мы хотим лучше понять не только динамику коллективных форм поведения в публичной жизни, но и само возникновение таких форм поведения (об этом пойдет речь в последующих главах данной книги).

## ГЛАВА 3

# СОЦИАЛЬНАЯ СУБЪЕКТНОСТЬ И ЧУВСТВО ДЕЙСТВЕННОСТИ

### Введение

В предыдущей главе констатировалось, что место человека в социальной структуре (понимаемой стандартно, т.е. тем способом, который там разъяснялся) не детерминирует его установок, поступков и вариантов поведения в публичной жизни. Потому что всегда остается какой-то *residuum* (остаток), который выходит за пределы этих структурных обусловленностей и который не удается свести к этим обусловленностям. По этой же причине, анализируя влияние структуры на установки, действия и варианты поведения, мы можем в самом лучшем случае оперировать вероятностными категориями и утверждать, что более правдоподобно, если представители определенного класса будут — рассматривая ситуацию статистически, — к примеру, более радикальны в своих установках и формах поведения, нежели представители другого класса. Как вскоре окажется, в теориях, которым посвящена значительная часть этой главы, самое широкое хождение имеет оппозиция между тем, что обусловливается структурой, и тем, что вытекает из субъектных решений индивида. Кстати, понятие «структура» в указанных теориях несколько различается по смыслу, но речь об этом пойдет впереди.

Влияние позиционирования индивида в стандартно понимаемой социальной структуре и в системе неравенства на формы его поведения и на установки в публичной жизни обнаруживается как статистическая тенденция, но это влияние не настолько однозначно, чтобы можно было — на основании знаний о месте человека в социальной структуре — со всей уверенностью, наверняка предсказывать, каким образом он поведет себя в определенной ситуации. И иначе не может быть. Представим себе, какое это было бы общество, если бы социальная структура строго детерминировала установки и варианты поведения каждого человека. Если бы, другими словами, установки и варианты поведения были жестко

приписаны к определенной статусной позиции или должности (независимо от того, кто ее занимает), а не к конкретному человеку, который достиг данной позиции. Субъектность человека стала бы пустым понятием, чувство действительности и контроля над собственной жизнью оказалось бы сведенным к нулю, вследствие чего потеряло бы смысл и чувство личной ответственности за то, что человек делает. Такое общество может существовать только на страницах дистопии (антиутопии), являющейся продуктом литературной фантазии. Свобода в такой модели общества тоже стала бы определением, лишенным реально обозначенных атрибутов, а понятие «гражданство» утратило бы право на существование. В подобном воображаемом обществе отдельные индивиды оказались бы бездушными и легко заменяемыми элементами некой органической машины, каковую стала бы представлять собой человеческая общность.

Мы знаем, что такого общества не существует, а не существует его по той причине, что человек обладает чрезвычайно сложным и не познанным до конца атрибутом, называемым сознанием, потому что человеку присуще чувство собственной идентичности, которое, в общем, постоянно и не зависит от изменчивых социальных контекстов, а также, самое главное, потому что он способен переступить через социальные обусловленности (в том числе и структурные). Данная способность отличает человеческие сообщества от тех, что образуются животными, и она сыграла решающую роль в формировании таких различающихся явлений, как технологическое развитие и отсталость, культура и наука, мораль и политика, свобода и рабство, религия и атеизм. Это особенное свойство человека называется по-разному, например свободная воля, или субъектность, или вообще субъектная действительность (*Szmatka*, 1998: 15), но его смысл остается одинаковым: существует некоторая сфера автономных решений индивида, формирующих его установки или формы поведения, которые реализуются невзирая на обусловленности социального контекста (а иногда даже вопреки этим обусловленностям).

В этой связи возникает вопрос, можно ли эту основополагающую категорию теоретически проанализировать как проблему; другими словами, можем ли мы представить какие-либо модели или теоретические схемы, благодаря которым станем лучше понимать субъектность человека, присущие ей ограничения, а также вытекающие отсюда последствия для формы публичной

жизни. Позитивным ответом на этот вопрос является *theory of agency*. Я привожу название этой теории (а по существу, целого семейства теорий) в английском звучании, так как для нее пока еще не найдено хорошего польского (и русского. — *Перев.*) эквивалента, который бы без всяких недоразумений относил наши рассуждения к указанному течению научной мысли в составе общественных наук. Эта проблема подвергнется в настоящей главе обсуждению, в котором применяются уже русские термины (а именно субъектная действенность или субъектное действие), причем именно в том значении, которое в англосаксонской литературе приписывается понятию *agency*.

Проблема автономности человека перед лицом внешних обусловленностей далеко не нова в общественных науках. Можно сказать, что она сопутствовала размышлениям над общественной природой человеческой жизни со времен античной древности (Аристотель в так называемой «Никомаховой этике» проводит различия между механическим, безрефлексивным поведением и поведением, связанным с личными желаниями и решениями, которые являются основанием таких свойств характера, как «добродетельность» или «совершенство», позволяющих человеку предпринимать благоразумные и предусмотрительные действия). Не будем, однако, заходить столь далеко и начнем наши рассуждения от Макса Вебера. Хотя данная проблематика не была чужда ни Марксу, ни Дюркгейму, да и в изложенных Гоббсом основных взглядах и положениях по поводу человеческой природы тоже наверняка можно проследить заинтересованность подобной проблематикой, все-таки именно пронизательные веберовские вопросы и попытки находить на них ответы (*Weber, 2002*<sup>1</sup>) явились важным толчком к теоретическим размышлениям и эмпирическим исследованиям, концентрирующимся на следующей проблеме: в какой степени индивид сохраняет автономность от достаточно случайного социального контекста и от тех взаимоотношений, в которые он вовлечен.

---

<sup>1</sup> Как нередко бывает в этой книге, автор ссылается на польский перевод работы М. Вебера «Хозяйство и общество» (1921), которая вышла вскоре после смерти ученого. Кроме того, несомненно смущает то обстоятельство, что название польской книги звучит «Хозяйство и общество. Очерк понимающей социологии», тогда как у Вебера такой книги нет, зато, кроме только что названной книги «Хозяйство и общество», есть отдельная книга «О категориях понимающей социологии» (1913). Скорее всего, польское издание объединяет под одной обложкой оба указанных труда.

Прослеживание некоторых хитросплетений развития *theory of agency* послужит удобной исходной точкой для представления определений основных понятий (особенно ключевого понятия действительной субъектности), а также позволит обрисовать существенные отличия *theory of agency* применительно к экономике, политическим наукам и социологии.

Обсуждению подвергнутся также взаимоотношения между социальным детерминизмом человека и его субъектностью. Здесь предметом всестороннего рассмотрения станут в особенности ограничения, нарушающие субъектность человека.

Действительная субъектность может иметь разные измерения, на которые в разной степени распространяются многообразные ограничения. Так, мы можем говорить о субъектности индивидуальной, групповой, а также институциональной. Эти три рода субъектности соприкасаются и связаны между собой, а иногда взаимно ограничивают одна другую. Разбор этих запутанных вопросов служит хорошей исходной точкой для представления той классической дилеммы социологической теории, которую вкратце можно описать как сопоставление действительной субъектности и социальной структуры.

Очередной рассматриваемой проблемой являются взаимоотношения между культурой и действительной субъектностью. Мы имеем здесь дело с постоянным напряжением этих двух сфер, поскольку, с одной стороны, культура представляет собой ограничение субъектности, а с другой — без определенной автономности индивида по отношению к его социальному контексту не существовало бы культуры. Культура ограничивает субъектность хотя бы в том смысле, что является источником норм поведения или верований, а они, в свою очередь, служат регулятором наших действий. Одновременно развитие культуры представляет собой задачу конкретным индивидам и сообществ, подвергающих ревизии те нормы, которые они застали, оспаривающих те системы верований, которые существуют на данный момент, и выступающих в качестве «мятежников» по отношению к текущему состоянию социального мира. Если бы не было этого напряжения, то либо мы имели бы дело с репликацией социальных структур и взаимоотношений из поколения в поколение, а общество потеряло бы свою динамику (в случае полного погашения субъектности существующими нормами и верованиями), либо общественная жизнь стала бы сплошным хаосом, а межчеловеческие взаимоотноше-

ния пришлось бы, наверное, описывать в категориях гоббсовской формулы *homo homini lupus est*<sup>1</sup> (человек человеку волк) (если бы регулирующие ограничения, налагаемые культурой на человеческую субъектность, перестали существовать).

Действенная субъектность неразрывно связана с риском и ответственностью. Ведь если решения по реализации определенного действия приняты относительно автономно, то есть вероятность, что эти решения будут неточными, не направленными на достижение достойных целей или же приносящими такие последствия, которые (по самым разнообразным причинам) не были взяты во внимание в момент принятия решения. Такая возможность появляется, к примеру, в том случае, когда мы полностью уверены, что желательное действие принесет ожидаемое последствие, но это наше убеждение основывается на фальшивом диагнозе ситуации (например, когда мы ожидаем, что после нажатия на испорченный выключатель в комнате загорится свет, поскольку не знаем о неисправности). Тем более она появится в ситуации, когда ожидаемое следствие всего лишь вероятно (например, когда мы рассчитываем на получение прибыли в результате покупки акций, курс которых сейчас растет). Риск непомерно увеличивается, если мы предпринимаем действия, результат которых изначально сомнителен или ненадежен (например, когда мы ждем, что на любезно оказанную кому-то услугу или одолжение нам ответят взаимностью). Как следствие, реализация собственной субъектности, иначе говоря осуществление автономных действий, обременено определенным риском того, что эти действия дадут результаты, противоположные ожидаемым, а ответственность за последствия таких решений ляжет на виновника-инициатора. Здесь находится потенциальный источник самоограничения действенной субъектности с целью свести к минимуму свою ответственность за нежелательные последствия своих же автономных действий. Указанное явление имеет существенное значение для динамики публичной жизни и поэтому подвергнется несколько более широкому обсуждению.

В конце отметим, что проблема действенной субъектности будет помещена в контекст плюралистического общества. Это вызвано тем, что указанный контекст с особой силой подчеркивает

---

<sup>1</sup> На самом деле эта формулировка впервые прозвучала в одной из комедий древнеримского драматурга Тита Макция Плавта и взята Гоббсом либо оттуда, либо у кого-то из тех, кто явно или неявно процитировал Плавта.



проблему субъектности во взаимоотношениях с другим человеком или другой группой, тоже располагающей некоторым запасом автономной способности принимать решения, которая может вести к последствиям, реально ограничивающим действительную субъектность других, а по меньшей мере ведет к расширению территории неуверенности и неопределенности по поводу реальных последствий поступков, направленных на проведение в жизнь собственной действительной субъектности.

### Вебер и хитросплетения развития *theory of agency*

Источником вдохновения для современных версий *theory of agency* был вопрос, который поднял Макс Вебер в начале 20-х годов минувшего столетия, а именно могут ли политики, пришедшие к власти в итоге демократических выборов, эффективно контролировать назначаемых чиновников государственной администрации, которые претворяют в жизнь задачи, устанавливаемые политиками в рамках демократического процесса. А если такой контроль сомнителен, то не имеем ли мы здесь случайно дело с процессом, который делает из демократических процедур фасад, потому что практические решения покоятся в руках бюрократии, создаваемой вне механизмов демократического выбора (Weber, 2002: 221, *passim*). Ведь назначенные чиновники и служащие не являются всего лишь безвольными шестеренками бюрократической машины; они же еще и субъекты публичной жизни, а потому могут реализовать — в своей публичной роли — собственные интересы, совсем не обязательно совпадающие с теми целями, которые устанавливаются политиками.

Говоря упрощенно, именно из этой дилеммы выросла современная теория *agency*, обнажающая, как пишет Ежи Шацкий (Szacki, 2002: 882), дихотомию между *agency* и *structure*, людьми и институтами, между свободными действиями индивидов и общественным принуждением. По мнению Шацкого, «в этом, пожалуй, и состоит, впрочем, самая важная проблема современной социологической теории» (*ibidem*). В основании теории *agency* лежало взаимоотношение, в котором патрон (*principal*) делегирует власть агенту, или, иначе говоря, субподрядчику (*agent*), тогда как агент — в рамках делегированной ему власти — выполняет для патрона-начальника определенные работы, оказывая ему услуги (Kiser, 1999: 146).

Именно отсюда и взялось название этого теоретического подхода, перевод которого на польский язык (как и на русский. — *Перев.*) — ввиду ужасных ассоциаций, связанных в славянских языках со словом «агент», — доставляет так много хлопот. Тем временем в рамках указанного теоретического подхода данное слово имеет нейтрально-описательный характер и означает всего лишь следующее: агент является коллективным или индивидуальным субъектом, который направлен и закреплен патроном — в рамках власти, делегированной этим последним, — для выполнения определенных задач в пользу патрона. В дальнейшей части текста этой книги понятие *agent* станет означать «действенный субъект», тогда как *agency* явится синонимом действенной субъектности.

Взаимоотношения «агентского» типа появляются на многих уровнях публичной жизни. Они присутствуют не только между демократически избранными политиками и их бюрократическим исполнительным аппаратом, но также, например, между гражданами и выбираемыми политиками (в этом случае в качестве как бы коллективного патрона выступает совокупность граждан, принимающих участие в выборах, тогда как действенным субъектом является тот или иной политический класс) либо между акционерами и правлением промышленной или финансовой корпорации (в данном случае патроном являются акционеры, а действенным субъектом — правление корпорации). Как пишет Эдгар Кисер, «ключевым свойством всех взаимоотношений типа *agency* является проблема, что, коль скоро патроны делегируют свою власть действенным субъектам, у них часто возникают проблемы с контролем этих последних, так как (1) интересы действенных субъектов часто отличаются от интересов их патронов и вместе с тем (2) действенные субъекты обычно обладают лучшей информацией о своих действиях, чем их патроны. Теория действенной субъектности концентрируется на способах, которые применяют патроны, чтобы решать проблему контроля подвластных им действенных субъектов, — способах, заключающихся в подборе соответствующих типов действенных субъектов и в формах мониторинга их действий, а также в употреблении разного рода положительных и отрицательных санкций переменной интенсивности» (Kiser, 1999: 146). Понимаемая таким образом проблема заинтересовала экономистов (например, Адама Смита) еще задолго до Вебера, но они не «копали» ее настолько глубоко, чтобы придать ей ранг самостоятельной теории (Manterys, 2000: 311). Тем не менее

эти проблемы постоянно сопутствовали экономическим исследованиям, однако лишь в начале 70-х годов минувшего столетия проблема действенной субъектности, вместе с развитием теории публичного выбора (*public choice theory*), получила статус отдельной теории, а точнее целого семейства теорий. Однако, как обращает внимание Кисер, «в отличие от широкой трактовки проблемы действенной субъектности, сформулированной Вебером и учитывающей много типов организации в разных исторических контекстах, теория действенной субъектности в экономике сосредоточилась на двух основных типах взаимоотношений в хозяйственных и экономических организациях — между акционерами и менеджерами, а также между работодателями и работниками» (Kiser, 1999: 150). Такая трактовка была, разумеется, недостаточной как для политологических применений данной теории, так и — тем более — для ее применений в социологии.

Как отмечает Кисер (Ibid.: 156), в политических науках изучаются те аспекты теории действенной субъектности, которые в экономике обходятся, а именно влияние третьих лиц на взаимоотношение «патрон — действенный субъект» (что представляет собой широко распространенное явление в плюралистическом демократическом обществе), значимость административных процедур, сокращающих неуверенность и нерешительность обеих сторон, которые вступают во взаимоотношение «патрон — действенный субъект», а также явление множественных патронов, которым может подчиняться определенный действенный субъект (например, публичная администрация). Все эти аспекты значительно осложняют любое теоретизирование на данную тему. Но политические науки, в общем-то, игнорируют существенную для экономики проблему подбора действенных субъектов патроном таким способом, который сокращает риск того, что делегированная им власть будет использована действенными субъектами — хотя бы в какой-то степени — не столько для выполнения порученных им задач, сколько для проведения исполнителями в жизнь своих частных интересов. Наверное, так случается потому, что теория действенной субъектности применительно к политологии развивалась в демократических странах с разветвленной системой гражданской службы, стабилизированной соответствующими правилами и инструкциями таким образом, чтобы сделать ее устойчивой к политическим изменениям, которые в демократии наблюдаются относительно часто. В связи с этим политические патроны

располагают очень ограниченным полем для маневра при подборе действенных субъектов (иными словами, своих надежных, верных людей), а следовательно, в познавательном смысле весь этот вопрос довольно-таки бесперспективен. Тем не менее именно политические науки вспомнили о проблеме, исследовавшей Вебером, освежили ее и придали теории действенной субъектности – «импортированной» из экономики – новый теоретический облик не только посредством включения в нее новых аспектов, но и благодаря учитыванию более широкого политического и общественного контекста, а также вопроса о том, в какой мере патрон правомочен делегировать власть на уровень действенного субъекта, или, выражаясь кратко, проблемы правомочности власти.

До сих пор действенная субъектность индивида не была центральным вопросом обсуждаемых теорий. А если она и появлялась, то скорее как проблема, благодаря которой отношение «патрон – действенный субъект» не имеет механического характера вследствие некоторого диапазона произвольности действенного субъекта (индивидуального или коллективного), вызывающей сомнения патрона по поводу того, каким способом действенный субъект использует делегированную ему власть.

Теория действенной субъектности открыла на ниве социологии совершенно новые познавательные пространства и вообще поставила эту проблему диаметрально иным способом. Прежде всего, как отмечает Хаевский (*Chajewski*, 2005), отношение «патрон – действенный субъект» становится здесь менее существенным, чтобы не сказать вообще несущественным, потому что более важным делается вопрос о формировании человеческого поведения, когда личность не находится в такого рода взаимоотношении или, по крайней мере, когда не это взаимоотношение формирует ее определенное действие. Другими словами, речь идет о ситуации, в которой индивид не является действенным субъектом какого-нибудь патрона, причем его действия вытекают не из власти, делегированной ему патроном (индивидуальным или коллективным), а из его собственной автономной воли (правда, модифицированной социальным контекстом).

Такой подход вводит нас в самую суть тех проблем действенной субъектности, о которых пойдет речь в дальнейшей части данной главы. Представленный выше обзор указывает, что диффузия теоретических идей между разными дисциплинами общественных наук приносит плоды в каждой из этих дисциплин не только сво-

образным прочтением общих принципов и предпосылок определенной теории, но также развитием тех ее направлений, которые с точки зрения той или иной конкретной дисциплины представляются имеющими ключевое значение, с опусканием других направлений, которые, в свою очередь, могут входить в главное русло исследований другой дисциплины. В случае социологической перспективы основное течение теоретической рефлексии концентрируется вокруг вопроса о взаимоотношениях между действительной субъектностью и социальной структурой, а точнее между структурными обусловленностями установок и вариантов поведения индивида, с одной стороны, и его автономными решениями об осуществлении определенного действия — с другой (Archer, 2000).

Однако прежде, чем мы займемся обсуждением этих вопросов, необходимо дать определения основных теоретических понятий.

### Действенная субъектность — понятия и определения

Существует несколько основных понятий, которым необходимо дать как можно более точное определение, если мы хотим избежать терминологических недоразумений. Отдельные из этих понятий имеют в обычном разговорном языке несколько иные значения, а вдобавок нагружены своим оценочным характером (например, оценка субъектности человека в целом является положительной). Поэтому есть смысл отметить, что все обсуждаемые далее понятия трактуются чисто описательным способом и аксиологически нейтральны. Речь здесь идет особенно о таких понятиях, как действенная субъектность, актор, свободная воля.

Начнем с ключевого понятия, перенесение которого в другие языки, в частности славянские, как я уже упоминал, является довольно трудным делом ввиду того, что в нашей культуре оно порождает другие (причем сбивающие с толку) ассоциации, которые могли бы вызываться буквальными переводами. Таким понятием является *human agency*, которое для употребления в последующих рассуждениях определяется в этой книге как действенная субъектность<sup>1</sup>. Неоднозначность терминов в общественных науках (в том

---

<sup>1</sup> Например, в англо-русском юридическом словаре термин *human agency* переводится как «человеческий фактор, участие, соучастие человека (в причинении результата); причинение результата человеческим поведением».

числе и в социологии) — это весьма обычное явление. Не иначе обстоит дело со значениями понятия «действенная субъектность», которое можно найти в литературе по данному предмету. К примеру, Энтони Гидденс констатирует, что «действенная субъектность относится не столько к намерению людей, собирающихся предпринять какое-то действие, сколько в первую очередь к самой их способности действовать.<...> Таким образом, действенная субъектность касается тех событий, „действителем“ которых является индивид в том смысле, что этот индивид мог бы на каждой стадии данной последовательности действий поступать иначе. Что бы ни случилось, оно бы не случилось, если бы в это не вмешивался индивид» (Giddens, 1984: 9). Перед нами, следовательно, такая трактовка, в соответствии с которой то или иное изменение в реальное течение событий вносится манифестированием действенной субъектности (интенциональной [преднамеренной] или нет). В свою очередь, Фукс (Fuchs, 2001: 26, *passim*) утверждает, что действенная субъектность требует от человеческой личности сознания, свободной воли и рефлексивности. Люди обладают свободной волей — ведь они могут действовать иначе, чем действовали на самом деле, или вообще ничего не делать. А всякое действие, которому помогают эмпирические знания индивида об окружающем его мире, представляет собой реализацию какой-либо цели.

С действенной субъектностью связаны, вообще говоря, такие аналитические категории, как интенциональность действия, свободный выбор, инициатива, творчество, чувство действительности и даже чувство контроля над собственным поведением. Впрочем, если бы не это последнее измерение субъектности, было бы трудно приписывать индивиду ответственность за то, что он делает. Следовательно, можно интуитивно понимать, что действенная субъектность выражается в такого рода действиях, которые не детерминированы внешними факторами, а предпринимаются на основании автономного решения индивида. Известно, однако, что большинство тех действий, которые человек предпринимает формально автономным способом (например, решает убрать квартиру прямо сейчас или спустя какое-то время, купить некую определенную газету или же другую либо вообще не покупать никакой газеты), в действительности представляют собой привычную реакцию, так как повседневные действия являются в большой степени повторяющимися, а также сильно рутинизированными и потому производятся, как правило, безрефлексивным способом. Это, кстати

говоря, является тривиальным итогом экономизации функционирования, поскольку, если бы нам требовалось глубже задумываться над любым банальным повседневным решением, принимаемым едва ли не каждый день, то эффективность нашего функционирования сильно бы пострадала. С другой стороны (и это акцентируется в теориях рационального выбора), человек, предпринимая какие-то действия (даже если они носят рутинный характер), стремится к достижению некой цели или ожидает, что его действие принесет какое-либо заранее предусмотренное последствие (как известно, так происходит далеко не всегда, но это не та проблема, которой мы теперь будем заниматься). Приписывание своим действиям ожидаемых последствий порождает чувство действительности (даже если данное действие носит повторяющийся характер и предпринимается безрефлексивно), тогда как ожидаемые последствия являются — другими словами — целями реализации указанных действий. В конце предпринимаемые действия каким-то образом оцениваются, причем как в прагматических категориях (оценка эффективности при стремлении к поставленной цели), так и в категориях моральных (являются ли предпринимаемые действия достойными с точки зрения норм данного индивида или же это не так). Осуществление действий, оцениваемых как бесчестные и недостойные, порождает чувство вины, но, как известно, отнюдь не обязательно предотвращает выполнение таких действий. В свою очередь, осуществление действий, малоэффективных с точки зрения поставленной цели, вызывает разочарование, однако и в этом случае произошедшее не становится фактором, который полностью элиминирует подобного рода действия, хотя процесс обучения, несомненно, сокращает их частоту. Этими вопросами мы будем заниматься шире в одной из последующих глав.

Как вытекает из приведенных выше умозаключений, даже если мы вынесем за скобки внешние обусловленности, тоже влияющие на формы поведения индивида, все равно субъектная действительность представляет собой понятие, под которым скрываются относительно сложные процессы, ведущие к решению предпринять или же прекратить определенное действие либо вообще отказаться от него. Опыт и сноровка, целесообразность, а также субъективная оценка поступков составляют те аспекты субъектной действительности, которые в совокупности приводят к действительной интервенции индивида в окружающий его социальный мир. Таким образом, мы можем — вслед за Мустафой Эмирбайером и Энн

Мише — определить субъектную действенность как «погруженный во времени процесс общественной ангажированности, который формируется прошлым (в своем аспекте, относящемся к привычным навыкам), но при этом также ориентирован в будущее (как способность вообразить себе альтернативные возможности) и обращен к настоящему (как способность к контекстуализации приобретенных навыков и проектов на будущее в рамках случайности данного момента)» (*Emirbayer, Mische, 1998: 963*).

Человека, который характеризуется действенной субъектностью, определяют названием **действенного субъекта**, или **деятеля (актора)** (*actor*). Правда, оба эти понятия порой применяются в качестве взаимозаменяемых, однако между ними существует тонкая разница. В определении «действенный субъект» акцентируется автономная действенность, тогда как в определении «деятель (актер)» — само действие. В английском языке глагол *to act* (предпринимать действие) ближе к слову *actor* (тот, кто действует), чем в польском (и русском. — *Перев.*) языке. Позже мы увидим, что понятие «актер» относится не только к человеческим личностям (индивидам); оно применяется также по отношению к человеческим сообществам (например, к социальным группам). В таком случае мы говорим о коллективном акторе<sup>1</sup>.

Как пишет Шматка, «в разных теориях акторы обычно определяются как субъекты, способные к принятию решения, осуществлению выбора, оценке событий, общению с другими субъектами и воздействию на других» (*Szmatka, 1998: 15*). Если мы будем

---

<sup>1</sup> Следует, однако, добавить, что существуют и другие трактовки данной проблемы, а проведение различия между действенным субъектом и актором не только имеет чисто семантическое значение, но и обозначает теоретически различающиеся аналитические категории. Самым лучшим примером этого может послужить подход Маргарет Арчер (*Archer, 2000: 261, passim*), которая определяет действенные субъекты как «общности, характеризующиеся одними и теми же жизненными шансами. Именно поэтому каждый является действенным субъектом, коль скоро быть действенным субъектом означает просто „занимать определенное положение в общественном распределении редких ресурсов“». При таком подходе действенный субъект всегда бывает коллективным. Тем временем актер, который в трактовке Арчер «оказывается единственным, кто удовлетворяет строгим критериям обладания неповторимой идентичностью», всегда имеет единичный характер и относится к единичному человеку. Актер достигает своей общественной идентичности благодаря способу, которым он персонифицирует исполняемую им социальную роль. — *Авт.*



употреблять данное понятие, то именно в приведенном выше значении. Перечисленные в нем разнообразные способности человека (т.е., в частности, умение делать выбор и оценивать события) представляют собой элементы **свободной воли**, которая совсем неожиданно оказалась «импортированной» на почву социологии из теологических и философских рассуждений. Фукс понимает свободную волю как «негативную или абстрактную способность действовать „вообще“ иначе (чем избитые навыки и привычки, чем ожидает окружение, и т.д.)», а значит, как устойчивую предрасположенность к переступанию через те обусловленности, на основании которых складываются стереотипные ожидания окружения по поводу возможного поведения индивида (*Fuchs, 2001: 27*). Указанное определение представляется, однако, слишком формальным, хотя оно, естественно, охватывает существенный аспект свободной воли. Если к анализу действительной субъектности привлекается категория свободной воли (а зачастую именно так и случается), то, как правило, ее связывают со свободой индивида, понимаемой таким способом, который был предложен Кантом. Кант утверждал, что «нравственный императив имеет смысл лишь в тех случаях, когда человек свободен. Ибо, если воля полностью определена причинно связанным потоком событий, то всякие императивы напрасны» (*Tatarkiewicz, 1995: 178*). Для Канта свобода была твердо привязана к нравственности волею человеческой личности, которая подчиняется единственно категорическому императиву («поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»<sup>1</sup> – *ibidem*), а не материальным ограничениям жизни. Как отмечают Эмирбайер и Мише (*Emirbayer, Mische, 1998: 965*), Кант разделил всю реальность на два порядка, противостоящих один другому: обусловленный и нормативный, или, говоря иначе, на порядок необходимости и порядок свободы (внутри которого находятся необусловленные действия автономных нравственных существ). Поэтому нет ничего странного в том, что кантовская концепция свободы обычно служит философским основанием разных определений свободной воли действительного субъекта.

---

<sup>1</sup> Здесь эта формулировка цитируется не в пересказе видного польского философа Владислава Татаркевича, как это сделано у автора, а в почти классическом русском переводе Б. Фохта и С. Шейнман, выполненном на основе перевода Н. Лосского (Кант И. Соч. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 260).

Этот подход мы встречаем позднее, к примеру, у Толкотта Парсонса (Parsons, 1964: 159), когда тот выделяет два измерения, в которых действует каждый индивид: нормативный порядок и эмпирический порядок.

С социологической точки зрения свободная воля наверняка не может отождествляться с произвольностью или абсолютной необоснованностью собственных действий. Факторами, сдерживающими эту произвольность, являются уже упоминавшиеся аспекты субъектной действенности, т.е. опыт, целесообразность действий и их оценка в прагматических и нравственных категориях. К этому надо добавить мысленно представленные в воображении реакции *lebenswelt* (жизненного мира, мира живого опыта) (если воспользоваться хабермасовской формулировкой), о которых индивид догадывается и которые учитывает, когда принимает решение по поводу выполнения определенного действия (или его прекращения). С другой стороны, свободная воля — это вовсе не только узкая тропинка возможности между разнообразными жизненными необходимостями, поскольку определение внешних ограничений в фаталистических категориях неотвратимых необходимостей тоже формируется не только опытом, вынесенным из прошлого, и не только случайными обстоятельствами, сопровождающими то или иное действие в настоящем, но также силой убежденности в шансе переломить эти внешние обусловленности даже вопреки тому опыту, который существовал до сих пор. Именно такого рода убежденности бывают источником переломов в науке, спорте, искусстве, политике или религии (например, возникновения христианской религии, которая перешагнула через каноны иудаизма).

Если бы не существовала относительно автономная действенная субъектность, если бы, одним словом, все человеческие действия в публичной сфере подчинялись ригоризму строгого, сурового детерминизма и только в его рамках поддавались объяснению и предсказанию, то — как уже упоминалось — понятие гражданства было бы идеологической фикцией. Потому что субъектность является необходимым условием функционирования в роли гражданина, тогда как реальные последствия реализации этой субъектности в публичной жизни должны приводить к появлению отличия этого положения дел от того положения, в котором указанная субъектность не реализуется. Следовательно, это должна быть действенная субъектность. Если субъектности нет, если все поведение человека удается полностью свести к структурной обусловленности,

то достаточно всего только манипулировать структурными условиями, чтобы «граждане» (словно роботы или собаки Павлова) стали вести себя в соответствии с ожиданиями манипулирующего ими патрона. Если же субъектность сохранена (поскольку ее существование либо отсутствие не зависит от воли патрона, а представляет собой атрибут индивидов или социальных групп), но ее реализация безразлична с точки зрения последствий для публичной жизни (поскольку, например, воля граждан не принимается во внимание, как это часто случается в авторитарных режимах), то тогда понятие гражданства тоже является пустым, ибо отсутствие действенности (или как минимум чувства действенности) ограничивает либо даже элиминирует смысл субъектности. Следовательно, субъектность (если мы хотим сохранить ее существовавшее до сих пор понимание) не может носить потенциального характера, потому что она существует лишь настолько, насколько реализуется и проводится в жизнь.

### Индивидуальный и коллективный актер

Как я уже упоминал, понятие «социальный деятель» (*actor*) может относиться как к отдельному лицу (тогда мы говорим об индивидуальном актере), так и к группе лиц (в этом случае говорится о коллективном актере). Мантерис, обсуждая концепцию Парсонса, обращает внимание на тот факт, что «актер, понимаемый как действующий субъект, как активная сторона системы действия, ориентирует свое действие на достижение определенной цели. Телеологическое толкование действия является здесь основным, ибо цель касается такой конфигурации объектов, которая не возникла бы, если бы не деятельность актора» (*Manterys, 2000: 155*). Актер, следовательно, это субъект, чья деятельность вносит в социальную жизнь какую-то перемену (пусть даже мелкую).

Та часть социальной жизни, которая протекает в публичной сфере, в принципе обустраивается коллективными актерами. Это, естественно, не означает, что отдельные индивиды не оказывают никакого влияния на ход публичных дел, но объединение сил и придание им какой-то организованной формы значительно увеличивает возможности воздействия на публичную жизнь. В данном случае размер имеет значение. И именно поэтому мы наблюдаем на публичной сцене разнообразные формы объединения — от слабо структурированных, почти свободных групп и общественных

движений до формализованных организаций с сильно кодифицированными взаимоотношениями и способами деятельности. Такие группировки получают также атрибуты действенной субъектности и становятся коллективными акторами публичной сцены. А в качестве иллюстраций пусть нам послужат политические партии, профсоюзы, экологические или феминистские движения.

Возникновение коллективных акторов публичной сцены становится возможным после того, как соблюдено несколько предварительных условий. Прежде всего, среди индивидуальных акторов, которые потенциально могут создать какую-то организационную разновидность коллективного актора, обозначающего свое присутствие в публичной сфере, должен существовать некоторый нормативный консенсус, согласие по поводу основных значений, придаваемых социальным интеракциям (взаимодействиям). Такое согласие, вообще-то, нужно для любых коммуникационных интеракций, но в случае возникновения коллективного актора данное условие является необходимым (хотя и недостаточным). В свою очередь, как пишет Мантерис, «выработка консенсуса в области социальных отношений представляет собой гармонизацию отдельных способов, на которые акторы ориентируют свои действия» (*Manterys*, 2000: 208, *passim*). Он вычленяет три таких типа ориентации: 1) общепринятый обычай, или традиция; 2) заинтересованность; 3) «ориентация на легитимированный порядок». В первом случае «регулярность текущих практических действий разных акторов можно объяснить, показав, что определенные действия либо производились данным способом „испокон веков“, либо они представляют собой новейший способ выполнения чего-нибудь (моду)». Во втором случае «источником интеракционной регулярности является целенаправленно рациональная ориентация, выработанная на основе сходных ожиданий многих акторов». И наконец, ориентация на легитимированный порядок означает такое отношение к социальному контексту, в рамках которого «актор предпринимает действие (также в том случае, когда он оказывает сопротивление, воздерживается от выполнения какой-то работы или же действует наперекор), исходя из представления или образа того, что считается правильным и обязательным». Таким образом, обычай, заинтересованность или законность являются теми факторами, которые сдерживают полную произвольность действий одиночного актора и вносят в эти действия определенную регулярность, а также

предсказуемость. Если достаточно большое число индивидуальных акторов определяют три названных фактора аналогичным способом, то появляется основание для объединения их усилий и значительного увеличения их действенной силы применительно к социальному контексту. Такое агрегирование требует, разумеется, отказа от некоторых аспектов индивидуальной субъектности ради такой цели, как увеличение эффективности проведения в жизнь других аспектов указанной субъектности, более важных для индивида (например, это может быть отказ от поездки на рыбалку в ситуации, когда идет забастовка, стремящаяся принудить работодателя к улучшению условий труда). Путь к возникновению коллективного актора, в принципе, полностью открыт.

Чтобы группировка обрела какую-нибудь действенную субъектность, ее члены должны делегировать часть своих атрибутов действенного субъекта на уровень группировки, чем они выражают лояльность по отношению к данной группировке, а также готовность подчиняться решениям, принимаемым на уровне этой группировки. Обсуждавшиеся ранее взаимоотношения «действенный субъект – патрон» продолжают существовать и в случае коллективного актора, функционирующего на публичной сцене. Однако направленность этих взаимоотношений зависит от характера отношений внутри определенной группировки. Если указанные отношения носят демократический характер, то действенным субъектом является группировка, тогда как патроном – объединенная в ней членская масса. Так и происходит в случае разнообразных объединений граждан, которые функционируют на основании внутренней демократии. Однако в случае объединений авторитарного или вождистского характера указанные взаимоотношения оказываются «перевернутыми»: патроном становится, как правило, харизматический лидер или олигархическая группа, которая и правит в такого рода объединении, тогда как действенными субъектами делаются члены данной группировки. Примером могут служить разные религиозные секты, приверженцы которых группируются вокруг своих гуру, фундаменталистские движения, а также в высокой степени институализированные иерархические формальные организации в экономике, администрации или политике. Такое понимание взаимоотношений «действенный субъект – патрон», разумеется, отличается от экономических трактовок, но – как уже заявлялось ранее – необходимо переступить через ограничения подобных трактовок, если мы хотим применить теории

указанного типа для объяснения и моделирования таких явлений публичной жизни, которые шире и сложнее, нежели простые экономические взаимоотношения.

## Структура и действенная субъектность

Главной проблемой исследований, занимающихся данным вопросом, являются взаимоотношения между действенной субъектностью и структурой. В размышлениях на эту тему структура определяется по-разному: от определений, обращающихся строго к социологическому пониманию социальной структуры (о котором мы говорили в предыдущей главе), до понимаемого максимально широко внешнего, применительно к действующему актору, комплекса устойчивых и повторяющихся обусловленностей или ограничений, совместно формирующих в каких-то рамках интенциональное (а не только реальное) протекание определенного действия. Это такая теоретическая проблема, которая чрезвычайно существенна с точки зрения развиваемых в последующих главах концепций гражданства, а также гражданского общества. Ибо если правота на стороне «структурных детерминистов», исходящих из того, что человек в своем социальном измерении детерминирован прежде всего своим местом в социальной структуре, то можно усомниться в понятии гражданства, причем в самой стержневой его сути (иначе говоря, в субъектности и достоинстве человеческой личности, на которых, как мы увидим ниже, построена концепция гражданина и его неотъемлемых и не подлежащих передаче прав).

Принятие такой точки зрения порождает еще одно серьезное теоретическое последствие. Поскольку если мы детерминированы в первую очередь социальной структурой, а наши действия в принципе предпринимаются единственно в горизонте, устанавливаемом нашей социальной позицией (независимо от того, осознаем мы это или нет), то становятся непонятными всякие радикальные общественные изменения (с революциями во главе).

Социальная структура, как серьезный и устойчивый (ибо воспроизводящийся во времени) фактор, который формирует нашу деятельность (хотя и не до конца ее детерминирует), должна выполнять функцию ультрастабилизатора общественного порядка, который в своем длительном существовании должен подвергаться только единичным и, по сути дела, случайным мутациям, ведущим

к эволюционным изменениям, незначительным в масштабах единичной, индивидуальной жизни. А ведь из истории мы знаем, что дело обстоит не так. Следовательно, «структурный детерминизм» уже хотя бы на этом основании легко поставить под сомнение. Это, однако, не означает, что социальная структура несущественна. А означает это всего лишь следующее: связи между структурой и действительной субъектностью не столь просты и односторонни, как это вытекало бы из упрощенного структурного детерминизма. Впрочем, даже те из теоретиков, кто делает весьма сильный акцент на структурные детерминанты человеческой деятельности, не забывают, что структура без акторов — это пустое понятие. Уитмейер (*Whitmeyer*, 1994: 154, *passim*), к примеру, определяя структуру как сеть взаимоотношений между акторами, а также распределение общественно значимых свойств и черт акторов, констатирует, что социальная «структура концептуально зависит от актора ровно потому, что она причинно воздействует на него». В чем же тогда состоит сложность этих взаимоотношений?

Структуру и субъектность часто трактуют как понятия, оппозиционные относительно друг друга, но также и как взаимно оппозиционные аспекты социальной жизни. В такой трактовке структуру порой рассматривают как внешний — применительно к действующему актору — комплекс ограничений, налагаемых на его автономную деятельность тем социальным контекстом, в котором эта деятельность осуществляется. Гидденс (*Giddens*, 1984: 176) отмечает, однако, что действующий актер наталкивается не только на структурные ограничения. Ведь наиболее элементарными являются материальные ограничения, вытекающие из характера материального мира и физических свойств человеческого тела. Человек не может парить в воздухе, так как действует сила тяготения. И не в состоянии находиться произвольно долго под водой, поскольку нуждается в постоянном притоке кислорода.

Вторым типом ограничений, которым подчиняется действительный субъект, являются санкции. Это ограничения, вытекающие из карающей реакции других действительных субъектов, функционирующих как в публичном, так и в частном пространстве публичной жизни. Нельзя обокрасть конвой, везущий деньги, не рискуя подвергнуться санкциям карательных органов. Нельзя войти в мечеть в обуви, не подвергая себя санкциям со стороны присутствующих там адептов Пророка. Третьей разновидностью являются структурные ограничения, которые вытекают из контекстуальности

действия, а точнее из «заданного», как говорит Гидденс (*Giddens*, 1984: 176), характера структурных свойств того контекста, где функционирует актор; «заданного» в том смысле, что действенный субъект не может менять эти свойства (равно как и их воздействие) произвольным образом. Нельзя, будучи рабочим с начальным образованием, взяться за исполнение роли преподавателя квантовой физики в университете. Нельзя, будучи слесарем-сантехником, отпустить грехи в конфессионале (исповедальне) и т.д.

Субъектность же иногда трактуется как пространство творчества, случайности и более или менее спорадического выбора, и поэтому ее не удастся охватить никакими структурными схемами. При такой трактовке — на что, в частности, обращает внимание Арчер (*Archer*, 2000: 307) — акцентируется, однако, взаимосвязанная природа этих двух измерений общественной жизни. Принятие предпосылки о наличии такой взаимной связи (т.е. что структура формирует субъектность человека, но вместе с тем его субъектность, а точнее ее последствия, проявляющиеся вовне в деятельности автономного социального актора, воздействуют на форму социальной структуры) позволяет распутать и в конечном итоге устранить указанное противоречие между субъектностью и структурой, которое иначе вело бы к парадоксам.

Штомпка определяет социальную структуру как «скрытую сеть устойчивых и регулярных связей между составными элементами общественной реальности, которые значимым образом контролируют их деятельность» (*Sztompka*, 1991: 59). В свою очередь, Хейс — в довольно похожей системе исходных предпосылок — определяет социальную структуру как понятие, означающее «те внешние проявления общественной жизни, которые не удастся свести к индивидуам и которые достаточно устойчивы, чтобы выдержать прихоти тех индивидов, кому хотелось бы их изменить; речь идет о таких проявлениях, которые обладают своей внутренней логикой и динамикой, способствующей их репродукции во времени» (*Haas*, 1994: 60). В таких трактовках из общего понятия социальной структуры (которому давалось определение в предшествующих главах) абстрагирован только тот ее аспект, который непосредственно отвечает за обусловленность человеческого действия.

Как следствие, понимаемая таким образом социальная структура, что констатирует Хейс (*Ibid.*: 61, *passim*), принимает три значения. Во-первых, она создается социальными акторами и функционирует как «форма», к которой эти акторы приспособляются.



«Другими словами, люди создают определенные формы социальной структуры, а вместе с тем социальные структуры создают некоторый тип людей». Во-вторых, социальные структуры, с одной стороны, составляют ограничение для индивида, но с другой — «снабжают» нас социальной идентичностью, а также инструментами для творческих и трансформационных действий, что, в свою очередь, является условием существования человеческой свободы. Здесь прочитывается влияние Гидденса (*Giddens*, 1984: 177), который ранее сильно акцентировал эту двойственность взаимоотношений между структурой и субъектностью. Он писал, что «все структурные свойства социальных систем в такой же мере открывают возможности, как и ограничивают индивида». И наконец, в-третьих, Хейс, на сей раз вслед за Сьюэллом (*Sewell*, 1992), выделяет разнообразные уровни социальной структуры, которые в антропологическом смысле могут быть «глубже» или «мельче», более жесткими и более эластичными, более либо менее податливыми для изменений под воздействием тех или иных действий социальных акторов. Самые глубокие из них, достигающие «элементарной структуры» Леви-Строса (*Levi-Strauss*, 1970: 112), иначе говоря основополагающих взаимоотношений родства, представляются самыми прочными и относительно наиболее устойчивыми к субъектной деятельности социальных акторов. Другие, не столь «глубокие» структурные уровни (например, место в структуре власти) более эластичны в том смысле, что они в большей степени поддаются целенаправленным действиям социальных акторов, в результате чего могут подвергаться изменениям. Наиболее наглядным и зрелищным проявлением этого является радикальное изменение общественного порядка, в результате которого не только подвергается смене вся властная элита и механизмы рекрутации в состав элиты, но также происходят существенные перемены в правилах социальной мобильности и (вообще говоря) возрастает ее интенсивность. В итоге, как пишет Хейс, «действенная субъектность объясняет создание, воспроизведение и превращение социальных структур; в свою очередь, эту субъектность удается реализовать благодаря возможностям, которые создаются позицией, занимаемой в социальной структуре, но в пределах ограничений, налагаемых на актора социальной структурой; что же касается способности субъекта к воздействию на социальную структуру, то она дифференцируется в зависимости от податливости, силы и устойчивости этой структуры» (*Hays*, 1994: 62).

Формулируя заключительные выводы этой части наших умозаключений, можно сказать, что связи между структурами и действенной субъектностью являются не только взаимными, но и симбиотическими. Ибо структуры — что стоит еще раз подчеркнуть — как формируют в какой-то степени человеческую деятельность, так и сами формируются этой деятельностью. «Нет ни действенных субъектов без структуры, ни структуры без действенных субъектов», — утверждает Штомпка (*Sztompka*, 1991: 92). То, что мы способны эмпирически наблюдать, не столько является результатом интеракций между структурой и субъектностью (поскольку они попросту не существуют отделенными одна от другой), сколько скорее «субъектно-структурная действительность в ее внутреннем имманентном единстве появляется в разнообразных пермутациях (перестановках, комбинациях), в разнородных сочетаниях субъектных и структурных компонент, которые совокупно и создают социальные события».

Для действующего актора разные аспекты структур служат своеобразной референтной системой соотнесений и отсчета, благодаря которым он не только ориентирует свое действие, но также модифицирует его или отказывается от его осуществления. Преодоление этой системы отсчета ведет к инновационным действиям и наблюдается в тех случаях, когда общественный порядок деградирует настолько, что искушение оспорить его и поставить под сомнение становится сильнее, чем инерция рутинных действий (*Chajewski*, 2005, *passim*). Если же актер не переступает через эту систему отсчета, то у него появляются рутинные, безрефлексивные, привычные действия, которые ведут к репродуцированию данной референтной системы отсчета и соотнесений, а как следствие — и социальной структуры тоже. Поэтому Хейс (*Haas*, 1994: 63—64) предложила проводить различие между действенной субъектностью, которая **репродуцирует** структуры (и выражается в привычных, рутинных действиях), и такой действенной субъектностью, которая их **преобразует** (и выражается в инновационных действиях). Привычные действия и рутинная практика, естественно, заполняют наибольшую часть повседневной жизни действенных субъектов, но не заполняют ее целиком. И как раз от этого «остатка», изменяющегося в разных исторических контекстах и на разных уровнях структуры, зависит перевес или полное преобладание действенной субъектности над структурными обусловленностями. Именно указанному «остатку» действий разнообразных

действенных субъектов мы обязаны как изменениями общественного порядка (а в этих рамках также изменениями социальных структур) и гражданскими инициативами, меняющими форму публичной жизни, так и научными открытиями или же ломкой общепринятых условностей и конвенций в художественном творчестве.

В тех исследованиях, где анализируется детерминированность действий всякого актора существующей социальной структурой, принимается, как правило, предположение, что влияние структуры представляет собой постоянную величину. Однако Эмирбайер и Мише не без оснований аргументируют, что эта исходная предпосылка является по меньшей мере спорной, если не ошибочной. Есть смысл познакомиться с их аргументацией, так как она позволяет увидеть симбиотическую связь между субъектностью и структурой под углом, существенным с точки зрения динамики общественной жизни вообще, а особенно динамики публичной жизни.

Эти авторы из действий актора выделяют временной и пространственный аспекты. В любом действии мы можем разглядеть два эти аспекта, поскольку каждое действие представляет собой процесс, который длится; у него есть свое начало, кульминация и конец, и, следовательно, оно характеризуется временным измерением, а также осуществляется в определенном месте, которое образует социальный контекст данного действия. Это не весьма оригинальное утверждение имеет, однако, свои существенные апалитические последствия; а именно время выполнения определенного действия заполнено не только самим этим действием, но также реакцией социального контекста на указанное действие и ответом актора на указанную реакцию. Тем самым между функционирующим актором и социальным контекстом создается диалогическая ситуация, в результате которой мы имеем дело с двусторонними интервенциями актора, который своим действием влияет на социальный контекст, а также социального контекста, который в свою очередь — через свои реакции — влияет на деятельность актора. То, что мы называем социальной структурой, является фактором, придающим социальному контексту форму, а также представляет собой матрицу взаимоотношений, зависимостей и картин поведения в определенной ситуации, которые имеют двойственную природу — ограничений и возможностей. Словом, влияние структуры видится через тот социальный контекст, в котором осуществляется функционирование актора. «Субъектная ориентация акторов (вместе с их способностью к инновационной или

сознательной реакции) может изменяться в диалоге с разнообразными ситуационными контекстами, на которые (и через которые) эти акторы реагируют, — пишут Эмирбайер и Мише (*Emirbayer, Mische*, 1998: 1004, *passim*). — Мы можем, следовательно, говорить о двойном основании субъектности и структуры: контексты, носящие время-относительный характер, усиливают определенные субъектные ориентации, которые, в свою очередь, конституируют дифференцированно структурированные взаимоотношения акторов с их окружением. Именно фундамент таких ориентаций в пределах определенных структуральных контекстов придает форму различным предприятиям и предоставляет акторам возможность принятия большего или меньшего уровня трансформационной силы по отношению к структурированным контекстам действия». Каждое действие социального актора представляет собой синтез этих двух порядков — субъектного и структурального. Таким образом, это действие не является ни полностью детерминированным социальной структурой, ни целиком произвольным и зависящим исключительно от свободной воли действенного субъекта.

### **Микроуровень и макроуровень**

Социальная жизнь во всем своем богатстве форм простирается между интимными взаимоотношениями двух людей и взаимоотношениями между формальными институтами, сложившимися на уровне национального государства и даже выше — на глобальном уровне. Однако, чтобы излишне не усложнять картину, ограничим наши рассуждения до уровня национального государства.

Здесь можно выделить по меньшей мере три уровня социальной жизни: *микроуровень*, *мезоуровень* (средний), а также *макроуровень*. Шире об этом пойдет речь в главе, посвященной гражданскому обществу, но уже теперь можно констатировать, что разграничение на указанные три уровня носит аналитический характер. Это означает, что в реальной социальной жизни мы имеем дело с взаимным проникновением названных уровней, а границы между ними размыты — точно так же, как границы между горстью песка, кучей песка и горой песка.

Правда, интуитивно разные уровни социальной жизни легко поддаются различению, но прочертить точную границу между ними трудно ввиду того, что мы имеем здесь дело с континуумом. Подобным же образом происходит и в случае рассмотрения наших

возможностей познания ближайшего и более дальнего социального окружения. На *микроуровне*, в нашем непосредственном окружении, мы привлекает для познания такие категории, как эмпатия, интуиция, понимание. Однако на более общих уровнях социальной жизни эти инструменты познания большей частью подводят. Как верно отмечает Фукс (*Fuchs, 2001: 32, passim*), «можно понимать, но не слишком многих людей». Поэтому также, пишет он, «интерпретации, вникающие в намерения и *Verstehen* (понимание), встречаются чаще, если наблюдатели и наблюдаемые социально близки друг другу и когда наблюдаемых немного. <...> Когда наблюдателя и наблюдаемого разделяет большая дистанция, когда наблюдению подвергается очень много систем, то наблюдатель чаще визуализирует наблюдаемые им варианты поведения и их последствия как обусловленные безличными причинными силами, которые можно измерить количественным образом и объяснить благодаря некой общей теории. Для этой цели выбирается термин „структура“. Таким образом, дистанция и размер является переменными, а это означает, что мы имеем здесь дело с континуумом между „пониманием“ и „объяснением“ как идеальными оппозиционными типами».

При такой трактовке оппозиционность между действенной субъектностью и структурой иллюзорна в том смысле, что способы познания (понимания и объяснения) действительности, по сути дела, оппозиционны друг другу (причем исключительно на краях континуума). Если мы познаём действительность в категориях *Verstehen*, то ограничимся *микроуровнем*, и как бы естественным способом понимания действительности становится ее восприятие в категориях функционирующих действенных субъектов. Чем более мы отдаляемся в нашем наблюдении от *микроуровня* по направлению к *макроуровню*, тем труднее познавать действительность таким способом, каким ее субъективно видят функционирующие индивиды, и на этом строить ее интерпретации, а следовательно, тем более мы должны полагаться на структурные объяснения. При крупном масштабе действенная субъектность отдельных социальных акторов исчезает из поля зрения наблюдателя. И это происходит не потому, что действенный субъект как категория наблюдения был проигнорирован. Если бы мы не пожалели труда и тщательно реконструировали все нюансы интеракций каждого действенного субъекта с социальным контекстом его действия, а затем постарались скомпоновать эти индивидуализированные

реконструкции в одно целое (например, поступили так со всеми действенными субъектами, функционирующими в пределах гражданского общества средней величины), то в результате мы получили бы картину социального космоса, заполненного полнейшим хаосом. Когнитивный (познавательный) порядок могут ввести в этот хаос только такие термины, как социальная категория, функция, референтная группа, класс или социальный статус, тогда как взаимоотношения между ними описываются тенденциями, корреляциями или метафорой социального механизма. Следовательно, чем больше мы переносим фокус нашего наблюдения от микроуровня к макроуровню, тем больше *Verstehen* заменяется разъяснением в структурных категориях. Как говорит Фукс, «между чужими существует больше разъяснения, тогда как между близкими — больше герменевтики» (Fuchs, 2001: 35). Есть смысл добавить, что герменевтика относится здесь к особому толкованию, которое придали этому понятию Хайдеггер или Гадамер (Gadamer), иными словами к попыткам понимания своеобразного и неповторимого бытия каждого отдельного человека.

### Культура и социальная субъектность

Культура по отношению к действенной субъектности функционирует способом, который близок к воздействию структуры, — она тоже является и ограничением субъектности, и вместе с тем фактором, предоставляющим ей возможность реализоваться. Культура выступает носителем устойчивых стереотипов, благодаря которым социальные акторы (индивидуальные и коллективные) ориентируют свои действия, а также служит источником интерпретативных схем, позволяющих действенным субъектам оценивать интенции (намерения) своих действий. Иногда эти интерпретативные схемы становятся причиной отказа от некоторых действий, в другой раз — совершенно наоборот: они вселяют в этот субъект уверенность в том, что планируемое действие законно и может быть предпринято, а следовательно, усиливают мотивацию к действию. В этом как раз и выражается упоминавшаяся ранее двойственность воздействия культуры — ограничивающего и вместе с тем активизирующего. Таким образом, если между культурой и структурой имеется столько сходств в их взаимоотношениях с действенной субъектностью, то встает вопрос, есть ли смысл различать (хотя бы аналитически) эти два порядка. Быть может, разумнее трактовать их суммарным

образом, чтобы не умножать количество сущностей больше требуемого. Возможно, окажется проще развить понятие структуры настолько широко, чтобы в него поместились все те феномены общественной жизни, которые каким-нибудь образом модифицируют действия актора и сами модифицируются этими действиями. Такая теоретическая позиция достаточно часто встречается в литературе, посвященной проблематике действенной субъектности. Она появляется, например, в подходе таких исследователей, как Эмирбайер и Мише (*Emirbayer, Mische, 1998*), Кисер (*Kiser, 1999*) или Фукс (*Fuchs, 2001*), в чьих работах культура вообще не появляется в качестве фактора, формирующего поступки социального актора. Наиболее отчетливо указанная позиция нашла выражение в исследовании Шарон Хейс; там мы находим утверждение, что «культуру следует понимать как общественную структуру, если этот термин должен применяться последовательно» (*Haas, 1994: 65*). На противоположном краю находится позиция Мейера и Джепперсона (*Meyer, Jepperson, 2000*); эти авторы исходят из предположения, что действенная субъектность не является ничем иным, кроме как культурной конструкцией, — впрочем, точно так же, как и производное по отношению к ней понятие социального актора.

Цель данного учебника состоит отнюдь не в том, чтобы вдаваться в дискуссию со столь расходящимися и взаимно противоречащими теоретическими позициями. Для нужд последующих умозаключений достаточно констатировать, что Маргарет Арчер (*Archer, 1996*) предприняла попытку теоретической унификации структуралистских и культуралистских концепций на основе морфогенетического подхода<sup>1</sup>. Правда, Арчер исходит из

---

<sup>1</sup> «В социальной теории морфогенетический подход считает, что уникальным свойством, отличающим социальные системы от систем органических или механических, является их способность претерпевать радикальную реструктуризацию. „Морфогенез“ как процесс относится к сложным обменным трансформациям, которые в итоге приводят к изменению данной формы, структуры или состояния системы, а конечный результат определяется термином „проработка“ (*elaboration* — буквально „развитие, уточнение; совершенствование“). Разумеется, действие является непрекращающимся и необходимым как для стабильного продолжения системы, так и для ее дальнейшей проработки. Однако же, когда наступит морфогенез, то следующая интеракция будет отличаться от более раннего действия потому, что она теперь обуславливается проработанными последствиями этого более раннего действия» (*Archer, 1996: xxiv*). — *Авт.*

предположения о субстанциональных различиях между структурой и культурой, а два этих измерения трактует как взаимно относительно автономные, но при соотнесении с действенным субъектом они представляют собой «два связанных аспекта социальной жизни. И сколь бы тесно они ни были сплетены между собой (скажем, при восприятии супружеского союза и в качестве правового института, и в качестве повседневной практики), они, однако, остаются аналитически разными» (Archer, 1996: xiv). И все-таки в рамках обоих этих аспектов можно применить аналогичную схему той же самой, бесконечной циклической секвенции (последовательности) морфогенетических событий: обусловленность (структурная или культурная) — общественная интеракция — проработка, уточнение и совершенствование (структурное или культурное).

Тем временем цитировавшаяся ранее Хейс оказывается не последовательной в своих рассуждениях. В понятие социальной структуры она, в сущности, включает всю культуру, но вместе с тем видит отдельность воздействия культуры в сфере действенной субъектности. Однако включения культуры в пределы понятия «социальная структура» с теоретической точки зрения не требуется, и, кроме того, оно размывает значение как структуры, так и культуры. Аргумент Хейс о настолько тесной связанности этих сфер между собой, что их можно трактовать как разные аспекты одного и того же социального феномена, не выглядит убедительным, ибо легко доказать, что социальная структура столь же тесно связана со многими другими измерениями социальной жизни, хотя это, однако, вовсе не означает, будто данные измерения становятся элементом или аспектом социальной структуры.

Таким образом, это процедура, которую трудно принять хотя бы по той причине, что не следует присваивать странные значения терминам, уже прочно закрепившимся в обширном достоянии общественных наук (а культура и социальная структура наверняка принадлежат к таким понятиям). Впрочем, автор и сама определяет эти две сферы теоретически полезным способом, однако при условии, что будет сохранена их аналитическая обособленность (логически вытекающая из формулируемых определений). И при этом социальная структура была бы системой социальных взаимоотношений, тогда как культура — системой значений (Hays, 1994: 65, *passim*). В рамках структурных взаимоотношений, пишет Хейс, располагались бы стереотипы ролей и общественных отношений, а также формы доминирования, в соответствии с которыми



можно позиционировать каждую личность в сложной сети категорий, начав с класса, пола, расы, образования и вероисповедания и продвигаясь далее вплоть до возраста, сексуальных предпочтений или положения в семье. В свою очередь, значения, генерируемые культурой, охватывают в трактовке Хейс не только убеждения и ценности социальных групп, но также их язык, формы знания, запас коллективных смыслов, практику интеракций (взаимодействий), ритуалы, материальные продукты культуры, равно как и стили жизни, сформированные перечисленными факторами.

Если мы одобрим и примем эти различия (а нет причин, чтобы их отвергнуть), то можем констатировать, что действенный субъект (и его деятельность) формируется культурой по меньшей мере в такой же степени, как и структурой. Однако — точно так же, как и в случае воздействия структуры, — сущность субъектности заключается в том, что социальный актор может формировать свои действия в соответствии со значениями, производимыми культурой, но может также модифицировать указанные значения. Актор модифицирует свои действия, например, по соображениям каких-то исповедуемых им верований или ценностей, своего накопленного до сих пор опыта и теоретических знаний, общепринятых методов интеракционной практики, разного рода ритуалов, относящихся к конкретному социальному контексту, и т.д., но может также переступить через каждый из этих обуславливающих факторов либо даже заменять его новыми верованиями, ценностями, знаниями и т.п. Тогда мы имеем дело с инновационным поведением, которое, в свою очередь, модифицирует те вышеуказанные контекстуальные культурные факторы, которые этот актор первоначально застал. Здесь находится источник крупных начинаний, в том числе инновационных вариантов гражданского поведения, которые, в свою очередь, вносят элемент новизны в существующие на данный момент взаимоотношения и значения, функционирующие в пределах публичной жизни.

### **Риск и ответственность — и субъектность**

Риск и ответственность неотъемлемым образом связаны с действенной субъектностью. Если бы структурные обусловленности действенных субъектов были полными, т.е. если бы их поведение зависело исключительно от их расположения в социальной структуре, то теоретически было бы возможным построение таких

моделей зависимости, на основании которых можно было бы наверняка и безошибочно предвидеть действия отдельных акторов. Вследствие этого социальные отношения стали бы полностью предсказуемыми, а однажды установленные значения этих взаимоотношений носили бы устойчивый характер и сделались бы неизменной, нормативной базой для репликации указанных взаимоотношений. Единственными вмешательствами в установившиеся схемы взаимоотношений, действий и репродукции были бы стихийные бедствия и прочие удары судьбы, после «абсорбирования» которых система возвращалась бы к ранее существовавшему равновесию, а изменения, порожденные таким непредвиденным событием, в самом лучшем случае вызывали бы некоторые незначительные модификации в действиях системы, позволяющие в будущем более эффективно «абсорбировать» похожие неприятные происшествия и быстрее возвращаться к системному гомеостазу. Риск в таком воображаемом обществе был бы сведен к непредсказуемости этих внешних ударов судьбы и ни в коей мере не был бы связан с ответственностью (индивидуальной или групповой) за проведение в жизнь нужных действий. Ибо таковые были бы простым и прямым следствием структурного детерминизма. Разумеется, никакой разумный человек не формулирует подобных теорий, а если я и набрасываю здесь такую утопическую картину, то исключительно для того, чтобы сформулировать следующий тезис: именно риск, который представляет собой имманентную часть социальных взаимоотношений, порождает чувство ответственности.

Как мы знаем, человеческое общество, имеющее такую форму, неизвестно, поскольку в реальном обществе функционирующие там акторы являются не безрефлективными элементами («винтиками») общественного механизма, а действительными субъектами, способными переступать через структурный детерминизм, да и через культурный тоже. И именно эта способность переступать через структурно-культурные обусловленности порождает, с одной стороны, ответственность актора за последствия своих действий (даже если бы эти последствия оказались непредвиденными и нежелательными), а с другой стороны, вносит в общественные взаимоотношения некий элемент риска.

Риск этот растет по мере осложнения взаимоотношений между акторами общественной жизни. В описываемом антропологами закрытом обществе риск не слишком велик, потому что социальные отношения в значительной степени ритуализированы, а их

сеть, в принципе, проста. В открытом обществе риск возрастает, ибо возрастает — вместе с прогрессирующим продвижением свободы — роль действенной субъектности, и, кроме того, социальные отношения усложняются, а значения, придаваемые этим взаимоотношениям и взаимозависимостям, тоже подвергаются изменениям. Свободный рынок и демократия представляют собой такой способ организации коллективной жизни, который усиливает значение действенного субъекта в том, как складываются и протекают общественные отношения, а тем самым увеличивает территорию неуверенности и риска. К этой и без того уже сложной картине нужно добавить глобализационные процессы. С одной стороны, они вызывают рост взаимозависимости событий как раз в глобальном масштабе, а с другой — релятивизируют значения, придаваемые этим взаимоотношениям местными акторами, или, шире, релятивизируют локальные культуры. Все это, вместе взятое, приводит многих теоретиков к выводу, что «мы живем уже не в классовом обществе, а в обществе риска» (*Offe*, 1996: 33), что народы в нынешние времена должны мериться силами скорее с рисками, степень которых возрастает, нежели — как бывало прежде — с внешними и внутренними врагами (*Giddens*, 2000: 36).

Социальная среда, в которой функционируют акторы, представляет собой в значительной мере искусственную человеческую конструкцию, причем все сильнее отдаляющуюся от природы. Социальные отношения реализуются в пределах все более сложных и взаимосвязанных цивилизаций во главе с западной научно-технической цивилизацией, рожденной в евро-атлантическом культурном круге. Они преобразуют нас в общество, которое Ульрих Бек (*Beck*, 2002) называет обществом риска. Как справедливо отмечает Штомпка, «этот риск растет по мере того, как наши потенциальные партнеры становятся все более многочисленными, дифференцированными, отдаленными в пространстве, менее видимыми, — словом, когда наша общественная среда расширяется, усложняется, становится менее прозрачной и в меньшей степени поддается нашему контролю» (*Sztompka*, 2002: 310).

В теориях действенной субъектности вопрос риска не особенно подчеркивается. Только в экономических трактовках названный фактор риска все шире учитывается в разных моделях транзакций между акторами. Как пишет Кисер, «роль риска представляет собой важное нововведение в экономической теории действенной субъектности. Экономисты считают, что взаимоотношения между

действенными субъектами содержат в себе не только проблемы контроля, но также вопрос о разделении рисков» (Kiser, 1999: 149). Можно, однако, ожидать, что в ходе дальнейшего развития теории действенной субъектности (особенно в социологии и политических науках) вопрос о риске, а также об ответственности действующего актора не только станет учитываться, но и, может быть, войдет в мейнстрим такого рода исследований.

Другим фактором, который начинает учитываться в аналитических исследованиях и теоретических рассуждениях на тему действенной субъектности, является доверие, которое — если оно имеет место — довольно существенным образом меняет социальный контекст функционирования актора, а также его субъективную оценку риска, связанного с решением предпринять определенное действие. Ведь общественное доверие играет важную роль в тех обществах, где оно перевешивает недоверие к людям и институтам. Штомпка (Sztompka, 1999: 105) перечисляет несколько функций, которые выполняет данный фактор, если он преобладает в определенном обществе. Доверие способствует гражданскому участию, оно полезно для социальной коммуникации, содействует толерантности, приятию «чужих» и легитимации культурных либо политических различий. Культура доверия усиливает связи индивида с общественностью, а также снижает трансакционные затраты, что, в свою очередь, укрепляет шансы на кооперацию и сотрудничество в публичной жизни.

### **Субъектность в плюралистическом обществе**

В заключение этой главы несколько замечаний о действенной субъектности в публичной жизни открытого плюралистического общества, функционирующего в условиях демократического порядка и экономики свободного рынка.

Открытое плюралистическое общество с рыночной экономикой создает особенное пространство для функционирования действенных субъектов. Это пространство является особенным в том смысле, что рост субъектности происходит за счет увеличенного риска (индивидуального и группового), а также из-за необходимости нести ответственность за последствия автономно принимаемых решений (даже если бы эти последствия оказались незапланированными и не предвиделись действующим актором).

Актор, функционирующий в таком контексте, ограничен не только структурой и культурой, но также последствиями действий других акторов, действующих в публичном пространстве. Интеракции с другими акторами публичной жизни (принимающие либо вид согласований и сотрудничества, либо соперничества и конфликта) становятся существенным контекстуальным фактором, налагающим на автономные действия того или иного актора очередные ограничения (реальные или как минимум только воображаемые, поскольку они строились на стереотипе предполагаемых реакций других автономных участников публичной жизни). Они могут вести к самоограничению действий (с целью сокращения риска и ответственности). Этому служит также объединение разных акторов, имеющих похожие цели деятельности, в разнообразные организационные формы, которые не только раскладывают риск и ответственность на многих членов объединения, но и, кроме того, увеличивают силу их вмешательства в публичную жизнь, а тем самым повышают вероятность достижения общих, агрегированных целей. Однако это происходит за счет передачи акторами определенной доли своей действительной субъектности в пользу того объединения, членами которого они состоят.

В этом особенном типе общественного порядка (либеральная демократия и рыночная экономика) актор, действующий в сфере публичной жизни, ограничен не только культурой и структурой, но и поступками других акторов публичной сцены. Он может также использовать потенциал, заключенный в политических свободах, которые гарантируются политической системой, равно как и в экономических свободах, создаваемых свободно-рыночной экономикой. Этот потенциал кодифицирован в форме гражданских прав, причитающихся — в пределах определенного национального государства — всем индивидам, которые пользуются формальным гражданским статусом. Основанием же этого статуса служит концепция гражданства, речь о которой пойдет в следующей главе.

## ГЛАВА 4

# ГРАЖДАНСКИЙ СТАТУС

### Введение

Темой данной главы является гражданственность, а более точно — способ понимания гражданственности в теории и на практике. При этом, разумеется, необходимо сделать введение в описание исторического развития как самого указанного понятия, так и сопутствующих ему общественных изменений, которыми отмечены очередные переломы в политической и социальной эмансипации отдельных классов и слоев.

Понятие гражданственности определяется в различных политических традициях весьма по-разному. Ему присущи также отличающиеся коннотации в теоретических подходах; особенно внимания заслуживает разная трактовка гражданственности в либеральных и республиканских концепциях, ибо этот спор — имеющий свою довольно долгую историю — продолжается донныне и, вероятнее всего, будет продолжаться и далее.

Гражданский статус — это политико-правовая конструкция, относящаяся к людям, которые организованы в национальное государство. Обязанности и права, включенные в состав гражданского статуса, очень сильно детерминированы типом общественно-политического порядка, который функционирует внутри определенного национального государства (решающим обстоятельством является в первую очередь то, какой это порядок — демократический или авторитарный), а также доминирующей концепцией гражданственности, которая вырастает из отечественной традиции политической мысли, обогащенной отдельными более универсальными концепциями (содержащимися, например, в правах человека и гражданина).

Период коммунизма в Центральной и Восточной Европе был регрессом применительно не только к фактическим гражданским правам, но и к политической мысли, которая формирует понятие гражданственности и придает ему конкретный облик в виде кодифицированных законов, а также практики их применения,

используемой во взаимоотношениях между гражданами и структурами власти. Само понятие «гражданин», оказавшись присвоенным коммунистическими властями, потеряло свой первичный смысл и приобрело противоположное значение («порядочным гражданином» был тот, кто отказывался от своих прав в пользу лояльности перед недемократической системой). Поэтому после падения коммунистической системы проблемой стало воспроизведение чувства гражданственности в тех сегментах общества, где это чувство исчезло. Второй, не менее важной проблемой оказалось воспроизведение такой концепции гражданственности, которая одновременно обращалась бы к местным традициям и продолжала их, но вместе с тем учитывала современные тенденции развития данного понятия, от которых страны нашего региона были отделены в течение более чем полувека «железным занавесом», отгораживавшим советский блок от Запада.

Проблема гражданственности сегодня, в эпоху глобализации, приобретает новое значение. Возрастающая взаимозависимость между отдельными национальными государствами, экономические явления, выходящие далеко за пределы уровня национального государства (например, деятельность глобальных транснациональных корпораций), равно как и разнообразные гражданские инициативы, также перешагивающие за рамки национального государства, вынуждают заново дать определение гражданственности. Поэтому ниже будут рассмотрены также современные, иногда весьма радикально пересмотренные концепции гражданственности, которые обращаются к глобализирующимся общественным отношениям между государствами и гражданами.

Такова область проблем, которые будут рассмотрены в настоящей главе.

### **Определения основных понятий**

Гражданственность представляет собой многозначное понятие – так же, впрочем, как и большинство понятий, применяемых в общественных науках. Оно может, к примеру, означать формальный статус индивида в пределах определенного национального государства. Тогда для обозначения этого статуса применяется, как правило, понятие гражданства. Как пишет Сомерс, «обычно сегодняшнее понимание гражданства означает

личный статус, заключающий в себе целый корпус универсальных прав (т.е. легальных притязаний к государству), а также обязанностей, налагаемых поровну на всех законных членов национального государства» (Somers, 1993: 588)<sup>1</sup>. Мы говорим в таком случае, что кто-либо имеет польское, германское или японское гражданство. Из этого формального факта вытекают как права, гарантированные определенным национальным государством (например, пассивное и активное избирательное право), так и обязанности перед общностью, объединенной в национальное государство (например, военная служба, налоги и т.п.). Такой формальный гражданский статус является необходимым – хотя, естественно, отнюдь не достаточным – условием того, чтобы последствия, вытекающие из него для индивида и для государства, добросовестно и тщательно проводились в жизнь, исполнялись и защищались.

Гражданственность обладает, однако, своим социальным измерением, и как раз им мы будем здесь заниматься в первую очередь. Вообще говоря, можно выделить две модели гражданственности: «одна, не очень жестко ассоциируемая с Гоббсом, делает упор на то, что государство представляет собой союз равных индивидов под властью закона. Вторая, связанная – и тоже не очень жестко – с Руссо, трактует государство как общность равных личностей, которые вовлечены в создание законов и принятие решений по публичным делам» (Minogue, 1995: 12). Как мы увидим ниже, эти две основные модели гражданственности во взаимоотношениях с государством являются осью спора между либералами и коммунитаристами.

Взглянем вначале на вопрос гражданственности с личной перспективы. Во-первых, это определенная позиция и установка человека. Она включает в себе осознание своих прав в общности и своих обязанностей перед общностью. В психосоциальном смысле она служит тем основанием, на котором строится роль гражданина. Отсутствие чувства гражданственности означает, что ограничения, налагаемые, например, авторитарным режимом на понятие гражданства, не воспринимаются та-

---

<sup>1</sup> Несколько далее Сомерс определяет гражданство как «набор институционально укорененных социальных практик... возникающих из национальных организаций и универсальных практик, разных политических культур локальной окружающей среды» (Somers, 1993: 589).



ким индивидом как обременительные (если эти ограничения вообще им воспринимаются). Чувство гражданственности легитимирует гражданскую роль, а также установки и варианты поведения, представляющие собой последствия пребывания гражданином. В свою очередь, без действенной субъектности (подвергнутой обсуждению в предыдущей главе) само понятие гражданственности теряет под собой почву. Поскольку если нет действенной субъектности, то или индивид зависит только от факторов структурного и культурного детерминизма, а понятие свободного выбора становится пустым, или же действия, предпринимаемые индивидом в результате его свободного выбора, не порождают никаких (даже самых минимальных) общественных последствий, что также ставит понятие гражданственности под вопрос. Стоит попутно отметить, что в этом случае существенным является присутствующий в сознании индивидуально-личностный контекст субъектности. Индивид является, правда, действенным субъектом, но здесь существенна его убежденность в собственной действенной субъектности. Она может быть ничтожно малой или нулевой, что чаще всего ведет к прекращению действия. Все это, как правило, такие последствия, которые с точки зрения самого индивида нежелательны, а это лишь усиливает его убежденность в собственной ничтожной субъектности и порождает не только чувство отсутствия всякого влияния на то, что происходит в его ближнем и дальнем социальном окружении, но также ощущение отсутствия какого-либо контроля над собственной жизнью. Таким образом, чувство гражданственности связывается с убежденностью, что от меня зависят некие вещи, что небезразлично (как для меня, так и для более широкого окружения), какое решение я приму в определенной ситуации. Существует также второй аспект чувства гражданственности, который дает индивиду чувство безопасности перед лицом окружающего мира институтов и учреждений: гражданский статус ограничивает произвольность отношения к людям со стороны существующих институтов, а особенно институтов власти, и придает взаимоотношениям с ними кодифицированную форму. В итоге гражданина нельзя, например, арестовать или конфисковать его собственность без обоснованных причин, описанных в законодательстве. И наконец, нужно упомянуть еще и третий аспект гражданственности, а именно обязательства индивида перед той политической общностью, гражда-

нином которой он является (несение военной службы, уплата налогов, участие в выборах и т.д.).

Гражданственность, трактуемая с точки зрения «большой» общности, представляет собой атрибут как всей этой общности, так и составляющих ее членов. Гражданственность, являющаяся атрибутом общности, означает, что данная общность – через разнообразные процедуры – может не только организовывать какие-то дебаты и принимать в них участие, но и прежде всего принимать правомочные решения, касающиеся судеб указанной общности. А эти решения правомочны потому, что члены данной общности наделены индивидуальными атрибутами гражданственности, синтетическим проявлением которых выступает их гражданский статус. Греческий *демос* или римский *populus* (*народ*), невзирая на понятийную расплывчатость, на которую обращал внимание Сартори (*Sartori, 1998: 37, passim*), – это определение народа, или, иначе говоря, индивидов, которым были присвоены (писаным законом или же обычаем) атрибуты гражданственности. Реализация указанного атрибута в принципе происходит в публичной сфере, которую Дорота Петшик-Ривз вслед за Хабермасом определяет как «пространство, где может реализоваться по-настоящему демократическое участие граждан в формировании общих норм консенсуса и договоренности, а также в выработывании общественного мнения и тем самым – в воздействии на институты „системы“» (*Pietrzyk-Reeves, 2004: 200*). Несколько более строгое определение публичной сферы приводит Сомерс, и в дальнейших размышлениях мы будем обращаться именно к этому пониманию публичной сферы. Она пишет: «Публичная сфера означает полемизирующе-участвующее пространство, в рамках которого субъекты права, граждане, экономические акторы, а также члены семей и локальных сообществ создают публичные органы и вовлекаются в переговоры, полемику и протесты политической и социальной жизни» (*Somers, 1993: 589*). Следовательно, это пространство, в котором осуществляются взаимоотношения особого типа, а именно такие, свидетелем которых теоретически может быть каждый актор, действующий в этом пространстве. Таким образом, это не пространство частных или даже интимных взаимоотношений, а территория никак не регламентированного доступа к данным взаимоотношениям других участников, которые активны на данной территории. Разумеется, это не означает, что каждое взаимоотношение,

осуществляющееся в публичном пространстве, действительно собирает всех, равно как не означает даже того, что все замечают и воспринимают такого рода взаимоотношения. А означает оно лишь то, что теоретически нет барьеров (очевидных, например, в частной сфере), которые делали бы для других действенных субъектов невозможным участие в данном конкретном взаимоотношении (хотя бы в статусе пассивного наблюдателя). Это может быть демонстрация одиночного человека на углу улицы (пикет), который информирует прохожих о цели своей личностной демонстрации, а также марш протеста, забастовка, сбор денег на благотворительную цель, богослужение под открытым небом, собрание подписей под петицией или стихийная организация помощи для жертв несчастного случая. Естественно, не все действия, предпринимаемые в публичной сфере, должны произрастать из чувства гражданственности, иначе говоря из активной позиции в роли гражданина, ведь публичная сфера представляет собой пространство, в котором иногда реализуются, например, такие роли, как потребитель, приверженец определенной религии или болельщик какой-нибудь футбольной команды. Однако все действия в гражданской роли в принципе вступают в публичную сферу, поскольку лишь там они приобретают вышеуказанный гражданский характер.

Гражданственность была ранее определена в категориях статуса индивида по отношению к национальному государству и к другим людям, организованным в это государство, а также в категориях прав и обязанностей, вытекающих из указанного статуса. В данном смысле гражданство может трактоваться как атрибут индивидов и социальных групп. Однако стоит обратить внимание на то, что этот довольно широко принятый способ понимания указанного понятия оспаривается теми теоретиками, которые подходят к гражданственности не столько со стороны потенциальных возможностей, создаваемых ею для индивидов и групп, сколько со стороны действительного использования этих — в большой мере теоретических — возможностей. Представителем такого течения научной мысли является Маргарет Сомерс (*Somers, 1993: 589, passim*), для которой гражданственность — это «набор институционально закрепленных общественных практик». Она аргументирует, что гражданские права представляют собой всего лишь один из возможных результатов тех правил, которые устанавливают принадлежность к определенному национальному

государству. Поэтому также гражданственность — в ее понимании — является не столько набором прав и обязанностей, сколько следствием политических, правовых и символических практик, сформированных привычными трафаретами взаимоотношений между правилами, определяющими роль гражданина, и правовыми институтами. Образцы этих взаимоотношений модифицируются политической культурой разных гражданских обществ. Центр тяжести при такой трактовке располагается в практическом действии, а не в формальных правах, поскольку лишь в конкретном действии обнаруживается, какие из этих формальных прав действительно реализуются (и входят ли они в сферу привычного трафарета поведения в публичном пространстве), а какие остаются на бумаге. Из практики, а вовсе не из абстрактных прав, по мнению Сомерс, проистекают политические идентичности индивидов.

На еще один аспект этого явления обращает внимание Эдвард Шилз, когда определяет гражданственность как особую разновидность установки и устойчивой предрасположенности человека, погруженного в крупную общность. «Гражданственность, — пишет Шилз, — это своеобразное мировоззрение и предрасположенность гражданского общества, проистекающие из участия индивидов в его коллективном сознании. <...> Гражданственность — это когнитивная и нормативная установка с отвечающими ей стереотипами действия; это такая установка, в которой индивидуальность личности сознательно допускает ее участие в коллективной индивидуальности, ограничивающей и формирующей ее решения и действия» (Shils, 1994: 11).

Резюмируя приведенные выше рассуждения, мы можем констатировать, что гражданственность представляет собой некую особую установку индивидов по отношению ко всей общности, равно как и к отдельным ее членам, а также убежденность в важности некоторых ценностей, или, иначе говоря, гражданских добродетелей (например, таких как братство, солидарность, принятие и одобрение равенства прав, доверие, уважительное отношение к общему благу, сотрудничество, соблюдение совместно установленных правил, субъектная трактовка сограждан). Культивирование гражданских добродетелей создает из слабо связанной совокупности людей подлинную общность. Чувство гражданственности является, в свою очередь, необходимым условием появления гражданских форм поведения, которые на практике

играют решающую роль в формировании фактического уровня гражданской культуры в определенной общности.

### Историческое развитие концепции гражданственности

Хотя вопросы гражданственности и гражданского статуса привлекали внимание философов с древних времен, современное понятие гражданственности начало формироваться всего лишь несколько веков назад. Можно признать, что переломом явились две революции: французская (1789–1799), а также американская (1775–1783). Ибо именно они, особенно Великая французская революция, совершили принципиальный перелом в определении того, кому полагается атрибут гражданственности и чего этот атрибут должен касаться. Они означали также начало процесса отхода от сословной социальной структуры, а их политическим последствием был отрыв понятия гражданственности от места, занимаемого в социальной структуре. Конец XVIII века и весь XIX век действительно были периодом бурных экономических и хозяйственных перемен, которые сопровождались процессом кристаллизации современной демократической системы, полным всевозможных зигзагов и хитросплетений, — вместе с перепределением гражданственности и с процессом политической эмансипации ранее обойденных, приниженных слоев и социальных категорий (*Baszkiewicz, 1998: 269, passim*), но все эти процессы были запущены в ход названными двумя революциями, которые необратимо изменили способ восприятия гражданственности не только среди идеологов и членов тогдашних элит, но и прежде всего среди широких масс, лишенных ранее хоть каких-нибудь гражданских прав.

Томас Хемфри Маршалл, один из классиков теоретических построений на тему гражданственности, предложил выделить из этого понятия три составных элемента: «цивильный», политический и социальный<sup>1</sup>. **Цивильный** элемент гражданственности складывается из прав, необходимых для индивидуальной

---

<sup>1</sup> Термин «цивильный» как калька английского *civic* необходим в контексте гражданственности и широко используется в русскоязычной литературе (см., например: Капустин Б. Г. Гражданство и гражданское общество. М.: Изд. дом ГУ–ВШЭ, 2011).

свободы, — «личной свободы, свободы слова, мысли и верований, права на частную собственность и на заключение важных договоров, а также права на справедливость» (*Marshall, 1950: 10, passim*). **Политический** компонент гражданственности содержит в себе право на участие в политической власти — в роли члена органа, наделенного политическим авторитетом, или в роли того, кто избирает членов подобного органа. Наконец, **социальный** компонент содержит широкую гамму прав: от права на участие в плодах хозяйственно-экономической деятельности и на социальное обеспечение до права полного участия в общественном наследии и до жизни на цивилизованном уровне в соответствии со стандартами, преобладающими в данном обществе.

В исторической перспективе эти три составных элемента гражданства появлялись и закреплялись в общественной практике на протяжении разных периодов, а их широкое распространение, которое привело к сегодняшнему пониманию гражданства, протекало в определенной временной последовательности. Сначала появились «цивильные» элементы гражданственности, позднее — политические и самыми последними — социальные. Маршалл (*Marshall, 1950: 14*) приписывает появление цивильных прав XVIII веку, политических прав — XIX веку, тогда как социальных прав — XX веку. Однако сам же он при этом констатирует, что приведенная периодизация является не более чем ориентировочной.

Займемся сейчас эволюцией собственно гражданских («цивильных») прав. Отдельные элементы этих прав вошли в коллективную жизнь значительно ранее — во всяком случае хотя бы для некоторых народов Европы. Первым писаным актом, который ограничивал королевскую власть и предоставлял кодифицированные права дворянству, была английская *Magna Charta Libertatum* (Великая хартия вольностей, 1215). Король Иоанн Безземельный торжественно провозглашал, среди прочего, что никакой свободный человек не может быть арестован или заключен в тюрьму без законного приговора, вынесенного теми, кто равен ему<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В извлечениях из перевода Хартии, сделанного акад. Д. И. Петрушевским (см. сборник «Памятники истории Англии XI—XIII вв.», М., 1936), это положение формулируется следующим образом: «39. Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо

В Польше привилегии, полученные шляхтой уже в первой половине XV века (в 1422–1433 годах), содержали в себе принцип *petinet captivabitur nisi iure victum* (никого не заключим под стражу без судебного приговора), в соответствии с которым нельзя было ни карать оседлого шляхтича без приговора суда, ни также заключать его в тюрьму до вынесения приговора, разве что он был схвачен с поличным (Kutrzeba, 2001: 90). Спустя неполных полтора столетия в Польше был принят Акт Варшавской конфедерации<sup>1</sup> (1573), который обеспечивал свободу совести и уравнивал в правах любую шляхту, невзирая на ее вероисповедание. Этот акт, полный текст которого помещен в приложении к настоящей книге, являлся исключением на фоне остальной Европы, где было очень мало религиозной терпимости, вследствие чего вырос приток в Польшу иноверцев из других частей континента, бежавших в эту страну от преследований. (Видный польский историк) Януш Тазбир (Janusz Tazbir) констатирует, что Акт Варшавской конфедерации «был тем самым наиболее толерантным документом такого типа в тогдашней Европе» (Tazbir, 1999: 14). В Средневековье структура общества была сословной (священнослужители, дворянское сословие и третье сословие). Вопрос формирования гражданских прав касался, разумеется, дворянского сословия, и должно было пройти несколько столетий, чтобы гражданственность распространилась на третье сословие (мещанство и крестьян). Хотя средневековые представления о социальной структуре являлись статичными, а не динамичными (Huizinga, 1967: 119), реальные общественные процессы вносят в эту статичную картину медленные изменения. Через сто с лишним лет после Варшавской конфедерации английский парламент принял

---

[иным] способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пойдём на него иначе, как по законному приговору равных его [его прав] и по закону страны».

<sup>1</sup> Конфедерация в Речи Посполитой XVI–XVIII веков – временный политический союз вооруженной шляхты. В период бескорольевья после смерти Сигизмунда II Августа (1572) и в последующих случаях междуцарствия такая конфедерация составлялась на сейме, объявляя себя верховным органом власти. С начала XVII века генеральные конфедерации все чаще представляли собой общегосударственные военно-политические союзы шляхты, созданные в целях защиты ее интересов, и иногда превращались в восстание шляхты против короля. Бывали также местные, воеводские конфедерации, которые складывались на локальных сеймиках.

закон, известный под названием *Habeas Corpus Act*<sup>1</sup> (1679), который гарантировал индивиду личную неприкосновенность. Десять лет спустя и тоже в Англии парламент после отречения короля Якова II от престола принял *The Bill of Rights* (Билль о правах)<sup>2</sup>, который значительно ограничивал произвол королевской власти и, кроме того, предоставлял подданным, среди прочего, право подавать королю петиции и ходатайства, не опасаясь преследований, и устанавливал, что выборы членов парламента должны быть свободными, а в самом парламенте необходимо обеспечивать свободу высказываний и прений без возможности для какого-нибудь внепарламентского органа вмешиваться в эту свободу. В том же самом году (следовательно, более чем через сто лет после Варшавской конфедерации) английский парламент принял *The Toleration Act* (Декларацию о веротерпимости), которая, правда, не шла столь далеко, как установления Варшавской конфедерации, но, однако же, отменяла наказания для отщепенцев, отступивших от англиканской церкви.

Все это были предвестники перелома в вопросе о гражданском компоненте гражданства, который достиг кульминации незадолго до конца XVIII века. Декларация независимости Соединенных Штатов, провозглашенная 4 июля 1776 года 13 бывшими колониями британской короны, констатировала, в частности, что «все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью». Однако наиболее систематическая кодификация гражданских атрибутов гражданства впервые появилась во французской Декларации прав человека и гражданина, принятой Национальным собранием Франции 26 августа 1789 года. Эта Декларация заложила фундамент под современное понимание гражданственности, и, хотя в последующие исторические периоды ее принципы многократно нарушались, она все равно стала чрезвычайно существенной точкой отсчета для формирования современного понимания гражданственности.

---

<sup>1</sup> В русскоязычной литературе это название принято не переводить, а передавать кириллицей: Хабекас корпус акт. Его полное название — Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями (т.е. вне пределов Англии).

<sup>2</sup> Это произошло в 1689 году и явилось юридическим оформлением так называемой Славной революции, о которой говорилось в главе 1.



В этой Декларации (ее полный текст помещен в приложении к польскому изданию данной книги, а в настоящем переводе опущен ввиду общедоступности. — *Ред.*) констатируется, среди прочего, что «люди рождаются и остаются свободными и равными в правах», что среди «естественных и неотъемлемых прав человека... — свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению», а «свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому». Декларация устанавливает также «свободное выражение мыслей и мнений» и рассматривает такую свободу как «одно из драгоценнейших прав человека», а частную собственность трактует как «неприкосновенную и священную»<sup>1</sup>.

Политическая компонента гражданства была логическим следствием гражданской компоненты. Ведь коль скоро свободы индивида и его гражданские права стали нормой (хотя и отвергаемой абсолютными монархиями и диктаторскими режимами), то было лишь вопросом времени, что граждане потребуют не только возможности принимать решения о том, кто должен их представлять в структурах власти, но также того, чтобы самим входить в структуры власти, имея за собой поддержку со стороны других граждан — равных себе по соображениям статуса. Бурный XIX век, изобилующий войнами, мятежами и восстаниями, был периодом двух важных процессов: 1) социальной эмансипации тех сегментов общества, которые были лишены всей полноты гражданских («гражданских») прав или на основе имущественного ценза (например, беднота в Англии), или по причине принадлежности к низким, обездоленным сословиям (например, крепостное крестьянство в Европе<sup>2</sup>), или же из-за своего статуса раба (лишь в 1865 году в конституцию США внесли 13-ю поправку, отменяющую рабство); 2) расширения и укрепления гражданских атрибутов гражданства в конституционных монархиях и республиках тогдашнего западного мира.

---

<sup>1</sup> Разумеется, цитаты из обеих деклараций в этом и предшествующем абзацах не переводились с польского текста, а были взяты из их официальных русскоязычных версий.

<sup>2</sup> Полапецкий универсал (указ), отменяющий крепостную зависимость крестьян в Польше, был, правда, подписан Тадеушем Костюшко 7 мая 1794 года — следовательно, еще в XVIII веке, но разгром восстания, которым руководил Костюшко, а также сопротивление этому универсалу со стороны шляхты воспрепятствовали его реализации на той стадии, когда он опережал эпоху. — *Авт.*

XX век, помимо дальнейшего прогресса социальной эмансипации (в частности, уравнивания женщин и мужчин в смысле их гражданского статуса), был периодом формирования социального компонента гражданственности. Право на труд, образование и социальное обеспечение, разнообразные системы регулирования заработной платы, коллективные договоры, пенсии, системы страхования здоровья и жизни, социальное обеспечение и вспомогательные пособия, причитающиеся людям в силу их гражданского статуса в рамках конкретного национального государства, — все эти вещи, несомненно, формировались под воздействием социалистических идей, родившихся еще в XIX веке. Элементы социального компонента гражданственности продолжали, однако, постепенно усиливаться и во второй половине XX века привели к возникновению опекающего государства всеобщего благосостояния.

### **Либеральная и коммунитарная концепции гражданственности**

Проблема гражданственности издавна возбуждала теоретические разногласия, которые — ввиду политического измерения подобной дискуссии — носили не только чисто академический характер. Среди многих разных позиций, особенно важных для сегодняшнего понимания гражданственности, можно выделить две, а именно **либеральную** и **коммунитарную**. Оба эти подхода, присутствующие также в сегодняшних дебатах на данную тему, обладают своей долгой философской традицией и важными аргументами в пользу собственной позиции. Либеральная традиция, идущая от Джона Локка, Адама Смита и Джона Стюарта Милля, рассматривает гражданство в «индивидуалистически-инструментальных» категориях (Nagy, 1995: 188), где гражданственность индивида равнозначна его автономии, «иначе говоря, свободе постановки, определения и поиска собственной цели без ограничений с чьей-либо стороны» (Gawkowska, 2004: 12). Индивиды выступают носителями моральных ценностей, а также субъектами социальных отношений, способными к реализации свободного выбора, а если практика отходит от указанной нормативной модели, это означает, что мы имеем дело с ограничением индивидуальной свободы со стороны общественного окружения. Не ограничивая в какой-то степени свободу индивида, не удастся навязать ему ни понятия совместного блага всей той общности, к которой он принадлежит, ни

абсолютного критерия добра и зла (если только этот критерий не вступает в противоречие с аналогичным требованием со стороны других равноправных индивидов данной общности). «Ядром индивидуалистической модели является тезис, провозглашающий, что каждый индивид руководствуется в частной и публичной жизни своими частными интересами и целями, а также собственным видением добра. Способность индивида к самостоятельному установлению своих целей и ценностей дает гарантию его свободного выбора и его свободы от произвольного вмешательства со стороны социального и политического окружения» (*Dziubka*, 2001: 123). Свободы индивида являются его врожденными правами и не требуют дальнейшего обоснования. В данном смысле они представляют собой универсальные права каждого человека — именно потому, что он является человеком. И если социальное окружение нарушает эти свободы, то мы имеем дело с какой-то степенью порабощения индивида общностью и его принуждения к таким установкам и формам поведения, которые были бы, вероятно, иными, если бы не указанное принуждение со стороны окружения. Отсюда в либеральных доктринах присутствует требование о минимальности государства. «Минимальное государство, — пишет Нозик, — это максимальное государство, существование которого может быть оправдано. Любое государство, которое больше минимального, нарушает права людей» (*Nozick*, 1999: 182). Гражданственность при ее рассмотрении под либеральным углом зрения представляет собой набор врожденных прав индивида — прав, которые позволяют ему функционировать в частной жизни таким способом, который он признаёт надлежащим (насколько эти права не нарушают аналогичных прав других индивидов), а в публичной жизни являются опорой его субъектности. Гражданственность, понимаемая подобным образом, универсальна в такой же мере, в какой всеобщим является стремление людей к свободе и выпрастыванию из корсета ограничений, налагаемых на человека различными общественными системами. По этой же причине либералы, как правило, не рассматривают собственную доктрину в качестве одной из многих разнообразных доктрин или интеллектуальных традиций, а убеждены в универсальности своих сильных предположений на тему прав индивида и его места в обществе. «Либерализм невозможно сколько-нибудь легко и эффективно преобразовать в традицию, — пишет Джон Грей, — потому что его собственные представления о себе обременены — пусть даже только

косвенно, по причине молчаливо принятой философии истории — универсалистскими претензиями. <...> Когда универсалистские притязания будут отброшены, либеральная практика не сможет избежать унижения» (Gray, 2001: 311).

Тем временем очень близкий к республиканской традиции коммунитарный подход, источники которого лежат в трудах Аристотеля, а много столетий спустя — в сочинениях Ж. Ж. Руссо и который присутствует сегодня в работах таких авторов, как Аласдер Макинтайр, Майкл Уолцер, Амитай Этциони или Чарльз Тейлор (Alasdair MacIntyre, Michael Walzer, Amitai Etzioni, Charles Taylor), обращает внимание прежде всего на общественный аспект гражданства. Человек является гражданином настолько, насколько он укоренен в какой-то общности, а его взаимоотношения с этой общностью формируют чувство гражданства, гражданскую установку и заботу об общем благе. Шилз пишет прямо: «Гражданственность — это принятие обязательства действовать (по меньшей мере в определенной степени) в пользу общего блага в тот момент, когда существуют противоречивые интересы или идеалы. Она требует принимать во внимание последствия отдельных действий для общего блага или для общества в целом» (Shils, 1994: 11–12). В коммунитарной перспективе «ключом к пониманию и сохранению свободы являются не только потребности и предпочтения индивидов, — пишет, в свою очередь, Спиевак, анализируя научное достояние Макинтайра, — но и авторитет системы, государства, его конституции. В исходной точке теоретических рассуждений находится общность действий, которая видится в облике правил и которая определяется также как общность речи и коммуникации. Ее участники связаны между собой признанием авторитетности некоторых условий совместного действия. Первичным является одобрение и принятие особого языка гражданских связей, образующих *res publicam* (публичные вещи). <...> Общим благом является *res publica* (публичное дело, речь посполитая, республика) — *polis, constitutio libertatis* (полис, конституция свободы), то самое «мы», в которое мы вступаем и в пределах которого распознаём свою идентичность, свои потребности, а также права» (Spiewak, 1998: 291). В коммунитарной трактовке категория «мы» как минимум равносильна категории «я», обладающей безусловным приоритетом в либерализме. В критических выступлениях с коммунитарных позиций часто формулируется тезис, что «либеральный индивидуализм способствовал значительному ослаблению связей

между гражданами, вследствие чего они не имеют никакого представления об общих моральных идеалах, которые придавали бы их жизни смысл и направленность» (*Dziubka*, 2001: 121). Коммунитаристы аргументируют также, что принцип аксиологической нейтральности государства, который в либерализме является основополагающим, чаще всего иллюзорен, поскольку допущение государством некоторых практических методов, по сути дела, является их приятием и одобрением, иными словами аксиологическим высказыванием в пользу одной из сторон. «Посредством допущения практики, скажем, разводов на основе принципа, что государство должно быть нейтральным в интимных супружеских делах, государство подает сигнал, что развод считается морально приемлемым», — пишет Этциони (*Etzioni*, 1996: 159).

Коммунитаристы критикуют либерализм по меньшей мере с трех точек зрения. Во-первых, либерализм абстрагируется от реалий жизни и рисует некий абстрактный проект такого человека, который неизвестен истории. Дело в том, что индивид через процесс социализации, т.е. заимствования от социального окружения различных норм, ценностей, а также языка социальной коммуникации, оказывается неразрывно сросшимся с этой общностью. Человечность не может манифестироваться иначе, как через рост и воспитание в составе человеческой общности. Во-вторых, нормы, законы и даже само чувство свободы укоренены в общности, а в процессе социализации оно воспроизводится из поколения в поколение и в этом смысле первично относительно индивида. В-третьих, если мы не только наблюдаем в общности эгоистические трансакции в соответствии с принципом *do ut des* (даю, чтобы ты дал; т.е. взаимного оказания услуг), но видим также проявления альтруизма, доверия, солидаризма, то все это имеет место потому, что некоторые из индивидов живут в следующем убеждении: культивирование гражданских добродетелей (сформировавшихся в процессе социализации) — это нечто благое, причем данное благо не требует дальнейшего обоснования. Как верно отмечает А. Макинтайр: «...развитие добродетелей требует существования определенного сообщества и, в свою очередь, поддерживает это сообщество в его существовании» (*MacIntyre*, 1996: 9; цит. по: *Dziubka*, 2001: 122). Таким образом, мы имеем здесь дело с эффектом положительной обратной связи: сообщество, состоящее в какой-то части из членов, культивирующих гражданские добродетели, более дружелюбно ко всем своим участникам, нежели

сообщество, объединенное исключительно случайной близостью эгоистически определяемых частных интересов его членов. Это, в свою очередь, облегчает распространение гражданских добродетелей даже среди тех членов сообщества, которые первоначально были склонны трактовать свое участие в нем только в категориях индивидуалистически понимаемых интересов.

### **Гражданственность, национальное государство и общественно-политический порядок**

Гражданственность, даже если мы станем трактовать ее как атрибут индивида, не подвешена в социальном и институциональном вакууме. Нужно согласиться с некоторыми из аргументов республиканского подхода, указывающими, что общностный контекст вместе с функционирующими в нем взаимоотношениями, правилами игры, а также тем, каким образом понимаются цели общности и определяется общее благо, не только придает гражданственности форму, но также в большой мере определяет ее содержание и личностный смысл. Если мы оторвем понятие гражданственности от этого институционального и социального контекста, то оно становится таким основанием, которое неизвестно чем питается и неизвестно чему служит.

Одной из самых существенных точек отсчета, конституирующих гражданственность, является государство, а также тот общественно-политический порядок, в соответствии с которым это государство организовано. Ведь государство представляет собой институциональную форму определенного общественно-политического порядка, который, в свою очередь, содержит в себе общностные нормы (формальные и обычные), а также правила игры, которые не только формируют гражданственность, но и управляют областями ее манифестирования в публичной жизни.

Разделение на государства демократические и недемократические необходимо, если мы хотим описать взаимозависимость между формированием гражданственности и государством. Но это разделение является только первым приближением. Ведь в действительности мы имеем дело со многими вариантами демократических государств — от весьма либеральных (например, США) до весьма коммунитарных (например, Скандинавские страны). Аналогичная ситуация имеет место и в случае недемократических государств. Здесь мы также имеем дело со многими вариантами

недемократических режимов — от относительно «мягких» клановых, племенных, религиозных или олигархических авторитаризмов (например, таковы Кыргызстан, Ангола, Египет или Россия) и до «жестких» тоталитарных режимов, наиболее экстремальным примером которых служит сегодня Северная Корея.

Демократическим государствам применительно к публичному пространству присуще одно общее свойство: они ограничивают свою роль слежением за тем, чтобы акторы, функционирующие на данной сцене, не нарушали обязательных для всех правил игры, но при этом никак не вмешиваются в автономию действующих акторов, если только право, закон не были нарушены. Демократическое государство, обладающее либеральной ориентацией, может оставить пространство публичной жизни для свободной институционализации самых разнообразных общественных сил; демократическое государство, которому присуща коммунитарная ориентация, может даже побуждать к появлению такого рода организованных сообществ граждан и их последующему существованию, но как в одном, так и во втором случае оно не подчиняет их себе, а также не нарушает автономию их действий, если только соблюдаются правила игры, кодифицированные в законодательстве. Такое отношение демократического государства к публичной сфере создает климат, благоприятный для формирования гражданственности и гражданских установок, хотя оно, естественно, не является (и не может являться) гарантией того, что установки подобного типа станут уделом всех членов определенного государства, пользующихся гражданским статусом. Этот благоприятный климат создает еще одну предпосылку гражданственности, а именно ее формирование не столько в **оппозиции** к государству, сколько скорее **рядом** с теми государственными структурами, с которыми действительные субъекты (индивидуальные или коллективные), функционирующие в публичной жизни, входят во взаимоотношения сотрудничества или оспаривания, но всегда пользуются правовой защитой своей автономности, которая гарантирована демократическим государством.

В данном случае проявляется принципиально отличный подход к взаимоотношениям «государство — индивид», присущий либеральной и коммунитарной традициям. Этот спор, очень точно и метко реконструированный Доротой Петшик-Ривз (*Pietrzyk-Reeves*, 2004: 156, *passim*), можно свести к следующему: если либералы исходят из предположения о строгой аксиологической нейтральности

государства, то коммунитаристы считают, что государство должно стоять на страже общего блага, которое — вопреки утверждениям либералов — не является простой суммой частичных определений блага отдельных индивидов. Эти последние не без оснований аргументируют, что либеральная доктрина тоже не свободна от аксиологических предпочтений. Ведь она опирается на предположение, что таким общим благом является индивидуальная свобода, свобода выбора и защита разнообразия. Коммунитаристы, как пишет Петшик-Ривз, «ссылаются на классическую концепцию публичных добродетелей, которые перестали иметь значение в либеральном государстве, лишая его более широкого измерения гражданственности, понимаемой не исключительно в категориях прав, но прежде всего — в категориях обязанностей перед политическим сообществом» (Pietrzyk-Reeves, 2004: 162).

В недемократическом государстве пространство публичной жизни, во-первых, ограничено, а во-вторых, составляет поле экспансии государственных структур. Чем более какое-то определенное государство перемещается в континууме от «мягкой» формы авторитаризма к тоталитаризму, тем более ограниченным становится пространство публичной жизни для функционирования в нем таких акторов, которые автономны от государства, и тем в большей степени эти акторы (как индивидуальные, так и коллективные) подвергаются контролю со стороны государственных структур. В тоталитаризме пространство публичной жизни по определению полностью контролируется государством и, следовательно, закрыто для действенных субъектов, которые автономны от государства. По этой же причине закрыта дорога к организовыванию таких субъектов в более крупные структуры, идущие дальше уровня малых неформальных групп. Тоталитарное государство не оставляет пространства, в котором могло бы развиваться чувство гражданственности. Вместо этого создается плодотворная почва для расцвета рабских и клиентелистских установок (Hayek, 1979). И в случаях, когда тоталитарный режим искусно и со знанием дела ограничивает потребительские запросы населения и вместе с тем ведет его эффективную идеологическую индоктринацию, там в результате может широко распространиться установка «довольного раба». Если в таком тоталитарном контексте, невзирая на всяческие обусловленности, найдутся лица, желающие культивировать гражданские добродетели, то, во-первых, они не смогут этого делать в публичном пространстве, закрытом



для инициатив такого типа и полностью контролируемом государством, а во-вторых, если они смогут манифестировать свою установку на гражданственность перед сколько-нибудь широким общественным окружением (что не продолжается долго), то их, в общем, трактуют скорее как отклонение от нормы, иначе говоря как диссидентов, нежели в качестве образцов для подражания.

В государствах с «мягким» авторитаризмом (примером такого «мягкого» авторитаризма была Польская Народная Республика [ПНР] во времена Эдварда Герека) публичное пространство уже не столь строго контролируется государством, и это предоставляет возможность для появления относительно автономных гражданских инициатив, которые — если они сумеют институционализироваться, а авторитарный режим станет их терпеть — создают благоприятный контекст для развития чувства гражданственности среди своих членов и сочувствующих, а также становятся «школой гражданских установок». Однако это чувство гражданственности формируется, как правило, в оппозиции к государству, поскольку лишь такое отношение обеспечивает автономность действенным субъектам, вступающим на сцену публичной жизни.

### **Воспроизведение гражданства после коммунизма**

Падение коммунизма в Центральной и Восточной Европе в 1989 году открыло дорогу к формированию в странах бывшего советского блока не только новых, более либеральных и более демократических структур государства, но также гражданского общества и чувства гражданственности. Его сущностью было преобразование людей, живших ранее в коммунизме, из политических подданных и клиентов государственного патрона, которые зависимы от него и им контролируются, в граждан, в автономных применительно к государству действенных субъектов, функционирующих в том пространстве публичной жизни, которое открылось для свободной институционализации разнообразных общественных сил, до этой поры никак не проявлявшихся или же действовавших в укрытии. Указанный процесс затрагивал также вопрос переопределения собственной политической идентичности.

Сегодня мы уже знаем, что этот процесс не был ни легким, ни тем более быстрым, а в нескольких странах бывшего советского блока (например, в Беларуси или в кавказских республиках) его

конечный результат по-прежнему не до конца предопределен. Однако даже в странах вышegradской группы (Польше, Венгрии, Чехии, Словакии) формирование чувства гражданства в обществе, избавившемся, правда, от коммунистического режима, но сохранившем в памяти тот опыт (индивидуальный и коллективный), который оно вынесло из предыдущей системы, было полно хитросплетений и осложнений (Jasiewicz, 1995; Nagy, 1995; Palous, 1995; Gyarfassova, 1995). С венгерской перспективы главной причиной падения коммунистической системы была утрата ею способности к мобилизации людей против диссидентских попыток воспроизводить чувство гражданственности в массах. Правда, венгерские диссиденты были не в состоянии мобилизовать массовую поддержку для своих проектов восстановления гражданственности и, как следствие, гражданского общества в Венгрии, но коммунистические элиты тоже не располагали способностью мобилизовать поддержку для себя. Венгерское общество оставалось пассивным относительно попыток его мобилизации, предпринимавшихся как венгерской контрэлитой, так и коммунистической элитой власти. Поэтому в таких условиях старая система была уже не в состоянии функционировать, а ее конец был вызван не столько мобилизацией во имя гражданского общества, сколько полной демобилизацией всего общества (Horvat, Szakolczai, 1992: 28). Если этот диагноз верен, то следует констатировать, что в Польше воспроизведение гражданственности протекало совсем иным способом. Первая «Солидарность» (1980–1981) возникла вследствие массовой мобилизации общества против коммунистической системы. После введения военного положения уровень антисистемной мобилизации отчетливо снизился, но с учетом неслыханной массовости данного явления в период легальной деятельности «Солидарности» он и так был все равно несравненно выше, чем уровень антисистемной мобилизации в любой другой стране бывшего советского блока. Как результат, в Польше — в отличие от Венгрии, а также от тогдашней Чехословакии и Восточной Германии — конец системы наступил не вследствие всеобщего безразличия к диссидентским инициативам или же к тем мобилизационным технологиям, которые использовались властями старой системы, а по причине устойчивой и высокой антисистемной мобилизации, не поддававшейся попыткам погасить ее даже военными средствами и нашедшей свою кульминацию в контрактных выборах 1989 года, в результате которых старая система потеряла хоть какую-нибудь

видимость законности<sup>1</sup>. Тогдашняя относительно высокая и устойчивая мобилизация не была бы возможна, если бы период первой «Солидарности» не запустил процессы воспроизведения гражданственности не только в элитах, но и в массах и если бы те элементы действенной субъектности, которые в 1980–1981 годах присутствовали в конкретном опыте миллионов людей в Польше, не стали настолько привлекательной ценностью, что ради нее был смысл выдержать и выстоять – наперекор репрессивным действиям властей военного положения – в стремлении сохранить возвращенную субъектность.

В этом особенном контексте, на развалинах коммунистической системы, воспроизведение и формирование гражданственности определялось в первую очередь тремя факторами. Во-первых, это была коллективная память о **формальных** социальных правах (таких, например, как уверенность в собственной занятости), во-вторых – требование о восстановлении индивидуальной социальной и политической субъектности, а в-третьих – подозрительное отношение к государству, широко распространенное в обществах этого региона Европы. В некотором смысле три названных фактора действовали в противоположных направлениях. Память о формальных социальных правах, гарантирующих социальную безопасность, была фактором, тормозящим отказ от клиентелистских позиций, которые, правда, делают индивида зависимым от государства, зато освобождают его от ответственности за поражения при автономном формировании собственной судьбы. Наверное, действие указанного фактора можно в какой-то

---

<sup>1</sup> Речь идет о своеобразном контракте, заключенном между коммунистическими властями Польши во главе с ген. В. Ярузельским и «солидарностной» оппозицией во главе с Л. Валенсой. По соглашению между ними (заключенному в рамках так называемого Круглого стола) выборы в сенат предполагались полностью свободными и демократическими, а в сейме на свободных выборах заполнялось лишь 35% мест (161 мандат), тогда как остальные места (в том числе 35 мест из так называемого общенационального списка – он должен был обеспечить места в сейме всему руководству ПНР), а также пост президента ПНР гарантировались для Польской объединенной рабочей партии (ПОРП, т.е. коммунистов) и союзных с ней партий (в том числе импониовавших «католическими»). На тех «контрактных» выборах, состоявшихся в июне 1989 года, «Солидарность» одержала сокрушительную победу; в частности, в сенате она получила 99 мест из 100, а в сейме – 100% мест, предназначавшихся ей по контракту с властями.

степени трактовать как наследие предыдущей системы, но не без значения было здесь, видимо, и общее, стоящее выше государственно строя (Szacki, 1994: 199) нежелание граждан лишаться однажды приобретенных прав. С другой стороны, в 80-х годах XX века в общественном сознании поляков была также закодирована память о тех субъектных правах, которыми люди пользовались совсем недавно, в 1980–1981 годах, в период легальной деятельности первой «Солидарности». Исследования, проведенные в Польше в середине 80-х годов, показали, что к числу наиболее сильно ощущавшихся тогда общественных трудностей и недомоганий принадлежало блокирование властями военного положения гражданских прав и закрытие пространства публичной жизни для автономных от государства гражданских инициатив (Koralewicz, Wnuk-Lipiński, 1987: 248, *passim*). Дело в том, что первый период легального действия «Солидарности», помимо всяких прочих общественных и социальных последствий, был также временем предварительного переопределения политических идентичностей, а также возвращения людям действенной субъектности и формирования у них чувства гражданственности в оппозиции к государству. Эта последняя черта была не только чисто польской спецификой, а, как представляется, типичным явлением для всех обществ, возвращающих себе субъектность после падения коммунизма. Парадокс заключается в том, что воспроизведение гражданства в оппозиции к государству пережило падение коммунистического государства, которое было источником этой оппозиции, и в значительной мере оказалось перенесенным на демократическое государство.

### Радикальные концепции гражданства

Одним из плодов появления на Западе движения новых левых стал другой взгляд на вопросы гражданственности. Этот взгляд оказался более радикальным, ставящим под сомнение общепринятые варианты демократической практики и выражающим глубокую обеспокоенность той эволюцией демократических систем, которая происходит в сегодняшнем мире. Указанный подход можно прочитывать как выражение протеста против бюрократизирующихся полиархических систем и против сохраняющихся форм социального неравенства, особенно неравенства между мужчинами и женщинами, а также как недовольство ущемленностью, ощущаемой определенными социальными меньшинствами (в том числе

меньшинствами, которые вычлняются на основании сексуальной ориентации). Вышеназванные требования, нацеленные на обновление и освежение гражданства, сопровождались несомненной обеспокоенностью той относительно большой общественной апатией, которая была вызвана медленным и неуклонным, хотя и мало бросающимся в глаза преобразованием активных граждан в пассивных потребителей.

Отчасти импульсом для радикализации подхода к вопросу гражданства послужили феминистические идеологии, а также наблюдаемая во многих демократических странах атрофия публичной сферы и все большая профессионализация политики, причем скорее в стиле, рекомендовавшемся Макиавелли, нежели в том духе, который был бы близок Аристотелю. Политика, понимаемая таким образом, не только не добивается мобилизации граждан вокруг общих целей, но, напротив, стремится к демобилизации масс, чтобы они — кроме периода выборов — не вмешивались во все более сложные политические игры, в поддержание экономического роста, а также в обеспечение публичного спокойствия и порядка. Как утверждает, и не без оснований, Майкл Уолцер, «гражданство как таковое означает сегодня прежде всего пассивную роль: граждане — это зрители, которые голосуют. А в промежутках между выборами они лучше или хуже обслуживаются социальной либо гражданской службой» (Walzer, 1992: 99). Рецепт против этого должно стать, с одной стороны, возвращение к этической политике, а с другой — отход от либеральной модели отдельного, эгоистичного гражданина по направлению гражданства в общности и через общность. Генеральный диагноз текущего состояния гражданственности в западных полиархиях, сформулированный Шанталь Муфф (Chantal Mouffe), звучит весьма критически. Она пишет: «Отсутствие в современных демократических обществах единичного понятия реального общего блага, а также отделение сферы морали и нравственности от сферы политики, несомненно, укрепило бесспорные завоевания в области индивидуальной свободы. Но последствия этого для политики оказались весьма деструктивными. Все нормативные взгляды и мнения были отнесены в зону частной морали, в сферу „ценностей“, тогда как политика лишилась своего этического компонента. Начала доминировать инструментальная концепция, занимающаяся исключительно достижением компромисса между интересами, которые уже ясно определены. С другой стороны, исключительная озабоченность

либерализма отдельным индивидом и его правами не предоставляет ни содержания, которое могло бы эти права наполнить, ни также указаний, каким образом данные права употреблять. Это, в свою очередь, привело к девальвации гражданских инициатив, а также таких дел, которые являются общими для всех, следствием чего стало отсутствие внутреннего единства и цельности демократических обществ» (Mouffe, 1992: 230). Даже если мы согласимся с таким диагнозом, то предохранительные и предупредительные средства, рекомендованные Муфф, довольно слабы и парадоксальным образом обращаются к тем либеральным решениям, которые составляют объект ее критики. Ведь она пишет, что гражданственность требует отождествления с *republica* (республикой), а гражданство является не только правовым статусом (как, по ее мнению, исходно предполагает либерализм), но и «формой идентификации, типом политического отождествления», а также общей приверженностью определенному базовому набору этико-политических ценностей. Какими могли бы быть указанные этико-политические ценности? Это отнюдь не единичная идея общего блага, поскольку такая процедура, с одной стороны, отбрасывала бы нас назад, к предсовременной общности, а с другой – грозила бы вступлением на путь, ведущий к тоталитаризму и закрытому обществу. «То, что является общим для нас всех, и то, что делает нас гражданами в либерально-демократической системе, – пишет Муфф, – это не какая-нибудь одна конкретная идея добра и блага, а целый комплекс политических принципов, специфических для традиций данной системы, – принципов свободы и равенства для всех. Указанные принципы конституируют нечто такое, что можно бы вслед за Витгенштейном назвать „грамматикой“ политического поведения» (Mouffe, 1992: 231). Однако этот заключительный вывод, по сути дела, представляет собой возвращение к критиковавшимся ранее либеральным принципам функционирования общественного порядка, поскольку общим знаменателем становятся не столько этико-политические ценности, сколько процедуры, которые могут заполняться (и заполняются) самым разным содержанием. Отыскание лекарства против этой аксиологической пустоты либо против отсутствия необходимых для «хорошего» гражданина моральных принципов является все более настоятельным и срочным (Leca, 1992: 18), если гражданству хотят придать значение, выходящее за пределы простого приспособления к правилам окружающей общности и одобрения процедур по проведению

в жизнь индивидуальных прав. Таким лекарством может служить, с одной стороны, гражданская активность, иначе говоря участие в публичных делах, вытекающее не только из утилитарных мотивов (стремления обеспечить свои частные интересы), но также из моральной или даже альтруистической ангажированности в умножение благосостояния всей гражданской общности. С другой стороны, необходимо признание определенного минимума моральных и нравственных принципов, ибо без них гражданская ангажированность, выходящая за пределы защиты индивидуальных интересов, теряет фундамент. В сегодняшнем мире нет цельного, единообразного морального основания для формирования гражданских добродетелей и таких стереотипов поведения, которые продиктованы культивируемыми добродетелями. Скорее мы имеем дело с обширным множеством подобных моральных отсылок и соотнесений – от нормативных конструкций, формулируемых различными религиями, до сугубо мирских конструкций, которые принимают форму «политической корректности».

## ГЛАВА 5

# ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

### Введение

На протяжении многих десятилетий XX века в западной социологической и политологической мысли понятие гражданского общества было несколько подзабытым и уж, по крайней мере, никак не принадлежало к первостепенным аналитическим категориям. Это вытекало, видимо, из распространенного убеждения, что гражданское общество представляет собой производное явление по отношению к демократическому государству. В соответствии с данными концепциями только демократическое государство в состоянии обеспечить свободу собраний и объединений, что является необходимым условием возникновения гражданского общества. Гражданские установки развиваются именно в указанных добровольных объединениях свободных людей в процессе обучения<sup>1</sup>; никто не рождается с набором гражданских добродетелей, а приобретает их от демократического окружения (прежде всего в результате деятельности в вышеназванных добровольных объединениях), а затем интернализует (усваивает и принимает) как свои собственные, индивидуализированные формы участия в коллективной жизни, организуемой и защищаемой демократическим правовым государством. Коль скоро гражданское общество является производным по отношению к демократическому государству, то по естественному порядку вещей большее внимание обращается на государство, на демократическую систему и их институты, нежели на гражданское общество. Такой подход доминировал в общественных науках вплоть до 70-х годов XX века, да и сегодня в литературе по данному предмету тоже можно встретить похожие концепции

---

<sup>1</sup> Этот термин использован здесь в значении «социальное обучение», «социализация».



(Walzer, 1992: 104; Kotzé, du Toit, 2005: 250). Применение категории гражданского общества к исследованиям демократических систем, а тем более систем недемократических, было – в рамках указанного подхода – анахроническим и не давало шансов на глубоко познавательные аналитические исследования.

Тем временем события в Центральной и Восточной Европе на исходе прошлого века поставили под сомнение этот, казалось бы, очевидный аналитический подход. Особенно сильным импульсом стало появление в Польше «Солидарности» в 1980 году, которое обратило большее внимание теоретиков демократии на роль гражданского общества вообще, а в процессе демократизации авторитарных государств в особенности.

Однако утверждение, будто идею гражданского общества открыли после падения коммунизма, было бы ошибочным. По сути дела, эта идея, хотя и в меняющемся виде, сопутствовала общественной мысли на тему организации человеческих обществ как минимум с античных времен. Рассуждения Аристотеля (384–322 до н.э.) по поводу *politike koinonia*, т.е. политической общности (сообщества), или, шире, политического общества, мы можем условно принять за начало рефлексии видных мыслителей над определенной специфической категорией человеческих общностей, члены которых не только принимают в расчет соображения чего-либо большего, нежели одни лишь индивидуальные усилия по выживанию, но также хотят, могут и имеют что-то сказать на тему о способе функционирования такой общности. Указанная категория людей, называвшаяся древними римлянами *societas civilis* (гражданское общество), вслед за Аристотелем определялась как общество свободных и равных перед правом граждан, управляемых в согласии с кодифицированными правилами, которые укоренены в совместно признаваемом комплексе норм и ценностей. Согласно Норберто Боббио «*societas civilis* – это перевод аристотелевского выражения, определяющего город как форму сообщества (общины), которая отлична от семьи и выше нее, поскольку она представляет собой организацию совместного проживания, обладающую – а как может быть иначе! – свойствами самодостаточности и независимости, которые в будущем станут характеризовать государство во всех его исторических формах, но отличающуюся – хотя ее никогда сознательным образом не отличали – от подчиненного ей экономического сообщества, поскольку экономическая активность была атрибутом семьи (отсюда в романских языках

слово *oikonomia* выступает как определение для ведения дома и домашнего хозяйства<sup>1</sup>)» (Bobbio, 1997: 81). Следовательно, здесь имелись в виду такие человеческие общности и объединения, которые создаются выше уровня домашних хозяйств и, стало быть, функционируют в общественном пространстве, привычно определяемом как публичное (в отличие от частного пространства, являющегося областью функционирования первичных человеческих групп, особенно семьи). В этой формулировке содержится сущность того феномена, который мы определяем сегодня названием «гражданское общество».

Это, однако, не свидетельствует об однозначности указанного понятия. Дело обстоит прямо противоположным образом, что, впрочем, не является чем-то новым в общественных науках. Поэтому понадобится указать разнообразные способы рассмотрения данного явления, а также дать его уточнение.

Падение мировой коммунистической системы и связанные с этим перемены в Центральной и Восточной Европе стали вызовом для функционировавших ранее теорий гражданского общества. В том числе и по этой причине мы посвятим проблематике указанных перемен и их анализу несколько больше места, поскольку более глубокое ознакомление с тем, что произошло в данном регионе на исходе прошлого столетия, позволит пересмотреть несколько функционирующих по сей день стереотипов на тему формирования современного гражданского общества.

Теории гражданского общества принимают в качестве исходной точки разнообразные предположения относительно роли индивида в общности. Здесь можно выделить две категории предположений, принятие которых порождает серьезные теоретические последствия. Во-первых, это предположение о примате индивида над общностью, а во-вторых — о примате общности над индивидом. Два данных диаметрально противоположных предположения служат предметом весьма длительного спора между либеральным и коммунитарным пониманием гражданского общества, который мы уже ранее обрисовали применительно к понятию гражданственности. В дальнейшей части настоящей главы будут представлены аргументы в пользу двух обозначенных теоретических подходов, при-

---

<sup>1</sup> Напомним русское слово «экономка, эконом» (заимствованное, согласно известному «Этимологическому словарю» Фасмера, из французского или немецкого языка) — та или тот, кто ведет хозяйство, заведует им.

чем приводимые аргументы планируется также соотнести с реалиями недавней трансформации посткоммунистических стран.

Есть еще одна причина, по которой перемены в Центральной и Восточной Европе интересны в познавательном смысле. Освобождение национальных государств от внешнего господства, сочетавшееся с их демократизацией, ведет обычно к глубоким процессам реинтеграции вокруг новых коллективных целей, ценностей и норм. В результате демократизации запускаются процессы, формирующие два измерения определенной общности: национальное и гражданское. Названные измерения человеческой общности руководствуются разной логикой функционирования, иначе определяют статус индивида, а также критерии принадлежности к данной общности. Взаимоотношения между теми общностями, которые можно было бы определить греческими терминами «этнос» и «демос», позиционируют индивида в двух существенных измерениях общественной реальности и позволяют сказать нечто большее о природе общества, постепенно вырисовывающегося из процесса демократизации, а также о способе освоения того публичного пространства, которое открывается после падения недемократической системы.

Последней проблемой, которой я хочу заняться в настоящей главе, является вопрос о качестве гражданского общества, зависящем прежде всего от уровня политической культуры определенного общества, но также от способа консолидирования демократической системы и институционализации тех правил игры, которые обязательны в публичной жизни.

## Понимание гражданского общества

В литературе встречаются разные способы осмысления такого понятия, как гражданское общество. Эти расхождения вытекают не столько из того, что у исследователей отличается интуитивный подход или что даже цели какого-то определенного исследования определяются ими по-иному, сколько из способа определения ими взаимоотношений между индивидом и общностью, из их убеждений относительно роли и прав гражданина в публичной жизни, а более всего — из выражаемой ими *explicite* (открыто, ясно и без обиняков) или же молча предполагаемой роли государства и его взаимоотношений с разнообразными общественными группами, организованными и действующими в публичной зоне.

При самом простом определении **гражданское общество** — это вся совокупность негосударственных институтов, организаций и гражданских объединений, действующих в публичной сфере. Это структуры, относительно автономные по отношению к государству, возникающие снизу и характеризующиеся, как правило, добровольным участием своих членов.

Однако даже столь генерализованное определение не является общим знаменателем фигурирующих в литературе разнообразных трактовок данной проблемы. Некоторые из них включают в пределы указанного понятия еще и рынки (*Pérez-Díaz*, 1996: 15), существуют также подходы, в которых гражданское общество рассматривается как особая разновидность общественного пространства (*Colás*, 2002: 26), заполненного процессами невынужденного объединения людей, а также сеть связей между ними (*Walzer*, 1992, 89). Часто гражданское общество определяется просто как суммарная совокупность активных общественных действий в публичном пространстве, не контролируемом государством (*Bobbio*, 1997: 63). Наиболее развитое и широкое определение предложил Филипп Шмиттер: гражданское общество — это «комплекс или система самоорганизующихся промежуточных групп, которые: 1) относительно независимы как от публичных властей, так и от частных производственных и репродуктивных единиц, иначе говоря, от фирм и домашних хозяйств; 2) способны устанавливать и предпринимать коллективные действия для защиты или популяризации собственных интересов и ценностей; 3) не стремятся заменять государственные институты и частных производителей, а также не стараются взять на себя ответственность за управление всей публичной сферой; 4) соглашаются действовать в рамках ранее установленных „гражданских“ правил, требующих взаимного уважения» (*Schmitter*, 1997: 240). Обширность множества таких подходов не удается охватить и систематизировать в единых рамках, так что удовлетворимся как можно более тщательным описанием самого данного явления.

Для начала стоит позиционировать гражданское общество в более широком контексте всего того социального порядка или системы, где оно существует. Здесь полезно следующее разграничение, часто применяемое в эмпирических исследованиях. Вот что пишет Шацкий: «В трактовке исследователей-эмпириков гражданское общество — это преимущественно попросту то же самое, что и так называемый третий сектор, выделенный в результате

довольно тривиального рассуждения, исходной точкой которого является разделение на частных и публичных субъектов действия, а также на частные и публичные цели деятельности. Первый сектор — это рынок, где субъекты и цели частные; второй сектор — это правительство, где и субъекты, и цели являются публичными; третий сектор — это как раз и есть гражданское общество, где субъекты частные, тогда как цели — публичные; наконец, четвертый сектор — это коррупция, где дело обстоит ровно наоборот, поскольку действующие субъекты являются публичными, а их цели — частными» (*Szacki*, 1997: 54). Приведенная классификация требует нескольких пояснений. Прежде всего, не следует трактовать ее как нечто абсолютное. Сегодняшние общества характеризуются такой степенью сложности, а социальные системы (даже внутри семейства демократических систем) — такой разнородностью, что не найдется общества, которое бы точно отвечало приведенной выше классификации его секторов. Дело в том, что в первом секторе действуют не только частные субъекты, но и разнообразные правительственные ведомства или же предприятия, являющиеся собственностью государственного казначейства (т.е. государства). Второй сектор охватывает, естественно, не только правительство *sensu stricto* (в строгом смысле слова), но также государственную и муниципальную (связанную с органами местного самоуправления) администрацию. Частные субъекты в третьем секторе (как, впрочем, и в первом) понимаются как неправительственные субъекты, а точнее как субъекты, не входящие в состав второго сектора. И наконец, в четвертом секторе разные проявления коррупции выступают чаще всего во взаимоотношениях между публичными и частными субъектами. И, хотя обе стороны этих патологических взаимоотношений имеют в виду прежде всего частные цели, коррупция может также содействовать достижению некоторых «публичных» целей (например, укреплению активности какой-то политической партии, втайне питаемой фондами из коррупционных прибылей отдельных ее функционеров, которые действуют во втором секторе). Эти нюансы и оговорки подсказывают, что приведенную ранее классификацию секторов надлежит рассматривать скорее как веберовские идеальные типы, чем как строгое и точное описание общественной реальности.

Более обстоятельная концептуализация понятия «гражданское общество» будет осуществлена в несколько шагов. Сначала подвергнутся уточнению граничные (необходимые) условия

возникновения гражданского общества, поскольку от этих условий зависит не только то, появится ли пространство для функционирования гражданского общества, но также в значительной мере и то, какую форму оно принимает. Затем будут обсуждены факторы, склоняющие граждан к созданию структур гражданского общества или хотя бы только к вхождению в них. Другими словами, речь пойдет об идентификации факторов, побуждающих к гражданскому участию. Далее будет предпринята попытка позиционировать гражданское общество в социальном пространстве, а особенно уточнить взаимоотношения этого общества с государством и его аппаратом. Уточнению подвергнутся также функции, которые можно приписать разным проявлениям активности, предпринимаемым в рамках гражданского общества. Данная концептуализация относится к гражданскому обществу, которое формируется, а затем функционирует в рамках демократического национального государства. Ведь трудно себе представить существование гражданского общества без его самой существенной точки отсчета, иными словами без национального государства. Линц и Степан идут даже на шаг дальше, поскольку они трактуют существование государственности в качестве необходимого условия для появления демократии. Вот что пишут названные авторы: «Демократия — это форма осуществления власти государством. Таким образом, никакое современное гражданское общество не может быть демократически консолидированным, если оно не функционирует в рамках государства» (*Linz, Stepan, 1996: 7*). Следовательно, существование государства можно признать наиболее фундаментальным из необходимых граничных условий демократии и функционирующего в ней гражданского общества.

И здесь сразу появляется проблема, разрешение которой имеет существенные теоретические последствия. А именно речь идет о том, необходимо ли в процессе демократизации авторитарной системы появление вначале демократического государства, чтобы могло возникнуть гражданское общество, или же, напротив, необходимо появление возникающей снизу общественной силы (гражданского движения), составляющей гражданское протообщество, чтобы авторитарное государство могло превратиться в государство демократическое. Как отмечает Моравский (*Morawski, 1992: 101*), доктрина естественного права идет еще дальше, поскольку она предполагает возникновение разнообразных форм объединений прежде, чем появилось современное государство. Современ-

ное государство возникло не как сумма добровольных объединений, создаваемых снизу, а как вышестоящая структура, навязанная сверху тогдашними правителями, — структура, которая регулировала деятельность вышеуказанных добровольных объединений, но не затормозила их дальнейшего развития или репродукции. В такой перспективе и с такой точки зрения, утверждает Моравский, гражданское общество может рассматриваться как сущность, предшествующая возникновению современной государственности<sup>1</sup>.

В рамках первой перспективы демократизация национального государства представляет собой дело элит (а точнее — и властной элиты старой системы, и контрэлиты, появляющейся вследствие кризиса эффективности старой системы). В рамках второй перспективы данный процесс представляет собой следствие мобилизации масс, самоорганизующихся в общественное движение, которое стремится к возвращению социального пространства, ранее присвоенного и контролировавшегося авторитарным государством. Удачное обратное получение этого социального пространства является, в свою очередь, условием свободной институционализации разнообразных общественных сил, что в итоге ведет к возникновению {или, точнее, пробуждению} парализованного {до этого} гражданского общества.

Теоретически можно вычленил по меньшей мере три разновидности взаимоотношений между государством и гражданским обществом: 1) гражданское общество как противопоставление государства; 2) гражданское общество как дополнение государства; 3) государство как дополнение гражданского общества. Первый тип взаимоотношений обнаруживается особенно в таком процессе демократизации, который идет снизу, и касается прежде всего демократизации Центральной и Восточной Европы (*Bokajto*, 2001: 33). Об этом пойдет речь в дальнейшей части данной главы, но уже теперь следовало бы констатировать, что у этого типа взаимоотношений исторически довольно короткая жизнь, ибо он характерен для конечной стадии существования kloпящейся к упадку авторитарной системы и для начальной стадии возникновения демократического государства. Тем не менее отдельные авторы настаивают, что антагонистические взаимоотношения между

---

<sup>1</sup> Пожалуй, здесь было бы точнее «современного государства»; в таком значении слово «государственность» в русскоязычной научной литературе употребляется редко.

обществом и государством носят устойчивый характер, поскольку государство является сферой власти, которая может применять правомочное принуждение, тогда как гражданское общество опирается на принцип добровольного участия (*Bobbio, 1997: 64*).

Второй тип взаимоотношений с особой отчетливостью присутствует в республиканских, а иногда также в коммунитарных теоретических или даже идеологических подходах, где акцентируется польза для реализации общего блага, вытекающая из самоограничения гражданского общества теми областями коллективной жизни, где государство менее компетентно или менее эффективно. Третий тип взаимоотношений – близкий к либеральной точке зрения – формулируется, с одной стороны, с опорой на принцип минимального государства, а с другой – на принцип подсобной, вспомогательной роли государства (государство необходимо исключительно в тех сферах коллективной жизни, где самоорганизующееся гражданское общество менее эффективно или менее компетентно). И если в первом случае мы сталкиваемся с антагонистическими отношениями между государством и гражданским обществом, то в остальных двух случаях имеем дело с взаимоотношениями неантагонистическими, опирающимися на сотрудничество, взаимное дополнение и относительно гармоничное сосуществование.

В рамках государственного бытия можно выделить три необходимых граничных условия, соблюдение которых позволяет ожидать появления гражданского общества: 1) существование публичного пространства, допускающего свободную институционализацию общественных сил; 2) существование общественной коммуникации<sup>1</sup>, не находящейся под контролем государства; 3) существование рынка, на котором совершаются трансакции по обмену ценностями и услуг наряду с защитой частной собственности.

Если публичное пространство недоступно для свободной институционализации общественных сил, поскольку оно полностью контролируется недемократическим государством, то в таком случае невозможно появление автономных от государства организаций и объединений, составляющих институциональное выражение гражданского общества. В подобной ситуации, с одной стороны, в указанном пространстве возникают квазигражданские

---

<sup>1</sup> В русскоязычной литературе в таком контексте чаще принято говорить о публичной коммуникации.

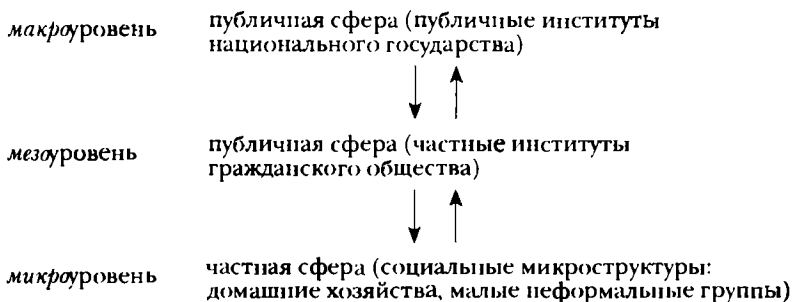


организации и объединения, контролируемые государством и, как правило, им же призываемые к жизни, а с другой стороны, появляются разнообразные неформальные контркультурные и диссидентские группировки, функционирующие, правда, вне публичного пространства (которое контролируется государством), но заходящие уже дальше уровня социальных микроструктур (первичных групп) и находящие свои разрозненные социальные ниши.

Общественная (публичная) коммуникация служит для определения и согласования групповых интересов, а также для согласования общих ценностей и целей деятельности различных социальных групп, вследствие чего у них появляется возможность институционализации. Она служит также инструментом привлечения и мобилизации сторонников, рассеянных на микроструктурном уровне (семья и неформальные группы).

Наконец, автономные от государства рынки вместе с защитой частной собственности обеспечивают независимые от государства экономические основы деятельности различных структур гражданского общества. Если мы имеем дело с законченной порядительно-распределительной экономикой (как это имело место в большинстве государств бывшего советского блока, а сегодня встречается, например, в Северной Корее и на Кубе), то в публичном пространстве вместо гражданских установок доминируют клиентелистские установки по отношению к тому основополагающему патрону, каким является государство, полностью контролирующее экономические ресурсы и их перераспределение.

Гражданское общество заполняет то социальное пространство, которое простирается между уровнем государства и стихией домашних хозяйств. Все социальное пространство состоит из трех уровней, что в графической форме представлено на рис. 4.



**Рис. 4.** Расположение гражданского общества в социальном пространстве

Гражданское общество располагается на промежуточном уровне, а одной из его основных функций является **медиация** (посредничество) между уровнем государства и стихией домашних хозяйств<sup>1</sup>. В рамках этой посреднической функции гражданское общество выполняет целый ряд конкретных функций. Здесь нужно упомянуть следующие функции: 1) **артикуляционную**; 2) **интеграционную**; 3) **образовательную**<sup>2</sup>. Если рассматривать данный вопрос более строго и точно, то перечисленные конкретные функции не являются функциями гражданского общества как целого, а выполняются в разной степени отдельными организованными структурами, действующими в его пределах. Ведь гражданское общество, если прибегнуть к формулировке Уолцера (*Walzer*, 1992: 98), представляет собой «структуру структур: все они включены в него, никакой не отдается предпочтение» в выполнении медиационной функции между микросоциальным уровнем и уровнем макросоциальным.

**Артикуляционная** функция названных «структур» заключается в агрегировании разнообразных устремлений, целей, интересов, потребностей и ценностей, рассредоточенных на микроструктурном уровне, в нечто более крупное и цельное и далее – в их репрезентировании (представлении) как перед структурами государства, так и перед общественным мнением.

<sup>1</sup> Норберто Боббио иначе видит взаимоотношения между государством и гражданским обществом. По его мнению, именно государство выполняет медиационную функцию для плюралистического гражданского общества, ибо в пространстве этого последнего проявляются экономические, социальные, идеологические и религиозные конфликты, а задача государственных институтов состоит в поддержании спокойствия и порядка путем посредничества в конфликтах, их предотвращении или же их подавления (*Bobbio*, 1997: 66). Подобная трактовка не кажется верной. В реальном опыте не только государств, переходящих к демократии, но и консолидированных демократий мы чаще наблюдаем конфликты на оси государство – разнообразные институты гражданского общества, чем конфликты между отдельными конкретными организациями гражданского общества, в которых государство могло бы играть роль арбитра. Кроме того, позиция Боббио еще и непоследовательна, поскольку если взаимоотношения между государством и гражданским обществом носят устойчиво антагонистический характер, то медиационная функция государства должна оспариваться антагонистически настроенными структурами гражданского общества. — *Авт.*

<sup>2</sup> Автор употребляет словосочетание *edukacyjna funkcja* в значении, близком к понятию «функция социализации». Это связано с тем, что польское слово *edukacja* означает и воспитание, и образование, и обучение.

**Интеграционная** функция «цивильных структур» заключается в сосредоточении своих сторонников вокруг агрегированных и публично заявленных целей, интересов, устремлений и ценностей, а также в мобилизации этих сторонников для участия в организованных формах коллективной деятельности в публичной сфере или же хотя бы только в мобилизации для поддержки усилий определенной организации или объединения.

**Образовательная** функция «цивильных структур» имеет двойственную природу. Во-первых, она заключается в воспитании и формировании у членов этих структур гражданских установок и добродетелей, в интернализации, т.е. усвоении и привитии, демократических правил игры (процедур), регулирующих активность в публичном пространстве или навыки участия в публичной жизни, а тем самым — проведения в жизнь тех прерогатив, которые вытекают из гражданского статуса. Это является необычайно существенным процессом обучения демократии через действие, что способствует улучшению качества политической культуры. Во-вторых, путем придания публичного характера своим целям, интересам, устремлениям и ценностям, а также путем включения в публичный дискурс цивильных структур общественное мнение наделяется чувствительностью к вопросам, которые в ином случае могли бы не присутствовать в этом дискурсе и, как следствие, оставаться никак не замеченными ни общественным мнением, ни политиками.

Здесь стоит добавить — вслед за Славомиром Наленчем (Sławomir Nałęcz) — еще одну функцию гражданского общества, а именно функцию самопомощи или обслуживания (оказания услуг), представляющую собой главную цель деятельности многих цивильных неправительственных организаций и оправдание самого их существования. Обслуживающая функция — это оказание организованных снизу социальных услуг, тип и способ предоставления которых выходят за рамки ограничений, которым подчиняются коммерческие учреждения или публичная администрация (Nałęcz, 2004: 22). Упомянутые выше функции типичны для всех гражданских обществ, но интенсивность, с которой они выполняются, а также их социальный диапазон воздействия зависят, с одной стороны, от типа общественной системы, в которой функционирует определенное гражданское общество, от степени ее демократизации и либерализации, а с другой стороны, от уровня цивильной культуры определенного общества. Эта зависимость особенно отчетливо видна в тех странах Центральной

и Восточной Европы, которые совсем недавно перешли от недемократической системы к демократии, где чувство гражданства, социальной и политической субъектности существует еще недолго, а гражданская культура находится пока лишь *in statu nascendi* (в процессе зарождения).

### Специфика гражданского общества в Центральной и Восточной Европе

Многие авторы обращают внимание на некоторую корреляцию между падением коммунизма в Центральной и Восточной Европе и возрождением интереса к гражданскому обществу на Западе. Наверное, такая корреляция отнюдь не случайна, потому что свержение коммунизма произошло ярким, зрелищным, хотя, в принципе, и бескровным способом, причем участие гражданского общества (точнее, зачатков гражданского общества в его сегодняшнем понимании) сыграло в этом процессе значимую роль, а в некоторых странах указанного региона (например, в Польше) — даже решающую (Linz, Stepan, 1996: 255).

Гражданское общество в Центральной и Восточной Европе возникало в оппозиции к коммунистическому государству, но вместе с тем — по крайней мере, на начальной стадии возникновения — заключало в себе очень сильный этический компонент. Первое обстоятельство оказало воздействие на форму этого общества и на его взаимоотношения с государством (скорее взаимное недоверие, нежели гармоничное сотрудничество), отголоски чего наблюдаются даже сегодня, а вот второе повлияло, как представляется, на вновь появившийся на Западе интерес к проблематике гражданского общества. Этическая модель гражданского общества сложилась в некоем особенном общественно-политическом контексте, который был общим для всех стран тогдашнего советского блока. Появлявшиеся в нескольких из этих стран диссидентские группы, количественно ограниченные и состоявшие главным образом из интеллигенции и интеллектуалов, отказывались от гражданского повиновения правящему коммунистическому режиму в первую очередь по моральным причинам, а не по политическим. Вот как пишет Шацкий: «Диссидентство не противопоставляло коммунизму другую политику, а старалось установить другую мораль, другой взгляд на мир, другой образ жизни» (Szacki, 1994: 96). Концепция антиполитической альтернативы для коммунистической системы,

присутствующая в сочинениях Вацлава Гавела (*Havel*, 1988a) или Дьердя Конрада (*Konrad*, 1984), касалась не столько создания политической программы построения демократического строя, конкурентоспособной по сравнению с политикой коммунистических властных элит, и даже не идеологии, которая послужила бы альтернативой для марксистско-ленинской идеологии (*Murawski*, 1999: 59). Она стремилась проникнуть глубже, оперировала на уровне индивидуальных экзистенциальных дилемм: как оставаться свободным и порядочным человеком в давящем, угнетающем и лживом коммунистическом режиме или шире — в авторитарном режиме. Вот что пишет на сей счет Шацкий: «Антиполитика не означала нейтральности в политических делах. Означала только взгляд, что здесь и сейчас основная территория борьбы с коммунизмом состоит не в том, кто должен осуществлять власть и какой эта власть должна быть, а то, каким образом должны вести себя люди, которые подчиняются скверной власти и пока не в состоянии ее изменить» (*Szacki*, 1994: 100). Следовательно, концепция антиполитики в качестве нормативного легитимирующего основания для гражданского неповиновения восточноевропейских диссидентов вытекала, помимо всего прочего, из реалистического — как тогда казалось — убеждения, что при тогдашнем распределении сил в мире нет рациональных предпосылок, позволяющих ожидать скорого падения коммунистической системы, а также и из более общего интуитивного мнения, что в любой политической системе ключ к созданию дружелюбного общества лежит в установках и формах поведения людей, а точнее в том наборе моральных норм, которые люди были бы склонны признавать обязательными для своего поведения даже в том случае, если бы это могло быть рискованным. И диссиденты собственной жизнью давали зримое свидетельство того, что такие нравственные установки возможны.

Антиполитика как позиция и установка, которая была оригинальным изобретением восточноевропейской политической мысли и являлась предметом оживленного обсуждения в контрэлитах этого региона, понималась по-разному. В наиболее радикальной версии она имела несколько анархистское звучание, поскольку это была критика власти как таковой, невзирая на ее окраску или способ реализации. Однако подобное течение мыслей не являлось доминирующим. Чаще в рамках данного течения можно было найти критику власти государства, а особенно авторитарного государства, критику вхождения в структуры такого государства или,

наконец, критику международных политических блоков, разделяющих мир на сферы влияния. Антиполитика понималась также как относительно наиболее рациональная тактика борьбы с давлением коммунистического государства, которое в те времена казалось ультрастабильным элементом конструкции послевоенного европейского и мирового порядка (Jørgensen, 1992: 42). Кстати говоря, Вацлав Гавел, чьи эссе более всего поспособствовали популяризации данного понятия, не исключал политику из этого пространства, формулируя парадоксальное понятие «антиполитической политики», означающее такую политику, которая не сводится ни к технологии власти и манипулирования, ни к обретению господства над другими людьми, а представляет собой один из способов поиска и достижения осмысленных жизненных целей и, кроме того, помогает подобным исканиям, служит им и защищает их (Havel, 1988b).

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что концепция антиполитики была светской альтернативой для теологических изысканий католической церкви, которая в своем учении издавна делала упор на формирование у человека нравственного чувства. Постоянным элементом этого учения была (и есть) проблема пробуждения индивидуальной чувствительности человеческой совести, несогласие на зло и отказ от «плохих» средств, ведущих к «хорошей» цели (в том числе отказ от насилия, мести и ненависти). Поэтому нет ничего удивительного в том, что на почве концепции антиполитики произошла встреча христианских церквей (а особенно католической церкви) и светских групп диссидентов, хотя ранее эти две группировки не питали особого доверия друг к другу. Указанное явление присутствовало во многих странах Центральной и Восточной Европы (например, в бывшей ГДР, в Словакии и Венгрии), но сильнее всего оно проявилось в Польше.

Теперь я уделю несколько больше места формированию гражданского общества в Польше, причем не ввиду своего скрытого полоноцентризма, а потому, что польский опыт, накопленный в этой области, использовался контрэлитами других стран данного региона в 1989 году и позже, а также по той причине, что, как отмечают западные теоретики (Jørgensen, 1992), «Польша была особенно ярким примером дихотомии „гражданское общество против государства“, причем это противостояние имело глубокие культурные корни в длительной борьбе польского народа против государственной власти, которая контролировалась иностранными

державами», а «этическое гражданское общество»<sup>1</sup> было, вне сомнения, одним из наиболее эффективных и инновационных изобретений польской оппозиции и, как следствие, польской дороги к демократии (*Linz, Stepan, 1996: 270–271*).

В Польше формирование гражданского протообщества началось на целое десятилетие раньше, нежели в остальных странах Центральной и Восточной Европы. При этом, кстати, развитие зачатков гражданского общества наложило отчетливый отпечаток на способ определения его функций, а прежде всего на его взаимоотношения с государственными структурами. Если принять, что началом создания гражданского общества в странах бывшего советского блока стало возникновение диссидентских движений, то нужно констатировать, что уже в 70-х годах минувшего столетия появились – особенно на окраинах советской империи – такие неформальные структуры, которые послужили закваской последующей эрозии всей этой системы. Ведь гибель советской системы началась от ее периферии, а особенно от Польши, от тогдашней Чехословакии и в меньшей степени от Венгрии. Правда, и в самом Советском Союзе существовали тогда диссидентские движения, но, во-первых, они имели очень ограниченный диапазон общественного воздействия, а во-вторых, были раздавлены властями брежневской России еще в 70-х годах и не сумели создать такую контрэлиту, которая смогла бы мобилизовать массы на коллективные действия. В тогдашней Чехословакии, где возникла «Хартия 77», а также в Венгрии диссидентские движения хотя и выжили, но, однако, не вызвали сколько-нибудь широкого общественного резонанса. По сути дела, они были слишком слабы, чтобы запустить процесс перехода к демократии без существенного изменения внешнего контекста. На этом основании Агнес Хорват и Арпад Сакольцаи формулируют уже приводившийся в предыдущей главе спорный тезис о том, что конец коммунистической системы был вызван не столько мобилизацией общества, сколько именно полной общественной демобилизацией. Они пишут: «Можно сказать, что до тех пор, пока популяция<sup>2</sup> позволяла себя мобилизо-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду скорее «этическая модель гражданского общества», о которой пойдет речь ниже.

<sup>2</sup> И здесь, и в некоторых других местах дашной книги ее автор порой использует именно этот «биологический» термин, а не, казалось бы, естественное понятие «население». Можно рассматривать это как следующий

вать, коммунисты были в состоянии организовать эффективную контрмобилизацию. А вот когда все возможности мобилизации и контрмобилизации исчерпались, система потеряла всякую способность к функционированию. Быть может, именно здесь лежит объяснение того факта, почему падению старой системы сопутствовал столь ничтожный энтузиазм» (Horvát, Szakolczai, 1992: 28). Однако данный тезис не объясняет возникновения гражданского общества в Польше, ибо здесь развитие событий пошло иным путем. В Польше массовая общественная мобилизация потрясла все основы старой системы, а грубые и сильнодействующие репрессивные меры последней (во главе с введением военного положения) не сумели погасить эту мобилизацию, хотя, естественно, ограничили сферу ее действия.

Есть смысл проследить этапы возникновения гражданского общества в Польше, поскольку они послужили своего рода образцом, эталоном для других стран данного региона, а особенно для Венгрии, Чехии и Словакии, где общество было погружено в апатию и пассивность. Кроме того, они в большой мере, с одной стороны, задали способ определения функций гражданского общества в регионе (в оппозиции к государству), а с другой — повлияли на формирование всего хода демократизации и вместе с ней пробуждения истинного гражданского общества.

Первым этапом, ограниченным в своих проявлениях, по сути дела, узкими элитами, был моральный протест против системы, а точнее моральный протест против того, что коммунистическая система нарушала даже те правила, которые сама же установила. На этой почве родился ревизионизм, а также поиск формулы «социализма с человеческим лицом». В Польше ревизионизм привел в октябре 1956 года к окончательному завершению сталинского периода<sup>1</sup>, а в Венгрии — кстати говоря, под воздействием событий

---

шаг во встречающемся (в том числе и на территории СНГ) противопоставлении народа, общества и населения. Кроме того, в польской социологической литературе термин «популяция» широко используется применительно к описанию численности какой-то группы населения.

<sup>1</sup> Тогда в результате массовых выступлений, ставших кульминацией политических, социальных и экономических перемен, связанных с крахом польской диктатуры после смерти Сталина (1953), к руководству партией и страной после драматических, а порой и кровавых событий вместо рьяного сталинского прихвостня Болеслава Бернацкого пришел опальный на тот момент и незадолго перед этим выпущенный из тюрьмы Владислав



в Польше — к национальному восстанию, кроваво подавленному военной интервенцией СССР<sup>1</sup>. В Чехословакии ревизионизм партийных реформаторов, возглавляемых Александром Дубчеком, привел в 1968 году к Пражской весне и интервенции армий Варшавского пакта в рамках доктрины Брежнева<sup>2</sup>. В Польше в 1968 году бунт интеллигенции и студентов<sup>3</sup>, а в 1970 году — рабочих

---

Гомулка. Он получил в обществе широкую поддержку, в том числе на массовом митинге 24 октября 1956 года в столице, где Гомулка обещал перемены во всех сферах общественной жизни, и стал поначалу проводить политику определенной либерализации, после чего в стране наступила политическая оттепель, частично начавшаяся еще раньше.

<sup>1</sup> Началом этих событий послужили происходившие с середины октября 1956 года выступления венгерских студентов в поддержку Гомулки и перемен в Польше; они требовали аналогичных реформ в своей стране и в значительной степени вдохновлялись событиями в Польше, особенно Познанским бунтом конца июня 1956 года (там погибло около 60 человек, а почти 500 было ранено; далее в этой книге о Познанском июне, как и о других этапных событиях в истории Польши, будет говориться подробнее).

<sup>2</sup> Доктрина Леонида Брежнева (1906—1982) — принцип, сформулированный в 1968 году после агрессии СССР против Чехословакии и устанавливающий, что СССР имеет право вмешиваться вооруженным путем в жизнь каждой из стран советского блока и вставать на защиту коммунистической системы, если сочтет, что этой системе угрожают внутренние или внешние силы; указанная доктрина узаконивала идеологически ограниченный суверенитет стран советского блока. Данный принцип был в середине 80-х годов на практике отвергнут М.С. Горбачевым в рамках политики перестройки и гласности, либерализовавшей советский вариант коммунистической системы. — *Авт.*

<sup>3</sup> Имеется в виду так называемый Март-1968 — так именуют в Польше политический кризис, начало которому положили студенческие протесты, а также политические инициативы в руководстве ПОРП. В студенческих волнениях, которые в основном сосредоточились в Варшавском университете, власти и лично Гомулка официально обвинили местных евреев. В итоге агрессивные действия властей против митингующих сочетались с репрессиями по отношению к евреям и полякам еврейского или частично еврейского происхождения, на которых голословно навесили обвинения в подкуживании студентов. Результатом этого стала «антисионистская» (а фактически антисемитская) кампания, в ходе которой подавляющее большинство из числа 25–30 тыс. лиц еврейского происхождения, сохранившихся в Польше после Холокоста и усиленной эмиграции евреев из-за послевоенных преследований и погромов (она шла главным образом в Палестину и в только что созданный Израиль), было выдвинуто из страны и уехало на Запад (главным образом, в Европу и Северную Америку); осталось, по разным оценкам, 6–8 тыс. человек.

Побережья<sup>1</sup> привели к дворцовому перевороту в верхушке коммунистической власти и к некоторой либерализации действующих правил. Что же касается очередного мятежа польских рабочих в 1976 году, то он поспособствовал возникновению явных диссидентских групп во главе с Комитетом защиты рабочих, которые составляли зачаток последующих гражданских движений<sup>2</sup>. Примерно в то же время и в Чехословакии возникла диссидентская группировка «Хартия 77». Это еще не было вхождением в начальную стадию демократизации коммунистической системы, но все пере-

---

<sup>1</sup> Подразумевается так называемый Декабрь-1970; в польском политическом словаре это наименование носит декабрьский рабочий бунт 1970 года — стихийные забастовки, митинги и уличные демонстрации в городах балтийского побережья. Он вытекал из нараставшего экономического и политического кризиса, а непосредственной его причиной явилось объявленное 13 декабря 1970 года повышение цен на продовольственные товары. На следующий день на Гданьской судовой верфи началась забастовка, которая быстро распространилась на другие предприятия и переросла в многотысячную уличную демонстрацию. 14–15 декабря ее участники атаковали и подожгли здание воеводского комитета ПОРП и другие административные здания, шли столкновения манифестантов с отрядами милиции. Тогдашнее руководство ПОРП (В. Гомулка) приняло решение об использовании милицией огнестрельного оружия и о вводе в город регулярных войск (всего на Побережье действовало около 25 тыс. солдат, а также 1300 танков и БТР). По официальным источникам, погибли 45 человек, 1165 были ранены, арестовали около 3000 человек. Повышение цен в итоге изменили, а во властях ПОРП и государства произошли персональные изменения: вместо Гомулки первым секретарем ЦК стал Эдвард Герек, а новым премьером — Петр Ярошевич.

<sup>2</sup> 25 июня 1976 года в Польше прошли уличные демонстрации, в Радоме сожгли здание воеводского комитета ПОРП и шли сражения демонстрантов с милицией, а на окраине Варшавы, в районе под названием Урсус, где расположен одноименный тракторный завод, рабочие блокировали железную дорогу. Были арестованы тысячи людей (часто случайных), главным образом в Радоме, которых затем приговаривали к заключению и штрафам, а также увольняли с волчьим билетом. Юридическую и финансовую помощь репрессированным оказали представители оппозиционной интеллигенции. Их совместные действия ускорили создание оппозиционных организаций: Комитета защиты рабочих (в сентябре 1976 года), а также «Движения в защиту прав человека и гражданина» (в 1977 году), деятельность которых способствовала тому, что в феврале 1977 году большинство осужденных были помилованы, а еще через пару лет родилась «Солидарность». В дальнейшем тексте книги все упомянутые здесь события будут рассмотрены более подробно.

численные события привели диссидентские элиты к тому, что они открыли для себя моральное измерение гражданства. В результате появились плоды всего этого, в частности концепция «этической модели гражданского общества» как реакции элит (главным образом интеллектуальных) на несправедливости системы.

Однако основной импульс развитию гражданского общества в советском блоке дал первый визит Иоанна Павла II в Польшу в 1979 году. Если не затрагивать его религиозные аспекты, этот визит поколебал два базовых устоя коммунистической системы: 1) социальную изоляцию; 2) контроль коммунистического государства над публичным дискурсом. Вдобавок к этому визит папы римского стал существенным опытом в деле идущей снизу общественной самоорганизации — опытом, который был уделом десятков тысяч людей.

Социальная изоляция могла эффективно поддерживаться благодаря тому, что промежуточный уровень между стихией первичных групп и макросоциальным уровнем полностью контролировался государством и подчинялся ему, а посему социальная коммуникация, выходящая за пределы уровня микроструктур, могла осуществляться исключительно через посредство институтов, контролируемых государством. В психологическом измерении это создавало повсеместное впечатление, что «все» — и уж в любом случае все, с кем индивид общался и взаимодействовал на промежуточном уровне, — демонстрируют такие установки и варианты поведения, которые находятся в соответствии с официальной идеологией государства. Дополняли это впечатление последствия всепроникающих действий цензуры, исключая из публичного дискурса определенные сюжеты и понятия (например, свободу, гражданские права, плюрализм мнений). В итоге социальное пространство индивида, не находящееся под контролем государства, ограничивалось семьей, кругом надежных, проверенных друзей и, возможно, приходских общин. Это было пространство частной жизни, которое имело довольно зыбкие связи с публичной жизнью, контролируемой коммунистическим государством (*Wnuk-Lipiński, 1987*).

Общественная реальность дихотомически делилась в ту пору на две категории: «мы» и «они». Категория «мы», принадлежащая к частной сфере, охватывала людей, достойных доверия, а взаимоотношения внутри нее носили персональный характер и опирались на сотрудничество и принцип взаимности. В то же время

категория «они», относимая ко всей публичной сфере, охватывала людей, взаимоотношения с которыми происходили посредством подконтрольных государству институтов, причем эти взаимоотношения носили в общем и целом антагонистический характер, будучи ритуализированными в соответствии с требованиями действующей обязательной идеологии и характеризуюсь низким уровнем доверия и взаимности. В индивидуальном восприятии категория «мы» охватывала малые, зато многочисленные взаимно изолированные неформальные группы, тогда как категория «они» означала целиком весь остальной социальный контекст.

Первый визит Иоанна Павла II серьезно нарушил указанную конструкцию. Ведь оказалось, что пространство, не контролируемое коммунистическим государством, неожиданно и резко расширилось, охватив огромные совокупности людей. Благодаря массовому участию во встречах с папой римским люди, «думающие аналогичным образом», подсчитали друг друга и с изумлением открыли, что на самом деле их очень много. Категория «мы» невообразимо расширилась, тогда как категория «они» пропорционально уменьшилась и стала далеко не столь грозной. Кроме того, язык, которым говорил папа римский, ранее не дозволялся в публичном пространстве, а впоследствии — на начальной стадии демократизации — он стал готовым образцом социальной коммуникации, альтернативой по сравнению с тем дискурсом, который ранее доминировал в публичном пространстве.

И наконец, первый визит Иоанна Павла II в Польшу оказался огромным организационным мероприятием, которое было реализовано добровольческими усилиями десятков тысяч волонтеров, причем с хорошим результатом. Это был ресурс, который без малого год спустя был использован как элитами, так и массами для создания «Солидарности» — почти десятиmillionного общественного движения, которое в результате идущей снизу общественной самоорганизации возникло и институционализировалось в течение нескольких недель. Началась первоначальная стадия перехода к демократии, которой в Польше предстояло продолжаться примерно 10 лет. На этой стадии появилось гражданское протообщество, ставшее, во-первых, территорией массового демократического и гражданского воспитания и образования и, во-вторых, пространством, где доминировали горизонтальные взаимоотношения, а социальная коммуникация, уже не стесненная превентивной цензурой, радикально обогатила публичный

дискурс такими ценностями, которые ранее в нем отсутствовали, и перешагнула через классовые барьеры. Была подготовлена социальная почва для возникновения автономного от государства гражданского общества.

В результате можно было наблюдать постепенную эволюцию позиций и установок людей в публичной жизни — от клиентелистских (характерных для предыдущей системы и, вообще говоря, для всякой централизованно планируемой экономики) к гражданским. Этот процесс удавалось заметить не только среди интеллигенции, но также среди рабочих и крестьянства. Свидетельства указанной эволюции психологических установок можно было заметить уже во время забастовок в августе 1980 года, из которых родилась и точно из-под земли на поверхность вынырнула «Солидарность». Первые репортажи с Гданьской судовой верфи (в частности, авторства Рышарда Капусциньского) акцентировали проблему человеческого достоинства, которое возвращали себе участники этого массового протеста. В социологических категориях указанное явление можно было интерпретировать как возвращение чувства социальной субъектности — чувства, которое служит основанием для функционирования в роли гражданина демократического государства. И поскольку установки такого типа в быстром темпе распространялись как территориально, так и структурально, то естественным их последствием стало включение людей — пусть даже всего лишь путем символического членства — в движение, которое эту возвращенную социальную субъектность символизировало, но вместе с тем составляло ее институциональное выражение. Таким движением была «Солидарность», число членов которой в течение нескольких недель сентября и октября 1980 года достигло уровня, близкого к 10 миллионам. Тем самым о своем присоединении к «Солидарности» заявило подавляющее большинство профессионально активных лиц из всех регионов страны и из всех социально-профессиональных категорий, за исключением армии и милиции (надо помнить, что формально «Солидарность» была профессиональным союзом и, следовательно, могла объединять только лиц, которые являлись наемными работниками). Впрочем, даже в тогдашней милиции возник независимый самоуправляемый профсоюз, объединяющий определенную часть ее сотрудников, причем как носивших мундир, так и штатских, что тем отчетливее свидетельствует о массовости описываемого явления.

После введения военного положения 13 декабря 1981 года произошла значимая и весьма знаменательная эволюция в концепциях гражданского общества — от этической модели к параллельному обществу. «Солидарность» была, правда, лишена легального статуса и вытолкнута из занимавшегося ею ранее публичного пространства, но не прекратила своей деятельности, хотя функционировала отчасти в подполье, а отчасти под защитным зонтиком католической церкви, которая в тот период исполняла роль заменителя гражданского общества. Концепция «параллельного общества» была, естественно, утопической, но живым оставался опыт возвращенной социальной субъектности, а также этическая модель гражданского общества (поддерживаемая, кроме всего, социальным учением Иоанна Павла II и церкви в Польше), что не позволило властям военного положения осуществить нормализацию в стиле Гусака после Пражской весны, хотя средства, примененные режимом Ярузельского, были даже более грубыми и сильнодействующими (милитаризация заводов и фабрик, массовые интернирования и аресты, развешанные повсюду объявления о розыске лидеров «Солидарности», а также привлечение наемных громил и тайные убийства из-за угла). Процесс превращения клиентов всемогущего государства в граждан, ценящих свою субъектность в общественной жизни, не удалось повернуть вспять — самое большее, его несколько притормозили.

Коммунистическое государство было уже не в состоянии мобилизовать людей недемократическим способом, что в сочетании с крайне непродуктивной экономикой углубляло и усугубляло и без того мучительный кризис, превращая его в хронический. Но, с другой стороны, военное положение все-таки затормозило (однако не остановило) развитие гражданского общества

Тем временем в СССР наступила эра Горбачева, что создало благоприятный внешний контекст для появления в польской коммунистической партии реформаторских концепций, предполагающих включение запрещенной «Солидарности» в процесс «ремонта», исправления государства и экономики. Дорога к Круглому столу, за которым встретились представители коммунистической власти и демократической оппозиции, была открыта. Тем самым закончился период «аполитичной политики», а представители солидарностной оппозиции вступили в реальную политику. Однако в период формирования гражданского общества

в мышлении контрэлиты по-прежнему продолжал доминировать этос<sup>1</sup> «антиполитики». Угасать он начал по мере открытого проявления внутри контрэлиты дифференцированных политических интересов, а его решительный конец в отдельных странах можно датировать первыми после падения коммунизма полностью свободными и конкурентными выборами.

Если контрэлиту и поддерживающие ее массы мы признаём гражданским протообществом, то плюрализация этого конгломерата была лишь вопросом времени. Ведь цементирующей субстанцией для разнообразных социальных сил и зачатков их институционализации служил протест против того общего противника, каким была старая властная элита, а шире — коммунистическая система. Когда после 1989 года коммунисты потеряли власть, мы имели дело с запуском сразу трех процессов, неимоверно существенных для формы польского гражданского общества. Во-первых, это была плюрализация протестного движения, иными словами тогдашней «Солидарности». Во-вторых, частичная демобилизация членов этого движения. В-третьих, был начат процесс институционализации разнообразных социальных сил и гражданских инициатив на промежуточном уровне.

Начало разделению «Солидарности» было положено соперничеством двух «солидарностных» кандидатов на первых всеобщих президентских выборах в ноябре 1990 года (Леха Валенсы и Тадеуша Мазовецкого), хотя роспуск Польской объединенной рабочей партии (ПОРП, {фактически — коммунистической партии}) в январе того же года устранил политического противника, который служил для «Солидарности» связующим, цементирующим веществом и уже тогда в объединенном до сих пор движении стали нарастать проявления напряженности и идейные противоречия. «Солидарность», как движение протеста, черпала свою динамику, а также идентичность из того, что противопоставляла себя противнику. Когда того не стало и когда из стадии протеста и отрицания указанное движение должно было войти в стадию предложения и реализации позитивных решений для жгучих политических, социальных и хозяйственно-экономических проблем страны, существовавшие в «Солидарности» идейные различия

---

<sup>1</sup> Этос (греч. обычай) — вся совокупность признанных и усвоенных данным сообществом норм и устойчивых нравственных императивов, которые регулируют поведение его членов.

(а также борьба за власть между многообразными объединениями внутри солидарностного лагеря), которые находились до сих пор на втором плане, выдвинулись вперед и привели к распаду этой организации. Парадоксально — распад «Солидарности» открыл дорогу к плюрализации гражданского общества, определяющего свою идентичность уже не в соотношении с прежней системой, а в конкретных взаимоотношениях с теми идейными целями или групповыми интересами, стремление к которым стало возможным в новой общественной и политической реальности.

Отход какой-то части отобюрокразированных масс вновь в частную сферу был связан с быстро нарастающим разочарованием наблюдавшимся ходом радикальных изменений, особенно с ощущением угрозы, исходящей со стороны новых, еще недостаточно усвоенных правил игры. Это разочарование усилилось тем, что целые социальные категории (например, квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий, соорудившихся в свое время не по рыночным, а по политическим критериям) оказались среди структурных жертв системных преобразований, а особенно рыночных реформ. Это, однако, не означает, что общественная демобилизация носила всеобщий характер, так как значительная часть людей, которые были активными в 80-х годах, и сейчас сохранила активность в публичной сфере, создавая структуры гражданского общества. Пропорция между отступавшими в частную сферу и, напротив, сохранявшими активность в публичной сфере, разумеется, небезразлична с точки зрения формирующегося гражданского общества: чем сильнее демобилизация масс на этой стадии, тем слабее гражданское общество и тем более ограниченным является процесс преобразования клиентелистских установок, типичных для старой системы, в гражданские установки, которые оказывают решающее воздействие на качество формирующейся демократической системы.

### **Спор о гражданском обществе: либеральная и республиканская точки зрения**

Спор между либерализмом и республиканизмом (а в значительной мере еще и коммунитарными концепциями) по вопросу о гражданском обществе и о позиционировании в нем человеческой личности остается нерешенным — а вероятно, и вообще не поддается решению. По сути дела, эти две разные точки зрения не уда-



ется привести к общему знаменателю, ибо их фундаментальные онтологические и эпистемологические предпосылки<sup>1</sup> качественно различаются.

Несовпадение онтологических предпосылок касается статуса таких сущностей, как индивид и общность. Адам Селигман говорит: «Либеральная теория... рассматривает общество как объединение морально автономных индивидов, каждый из которых обладает собственной концепцией хорошей жизни, причем функция общества ограничивается обеспечением равенства этих индивидов перед законом через посредство согласующегося с правилами и справедливого процесса демократического принятия решений в публичной сфере. <...> В противоположность этому республиканская концепция гражданства исходит из трактовки общества как стремящейся к общему благу моральной общности, онтологический статус которой первичен по отношению к отдельным ее членам» (*Seligman*, 1997: 189–190). В коммунитарной трактовке индивид представляет собой «продукт» взаимоотношений с общностью; при этом без социализации, без усвоения для себя моральных норм, распоряжений, указаний и запретов, без языка, или – шире – без культуры, индивид не мог бы являться в полной мере человеком и оказался бы сведенным к своему биологическому остатку. А носителем этих социальных компонентов человечности является человеческая общность – точнее, та группа или группы, к которым принадлежит данный индивид и которые приспособливают его к жизни в окружении других людей. Сторонники республиканских концепций добавляют, что общее благо является не простой суммой целей и устремлений разных членов общности, а своеобразной «прибавочной стоимостью», тем фактором, принятие которого во внимание в индивидуальных расчетах делает возможным гармоничное функционирование человеческой общности.

Тем временем для либерализма исходной точкой является автономная человеческая личность, которая, во-первых, наделена – как это трактует Джон Ролз (*Rawls*, 1998: 66) – «нравственной властью обладания какой-нибудь концепцией блага» и признает такое же право за другими индивидами; во-вторых, на почве собственной концепции блага она может выдвигать правомочные требования в адрес общественных институтов и стремиться

---

<sup>1</sup> Онтология – учение о бытии, эпистемология – теория познания.

к проведению в жизнь своей собственной концепции блага; в-третьих, личность способна брать на себя ответственность за собственные цели и устремления и в том числе способна ограничивать или модифицировать их в соответствии «с идеей справедливых условий сотрудничества и с идеей рациональной пользы, или блага каждого участника» (Rawls, 1998: 72). Только свободные личности могут удовлетворять этим условиям. Таким образом, демократическое общество представляет собой собрание автономных индивидов, наделенных нравственным чувством, а также способных к рациональным суждениям о социальной реальности. Эти индивиды являются законным источником обобщенных на социальном уровне норм и принципов справедливости, в соответствии с которыми они ориентируют и модифицируют свои индивидуальные цели и устремления.

На принципиально различающиеся эпистемологические предпосылки этих двух подходов обращают внимание Эндрю Арато и Джин Коэн. Права личности в либеральной трактовке носят универсальный характер, они неотъемлемы и не подлежат передаче. Посему правомочны отсылки к ним независимо от культурного контекста. Другими словами, индивиду полагаются и принадлежат одни и те же права в Нью-Йорке, Варшаве, Пекине, Багдаде, Хартуме или Могадिशе. Ведь они вытекают не из того, что их предоставляет социальное окружение, а из самой сущности достоинства и субъектности человеческой личности. И если какого-либо индивида лишают этих прав, то тем самым он оказывается лишенным и полагающейся ему сферы свободы. Коммунаристы критикуют указанные предположения, аргументируя, что права человека, развитые в либеральных концепциях, представляют собой продукт евро-атлантического культурного круга, и, следовательно, их притязания на универсальность неправомочны и не имеют под собой оснований. Концепция человеческой личности является в этой перспективе абстрактной конструкцией, у которой нет никакого эквивалента в реальной действительности. А все то, что либералы считают универсальными нормами, укорененными в универсальном характере человека (достоинство и моральная автономия), является, в сущности, частными, партикулярными нормами, укорененными в коллективном запасе смыслов (значений) определенного сообщества. Сам по себе индивид не располагает сильным самостоятельным основанием для морального суждения, а приобретает его от того сообщества,

к которому принадлежит. Как следствие, надлежащим основанием моральной теории служит общество и его благо, а не индивид и его права. Индивиды обладают правами ровно в такой степени, в какой эти права вытекают из общего блага, аргументируют коммунитаристы (*Cohen, Arato, 1992: 8<sup>1</sup>*).

Коммунитарная критика либеральных концепций человека и его взаимоотношений с общественным окружением идет, однако, еще дальше. Вот что пишет Гавковская, анализируя концепции Макинтайра: «Современный либеральный этос до такой степени пропитан индивидуализмом, что не допускает создания действительной общности. Традицию и мораль он трактует как нечто иррациональное, лишая тем самым современные политические структуры хоть какой-нибудь этической базы. <...> Взамен он создает атомарное общество и асоциальных людей» (*Gawkowska, 2004: 138*). Это очень серьезные упреки и обвинения, которые, однако, можно поставить под сомнение хотя бы на основе следующего наблюдения: даже в обществах, более всего пропитанных либеральными идеями (например, в Англии, Франции или США), явления социальной атомизации распространены не особенно сильно, а асоциальные индивиды являются не столько «продуктом» либеральной индоктринации, сколько скорее результатом отсутствия

---

<sup>1</sup> В русском переводе данной работы это с. 30–31. Там, в частности, сказано: «Относительно универсализма либералов коммунитаристы утверждают, что нормы, признаваемые либералами как универсальные по причине того, что они основаны на всеобщности определенных человеческих качеств (достоинства или моральной автономии), на деле суть частные нормы, общепринятые в рамках отдельных сообществ. Индивиду негде искать прочных оснований для своих моральных суждений, кроме как в том сообществе, к которому он принадлежит. Наиболее решительным их утверждением является то, что не существует обязанностей, которые падали бы абстрактной принадлежностью к человеческому роду, есть только обязанности, относящиеся к человеку как члену сообщества: истинным основанием моральной теории является сообщество и его благо, а не индивид со своими правами. Да и сами права индивидов действительны лишь в той степени, в какой они вытекают из общего блага. Соответственно, идея моральных прав есть пустой универсализм, ошибочно абстрагирующийся от сообщества — этой единственно реальной основы моральных требований. Только на базе общих представлений о благой жизни, только в рамках реально существующего этико-политического сообщества (обладающего той или иной конкретной политической культурой) мы можем прожить осмысленно нравственную жизнь и познать истинную свободу».

надлежащей социализации в патологических семьях. Следовательно, даже в таких обществах, где относительно шире признаются исходные положения либерализма, все-таки сохраняется существенный общностный<sup>1</sup> остаток и не менее значимая, а может быть, даже признаваемая повсеместно этическая база социальных взаимоотношений, на основании которой можно без труда отличить достойные, добропорядочные взаимоотношения от бесчестных. Тем не менее эта критика важна в том смысле, что ортодоксальное внедрение в жизнь тех максим либерализма, которые служат предметом критики коммунитаристов, могло бы привести к фундаментальной эрозии общностных, надындивидуальных взаимоотношений и их редуцированию исключительно до отношений, носящих непосредственно утилитарный характер.

Как онтологические, так и эпистемологические разногласия между этими двумя подходами имеют существенные последствия для понимания гражданского общества. Одним словом, в соответствии с коммунитарными концепциями гражданское общество «создает» граждан, тогда как согласно либеральным концепциям это граждане создают гражданское общество, но, чтобы они могли его создавать, их следует наделить, во-первых, соответствующим социальным капиталом, который позволяет индивидам действовать совместно, а во-вторых, определенным минимумом гражданской культуры, который позволяет среди целей коллективных действий заметить не только собственный частный интерес, но и ценность общего блага (*Kotzé, du Toit, 2005: 248*).

Каким же образом надлежало бы в этом контексте рассматривать формирование гражданского общества в странах, обремененных наследием коммунистической системы? Проявляет ли природа этих обществ какие-то специфические свойства и черты, для объяснения которых могли бы оказаться пригодными аналитические категории, берущие начало в либеральной или же коммунитарной традиции?

Прежде всего, стоит обратить внимание на тот факт, что у значительной части общества обнаруживается некая особенная позиция по отношению к государству: государство не любят, но оно должно отвечать ожиданиям граждан. Точкой отсчета для такого рода ожиданий является та ответственность государства за

---

<sup>1</sup> Возможно, здесь и несколько ниже это слово следует понимать и как «надындивидуальный».

различные области индивидуальной жизни его граждан, которая присутствовала в предшествующей системе, а поскольку коммунистическое государство в своей централизованной системе перераспределения декларировало ответственность за жизнь человека от колыбели до могилы, то в итоге и ожидания людей применительно к государству либеральной демократии и рыночной экономики также оказались очень высокими. Государство не любят по двум причинам. Во-первых, это отголосок отношения к государству, вынесенного из прежней системы, а во-вторых, такая антипатия вытекает из более приземленных причин. Государство — ввиду свойств системы рыночной экономики — не в состоянии удовлетворить отдельные ожидания (например, обеспечить работу каждому гражданину), и по этой причине его тоже не любят. Внешнее выражение подобной неудовлетворенности принимает форму претензий, требований и притязаний, артикулируемых в публичном пространстве через посредство разнообразных организаций гражданского общества, а особенно через организованные частные группы интересов. Такой артикуляции сопутствует, как правило, атрофия мышления в категориях общего блага. Данное явление можно было бы охарактеризовать — парафразируя известное определение Банфилда (Banfield) — как «аморальный коллективизм»<sup>1</sup>, другими словами жесткое и безусловное стремление к реализации собственных групповых интересов, причем даже за счет интересов других групп, в убеждении, что в демократии и рыночной экономике именно в этом и состоит забота об интересах собственной группы и что таким способом поступают все.

---

<sup>1</sup> Имеется в виду введенный Эдвардом Кристи Банфилдом термин «аморальный фамилизм» (иногда — «аморальная семейственность»), описывающий стремление извлечь максимум выгоды для себя и своей семьи за счет общественного окружения и вытекающий из убеждения, что подобным же образом поступают все люди (далее автор подробнее говорит об этом в первом разделе гл. 7). В этой связи Френсис Фукуяма в статье «Доверие: социальные добродетели и сотворение благоденствия» (журнал «Неприкосновенный запас», 2001, № 2) писал: «Эдвард Банфилд в своей книге „Моральные основы отсталого общества“ для описания общественной жизни крестьянской общины в Южной Италии после Второй мировой войны вводит концепцию „аморальной семейственности“. Банфилд обнаружил, что общественные связи и моральные обязательства действовали там лишь внутри семьи; за ее пределами люди не доверяли друг другу и не чувствовали своих обязательств по отношению к большим сообществам, будь то соседи, деревня, церковь или нация».

В этом, видимо, заключается одна из причин наблюдаемой в посткоммунистических странах генеральной слабости гражданских обществ, все еще продолжающих формироваться после падения старого режима. Такое состояние вещей довольно далеко отстоит как от либерального идеала рационального сотрудничества между автономными индивидами, образующими собой общество, так и от республиканского идеала мышления в категориях общего блага или же от коммунитарного идеала подчинения прав и притязаний индивида сообщностно сформулированному общему благу.

### Гражданское общество и национальное сообщество

Когда падение коммунизма казалось уже предопределенным, многие из наблюдателей происходящих событий опасались, что на его развалинах вместо гражданских общностей появятся национализмы. Эти опасения были не совсем уж безосновательными. Этнические конфликты в бывшей Югославии, в кавказских республиках бывшего СССР или даже некоторые проявления напряженности на этнической почве между Венгрией и Румынией представляют собой весьма внятные иллюстрации возрождения национализмов в данном регионе. Параллельно возрождаются и гражданские общества.

Как пишет Шацкий, «гражданское общество и народ – это две отличающиеся, нередко конкурентные разновидности „воображаемых сообществ“<sup>1</sup>, с которыми Европа имеет дело в течение последних столетий. Первая наводит на мысль о том, что присуще всем цивилизованным обществам, вторая – о том, что образует единственную в своем роде идентичность каждого конкретного общества» (Szacki, 1997: 39). Национальное сообщество, или *ethnos* (этнос), характеризуется несколькими внятными чертами и свойствами, которые позволяют легко отличить эту общность от других (например, политических или профессиональных). Энтони Д. Смит выделяет шесть атрибутов этнического сообщества:

---

<sup>1</sup> Это неявная ссылка на ставший уже классическим труд известного американского ученого Бенедикта Андерсона (Anderson, Benedict R.) «Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism» (1991); рус. пер.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001.

«1) коллективное самоназвание; 2) миф об общих предках; 3) общая историческая память; 4) наличие одного или нескольких отличительных элементов единой культуры; 5) чувство связи с конкретной родиной; 6) чувство солидарности, присущее существенным сегментам населения» (Smith, 1991: 21). Таким образом, мы видим, что национальное сообщество создается с опорой на иные критерии, чем сообщество гражданское. Членами национального сообщества отнюдь не обязательно должны быть граждане одного и того же государства, точно так же как граждане определенного государства вовсе не обязательно должны быть членами одного и того же национального сообщества.

Но, как мы уже констатировали ранее, гражданское общество функционирует в рамках национального государства, а нормативные основания своей деятельности черпает из ресурсов коллективного смысла и ценностей, сформированных определенной национальной культурой. Следовательно, в пределах современных демократий, предоставляющих возможность развития современного понятия гражданства и правил его функционирования в публичном пространстве, названные два измерения переплетаются столь тесно, что аналитически их трудно выделить. Как следствие этого, гражданское общество, функционирующее в контексте определенного национального государства, представляет собой, с одной стороны, поле для реализации транснациональных<sup>1</sup> либерально-демократических принципов, а с другой — насыщает эти принципы, а точнее способ их функционирования в коллективной жизни локальными смыслами.

В коммунистических обществах такого переплетения указанных двух измерений не существовало, поскольку принципы, организующие там публичное пространство, были навязаны сверху и носили недемократический характер. Тем самым пространство, промежуточное между стихией социальных микроструктур и уровнем государства, было заполнено не институтами гражданского общества, которые появлялись бы на основе свободного и идущего снизу объединения, а организациями, не только контролируемые государством, но чаще всего также и создаваемыми им. В результате степень самоотождествления индивидов с такими промежуточными институтами была невообразимо низкой. Из исследований, проводившихся в Польше в 60–70-х годах, можно

---

<sup>1</sup> У автора здесь используется термин «наднациональный».

было сделать вывод, что по-прежнему живым оставалось самоотжествление, с одной стороны, с «воображаемым» национальным сообществом, а с другой — с первичными группами (семьей, кругом близких и надежных друзей). Между этими двумя измерениями общественной жизни лежало пространство, которое Новак назвал «социологическим вакуумом» (Nowak, 1979: 128). Социологический вакуум — это, в частности, очень сильный показатель либо увечного, дефективного гражданского общества, либо даже полного отсутствия автономного гражданского общества вследствие того, что всей промежуточной сферой завладело недемократическое государство. И такая ситуация существовала во всех государствах, управляемых коммунистами, вплоть до 1989 года. Единственной брешью являлось шестнадцатимесячное легальное функционирование «Солидарности» в Польше в 1980–1981 годах, когда «социологический вакуум» был заполнен солидарностным общественным движением и разнообразными гражданскими организациями, которые выросли под зонтиком данного движения. За пределами указанного периода единственной «воображаемой» общностью, интегрирующей те или иные сообщества в единое целое, была общность, вытекающая из специфической национальной идентичности и культуры.

Отсюда, вероятно, проистекали опасения многих «советологов», что после падения коммунистической системы на ее месте появятся агрессивные национализмы как способ формирования народа и государства в новой общественной реальности. Эти опасения оправдались только частично, потому что национальные проблемы появились, по сути дела, лишь на Балканах, где мы имели дело даже с кровавыми этническими чистками, в балтийских государствах, имеющих дело с пришлым российским меньшинством, которое поселилось и прочно осело в этих государствах во времена СССР и принадлежало тогда к привилегированному слою, а также в кавказских республиках бывшего СССР, наиболее наглядной и показательной иллюстрацией чего является Чечня.

Однако в Польше и во многих других странах, выходящих из коммунизма, гражданственность оказалась столь же существенным компонентом демократической действительности, как и национальность. Впрочем, из исследований, проведенных в Польше в середине 80-х годов — следовательно, уже после первых опытов «Солидарности», — проявления депривации применительно к гражданскому статусу ощущались решительным большинством



работников обобщественных предприятий (около  $\frac{3}{4}$  обследованных жителей испытывали такого рода депривации), и, что характерно, эти депривации ощущались как более мучительные среди квалифицированных рабочих, а не среди инженеров (*Koralewicz, Wnuk-Lipiński, 1987: 246–249*). А ведь следует помнить, что движение «Солидарность» обладало плебейской родословной и было огромной школой демократии и субъектности в публичной жизни для нижестоящих классов (рабочих и крестьян).

### Гражданское общество и политическое общество

Гражданское общество часто отождествляется с политическим обществом. Это неточно, потому что понятие гражданского общества включает в себя компонент аполитичной публичной деятельности, тогда как политическое общество состоит именно из политически активных граждан. Такое простое, чтобы не сказать тривиальное, отличие служит указанием на наличие познавательного смысла в более пристальном и внимательном рассмотрении несходств между гражданским обществом и политическим.

Выражаясь с максимальной краткостью, политическое общество состоит из индивидуальных граждан и объединений граждан, вовлеченных в завоевание той или иной позиции в структурах власти разных уровней (от локального до наднационального уровня – именно так обстоит дело в случае выборов в Европарламент). Политическое общество состоит прежде всего из политических партий, но отнюдь не только. За какую-то позицию в элитах власти разнообразного уровня могут бороться гражданские комитеты и другие структуры, которым законодательство данной страны позволяет принимать участие в выборах<sup>1</sup>. Подобной позиции могут также добиваться индивидуальные граждане, хотя обычно они пользуются поддержкой со стороны какой-либо организационной структуры, пусть даже образованной *ad hoc* (специально для данной цели) исключительно с целью принять участие

---

<sup>1</sup> Автор явно имеет в виду гражданские комитеты, возникшие в Польше периода трансформации как общественное движение, дифференцированное в политическом и идейном отношении. Эти комитеты активно участвовали в избирательных кампаниях 1989–1991 годов, а затем вместе с развитием партийной системы довольно быстро утратили значение.

в ближайших выборах. Политическое общество прежде всего представляет собой поле действия организованных социальных сил. В состав политического общества входят как те, кто добивается какого-то положения в структуре власти, так и лица или организации, которые оказывают им поддержку. В соответствии с изложенной в предыдущей главе концепцией плюралистического гражданина каждый индивид может участвовать в публичной жизни, причем не в одной роли, а, в общем-то, сразу во многих разных гражданских ролях. Одной из них является роль избирателя, иными словами использование своего активного избирательного права. Поскольку конкурентные выборы — это события, происходящие периодически по истечении какого-то времени (регулируемого избирательным законодательством данной страны), граждане, ограничивающие свою политическую активность только актом участия в выборах, бывают членами политического общества именно в те моменты, когда они мобилизуются для участия в голосовании.

Таким образом, политическое общество состоит, с одной стороны, из тех граждан, которые по меньшей мере спустя какие-то периоды времени проявляют ангажированность в политическую деятельность (либо в качестве партийных активистов, либо в качестве избранных членов властной элиты определенного уровня). Они составляют ту категорию, которую вслед за Гаэтано Моска (Gaetano Mosca) мы можем назвать политическим классом<sup>1</sup>. С другой стороны, членами политического общества бывают и рядовые граждане, однако только в те моменты, когда они вовлекаются в политическую деятельность — хотя бы всего лишь путем оказания поддержки какой-то части политического класса.

Тем временем гражданское общество охватывает организации, не стремящиеся к участию в структурах власти, а также людей, выступающих в аполитичных гражданских ролях. Это, ра-

---

<sup>1</sup> Имеется в виду такая разновидность теории элиты, как концепция итальянского юриста и социолога Гаэтано Моска (1858–1941) о «политическом классе» (иногда говорят о «правлящем классе»), изложенная в его классическом труде «Elementi di scienza politica» («Элементы политической науки») и впервые опубликованная в 1895 году, а затем существенно расширенная в третьем издании данной работы, которое вышло в свет в 1923 году и было переведено на английский язык под названием «The Ruling Class». Русский перевод отдельных глав: Моска Г. Правящий класс / пер. с англ. и примеч. Т. Н. Самсоновой // Социологические исследования. 1994. № 10–12).

зумеется, не означает, что институты гражданского общества не оказывают воздействия на политику и на членов политического класса. Такое воздействие имеет место, и оказывать его — одна из функций гражданского общества. Подобное явно видимое воздействие проявляют, к примеру, организованные группы интересов (например, профсоюзы), лоббистские группы и даже индивидуальные граждане — например, через участие в какой-то форме внешнего выражения своих мнений в публичном пространстве (например, участие в демонстрации, подаче петиции и т.п.), которая имеет целью убедить существенную часть политического класса в необходимости принятия либо проведения в жизнь определенного решения (или же отказа от него либо его отмены или приостановки). Существенное различие состоит, однако, в том, что активность гражданского общества в этой области нацелена не на обретение какой-то части реальной власти, а исключительно на оказание воздействия на нее.

Оказание воздействия на власть — это важная, но не самая главная сфера активности гражданского общества. Наиболее важным полем его деятельности — вытекающим из описанной ранее медиационной функции — является самоорганизация граждан с целью посредничества между стихией домашних хозяйств и макросоциальным уровнем во всем богатстве публичных активностей, среди которых воздействию на политику посвящается лишь какая-то их часть. Ведь есть еще, например, активность в области самопомощи или благотворительности, поддержка науки и творческой деятельности, создание альтернативных (независимых от политического класса) источников информации и экспертных сообществ, формирование публичного дискурса, озвучивание общественных проблем, который остаются не замеченными политиками, и т.п.

### **Между общностью и объединением (обществом)**

Вслед за Фердинандом Тённисом (Ferdinand Toennies) социологи выделяют два типа общественных взаимоотношений и две разновидности человеческих совокупностей<sup>1</sup>. Во-первых, это

---

<sup>1</sup> И название, и содержание этого раздела представляют собой прямую отсылку к важнейшей работе Ф. Тённиса «Gemeinschaft und Gesellschaft» (1887), которая вышла в 1988 году в польском переводе под названием

формально-процедурные взаимоотношения, характерные для институционализированных форм коллективной жизни, а во-вторых, мы имеем дело с неформально-традиционными взаимоотношениями, которые установлены обычаем и характерны для неинституционализированных форм общественной жизни. Первый тип общности Тённис определил названием *Gesellschaft*, а второй — *Gemeinschaft*. Я не без причины привожу здесь оригинальные названия, потому что отыскание для них точного смыслового эквивалента в польском языке (или в русском, как, впрочем, и в других языках. — *Перев.*) — нелегкое занятие. *Gesellschaft* в свободном переводе означает объединение, но также формальное учреждение, институт и даже все общество. Тем временем *Gemeinschaft* — это общность, сообщество, но также, к примеру, малая группа<sup>1</sup>.

Совокупности типа *Gesellschaft*, как разъясняют Олехницкий и Заленцкий (*Olechnicki, Zalecki, 1997: 69*), характеризуются

---

«Wspólnota i stowarzyszenie» («Общность и объединение», причем именно эти два польских слова использовал Э. Внук-Липинский в заглавии данного раздела), тогда как в опубликованных на русском языке отрывках из этого труда Ф. Тённиса он имеется иначе — «Общность и общество» (см.: Социологический журнал. 1998. № 3/4, а также, например, статью о Тённисе в БСЭ). Поэтому переводчик, стремясь сохранить верность и автору, и установившемуся в русскоязычной литературе названию этой классической работы Ф. Тённиса, сделал заголовок данного раздела «двойным».

<sup>1</sup> Немецко-русские словари дают для слова *Gesellschaft* следующие толкования: юридический — 1) общество (напр., бесклассовое); 2) товарищество, компания, общество; 3) объединение, союз; банковский — компания, общество, товарищество; экономический — 1) общество; 2) общество, объединение, союз; 3) общество, компания; товарищество (напр., торговое); современный — 1) общество (напр., современное); 2) общество, объединение, союз; 3) общество, компания (напр., интересная); универсальный — 1) общество (напр., бесклассовое); 2) общество, объединение, союз; 3) общество, компания; товарищество (напр., с ограниченной ответственностью); 4) званый вечер; 5) общество, компания (напр., приятная); 6) (светское) общество, свет. Для слова *Gemeinschaft* те же словари дают следующие толкования: юридический — 1) общность; 2) общество, объединение; 3) сообщество, содружество; 4) общая собственности; экономический — 1) общность, единство, единение, содружество; связь, общение; 2) общество, объединение; сообщество; универсальный — 1) общность, единство, единение, содружество; связь, общение; 2) общество, объединение; 3) звено (напр., скаутское); кружок. Более краткое авторское толкование обоих этих терминов приводится в разделе «Малый подручный словарь иностранных слов и терминов», который содержится в конце данной книги.

формальными, сугубо деловыми и безличными взаимоотношениями, основанными на узлах деловых интересов, договоров и выгод, а также на частной собственности. Процедуры этих взаимоотношений – так же, впрочем, как и общественный контроль – кодифицированы и принимают вид писаного законодательства. В свою очередь, совокупности типа *Gemeinschaft* основаны на традиционных и личных взаимоотношениях, вытекающих из уз родства, братства или соседства и из доминирующей в данной общности коллективной собственности. Общественный контроль регулируется традицией и обычаями, а не формализованными и писаными правилами.

Формально-процедурные взаимоотношения являются «холодными» в том смысле, что для их возникновения не требуется никакого эмоционального заряда, который, в свою очередь, представляет собой типичный компонент личных взаимоотношений. Основанием взаимоотношений первого типа служит абстрактный, инструментальный рационализм. С одной стороны, этот тип отношений обеспечивает равную трактовку разных общественных субъектов, но с другой – редуцирует (сводит) эти отношения до их утилитаристского аспекта и, как следствие, вознаграждает партикуляризм и даже эгоизм, индивидуальный либо групповой. Тем временем во втором типе взаимоотношений присутствуют элементы иррациональности и эмоциональности. Этот тип отношений опирается на доверие, а также на принцип взаимности (как ты мне, так и я тебе). В данном случае мы имеем дело и с желательными, и с нежелательными последствиями подобных взаимоотношений. С одной стороны, указанные взаимоотношения могут составлять основание для развития альтруизма, солидарности, взаимовыручки, а индивидам они дают чувство безопасности и принадлежности к достаточно широкой неформальной общности или сообществу. С другой стороны, этот тип общественных отношений может порождать nepотизм (семейственность, кумовство) или господство клик, тенденцию к поддержке своих (иначе говоря, членов вышеуказанной неформальной общности), а далее, как следствие, может вести к явлению, которое можно назвать аморальным коллективизмом.

Ввиду этого встает вопрос, каким образом с точки зрения названных двух типов общественных взаимоотношений надлежало бы охарактеризовать гражданское общество. Гражданское общество не является ни общностью, ни также объединением. Оно

представляет собой единое целое, которое составляют как общности, так и объединения, а также сообщества, совокупности и т.д.; тем самым в итоге это общность высшего порядка, которую можно бы охарактеризовать как общность сообществ или объединений, но вместе с тем как объединение сообществ или общностей. Гражданское общество может пониматься как общность сообществ и объединений в том смысле, что институционализованные формы коллективного участия граждан в публичной жизни должны обращаться к какому-нибудь именно общностному запасу смыслов, иными словами к такому запасу, который хотя бы на некотором минимальном уровне одобряется и принимается всеми институтами гражданского общества. Вдобавок к этому формальные институты гражданского общества, а также их члены обладают сознанием принадлежности к некоей более широкой совокупности, иначе говоря как раз к гражданскому обществу. Указанная более широкая совокупность, подобно народу, представляет собой воображаемую общность, которая является чем-то большим, нежели всего лишь простой суммой гражданских институтов, действующих в публичном пространстве, поскольку ее составным элементом выступает не только общий, совместный запас смыслов, позволяющий вести социальную коммуникацию и вносящий предсказуемость и порядок в сильно дифференцированные общественные взаимоотношения, но еще и чувство идентичности принадлежащих к ней гражданских институтов.

Гражданское общество может также пониматься как объединение общностей. Даже совершенно неформальные общности (например, общественные движения), вступая в пространство публичной жизни, должны уважать и соблюдать формальные правила функционирования в данном пространстве, кодифицированные в законодательстве, а также признавать правомочными институционализованные формы проведения этих правил в жизнь (включая принуждение). Короче говоря, общности, функционирующие в публичном пространстве, «компонуются в объединения» теми необходимыми граничными условиями, которые устанавливаются государством для функционирования разнообразных гражданских («цивильных») субъектов в публичном пространстве.

## ГЛАВА 6

# ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРА<sup>1</sup>

### Введение

До сих пор мы рассматривали вопрос гражданства и формирование общества на уровне национального государства. Для этого существовали важные причины. Прежде всего – исторические, потому что чувство гражданства, подобно понятию гражданского статуса, развивалось в рамках национального государства, а его эволюция в значительной мере определялась институциональным контекстом государственных структур; вместе с тем определение гражданственности кристаллизовалось применительно к структурам государственной власти. Имелись также чисто функциональные причины: гражданство и являющееся его следствием гражданское общество выросли в пределах национального государства потому, что в государственной общности они выполняли важные функции, о которых шла речь в предыдущей главе. По этой же причине как гражданство, так и само гражданское общество относительно хорошо приспособлены к системе либеральной демократии и рыночной экономики в границах национального государства.

Однако сегодняшний мир все быстрее эволюционирует от традиционной модели сосуществования суверенных национальных государств, иногда сотрудничающих между собой, иногда находящихся в конфликте, а иногда изолирующихся от мира, который становится все более взаимозависимым, прежде всего

---

<sup>1</sup> Отдельные фрагменты этой главы были опубликованы в книге: Wnuk-Lipiński E. Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe (Внук-Липиньский Э. Мир межвременья. Глобализация – демократия – национальное государство). Общественный издательский институт «Знак», Краков, 2004. – *Авт.*

в экономическом измерении, но также и в политическом, военном и социальном. Эта взаимозависимость пересекает границы национальных государств и реализуется не только через посредство государственных структур, но также вне и помимо них, путем прямых, непосредственных контактов и относительно устойчивых взаимоотношений между гражданами, которые в формальном смысле принадлежат к разным государствам. Эта общемировая тенденция, именуемая **глобализацией**, несет с собой целый ряд изменений, которым подвергаются национальные государства, а также функционирующие в их пределах гражданские общества. Благодаря развитию коммуникационных технологий (а особенно интернета), уменьшающимся издержкам на транспорт и созданию глобальных коммуникационных и транспортных сетей наш мир не только сжался в общественном смысле, но стал также ареной новых общественных взаимоотношений и таких проявлений активности, для которых границы национальных государств перестают иметь сколько-нибудь существенное значение. «Все эти формы жизни, — пишет Джон Кин, — обладают как минимум одной общей чертой: на пространстве огромных географических расстояний и поверх временных барьеров они сознательно организуются и ведут разные виды своей трансграничной общественной, хозяйственно-экономической и политической деятельности за пределами правительственных структур» (Keane, 2003: 9).

Глобализация положила начало эволюции самой природы власти — от классической формальной власти, вырастающей из кодифицированных законодательных правил и этими правилами ограничиваемой, к власти бессубъектной, неформальной и легитимированной вовсе не обязательно демократическими процедурами, а скорее эффективностью в достижении целей. Эта разновидность субстанциональной, хотя и не всегда формальной власти определяется в англосаксонской литературе понятием *governance*, которое далее — ввиду отсутствия лучшего определения — будет употребляться как равнозначное параллельно с русским термином «властвование». Вслед за Чемпелем (Czempiel, 1992) мы можем определить властвование как способность эффективно вызывать определенные события без наличия формально-юридического права давать указания или распоряжения. Если демократические органы управления пользуются для достижения поставленных целей кодифицированными правилами, то властвование пользуется властью. «С этой точки зрения, — пишет Чемпель, — международная



система представляет собой систему властвования. Конфликты являются проявлением системы властвования, поскольку одна сторона старается склонить или вынудить вторую сторону делать какие-то вещи, которые в другом случае не были бы сделаны» (Czempiel, 1992: 250). Властвование, понимаемое таким способом, доминирует в экономическом измерении глобализации, а в некоторых пределах — и в культурном измерении тоже. Продолжение этой тенденции может привести к тому, что она охватит еще и политическое измерение глобализации.

Такое может случиться по той причине, что увеличивается расхождение между природой общественных процессов, имеющих место на глобальной экономической и культурной арене, с одной стороны, и природой процессов, происходящих на глобальной политической арене — с другой. Политическая арена является областью деятельности национальных государств, и на ней применяются в качестве обязательных правила международных отношений, унаследованные в большой мере от вестфальской модели<sup>1</sup>. Тем временем на экономической арене и — в несколько меньшем объеме — на культурной арене мы имеем дело с процессами воистину глобальными, для которых границы национальных государств имеют все менее существенное значение — так же как и демократические процедуры.

Ход современных процессов на экономической и культурной аренах создает зачатки того, что отдельные теоретики уже сегодня называют глобальным обществом. Мартин Шоу определяет глобальное общество как «дифференцированный общественный универсум, в котором унифицирующие силы современного производства, рынков, коммуникаций, а также культурной и политической модернизации вступают в интеракции со многими глобальными,

---

<sup>1</sup> Возникновение национального государства историки довольно единодушно датируют 1648 годом, когда был заключен Вестфальский мир, благодаря которому закончилась немецкая стадия Тридцатилетней войны. Именно в это мирное соглашение был впервые введен принцип полного территориального суверенитета в международных отношениях. С указанного момента и вплоть до конца Второй мировой войны, а точнее до подписания 50 союзными государствами Устава Объединенных Наций в 1945 году в Сан-Франциско (следовательно, на протяжении почти трех столетий) данный принцип служил краеугольным камнем международных отношений, а взаимоотношения, вытекающие из этого принципа, носят название «вестфальской модели». — *Авт.*

региональными, национальными и локальными разграничениями и сегментациями. <...> Наиболее очевидная разница между глобальным обществом и национальными обществами состоит в отсутствии централизованного государства. <...> Таким образом, там, где национальные общества имеют государства, глобальное общество имеет систему национальных государств» (*Shaw, 1994: 19*). Если мы согласимся с полезностью понятия «глобальное общество», то имеет право на существование вопрос о статусе членов такого глобального общества. Похоже, рассуждения Шоу подсказывают, что члены глобального общества являются вместе с тем и гражданами, но через посредничество тех национальных государств, к которым они принадлежат.

Если бы все обстояло именно таким образом, то мы не имели бы здесь дела ни с каким новым явлением, поскольку подобное посредничество суверенных национальных государств присутствовало ведь и в вестфальской модели международных отношений, причем даже настолько рано, что мышление в категориях глобального общества тогда вообще не просматривалось. А ведь сущностью текущей стадии глобализации является именно сеть взаимоотношений (экономических и общественных), которые осуществляются без посредничества национальных государств, в некоторой степени помимо этих структур. Интенсивность таких взаимоотношений растет — точно так же, как и властная роль институтов, формирующихся поверх уровня национальных государств (например, транснациональных промышленных и финансовых корпораций), причем эти явления происходят вне демократического контроля граждан, который в принципе кончается на уровне национального государства. В этой связи возникает, следовательно, проблема, которую наиболее кратко можно охарактеризовать как постепенное перемещение существенных для граждан решений с уровня национального государства на глобальный уровень (например, инвестиционных решений, принимаемых глобальными корпорациями), что подрывает не только весомость демократической системы, ограничивающейся уровнем национального государства, но также чувство гражданственности, равно как и потребность ангажироваться в деятельность тех институтов гражданского общества, партнерами которых выступают институты определенного национального государства. Если бы этот процесс и далее продолжал по-прежнему происходить с такой же интенсивностью (а ничто не говорит о том,

чтобы дело могло обстоять иначе), то уже в относительно недалеком будущем мы можем ожидать не только кризиса либеральной демократии, функционирующей в рамках отдельных национальных государств, но и кризиса гражданственности, а также провинциализации существовавшей до сих пор формулы гражданского общества. Посему нет ничего удивительного в том, что уже теперь возникают замыслы и даже хорошо проработанные проекты, которые должны были бы противодействовать эрозии либерально-демократического порядка и рожденной в этих рамках гражданственности.

### **От вестфальской модели к космополитической демократии**

Теоретически возможны две разновидности действий, предотвращающих отмеченные ранее угрозы. Во-первых, это притормаживание глобализации и возвращение к вестфальской модели, а также к классически определяемому суверенитету национального государства и, во-вторых, расширение демократической процедуры с уровня национального государства на транснациональный уровень, ее выход на глобальную политическую арену, с чем было бы связано переопределение понятия гражданственности, а также расширение границ гражданского общества. Первый род действий не только маловероятен по причине мощных интересов (главным образом экономических, но также политических и культурных), вовлеченных в дальнейший прогресс глобализации; он, кроме того, нереализуем технически, ибо на практике означал бы закрытость отдельных полиархий от внешнего мира, рост цен на изолированных внутренних рынках, введение действенных барьеров для глобальной коммуникации, ограничение свободы перемещения людей, капиталов, технологий и идей и т.д., что наверняка столкнулось бы с сопротивлением большинства локальных гражданских обществ. А оно, в свою очередь, — если сделать закрытость национального государства по-настоящему эффективной — привело бы к свержению многих полиархий и их замещению какой-то формой авторитаризма. Короче говоря, попытка притормозить нынешнюю волну глобализации должна была бы, как следствие, означать также не только затормаживание третьей волны демократизации, но и даже ее поворот вспять.

Вторая указанная ранее разновидность действий, иначе говоря расширение демократии на транснациональный уровень, более вероятна, но ее последствия не только революционизировали бы международные отношения, но также — скорее всего — означали бы постепенное исчерпание формулы вестфальской модели национального государства. Ведь это явилось бы преобразованием глобальной политической арены в структуру, которую можно назвать федерализацией мира, а в более радикальной версии либеральная демократия оказалась бы оторванной от почвы национального государства и была бы заменена какой-либо формой космополитической демократии. Поэтому есть смысл ближе познакомиться с аргументами сторонников демократии, расширенной за границы национального государства (или вкратце — транснациональной демократии), поскольку они касаются проблем, ключевых для формы мироустройства в относительно недалеком будущем.

Энтони Макгрю (*McGrew*, 1999) выделяет три различающихся, хотя до известной степени взаимодополняющихся нормативных подхода к вопросу транснациональной демократии, которые обсуждаются в литературе по данному предмету: либерально-интернационалистический, республиканский и космополитический<sup>1</sup>.

### Либерально-интернационалистический подход

К либерально-интернационалистическому подходу Макгрю относит документ, подготовленный в середине 90-х годов XX века независимым международным комитетом политиков и экспертов,

---

<sup>1</sup> К сожалению, указанная работа Э. Макгрю, в определенной мере положившая в основу всей данной главы, не переведена на русский язык. Однако другая его обширная публикация «Транснациональная демократия: теория и перспективы» («*Transnational Democracy: Theories and Prospects*») доступна в русском переводе В. В. Оглезнева под ред. В. А. Суровцева (см.: Вестник Томского государственного университета. Серия «Философия. Социология. Политология». 2008. № 2(3). С. 174–199). Кстати, Э. Визк-Липинский использует здесь (как и в других подобных контекстах) термин «транснациональная» (в данном случае «транснациональная демократия»), однако, следуя как английскому термину самого Э. Макгрю и других англоязычных авторов, так и его уже существующей русской кальке, мы предпочли использовать в данном переводе термин «транснациональный».

а затем опубликованный в 1995 году под заглавием «Our Global Neighbourhood»<sup>1</sup>. Главной целью этого документа было формулирование принципов демократического властвования в условиях глобального соседства — принципов, благодаря которым демократическое принятие решений будет иметь место не только на уровне национального государства, но и на уровне глобального соседства. Ведь коль скоро роль международных институтов в сегодняшнем мире растет, то растет также необходимость в обеспечении их демократического характера (*Our Global Neighbourhood*: 66). Благодаря этому, аргументируют авторы отчета, можно будет увеличить их общественную правомочность и эффективность. Данный отчет не предполагает возникновения мирового правительства или мировой федерации (*Our Global Neighbourhood*: 336) — скорее глубокую реформу уже существующих глобальных институтов, особенно Объединенных Наций, а также образование новой, глобальной гражданской этики, которая в аксиологическом измерении придавала бы указанной реформе стройную, взаимоувязанную форму. «Без глобальной этики всяческие трения и напряжения жизни в глобальном соседстве будут многократно увеличиваться, а без лидерства даже наилучшим образом запроюктированные институты и стратегии не добьются успеха», — констатируют авторы указанного отчета (*Our Global Neighbourhood*: 46).

В результате они предлагают следующие институциональные решения. Во-первых, нужно укрепить или создать региональные формы транснационального управления. Примером институционального успеха является Европейский союз, опыт которого мог бы тиражироваться в других регионах мира, хотя сам Европейский союз тоже должен был бы подвергнуться более глубокой демократизации своих европейских структур. Во-вторых, нужно призвать к жизни — в увязке с Генеральной Ассамблеей ООН — два дополнительных института, а именно Ассамблею народов, а также Форум гражданского общества, таким образом, чтобы народы мира были непосредственно и косвенно представлены в институтах глобального властвования. Группы и индивиды должны иметь право подавать петиции и ходатайства в Объединенные Нации

---

<sup>1</sup> См.: Наше глобальное соседство : Доклад Комиссии по глобальному управлению и сотрудничеству. М. : Весь мир, 1996. Заметим, что эта комиссия была образована в 1992 году в большой степени по инициативе лидеров Социалистического интернационала.

(через Совет петиций), что в увязке с углублением значимости совместного комплекса глобальных гражданских прав и обязанностей имело бы целью укрепить понятие глобального гражданства. Далее, отчет предлагает создать Экономический совет безопасности с целью увеличить координацию действий на глобальной экономической арене и придать им такие рамки, благодаря которым глобальные хозяйствующие и экономические субъекты, предпринимающие какие-то серьезные действия, были более ответственны перед теми, кого касаются последствия этих действий. Реформа, по мнению авторов отчета, должна укрепить демократию на уровне национальных государств посредством международной поддержки демократических форм властвования. Принцип суверенности национального государства и являющийся его следствием принцип невмешательства во внутренние дела суверенного государства должен быть переформулирован таким способом, который «признает необходимость равновесия между правами государств и правами людей, а также между интересами народов и интересами глобального соседства» (*Our Global Neighbourhood*: 337). Сущностью глобального властвования является способность международного общества подчиняться некоторым согласованным общественным правилам. «В мире, где уважаются и соблюдаются правила и положения международного права, не было бы нужды в процедурах проведения права в жизнь. В мире, где они не уважаются и не соблюдаются, универсальное проведение правил в жизнь может оказаться недостижимым», — пишут авторы отчета (*Our Global Neighbourhood*: 325).

Поэтому они придают столь большое значение этическому измерению глобального властвования, основанного на центральных ценностях, которые распространяются на все человечество: на уважении жизни и отказе от насилия, на свободе, справедливости и равенстве, на толерантности и взаимном уважении, на солидарности с нуждающимися людьми, а также на таком поведении тех, кто стоит у власти, которое соответствует принятым этическим принципам, что, в свою очередь, составляет основу межличностного доверия, необходимого для здоровых взаимоотношений между людьми и институтами в локальном, национальном и глобальном масштабах (*Our Global Neighbourhood*: 49–54). Эти центральные ценности должны также составлять фундамент прав и обязанностей, регулирующих отношения между людьми в условиях глобального соседства. Их таксономия, представленная авторами

отчета, охватывает восемь фундаментальных прав, а также семь основных обязанностей, которые должны соблюдаться, если вся задуманная ими нормативная конструкция должна функционировать относительно надежно и эффективно. Итак, люди должны иметь право на:

- 1) безопасную жизнь;
- 2) равное отношение;
- 3) возможность зарабатывать такие средства, которые позволяют вести пристойную жизнь;
- 4) определение собственного несходства с другими и на его защиту мирными средствами;
- 5) участие во власти на всех уровнях;
- 6) свободную и честную подачу петиций с целью устранения разительных проявлений несправедливости;
- 7) равный доступ к информации;
- 8) равный доступ к совместным глобальным ресурсам.

Вместе с тем на всех людей должна возлагаться обязанность:

- 1) заботиться об общем благе;
- 2) учитывать последствия своих действий для безопасности и благополучия других;
- 3) широко распространять равенство, включая равенство полов;
- 4) защищать интересы будущих поколений путем стремления к сбалансированному развитию и обеспечению сохранности совместных глобальных ресурсов;
- 5) защищать культурное и интеллектуальное наследие человечества;
- 6) быть активным участником в процессе управления;
- 7) работать с целью устранения коррупции (*Our Global Neighbourhood*: 336).

### Республиканский подход

Республиканский подход<sup>1</sup>, как обращает наше внимание Макгрю (*McGrew*, 1999: 1, 12), носит намного более радикальный характер, поскольку он вырастает из глобальных экологических,

---

<sup>1</sup> В указанном выше переводе работы Э. Макгрю он именуется «республиканизм».

феминистических и пацифистских движений, которые, вообще говоря, в целом оспаривают существующий общественно-политический порядок как не поддающийся исправлению и функционирующий в пользу интересов тех, кто уже богат и располагает властью, за счет бедных и лишенных влияния. Таким образом, в этом подходе – сформировавшемся под сильным влиянием коммунитарных теорий – речь идет не об усовершенствовании существующих властных структур, а скорее об их замене альтернативными решениями, которые радикальным образом преодолеют противоречия между глобализацией и демократическим контролем над теми, кто принимает решения. В данном случае и речи не может быть о расширении и распространении модели либеральной демократии с уровня национального государства на глобальной уровень, а имеется в виду замена либеральной демократии, которая и во всем хорошем, и во всем плохом связана с уровнем национального государства, новыми формами демократического участия, перешагивающими через те ограничения, которые вытекают из существования национального государства, и ориентированными на осуществление непосредственного контроля над решениями со стороны тех, кого эти решения касаются (независимо от их формальной государственной или территориальной принадлежности).

Республиканский проект «сочетает в себе привязанность к прямым, непосредственным формам демократии и самоуправляемости с созданием новых структур функционального управления» (McGrew, 1999: 11). Результатом его воплощения в жизнь должно стать возникновение дружелюбных общностей<sup>1</sup>, основанных на равенстве, на заботе об общем благе и на гармонии с природной средой и естественным окружением. Стержнем данного нормативного проекта является отход от определения власти в территориальных категориях (что означает конец национального государства, где власть и суверенность этой власти определяются именно в территориальных категориях) и переход к определению власти в других категориях, отраслевых, или, иначе говоря, функциональных (Burnheim, 1995; цит. по: McGrew, 1999: 12).

Власть, аргументируют сторонники указанной модели, носит, по сути дела, функциональный характер, тогда как национальное государство представляет собой результат случайной

---

<sup>1</sup> В указанном выше переводе работы Э. Макгрю они именуются хорошими сообществами, причем это понятие заключено в кавычки.



исторической эволюции, и сегодня, когда мир связан плотной сетью взаимных зависимостей, оно уже является пережитком. Дело в том, что последствия решений, принимаемых в самых разных сферах, касаются изменчивых человеческих совокупностей, которые зачастую не совпадают с населением конкретного национального государства. Последствия решений, затрагивающих, к примеру, систему обучения в Европе и взаимную признаваемость дипломов {разных стран} или же установление единой валюты в Европейском союзе, касаются какой-то одной части населения, тогда как последствия решения о прокладке автострады через Кашубский озерный край<sup>1</sup> — совсем другой группы жителей, а, скажем, последствия решения о допустимой эмиссии углекислого газа в атмосферу или о вырубке лесов Амазонии — еще какой-то третьей или четвертой совокупности людей.

В сегодняшнем глобализированном мире все большее количество подобных решений, чреватых очень далеко идущими последствиями, касаются фрагментов тех или иных групп народонаселения, локализованных в разных национальных государствах, а иногда — даже всего человечества в целом (например, таково решение об использовании оружия массового уничтожения). Таким образом, в республиканском проекте власть должна носить исключительно функциональный характер и должна быть непосредственно, напрямую ответственной перед теми общностями и гражданами, которых касаются данные конкретные решения, независимо от того, к какому государству они пока еще формально принадлежат. Каждая функциональная структура власти, предполагает указанный проект, управлялась бы комитетом, выбранным на основании статистически подобранной репрезентативной выборки тех граждан и общностей, чьи интересы формировались бы или затрагивались решениями данного комитета. Координация решений между разными видами или ветвями функциональных властей тоже должна была бы производиться комитетами, выбираемыми в точно таком же режиме, — чтобы они были представителями не каких-то определенных национальных государств, а тех конкретных категорий людей, кого указанные решения касаются (*Burnheim, 1995; цит. по: McGrew, 1999: 12*).

---

<sup>1</sup> Кашубский край — северо-восточный район Польши близ побережья Балтийского моря, населенный кашубами — этнографической группой, говорящей на кашубских диалектах польского языка.

## Космополитический подход

Космополитическая модель демократии представляет собой очередную попытку преодоления нарастающих противоречий между увеличивающейся ролью глобального уровня и либеральной демократией, которая остановилась на уровне национального государства. Эта концепция, которую я представлю здесь в самых существенных ее контурах, приняла наиболее развитую форму в работах Дэвида Хелда (*Held*, 1991, 1992, 1997), и к ним я в первую очередь и буду обращаться.

Исходной точкой рассуждений Хелда являются пять существенных отклонений от классической вестфальской модели национального государства. Первым из них, по его мнению, явился суд и осуждение военных преступников после Второй мировой войны не по законам того государства, на службе которому эти преступления были совершены (тогда преступники были бы оправданы), а на основании международных стандартов, выведенных из доктрины естественного права. Нюрнбергский трибунал был юридическим прецедентом, где признавался примат международных стандартов, защищающих базовые гуманитарные ценности, над законодательством того суверенного национального государства, которое эти ценности попирает.

Вторым была интернационализация политического процесса принятия решений. В 1909 году существовало всего лишь 37 международных правительственных организаций и 176 международных неправительственных организаций, тогда как в 1989 году имелось уже почти 300 международных правительственных организаций и — только представьте! — свыше 4600 международных неправительственных организаций. В середине XIX века международные правительственные организации организовывали никак не больше двух или трех международных конференций в год, тогда как в конце XX века эти организации встречались ежегодно на 4000 конференций (*Held*, 1997: 108).

Следовательно, национальные государства постепенно сами ограничивают суверенность собственных политических решений в пользу совместно и добровольно создаваемых транснациональных институтов, которые должны обеспечить, в частности, координацию международного сотрудничества, рост эффективности хозяйственно-экономических институтов и организаций (отечественных и транснациональных), а также повышение эффективности преследования совершенных преступлений.

Появление гегемонистских держав, а также международных структур безопасности представляет собой третью трещину, повредившую вестфальскую модель. Вхождение национального государства в глобальную оборонительную структуру, каковой является, например, НАТО, увеличивает, правда, его безопасность, которая теперь гарантируется не только собственными вооруженными силами данного государства, но и мощью всего союза, однако вместе с тем сужается поле маневра в той оборонительной и иностранной политике, которую может проводить данное государство, поскольку его ограничивают совместно согласованные решения и позиции данного союза.

Четвертое отклонение касается национальной идентичности в контексте глобализации культуры. Как аргументирует Хелд (*Held*, 1997: 121), консолидация государственного суверенитета в XVIII–XIX веках оказывала влияние на формирование общественностью этих государств своей политической идентичности как граждан. В свою очередь, возникновение именно таких политических общностей привело к укреплению национальной идентичности. Это был двусторонний и двунаправленный процесс: суверенное государство через действия элит и правительства ускоряло процесс консолидации национальной идентичности, поскольку существование такой идентичности легитимировало существование самого суверенного государства, а, с другой стороны, борьба элит за собственное государство и подключение к этой борьбе очередных сегментов общества, ранее устранившихся из политического сообщества (как это имело место в случае Польши, когда она подверглась разделам), тоже оказали влияние на появление современной национальной идентичности.

Возникновение глобальной культурной арены, особенно глобальных телевизионных сетей, а также интернета, обеспечило легкую коммуникацию и доступ к ранее взаимно изолированным частям нашей планеты. На исходе XX века средний житель земного шара был лучше информирован о том, что происходит в мире, чем сто лет назад глава правительства крупного национального государства, располагающий многочисленным аппаратом разведывательных служб (если не считать тех сегодняшних обществ, которые еще продолжают жить в реликтовых структурах тоталитарных режимов, как, например, Северная Корея). Указанный факт не мог не повлиять на чувство идентичности у людей. С одной стороны, он принес плоды в виде растущего ощущения

принадлежности к таким общностям, которые пересекают рамки национального государства, а с другой — привел к тому, что стали оживать локальные культурные и этнические идентичности, располагающиеся ниже уровня национального государства.

Причиной пятой трещины, по мнению Хелда (*Held*, 1997: 127), было бурное развитие глобального рынка, а особенно два процесса, протекающие на глобальной экономической и хозяйственной арене: интернационализация производства, а точнее интернационализация разделения труда, которое перешагнуло через границы национальных государств, а также интернационализация финансовых транзакций, проводимых в значительной мере многонациональными корпорациями. В результате возможность проведения национальным государством независимой экономической политики оказалась в самом лучшем случае значительно ограниченной, тогда как национальные, чисто отечественные правила и законы, управляющие экономической и хозяйственной жизнью государства, так же как и национальные правила государственного контроля над собственным рынком, в большой мере потеряли свое значение. Ведь коль они противоречат тенденциям, проявляющимся на глобальной экономической арене, то теряют свою эффективность, а могут даже оказаться контрпродуктивными, если, скажем, ведут к бегству глобального капитала с рынка данного государства.

Эрозия национального государства, вызванная глобализацией, угрожает, как следствие, той демократии, которая функционирует в пределах данного государства. Хелд отмечает, что перед лицом прогрессирующей анархизации отношений на глобальном уровне (особенно на экономической арене) демократия на уровне государства будет постепенно терять свою насущность и значимость — так же, впрочем, как и само национальное государство, — если она не предпримет в надлежащее время подходящих предупредительных и иных мер противодействия. А решающей контрмерой должна стать — по его мнению — космополитическая демократия, которая может спасти национальные формы либеральной демократии. «Национальные демократии требуют международной космополитической демократии, если они хотят сохраниться в современную эпоху и хотят развиваться далее», — категорично констатирует Хелд (*Held*, 1997: 23).

Возникновение космополитической демократии должно удовлетворять трем основным требованиям (*Held*, 1992: 33). Во-первых, необходимо переформулировать территориальные границы

нынешних систем ответственности перед электоратом таким способом, чтобы вопросы, которые ускользают из-под контроля демократического национального государства: самые разнообразные аспекты экономического властвования, экологическая проблематика, элементы безопасности, новые формы коммуникации, могли быть подвергнуты лучшему и более эффективному демократическому контролю. Во-вторых, требуется заново определить роль и место региональных, а также глобальных регуляционных и функциональных институтов таким способом, чтобы они стали более взаимоувязанными, сплоченными и с большей пользой сфокусированными на публичных делах. И в-третьих, надлежит по-новому организовать коммуницирование политических институтов с ключевыми группами, учреждениями, институтами, объединениями, а также с организациями международного глобального общества таким образом, чтобы эти последние стали частью демократического процесса, воспринимая и применяя в качестве своих и демократические способы действия, и демократические правила, и демократические принципы.

Космополитическая модель демократии содержит у Хелда (*Held, 1992: 34*) четыре ключевых элемента новых институциональных решений, которые должны, как следствие, привести к глубокому реформированию Организации Объединенных Наций. Во-первых, эта модель предполагает создание региональных парламентов (например, в Латинской Америке и Африке), а также увеличение роли этих органов в тех местах, где они уже существуют (Европейский парламент), таким образом, чтобы, в принципе, их решения признавались в качестве правомочного независимого источника регионального и международного права. Во-вторых, Хелд предвидит возможность генеральных референдумов, в которых должны участвовать те, кого касается некий спорный транснациональный вопрос, независимо от их формальной государственной принадлежности. В-третьих, международные правительственные организации должны подлежать и подвергаться публичному контролю, тогда как международные институты и организации, носящие отраслевой характер, должны быть демократизированы путем, например, создания выборных наблюдательных советов, которые станут — хотя бы в какой-то части — статистическим представительством тех людей (независимо от их государственной принадлежности), кого касаются последствия деятельности указанных институтов. В-четвертых, модель Хелда предполагает укрепление

всего комплекса прав (с гражданскими, политическими, экономическими и социальными правами включительно), которые устанавливали бы форму и границы демократического процесса принятия решений на транснациональном уровне.

Конечным элементом данной модели является глубокая реформа ООН. До настоящего момента ООН, как отмечает Хелд (Held, 1997: 34), функционирует на основании двух принципов, которые в некотором смысле взаимно противоречивы: в Генеральной Ассамблее существует равенство всех стран (одно государство — один голос); тем временем в Совете Безопасности существует право вето, которым обладают только государства, имеющие статус великих держав.

Чтобы ООН могла исполнять роль институционального связующего вещества, цементирующего космополитическую демократию, в составе этой организации надлежит создать дополнительную ассамблею всех демократических (и только демократических) стран и обществ, которая должна располагать большими компетенциями, нежели сегодняшний Совет Безопасности, чтобы глобальная политика проводилась не в режиме решающего голоса сверхдержав, а более демократическим способом. Вместе с тем такая Ассамблея Демократических Народов, которая со временем могла бы превратиться во вторую палату ООН, явилась бы мощным фактором продвижения демократии в тех частях земного шара, которые до сих пор сопротивляются третьей волне демократизации. Потому что условием участия в указанной ассамблее, где, по сути дела, решаются судьбы мира, было бы соблюдение демократических процедур на уровне национального государства, причем либеральные демократии на этом уровне подверглись бы укреплению, и вместе с тем сама данная ассамблея косвенно легитимировалась бы демократическими процедурами.

### Почему утопия? Теоретическое отступление

В этой связи возникает вопрос, действительно ли представленные ранее идеи и соображения по демократизации глобальной политической арены реальны или же мы имеем здесь дело с новой утопией. Чтобы ответить на поставленный таким образом вопрос, следует сделать некоторое отступление, позволяющее понять, почему те или иные попытки формирования будущего мы называем

утопическими; такое отступление пригодится, дабы отличать чисто утопические замыслы и прожекты от реалистических программ реформирования.

Утопическому мышлению присущи некоторые особые, весьма характерные черты. Как выражается на сей счет Карл Мангейм, «состояние ума является утопическим, когда оно расходится с состоянием той действительности, которая его окружает» (*Mannheim*, 1968: 173)<sup>1</sup>. Однако такое расхождение, такая несогласованность с реально наблюдаемой действительностью еще не предрешает вопроса об утопичности подобного мышления. В конце концов, существуют планы, программы и решения, которые альтернативны привычному, общепринятому способу трактовки каких-то проблем и в этом смысле «расходятся» с реально существующей действительностью, поскольку их цель как раз и состоит в изменении отдельных элементов этой действительности. Носят ли такие идеи, замыслы или намерения утопический характер? Естественно, нет, если мы хотим удержать определение утопического мышления в каких-то разумных границах.

Прежде всего, в утопическом мышлении предпринимается попытка пересечь границы существующей действительности в направлении действительности мнимой, воображаемой, которая раз и навсегда избавлена от недугов, вытекающих из повседневного опыта. Во-вторых, такого рода видение является в сильной степени оценочным, оно гораздо «лучше», чем текущий опыт, и это является требованием, необходимым словно бы по определению, поскольку, если бы оно ожидалось «худшим», никто не стал бы им заниматься. Оно «лучше», поскольку содержит рецепт для преодоления или даже окончательного решения как минимум некоторых, а в случае каких-то более амбициозных утопий — сразу всех общественных проблем, которые мучают человечество издревле, с самых истоков его истории (насилие, несправедливость, нищета, тирания и т.д.). Вера в окончательное решение подобных проблем представляется свойством, которое особенно убедительно отличает утопическое мышление. Продуктом утопического мышления является утопия, иначе говоря рецепт для окончательного исправления мира или по меньшей мере некоторых его элементов.

---

<sup>1</sup> В русском переводе этому соответствует первая фраза гл. IV: «Утопичным является то сознание, которое не находится в соответствии с окружающим его „бытием“».

Разумеется, не все крупные проекты изменений, которые несут в себе рецепт для исправления невыносимой общественной, экономической или политической ситуации, могут быть охарактеризованы названием утопических. История знает много таких проектов, которые оказались реалистическим избавлением от мучительной ситуации, являвшейся уделом больших масс людей. Примерами могут послужить проект администрации президента США Франклина Рузвельта, известный под названием *New Deal* («Новый курс») и оказавшийся эффективным средством выхода США из Великой депрессии перед Второй мировой войной<sup>1</sup>, или, скажем, проект преобразования в Польше распорядительно-распределительной экономики в экономику рыночную, с хорошим результатом внедренный Лешекком Бальцеровичем в 1990 году. Таким образом, далеко не все масштабные проекты изменений утопичны, но все утопии представляет собой проекты именно такого рода.

Следует ли отсюда, что некоторые крупные проекты являются утопическими по той причине, что их невозможно воплотить в жизнь? Разумеется, нет. История знает много утопических проектов, которые были внедрены в жизнь (к примеру, коммунизм). Утопия, воплощенная в жизнь *par force* (с применением силы), во все не становится менее утопичной, чем она была на стадии абстрактного проекта. Посему в каких-то проектах глубоких общественных перемен поиски утопического стержня нужно вести совсем в другом месте.

Утопические проекты предполагают, что благодаря заложенному в них рецепту удастся окончательно избавить коллективную жизнь общества от противоречий и конфликтов, а человеческую личность удастся смоделировать по-новому — таким образом, чтобы она подходила для новой системы и отказалась от всех своих навыков, привычек и верований, которые при случае могли бы в конечном итоге послужить закваской новых противоречий и конфликтов, нарушающих идеальное совершенство «дивного нового мира»<sup>2</sup>. Именно здесь таится источник

---

<sup>1</sup> См., однако: Фолсом Б. Новый курс или кривая дорожка : Как экономическая политика Ф. Рузвельта продлила Великую депрессию. М. : Мысль, 2012. — *Ред.*

<sup>2</sup> Это явная отсылка к знаменитой антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (1932; иногда ее название переводится «Прекрасный



двух фундаментальных ошибок, которые обычно лежат в основе всех великих утопий.

Первую из этих ошибок можно было бы назвать социологической, потому что утопический проект большей частью игнорирует такие основополагающие социологические механизмы, как межпоколенческая передача ценностей, верований и норм, как формирование групп интересов, находящихся во взаимном конфликте, и т.д. Если говорить коротко, социологическая ошибка утопии заключается в принятии предположения, что общество – это бесконечно пластичная масса, которую можно формировать произвольным образом, причем капитально и на долгий срок, если только воспользоваться достаточно эффективными средствами.

Вторая ошибка может быть названа антропологической, поскольку утопический проект исходит из того, что в человеческой природе нет ничего постоянного, что, в сущности, такая вещь, как человеческая натура с ее привязанностью к собственному достоинству и субъектности, вообще не существует. Утописты исходят из следующего: то, что мы привыкли определять названием «человеческая натура» (или «природа»), по сути дела представляет собой некий набор свойств, приобретенных личностью в процессе социализации. Как следствие такой точки зрения, надлежащий процесс социализации может привести к вылепливанию любого «гуманоида», который, не задумываясь, будет без малейших колебаний верить в то, чем его напичкали в ходе воспитательного процесса и во что велели уверовать.

Таким образом, чтобы обещанное исправление мира наступило, утопические проекты требуют не только «нового общества», но еще и «нового человека». Тем временем реалистические проекты изменений изначально принимают во внимание не только реально существующие общества, но также реальных людей вместе с их привычками, верованиями и устремлениями. И это представляется самым сильным критерием, позволяющим отличать утопии от реальных проектов перемен, даже достаточно глубоких.

Некоторые утопические проекты бывают преждевременными с точки зрения текущего исторического этапа. Как писал Мангейм,

---

новый мир»). Кстати говоря, на самом деле данное название представляет собой строчку из пьесы У. Шекспира «Буря» (см.: пер. Осии Сороки. М.: Известия, 1990. [Б-ка журнала «Иностранная литература»]) – это последний акт, реплика Миранды, которая играет в шахматы с Фердинандом.

вполне возможно, что «сегодняшние утопии могут стать завтрашней действительностью» (*Mannheim*, 1968: 183)<sup>1</sup>. Однако такие несвоевременные проекты радикальных изменений, выглядящие утопическими сегодня, могут в будущем обрести реальные очертания, если соблюдаются следующие два условия: 1) они не обременены ни социологической, ни антропологической ошибкой; 2) они опережают тот естественный либо стихийный общественный процесс, который создает общественный и исторический контекст, благоприятный для имплементации (реализации) пришедшей из прошлого утопической мечты. У такого рода преждевременных проектов, хотя они и были утопическими на стадии возникновения, имеются, однако, конструктивные последствия (*Alexander*, 2001), потому что они стимулируют развитие критической общественной мысли, а также обращают общественную энергию в направлении исправления какого-либо фрагмента социальной реальности.

### **Критика концепций по демократизации глобализации**

Из рассуждений на тему трех способов мышления о демократизации текущей волны глобализации вытекает вывод, что ни один из этих проектов не предполагает возникновения мирового правительства и чего-либо вроде глобального государства (хотя республиканский проект выглядит с этой точки зрения наиболее загадочным). Предлагается, следовательно, некая новелла, которую можно было бы назвать демократией без государства. Либерально-интернационалистический проект, а также проект космополитической демократии предполагают радикальное реформирование уже существующих транснациональных структур (во главе с ООН) и, кроме того, предусматривают учреждение новых институтов, которым предстояло бы дополнить уже существующие, хотя

---

<sup>1</sup> В русском переводе эти слова, выделенные у Мангейма жирным шрифтом, звучат так: «...утопии сегодняшнего дня могут стать действительностью завтрашнего дня». При этом Мангейм приводит их французский источник («*Les utopies ne sont souvent que des vérités prématurées*») – у нас данный афоризм обычно принято переводить «Утопии часто оказываются лишь преждевременно высказанными истинами»), указывая, что эти слова принадлежат видному французскому поэту и политическому деятелю Альфонсу Ламартину.

и демократизированные институты, действующие в глобальном либо региональном масштабе.

Тем временем наиболее радикальный республиканский проект предусматривает замену не только существующих транснациональных институтов (так как они – при взгляде сквозь призму этого проекта – не поддаются исправлению), но и национального государства новыми формами глобальной, хотя и плюрализованной демократии, главным образом прямой, непосредственной. В той перспективной картине, которую можно было бы определить названием идущей снизу демократической революции, бремя проведения необходимых изменений возлагается на разнообразные глобализирующиеся общественные движения – как на уже существующие, так и на те, которым лишь предстоит возникнуть. Ключом к успеху задуманного таким образом радикального изменения является сеть сотрудничающих между собой самоуправляющихся и в значительной мере автономных локальных общностей, локальность которых, однако, необязательно должна носить территориальный характер (ибо члены таких общностей – в связи с возрастающей легкостью глобального коммуницирования – могут быть разбросаны по всему миру). Это экстерриториальная «локальность» типа **Gemeinschaft**.

Критику представленных моделей демократизации текущей волны глобализации есть смысл начать с систематизации тех аргументов, которые я намереваюсь развить. Здесь можно выделить по меньшей мере четыре категории критических аргументов: 1) институциональные; 2) культурные; 3) экономические; 4) политические.

Итак, сначала примем во внимание институциональные аргументы, а точнее аргументы, указывающие на техническую утичность некоторых из ранее описанных решений. Как либерально-интернационалистический проект, так и проект Хелда содержит рекомендацию о создании региональных форм транснационального управления (по образцу Европейского союза), которым предстояло бы стать промежуточной структурой между уровнем национального государства и глобальным уровнем, расположенным в глубоко реформированной ООН. И здесь в голову приходит как минимум несколько сомнений.

Во-первых, неясно, какими должны быть компетенции выше-названных региональных структур по отношению как к глобальному уровню властвования, так и к национальным государствам,

входящим в состав такой региональной структуры. Должны ли это быть структуры, перехватывающие какую-то часть властных компетенций от правительств национальных государств, или же перед ними стояла бы задача только координировать разнообразные аспекты сотрудничества и сосуществования государств определенного региона? В первом случае мы бы имели дело с федерализацией регионов мира и это была бы интеграция в сильном смысле данного слова. Во втором случае мы имели бы дело только с более упорядоченным многосторонним сотрудничеством государств определенного региона, что в значительной степени имеет место уже сегодня. Слабая интеграция ставит под вопрос эффективность действия подобной региональной структуры, тогда как сильная интеграция ставит под вопрос суверенность национального государства — даже ограниченную до современных требований, — а, следовательно, также его сущностный характер и прочность.

Во-вторых, в регионах, где располагаются государства, значительно отличающиеся по величине, а также по хозяйственно-экономической и военной мощи, появляется проблема — которая в Европе, к счастью, не является доминирующей — гегемонии региональной державы в такой транснациональной региональной структуре.

Представим себе сильную региональную интеграцию в Восточной Азии, где, с одной стороны, имелся бы колоссальный по показателям населения и экономического развития Китай, а с другой — сравнительно мелкие государства этого региона, которые просто в силу понятных и очевидных обстоятельств оказались бы автоматически низведенными до роли сателлитов локального гегемона, что наверняка явилось бы очагом будущих постоянных конфликтов.

В-третьих, существуют взрывоопасные регионы мира, где расположены взаимно конфликтующие государства, причем этот конфликт тлеет очень долго (примем во внимание всего лишь два азиатских примера, а именно Индию и Пакистан либо Китай и Тайвань). Возникновение региональной структуры управления представляется в таком контексте чрезвычайно малореалистичным, даже если бы там планировалась интеграция в слабом смысле. Следовательно, в мире есть такие регионы, где уже само обдумывание вопроса о возникновении транснациональной институционализированной структуры управления носит утопический характер, так как даже его постановка, вероятно, порождена «социологической ошибкой», иными словами игнорированием реальных общественных и политических процессов, происходящих

в данной части земного шара. Быть может, это всего лишь преждевременный проект, который в будущем утратит свой утопический характер, что, однако, не отменяет его сегодняшней утопичности.

В основании республиканского проекта лежит радикальный тезис о необходимости переформулирования власти из территориальных категорий в категории «отраслевые». С институциональной точки зрения утопический элемент такого проекта заключается в том факте, что эффективное управление потребовало бы решения чрезвычайно сложных координационно-компетенционных проблем, возникающих между разными «отраслевыми» властями. Ведь значительная часть интересов носит как раз «отраслевой» характер. В случае конфликта интересов, к примеру, между жителями городов, заинтересованными в доставке дешевой энергии, и экологами, заинтересованными в развитии более дорогостоящей, но экологически «чистой» энергетики, должен был бы существовать какой-то орган вроде «межотраслевого» арбитража, который бы своими действиями устранял подобный конфликт и нес ответственность за проведение в жизнь положений соответствующего решения (и, следовательно, должен был бы располагать средствами принуждения). А это противоречило бы власти, которая определена только в функционально-отраслевых категориях.

Республиканский проект содержит, кроме того, предложение о структурах власти («комитетах»), выбираемых теми гражданами и теми общностями, которых касается определенная отраслевая деятельность. Возникает, следовательно, проблема, кто именно принимал бы решение, касается кого-то определенная деятельность или же нет; а ведь такое решение было бы чревато серьезными последствиями, ибо оно означало бы включение конкретного лица или общности в состав электората для определенного типа «отраслевой» власти или же, напротив, их исключение из этого электората. Поскольку отдельные люди (уже не вспоминая об общностях) могут одновременно ощущать немедленные или долгосрочные последствия действий сразу многих «отраслевых властей», они должны были бы являться членами многих таких «электоратов», в том числе даже тех, которые стремятся к достижению противоположных целей. Гражданство приобрело бы поистине плюралистический характер, а человеку пришлось бы как-то примирять свои гражданские роли, которые в крайних ситуациях могли бы оказываться взаимно противоречащими (например, в случае гражданского контроля инвестиционных решений

таких транснациональных корпораций, которые предоставляют людям рабочие места, и параллельного гражданского контроля долгосрочных, в том числе экологических, последствий указанных инвестиций). Поскольку количество таких отраслевых властей теоретически может быть неограниченным, таким же неограниченным должно быть вследствие этого и количество «электраторов» отдельных родов властей, а число гражданских ролей, приходящихся на долю каждого человека, выросло бы в геометрической прогрессии.

Это, в свою очередь, требовало бы постоянной ангажированности граждан в публичные дела, а такое предположение является утопическим. Ведь из существовавшего до сих пор опыта вытекает, что люди скорее склонны заниматься в первую очередь своими частными делами, а дела публичные имеют для большинства второстепенное значение (кроме экстремальных ситуаций вроде войны или революции). Таким образом, данный проект попадает в ловушку, ранее названную мною «антропологической ошибкой», поскольку для того, чтобы указанный проект мог функционировать, он нуждается в «новом человеке», который целиком и полностью предан публичным делам.

Существует также набор аргументов из области культуры, которые заставляют скептически смотреть как минимум на некоторые элементы обсужденных проектов. Прежде всего – на это довольно-таки дружно указывают разные исследователи демократии (*Jagers, Gurr, 1995; Gąsiorowski, Power, 1998; Muller, Seligson, 1994*) – на уровне национальных государств существует статистически значимая отрицательная корреляция между, с одной стороны, этнически-языковой фрагментацией общества и, с другой стороны, уровнем его демократизации и степенью консолидации демократии, если она уже существует на данной территории. Иными словами, чем выше этнически-языковая фрагментация, тем, вообще говоря, ниже уровень демократизации, а сама демократия консолидирована более слабо.

Дело в том, что демократия функционирует относительно четко и эффективно в обществах, обращающихся к умеренно гомогенным коллективным смыслам, которые, в свою очередь, находятся под мощным влиянием локальной культуры. Если эта культура относительно гомогенна, то и формируемые ею интерпретации социального мира тоже близки между собой. Члены демоса, иными словами члены политического сообщества, обращаются

в своих поступках и внешних проявлениях к совместному запасу значений и ценностей, даже если эти лица стремятся к противоречивым целям. Обращение к совместному запасу значений и ценностей способствует отождествлению с тем политическим сообществом, которое представляет собой фундамент гражданства и – в его рамках – активного участия в публичной жизни.

Если эти условия не соблюдаются; иначе говоря, если общие для всей совокупности гражданские идентичности слабее, нежели идентичности, создающие в ее рамках вышеуказанную фрагментацию, то демократические процедуры порой используются для достижения доминации над «чужаками» (определяемыми, например, в этнических категориях), хотя они и имеют формально идентичный гражданский статус. Если этническая фрагментация носит сильно конфликтогенный характер (как это имело место, например, в бывшей Югославии), то сами по себе демократические процедуры оказываются не в состоянии ее погасить. Происходит, скорее, нечто противоположное, поскольку победа одной этнической группы над другой нередко интерпретируется самими этническими группами в категориях «кто кого», а проигрывающая группа, как правило, осуждает условия игры, чтобы таким способом противодействовать господству «чужих» и избежать статуса приниженного, ущемленного меньшинства. Демократия проигрывает, подвергается деконсолидации, а самой человеческой совокупности грозит гражданская война.

Если такие явления мы наблюдаем на уровне национальных государств, то еще выше вероятность того, что будем иметь с ними дело на транснациональном уровне, поскольку тогда на передний план выдвигаются варианты идентификации, сформированные именно национальным государством, которые тормозят либо даже делают вообще невозможным возникновение политических сообществ, обращающихся к одному и тому же запасу коллективных смыслов и ценностей, а также интерпретирующих социальную реальность слишком увязанным и однородным способом, чтобы существовала возможность поддержания публичного дискурса, ведущего к признанию тех решений, которые принимаются в соответствии с демократическими процедурами.

Наличие этой проблемы осознавали авторы отчета «Глобальное соседство» («Our Global Neighbourhood»), коль скоро они считали столь весомым этическое измерение глобального управления. Потому что именно такой совместно одобряемый и всеми

приняемый комплекс ценностей, прав и обязанностей создал бы унифицированные, единообразные рамки для интерпретации социальной реальности и сделал бы возможным гражданское коммуницирование в рамках установленных демократических процедур.

Пока такое предприятие носит региональный характер (в предположении, что регионы, в принципе, совпадают с широко определяемыми культурно-цивилизационными кругами, как, это, например, имеет место в Европе), можно себе вообразить, что звучащее сегодня несколько утопически требование о возникновении на транснациональном уровне общей этики и далеко продвинутой гомогенизации интерпретационных рамок социальной реальности имеет в перспективе какие-то шансы на успех. Однако, когда мы переходим на глобальный уровень, утопичность такого предположения становится разительной. Ведь оно требовало бы от огромных человеческих масс избавиться от существенных фрагментов локальной или даже региональной культурной идентичности, сформированной столетиями традиции ислама либо конфуцианства, и принятия того запаса смыслов, значений и ценностей, который сформировался, по сути дела, в евро-атлантическом культурном круге. Тем самым в глобальной перспективе данный проект требовал бы наличия на значительных пространствах планеты нового общества (что можно признать социологической ошибкой), а также нового человека (антропологическая ошибка), если это не стали бы интерпретировать на данных территориях как культурный империализм и стремление к гегемонии одной цивилизации над другими.

Очередной аргумент, склоняющий скептически подходить к предложенным нормативным решениям, которые должны расширить демократию и вывести ее на транснациональный уровень, имеет экономическую природу. Принятие политических решений на уровне национального государства влечет за собой экономические последствия. Чаще всего политические решения касаются общественного перераспределения материальных или финансовых ресурсов в соответствии с определенными приоритетами социальной политики, но не только. Дело в том, что подобные решения могут повышать барьеры для одних типов хозяйственно-экономической деятельности и снижать для других, а как следствие – снижать или повышать окупаемость тех или иных видов деятельности. Первый тип решений связывается с общественным



солидаризмом, в результате которого правительство предпринимает перераспределительные действия, ориентированные в первую очередь на сокращение разных форм социального неравенства, порождаемых чистым рыночным механизмом. Второй тип решений связывается с защитой собственных рынков от чрезмерной конкуренции и созданием стимулов для развития такой хозяйственной и экономической деятельности, которая соответствует интересам местного населения.

Принятие эффективных решений должно быть поддержано финансовым и инфраструктурным тылом. Принятие решений без наличия средств на их реализацию не ведет к задуманным последствиям. На уровне национального государства средства на реализацию тех или иных решений черпаются прежде всего из налогов. Похожие механизмы функционировали бы, наверное, и в случае расширения сферы политических решений за пределы уровня национального государства. На практике это означало бы, с одной стороны, передачу средств от одного национального государства другому, ибо политика такого типа должна основываться на солидаризме, пересекающем границы национальных государств, а с другой стороны, при определении экономического интереса было бы необходимо отойти от его определений в категориях частного национального интереса в пользу определения такого интереса в категориях более широкой общности (с по-настоящему глобальной точки зрения – в категориях экономических интересов всего человечества).

Трудно себе вообразить – по крайней мере, в обозримом будущем, – чтобы обеспеченные, зажиточные государства во имя общечеловеческого солидаризма выражали согласие на передачу значительной части своего национального богатства в другие части света и чтобы правительства отдельных государств смогли отказаться в своей политике от заботы о национальных экономических интересах во имя экономических интересов всего человечества. Такие ожидания будут казаться утопическими столь долго, сколько времени будет сохраняться самоотождествление граждан с национальным государством и сколько времени национальные идентичности будут сильнее идентичностей, формируемых общностями другого ряда (например, такими, как отраслевые, субкультурные, транснациональные и прочие общности).

Последний скептический аргумент носит политический характер. Перенесение по меньшей мере какой-то части решений на

транснациональный уровень означает также соответствующее делегирование власти. Без осязаемого сокращения власти нынешних правительств национальных государств в пользу властных институтов транснационального уровня не может быть и речи о принятии эффективных политических решений – точно так же, как не может быть речи об их проведении в жизнь. И если еще можно себе вообразить подобные преобразования на региональном уровне, группирующем национальные государства с достаточно близким культурным и цивилизационным багажом, а также с похожим экономическим потенциалом (например, в Европе), то в случае попыток создать в глобальном масштабе такие властные органы (вместе с институтами принуждения, проводящими законы в жизнь и обеспечивающими реализацию демократически принятых решений), которые охватывали бы существующие на данный момент национальные государства, неизбежно появятся большие проблемы. Ведь эти государства не только сформировались когда-то совершенно разными, сильно отличающимися культурами (а следовательно, ныне обладают совершенно разными интерпретационными рамками действительности, разными наборами ценностей и даже значений), но, кроме того, находятся сейчас на резко различающихся уровнях технологически-экономического развития.

Означает ли это, что попытки демократизировать глобализацию обречены на неудачу? Такой вывод был бы, разумеется, опрометчивым. Проблема, как представляется, состоит в том, мыслится ли такого рода демократизация в категориях умеренно законченного и радикального нормативного проекта, который предстояло бы воплотить в жизнь, или же скорее в категориях какой-то серии частичных целей, суммарной генеральной целью которых должно было бы стать увеличение воздействия людей на то, что происходит на отдельных аренах глобализации.

В первом случае критика утопичности задуманного именно так радикального изменения кажется весьма обоснованной. Во втором случае реальность отдельных частичных изменений представляется настолько высокой, а необходимость таких изменений – настолько очевидной, что есть смысл в том, чтобы эта проблема стала предметом не только глубокой рефлексии международного академического сообщества, но также приоритетной сферой действий для правительств демократических государств.

Однако уже теперь можно констатировать, что проекты, предусматривающие скорую атрофию национальных государств и их за-

мещение какой-то формой транснационального демократического правления, представляются в сегодняшнем историческом контексте утопическими. С другой стороны, проекты, где учитывается не только прочность демократических национальных государств, но также их роль для стабилизации мирового порядка, представляются более реалистичным и многообещающим направлением поисков таких институциональных решений, которые в итоге позволили бы демократическими способами справиться с нынешней волной глобализации и вместе с тем придали бы новый, более широкий смысл понятиям гражданства и гражданского общества.

### К глобальному гражданскому обществу?

Если мы хотим, чтобы властвование на транснациональном уровне носило демократический характер и легитимировалось четко определенным электоратом, то было бы необходимым появление транснационального гражданского общества. Причем речь здесь идет не о каких-нибудь транснациональных группах граждан (поскольку такие группы ведь стихийно создаются уже сейчас), а о возникновении транснациональной политической общности, которая сумела бы обеспечить себе лояльность граждан, формально имеющих право на участие в ней. А это кажется требованием как минимум исторически преждевременным, если не утопическим *per se* (само по себе).

Изложенные выше рассуждения на тему гражданского общества позиционировали его в общественном пространстве, которое простирается между стихией домашних хозяйств, или, шире, социальных микроструктур, и макросоциальным уровнем, иначе говоря государством. Впрочем, самому гражданскому обществу давалось объяснение в большой мере через его взаимоотношения с государством или через указания на отличия института гражданского общества от государственных институтов.

Проблема, причем не только теоретическая, начинается в тот момент, когда мы намереваемся применять данное понятие в глобальном контексте. Некоторые институты гражданского общества глобализируются как по соображениям диапазона их действия, так и потому, что они располагают своими представительствами в очень разных национальных государствах.

Переломным в этом отношении было, как отмечает Ж. Хегедус (*Hegedus*, 1990: 276–278), десятилетие 80-х годов минувшего

столетия, когда гражданские инициативы перешагнули через границы национального государства. Это были инициативы, относящиеся к единичным проблемам (миру во всем мире, разоружению, экологии), которые, правда, уже и ранее мобилизовали структуры гражданских обществ (например, пацифистские или экологические движения), но новостью было то обстоятельство, что они вышли на глобальную политическую арену. А поскольку все они обращались к глобальным проблемам, то и требовали, соответственно, точно таких же — иными словами, глобальных — решений. Некоторые из этих инициатив вступили в стадию институционализации, что принесло плоды в виде возникновения неправительственных гражданских институтов с глобальным диапазоном действия, например таких, как «Greenpeace» («Гринпис»), «Transparency International» («Международная организация по обеспечению прозрачности и борьбе с коррупцией») или «Amnesty International» («Международная амнистия»). Означает ли это, что в настоящее время мы наблюдаем зачатки возникновения глобального гражданского общества?

Прежде чем отвечать на этот вопрос, попробуем детальнее растолковать само понятие глобального гражданского общества. Как отмечает Кин (*Keane, 2003: 2*), сам разговор о глобальном гражданском обществе представляет собой реакцию на все сильнее ощущаемую потребность в новом общественном, экономическом и политическом порядке на глобальном уровне. Тот же автор определяет глобальное гражданское общество как «динамичную неправительственную систему взаимно связанных общественно-экономических институтов, которые опоясывают всю Землю и деятельность которых приносит результаты, ощущаемые во всех уголках мира<sup>1</sup>. Глобальное гражданское общество не является ни статическим объектом, ни тем более свершившимся фактом. Это незавершенный проект, заключающий в себе иногда солидные и сложившиеся, а иногда мимолетные сети связей между общественно-экономическими институтами, а также между менее формальными

---

<sup>1</sup> В работе В. Степапенко «Глобальное гражданское общество: концептуализации и посткоммунистические вариации» (Социология: теория, методы, маркетинг. 2005. № 2. С. 161) это место переведено непосредственно с английского следующим образом: «...динамическую негосударственную систему взаимосвязанных социально-экономических институтов, охватывающих всю планету, создавая во всех ее уголках комплексный эффект от своей деятельности».

субъектами, организующимися поверх границ национальных государств для того, чтобы обустроить мир наново» (Keane, 2003: 2). Этот автор был бы склонен признать, что уже теперь мы можем говорить о существовании гражданского общества в глобальном измерении, а не только о теоретической конструкции, построенной наподобие веберовского идеального типа, для которой трудно было бы найти эмпирически обозначенные атрибуты. Если, однако, мы не хотим принципиальным образом менять смысл самого понятия, то можем привести серьезные аргументы в пользу следующего утверждения: то, что Кин признаёт, правда, еще не до конца сформированным, но все-таки реально существующим глобальным гражданским обществом, представляет собой всего лишь синдром глобальных явлений, еще не образующих общества ни в каком значении данного термина.

Как я уже имел случай писать в другом месте (*Wnuk-Lipiński*, 2004: 106, *passim*), гражданское общество – такое, каким мы его понимаем до сего момента, – состоит из граждан, иначе говоря из индивидов, располагающих некоторым набором прав и обязанностей, связанных с их активностью в публичной жизни определенного общества. Институты гражданского общества являются результатом исторического развития, происходившего в рамках национального государства, и конституируются во взаимоотношении с этим государством (*Shaw*, 1994: 22). Но ведь не существует ни мирового государства, ни тем более формального статуса гражданина мира, и поэтому указанное взаимоотношение не может быть перенесено на глобальной уровень. Национальное государство – если оно демократическое – защищает гражданские права и пространство свободного артикулирования и институционализации гражданских инициатив, а если оно является недемократическим, то лишает своих граждан этих прав и закрывает или как минимум строго контролирует пространство неправительственной активности граждан.

Во-вторых, институты гражданского общества функционируют в пределах определенного правового порядка, устанавливаемого законодательными властями. Функционирование в соответствии с правилами игры, кодифицированными в этом правовом порядке, предоставляет институтам гражданского общества возможность правомочной деятельности и избавляет их от обвинений в узурпации. Тем временем на глобальной политической арене нет ни одного органа, который мог бы обязывающим

способом устанавливать правила игры, в соответствии с которыми должны поступать разнообразные гражданские инициативы, имеющие глобальный масштаб. Поэтому часть указанных инициатив, особенно те из них, которые порождают больше всего затруднений для определенных национальных государств, трактуются этими государствами как узурпаторские, а в самых крайних случаях — как нелегальные. Я имею здесь в виду прежде всего эффективные, зрелищные акции «Гринписа», осуждаемые и подавляемые даже теми полиархиями, которые принадлежат к самому ядру глобализации, если эти действия угрожают их существенным экономическим интересам, или же действия и оценки «Международной амнистии», отвергаемые недемократическими национальными государствами.

В-третьих, чтобы гражданское общество могло в меру эффективно функционировать, должны существовать достаточно увязанные и непротиворечивые аксиологические основания этой деятельности. Должен существовать элементарный запас коллективных смыслов, а также базовый набор признаваемых ценностей, благодаря которым возможна социальная коммуникация и коллективное определение интересов и целей, а также становится осуществимым в какой-то степени согласованное классифицирование определенных публичных действий на оси зло—добро.

Следовательно, необходимым условием появления и в меру эффективного функционирования гражданского общества является существование минимального общего культурного знаменателя, на базе которого могли бы встречаться многообразные гражданские инициативы и благодаря которому было бы обеспечено взаимное уважение права на существование и на реализацию инициатив, входящих в конфликт между собой. В глобальном измерении такого общего культурного знаменателя не существует — даже пакет прав человека и гражданина не является повсеместно признанным, и порой его интерпретируют как продукт западной культуры и инструмент ее экспансии (например, так поступают в некоторых исламских государствах или же в Китае).

Отсутствие глобального гражданского общества в условиях далеко продвинутой экономической и хозяйственной глобализации порождает многочисленные последствия. Прежде всего, не хватает глобального представителя общественных и социальных интересов, который составлял бы противовес мировому капиталу и глобальным работодателям. Если гражданские общества тех

полиархий, которые находятся в ядре глобализации, достаточно сильны, чтобы на их территории глобальный капитал считался с ними (в частности, по той причине, что именно там он главным образом и укоренен), то гражданские общества полупериферийных стран (уже не вспоминая о периферии) слишком слабы и слишком отчетливо изолированы друг от друга, чтобы они могли эффективно защищать свои интересы.

Отсутствие глобального гражданского общества означает также, что мировое общественное мнение не функционирует. То, что привычно определяется как международное или даже мировое общественное мнение, представляет собой, по сути дела, общественное мнение Запада, иначе говоря мнение, устанавливаемое теми полиархиями, которые принадлежат к ядру глобализации, а затем распространяемое глобальными средствами массовой информации и разделяемое некоторыми из полупериферийных полиархий, но уже совсем не обязательно — странами, которые находятся на периферии, а тем более национальными государствами, вообще не являющимися полиархиями. Как следствие, международное общественное мнение не представляет собой той связующей и цементирующей субстанции, которая интегрировала бы людей из весьма разных культурных или цивилизационных сфер вокруг общих транснациональных целей.

Нужно, таким образом, констатировать, что существуют, правда, гражданские инициативы, выходящие за рамки национального государства, но они являются всего лишь ответом на конкретные общественные, социальные или политические проблемы глобального масштаба. Однако это еще не представляет собой — даже хотя бы в минимальной степени — такую систему, в рамках которой могли бы функционировать всевозможные формы активного участия граждан в деятельности, осуществляемой выше уровня национального государства, и которая регулировала бы это функционирование общими и повсеместно признанными правилами игры, а также неким общим для всех аксиологическим минимумом, позволяющим безошибочно отличать добропорядочные средства и цели деятельности от бесчестных.

## ГЛАВА 7

# ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И КАЧЕСТВО ДЕМОКРАТИИ

### Введение

Одним из существенных факторов, которые решающим образом определяют качество демократии гражданского общества, является политическая культура граждан. Проблема эта, которая, кстати говоря, отнюдь не чужда и зрелым, вполне великовозрастным демократиям, особенно значима в случае молодых демократий, где новым процедурам и правилам игры приходится соперничать с памятью о совсем иных правилах игры, особенно о тех пусть и неформальных, но эффективных правилах, которые функционировали в прежней системе. Как отмечает Роберт Патнэм, «неформальные нормы <...> изменяются медленнее, чем формальные правила, и проявляют тенденцию модифицировать указанные формальные правила, так что навязывание извне какого-то единого набора формальных правил ведет к весьма дифференцированным результатам» (*Putnam, 1993: 180*). О роли подобных неформальных правил применительно к политической культуре и пойдет речь в дальнейшей части этой главы.

Иногда политическую культуру отождествляют с культурой гражданской. Стоит, однако, заметить, что два этих понятия относятся к несколько разным явлениям, хотя и в одном, и во втором случае речь идет о явлениях, происходящих в пространстве публичной жизни. Публичная жизнь состоит из проявлений как политической, так и аполитичной активности. В пределах проявлений политической активности (реализация пассивного и активного избирательного права, участие в демонстрациях, написание петиций и ходатайств, внешнее выражение политических мнений, организация людей вокруг политических целей и т.д.) реализуется политическая часть гражданской роли, но ведь это же только часть, а вовсе не целое. Наряду с этим гражданская роль может быть (и бывает) реализована в таких аполитичных активностях, как благотворительная и опекающая деятельность,



самоорганизация вокруг аполитичных целей (например, связанных с реализацией своих увлечений), просветительская деятельность и пропаганда того или иного стиля поведения либо жизни (например, здорового образа жизни). Таким образом, когда мы говорим о гражданской культуре, то имеем в виду более широкое явление, нежели политическая культура, тогда как политическая культура может интерпретироваться как составная часть гражданской культуры.

Гражданскую культуру нередко определяют в категориях доминирующих установок по отношению к другим участниками публичной жизни (доверие, толерантность к отличающимся взглядам и соображениям, поиск областей сотрудничества с другими людьми для реализации общих целей). Гражданская культура характеризуется также уровнем компетентности в публичных делах, способностью думать не только в категориях частного интереса, но и в категориях общего блага (*Śpiwak*, 1998), а также степенью соблюдения формальных правил функционирования в данной сфере.

О низкой гражданской культуре мы говорим в том случае, когда доверие к другим людям ничтожно, а толерантность к отличающимся позициям и соображениям не очень высока, причем одновременно перевешивает стремление к реализации своих частных интересов, невзирая на возможные последствия этого для более крупной людской общности, а также когда знания об элементарных механизмах функционирования публичной сферы маргинальны и формальные правила игры систематически нарушаются. И напротив, с высокой гражданской культурой мы имеем дело в тех случаях, когда уровень доверия к окружающим высок, точно так же, как высока толерантность к отличающимся взглядам, зато стремление к частным интересам умеряется более широкими соображениями общественного блага, а формальные правила игры в принципе соблюдаются всеми участниками публичной жизни.

По мнению Патнэма (*Putnam*, 1993: 177–178), как принцип, опирающийся на взаимность и доверие, так и принцип, опирающийся на зависимость и эксплуатацию, представляет собой действительную связующую субстанцию для общества, хотя уровень институциональной и гражданской эффективности оказывается в двух этих случаях очень разным. Высокая гражданская культура, которую образует общественный запас доверия, норм и связей, взаимно укрепляется и кумулируется. Благодаря этому образуется позитивное состояние социального равновесия, отличающееся

высоким уровнем сотрудничества между гражданами определенной общности, большим взаимным доверием, всеобщим правилом, которое обязывает отвечать взаимностью на оказанную услугу, значительной гражданской ангажированностью, а также в целом более высокой «благосклонностью» сообщества.

Точно так же взаимно укрепляется и кумулируется низкая гражданская культура, которую образуют партикуляризм, взаимное недоверие в обществе, эксплуатация других и бегство в приватность, а также порождаемая всем этим общественная и экономическая стагнация. Это негативное *equilibrium* (равновесие), будучи однажды созданным, обнаруживает большую стабильность во времени, и переломить его нелегко даже в тех случаях, когда часть граждан хотела бы из него выбраться. Так происходит потому, что их установки, представляющие собой нечто особенное и нетипичное в том общественном окружении, которое создано подобного рода негативным *equilibrium*'ом, прочитываются многими другими как наивные и безжалостно ими эксплуатируются.

Дело в том, что низкая гражданская культура ведет к явлению, называемому «аморальным фамилизмом» (*Banfield, 1958*), иначе говоря к максимизации выгоды для себя и своей семьи за счет общественного окружения. Это стремление максимизировать собственные выгоды даже за счет других опирается на убеждение, что точно так же поступают все. Стратегии достижения частных выгод за счет окружающих часто прибегают к вариантам поведения, не укладывающимся в формальные правила игры, либо даже к таким видам поведения, которые прямо противоречат этим правилам. Но если они оказываются эффективными, то закрепляются, консолидируются и относительно быстро – благодаря социальной коммуникации – находят все более многочисленных подражателей. Именно в таком контексте рождается вседозволенность, допускающая коррупцию, нелегальное лоббирование, действия в обход права, налоговое мошенничество и т.д. Действенность достижения частных целей посредством таких неформальных правил поведения (внятно артикулируемых или только подразумеваемых – *Wolek, 2004: 41*) ведет к постепенному сокращению применимости формальных правил игры, к пустой ритуальности, а демократические институты, в том числе и институты гражданского общества, тоже постепенно становятся ширмой, за которой кипит и пульсирует «настоящая жизнь». Низкая гражданская культура портит демократию, так как «вымывает» из нее те

базовые гражданские ценности, на которые опирается четко функционирующая демократия. В свою очередь, «испорченная» демократия негативно воздействует на уровень гражданской культуры. Таким образом, мы имеем здесь дело со своеобразной разновидностью так называемой положительной обратной связи. Похожая обратная связь имеет место и в случае высокой гражданской культуры, которая насыщает демократию гражданскими ценностями, способствуя улучшению ее качества. В свою очередь, демократия высокого качества укрепляет высокий уровень гражданской культуры, который становится нормой в любых взаимоотношениях, фигурирующих в пространстве публичной жизни.

### Понятия и определения

Как я уже упоминал, политическая культура относится только к политическому аспекту гражданской активности. Это понятие и связанная с ним проблематика вошли в общественные науки в 60-х годах прошлого века, а прочно застолбили за собой место после опубликования Габриэлем Алмондом и Сиднеем Вербой (*Almond, Verba, 1963*) книги «Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations» («Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций»)<sup>1</sup>, которая стала классической позицией для всех исследователей, занимающихся указанной тематикой. «Идея политической культуры, — пишет Сомерс, — гармонировала с несколькими сферами заинтересованности американских общественных наук в послевоенные годы. В их рамках присутствовала общая озабоченность волнениями и беспокойствами, вызываемыми коммунизмом и постколониальными освободительными движениями в третьем мире, перемещение центра тяжести в общественных науках от исследований формальных институтов к политическим установкам и избирательным практикам, а также попытка самоопределения такой науки, как социология политики, и ее отделения от политических наук посредством концентрации на **социальных** обусловленностях демократии» (*Somers, 1995b: 116*). Тем самым с 60-х годов XX века проблематика политической культуры попала в главное русло американских исследований в области общественных наук.

---

<sup>1</sup> По меньшей мере фрагмент этой книги опубликован по-русски, см.: Антология мировой политической мысли : в 5 т. М., 1997. Т. II. С. 593–600.

Политическая культура представляет собой способ бытия в политической жизни определенной общности. Она является «полной совокупностью индивидуальных установок и политических ориентаций участников данной системы» (*Almond, Powell, 1975: 577*). В классической трактовке Алмонда и Вербы (*Almond, Verba, 1963: 33*) политическая культура — это звено, связующее микро- и макрополитику. То, что мы называем политической культурой, — это посредник между индивидом и политическими институтами, а также между тем, что является неформальным и произрастает из повседневной жизни отдельных людей, с одной стороны, и тем, что институционализировано и формализовано на почве правовых кодификаций, — с другой. Каждая политическая система, по их мнению, производит «легитимирующие символы» (от материальных символов — таких, как флаг или герб, — через национальные или государственные идеологии и вплоть до процедур выдвижения властей или до тех правил, в соответствии с которыми функционирует публичная жизнь). Область согласия по поводу легитимирующей силы перечисленных символов очерчивает вместе с тем основы стабильности системы; и чем область такого согласия шире, тем стабильнее система. Другими словами, чем большее число граждан одобряет и принимает эти «легитимирующие символы», тем стабильнее социальные основания определенной политической системы. Алмонд и Верба (*Ibid.: 15*) принимают, что среди граждан можно выделить три разновидности ориентации применительно к этим символам: когнитивные, аффективные и оценочные. Когнитивные ориентации определяют уровень знания отдельных символов, а также область гражданских компетенций в данном измерении. Аффективные ориентации соотносятся со степенью эмоциональной привязанности к отдельным символам, тогда как оценочные ориентации устанавливают вес, который отдельные граждане присваивают указанным символам.

В 80-х годах прошлого столетия появился новый подход к проблематике политической культуры, который отвергает подход Алмонда и Вербы, а также последующие трактовки, берущие начало из теоретической традиции Парсонса и Хабермаса, где политическую культуру, ее содержание, формы проявления, символы и функционирующие в ее рамках идеи пытаются объяснить через типичный для социологии поиск более глубоких структурных или экономических обусловленностей. В этом новом подходе политическую

культуру трактуют как феномен, который можно (и нужно) исследовать в его собственной логике, без отыскания более глубоких внешних обусловленностей, поскольку таким способом можно выявить, что по меньшей мере часть тех явлений, которые принято трактовать как обусловленности политической культуры, на самом деле являются ее продуктом. Например, интересы, а точнее способ их определения (от которого зависит их личностное или групповое понимание) в такой трактовке представляют собой политическую конструкцию, источник которой находится именно в политической культуре определенной общности. Согласно данному подходу «политическая культура — это набор дискурсов или символических практик, благодаря которым индивиды и группы в любом обществе артикулируют конкурентные требования, обсуждают их на переговорах, внедряют их в жизнь и взаимно навязывают их друг другу» (*Baker, 1990: 4–5; цит. по: Somers, 1995: 133*). Согласно этому подходу, по замечанию Сомерс (*Somers, 1995: 134*), политическая культура существует в качестве явления, отделенного как от экономики, так и от государства, и именно по причине этой обособленности она формирует последствия, значения, а также само протекание политических действий и общественных процессов. В другом тексте Сомерс вводит понятие **структуры** политической культуры, которую она определяет как «структурированную форму публичного дискурса, организованного как культурная схема <...> и устанавливающего собственные внутренние иерархии власти и образцы авторитета» (*Somers, 1995a: 235*).

Указанный подход, правда, позволяет нам заметить влияние определенной политической культуры на разнообразные измерения функционирования гражданства в публичной жизни, а также влияние этого явления на форму взаимоотношений, выстраивающихся в рамках политического общества, но сама политическая культура при этом оказывается отчасти подвешенной в вакууме. А ведь из многих исследований известно, что формирование политической культуры представляет собой долговременный процесс. В измерении длительного существования политическая культура формируется традицией политической жизни определенной общности, которая вытекает непосредственно из реальной политической истории или из мифологизированных межпоколенческих свидетельств, строящихся на канве селективно трактуемой истории данной политической общности. В понимаемой таким образом традиции сохраняются готовые стереотипы

разных форм и вариантов политического поведения, а также запасы ценностей, которых стоит добиваться в публичной жизни, плюс критерии определения частных групповых интересов применительно к какому-нибудь определенному благу всей общности (*res publica*), равно как добропорядочные и бесчестные способы их реализации. В измерении индивидуальной жизни политическая культура конкретного индивида формируется как в период его социализации, осуществляющейся в семье, школе и в группе сверстников, так и в ходе его активного участия в добровольных объединениях и общественных движениях (Isaac, Christiansen, 2002). В частности, особенно важной школой гражданства и очень существенным фактором, формирующим политическую культуру индивида во всех трех измерениях, иначе говоря в когнитивном, аффективном и оценочном измерениях, является участие в добровольных объединениях и общественных движениях. В когнитивном измерении социализация (ранняя, как и осуществляющаяся через участие в организациях гражданского общества) устанавливает уровень гражданских компетенций, другими словами элементарное знание правил, управляющих политической жизнью, умение опознать демагогию, а также умение различать «полутени» политической жизни, что связывается, как правило, с отходом от восприятия политической реальности в «черно-белых» категориях. В аффективном измерении социализация формирует эмоциональные связи с некоторыми символами политической жизни. Слишком сильная эмоциональная ангажированность ведет к ограничению когнитивного измерения политической культуры, поскольку безусловному приятию одних символов политической жизни сопутствует столь же безусловное отбрасывание других символов. В свою очередь, слишком слабая эмоциональная ангажированность порождает идейный индифферентизм (безразличие), цинизм и готовность руководствоваться в своей гражданской роли исключительно одним, партикулярно определяемым интересом. Граница между «слишком сильной» и «слишком слабой» эмоциональной ангажированностью, конечно же, является зыбкой и исторически изменчивой. В период генерального внутреннего конфликта (особенно если он носит аксиологический характер) или внешней угрозы самому существованию политической общности (например, из-за агрессии) эмоциональная ангажированность в общем растет, а в периоды стабилизации, спокойствия и *prosperity* (процветания) в общем уменьшается.

В оценочном измерении социализация ведет к тому, что на некотором уровне формируется умение рефлексировать над собственным участием в политической общности (или над его отсутствием). Оценочный аспект социализации устанавливает также уровень умения оценивать других акторов политической жизни.

Чем выше уровень гражданских компетенций, а также чем выше уровень умения давать самостоятельную оценку, тем выше, как правило, уровень политической культуры. В свою очередь, чрезмерно развитый аффективный компонент политической культуры может нарушать как ее когнитивное измерение, так и оценочное.

Разумеется, на политическую культуру, которая представляет собой часть более общей гражданской культуры, распространяются те упомянутые ранее элементы, которые определяют характер взаимоотношений с другими акторами политической жизни, а следовательно, и уровень доверия, толерантность к отличающимся взглядам и соображениям, поиск областей сотрудничества с другими ради реализации общих целей, а также наличие мышления не только в частичных (индивидуальных или групповых) категориях, но и в категориях общего блага.

Гражданская культура и демократия функционируют в симбиотической связи. Демократия в условиях низкой гражданской культуры функционирует нечетко и малоэффективно, тогда как гражданская культура без демократической системы вообще не может развиваться. Возникает, следовательно, вопрос, является ли демократическая система той средой, которая создает соответствующую гражданскую культуру, или же, наоборот, надлежащий уровень гражданской культуры представляет собой фактор, благодаря которому демократия может функционировать и воспроизводиться из поколения в поколение. Этот вопрос всерьез привлекал внимание исследователей демократии со времен Алмонда и Вербы. В 1990 году Роналд Инглехарт (Ronald Inglehart) опубликовал книгу «Culture Shift in Advanced Industrial Society» («Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе»)<sup>1</sup>, которая, казалось бы, решала эту дилемму. На основании эмпирических данных,

---

<sup>1</sup> По меньшей мере фрагменты этой книги опубликованы по-русски, см.: Общая социология : хрестоматия / сост. А. Г. Здравомыслов, Н. И. Лапин. М. : Высшая школа, 2006. С. 554–559; Новая постиндустриальная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. М., 1999. С. 249–260.

почерпнутых из многих демократических стран, и их сложно-статистического анализа он пришел к выводу, что «свыше половины дисперсии (среднего отклонения) в устойчивости демократических институтов можно приписать воздействиям только самой политической культуры» (Inglehart, 1990: 46). Другими словами, это утверждение выступало в пользу тезиса, сформулированного еще Алмондом и Вербой, что политическая культура представляет собой главный фактор, поддерживающий демократию, и что она играет значительно более важную роль, чем, например, экономические факторы (уровень зажиточности общества) или структурные факторы (например, масштабы социального неравенства). Однако дальнейшие исследования показали, что этот вывод был преждевременным. Дело в том, что Инглехарт в своем наборе подвергнутых анализу переменных не учел продолжительности существования демократической системы в определенном обществе. Когда два исследователя из США, Мюллер и Селигсон (Muller, Seligson, 1994), включили в анализ и эту переменную, выяснилось, что обнаруженная Инглехартом зависимость исчезает! Они установили, что «демократия оказывает сильное позитивное воздействие на развитие установок, характерных для гражданской культуры, тогда как эти установки не оказывают причинного воздействия на демократию» (Ibid.: 638–639). Другими словами, это демократия формирует гражданскую культуру, а не наоборот. Названные исследователи обнаружили также, что долговременный опыт демократической системы оказывает позитивное воздействие на уровень межлического доверия (Ibid.: 646). Чем дольше существует демократическая система, тем сильнее люди доверяют друг другу, и это является еще одним, на сей раз косвенным, доказательством того, что большое число лет существования демократической системы укрепляет установки, характерные для более высокого уровня гражданской культуры, ибо доверие к другим акторам публичной жизни — это как раз одна из таких установок. Из аналитических исследований Мюллера и Селигсона (Ibid.: 643) вытекает еще один вывод, существенный для наших рассуждений: уровень гражданской культуры положительно влияет не столько на демократию, сколько на демократизацию. Говоря упрощенно, чем выше гражданская культура, тем сильнее общественное давление в пользу дальнейшей демократизации системы. Указанную зависимость можно рассматривать в более широком контексте, а именно в контексте тех смыслов и содержаний культуры,



которые оказывают формационное влияние на доминирующую в данном обществе политическую культуру.

### Запас политической культуры у поляков

Как я уже упоминал, одним из существенных факторов, формирующих политическую культуру индивида, является некий запас мифов, стереотипов и ценностей, закрепившихся в истории, традиции, а также в великих литературных произведениях, которые носят характер синтеза. Этот запас присутствует в межпоколенческой передаче сведений, что дает ему возможность репродуцироваться и оказывать влияние на формирование политической идентичности поколений, отдаленных в историческом смысле от того реального события, которое послужило закваской определенного мифа или стереотипа. Стереотипы и мифы не в полной мере лишены оснований, но вместе с тем они не являются научными мнениями. Стереотип, в соответствии с польским «Словарем иностранных слов» (1971: 703), это «функционирующий в общественном сознании сокращенный, упрощенный и ценностно окрашенный образ действительности, который относится к предметам, лицам, общественным группам, институтам и т.д.»<sup>1</sup>. Это суждение о каком-то фрагменте действительности, сформулированное весьма категорично и заключающее в себе упрощающее обобщение, а вдобавок выраженное на разговорном, обыденном языке, которое, правда, предоставляет возможность «ориентироваться среди явлений» и отвечает «потребности понимать мир», но далеко от логической точности и точного соотнесения с эмпирически проверяемыми и подтверждаемыми фактами (Makarczyk, 1991). Точно так же и миф, который содержит какое-то убеждение о действительности, принимаемое без доказательства и составляющее «первичную форму объяснения предмета и мира на уровне чувства, а не разума» (Didier, 1995: 236), представляет собой определенный синтез знаний на какую-то тему, и если он функционирует

---

<sup>1</sup> В стандартном русском «Словаре иностранных слов» определение гораздо проще: «Прочно сложившийся, постоянный образец чего-нибудь». То же самое относится к определениям похожих терминов: «Трафарет – нечто избитое, привычный образец, которому следуют без размышления»; «Клише – расхожий речевой оборот, штамп»; «Шаблон – неизвестный, избитый образец, которому подражают».

в общественном сознании, то также выражен на обыденном языке. Как стереотип, так и миф в большинстве случаев формируется на основе каких-то реальных событий, но их обобщение, интерпретация или развитие уже, в общем-то, довольно слабо связаны с эмпирически наблюдавшимися фактами. К примеру, стереотипное утверждение, что «все крадут», с логической точки зрения является, во-первых, признанием того, кто провозглашает данное суждение, что он крадет (коль скоро «все крадут», то и лицо, высказывающее данное суждение, также принадлежит к категории «все» и, следовательно, тоже крадет), а во-вторых, с эмпирической точки зрения его легко опровергнуть. Ведь достаточно всего лишь показать, что хотя бы одно лицо не крадет (например, грудной ребенок), чтобы признать фальшивым все данное утверждение. В частности, именно поэтому утверждения, говорящие нечто категорическое и безапелляционное о реальной действительности, о лицах, группах, народах или институтах, формулируются, как правило, в виде эллиптических конструкций (Nowak, 1970: 196) типа: «Поляки целуют женщинам руку».

Эллиптические фразы {где, вообще говоря, пропущено какое-нибудь легко подразумеваемое слово} формулируются таким образом, что неясно, выражают ли они конкретное суждение или же общее. Ведь только что приведенное здесь мнение может означать общее суждение, что все поляки целуют женщинам руку. Такое категоричное утверждение было бы, разумеется, ложным, и это не составило бы труда показать. Данная фраза может также означать, что поляки в некоторых ситуациях чаще, чем представители других народов, целуют женщинам руку. Это мнение носит вполне конкретный характер и уже поддается эмпирической верификации.

Решительное большинство утверждений, носящих характер мифа или стереотипа, — это эллиптические конструкции, что уменьшает силу их воздействия на индивидов. Но именно ввиду эллиптического характера тех конструкций, с помощью которых формулируются такого рода утверждения о реальной действительности и о живущих в ней людях, в общественном сознании могут функционировать (и функционируют) пары противоположных убеждений, которые — в зависимости от социального контекста — активируются в качестве готовых матриц или шаблонов, прилагаемых к переживаемому именно сейчас событию. Тем самым они устанавливают ту когнитивную направленность

индивида по отношению к определенной общественной ситуации, которая образует основание для любых отнесений при расшифровке и интерпретации значения этой ситуации. Как следствие, они влияют не только на формирование установок по отношению к конкретным событиям в публичной жизни, но также соучаствуют – вместе с другими факторами – в принятии решения о формах поведения, проявляемых в данной сфере. В повседневной жизни указанные матрицы или шаблоны, прилагаемые к потоку текущих событий, позволяют человеку функционировать без необходимости прибегать к углубленному анализу определенного события или ситуации, без рефлексии, охватывающей в целом всю их сложность, и без саморефлексии, позволяющей дать четкую и в меру точную оценку собственного места в этой конкретной ситуации. Если бы каждое социальное взаимоотношение сопровождалось такой развитой рефлексией и саморефлексией (исходя из рискованного предположения, что каждый участник подобного взаимоотношения располагал бы сопоставимыми когнитивными компетенциями), то, вероятно, те взаимоотношения, которые мы считаем нормальными, оказались бы невозможными, ибо их обрамление рефлексией и саморефлексией (чтобы придать им надлежащее значение) требовало бы времени, превосходящего продолжительность данного взаимоотношения. В дополнение к этому не было бы никакой гарантии, что подобная рефлексия верно разгадывает, например, намерения партнера либо партнеров данного взаимоотношения или же соучастников события. Следовательно, вышеупомянутые матрицы стереотипов представляют собой удобное функциональное решение, которое делает возможной относительную простоту и плавность социальных взаимоотношений и позволяет относительно быстро приписывать значения определенным событиям, хотя ценою подобной функциональности становятся упрощения, ведущие к недоразумениям по поводу истинных намерений участников взаимоотношения и к приписыванию противоречивых значений одному и тому же событию. Однако, как показывает социальная практика, это не слишком высокая цена за функциональность самого механизма, коль скоро он функционирует в каждой человеческой совокупности и на всех ее уровнях (от жизни в малых группах и до взаимоотношений, завязывающихся в публичной жизни).

Запасы стереотипных представлений и мифов, присутствующие в истории и традициях определенной общности,

обнаруживают значительную устойчивость и сопротивляемость таким эмпирическим доказательствам, которые бы противоречили этим представлениям, потому что эмоциональная привязанность к ним со временем становится элементом политической идентичности индивида или, шире, его гражданской идентичности, а потому ревизия такого рода взглядов требовала бы также аналогичного модифицирования некоего важного элемента субъектной идентичности. В этом же самом смысле указанные запасы представлений составляют относительно устойчивый и существенный фактор, формирующий гражданскую культуру данной общности.

В польской традиции и мифологии можно выделить по меньшей мере десять пар таких противоположных суждений. Этот список, разумеется, не является исчерпывающим, и, кроме того, его также нельзя назвать строго разграниченным, ибо некоторые суждения пересекаются в логическом смысле и налагаются одно на другое.

1. «Поляки толерантны» — «Настоящий поляк — это поляк-католик; некаатолики являются польскоязычными чужаками».
2. «Поляки романтичны, они преданы свободе» — «Поляки прагматичны, корыстны».
3. «Поляки способны к великим коллективным порывам во имя высоких идеалов» — «Поляки сварливы, они легко ссорятся и не умеют действовать совместно во имя общих идеалов».
4. «Поляки — это антисемиты» — «Поляки спасали евреям жизнь, рискуя собственной».
5. «Другие люди не понимают поляков, Запад и Европа предают их» — «Поляки являются частью Запада и Европы».
6. «Поляки — это патриоты» — «Поляки рассматривают Польшу, как штуку сукна: каждый тянет в свою сторону».
7. «Поляки — индивидуалисты» — «Поляки — коллективисты».
8. «Поляки галантны по отношению к женщинам, которые обладают особыми правами» — «Поляки патриархальны, а польские женщины подвергаются дискриминации».
9. «Поляки не поддаются чужому господству» — «Поляки настолько не любят друг друга и настолько заняты своими частными интересами, что предпочитают находиться под господством чужаков, чем откаться от приобретенных привилегий в пользу общего блага».
10. «Поляки сражались с гитлеровскими оккупантами, а позже боролись с навязанной им коммунистической системой» —

«Поляки — это народ шмальцовников<sup>1</sup>, а позже — доносчиков, коллаборационистов и агентов коммунистической власти».

В эмпирическом смысле все эти мнения — ложные. Есть поляки толерантные, религиозно терпимые, есть также нетолерантные поляки — точно так же, как терпимыми и нетерпимыми бывают представители других национальностей. Аналогично есть поляки, преданные свободе и готовые рисковать ради нее многим, но имеются также поляки корыстные, прагматичные, ищущие в каждой ситуации какие-то возможности для удовлетворения собственных интересов. Существуют среди поляков и антисемиты, и филосемиты, а также такие поляки, для которых чье-либо еврейское происхождение не имеет никакого значения. Имеются поляки, относящиеся к женщинам с особенным почтением и пиететом, но хватает и таких, кто по отношению к женщинами применяет насилие, иногда грубое. В нашей истории присутствуют поляки, которые не поддавались чужому господству и платили за это высокую цену, но хватает также таких, кто был не только настроен по отношению к чужестранному господству по-сервилистски, но даже, не колеблясь, проявлял готовность принести в жертву независимое существование Польши во имя сохранения своих частных привилегий (Тарговица<sup>2</sup>). Во всех этих измерениях поляки были

---

<sup>1</sup> Шмальцовники — так в период гитлеровской оккупации Польши называли тех, кто принуждал скрывающихся евреев платить выкуп под угрозой выдачи фашистским властям. Иногда эти шантажисты специально разыскивали прячущихся евреев, а затем, вытянув из них последние деньги и ценности, все равно сдавали этих несчастных фашистам или даже сами их убивали.

<sup>2</sup> Имеется в виду Тарговицкая конфедерация — образовавшийся в 1792 году союз польских магнатов во главе с маршалом сейма К. Браницким, С. Жевуским и Щ. Потоцким, имевший целью ликвидировать с помощью царизма прогрессивные реформы, проведенные четырехлетним сеймом (1788—1792) в Речи Посполитой. Акт этой конфедерации, разработанный в Петербурге под наблюдением Екатерины II (и приведенный в приложении к данной книге), был опубликован в мае 1792 года в местечке Тарговица (ныне Западная Украина) в момент вторжения царских войск в Польшу. Тарговицкая конфедерация содействовала второму разделу Речи Посполитой (1793) царской Россией и Пруссией (хотя сам этот раздел и был неожиданностью для вождей конфедерации, а также для примкнувшего к ней тогдашнего короля Польши Станислава Августа Понятовского) и вошла в историю Польши как символ национального

и остаются очень разными, так что всякое обобщение, зафиксированное в форме стереотипа, не описывает реальную действительность (ни историческую, ни современную), а точнее описывает эту действительность неверно.

И все-таки эти пары эллиптических суждений о поляках, приведенные здесь в качестве иллюстрации, играют важную роль в том, какую форму приняла политическая культура нашего общества. Хотя их когнитивный (познавательный) статус сомнителен, они все равно оказывали и оказывают большое влияние на формирование индивидуальных, сугубо личностных описаний и интерпретаций тех событий, которые происходят в публичной жизни, а как следствие, соучаствуют в формировании установок и вариантов поведения, служащих мерилем политической культуры.

Попробуем внимательнее присмотреться к тому, каким образом действует механизм применения стереотипных представлений и исторических мифов для формирования текущих установок и вариантов поведения, а как следствие, и той политической культуры, в рамках которой осуществляются все взаимоотношения в публичной жизни. Возьмем в качестве примера первую пару приведенных выше эллиптических формулировок.

Мнение о толерантности поляков восходит как к отдаленным историческим событиям («Польша была государством без костров в те времена, когда другие государства Европы преследовали иноверцев»), так и к событиям из сегодняшней повседневной жизни, которые, однако, воспринимаются и интерпретируются селективно. Если кто-либо сильно убежден в правдивости рассматриваемого сейчас эллиптического мнения, то события, свидетельствующие о толерантности поляков, он будет рассматривать в качестве нормы, тогда как события, которые ей противоречат, считать отклонением от нормы. Если все это сопровождается еще и сильным чувством национальной идентичности, то мнение о толерантности поляков будет представлять собой готовую матрицу взаимоотношений с другими людьми («поляки толерантны — я поляк — я толерантен»). Убеждение, выраженное в опозиционном эллиптическом мнении, также ссылается на отдаленные исторические события (крещение Польши, миф о Польше

---

предательства. Во время освободительного Польского восстания 1794 года, которое возглавлял Т. Костюшко, несколько активных фигур Тарговицкой конфедерации были казнены как изменники.

как о предполье христианства и т.д.), но вместе с тем — точно так же, как и в предыдущем случае, — составляет важный элемент индивидуальной национальной идентичности. Вследствие этого образуется совсем иная матрица взаимоотношений с другими («Настоящий поляк является католиком — я поляк и католик — я настоящий поляк — те, кто не являются католиками, лишь приносятся поляками»), которая отражается на установках и на вариантах поведения, проявляемых в публичной жизни и во взаимоотношениях с окружающими, а как следствие, устанавливает уровень политической культуры.

Все эти стереотипные матрицы не выступают, естественно, в роли единственного фактора, который устанавливает расшифровку и распознавание значений, а также интерпретационные схемы взаимоотношений, имеющих место в публичной жизни. Тем не менее это настолько существенный фактор, что при анализе политической культуры нашего общества его никак нельзя игнорировать.

### **Политическая культура как фактор, тормозящий агрессию и насилие в публичной жизни<sup>1</sup>**

Политическая культура придает форму различным взаимоотношениям, которые возникают в сфере политики. Она служит также в качестве инструмента предварительного индивидуального или коллективного определения партнера этого взаимоотношения в категориях друга, союзника, нейтрального лица, конкурента или врага. Перечисленные здесь категории для определения «другого» укладываются в некоторую шкалу — от сильной положительной эмоции через эмоционально нейтральную реакцию и вплоть до сильного отрицательного аффекта. Можно сформулировать следующий тезис: чем ниже политическая культура, тем выше вероятность определения «другого» в категориях, обладающих негативной эмоциональной окраской, поскольку концентрация на

---

<sup>1</sup> В этом разделе содержатся фрагменты моего текста «Агрессия в политике», опубликованного в сборнике: L. Jurasz-Dudzik (red.). Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne (Л. Юраш-Дудзик (ред.) Человек и агрессия. Высказывания о ненависти и насилии. Междисциплинарная трактовка). Варшава : Sic!, 2002. — *Авт.*

сиюминутных частных интересах (что типично для низкой политической культуры) склоняет к восприятию «других» именно в категориях конкурентов, а возможно, даже врагов, тогда как принятие во внимание среди целей своей активности еще и элементов общего блага (что, в свою очередь, типично для более высокой политической культуры) склоняет к восприятию других в категориях союзников, а возможно, даже друзей.

Когда уровень политической культуры склоняет акторов публичной жизни к определению других акторов в категориях отрицательных эмоций (недоброжелательности или ненависти), то во взаимоотношениях с другими участниками публичной жизни увеличивается вероятность применения агрессии (символической или даже реальной, переходящей в физическое насилие).

Отталкиваясь от традиции Гоббса, можно констатировать, что агрессия является на протяжении человеческой истории столь обыденной спутницей политики, что трудно было бы обнаружить какой-нибудь исторический момент, некий «золотой век», в котором этот альянс бы отсутствовал. Как пишет Конрад Лоренц, «человечество не потому агрессивно и готово к борьбе, что оно распадается на враждующие между собой лагеря, — наоборот, его структура такова именно потому, что она создает стимулирующую ситуацию, необходимую для высвобождения реакции социальной агрессивности» (Lorenz, 1975: 346). Ведь человек по природе своей агрессивен, и природа же путем селекционного давления<sup>1</sup> эволюции наделила его различными механизмами для торможения агрессии по отношению к «своим». Однако естественные тормоза агрессивности, как отмечают биологи, не слишком сильны, и дело обстоит таким образом по той причине, что человек не был оснащен клыками, когтями или смертоносным ядом, так что, даже проявляя агрессию в отношении своих сородичей, он не мог причинить им слишком большого вреда. Если бы у хищников существовали столь же слабые тормоза внутривидовой агрессии, как у первобытного человека, то они наверняка взаимно истребили бы друг друга. Однако первобытный человек перешагнул границы животного мира и, в частности, изобрел оружие. Как пишет Лоренц: «Едва только изобретение искусственного оружия внезапно создало совсем новые возможности убивать, наступило полное нарушение ранее существовавшего равновесия между

<sup>1</sup> Понятие «селекционное давление» принадлежит К. Лоренцу.



относительно слабым торможением от агрессии и способностью убивать своих соплеменников. Человек оказался в таком положении, в которое попал бы какой-нибудь вид голубей, жестокой шуткой природы наделенный клювом ворона. <...> Посему в истории человечества первое творческое деяние, которое возникло из нравственного чувства долга, заключалось в восстановлении утраченного равновесия между вооружением и врожденным торможением перед убийством» (Lorenz, 1975: 321–322, 330). Именно в этом факторе надлежало бы искать существенные причины вступления человека на длинный и извилистый путь к умению различать добро и зло, распознавать хорошее и плохое, а затем, как следствие, к формированию первичных (и, наверное, функционально простых) моральных норм и групповых кодексов, а в результате – чувства вины и раскаяния, а также ритуалов покаяния, очищения и примирения. При взгляде через эту призму политическая культура (а вероятно, и вся культура в целом), особенно укорененные в ней основополагающие моральные принципы и нравственные устои, представляют собой субститут (заменитель) слабых от природы тормозов внутривидовой агрессии. Политическая культура налагает на человека ограничения, без которых у человечества как вида наверняка имелись бы трудности с выживанием. Исследования биологов, посвященные поведению представителей животного мира и той части нашей природы, которая берет начало из названного мира, в итоге как бы подтверждали правоту Гоббса и его формулы *homo homini lupus est* (человек человеку волк). Но человек избрал также политику, иными словами набор механизмов, которые не только регулируют, заглушают и подавляют природные агрессивные наклонности сколько-нибудь крупных людских совокупностей, но и позволяют тем, кто располагает властью, иногда запустить в ход коллективную агрессию и направлять ее в нужное русло (достаточно призвать из истории такие события, как ночь св. Варфоломея, когда в Париже в ночь с 23 на 24 августа 1572 года произошла резня гугенотов, или же *Kristallnacht* [«Хрустальная ночь»]<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> «Хрустальная ночь» – печально знаменитый еврейский погром в Германии, организованный гестапо по прямому указанию Гитлера и Геббельса в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года как ответ на убийство в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Раба, которое совершил польский студент-еврей Гершель Гриншпан после насильственной депортации в Польшу 15 тыс. немецких евреев. В ходе погрома были сожжены или разрушены все 1400 синагог страны, разграблено и уничтожено 7,5 тыс.

когда штурмовые отряды и банды Гитлера устроили резню своих оппонентов<sup>1</sup>).

Полагаю, что для ясности дальнейших рассуждений есть смысл провести различие между насилием и агрессией. Насилие часто сопровождает агрессию, но эти понятия, как известно, отнюдь не равнозначны. Дело в том, что применение насилия может быть общественно правомочным — например, в тех случаях, когда государственные институты исполняют закон. Было бы трудно каким-нибудь общепонятным способом связать этот тип насилия с агрессией. В свою очередь, агрессия необязательно должна вести к насилию — например, в том случае, когда она уже на ранней стадии сталкивается с сопротивлением жертвы агрессивных действий, причем настолько эффективным, что «агрессор» может отказать от дальнейшей агрессии, ибо оценивает ее результат как неблагоприятный для себя.

Следовательно, данная проблема — в трактовке Гоббса и его последователей — касается не какой-то социальной особенности, диковинки или тем более извращения, а такого явления, корни которого лежат в нашей животной природе и которое, стало быть, в этом смысле естественно. Можно было бы парадоксальным образом констатировать, что в политике неестественным является скорее отсутствие агрессии. А когда такое состояние случается (как правило, оно не бывает слишком длительным), это лишь означает, что в данный момент сошлись, совпали по времени и создали синергический эффект по меньшей мере два фактора: во-первых, сработали сильно интернализированные (усвоенные и привившиеся) нравственные нормы, тормозящие проявления агрессии и находящие свое выражение в принципах, которые составляют

---

принадлежавших евреям магазинов и предприятий, а также множество еврейских домов, школ и т.д. 91 еврей был убит, несколько тысяч ранены, 26 тыс. отправлены в концлагеря. На еврейскую общину Германии наложили также контрибуцию на астрономическую по тем временам сумму в 1 млрд марок «за причиненный ущерб».

<sup>1</sup> Не очень понятно, почему автор называет ни в чем не повинных и вполне законопослушных граждан Германии еврейского происхождения «оппонентами» фашистских головорезов (это не связано с какими-то особенностями польского толкования слова «оппонент», поскольку толковый словарь польского языка определяет это понятие так: «лицо, которое возражает против чего-либо, придерживается иного мнения, оппонирует; противник, обычно в дискуссии»).

фундамент политической культуры, а также, во-вторых, ни у кого из существенных акторов публичной сцены нет никакой политической заинтересованности в мобилизации агрессии собственного лагеря или более широкого круга сторонников.

В упрощенном виде можно систематизировать применение насилия таким образом, как это представлено в табл. 3.

Таблица 3

## Упрощенная систематизация насилия

Типы насилия	Легитимированное	Нелегитимированное
Организованное	Государственное	Мафиозное
Неорганизованное	Необходимая оборона	Обыкновенная преступность

Вместе с тем можно для нужд наших дальнейших рассуждений систематизировать идеальные типы агрессии таким способом, как это показано в табл. 4.

Таблица 4

## Систематизация типов агрессии

Типы агрессии	Экспрессивная	Прагматическая
«Публичная»	Символическое редуцирование статуса оппонента, разрушение его авторитета	Установки и варианты поведения, кумулирующиеся на оси власть — оппозиция
«Частная»	«Другой» как угроза, отбрасывание «другого»	Преступность

В последующих размышлениях я обхожу прагматическую преступную агрессию, нацеленную на достижение выгоды за счет «другого» («других») каким-нибудь общественно неправомерным способом. Причина в том, что эта проблематика выходит за рамки тематики настоящих рассуждений. Мы займемся поподробнее только теми проявлениями агрессии, которые можно обнаружить в нашей жизни как в ее «частном», так и в «публичном» измерении и которые каким-либо образом отражаются на публичной жизни. Разумным выглядит предположение, что если бы социальные интеракции на уровне частной жизни не были пропитаны агрессией, то и в политике либо, шире, в публичной жизни проявления агрессии встречались бы реже. Ведь политический класс представляет собой часть более широкой совокупности и переносит в политическую жизнь обычаи, нравы, культуру и способ трактовки «другого»,

вынесенные из того опыта, который им получен в частной жизни. В свою очередь, публичный характер проявлений агрессии становится фактором, который создает образцы для определенной (хотя обычно бывает трудно установить точнее, насколько большой) части общества. Таким образом, мы имеем здесь дело с очередной обрточной связью.

Агрессия может выполнять две функции: во-первых, она выражает отношение к окружению (в обобщенной форме) или к «другому» (в индивидуализированной форме), а во-вторых, бывает способом достижения поставленной цели. В первом случае мы имеем дело с экспрессивной функцией, тогда как во втором — с прагматической. Независимо от того, какие функции она должна выполнять, агрессия в политике или, шире в публичной жизни всегда имеет ясную направленность! Другими словами, чтобы можно было осмысленно говорить об агрессии, должен существовать объект агрессии, «другой» (или «другие»). Никак и никуда не направленная агрессия — это безумие, которым мы здесь заниматься не станем.

А теперь взглянем с обрисованной ранее точки зрения на польскую политику периода системной трансформации. Кто в Польше является объектом агрессии в первую очередь? Политики, а временами весь политический класс в целом. Политики чаще всего испытывают агрессию либо со стороны других политиков, либо со стороны каких-то человеческих совокупностей, интересам которых угрожает проводимая ими политика.

Демонстрации рабочих с заводов, стоящих перед угрозой банкротства, на которых скандирование эпитетов вроде «воры», «бандиты» и т.п. считается чем-то вполне обыденным, служат, быть может, наиболее тривиальной иллюстрацией экспрессивной формы агрессии в политике. Иногда такое внешнее выражение агрессии идет дальше и из манифестирования своих позиций и установок перерастает в различные формы агрессивного поведения, которые тоже в значительной мере сохраняют свои экспрессивные, чисто символические функции (сжигание чучел известных политиков, осквернение государственной символики), но — когда потенциал фрустрации очень высок — приносят также зримые плоды в виде прямой, непосредственной агрессии, выражающейся обычно в физических столкновениях с силами правопорядка. Можно рискнуть тезисом, что агрессия в публичной жизни (равно как и в частной жизни тоже) тем чаще выбирается

в качестве способа разрядить фрустрацию и дать ей выход, чем шире распространен авторитарный менталитет и чем он сильнее. Исследования показывают, что в польском обществе авторитарные установки отчетливо присутствуют, причем не только среди низших классов (*Koralewicz, 1993*). Если данный тезис справедлив, то источники той агрессии, которая столь распространена в межличностных и политических контактах, следовало бы искать именно в авторитарных установках, отчетливо наблюдаемых в польском обществе как во времена ПНР, так и после изменения системы в 1989 году.

Напрашивающейся схемой интерпретации таких вариантов поведения мог бы послужить известный в психологии с давних пор механизм разрядки и успокоения накопленной фрустрации через агрессию. Данные, полученные в результате опросов общественного мнения (*Strzeszewski, Zagórski, 2000*), указывают на существование в нашем обществе обширных пластов фрустрации, причина которых усматривается в социальных издержках системной трансформации, в ее высокой цене. Эта фрустрация наблюдается практически среди всех социальных категорий, хотя ее интенсивность, естественно, наиболее велика среди тех категорий, которые ощущают себя объектом особенно сильной угрозы со стороны нарастающих изменений, а максимальна она у таких категорий граждан, чья позиция на местном рынке труда совсем слаба.

Как уже я упоминал, фактором, тормозящим естественную агрессию или придающим ей ритуализированные формы, выступает политическая культура. Благодаря политической культуре, благоприятствующей релятивизации собственных соображений по отношению к аргументам и соображениям «другого» (определенного политика, политической группировки или даже всего политического класса в целом), возрастает «диалогичность» политики и уменьшается пространство манифестирования экспрессивной агрессии; вместе с тем агрессия, носящая прагматический характер, ритуализируется в соответствии с некоторыми принципами, одобряемыми и принимаемыми всеми существенными акторами публичной жизни, и в итоге становится привычным, а следовательно, предсказуемым элементом политической игры.

Соглашаясь на некоторые упрощения, мы можем в этой ритуализированной прагматической агрессии отыскать механизмы, которые функционировали уже в племенных обществах и элементы которых — как учит биология — мы находим в формах поведения

многих видов животных: деление на «своих» и «чужих», борьба за места жирования и за охотничьи территории (которая в современной политике преобразуется в борьбу за власть и за влияние в массах), стигматизация противника и применение двойных стандартов поведения — благоприятных для «своих» и стигматизирующих «чужих» (в животном мире функцию, которая позволяет отличать «своих» от «чужих», выполняет прежде всего запах, а иногда еще и окраска, в мире политики — политическая окраска, а также некий *esprit de corps* [корпоративный дух]). Эти рассуждения ведут к формулированию тезиса, что межвидовая агрессия представляет собой естественное состояние, унаследованное в процессе эволюции как самим человеком, так и создаваемыми им общностями. В современной политике эти «видовые» отличия выделяются обычно с помощью политической окраски и все реже — через политическую биографию.

В последнее время можно также заметить проявления агрессии, относящиеся к бессубъектной власти, т.е. скорее к власти правил или институтов, нежели конкретных людей или строго определенных политических группировок. Наглядной и выразительной иллюстрацией данной тенденции являются беспорядки, устраиваемые противниками глобализации (в Сиэтле, Праге или Давосе). В этом случае особенно трудно дать определение персональных объектов агрессии, так что вспышки агрессии носят чаще всего экспрессивный характер. Если мы примем в качестве исходной предпосылки, что в современном усложненном и все более глобальном мире бессубъектная власть распространяется все шире, то можем ожидать, что будут также усиливаться и проявления агрессии, вызванные ее деятельностью.

Наблюдение за польской политической сценой ведет к малооригинальным, в сущности, выводам. Во-первых, агрессия является естественным элементом политики, а ее присутствие становится заметным в большей или меньшей степени в зависимости от силы воздействия тех факторов торможения, которые встроены в политическую культуру. Во-вторых, агрессия в политике, как представляется, коррелирует с относительно широко распространенным авторитарным менталитетом. В-третьих, агрессия, направленная на бессубъектную власть, чаще всего носит экспрессивный, а не прагматический характер, и так происходит по той причине, что ей сопутствует когнитивная беспомощность в обозначении персонифицированного объекта агрессии.

## Социальный капитал и политическая культура

Исходной точкой дальнейших рассуждений является теория социальной структуры, сформулированная Пьером Бурдьё (*Bourdieu*, 1984), а особенно введенная в эту теорию концепция капитала. Говоря упрощенно, социальная структура – в трактовке Бурдьё – описывается с помощью метафоры многомерного пространства, в котором перемещаются индивиды, занимаясь поиском как можно лучших позиций для себя и своих близких. Темп, направление, а также диапазон этих перемещений (или странствий) зависит от того, насколько данный индивид наделен разнообразными «капиталами». Бурдьё выделяет по меньшей мере четыре типа таких капиталов: 1) экономический; 2) культурный; 3) социальный; 4) символический. Говоря с максимальной краткостью, экономический капитал определяется состоянием владения каким-то имуществом либо текущим уровнем зажиточности. Культурный капитал связывается с когнитивными компетенциями индивида, и относительно лучше всего он выражается уровнем образования. Социальный капитал, в свою очередь, представляет собой запас личных знакомств; другими словами, это расположение данного индивида в сети формальных и неформальных социальных отношений, наличие у него знакомств с надлежащими людьми или принадлежность к определенным разновидностям социальной среды. Наконец, символический капитал – это умение конвертировать свой культурный или социальный капитал в капитал экономический, иначе говоря в материальные выгоды и в доход.

Мы не будем детально заниматься теорией Бурдьё, а если она и упоминается здесь, то потому, что вдохновила многих специалистов на их собственные исследования различных факторов, задающих шансы индивида как в системе социального неравенства, так и в публичной жизни, а также в политике, понимаемой как борьба за власть и влияние. В связи с указанными разнообразными способами применения концепция социального капитала определяется по-разному. Например, эту концепцию творчески развивал Джеймс Коулман (*Coleman*, 1988), который заметил, что социальный капитал является не столько атрибутом самих индивидов, сколько свойством взаимоотношений между индивидами. Коулман включил в границы данного понятия такие составные элементы, как обязательства перед группой, доверие, нормы и санкции

(*Paxton*, 2002: 256). Концепция капитала была в модифицированной форме применена и в исследованиях по формированию элит в Центральной и Восточной Европе после падения коммунизма (*Szelenyi, Treiman, Wnuk-Lipiński*, 1995). Ее использовали также при исследованиях демократии (*Paxton*, 2002). Относительно широкий обзор различных способов применения концепции социального капитала, а в связи с этим разных определений данного понятия можно найти в работе (*Lamont, Lareau*, 1988).

Для употребления в дальнейших рассуждениях определим социальный капитал как инвестирование в ресурсы, а также использование уже существующих ресурсов в социальных взаимоотношениях для получения ожидаемой отдачи. Таким образом, социальный капитал может быть концептуализирован как, во-первых, количество и/или качество привилегированных ресурсов, к которым социальный актор (индивидуальный или групповой) располагает доступом и которые может использовать через, во-вторых, свое расположение в сети социальных связей и взаимоотношений (*Lin*, 2000: 786). Вслед за Памелой Пакстон (*Paxton*, 2002: 256) мы можем выделить два измерения социального капитала: во-первых, объективное существование связей между людьми (без сети таких связей, например в крайне атомизированном обществе, реализовать социальный капитал и воплотить его в жизнь невозможно), а во-вторых, в составе общего набора связей должен существовать их особый подкласс, характеризующийся предположением о взаимности (типа «если я помогу тебе, то в другой ситуации ты поможешь мне»), доверием и позитивной эмоциональной ангажированностью.

Однако с точки зрения политической культуры или, шире, культуры гражданской социальный капитал имеет двусмысленный статус. С одной стороны, живые социальные взаимоотношения, доверие, обоюдность оказываемых услуг и сотрудничество создают основания для культивирования гражданских добродетелей и повышения уровня политической культуры. С другой стороны, взаимоотношения такого типа могут иметь место только в такой группе, которая изолируется от более широкого сообщества, трактуя его как чуждое или даже прямо-таки враждебное окружение. В подобном случае мы имеем дело с чем-то таким, что ранее определяли названием «аморального коллективизма». Отношения с внешним социальным миром наполнены здесь недоверчивостью или враждебностью, а также убежденностью в том, что идеи,



поступающие из этого внешнего мира, представляют собой угрозу для единства, сплоченности и идентичности такой самоизолирующейся группы, а это нарушает нормальный публичный дискурс. В подобной ситуации взаимоотношения с внешним окружением бывают также насыщены агрессией.

Чтобы решить, какое из этих двух значений имеет социальный капитал, нам необходимо установить, какой характер носит та группа, через посредство которой индивид участвует в публичной жизни. Для этой цели удобна типология, предложенная Патнэмом (*Putnam, 2000*). Он поделил коллективных акторов публичной сцены на две категории: 1) объединения, которые связывают своих членов с другими коллективными акторами публичной сцены через союзы с другими объединениями; 2) объединения, которые изолируются от более широкого окружения, зато внутри их спаивает сильная эмоциональная связь. Те, что принадлежат к первому типу, выполняют медиационную функцию между своими членами и более широким сообществом. Объединения второго типа отделяют своих членов от более широкого сообщества и создают такие ниши, где доверие и эмоционально позитивные взаимоотношения ограничиваются исключительно членами того же самого объединения и не переносятся на взаимоотношения с внешним окружением. По мнению Пакстон, «можно ожидать негативных последствий для демократии, если высокое доверие и интенсивность взаимоотношений внутри групп сопровождается низким доверием и слабой интенсивностью взаимоотношений между группами» (*Paxton, 2002: 259*). Если, однако, высокое доверие внутри групп, а также имеющая там место высокая интенсивность взаимоотношений переносятся на аналогичные установки и контакты с другими группами, то мы можем ожидать позитивных последствий для демократии и живого гражданского общества.

В каждом обществе можно отыскать группы, относящиеся к первой («открытой») или второй («закрытой») категориям. Для политической культуры определенного общества имеет значение пропорция между этими двумя разновидностями объединений. Если доминируют объединения второго рода, то уровень политической культуры такого общества будет ниже, а климат для культивирования гражданских добродетелей — менее благоприятным. При таком положении в публичной жизни доминируют партикуляризмы, а во взаимоотношениях между объединениями, а также в отношениях к институту государства наблюдается отсутствие

доверия и даже враждебность, а вместе с ней — агрессия. Если, однако, доминируют объединения первого рода («открытые»), то климат благоприятен для культивирования гражданских добродетелей, взаимоотношения между разнообразными объединениями служат основанием для построения доверия, которое выходит за границы того или иного конкретного объединения, а принятие во внимание в действиях отдельных объединений не только собственного частного интереса, но также более широкого интереса всей общности становится более правдоподобным.

### Политическая алиенация

Алиенация, если формулировать с максимальной краткостью, означает обособленность, отчужденность, отсутствие идентификации хоть с какой-нибудь областью социальной жизни, ощущение чуждости по отношению к общественным институтам и механизмам, к правилам, управляющим коллективной жизнью, к выполняемой работе, к группе, в которой индивид ранее состоял полноправным членом, или даже чувство отчуждения по отношению к самым близким: к родственникам, семье, друзьям. Этот термин, который сделался популярным благодаря Гегелю, а позднее благодаря Марксу, стал полезным аналитическим инструментом, служащим для исследования возрастающей дистанцированности, а в конечном итоге — чувства полного отсутствия идентификации со многими областями коллективной жизни. Таким образом, алиенация — это общее понятие, которое может означать много разнообразных общественных явлений, характеризующихся таким общим для них свойством, как возрастание чувства отчужденности в социальных взаимоотношениях. Мы займемся тем фрагментом алиенации, который касается публичной жизни, а особенно ее политического измерения. Понятие алиенации даже в случае такого сужения не теряет своего многомерного характера. Поэтому и в литературе мы тоже встречаем много разных его значений. Сосредоточимся только на двух основных из них, которые относятся к явлениям, оказывающим влияние на форму публичной жизни. Вслед за работой (*Mason, Hose, Martin, 1985: 113*) можно выделить алиенацию власти и алиенацию системы. К примеру, Лейн, к которому обращаются три упомянутых автора, определяет политическую алиенацию как «чувство отъединения, обособленности индивида от политики и правительства <...> как чувство отсутствия

идентификации. Это нечто большее, чем отсутствие заинтересованности, — это отвержение» (*Lane, 1962: 161*). В свою очередь, Шварц (*Schwartz, 1973: 7*) считает, что основным значением политической алиенации является отъединение, обособленность от политической системы, или, другими словами, отсутствие у индивида всякого отождествления с этой системой. Таким образом, мы имеем здесь дело с двумя отдельными разновидностями политической алиенации. Первая появляется на стыке власть — гражданин, тогда как вторая — на стыке гражданин — общественная система.

Первое понимание политической алиенации отождествляется с полным отходом от политики, но Лейн, похоже, связывает это с отвержением правительства. Такое понимание алиенации очень близко к тому, что сегодня трактуется в политологических исследованиях как разочарование политикой вследствие низко оцениваемого функционирования правительственной машины, возможно — как отказ от прежней легитимации определенной структуры власти или даже всего правительства в целом. Это отнюдь не обязательно должно быть равнозначным отвержению тех принципов системы, которые послужили основой для создания определенного правительства. Стоит добавить, что алиенация гражданина по отношению к власти часто сочетается с противоположным явлением, а именно с обособлением власти от общей совокупности граждан. Так происходит в тех случаях, когда политический класс или как минимум большая его часть, теряет чувствительность к проблемам, которыми живет общество, поскольку эти политики слишком заняты собственными проблемами. Такое явление ведет к гражданской демобилизации и, как следствие, к алиенации гражданина от власти, но первичный импульс становится началом отчуждения власти от общества. С таким явлением мы особенно часто имеем дело в странах с авторитарным строем. При коммунистическом строе алиенация власти была широко распространенным явлением, которое даже находило выражение в живописном определении, что «власть оторвалась от масс». Если не считать исторически кратких периодов кризиса и перелома, когда новая команда коммунистических властителей получала немедленную поддержку граждан (например, Гомулка в октябре 1956 года или Герек в начале 70-х годов), алиенация власти была настолько устойчивым явлением, что ее можно рассматривать в качестве своеобразной характерной черты тогдашней системы. Алиенация власти случается и в демократических системах, но эти системы оснащены регулирующим

механизмом, благодаря которому алиенация власти не может продолжаться там слишком долго, и в связи с этим она, как правило, не ведет к алиенации граждан от всей системы. Таким механизмом служат циклически повторяющиеся конкурентные всеобщие выборы, благодаря которым правительства и правящие, испытывающие алиенацию, элиминируются из структур власти.

При втором понимании алиенации речь идет об отчужденности и обособлении от общественно-политической системы, иными словами о трактовке этой системы как чужой. Особое усиление алиенации второго типа можно было наблюдать в Польше, а позднее и в других странах советского блока на конечной стадии коммунизма. Многочисленные исследования польских социологов, проводившиеся в 80-х годах, дали результаты, которые можно интерпретировать в категориях алиенации от тогдашней системы, а самым сильным показателем такого рода алиенации были результаты контрактных выборов после Круглого стола в июне 1989 года.

Данная разновидность алиенации порой встречается также и в некоторых сегментах демократического общества. Разумеется, уровень такой алиенации бывает исторически переменчивым и зависит от достигнутых экономических результатов, а также от инклюзивности («включаемости») и эффективности всей системы. Тем не менее отчужденности от системы вполне можно ожидать, особенно среди исключенных и маргинализированных сегментов общества. Чем такие сегменты крупнее, тем сильнее алиенация от демократической системы. Можно сформулировать тезис, что модель демократического опекающего государства всеобщего благосостояния, присутствующая ныне в большинстве европейских демократических стран, способствовала понижению уровня политической алиенации от системы, хотя и не исключила ее полностью.

## ГЛАВА 8

# ЦЕННОСТИ, ИНТЕРЕСЫ И ИДЕОЛОГИИ

### Введение

В жизни каждой человеческой совокупности функционируют две системы соотнесений, по которым мы регулируем наши жизненные установки и варианты поведения: 1) моральные нормы; 2) утилитарные правила обращения и деятельности. В публичной жизни эти соотнесения приобретают особое значение, поскольку они выходят за пределы уровня малых групп и формируют взаимоотношения между индивидуальными и групповыми акторами, функционирующими в публичном пространстве. Иногда они взаимно подкрепляют друг друга, однако чаще действуют в расходящихся направлениях, когда одна система соотнесений склоняет актора проявить определенную установку или предпринять какое-то действие, тогда как вторая тормозит эту установку или форму поведения. Первая система соотнесений представляет собой собрание норм, благодаря которым актер оценивает свою установку или поведение в категориях моральной правильности и нравственного благородства, а ее содержание составляют принципы, которые укоренены в системе ценностей данного актора и которые он считает важными и обязательными для себя. Их нарушение ведет актора к риску подвергнуть себя общественным санкциям, а в индивидуальном измерении оно может породить чувство вины. Вторым регулятором служит система утилитарной «аттестации», на основании которой актер классифицирует свои жизненные установки или формы поведения с точки зрения собственного интереса. Оценка, что данное поведение будет выгодным, склоняет заняться его проведением в жизнь, тогда как оценка, что это поведение окажется с указанной точки зрения невыгодным, заставляет отказаться от его реализации. Проявление таких установок или использование таких вариантов поведения, которые противоречат указанному механизму оценки, ведет актора к ощущению ущербности.

Теоретически мы можем выделить две ситуации, в которых названные регуляторы взаимно подкрепляют друг друга, а также две ситуации, где они действуют в расходящихся направлениях (табл. 5).

Таблица 5

**Вероятность появления разных установок и вариантов поведения в соответствии с утилитарной и аксиологической шкалами оценок**

Утилитарная шкала оценок	Аксиологическая шкала оценок	
	Добропорядочные	Бесчестные
Выгодные	Высокая	?
Невыгодные	?	Низкая

Когда мы оцениваем некоторое поведение одновременно как добропорядочное и вместе с тем выгодное, вероятность его материализации высока, а когда мы оцениваем поведение как невыгодное и бесчестное, вероятность такого поведения близка к нулю. И в первом, и во втором случае оба регулятора действуют в одном направлении и взаимно подкрепляют друг друга. Все это тривиальные утверждения, и вспоминаю я о них исключительно для порядка. Более интересна с познавательной точки зрения такая ситуация, когда названные регуляторы действуют в противоположных направлениях. С подобной ситуацией мы имеем дело в тех случаях, когда какая-то форма поведения или установка оценивается нами как выгодная, но бесчестная или же как невыгодная, но добропорядочная. Именно такие, взаимно перечеркивающиеся шкалы оценок чаще всего и регулируют деятельность как индивидуальных, как и коллективных акторов публичной жизни. В дальнейшей части данной главы мы постараемся подробно разобрать проблему, каким образом индивид справляется с подобной конфликтной ситуацией. Вместе с тем это рассмотрение послужит исходной точкой для того, чтобы подойти к основной теме последующих рассуждений, а именно к анализу роли ценностей и интересов в функционировании публичной жизни.

В публичной жизни функционируют бок о бок два измерения, являющиеся областью действия тех двух регуляторов установок и поведения, которые упоминались ранее. Первое из этих измерений можно назвать аксиологическим, ибо в его пределах функционируют разнообразие иерархии ценностей, модифицирующие публичную экспрессию (внешнее выражение) каких-то установок

или форм поведения. Второе измерение охватывает утилитарный подход к демонстрируемым публично установкам и вариантам поведения, которые диктуются как-либо определенным интересом (индивидуальным и/или групповым). Как мы увидим позже, четкое определение групповых интересов и в качестве следствия установление того, что выгодно, а что невыгодно в данной общественной ситуации, является довольно сложным социальным процессом. Особые сложности появляются в условиях радикального системного изменения, когда установленные ранее определения интересов, относительно хорошо приспособленные к старой системе, после их перенесения в новую систему становятся неадекватными, а стратегии их достижения — сомнительными и ненадежными.

Взаимоотношения между акторами публичной жизни формируются как раз на почве взаимного воздействия двух указанных измерений публичной жизни. На эти взаимоотношения можно смотреть как на динамичный процесс согласования **требований, претензий и притязаний** (аксиологических или утилитарных) **отдельных акторов**. Чтобы эти требования и претензии обрели больший вес в процессе их публичного согласования и вместе с тем получили бы поддержку в качестве правильных и справедливых по меньшей мере у какой-то заметной части общества (иными словами, чтобы они получили общественную легитимацию), создаются более или менее сложные идеологические системы, которые придают смысл указанным притязаниям и требованиям. Этот смысл иногда реален, иногда утопичен. Независимо от того, имеют ли требования реальный смысл или утопический, они в состоянии активизировать и мобилизовать хотя бы некоторую часть гражданского общества. Указанная мобилизация сосредотачивается вокруг определенной идеологии и благодаря этому создает политический факт, влияющий на ту систему сил, которая образуется в публичной жизни.

Идентифицирование требований и притязаний в терминах идеологических предпосылок требует представить здесь идеологии, которые функционировали в публичном пространстве на протяжении минувшего столетия и сегодня. Разумеется, это не будет углубленным описанием разнообразных идеологических систем; подобное предприятие выходило бы далеко за рамки настоящего учебника. Отдельные конкретные идеологии будут представлены таким способом, чтобы это давало возможность реконструировать

притязания, приверженности и требования сторонников этих идеологий, вносимые в публичный дискурс.

В конце будет вкратце представлен процесс возрождения идеологии после падения коммунистической системы, которая блокировала внятное артикулирование требований и притязаний в публичной жизни.

### **Аксиологическая сфера публичной жизни (ценности)**

В публичной жизни можно аналитически выделить две сферы, которые совместно формируют варианты поведения акторов публичной сцены (индивидуальных и коллективных). Во-первых, это сфера функционирования ценностей, а во-вторых, сфера функционирования интересов. Эти две сферы обоюдно связаны между собой многообразными взаимоотношениями, которые часто носят противоречивый характер, что ведет к конфликтным ситуациям (речь об этом пойдет в дальнейшей части данной главы). Рассмотрим вначале аксиологическую сферу, иначе говоря то пространство публичной жизни, в котором функционируют ценности.

Ценности — это полисемичное (многозначное) понятие, что не представляет собой ничего особенного в общественных науках. Многообразные значения, придаваемые данному понятию, связываются с различными целями исследований, а иногда и с различающимися теоретическими точками зрения, равно как и с разными подходами, в рамках которых употребляется такая категория, как ценность. Когда мы, однако, используем это понятие в частных разговорах или публицистике, у нас складывается впечатление, что мы знаем, о чем говорим, и поэтому, в общем-то, не ощущаем потребности в точном его определении. Но, когда мы применяем данное понятие к научному анализу, нельзя полагаться на языковую интуицию, которой вполне достаточно при обыденном, повседневном общении, поскольку различия в смысловых нюансах могут вести к серьезным недоразумениям. Поэтому академический подход требует в меру четкого и точного определения того смыслового диапазона, который приписывается данному понятию в определенном теоретическом контексте. И здесь начинаются трудности, так как интуитивно очевидное смысловое значение начинает размываться, а те или иные конкретные определения, правда, обостряют и подчеркивают какой-то конкретный аспект



того явления, которое мы пробуем дополнительно уточнить, но обходят другой или другие аспекты. Жубер (*Joubert*, 1992: 25) смог насчитать целых двадцать пять значений данного понятия, и при желании этот перечень наверняка удалось бы расширить.

Самое классическое определение ценности исходит от Томаса и Знанецкого (*Thomas, Znaniecki*) (см.: *Ziółkowski*, 2000: 55). Согласно этому определению ценность — это «всякий предмет, обладающий эмпирическим содержанием, которое доступно членам социальной группы, а также значением, вследствие которого он является или может являться объектом деятельности»<sup>1</sup>. Штомпка определяет понятие «ценность» как комплементарное (взаимно дополнительное) по отношению к понятию «культурная норма». Он пишет: «...такие правила, предметом которых являются способы или методы действия, а также средства, применяемые для достижения цели, мы назовем культурными нормами. <...> В то же время такие правила, предметом которых являются цели действия, мы назовем культурными ценностями. Они говорят нам, какие цели принадлежат к числу достойных, правильных, надлежащих. Если сформулировать это несколько иначе, ценности указывают, к чему люди должны стремиться, а нормы — как они должны к этому стремиться. Примерами ценностей, типичных для нашего времени, или, выражаясь иначе, примерами целей действия, одобряемых, принимаемых или поддерживаемых в нашей культуре, будут: высокий уровень жизни, солидное имущество, состояние, слава, образование, высокая физическая готовность, здоровье» (*Sztompka*, 2002: 259). Однако такой способ трактовки ценности — как признает сам автор — является лишь одним из многих возможных, и он связывает в одну понятийную категорию как минимум два уровня иерархии ценностей: аутотелические, а также инструментальные (*Kłoskowska*, 1981: 196). Аутотелические

---

<sup>1</sup> В обширной работе сотрудников МГУ А. Гапжи и А. Зотова «Гуманистическая социология Флориана Знанецкого» (<http://ecsocman.hse.ru/data/671/235/1218/019Ganzha.pdf>, с. 117) дается прямой перевод этого определения из монографии Томаса и Знанецкого. См.: *Thomas W., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America («Польский крестьянин в Европе и Америке»)*. Vol. 1. 2nd ed. N. Y., 1927. P. 21. Там указано, что социальная ценность определяется как «данность, обладающая доступным для членов социальной группы эмпирическим содержанием и тем значением (meaning), в отношении которого она является или может являться объектом деятельности».

(имеющие цель в самих себе, самодовлеющие) ценности — это такие данности, цели или желательные состояния вещей, которые ценны сами по себе и к которым стремятся благодаря им самим. Инструментальными же являются те ценности, которые служат для достижения других ценностей, составляющих основную цель определенного устремления. Довольно похожее различие проводит Хехтер (*Hechter*, 1992: 216); он выделяет инструментальные и имманентные (внутренне присущие) ценности. Деятельность на основании инструментальных ценностей нацеливается на увеличение имеющихся у актора обменных ресурсов, т.е. таких ресурсов, которые можно обменять на широкий спектр желательных благ. В каждом обществе существует широкий консенсус по поводу инструментальных ценностей, поскольку этот консенсус допускает в меру гладкие и эффективные трансакции обмена между членами данного общества. В то же время имманентные ценности совсем не обязательно должны принадлежать к числу широко разделяемых и, в общем-то, не являются таковыми. Они составляют — причем именно потому, что не являются средствами для достижения других целей, а представляют собой цель сами по себе, — основание для индивидуализации социальной жизни личности.

Ценности понимаются как критерии, которые служат для ориентации действующих личностей в отношении к широко понимаемым объектам. Другими словами, они функционируют как принципы, в соответствии с которыми совершается выбор из многих альтернатив (*Parsons*, 1972: 514, *passim*). Ценности являются моральными убеждениями, к которым люди обращаются, чтобы окончательно обосновать свое действие (*Spates*, 1983: 28). Таким образом, когда мы говорим о ценностях, то, в общем, имеем в виду, как правило, взаимоотношения действующего субъекта с какими-то элементами окружающего его социального мира. Как пишет Клоковская: «Ценность может пониматься или как сам принцип выбора и способа оценивания предметов (как у Парсонса и Штомпки. — Э. В. Л.), или как процесс соотнесения с ними, или же как сам предмет, оцениваемый через призму этого процесса» (*Kłoskowska*, 1981: 175). На этот реляционный аспект ценности обращает также внимание Зюлковский (*Ziółkowski*, 2000: 55).

В этом месте есть смысл вслед за Хехтером (*Hechter*, 1992: 215) провести различие между ценностями и нормами, поскольку оба эти понятия будут далее часто употребляться. Ценности — это устойчивые и внутренние критерии оценки, тогда как нормы,

которые тоже относительно устойчивы и тоже служат критериями оценок, являются по отношению к индивиду внешними, а их эффективное функционирование — в отличие от ценностей — требует общественного санкционирования.

Бывают в жизни обществ такие исторические моменты, когда ранее относительно интегрированная, цельная и стабильная система ценностей подвергается эрозии, распадается и лишает действующих субъектов того социального компаса, по которому они ориентируют свои действия, а также подвергают их оценке. Такое явление случается не часто; как правило, оно сопровождается глубокими социальными переменами (например, революции), когда старый общественный порядок вместе со всеми его нормативными основаниями уходит в историю, а нормативные основания нового, пока лишь формирующегося общественного порядка еще не до конца выкристаллизовались. Когда в такие моменты значительную часть общества охватывает аксиологическая дезориентация, данное состояние мы вслед за Дюркгеймом называем **аномией**.

После этих необходимых понятийных разграничений вернемся к основной линии наших рассуждений, иными словами к описанию аксиологической сферы публичной жизни. Чтобы публичная сфера не была сценой, на которой царит хаос, ее акторы — индивидуальные и коллективные — должны в своих действиях учитывать тот аксиологический фундамент, на который опирается публичная жизнь. Этот фундамент представляет собой собрание основных ценностей (достойных, добропорядочных целей), а также норм (добропорядочных и достойных средств достижения указанных целей), благодаря которым акторы могут ориентироваться, поступают ли они правильно или же ошибочно. Парсонс называет все это «идеальным, высшим образцом ценностей» (*Parsons*, 1972: 514). Часть этого нормативного порядка кодифицирована в форме писаных законов (во главе с конституцией), тогда как другая часть функционирует в статусе неформального обычая. Здесь стоит добавить, что такой способ теоретизирования иногда оспаривается и ставится под сомнение, особенно на почве теории рационального выбора. Примером такого отличающегося подхода является теоретическая модель рационального выбора, описанная Хехтером и Каназавой (*Hechter, Kanazawa*, 1997). Указанная модель опирается на предположение, что люди предпринимают свои действия по какой-то причине, а их поведение предсказуемо лишь в тех случаях, когда нам известны его мотивы. Люди могут

действовать потому, что стремятся отыскать максимальное количество обменных видов частных благ, прежде всего таких, как богатство, но в некоторых пределах это могут также быть власть и престиж. Шире всего пользуется признанием и ценится богатство, поскольку оно обладает высокой меновой ценностью, благодаря которой можно достигнуть на рынке многих других желательных благ. Индивиды могут также ценить необменные блага (например, музыку Моцарта, средневековую живопись или спортивные соревнования). Следовательно, поведение индивида непредсказуемо без знания индивидуальной системы ценностей. Однако в сколько-нибудь большой группе вышеназванные уникальные, сугубо индивидуальные системы ценностей, составляющие основание всякого индивидуального действия, взаимно погашаются. Чем больше численность группы, тем сильнее взаимно погашаются эти индивидуализированные системы ценностей. Остаются лишь ценности, общие для всей группы, которые могут служить основанием для довольно точных предвидений человеческого поведения на коллективном уровне (*Hechter, Kanazawa, 1997: 195*). Такова концепция, которая старается истолковать, разъяснить и сохранить основные принципы и предположения теории рационального выбора, особенно такие предположения о человеческой природе, которые позволяют строить теоретические модели. В указанной теории те индивидуализированные системы ценностей, которые играют решающую роль для неповторимости или уникальности каждой человеческой личности, в большой массе людей стираются — точно так же, как неидентичные свойства определенного вида животных, взаимно гасящие и упраздняющие друг друга. Следовательно, общим знаменателем, позволяющим описать совокупность людей с данной точки зрения, являются их совместные качества и свойства, которые умножаются в отдельных субъектах. Существуют сильные эмпирические аргументы, говорящие в пользу такой теоретической позиции. Тем не менее они не настолько неопровержимы, чтобы признать, что в доминирующей (иначе говоря, общей для многих) системе ценностей могут присутствовать только инструментальные ценности, которые представляют собой средство для реализациям индивидуализированных, а следовательно, неповторимых, имманентных ценностей. Доминирующий, или высший, образец ценностей, по терминологии Парсонса, не удастся, по моему убеждению, свести к инструментальным ценностям.

Разумеется, это не означает, что все акторы публичной жизни функционируют в соответствии с указанным «высшим образцом ценностей». Скорее напротив: индивидуальные акторы ориентируют свои действия в соответствии со своими индивидуальными системами ценностей, тогда как акторы коллективные — в соответствии с системой ценностей, разделяемой всей группой, т.е. с такой системой, которая, как правило, принимает вид групповой идеологии. Благодаря такой дифференциации демократические общества носят плюралистический характер, а публичная жизнь представляет собой пространство внешнего выражения этого плюрализма. Однако при демократии большое разнообразие индивидуальных и групповых систем ценностей — по крайней мере, формально — не выходит за пределы общих норм и ценностей, содержащихся в ранее названном «высшем образце». Разумеется, из данного правила существуют исключения. Во-первых, таким исключением являются уголовные преступники. Во-вторых, это такие общественные силы, которые, вообще говоря, не одобряют демократического порядка и его нормативных оснований и стремятся заменить его недемократической системой (например, таковы фашистские или же коммунистические силы).

### **Прагматическая сфера публичной жизни (интересы)**

Понятие «интерес» употребляется в общественных науках чаще, нежели понятие «ценность». С того времени, когда Маркс (1818—1883) ввел понятие классового интереса, эта аналитическая категория заняла прочное место в работах по анализу общественной динамики, конфликтов и во многих других областях социальных исследований. Для Маркса классовый интерес заключается в максимизации политических и экономических привилегий за счет других классов. Господствующий класс доминирует для того, чтобы лучше реализовать свои классовые интересы, часто легитимированные некой идеологией, которую этот класс стремится широко распространить на все общество. В свою очередь, интересы угнетенного класса заключаются в лишении господствующего класса его привилегий и в занятии его привилегированного места. И в данном случае тоже появляется идеология, которая легитимирует стремление угнетенного класса к свержению господствующего класса. Таким образом, при рассмотрении через эту

призму публичная жизнь представляет собой территорию конфликта классовых интересов, а борьба классов за то, чтобы занять привилегированное положение, разгоняет, раскручивает социальную динамику и обеспечивает — в длительной перспективе — общественный прогресс. Но ведь понятие интереса можно вывести не только из Марксовой традиции. Например, этим понятием пользовался, независимо от Маркса и в какой-то степени наперекор его концепциям, Вильфредо Парето (Vilfredo Pareto, 1848—1923), итальянский социолог и экономист, который развил оригинальную теорию формирования, циркуляции и падения общественных элит. Он ввел понятие объективного и субъективного интереса (Pareto, 1994: 215, *passim*), причем это различие — хотя и определяемое не так, как это делается в концепции Парето, — понадобится нам в дальнейших размышлениях.

Интересы являются одной из основных категорий во многих общественных доктринах. Принимая во внимание эту точку зрения, Весоловский (Wesolowski, 1995: 4, *passim*) выделяет три основные теоретические трактовки понятия «интерес»: 1) либеральную; 2) структуралистскую; 3) культурологическую. В либеральной трактовке интересы, во-первых, представляют собой продукт индивидуального восприятия действительности, во-вторых, они исторически изменчивы, а в-третьих, разнообразны и дифференцированы, и в демократической системе это разнообразие создает плюрализм публичной жизни. Структуралистская трактовка, типичная для марксизма, релятивизирует интересы применительно к классовой структуре, а плюрализм интересов различных общественных классов создает конфликт. В такой оптике публичная жизнь — это поле конфликта классовых интересов, или, выражаясь более кратко, «классовой борьбы». В культурологической трактовке, берущей свое начало из теоретической традиции Вебера, интересы «укоренены вдвойне: в чисто инструментальных вариантах поведения, имеющих целью выживание и благосостояние, а одновременно — в убеждениях, верованиях, идеологиях, которые придают смыслы человеческим действиям» (Ibid.: 5). Вышеуказанные объяснения позволяют уточнить значение самого понятия **интерес**.

Говоря с максимальной краткостью, интерес — это понятие, означающее ситуацию, достижение которой выгодно с какой-то точки зрения (Wnuk-Lipiński, 1994; Wesolowski, 1995). Усилия, стремящиеся к достижению такого выгодного и благоприятного

состояния, будем называть действиями, которые продиктованы интересами (явными или скрытыми). Интерес может носить индивидуальный или групповой характер. Об индивидуальном интересе мы говорим в тех случаях, когда он относится к конкретному человеку. Например, индивидуальным интересом определенного лица может быть стремление к повышению заработка на той же самой должности или отысканию лучше оплачиваемой работы. Групповой интерес появляется в тех случаях, когда достижение какого-то состояния дел выгодно (хотя и не всегда в одинаковой степени) для определенной группы людей. Интересы могут также быть классифицированы в порядке, предложенном Парето, хотя — как мы увидим позднее — подобное классифицирование порождает определенные теоретические осложнения. Таким образом, мы можем выделить интересы субъективные и объективные. Субъективные интересы — это такое состояние дел, которое, по оценке людей, выгодно или каким-то образом благоприятно для них. А вот объективные интересы — это такое состояние дел, которое выгодно или благоприятно для тех же самых людей уже с точки зрения каких-то вполне объективных мерил. Теперь попробуем более развернуто уточнить эти понятийные категории, уже не руководствуясь рассуждениями Парето. К примеру, для закоренелого курильщика табака объективный интерес состоит в отказе от курения, поскольку тем самым в долговременной перспективе его здоровье укрепится, а риск заболеть каким-либо тяжелым недугом снизится. Субъективные интересы могут, естественно, пересекаться с интересами объективными, но так случается далеко не всегда. Причина различий между субъективным и объективным интересами состоит в отличающейся совокупности тех факторов, которые формируют определение интереса.

Если мы учтем изложенные до сих пор соображения, то в результате получим четыре основных типа интересов:

- 1) субъективные индивидуальные;
- 2) субъективные групповые;
- 3) объективные индивидуальные;
- 4) объективные групповые.

Для интересов, определяемых как субъективные индивидуальные, их дефиниции устанавливаются индивидом с опорой на его собственный жизненный опыт, но они являются также результатом воздействия социального контекста. Сущность появления

такого рода интересов составляет сам процесс возникновения их дефиниции. Индивид устанавливает, что для него действительно выгодно и благоприятно, опираясь прежде всего на собственный жизненный опыт и на знание о том, что должно быть для него выгодным в определенной ситуации. Жизненный опыт учит, какие цели устремлений выгодны для индивида (отсутствие результатов по достижению этих целей ощущается как депривация) и какие варианты поведения вознаграждаются достижением вышеуказанных утилитарных целей. Знание того, какие цели выгодны для индивида и какие стратегии поведения приближают его к достижению этих целей, производно от существующего к данному моменту и отложившегося у него в памяти жизненного опыта, а также от интеракций с социальным окружением, которое служит для индивида резервуаром образцов как в смысле постановки им целей своих действий, определяемых в качестве выгодных и благоприятных, так и в смысле вариантов поведения, ведущих к достижению этих целей.

Имитация утилитарных целей, которые ставятся другими лицами из социального окружения данного индивида, равно как и имитация эффективных способов их достижения образуют собой наиболее типичное воздействие социальной среды на процесс субъективного установления индивидуального интереса.

Интересы, охарактеризованные ранее как субъективные групповые, кристаллизуются внутри социальных совокупностей, границы которых очерчены относительно резко, — иными словами, нет больших сомнений по поводу того, принадлежит ли определенный индивид к данной совокупности или же не принадлежит. Формирование групповых дефиниций интересов представляет собой процесс, еще более сложный, нежели определение интересов применительно к отдельным личностям. Ведь, с одной стороны, мы, несомненно, имеем здесь дело с агрегированием единичных субъективных дефиниций интересов (хотя у Коулмана, наверное, имелось бы на сей счет иное мнение). Но, с другой стороны, субъективно определенный групповой интерес не является простой суммой индивидуальных дефиниций интереса и даже не является их производной. Наряду с процессом согласования и агрегирования субъективно определяемых интересов отдельных членов указанной совокупности появляется и кристаллизуется интерес названной совокупности как единого целого — интерес, который представляет собой новое качество. К примеру, новым качеством явля-



ется стремление этой совокупности продержаться, сохраниться и выжить в публичной жизни. Выживание и сохранение является интересом данной совокупности уже хотя бы для того, чтобы она могла добиваться удовлетворения агрегированных интересов своих членов. Если процесс агрегирования индивидуальных интересов, которому сопутствует кристаллизация интереса группы как единого целого, будет доведен до конца, эта совокупность преобразуется в группу интересов, а ее члены в своих индивидуальных дефинициях интереса станут учитывать также интерес группы как единого целого, будучи убежденными, что такая процедура повышает вероятность удовлетворения их индивидуальных интересов через реализацию согласованного группового интереса.

Объективные интересы, а особенно способы их определения, являются предметом разногласий в общественных науках. Прежде всего стоит обратить внимание на тот факт, что было бы трудно отстоять тезис о существовании абсолютного объективного интереса — индивидуального или коллективного. Даже если мы примем во внимание просигнализированный ранее факт, что дефиниция объективного интереса может быть осуществлена с помощью объективных мерил, внешних по отношению к индивиду или группе и позволяющих рационально установить оптимум выгоды либо пользы, то все равно указанный оптимум пользы потребует, однако, релятивизировать применительно к социальному контексту. Другими словами, объективные мерилы могут быть полезны для установления этого оптимума в заданных социальных условиях, а не вообще. Когда эти условия подвергаются изменению, оптимум выгоды может оказаться отличающимся даже при употреблении тех же самых объективных мерил. Например, в условиях централизованно управляемой экономики объективным интересом всякого предприятия является как можно более выгодное позиционирование этого предприятия в центральном плане, тогда как в конкурентной рыночной экономике объективный интерес того же самого предприятия состоит в как можно более благоприятном и выгодном позиционировании на рынке. На этом, однако, проблемы не кончаются. Вышеназванные объективные мерилы тоже исторически переменчивы, ибо мы имеем дело с развитием науки и технологии, из которых как раз и вырастают такие мерилы. Нечто представлявшееся при более низком уровне знаний рациональным мериллом после какого-то переломного открытия может оказаться мериллом плохим и ошибочным. Вследствие этого

разговори об устойчивом и неизменном, иными словами абсолютном и объективном, интересе индивида или человеческой совокупности сомнительны. Чтобы подробно разобрать и в конечном итоге распутать эту дилемму, Зюлковский вводит понятие **частичного объективного интереса**, являющегося для него «таким определением выгодного состояния для одного и того же индивида или группы в данной ситуации, которое опирается на максимум знаний, какие этот индивид либо группа могли бы получить в данном историческом месте и времени. Указанный максимум знаний определяется, в частности, через текущее состояние развития естественных и общественных наук вместе с вытекающим из него знакомством с технологией» (Ziótkowski, 2000: 62).

Когда, однако, мы соотносим категорию интереса с его объективным измерением, то не можем игнорировать тот факт, что определение Зюлковского, соотносящее запас знаний, которые вытекают из развития наук, с индивидом или группой, содержит *implicite* (неявно) очень сильное предположение о человеке и социальной группе. Речь идет о допущении, что человек, зная свой объективный интерес, одобряет его и стремится к его достижению. Похожее предположение — в соответствии с этим определением — надлежало бы отнести и к человеческим группам. Как мы знаем, такое допущение дискуссионно, и примером этого служит случай людей, зависимых от какой-либо губительной для них дурной привычки. Вдобавок указанные необязательно реализованные «объективные интересы» проходят через фильтр общественных отношений. Как констатирует далее Зюлковский, «определение интересов — даже в том случае, когда оно ссылается на элементы поддающегося проверке опыта и объективной реальности, — представляет собой явление *par excellence* (по преимуществу) общественное. <...> Интерес, понимаемый как объективно выгодное состояние, является интересом не только для кого-то, но чаще всего — по отношению к кому-то; он касается не изолированного индивида или группы, а их многогранных отношений с другими людьми» (Ibid.: 64).

В завершение нашего рассмотрения следует констатировать, что не только те интересы, которые определяются субъективно, но даже интересы, формулируемые с опорой на новейшие знания, иначе говоря «объективные интересы», являются исторически меняющейся социальной конструкцией, которая представляет собой продукт многообразных взаимоотношений, осуществляющихся

в современном обществе. Этот заключительный вывод распространяется как на «объективные интересы» определенного индивида, так и на «объективные интересы» отдельных общественных групп. На этом, однако, сложности не кончаются.

Рациональность функционирования отдельных акторов социальной жизни имеет ступенчатую структуру. Рациональные действия отдельных людей с целью удовлетворения их интересов необязательно суммируются в рациональное действие группы таких людей, стремящейся к удовлетворению группового интереса. В свою очередь, рациональные действия отдельных групп, образующих собой составные части определенного общества, необязательно суммируются в макрорациональность всего общественного организма. По большей части дело обстоит скорее наоборот: частные рациональности, как правило, бывают противоречащими макрорациональности и концепция «общего блага» (о которой шла речь ранее) представляет собой как раз попытку преодолеть это противоречие.

### Конфликтные шкалы оценки — и варианты поведения и установки индивида

Овидий в «Метаморфозах» писал: «...*video meliora proboque, deteriora sequor*» («...вижу лучшее и одобряю, за худшим следую»)¹. Это изречение вводит нас в самую суть интригующей проблемы: отчего испокон веков люди разрываются между тем, что, как они сами считают, им следует делать, и тем, что они делают в действительности. Станислав Оссовский различал две категории ценностей: признаваемые и ощущаемые. Он писал: «...наряду с ценностями в их эмоциональном значении, наряду с **ощущаемыми ценностями**, иначе говоря, наряду с сущностями, действительно привлекательными для нас, в нашем сознании весьма значительную роль играют ценности, признаваемые нами, иными словами, сущности, относительно которых мы питаем убеждение, что они обладают какой-то

---

<sup>1</sup> Это слова Медеи — см.: Овидий Публий Назон. Метаморфозы. VII, 20–21 / пер. С. В. Шервинского. М. ; Л., 1937. Существует близкий к буквальному стихотворный пересказ данного выражения, принадлежащий перу М. В. Ломоносова и вложенный им в уста Демофонта, главного героя его одноименной трагедии: «Я вижу лучшее и, видя, похваляю, / Но худшему вослед, о небо, поспешаю».

объективной ценностью. <...> Мы признаём ценность какой-то сущности в том случае, когда, по нашему убеждению, эта сущность должна ощущаться как ценность» (Ossowski, 1967: 73). Уже из этой цитаты вытекает, что возможен конфликт ценностей в индивидуальном измерении, а именно конфликт между ценностями, которые, как мы считаем, нам следует высоко ставить, и теми ценностями, которые нам действительно близки. К примеру, мы можем любить приключенческую, детективную или сенсационную литературу, но читаем литературу амбициозную, качественную, потому что неудобно не знать и не ценить ее. Мы можем ценить, когда кто-нибудь посвящает себя другим людям во имя любви к ближнему, но сами, скорее всего, не проявляем никаких форм поведения такого типа, если нас не склоняют к этому явные ожидания со стороны нашего социального окружения. Подобные явления, характеризуемые иногда такими формулировками, как культурный снобизм или демонстративное проявление доброты, показывают, что согласие по поводу оценки того, какие вещи заслуживают признания, может быть довольно широко распространенным в данной среде или даже во всем обществе, но это, однако, не находит отражения в столь же широко встречающихся формах поведения, которые бы диктовались этими повсеместно признаваемыми ценностями.

В аксиологической сфере случаются также конфликты, лежащие в иной плоскости. Представим себе ситуацию, где священник в условиях, когда действует тайна исповеди, узнаёт, что кто-либо планирует причинить вред близкому ему лицу, или же другую ситуацию, когда врач стоит перед выбором: поддерживать ли жизнь неизлечимо больного человека либо отключить его от дорогого и дефицитного оборудования, которым сможет воспользоваться другой пациент, имеющий надежду на излечение. Такие ситуации, вовсе не столь уж редкие в повседневной жизни, мы называем конфликтом ценностей (не стыкующихся между собой и не допускающих сосуществования) или — более обиходно — конфликтом со своей совестью.

Да и в сфере интересов мы тоже часто встречаем такие ситуации, когда сильно различающиеся интересы оказываются в конфликте между собой. И речь здесь идет вовсе не о Марксовом конфликте классовых интересов, а скорее о конфликтах, которые могут быть уделом отдельных индивидов. Вообразим себе самую тривиальную ситуацию, когда кому-то приходится быть судьей

в собственном деле. Интерес судящего состоит в вынесении справедливого решения, тогда как интерес подсудимого — в получении такого решения, которое для него выгодно, благоприятно. Если судящий и подсудимый — это одно и то же лицо, мы имеем дело с банальным, хотя и отнюдь не редким случаем конфликта интересов. Внимание общественного мнения приковывают, однако, такие конфликты интересов, которые могут появляться на стыке политики и бизнеса, а точнее в ситуации, когда лицо, принимающее решение, лично и материально заинтересовано (косвенно либо напрямую) скорее принятием решения X, чем решения Y, поскольку, например, решение X связывается с размещением заказов в той фирме, где лицо, принимающее решение, имеет свою долю участия, а решение Y связывается с размещением этих заказов в конкурирующей фирме. Обо всем этом будет говориться шире в главе, посвященной патологиям публичной жизни.

### **Публичная жизнь как пространство согласования притязаний**

Как частично определенные интересы, так и иерархии признаваемых и реализуемых ценностей образуют собой факторы, управляющие действиями разного рода акторов (индивидуальных и коллективных) в пространстве публичной жизни. В условиях демократической системы, когда артикуляция интересов и экспрессия ценностей, в принципе, ничем не стеснены, равно как не стеснена возможность институционализации общественных сил, группирующихся вокруг разнообразных интересов и вокруг дифференцированных систем ценностей, мы имеем дело с плюрализацией публичной сцены. Эти многообразные интересы и ценности, находящиеся в публичном обращении, можно прочитывать и интерпретировать как более или менее институционализированные пакеты притязаний, требований или претензий, адресованных либо другим акторам публичной жизни, либо институту государства.

Притязания определенного социального актора могут быть сходными с требованиями или притязаниями некоторых других акторов, могут противоречить другим притязаниям, функционирующим в публичном пространстве, и, наконец, могут также функционировать в таких общественных пишах, которые не налагаются одна на другую и в связи с этим безразличны или нейтральны

друг другу. К примеру, требования профсоюза определенной отрасли по заработной плате в общем сходны с аналогичными требованиями по оплате труда, выдвигаемыми профсоюзом родственной отрасли. Требования групп, выступающих против разрешения абортов, противоречат притязаниям групп, признающих за женщиной право выбора в вопросе о сохранении беременности. В свою очередь, требования, например, экологов по сохранению статус-кво в Татранском национальном парке не находятся, к примеру, ни в какой связи с требованиями кашубов по введению кашубского языка в качестве второго (наряду с польским) официального языка на территории Кашубского края, но могут находиться в конфликте с требованиями лыжников или туристов, которые хотели бы модернизации туристической инфраструктуры на территории национального парка. Мы видим, таким образом, что плюралистические требования акторов публичной жизни носят релятивный, относительный характер. Они всегда формируются в отношении («реляции») к какому-нибудь потенциальному союзнику, к конкуренту или к арбитру.

Взаимоотношения, устанавливающиеся в связи с публичным формулированием притязаний отдельных акторов, а также с их стремлением к удовлетворению этих притязаний, могут, таким образом, принимать тройкую форму: конфликта, обмена или сотрудничества. И именно такой тройкий характер носит сложная сетка взаимоотношений, заполняющих публичную жизнь. Сотрудничество (кооперирование) акторов, характеризующихся схожими требованиями или притязаниями, требует согласования последних. Ведь лишь после согласования параллельных требований возможно их агрегирование и совместные действия нескольких акторов, имеющие целью, во-первых, публичное внешнее выражение этих агрегированных (иными словами, согласованных) притязаний, а во-вторых, осуществление действий, нацеленных на удовлетворение указанных притязаний.

Согласование различающихся притязаний путем обмена означает, что взамен за передачу какой-то части собственных ресурсов мы за счет обмена получаем от другой группы часть таких находящихся в ее владении ресурсов, приобретение которых приближает реализацию наших притязаний и требований в публичной жизни.

В случае притязаний, носящих взаимно противоречивый характер, разумеется, не может быть речи об их агрегировании.

Однако даже в этом случае публичное определение притязаний в их взаимоотношении с противоположными притязаниями представляет собой необходимое условие согласования области возможных компромиссов между акторами, формулирующими и выдвигающими противоречивые требования. Следовательно, и конфликт также является особым методом согласования противоречивых требований, а точнее методом согласования границ указанных требований и возможных компромиссов.

Резюмируя изложенные до сих пор рассуждения, можно определить публичную жизнь плюралистического демократического общества как пространство согласования требований и притязаний субъектов, присутствующих в публичной жизни.

### **Идеология как легитимация требований**

Требования, формулируемые в публичном пространстве, опираются на убеждение актора (коллективного, но иногда также индивидуального), что его притязания являются правильными, законными, что, одним словом, за ними стоит какое-то серьезное обоснование. Однако собственной убежденности актора в справедливости и законности каких-то требований либо притязаний недостаточно, если он хочет привлечь к этим требованиям новых сторонников, а также обрести дополнительное обоснование для самих указанных требований. Другими словами, такие усилия ведут к общественной легитимации требований и притязаний. Легитимация требований чаще всего принимает вид идеологии.

Олехницкий и Заленцкий определяют идеологию как «систему более или менее связанных между собой взглядов, установок, верований, мифов и идей: религиозных, политических, научных, общественных, юридических либо других — правдивых либо ложных, общих для многих индивидов или групп в определенном времени и месте, всегда связываемых с каким-то комплексом оценочных утверждений, а также с директивами действия» (*Olechnicki, Załęcki, 1997: 82*).

Идеологии создаются на разных уровнях общественных организаций: от небольших профессиональных кругов или нишевых контркультурных сообществ и до массовых социальных движений, совершающих революции или добивающихся изменения общественного порядка. В понятие идеологии укладываются как обоснования требований и приверженностей неких узких кругов,

так и крупные идеологические системы, не только составляющие обоснование определенных требований больших сегментов общества, но также подвергающие интерпретации и пересмотру существующий общественный порядок и рисуящие некое видение мира, который станет в каком-то смысле лучше, если только будут удовлетворены коллективные требования и притязания, содержащееся в данной идеологии. Исторические переломы представляют собой особенно благодатную почву для появления и проявления великих, крупных или как минимум значимых идеологических систем. После Великой французской революции, поставившей под сомнение весь существовавший к этому моменту общественный порядок и запустившей в публичное обращение самые разнообразные идеи, которые одни люди приветствовали с надеждой, тогда как другие встречали с ужасом, стало понятно, что наступает новая эпоха, что коллективная жизнь в Европе и по другую сторону Атлантики уже никогда не будет такой, какой была когда-то. Это породило вопросы о природе общественного порядка, о месте человека в обществе, о его правах и обязанностях, его социальной идентичности и предназначении, а также обоснованные требования разных социальных групп, которые хотели в эти грядущие времена найти или сохранить для себя привилегированное место.

В таком историческом контексте на заре XIX века общественные и политические вопросы требовали нового взгляда и новых интерпретационных инструментов. «Именно в это время, — как пишет Шацкий, — рождаются или приобретают новый облик великие, конкурирующие между собой идеологии современного мира: консерватизм, либерализм, социализм и национализм, — целью которых было как объяснение мира, так и — по меньшей мере в такой же самой степени — мобилизация его обитателей на борьбу за придание ему такой, а не иной формы» (Szacki, 2002: 136). Травма Первой мировой войны стала еще одним великим историческим переломом, который, в свою очередь, послужил импульсом для рождения двух тоталитарных идеологических систем: коммунизма и фашизма. Вторая мировая война оказалась концом фашизма, а коммунизм не только пережил ее и сохранился, но даже смог укрепиться в результате решений Большой тройки (Черчилля, Рузвельта и Сталина) в Ялте в 1945 году по поводу неформальных сфер влияния. Лишь в 1989 году подошло к концу господство этой идеологии на обширных пространствах планеты.



Трудно было бы указать переломные исторические моменты возникновения феминистических идеологий, поскольку движения, направленные на эмансипацию женщин и ставившие себе целью их полное равноправие в публичной жизни, появились еще на рубеже XIX и XX веков. Однако зачатки сегодняшнего облика феминизма можно связывать с контркультурными движениями 60-х годов XX века. Точно так же трудно было бы назвать переломное историческое событие, плодом которого стали популистские идеологии, хотя и их рождение можно связывать с XIX веком, а особенно с Весной народов в Европе, а также с радикальными, идущими снизу общественными движениями в США и Южной Америке (имеющими в первую очередь аграрную родословную). Относительно свежими являются такие движения, как коммунитаризм и альтерглобализм. Закат, а позднее и падение коммунистической идеологии плюс опрометчивые пророчества об окончательной победе либеральной идеологии вызвали к жизни коммунитарные концепции, обращающиеся к республиканским идеалам. Примерно в тот же период появились идеологии альтерглобализма, которые стали реакцией на глобализирующийся мир и растущую фактическую экономическую власть транснациональных корпораций. Коммунитаризм, хотя и очень продвинутый теоретически, не принес, однако, плодов в виде возникновения сколько-нибудь значимого общественного движения. В свою очередь, альтерглобализм, правда, мобилизует относительно многочисленные массы участников на публичную артикуляцию неких требований (как правило, по случаю встреч «сильных мира сего»), но пока эти притязания находятся лишь на начальной стадии кристаллизации. Поэтому две указанные идеологии мы не будем дальше сколько-нибудь широко обсуждать. Конец минувшего столетия был также периодом, в котором отстоялся, оформился и созрел фундаментализм (ассоциируемый главным образом с исламом), причем его обычно толкуют как реакцию периферии на растущую культурную и технологическую экспансию западного мира. Это, разумеется, далеко не полный список идеологий и интерпретационных систем, которые конкурируют на мировой публичной сцене в демократических системах или же функционируют в качестве единственной идеологической системы в тоталитарных либо авторитарных государствах. Однако представляется, что он охватывает все те идеологии, которые либо оставили свой отпечаток на XX веке, либо формируют сегодня идейный облик значительных человеческих масс.

## Разновидности идеологий и их притязания

Отдельные конкретные идеологии, как я уже упоминал ранее, зародились в некоторые особые исторические моменты и были откликом определенной части общества на переломные, как правило, события, которые вносили в публичную жизнь какое-то новое качество. И, хотя со времени своего возникновения они претерпевали эволюцию, иногда довольно значительную, все-таки эти первоначальные черты сохранялись в качестве того идейного стержня, вокруг которого наслаивались новые идеи, являвшиеся реакцией на вызовы меняющихся эпох, а также артикуляцией притязаний и требований (идейных и прагматических) какой-то части общества. Посему есть смысл представить — хотя бы в самом кратком виде — основные черты ряда избранных идеологий, а также те основные притязания, которые они стараются легитимировать.

### *Консерватизм*

Как пишет Шацкий, «первой крупной идеологией послереволюционной эпохи стал консерватизм, выросший из радикальной критики Просвещения и революции, которым он противопоставил собственное видение социального мира» (Szacki, 2002: 136). Среди отцов-основателей современной консервативной мысли на первую позицию наверняка выдвигается Эдмунд Бёрк (Burke, 1729–1797), чей общественно-политический трактат-памфлет «Размышления о революции во Франции»<sup>1</sup> стал, пожалуй, самым популярным критическим рассмотрением Великой французской революции, а кроме того, наиболее существенной точкой отсчета для дальнейшей эволюции консервативной мысли. Упомянем здесь еще Жозефа де Местра (Maistre, 1753–1821)<sup>2</sup>, а также Луи де Бональда (Bonald, 1754–1840), произведения которых принадлежат к классике консервативной мысли.

---

<sup>1</sup> Рус. изд. в переводе Симы Векслер под ред. А. Бабича: L.: Overseas Publications Interchange Ltd., 1992. См. также: Бёрк Э. Правление, политика и общество. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.

<sup>2</sup> Он в течение почти 15 лет был посланником сардинского короля в России и именно там написал свои основные сочинения (в том числе многие о России). См.: Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. М., 1997.

Какие притязания заключает в себе данная идеология? Прежде всего, это утверждение, что видение общественного порядка, всплывающее и постепенно вырисовывающееся из революционного сумбура, является вовсе не универсальной, лишенной предрассудков истиной о человеке, а утопической абстракцией, которая лишена всякой связи с реальной жизнью и игнорирует существовавшее до сих пор естественное достояние культуры, равно как и прежние институты публичной жизни. «Люди, которые никогда не оглядывались на предков, не станут думать о потомках», — констатирует Бёрк (*Burke*, 1998: 203). Далее он отмечает, что «революционная правда о человеке» не принадлежит к каталогу естественных истин, лишь открываемых человеком, а представляет собой конструкцию конкретных людей. «Сущностью фундаментального права является то, — пишет де Местр, — что никто не волен его аннулировать. Да и каким же образом оно должно быть **над всеми**, ежели оно представляет собой **чье-то** творение? Согласие народа на сей счет невозможно, а даже если бы оно и возникло, то такое согласие не есть закон, и оно не обязывает никого столь долго, пока нет высшего авторитета, который выступает его гарантом» (*de Maistre*, 1998: 225). И наконец, утверждается, что указанная конструкция человеческого разума ошибочна и вводит дезориентированных людей в заблуждение. Де Местр пишет: «...никогда для человека не существовал период, предшествующий обществу, ибо перед возникновением политических обществ человек отнюдь не был в полной мере человеком. <...> Руссо и все мыслители его поколения представляют себе в воображении или стараются вообразить какой-то народ в естественном состоянии (это их собственное выражение), который ведет формальный диспут над хорошими и дурными сторонами общественного состояния. <...> Воображать себе общественное состояние как состояние, которое является следствием выбора, основанного на согласии людей, следствием принятого заранее плана и первоначального договора, который невозможен, — это принципиальная ошибка. Когда мы говорим о природном, естественном состоянии как об антитезе общественного состояния, то плетем чепуху» (*Ibid.*: 228). Потому что — по мнению консерваторов — как раз это самое общественное состояние и является для человека естественным состоянием; без общества человеческое существо не было бы человеком. Так что нет чего-либо такого, как автономная человеческая личность; это абстрактная конструкция, у которой отсутствуют эквиваленты в реальной

жизни. Ибо человек является человеком именно потому, что был в свое время сформирован обществом и прочно в нем укоренен. Общественные отношения не могут быть сведены к сделке, а связи между людьми — исключительно к взаимному оказанию корыстных услуг. «Государство нельзя считать ничем не отличающимся от акционерного общества по торговле перцем и кофе, ситцем либо табаком или каким-нибудь другим малозначащим товаром — от общества, которое устраивается по причине ничтожного, преходящего корыстного интереса и распускается по первому же желанию сторон, — пишет Бёрк. — Надлежит относиться к нему с особенным почтением, поскольку оно не есть акционерное общество, касающееся вещей, которые служат исключительно обиденному животному существованию, неппрочному и хрупкому. Оно есть соучастие во всяческой науке, во всяческом искусстве, в каждой добродетели и всяком совершенстве. А коль скоро цели такого общества не могут быть достигнуты в течение многих поколений, то оно становится обществом, связывающим не только живущих ныне, но и живших когда-то и умерших, и также тех, которым предстоит родиться» (Burke, 1998: 218). Связующей, цементирующей субстанцией и источником прочных общественных связей является религия, а также обычаи и законы, выработанные целой цепью поколений и «записанные в сердце», а не на бумаге.

«Интеллектуальное достояние консерватизма, от которого после опыта последних столетий никто разумный не может абстрагироваться, — завершает свои рассуждения Шацкий, — это как раз деструкция революционных иллюзий, крах мифа всемогущего „Разума“, который раньше или позже устроит все таким образом, что человечество никогда больше не будет глупым, злым и плохим» (Szacki, 2004:17).

### *Либерализм*

Либерализм — как в своих первоначальных основаниях и предпосылках, так и в его сегодняшних формах — был одной из идей, а затем идеологий, дорогу которым проложило и расчистило Просвещение. Шацкий (Szacki, 2002: 146) относит к создателям либерализма Бенжамена Констана (1767–1830), Вильгельма фон Гумбольдта (1767–1835), Алексиса де Токвиля (1805–1859), а также Джона Стюарта Милля (1806–1873). В работе Бартизеля к названному кругу добавлен также Джон Локк (1632–1704), который

был первым, кто представил «полное и законченное видение нового общественно-политического порядка, признающее единственной целью деятельности правительства – защиту жизни, свободы и собственности индивидов» (*Bartyzel*, 2004: 17).

Основное требование либерализма – свобода личности, ее автономия, а также неотъемлемое и не подлежащее ограничению право пользоваться этой свободой, если только она не нарушает аналогичного права на свободу других автономных индивидов. Такая свобода, по Миллю (*Mill*, 1998: 286–287), охватывает, во-первых, свободу мысли и чувства, во-вторых, «свободу вкусов и занятий» и, в-третьих, свободу объединяться «ради любой цели, не приносящей вреда другим». Вот как пишет Милль: «Никакое общество, в котором эти свободы, вообще говоря, не уважаются, не является свободным, невзирая на форму его правительства; и никакое общество не является полностью свободным, если эти свободы не признаются в нем без всяких абсолютных оговорок. Единственная свобода, заслуживающая такого имени, – это свобода стремиться к собственному благу своим собственным способом, при условии, что мы не пытаемся лишить других их блага или помешать им в его достижении. Каждый должен сам заботиться о своем здоровье – телесном, умственном и духовном. Человечество достигает большего, позволяя каждому жить по его вкусу и пристрастию, чем вынуждая каждого, чтобы он жил по вкусу остальных» (*Mill*, 1998: 287).

Из этого кредо вытекают все дальнейшие последствия для уже сформировавшейся либеральной идеологии, а именно рационализм, утилитаризм, лэссефэризм (концепция *laissez faire*<sup>1</sup>) и пермиссивизм («разрешительство»), а в результате – притязания на создание такой организации коллективной жизни, которая максимизировала бы свободу личности. Впрочем, говорить об одной, увязанной и внутренне непротиворечивой либеральной идеологической системе – это недоразумение, на что обращают внимание, в частности, Шадкий (*Szacki*, 1994), Бартизель (*Bartyzel*, 2004) и Грей (*Gray*, 2001), ибо мы здесь имеем дело с целым семейством философских, экономических, нравственных или политических

---

<sup>1</sup> *Laissez faire* (букв.: не мешайте [*фр.*]) – девиз либеральной экономической и политической школы XIX века, выступавшей против вмешательства государства в социально-экономическую жизнь и отводившей ему роль «почного сторожа».

концепций, а также с многообразными идеологическими притязаниями, вытекающими из этих концепций. Многим вариантам либерализма присущи, однако, некоторые общие свойства; в противном случае у нас бы не было права относить их к числу либеральных. Джон Грей (*Gray*, 1989: 8) упоминает четыре канона либеральной идеологии, которые вместе с тем можно признать четырьмя основными притязаниями либерализма: во-первых, **индивидуализм** (моральный примат индивида над требованиями человеческой совокупности); во-вторых, **эгалитаризм**, но понимаемый в антропологическом смысле — как фундаментальное равенство всех людей (это не означает, однако, что разные виды неравенства, появляющиеся вследствие неодинаковой предусмотрительности, предприимчивости, умелости или наличия таланта, должны умеряться или обуздываться обществом, ибо это явилось бы нарушением первого требования); в-третьих, **универсализм**, вытекающий из убеждения, что человеческая природа неизменна вместе с ее привязанностью к свободе, моральной автономии и заботе о собственном благополучии, а переменчивы и случайны те исторические контексты, в которых индивид живет; наконец, в-четвертых, **мелиоризм**, иными словами убеждение, что коллективная жизнь, равно как функционирующие в ней институты и структуры, обладают естественной способностью к саморегуляции и самосовершенствованию. В своей более поздней работе тот же Грей (*Gray*, 2001) подверг критике перечисленные требования, а особенно требование об универсализме.

### Социализм

Социализм как понятие вошел во всеобщее обращение приблизительно в середине XIX века и стал определением доктрины, которая противостояла либеральным концепциям и делала упор на роль человеческой совокупности, поскольку блага индивида было в этой трактовке производным от блага коллектива. Провозвестниками указанной идеологии — согласно Шацкому (*Szacki*, 2002: 155) — были Клод Анри де Сен-Симон (1760–1825), Роберт Оуэн (1771–1858) и Шарль Фурье (1772–1837)<sup>1</sup>. Однако теоретические

---

<sup>1</sup> Надо сказать, г-н Шацкий здесь не оригинален. Все, кто проходил в советских вузах предмет под названием «научный коммунизм» или нечто подобное, а до этого в школе — обществоведение, прекрасно помнят

основы данной ориентации создал Карл Маркс (1818–1883), который вместе с Фридрихом Энгельсом (1820–1895) разработал и затем развил теорию исторического материализма. Какими были (а до известной степени также остаются по сей день) главные положения социалистической идеологии? В соответствии с Коулом (Cole, 1953; цит. по: Szacki, 2002: 154) социализм придавал решающее значение социальному вопросу; он исходил из того, что в рамках существующей общественной системы разрешить его невозможно, в связи с чем необходимо ввести совершенно новый общественный и экономический порядок, в котором конкуренция и конфликт были бы заменены добровольными объединениями граждан, нацеленными на гармоничное сотрудничество; это учение предполагало также, что ключом к исправлению общественных отношений является, с одной стороны, соответствующая организация производства и распределения благ, а с другой – концентрация на воспитании нового человека, который не был бы обременен иллюзиями прошлого. В соответствии с Марксом и Энгельсом, существовавшая до этого момента свобода была всего лишь иллюзией, которая служила интересам господствующего класса, иначе говоря буржуазии. «Свобода в концепции Маркса, – как пишет Валицкий, – была неразрывно связана с рационализмом и предсказуемостью; в качестве таковой она была противоположностью той иррациональности и непредсказуемости, которые присущи случайности. Капитализм осуждался за недостаточный рационализм, а окончательная победа свободы должна была состоять в замене стихийности рыночных механизмов таким производством, которое сознательно регулируется и рационально планируется свободно объединившимися производителями» (Walicki, 1996: 52). Но Маркс добавил к этому еще одно притязание, носящее на сей раз историософский характер, а именно: история стремится к неизбежной цели. Этой целью является освобождение человечества от пут необходимости, навязываемых общественными отношениями, которые присущи определенной формации. История представляет собой непрерывную последовательность общественных формаций – от первобытной орды через сообщества, занимавшиеся охотничьим промыслом и собирательством, оседлые

---

работу В. И. Ленина о трех источниках марксизма, третьим из которых как раз и считался утопический социализм, а в качестве его представительницей называлась в первую очередь именно эта троица.

аграрные общности, а далее рабовладение, феодализм, буржуазный капитализм, социализм и вплоть до коммунизма, который станет воплощением извечных мечтаний и чаяний человечества, а также подлинным «царством свободы». Таким образом, история представляет собой однонаправленный процесс, а переход от одной общественной формации к другой, происходящий вследствие нарастающих внутренних противоречий, является неотвратимым. Каждая очередная формация лучше, чем предыдущая, но каждая — за исключением исторического финала — хуже, чем следующая.

### *Коммунизм*

Фантазии Маркса по поводу окончательной цели истории стали строительным материалом для одного из двух жестоких тоталитаризмов XX века, а именно для коммунизма. Одним из продолжателей учения Маркса и экзегетом<sup>1</sup> его текстов являлся Ленин (1870–1924), который, быть может, не получил бы большей известности, чем другие многочисленные эпигоны Маркса (например, Бернштейн, Каутский, Плеханов, Грамши или Лукач), если бы не сплетение исторических обстоятельств, благодаря которым он стал во главе удачного большевистского переворота (известного под названием Октябрьской революции). Перехват власти в том замешательстве и хаосе, которые господствовали в России после падения царизма, и победа в гражданской войне открыли перед Лениным возможность воплощения в жизнь идей, вдохновленных Марксом. Главным утверждением Ленина, вокруг которого он строил систему коммунистической идеологии, была борьба классов — она велась в любых возможных областях общественной жизни, начиная от семьи и кончая властью над государством. Поскольку в предкоммунистических формациях нельзя исключить борьбу классов, победившая революция вынуждена «временно» ввести диктатуру пролетариата — того класса, который победил в революции. Диктатура есть необходимый переходный период ради того, чтобы сознательными действиями и наперекор врагам революции ускорить наступление того, что в историософии Маркса и так должно

---

<sup>1</sup> Экзегет — первоначально это толкователь пророчеств, законов и обычаев в Древней Греции, затем любых древних, особенно античных, текстов и, наконец, канонических религиозных текстов, главным образом Библии и Корана.



было неизбежно наступить, а именно коммунизма, иначе говоря вышеназванного «царства свободы». Диктатура пролетариата была, по сути дела, диктатурой коммунистической партии, которая за короткое время расправилась с политической оппозицией, а позже начала расправляться с «классовыми врагами». Если бы не было Ленина, то не было бы также и Сталина, который довел идеи Ленина до их логического завершения. То явление, которое называется «сталинским марксизмом», по оценке Валицкого, «заслуживает внимания как наиболее широко применявшаяся и наиболее эффективная форма массовой индоктринации, как самое мощное из известных нам средств осуществления контроля над мыслями и чувствами людей и, таким образом, как наиболее последовательное превращение марксизма в официальную идеологию тоталитарного государства» (Walicki, 1996: 405).

Но коммунизм был идеологией, которая не только осуществляла контроль над умами и чувствами людей, но и довела миллионы из них до смерти. Куртуа (Courtois, 1999: 25—26) оценивает, что количество жертв коммунизма в общей сложности могло достигнуть 100 миллионов, из которых 65 миллионов приходится на Китай, а 20 миллионов — на СССР. Если указанные оценки верны, то коммунизм обогнал в этой трагической статистике все разновидности фашизма.

Притязания коммунистической идеологии были троякого рода. Во-первых, эта идеология легитимировала диктаторскую власть вождей коммунистической партии. Во-вторых, она поддерживала массы в непрерывном, хотя и бесплодном движении, что выполняло разнообразные политические функции, но самое главное — распространяло среди масс чувство активного соучастия и принадлежности, а оно, в свою очередь, давало этим массам ощущение относительной безопасности. В-третьих, коммунистическая идеология выдавала коммунистическим правителям патент на непогрешимость и безошибочность в интерпретации мира, причем в измерениях как повседневной жизни, так и исторического предназначения. Коммунизм был воплощенной утопией, которая в своем самом глубоком философском слое обращалась к видению абсолютно бесконфликтного и полностью объединившегося человечества. Эта мечта, как говорит Валицкий вслед за Лешек Колаковским (Leszek Kołakowski), была «первоисточником тоталитарных утопий, практическим последствием которых всегда становится уничтожение свободы. Так происходит потому, что эта

мечта может осуществиться только в облике деспотизма, который представляет собой отчаянную имитацию, попытку притвориться раем» (Walicki, 1996: 70)<sup>1</sup>.

### Национализм

«Национализм — это прежде всего политический принцип, который гласит, что политические единицы должны совпадать с единицами национальными», — указанное определение Геллнера (Gellner, 1991: 9) сразу вводит нас в самую суть притязаний националистической идеологии<sup>2</sup>. В обыденном языке национализм ассоциируется с шовинизмом, что необязательно должно иметь место. Ведь шовинизм представляет собой извращенную разновидность национализма. Корни шовинизма лежат, разумеется, в националистической идеологии, но национализм не предполагает концепцию «избранного народа», притязания которого обладают большей ценностью, нежели аналогичные притязания других народов, а тем более не предполагает, что один народ может удовлетворять свои притязания за счет притязаний других народов.

Прежде чем мы перейдем к описанию более конкретных идеологических притязаний национализма, нам следует провести различие между тремя его типами: этническим, культурным и политическим. Национализм, определяемый этнически, предполагает, что национальную общность образуют люди одного и того же этнического происхождения. Все прочие, в том числе даже те, что говорят на том же самом языке либо воспитаны на той же самой культуре, исключаются из национальной общности, выносятся за

---

<sup>1</sup> Вот как писал сам Л. Колаковский: «Нет смысла ждать, что эта мечта [о совершенном и едином человеческом обществе] когда-нибудь осуществится — разве что в форме жесткого деспотизма: ведь деспотизм — это отчаянная попытка воспроизвести рай» (Kolakowski L. *The Myth of Human Selfidentity // The Socialist Idea : A Reappraisal*. 1974. P. 57).

<sup>2</sup> Этой фразой открывается русский перевод этой книги Э. Геллнера, где она выглядит так: «Национализм — это прежде всего политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать». Кроме того, представляется уместным указать здесь как бы вдогонку, что пишет Э. Геллнер применительно к предыдущему разделу: «...в индустриальном обществе настоящий социализм может быть только тоталитарным, а тоталитаризм — только социалистическим» (см.: Геллнер Э. *Условия свободы*. М. : Московская школа политических исследований, 1995. С. 169).

ее скобки и стигматизируются как «чужие». При этом второстепенное значение имеет тот факт, что редко кто в состоянии доказать свои этнические корни дальше, чем на несколько поколений предков, поскольку решение об этнической принадлежности принимает, как правило, предводитель той группировки, которая в публичной жизни артикулирует притязания понимаемого таким образом национализма. В национализме, определяемом через культуру, национальная общность – это совокупность людей, образующих особую культуру и формируемых этой культурой в том смысле, что они признают ее своей. Именно из этой культуры они черпают свою социальную идентичность. При национализме, который определен таким способом, национальное государство, правда, представляет собой желательный вид политической самоорганизации, но не является необходимым условием существования народа. В политическом национализме важно обращение к совместным политическим институтам, а особенно – к государству. Национальную общность образуют все те, кто рассматривает определенное государство как свое.

В общем и целом можно – вслед за Шацким (*Szacki*, 2002: 171–172) – перечислить следующие притязания национализма: 1) человечество делится прежде всего на нации, каждая из которых имеет свою собственную историю и культуру, а также специфически национальные потребности; эти потребности можно удовлетворить в пределах названной общности и через нее; 2) индивид принадлежит ко многим общностям разнообразных уровней, но национальная общность – наряду с семьей – является главной совокупностью, без которой он не может хорошо функционировать; общность такого типа – это естественный ответ на его социальные потребности; 3) нация представляет собой прирожденную общность, в которую люди вливаются через сам факт появления на свет принадлежащими к ней, причем обязанности перед нацией не являются делом произвольного выбора, а приписаны человеку; 4) нация – это неделимая общность, а все ее внутренние деления имеют второстепенное значение; 5) нация – это неповторимое целое; нет двух наций с тождественными свойствами, потому что тогда они стали бы одной нацией; это такое целое, чью инакость и оригинальность необходимо хранить и оберегать; 6) только нация представляет собой источник законной политической власти, созданной с целью защиты ее интересов и целостности. Национальное государство представляет собой

наиболее «естественную» политическую организацию человеческой совокупности.

Для националистической идеологии человечество является абстрактной сущностью или механически подсчитанной категорией «итога» в статистических таблицах, показывающих численность отдельных наций мира.

### Фашизм

Фашизм — это политическая доктрина, которая черпает вдохновение из национализма, хотя представляет собой особую, отдельную идеологию, провозглашающую свой собственный набор притязаний. Подобно коммунизму, который черпает вдохновение из социализма, но тоже является отдельной, самостоятельной идеологией, фашизм стремится к установлению тоталитарного государства. Между обеими этими идеологиями довольно много сходства по форме и преступным последствиям их господства, но имеются также огромные различия в содержании их притязаний. «Советская идеология акцентировала классовый характер режима и ликвидацию (скорее постепенную) общественных (антагонистических) классов. В фашизме наоборот — высшей целью была признана солидарность классов. Коммунизм носил решительно атеистический характер, тогда как фашизм — нерешительно деистический», — пишет Уолтер Лакёр (*Laquer*, 1998: 26).

Как коммунизм, так и фашизм после прихода к власти ввели тоталитарную систему. Эту систему впервые описали Фридрих и Бжезинский (*Friedrich, Brzeziński*, 1956) как диктатуру, характеризующуюся следующими свойствами: 1) одна доминирующая идеология, которая не только легитимирует диктаторскую власть, но также интерпретирует весь общественный мир, включая установление окончательного предназначения человечества; 2) одна массовая, монолитная и иерархическая партия, которой руководит диктатор; 3) террористический полицейский контроль, который не только поддерживает партию, но и контролирует ее; 4) поддержание строгого контроля над всеми коммуникациями в публичной жизни; 5) почти полный контроль над вооруженными силами; 6) создание централизованного бюрократического контроля над экономикой. На этом, однако, сходство между коммунистическим и фашистским тоталитаризмами не кончается. Ханна Арендт (*Arendt*, 1993: 361) обращает внимание на тот факт, что оба типа

тоталитаризма не могли бы функционировать без существования безвольных, мягкотелых, неструктурированных людских масс и без подлинной поддержки последними тоталитарной системы.

Наибольшие триумфы фашизма пришлось на межвоенный период. Страной, которая ассоциируется с появлением фашизма, является Германия Гитлера (с 1933 по 1945 год). Быть может, потому, что именно в этой стране была зафиксирована величайшая победа фашизма и его столь же наглядное и сокрушительное поражение. Однако исторически такая ассоциация неточна, поскольку фашизм родился в Италии, и само понятие фашизма вошло во всеобщее обращение именно из языка этой страны. В марте 1919 года в Милане возник *Fasci Italiani di Combattimento* (Итальянский союз [объединение, «связка»] борьбы), а во главе его встал Бенито Муссолини (*Baglieri*, 1980: 325). Немецкий фашизм, который развернулся и развился на поражении Веймарской республики и известен под названием нацизма, был образованием, сложившимся несколько позже и проявлявшим больше радикализма в своих требованиях и притязаниях. В межвоенном периоде фашистская волна широко разлилась почти по всей Европе. В Австрии появились две разновидности фашизма: одна, которую представляли национальные социалисты и *Steirischer Heimatschutz* (Союз защиты штирийского отечества), являлась радикальным крылом, примыкавшим непосредственно к германскому национал-социализму, а вторая — ее представляли *Heimwehr* («Оборона отечества») и Объединение фронтовых ветеранов — была более умеренной и похожей на итальянский фашизм. Однако оба эти крыла стремились к свержению демократии, уничтожению профсоюзов и насильственному установлению однопартийной системы (*Botz*, 1980: 193–194). В Испании в 1933 году возникла *Falange Española* («Испанская фаланга») (*Payne*, 1980: 423), а в Португалии — группировка *Estado Novo* («Новое государство»), которая привела к власти Салазара. Однако случай Португалии, как пишет Шмиттер (*Schmitter*, 1980: 437), отличался в том смысле, что там возник скорее авторитарный режим, нежели фашистский, поскольку он никогда не дошел до тех требований, которые фашизм выдвигал в нацистской Германии, Италии или Австрии. Фашистские движения появились в Скандинавии, Бельгии, Франции, Великобритании, Ирландии, Греции и даже в Швейцарии. Восточная Европа тоже не была свободна от общественных движений указанного типа; достаточно упомянуть здесь движение усташей в Хорватии, партию Глинки в Словакии,

«Железную гвардию» в Румынии или объединение «Стрела и крест» в Венгрии (Jelinek, 1980; Barbu, 1980; Lacko, 1980). Кульминацией фашистской экспансии стала Вторая мировая война, которая закончилась катастрофическим поражением идеологии данного типа, но, прежде чем до этого дошло, фашизм, особенно в его германской версии, осуществил Холокост (систематическое истребление на основе этнических или расовых критериев), нацеленный в первую очередь против еврейского народа и отмеченный клеймом гибели многих миллионов жертв. И как символом жестокостей коммунизма является Колыма, так зловещим символом фашизма стали Аушвиц и Биркенау (Освенцим и Бжезинка).

Для фашизма, а точнее для разных его версий теоретики установили некоторые минимальные критерии, которые позволяют отличить данную идеологическую формацию от разнообразных форм авторитаризма. К числу этих критериев, вслед за Эрнстом Нольте (Ernst Nolte), относят (Payne, 1980, 19): 1) антикоммунизм; 2) антилиберализм; 3) антиконсерватизм; 4) принцип вождизма; 5) армию-партию; 6) тоталитарное государство. Как пишет У. Лакёр, «в соответствии с нацистской и фашистской доктриной, высшей целью и ценностью была сила, а не фальшивые идолы Просвещения — равенство людей и гуманизм. Правильным считалось то, что идет на пользу государству и нации, народу. В соответствии с „Mein Kampf“ („Моя борьба“), каждый народ (нация) является естественным врагом остальных народов. Восторжествуют те народы, которые отличаются наибольшей силой воли, которые наиболее фанатичны и жестоки. Расовая иерархия имеет место как внутри одного народа, так и между народами. Высшая раса господ призвана править, а более низкие — повиноваться правящим» (Laquer, 1998, 42—43). К числу низших рас немецкий фашизм относил прежде всего евреев и славянские народы, в том числе польский народ.

### Популизм

В политической публицистике популизм принадлежит к числу оценочных определений, причем негативных. В общем, это понятие применяют, как правило, к политическим группировкам, которые не принадлежат к главному течению политики; они представляют собой вызов для политического истеблишмента, оспаривают правомочность его господства и часто выглядят реальной или воображаемой угрозой для демократии, ее институтов и правил

игры. Такие публицистические трактовки не отражают всей истины о популизме, но функционируют по принципу этикетки, которую обычно приклеивают политическим группировкам, протестующим против существующего политического порядка, не всегда протестуя против правил демократической политической игры. При описании данной идеологии, а точнее целого пучка довольно-таки дифференцированных идеологий (поскольку одна связная и непротиворечивая популистская идеология отсутствует) мы стараемся применить не столь оценочный подход. Ховард приводит определение Дэвида Кольера и Рут Кольер (*Collier, Collier, 1991*), которое эта пара исследователей использовала в своих аналитических рассуждениях латиноамериканского популизма. В их трактовке популизм — это «политическое движение, характеризующееся массовой поддержкой со стороны городского рабочего класса и/или крестьянства; сильным элементом идущей сверху мобилизации; центральной ролью лидерства, исходящего от средних секторов элиты, причем в типичных случаях — лидерства, носящего личный и/или харизматический характер; а также идеологией и программой с националистической окрашенностью, направленной против сохранения статус-кво» (*Howard, 2000: 19*).

Впервые понятие «популизм» появилось в середине XIX века в названии одной из аграрных партий в США (*The Populist Party*). Это идущее снизу политическое движение, характеризующееся сильным недоверием к федеральному правительству, было особенно динамичным в конце XIX века на Юге США, в первую очередь в Техасе (*Turner, 1994*). С этого времени прилагательным «популистская» стали определять политические группы и партии с довольно разнородным идейным профилем. Марковский (*Markowski, 2004: 12*) выделяет три типа популизма: аграрный, политический и экономический. Аграрный популизм, если смотреть в историческом смысле, был первым типом популизма. Его отличает претензия, что люди, работающие на земле, — это стержень общества, его здоровые силы, которые не поддаются рожденным в городах губительным идеям. Политический популизм представляет собой артикуляцию претензии, что сложившиеся элиты никоим образом не представляют «простых людей», а лишь строят свое привилегированное положение на их бедах. Программный антиэлитизм сочетается при этом здесь с верой в решения прямой, непосредственной демократии (например, в референдумы). Наконец, экономический популизм претендует на выбор третьего

пути (ни капитализм, ни государственный социализм), иначе говоря на эклектическую программу, «сконцентрированную на реализации формулируемых *ad hoc* (в ускоренном порядке и по ситуации) реформаторских политических решений». При этом характерно, что для популизма, склоняющегося вправо, главным врагом выступает политический истеблишмент, тогда как для популизма, склоняющегося влево, главный враг — это крупные промышленные или финансовые корпорации и, вообще говоря, весь экономический истеблишмент в целом. Ближайшие к современности проявления европейского популизма (во главе с Австрийской партией свободы Хайдера<sup>1</sup>) добавляют к этому еще и сильные ксенофобские ноты (Howard, 2000).

В этой связи возникает вопрос, обладают ли те разнообразные и чаще всего мало увязанные между собой версии общественно-политических сил, которые наделяются именем «популизм», какими-то общими свойствами, которые бы обосновывали это единое название и вместе с тем отчетливым образом отличали популистские претензии от притязаний других общественных сил. Федеричи перечисляет тринадцать свойств, которые, как правило, присутствуют у политических группировок, довольно заметно разнящихся по другим соображениям, и которые можно признать в качестве *differentia specifica* (определяющих, специфицирующих отличий) популизма в широком понимании указанного понятия: «1) подозрительность по отношению к элитам, особенно к лидерам бизнеса, банкирам, бюрократам, интеллектуалам и плутократам; 2) вера в разумность и добродетели обычных людей; 3) подозрительность по отношению к жителям и общественности крупных метрополий; 4) предпочтение, отдаваемое простоте по сравнению со сложностью; 5) идиллический взгляд на сельскую жизнь; 6) уважение к религии; 7) склонность к теориям заговора; 8) готовность брать мелких собственников под защиту от корпораций; 9) опасение перед любыми трестами и монополиями; 10) антиинтеллектуализм; 11) сектантство; 12) отсутствие доверия к науке и технологии; 13) привязанность к демократии большинства» (Federici, 1991: 35–36).

---

<sup>1</sup> В апреле 2005 года Йорг Хайдер и другие руководители этой партии покинули ее ряды, создав новую партию — «Альянс за будущее Австрии», популярность которой после гибели ее лидера Хайдера в 2008 году пошла на спад.



### Фундаментализм<sup>1</sup>

Фундаментализм представляет собой форму, которую заполняет самое разное идеологическое содержание (часто носящее религиозный характер). Гидденс (*Giddens, 2000: 67*) пишет, что фундаментализм представляет собой «дитя глобализации» в двояком смысле, поскольку он одновременно представляет собой как реакцию на глобализацию, так и способ ее использования. Фундаментализм, по мнению Гидденса, — это прежде всего реакция на детрадиционализацию; это защита традиции, осуществляемая традиционным способом — путем апелляции к ритуальной истине — в глобализирующемся мире, который взывает к разуму. Существенно здесь не то, во что люди верят, а то, каким способом они защищают свои верования, почему сохраняют эти верования в сегодняшнем мире и как их обосновывают. В этом контексте фундаментализм отнюдь не обязательно должен носить религиозный характер. Дело в том, что вполне можно быть и мирским фундаменталистом, когда верования, которые становятся предметом фундаменталистской установки, носят нерелигиозный характер.

Большинство исследователей, занимающихся фундаментализмом, наверное, согласилось бы с Гидденсом в том, что данное явление представляет собой специфическую реакцию на глобализацию и что такая реакция не ограничивается одной только религией — она даже необязательно должна непременно быть реакцией на религиозной почве. Но имеются также аргументы в пользу тезиса, что в некоторых культурных кругах (а особенно в исламе и в отдельных индийских сектах) фундаментализм необязательно был реакцией на глобальные изменения, а представлял собой эндогенное явление, прочно укорененное в определенных локальных сообществах. Да и внутри обществ, по праву причисляемых к ядру глобализационных процессов, мы тоже имеем дело с упорным возрождением фундаменталистских группировок, произрастающих как на религиозной почве, так и на светской, примером чего могут служить разнообразные экстремистские группировки в США.

---

<sup>1</sup> В настоящем разделе использованы некоторые фрагменты моей книги «Świat międzycyfr. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe» («Мир межвременья. Глобализация – демократия – национальное государство»), Краков : Общественный издательский институт «Знак», 2004. – Авт.

Независимо от этой ограничительной оговорки позиция Гидденса представляется слишком мало нюансированной, если у нас есть желание несколько глубже вникнуть в этот тип идеологии и в те притязания и претензии, которые формулируются в ее рамках.

Прежде всего, имеет место существенная разница между традиционалистами и фундаменталистами. Традиционалист привязан к наследию прошлого, которое упорядочивает его сегодняшний мир и позволяет подвергать его оценке, причем верования традиционалиста являются непосредственным продолжением верований, закрепленных в традиции. Для него «золотой век» уже миновал, а сегодняшний мир все дальше и дальше отходит от достославных мифических «аркадских» времен. Современность же все более развращена, так как она все сильнее отдаляется от бывшего счастливого «золотого века». Для фундаменталиста современность также является угрозой, но не потому, что она отдаляется от какого-то мифического «золотого века», а по той причине, что не признает ту абсолютную истину, обладателем и распорядителем которой является фундаменталист. Мир плох, ибо он заблуждается и дрейфует в направлении призрачных, иллюзорных истин, создаваемых людьми, которые завладели современными средствами массовой информации, в том числе глобальными, и которые целенаправленно совращают мир, сбивают его с пути истинного и ведут не туда, куда надо, а в неизвестность, даже, быть может, к гибели. Для фундаменталиста «золотой век» еще только должен наступить, причем произойдет это именно в тот момент, когда абсолютная истина, обладателем и распорядителем которой он является, наконец-то восторжествует, а мрачные силы, временно добившиеся перевеса, будут посрамлены и потерпят окончательное поражение.

Фундаментализм, таким образом, — это настолько глубокая ангажированность в какую-то истину, что вопрос о какой-нибудь другой истине делается пустым и никому не нужным (Węclawski, 2002). В связи с этим фундаментализм всегда конкретен, а не универсален. Между отдельными фундаменталистскими группировками не существует сотрудничества или хотя бы всего только взаимопонимания (которое, например, наблюдалось между разными версиями фашизма перед Второй мировой войной). И ничего подобного не может существовать, так как ангажированность в какую-то «абсолютную истину» не оставляет ни малейшей возможности признать, что какие-то иные истины, столь же глубоко ангажирующие своих последователей, тоже имеют право на существование. Такие

отличающиеся истины — с фундаменталистской точки зрения — представляют собой когнитивную (познавательную) ошибку, которая в самом лучшем случае вытекает из неведения, а в наихудшем порождается сознательным воздействием мрачных сил, которые обманывают и дурачат людей, дабы достигнуть своих тайных целей.

Фундаментализм характеризуется также манихейским видением мира. Для фундаменталиста только его «абсолютная истина» неразрывно связана с добром, с благом. И так происходит словно бы по определению, ибо коль скоро ты обладаешь абсолютной истиной, иными словами такой истиной, которая не подлежит релятивизации, то из этой истины вытекают столь же абсолютные критерии добра и зла: добро есть то, что согласуется с абсолютной истиной, тогда как злом является все, что с нею не согласуется. Таким образом, в глазах фундаменталиста земной шар разделен на территорию добра, где уже триумфально торжествует его абсолютная истина, и на остальной мир (даже если бы это должно было касаться 99% планеты), где пока еще царит «зло».

Типичная фундаменталистская установка отличается от типичной традиционалистской установки (близкой к консерватизму) следующим: если в рамках этой последней стремятся к тому, чтобы защитить определенные элементы наследия, которые ценны для личности, и передать их следующим поколениям, то в рамках первой, фундаменталистской установки стремятся к разрушению «зла», дабы ускорить триумф истины. А поскольку внешний мир определяется как развращенный и пропитанный злом, то правомочны любые средства борьбы с ним, включая насилие и террор, которые реализуются с помощью технических средств, ставших широко доступными благодаря глобализации. Для фундаменталиста нет по-настоящему убедительных аргументов, которые позволяли бы ему занимать пассивную позицию (встречающуюся среди традиционалистов) и терпимо смотреть на зло. Фундаментализм утверждает и настаивает, что является не только обладателем и распорядителем соответствующих верований (ортодоксия) и надлежащих форм поведения (ортопраксия), но еще и защитником традиции (особенно религиозной) от эрозии, которая грозит со стороны современного мира. Для такой защиты применяют новейшие технологии, а также новые институциональные и организационные решения. Как пишут Алмонд, Сиван и Эплби, «ключевым элементом их риторики и самоопределения является предпосылка, что их инновационные программы опираются на

авторитет освященного прошлого, причем независимо от того, представлено ли это прошлое каким-то особенным текстом либо традицией или же учением харизматического либо официального лидера» (*Almond, Sivan, Appleby*, 1995: 402).

Рассматривая данное явление исторически, следует признать, что именно фундаментализм — как бы парадоксально это сегодня ни звучало — лежал в основаниях протестантской схизмы. И хотя в тезисах Лютера указанное понятие не присутствовало, они были полны бесспорными признаками того явления, которому сегодня мы бы присвоили наименование фундаментализма (возвращение к истокам, иными словами к Библии, как единственному источнику абсолютной истины, борьба с «извращениями» христианства, а особенно с коммерциализацией религии, внедряемой с согласия Рима, и т.д.). Да и сам данный термин появился вначале среди американских протестантов на исходе XIX века (*Eisenstadt*, 1995: 259). После Второй мировой войны это определение стали применять к растущему числу воинственных еврейских общественных движений ультраортодоксального толка, тогда как после исламской революции в Иране в 70-х годах XX века и вырастающих позднее в мире ислама очередных мусульманских движений радикального толка понятие фундаментализма приобрело приблизительно то значение, которым мы пользуемся сегодня.

Фундаментализм отнюдь не новое явление, но современный мир, а особенно процессы глобализации этого мира придали ему отдельные новые свойства, которые существенны, но все-таки второстепенны по сравнению с самой сущностью фундаментализма. Я имею здесь в виду прежде всего выход сегодняшнего фундаментализма (особенно исламского) с задворков национального государства на глобальную сцену и использование им для своих целей почти всех фирменных гаджетов современной западной цивилизации. Таким образом, перед нами своего рода неофундаментализм (*Roy*, 2002), для которого национальное государство слишком тесно и перестает быть существенным в его стремлении исправить развращенный мир.

Фундаментализм приобретает чаще всего форму общественного движения или секты в рамках более широкой аксиологической общности, которая, по мнению инициаторов, а впоследствии и членов того или иного фундаменталистского движения, требует радикальной починки и исправления. Такое движение может возникать снизу, когда, например, группа приверженцев

определенной религии приходит к выводу, что более широкое религиозное сообщество, членами которого они состояли, подвергается эрозии и отходит от истин, которые определяются ими как абсолютные и не подлежащие ни обсуждению, ни изменению. Может оно также появиться и сверху, когда какой-нибудь харизматический религиозный лидер открыто протестует против существующего религиозного истеблишмента под лозунгами возвращения к источникам исконных истин, вокруг которых учреждалась когда-то определенная религия. Образуется фундаменталистская секта, представляющая собой осколок более широкого религиозного течения. С подобными явлениями мы, в принципе, имели и имеем дело в каждой крупной современной религии: в католицизме, протестантизме, исламе, в еврейской религии или индуизме.

Алмонд, Сиван, Эпльби (*Almond, Sivan, Appleby, 1995: 405, passim*) выделяют следующие типичные и вместе с тем своеобразные черты сегодняшнего фундаментализма религиозного характера, которые, по существу, подводят итог приведенных выше рассуждений.

**1. Реактивность и оборонительная направленность.** Фундаментализм является реакцией на прогрессирующую секуляризацию и релятивизм, причем эта реакция представляет собой главным образом форму защиты от потери приверженцев вследствие двух вышеназванных процессов.

**2. Селективность.** Фундаментализм селективен в тройном смысле. Во-первых, он селективно трактует традицию, делая акцент на тех ее элементах, которые отличают данное движение от главного течения. Во-вторых, фундаментализм одобряет, принимает и усваивает отдельные элементы современности селективно. В частности, им одобряется и принимается большинство достижений современной науки, а также современные технологии и глобальная банковская система вместе с глобальными средствами транспорта и коммуникации. В-третьих, учения фундаменталистов производят отбор тех или иных последствий современности, на которых они фокусируют свои возражения.

**3. Моральный манихеизм.** В соответствии с манихейской концепцией мир носит дуальный (двойственный) характер: с одной стороны, светозарность, духовность, благо и истина (обладателем и распорядителем которой выставляет себя определенный тип фундаментализма), а с другой стороны, тьма, отождествляемая с нежеланием признавать единственно верную истину,

с материализмом и злом. Та часть мира, которая находится за пределами фундаменталистского движения, испорчена, грешна и приговорена к осуждению. Духовная чистота, истина и добро могут существовать только и исключительно в рамках пространства, контролируемого фундаменталистским движением.

4. **Абсолютизм и непогрешимость.** Для фундаменталистов селективно подобранные элементы Корана, Талмуда, Библии или других священных книг либо канонов религиозной традиции являются дословно буквальным и абсолютным источником истины, причем они безошибочны в каждой, даже мельчайшей подробности.

5. **Миллениаризм<sup>1</sup> и мессианиззм.** Добро в конце времен одержит победу над силами зла, а в религиозной традиции, ведущей свое начало от Авраама (в иудаизме, исламе, христианстве) знаком этого будет пришествие Мессии. Справедливость восторжествует. Спасения и вечного счастья удостоятся только члены определенной фундаменталистской секты, тогда как весь остальной мир будет осужден, ибо он был глух к истине, сохранившейся исключительно в этой секте, причем в форме, которая чиста и не искажена воздействиями темных сил.

6. **Привилегированное членство.** Члены фундаменталистского движения принадлежат к числу «избранных», а поскольку это движение является обладателем и распорядителем единственной и абсолютной истины, то они принадлежат также к кругу «посвященных». К движению, носящему фундаменталистский характер, нельзя присоединиться обычным способом, как к филателистическому кружку или к союзу любителей рыбной ловли. Человек становится призванным в это движение либо благодаря внутреннему велению, либо благодаря просветлению, испытанному им вследствие воздействия харизматического лидера. Следовательно, вхождению в круг фундаменталистского движения должно предшествовать обращение в новую веру.

7. **Резко очерченные границы.** Границы между совокупностью, определяемой как «мы», и остальным миром резко очерчены

---

<sup>1</sup> В строгом смысле миллениаризм (от *лат.* *millenium* – тысячелетие), или хиляизм, – это учение о «тысячелетнем царстве»: периоде длительностью в тысячу лет, когда Сатана будет скован, а святые мученики будут царствовать вместе с Мессией-Христом, в награду за свою святость став участниками «первого воскресения», как это было обещано в Апокалипсисе. В более узком смысле – религиозный взгляд, проповедующий скорое наступление тысячелетнего Царствия Небесного.

и ясно определены, хотя способы описания этих границ могут в разных движениях принимать многообразные и совсем непохожие формы. Каждый член фундаменталистской общности не испытывает, однако, трудностей, когда нужно отличить «своих» от «чужих».

**8. Авторитарная внутренняя организация.** Если смотреть формально, участие и членство в фундаменталистском движении является добровольным, а все его члены равны между собой. Но этим движениям обычно свойственна свободная, чисто условная организационная структура, а сплоченность и динамику они обретают благодаря лояльности приверженцев к своему харизматическому лидеру и его «преторианцам», которых — так же как и самого этого лидера — выбирают не члены определенного движения, но сам его лидер. Следовательно, источником власти, а в некотором смысле и источником истины является лидер, вождь, предводитель. Ибо воля предводителя для членов движения становится законом, а его интерпретация текстов, рассматриваемых как первоисточники, а также его интерпретация окружающего мира представляют собой истолкования той абсолютной истины, которая обязательна для членов движения.

**9. Регулирование поведения.** Члены фундаменталистского движения должны подчиняться строго определенным правилам и канонам поведения, тщательное соблюдение которых позволяет сохранить «духовную чистоту» (как бы она ни определялась внутри данного движения), а также дает возможность с легкостью отличить «своих» от «чужих». «Грешное поведение» тоже, как правило, строго определено, и оно может касаться ритуалов, связанных с одеждой или внешним обликом (например, наличием чалмы у сикхов или бороды у мусульман), пищей (например, кошерной кухней у евреев или запрещением пить алкоголь среди мусульман), с сексуальностью или восприятием некоторых продуктов глобальной массовой культуры (например, с запрещением читать некоторые книги, слушать некоторые радиостанции или смотреть кинофильмы).

Варианты фундаментализма разного религиозного генезиса обладают, естественно, несовпадающими определениями истины и поэтому — как я уже упоминал — взаимно нетерпимы и не объединяют своих усилий против тех явлений современного мира, которые идентифицируются ими как представляющие ту или иную степень угрозы. Да они и не могут объединяться, поскольку для этого есть как минимум две причины.

Во-первых, тот фундаментализм, который вырастает на почве совсем иной традиции и обращается к совсем иной истине, не может — под угрозой утратить притязания на обладание единственной абсолютной истиной, правомочной хотя бы в пределах данного конкретного фундаменталистского сообщества, — заключать союз с проповедниками другой истины, тоже носящей абсолютный характер. Во-вторых, в конкретных фундаменталистских движениях по-разному дают определения тем угрозам и «извращениям» современного мира, против которых они высказываются.

Тем самым каждый фундаментализм имеет своих собственных врагов, вследствие чего даже совместная, обобщенная концепция врага не может послужить тем основанием, на котором могли бы объединяться отдельные фундаменталистские движения. Однако в максимально общих категориях фундаменталистские движения направляют острие своего противостояния в сторону трех «врагов»: 1) недостаточно ортодоксального или коррумпированного религиозного истеблишмента; 2) светского государства; 3) светского гражданского общества (*Almond, Sivan, Appleby, 1995: 411*). Современная стадия глобализации индуцирует — в случае фундаменталистских движений, выходящих за границы национального государства, — еще одного врага, а именно группу государств, принадлежащих к ядру глобализации, и прежде всего Соединенные Штаты, которые ведут глобальную политику и задают тон в таком явлении, как глобальный оборот потребительских благ, образцов поведения или ценностей. Именно США являются для многих исламских фундаменталистских движений олицетворением «большого сатаны», окруженного целой компанией «меньших сатан», иными словами государств из того же ядра глобализации, которые сотрудничают с США в политической и военной сферах.

### Феминизм

Феминизм в его сегодняшнем облике родился в середине 60-х годов XX века в США, хотя феминистические движения имеют своих предтеч в виде движений суфражисток на рубеже XIX и XX столетий. Феминистическая идеология предполагает, что сегодняшний мир устроен по патриархальному образцу, следствием чего является неправомерное доминирование мужчин во всех сферах общественной жизни начиная с семьи, где в первую очередь и формируются патриархальные взаимоотношения, затем это



выражается в неравноправных трудовых отношениях и так далее вплоть до структур государственной власти, где тоже господствуют мужчины (<http://encyklopedia.servis.pl/wiki/Feminizm>). Требования феминизма касаются восстановления партнерских отношений в семье, ликвидации всякой дискриминации женщин в профессиональной жизни, допущения женщин на равных правах к тем социальным ролям, которые зарезервированы исключительно для мужчин (например, к роли священнослужителей в католической церкви). В более радикальных версиях феминизма его адепты и глашатаи обращают внимание на то, что вся культура требует фундаментальной переоценки, поскольку сегодняшняя ее форма представляет собой результат патриархальных отношений и именно здесь находится первичный источник дискриминации женщин в публичной жизни.

### **Интересы и ценности в условиях системного изменения**

Многие из исследователей посткоммунистической трансформации (*Pańków, Ziółkowski, 2001; Wnuk-Lipiński, 1996; Ziółkowski, 1999, 2000*) обращают внимание на тот факт, что глубокое системное изменение существенным образом преобразило структуру интересов в Польше, причем сразу в нескольких плоскостях. Во-первых, изменились правила игры, действующие в публичной жизни в качестве обязательных, и это попутно привело к возникновению совершенно новых интересов. Во-вторых, смогли проявиться и выйти на поверхность те публичные интересы, которые в предыдущей системе были задавлены или функционировали втайне (то же самое, кстати говоря, касается и ценностей, манифестирование которых в публичной жизни было регламентировано или заблокировано). В-третьих, наступили институциональные преобразования, устанавливающие процедуры артикуляции и согласования интересов (особенно групповых).

Вот что пишет на сей счет Весоловский: «Каждая системная трансформация вызывает как минимум следующие процессы: 1) деструкцию некоторых интересов; 2) борьбу за перенесение старых интересов в новую действительность; 3) выдвигание новых интересов; 4) декомпозицию и рекомпозицию (восстановление) интересов. Системный переход от экономики, основанной на государственной собственности и планировании, к экономике, которая

базируется на механизмах рынка и частной собственности, обязательно должен порождать новые артикуляции и взаимоотношения интересов, а также битвы за выживание и адаптацию групп и классов старой экономической системы» (*Wesolowski*, 1995: 7–8).

Деструкция интересов появляется в тех случаях, когда мы имеем дело с такими видами интересов, которые характерны для определенной общественной системы. В экономике с централизованным планированием, например, механизм централизованного распределения средств генерировал своеобразные интересы тех хозяйствующих субъектов, функционирование которых находилось в зависимости от политической и общественной близости к центрам, принимающим решения по размещению финансовых средств, а также от возможности воздействовать на этот процесс (*Narajek*, 1996). Замена механизма централизованного планирования на рыночный механизм привела к исчезновению этой категории интересов. Перенесение старых интересов в условия функционирования новой системы представляет собой простейшую попытку защитить уровень владения для тех субъектов публичной жизни, интересы которых породила в свое время еще старая система. Примером такого перенесения в Польше является борьба — в 90-х годах — горнодобывающих групп интересов за сохранение в рыночной экономике их привилегированного статуса, перенесенного из экономики с централизованным планированием. Функционирование новой системы, основанной на демократических и рыночных механизмах, вызывает к жизни такие интересы, которые характерны для данной системы. Фактором, особенно существенным при формировании новых интересов, являются правила игры в экономике, но и остальные секторы публичной жизни тоже генерируют самые разнообразные интересы, свойственные демократии.

Декомпозиция и рекомпозиция интересов в условиях радикального изменения общественного строя может принимать форму трансмутации или трансгрессии (пересечения границ). Оба эти определения, сформулированные Весоловским (*Wesolowski*, 1995: 9–10, 12–13), касаются некоторых преобразований системы интересов, типичных для перехода от коммунистической системы к демократии и рыночной экономике. Трансмутация интересов означает, что некий интерес в своей сущности не подвергается изменению, но вследствие иных правил игры, применяемых в публичной жизни, изменение претерпевает способ его реализации. Весоловский приводит пример интересов польского крестьянства,

которые в результате системного изменения подверглись трансмутации. Правда, по-прежнему основным интересом крестьянства является сохранение частной собственности на землю, но теперь — в отличие от того, как обстояло дело при правлении коммунистов, — этой собственности уже ничто не угрожает, так что реализация данного основного интереса не требует никаких усилий. Зато присущая свободному рынку конкуренция ведет к возникновению нового интереса, а именно к вмешательству государства для защиты отечественных производителей (в форме пошлин на ввозимое продовольствие, преференционных льготных кредитов или же установления минимальных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию). Еще одним примером трансмутации интересов, объединенной с транслокацией, другими словами с их перенесением в новую действительность, может послужить, скажем, явление, известное под названием «наделение номенклатуры имуществом».

Другая категория интересов, типичных для периода глубоких системных перемен после падения коммунизма, — это трансгрессионные интересы. «Трансгрессионный характер интересов, — пишет Весоловский, — выражается как минимум в следующих аспектах: 1) эти интересы первоначально существуют не „осязуемо“, но проективно или в зародыше, а свою полную форму приобретают в ходе постепенного развития процесса трансформации общественного строя; 2) первоначально эти интересы сомнительны или рискованны, но их привлекательность велика, а посему они склоняют к решению пойти на риск не только по-настоящему находчивых, изобретательных людей, но и лиц со средним уровнем предприимчивости; 3) они обосновываются (например, теоретиками) как сочетающие в более высокой степени, чем считается нормальным, дифференцированные интересы отдельных групп с общим (совместным) или с „публичным интересом“ каких-то сообществ; 4) субъективная решимость групп в деле создания новых ситуаций является одной из важных действенных сил в той траектории, которая преобразует причины в следствия» (*Wesolowski, 1995: 13*). Примером трансгрессионного интереса служит приватизация крупной и средней промышленности. Другим примером этой категории интересов является стабильность экономических правил игры, которая дает инвесторам возможность рационально калькулировать риски и обеспечивает предсказуемость будущего возмещения понесенных затрат.

В процессе перехода от авторитарной системы — в особенности столь идеологизированной, как коммунистическая система, — к демократии изменению подвергаются не только интересы, но также ценности и связанные с ними нормы, в соответствии с которыми люди производят оценки различных форм поведения (собственного и чужого). И в данном случае мы имеем дело со сложными процессами преобразований, а также с проявлением в публичной жизни того плюрализма ценностей, который в предыдущей системе был заблокирован.

Ценности (вместе с сопутствующими им нормами оценок различных человеческих установок и вариантов поведения), которые проявляются в публичной жизни, можно сгруппировать в три категории: 1) ценности, которые в свое время присутствовали в идеологии, а в некоторой степени и в практике старой системы; 2) ценности, которые, правда, в старой системе не имели права на существование в публичном пространстве, но сохранились в запасах традиции и культуры; 3) ценности, которые возникли и стали существовать в публичном пространстве нашего общества вследствие того, что Польша открылась миру. Первая из указанных категорий — это ценности, унаследованные от реального социализма, вторые оказались «размороженными» после снятия тех видов блокады, которые существовали в предыдущей системе, тогда как третьи пришли к нам в страну из глобального оборота ценностей, главным образом из западного цивилизационного круга, хотя не только оттуда. Например, эгалитарные ценности, естественно, присутствовали в польском обществе еще перед периодом господства коммунизма, но эта система закрепила указанные ценности среди значительной части общества применительно к уровню условий жизни, включая убежденность, что ответственность за их соблюдение в публичной жизни несет государство. Такие ценности, как свобода или пакет ценностей, берущих свое начало в католической религии (включая социальный солидаризм), представляют собой примеры устойчивости принципов, которые, невзирая на все блокады и препятствия, существовали в прежней системе и проявились в публичной жизни после ее падения. Примером ценностей третьего типа может послужить вопрос о равноправии полов в публичной жизни.

Столь существенные перемены в сфере как интересов, так и ценностей были связаны с процессами изменений социальных идентичностей. Социальная идентичность, иначе говоря

самоопределение относительно других участников общественной жизни, формируется под воздействием многих факторов (*Baumeister, 1986; Bloom, 1990; Castells, 1997*). Отчасти эта идентичность конструируется под влиянием того, каким образом мы определяем свои интересы (например, интересы квалифицированного рабочего-специалиста), а отчасти — под влиянием того, какие ценности мы признаём своими собственными и стараемся ориентировать наше поведение и убеждения в соответствии с ними (например, либеральные ценности).

В старой системе социальная идентичность в значительной мере приобреталась через отношение к реально существующей системе (*Mach, 1987*). Людей характеризовала тенденция воспринимать свою социальную позицию (и называть ее) скорее в категориях того способа, каким они справлялись со всей этой системой, нежели в категориях своего отношения к другим людям, к другим социальным группам или к общественным ценностям. Значительная часть упомянутой социальной идентичности опиралась скорее на негативное исключение, чем на позитивное включение. Например, «я — один из тех, кто не умеет справляться с системой». Если и случались позитивно-инклюзивные типы социальной самоидентификации, то они выражали, как правило, явление социальной мимикрии: «я — средний человек», «я такой же, как другие». Этот регресс к среднему был типичной «официальной» реакцией (например, в ситуации социологического интервью) на конформизирующее воздействие предшествующей системы. Вместе с тем, однако, существовала тогда и некая разновидность повседневного прагматического сотрудничества с институтами системы и пассивное принятие правил, навязанных сверху и являющихся обязательными только в области институционализированной публичной жизни (*Rychard, 1987*).

С другой стороны, вне сферы публичной жизни бурно кипела жизнь социальных микроструктур, функционирующих вне контроля каких-либо институтов системы. В этой сфере главная ось, создающая социальную идентичность, носила аксиологический характер, поскольку это было дихотомическое разделение: «мы» (т.е. группа людей, исповедующая близкую систему ценностей) и «они» (т.е. носители чуждой системы ценностей). До того, как появилась «Солидарность», категория «мы» охватывала ближайшее микросоциальное окружение (семью, узкий круг друзей), тогда как все прочие, по причине далеко продвинутой социальной

атомизации, классифицировались как «они». После появления «Солидарности» (и даже в период военного положения) категория «они» была зарезервирована в обыденном сознании для представителей коммунистической власти и ее сторонников, зато категория «мы» оказалась простертой едва ли не на все общество. Это разделение сохранялось вплоть до «контрактных» выборов в июне 1989 года, во время которых коммунистическая система оказалась формально отвергнутой.

Падение коммунизма вызвало – помимо всех непростых последствий – некую разновидность кризиса идентичности среди той части общества, которая определяла свою идентичность в какой-то связи с предыдущей системой. Внезапно существенная (а для многих – основная) точка отсчета исчезла. Не только отдельные индивиды испытали тогдашний кризис идентичности. Он охватил также более широкие группы людей и даже целые институты. «Солидарность» не была здесь исключением, ибо она черпала свою идентичность из протеста против коммунистической системы; ее члены и сторонники испытали чувство, которое можно было бы назвать «нормативной пустотой». Дихотомические картины социального мира («мы» – «они») утратили значение, а весьма широкая категория «мы», для которой связующей субстанцией выступало существование общего врага, начала претерпевать относительно быструю эрозию. Со временем для значительной части людей, определяющих себя в категориях «мы», власть, которая выдвинулась из их круга, причем в соответствии с демократической процедурой, начала восприниматься как «они».

Это было примерно то самое время, когда начался некий новый общественный процесс, а именно процесс плюрализации публичной жизни на основе ощущаемых и исповедуемых ценностей, с одной стороны, а с другой – на основе определяемых и заново переопределяемых интересов. Вследствие этого процесса – после травмы великого системного изменения (*Sztompka*, 2000) – в обществе происходило постепенное обретение новых социальных идентичностей, которое осуществлялось двумя разными способами: с одной стороны, через ценности, являвшиеся для данного индивида базовыми, а с другой – через прагматические цели (интересы), которые ему хотелось бы реализовать в новой действительности.

Говоря обобщенно и с некоторым упрощением, аксиологическая реакция на изменение характеризуется в плюралистическом обществе следующими особыми чертами и свойствами:

- она опирается на избранную ценность (или на комплекс внутренне увязанных ценностей) из числа таких, как: религиозные ценности, национальные ценности, равенство, «коллективная мудрость простых людей», свобода и т.д.;
- она порождает среди своих адептов дихотомическое видение социальной реальности («мы» *versus* «они»);
- она обычно появляется на промежуточном уровне (в рамках гражданского общества), а позднее возбуждает поддержку на микроструктурном уровне (в малых группах) и вместе с тем создает организованное давление на макроуровень, иными словами на институт государства;
- она редуцирует (сокращает) кризис идентичности у индивидов посредством введения простого когнитивного порядка в хаотичную социальную реальность;
- она обычно вызывает появление противовеса, который тоже принимает аксиологическую форму, однако основанную опять-таки на селективном, хотя и противоположном наборе ценностей;
- она не оставляет слишком много места для компромисса с другими конструкциями этого типа, а особенно с теми, которые опираются на противоположный набор ценностей.

Если аксиологическая реакция ориентирована прежде всего на ценности, то прагматическая реакция на общественное изменение ориентирована на цели и укоренена в структуре групповых интересов. В рамках этой точки зрения произошедшее изменение воспринимается в категориях выгод и потерь. На микроструктурном уровне главной точкой отсчета является уровень потребления (индивида или домашнего хозяйства), тогда как на промежуточном уровне, в пространстве гражданского общества, роль такой точки отсчета играют групповые интересы. В первом случае целью, которая стимулирует прагматическую реакцию, служит защита собственного уровня потребления, тогда как во втором – защита групповых интересов.

Как уже говорилось, понятие макроуровня здесь ограничено государством и его центральными институтами, что, разумеется, представляет собой некоторое упрощение. Ведь государство является и главным партнером социальных сил, институционализирующихся на промежуточном уровне, и адресатом их требований. Оба типа социальных сил (с аксиологической и прагматической

ориентациями) встречаются между собой на макроуровне. Однако они все же ориентируются на несколько разные сферы государства.

Аксиологическое давление относится в первую очередь к характеру государства и того нормативного основания, на котором должно функционировать государство, в то время как прагматическое давление скорее сфокусировано на формировании приоритетов макрополитики, если только эффективность государственных институтов не нарушена, а каналы артикуляции групповых интересов остаются широко открытыми. Если аксиологическое давление нарушает институциональную эффективность или сужает каналы артикуляции интересов, тогда прагматическая ориентация вступает в конфликт с ориентацией аксиологической. В ином случае оба указанных типа реакций функционируют в разных политических нишах. Если прагматизм насильственно нарушает отдельные основополагающие ценности доминирующей аксиологической системы, тогда эти два типа ориентации вновь оказываются в конфликте. В стабилизировавшемся общественном порядке мы имеем дело с механизмом относительного равновесия между противоречием и гармонией названных двух ориентаций. Аксиологическая ориентация, как представляется, — это прежде всего реакция на нормативный кризис государства, тогда как прагматическая ориентация является главным образом реакцией на экономический кризис страны. После падения коммунистической системы обе эти разновидности кризиса стали очень хорошо видны.

### **Идеологии после коммунизма**

После падения коммунизма, в котором доминировала одна догматизированная идеология, возник, хотя и ненадолго, аксиологический вакуум. Этот вакуум мог быть заполнен тремя разными способами. Во-первых, в соответствии с тезисом, что коммунизм «заморозил» идеологическую жизнь, можно было ожидать, что после прекращения воздействия этого фактора мы будем иметь дело с реставрацией разных идеологий, присутствовавших в публичной жизни Польши на протяжении межвоенного периода. Во-вторых, можно было ожидать, что вакуум, созданный крахом марксистско-ленинской идеологии, приведет к тому, что Кен Джовитт (Jowitt, 1993) назвал аксиологическим «беспорядком», в котором раньше или позже станет доминировать националистическая идеология как самый простой способ артикуляции интересов и



возвращения затертой коммунизмом политической идентичности граждан. В-третьих, нельзя было также исключить, что общества, которые вышли из коммунизма, восстановят аксиологическое пространство публичной жизни по образцу западных демократий. Как мы уже сегодня знаем, никакая из этих возможностей не проявилась в чистом виде. Скорее мы имели (и продолжаем иметь) дело с некоторой смесью всех трех вариантов, хотя «ностальгический» вариант (иначе говоря, попытка восстановления докоммунистических идеологических систем) присутствует, пожалуй, в наименьшей степени.

Таким образом, в нашей публичной жизни мы имеем консервативные, либеральные, социалистические, националистические, феминистические и популистские притязания и требования. Все они укладываются в главное течение публичного дискурса, и в этом смысле форма указанных плюралистических (а иногда противоречивых и конфликтогенных) притязаний типична для демократического порядка и его публичной жизни, где указанные требования сталкиваются, образуя состояние неустойчивого динамического равновесия.

## ГЛАВА 9

# КОЛЛЕКТИВНЫЕ АКТОРЫ ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

### Введение

Как я уже упоминал, публичная жизнь представляет собой область действия организованных общественных сил. Это утверждение не слишком оригинально и не открывает ничего сколько-нибудь нового, что, однако, не делает его неправильным. Встречаются, правда, выдающиеся личности, активность которых в публичной жизни многое меняет и вносит в нее существенные отличия, но даже такие недюжинные индивиды получают поддержку от каких-то более или менее организованных общественных сил. Без подобного содействия указанные индивиды не обладали бы той мощной и по-настоящему достаточной силой воздействия, которую обыденная людская молва приписывает именно таким личностям. Тем самым главными акторами публичной жизни оказываются человеческие сообщества, которые обычно принимают какой-нибудь организованный вид.

Публичная жизнь, как наиболее широкая арена коллективных действий, контролируется государством. Ведь именно государство решает, какие коллективные действия в публичной жизни допустимы, а какие сталкиваются с санкциями или же подвергаются репрессиям. Государство решает также, в соответствии с какими генеральными процедурами могут протекать названные коллективные действия и какие границы им нельзя преступать — под угрозой серьезных санкций. В публичной жизни каждого общества можно функционировать лишь в соответствии с некоторыми правилами игры, кодифицированными в законодательстве, а на защите соблюдения этих правил стоит государственный аппарат, который, впрочем, и сам тоже формально подчиняется данным правилам. Если государство носит демократический характер, указанные правила игры устанавливаются в соответствии с демократическим процессом; если же оно имеет недемократический характер, то правила игры навязывает власть, которой подчиняется весь аппарат этого государства.

В современных либерально-демократических обществах спектр допускаемых в публичную жизнь вариантов коллективного поведения наиболее широк, но и в этом случае отдельные формы поведения, которые нарушают установленный законный порядок (например, драки и «заварухи» на футбольных стадионах, разгром и грабежи магазинов или уничтожение имущества), преследуются и облагаются санкциями. Чем менее демократическим является государство, тем более узок спектр вариантов коллективного поведения, которые могут иметь место в публичной жизни, и тем меньше степень автономности указанных вариантов поведения от государства. В предельном случае полностью тоталитарного государства в публичной жизни дозволены только такие формы коллективного поведения, которые иницируются государством и полностью им контролируются.

Государственный аппарат, таким образом, – это самый существенный коллективный актор публичной жизни, в демократической системе и под властью закона исполняющий двойную роль: с одной стороны, он стоит на страже действующих правил игры, которые обязательны для всех коллективных акторов, функционирующих в публичной жизни, а с другой стороны, сам подчиняется этим правилам.

Если публичная жизнь относительно открыта для различных проявлений коллективных действий, то в ее рамках появляются весьма дифференцированные манифестации деятельности самых разных общественных (социальных) сил, цели которых могут быть взаимно конкурентными или даже противоречивым (что ведет к общественному конфликту); указанные цели могут также быть взаимно дополняющимися или даже взаимно подкрепляющимися (что обычно приносит плоды в виде ограниченной кооперации или всестороннего сотрудничества), и, наконец, это могут быть взаимно нейтральные цели, поскольку стремление к их реализации протекает в таких общественных нишах, которые никак не соприкасаются между собой. В таком случае реализация данных целей не содержит в себе зародыша или очага конфликта, равно как и не ведет также к более или менее тесному сотрудничеству, поскольку ни один из коллективных акторов этого типа не увеличивает шансов на реализацию своих целей, если вступает в конфликт или в сотрудничество с другим подобным актором публичной сцены. В таком случае мы имеем дело с сосуществованием разных акторов, стремящихся к отличающимся целям, которые ни в каком смысле

не состыковываются (пусть примером этого послужит деятельность объединения рыболовов-любителей в каких-нибудь заштатных Миколайках, ничуть не связанная с работой другого объединения — любителей паровых локомотивов, или попросту паровозов).

Каждое коллективное действие осуществляется в определенном социальном пространстве. Метафора пространства, сцены или арены хорошо подходит для социальной локализации отдельных коллективных акторов. Например, Линц и Стéпан (*Linz, Stepan*, 1996: 7) выделяют пять арен, существование которых необходимо для консолидированной демократической системы: 1) гражданское общество, основным принципом функционирования которого является свобода объединений и коммуникации; 2) политическое общество, функционирующее в соответствии с принципом свободного и инклюзивного избирательного соперничества; 3) правовое государство и власть правопорядка, опирающиеся на кодифицированную конституцию; 4) государственный аппарат, руководствующийся рационально-правовыми бюрократическими нормами; 5) экономическое общество, для которого основным принципом, организующим его функционирование, является институционализованный рынок. Эта типология может, однако, возбуждать сомнения. Во-первых, выделение категорий, которые наделяются названием «арен», изначально предполагает, что мы имеем дело с какой-то типологией социального пространства, в котором осуществляются определенные процессы либо действуют те или иные категории акторов. В результате гражданское общество (так же, впрочем, как и политическое либо экономическое общество) трудно признать ареной, если мы не хотим нарушать общепринятых значений указанных понятий; ведь гражданское общество (точно так же, как и два остальных «общества», выделенных Линцем и Степаном) — это, выражаясь иными словами, совокупность организаций или объединений определенного типа, которые могут действовать на отдельных аренах, но сами аренами не являются. Да и государственный аппарат — по тем же самым причинам — тоже является вовсе не ареной, а субъектом, действующим в пространстве, которое зарезервировано для его прерогатив. Однако самые большие трудности рождаются при попытках трактовать в качестве «арены» правовое государство и власть правопорядка. Ведь и «правовое государство», и «власть правопорядка» — это не «арена» (в любом значении этого слова), а скорее общий принцип, регулирующий деятельность разнообразных

коллективных акторов на всех тех «аренах» действия, которые поддаются аналитическому вычленению.

Тем не менее Линц и Степан своей типологией обращают внимание на существенное свойство публичной жизни в демократическом обществе, а именно: в его рамках функционируют относительно автономные акторы (индивидуальные и коллективные), а их действия и поступки должны принимать во внимание некоторые общие правила игры, если они не хотят рисковать и подвергать себя санкциям, которые налагаются государственными институтами, проводящими в жизнь положения права и власть правопорядка. Акторы эти функционируют в пределах некоторого единого общественного целого, которое состоит из многих взаимосвязанных «пространств». Метафора пространства, отсылающая к понятию арен Линца и Степана и продолжающая их, представляется полностью обоснованной семантически, поскольку она акцентирует тот факт, что реальные общественные действия должны «где-то» осуществляться и должны быть отнесены к какому-либо месту в сети социальных взаимоотношений. Однако общественное пространство, в отличие от пространства физического, представляет собой аналитическую конструкцию, позволяющую позиционировать применительно к себе отдельные конкретные типы активности действенных субъектов. Оно существует постольку, поскольку в публичной жизни появляются определенные разновидности действий относительно автономных (и, как правило, коллективных) действенных субъектов, и ужимается, когда определенные действия отмирают и угасают (например, вследствие сознательной деятельности авторитарного государства).

Указанные «пространства» деятельности взаимосвязаны настолько тесно, что действие, осуществленное в одном пространстве, может вызывать последствия не только в этом конкретном пространстве, но также в других пространствах, которые, в принципе, являются территорией деятельности типологически различных акторов. В демократии можно аналитически выделить по меньшей мере четыре типологически различающиеся разновидности общественного пространства: 1) аксиологическое; 2) политическое; 3) гражданское; 4) экономическое. В аксиологическом пространстве между действенными субъектами осуществляется согласование их различающихся нормативных требований. Здесь рождаются как нормы, основанные на обычаях, так и формализованные нормы, здесь также порой устанавливаются иерархии

ценностей. В данном пространстве действуют прежде всего такие коллективные акторы, как церкви и объединения на основе вероисповедной принадлежности, культурные организации или иные движения и группы, построенные на основе норм, ценностей и образцов поведения и характеризующиеся разными уровнями институционализации. Аксиологическое пространство существует в тех случаях, когда в публичной жизни дело доходит до плюралистической артикуляции ценностей и норм. Участниками аксиологического пространства являются те граждане, которые в индивидуальном порядке или в организованной форме участвуют в аксиологическом публичном дискурсе.

Политическое пространство представляет собой место согласования политических притязаний и требований отдельных акторов, причем прежде всего требований к власти. Здесь рождаются идеологии, которые должны легитимировать требования к власти, политические программы и избирательные обещания; здесь же происходит агрегирование отдельных политических опций в более крупные образования. Политическое пространство — это область действия политических партий, хотя не только. Дело в том, что в указанном пространстве активны также другие акторы, которые предпринимают действия, нацеленные на какую-то форму участия во власти.

Гражданское пространство есть место проявления неполитической активности различных организаций гражданского общества. Другими словами, это область деятельности «третьего сектора», иначе говоря неправительственных общественных организаций.

Экономическое пространство является местом для согласования интересов разных групп и их агрегирования в более крупные и цельные образования, а также местом таких инструментальных действий (творческих, производственных и обслуживающих), осуществление которых дает возможность удовлетворения разнообразных интересов. Здесь в качестве обязательных действуют рыночные принципы, а фактором, который является решающим при выборе той или иной разновидности предпринимаемых действий, служит эффективность в достижении группового и индивидуального интереса. В указанном пространстве коллективными акторами выступают союзы работодателей, хозяйственные или экономические корпорации, профсоюзы, союзы производителей и посредников, а также неформальные группы интересов. Все указанные «пространства» вырастают из территории,

на которой протекает самая обычная, повседневная жизнь людей, в значительной мере рутинизированная. Это и есть то наиболее основополагающее пространство социального бытия, которое чаще всего не попадает в пространство публичной жизни, а функционирующие в нем акторы выступают, как правило, в индивидуализированных ролях, хотя они и связаны неформальными взаимоотношениями с другими индивидуальными акторами, действующими в данном пространстве. Эти взаимоотношения могут носить разный характер — как случайный (например, таково взаимоотношение между продавцом и клиентом в супермаркете), так и устойчивый, продолжительный (например, взаимоотношение между матерью и дочерью). Погруженность в названное базовое пространство повседневной жизни представляет собой устойчивый опыт всех людей, тогда как вступление в те или иные типы пространства публичной жизни касается далеко не всех и далеко не всегда имеет место. В последующей части этой главы мы займемся, однако, только некоторыми коллективными акторами, функционирующими на публичной сцене. Таким образом, если я вспоминаю здесь о пространстве повседневной жизни, то исключительно ради того, чтобы отметить тот довольно тривиальный факт, что коллективные акторы, действующие на публичной сцене, складываются из индивидуальных участников, которые черпают свой опыт прежде всего (хотя и не исключительно) из постоянного пребывания во взаимоотношениях повседневной жизни. Коллективные акторы будут характеризоваться нами в такой очередности, которая в основном указывает на возрастающую степень их институционализации. Таким образом, мы начнем с характеристики толпы, затем перейдем к общественному движению. Далее разберем по порядку неформальные и институционализированные группы интересов, неправительственные организации и напоследок — политические партии.

Однако прежде чем перейти к этим характеристикам, нам надо посвятить немного места представлению общих теорий, которые объясняют механизмы коллективных действий.

### Коллективные действия

Как правильно отмечает Хекаторн, «коллективные интересы necessarily ведут к коллективным действиям» (*Heckathorn*, 1996: 250). Из истории мы знаем много ситуаций, когда угнетаемые

люди даже перед лицом смерти не бунтовали, а пассивно отдавались на милость жестокой судьбы даже в случаях, когда они обладали решительным количественным перевесом над теми, кто их угнетал, а коллективное выступление могло бы уберечь их от смерти и — более того — имело бы реальные шансы на успех. Например, голодная смерть миллионов украинских крестьян во время сталинской коллективизации деревни не возбудила всеобщих защитных коллективных действий, а только изолированные и эпизодические бунты, почти рефлекторные, которые не имели существенного значения для протекания всей этой акции. В свою очередь, гораздо менее важные происшествия могут запустить в ход целый каскад коллективных действий, последствия которых принципиальным образом меняют весь общественный порядок, а иногда даже ведут к историческому перелому. Например, непосредственным инцидентом, который запустил в ход огромную лавину событий, известных как Великая французская революция (1789–1799), было отстранение от должности популярного в народе министра финансов Ж. Некера. В знак протеста произошли беспорядки, вызванные санкюлотами, а затем народ разрушил Бастилию, которая была символом репрессивной политики Людовика XVI и его двора. Революция стала фактом. Другим примером такого типа было в 1980 году объявление о начале забастовки солидарности в знак протеста против увольнения крановщицы Гданьской судовой Анны Валентынович, что инициировало целый водопад событий, которые привели к возникновению почти десятилетнего общественного движения «Солидарности» и ко всем дальнейшим последствиям его существования — с падением коммунизма включительно.

Должны, следовательно, существовать какие-то общественные механизмы, которые в одних обстоятельствах запускают коллективные действия, а в других — предотвращают их, хотя для внешнего наблюдателя их материализация была бы чем-то очевидным и рациональным. Поэтому нет ничего странного в том, что эти парадоксальные с виду явления оказались предметом интенсивных исследований, а плодом последних стало возникновение теорий, позволяющих глубже вникнуть в природу коллективных действий.

Работой, которая в этой области исследований имеет статус классического произведения, является книга Мансура Олсона (Mancur Olson) «The Logic of Collective Action» («Логика кол-



лективного действия») (1965)<sup>1</sup>. Невзирая на немалое количество лет, истекших с момента ее публикации, изложенные в ней теоретические положения, аналитические категории и даже указания по организации исследований служат точкой отсчета для многих сегодняшних исследователей данной проблематики (Gould, 1993; Schrager, 1985; Oliver, Marwell, 1988; Laumann, Marsden, 1979; Kim, Bearman, 1997; Western, 1991; Rule, 1989, Fine, Sandstrom, 1993).

Олсон особым способом определил как группу (его определение отличается от стандартных определений группы, которые встречаются в социологии), так и публичное благо (*public good*), а также «совместный ресурс» (*jointness of supply*)<sup>2</sup>. Эти аналитические категории представляют собой элементы несущей конструкции многих теоретических моделей, которые появились со времен Олсона. **Публичное благо** определяется в этой теоретической конвенции через неисключительность; если какой-нибудь из членов группы пользуется им, это не означает, что тем самым он лишает данного блага других членов группы (Olson, 1965: 14). Ведь в таком случае публичное благо изменило бы свой статус и стало частным благом, присвоенным тем членом группы, который как раз в данный момент пользуется им. **Группа** – в понимании теории Олсона – определяется как совокупность индивидов, которые заинтересованы в использовании определенного публичного блага. Благо, которое представляет собой **совместный ресурс**, стоит ровно столько же независимо от того, какое количество людей им пользуется (Oliver, Marwell, 1988: 2). Например, укладка дорожного покрытия заново пролагаемой улицы обходится в определенную сумму независимо от того, сколько людей потом ежедневно пользуется этой улицей. Установка памятника маршалу Пилсудскому возле Бельведера<sup>3</sup> повлекла за собой определенные издержки, которые, однако,

---

<sup>1</sup> Эта книга выходила по-русски, см. раздел «Библиография».

<sup>2</sup> В русском переводе вышеуказанной монографии Олсона в обоих этих смыслах используются термины «общественное благо» и особенно «коллективное благо», противопоставляемые понятию «частное благо». Применительно к благу используется также понятие «совместность», а также два уточнения: «инклюзивное» и «эксклюзивное».

<sup>3</sup> Бельведер – дворец в Варшаве, который существует с середины XVII века и уже в 1818–1830 годах был резиденцией великого князя Константина, который с 1814 года являлся фактическим наместником Царства Польского. Затем, в 1918–1922 годах, это местопребывание Ю. Пилсудского, в 1922–1926 годах – резиденция президента РП (Ч. Нарutowича,

никак не изменяются — независимо от числа людей, которые осматривают этот памятник. Проведение в жизнь закона о ликвидации цензуры было связано с некоторыми затратами в виде потерь времени определенной группой людей, ликвидации существовавшего в ПНР Управления по контролю прессы и зрелищ и т.д., но эти издержки никак не зависели от числа людей, которые начали пользоваться свободой слова, появившейся в результате ликвидации цензуры. Укладка дорожного покрытия улицы, возведение памятника маршалу или ликвидация цензуры — все это публичные блага именно потому, что они являются совместным (общедоступным) ресурсом с постоянной стоимостью, которая не зависит от количества тех, кто пользуется названными благами.

Как пишут Памела Оливер и Джералд Марвелл (*Oliver, Marwell*, 1988: 2), совместный ресурс представляет собой свойство публичного блага, поддающееся постепенному наращиванию: от полностью совместного общедоступного ресурса, когда нет затрат, пропорционально раскладываемых на всех пользователей данного публичного блага, но есть установленная и неизменная стоимость создания этого блага (укладка дорожного покрытия улицы является хорошей иллюстрацией такого полностью совместного и по-настоящему общего ресурса), до классической частной собственности, где общедоступных совместных ресурсов не существует, а затраты пропорционально раскладываются на всех владельцев, имеющих исключительное право на определенное благо. В соответствии с теорией, обрисованной уже Олсоном, каждое коллективное действие, а следовательно, и вступление в какое-нибудь из пространств публичной жизни имеет целью создание некоего публичного блага, которое будет характеризоваться определенным уровнем его совместности как ресурса, иначе говоря общественной доступностью данного ресурса (дорожного покрытия, законодательного положения или памятника) для тех, кого такая доступность интересует.

Коллективное действие имеет место в тех случаях, когда число членов определенной группы (будем помнить о том

---

С. Войцеховского), в 1926–1935 годах — вновь Ю. Пилсудского, а в 1935–1939 годах, после смерти маршала, там располагался его музей. После войны до 1952 года Бельведер — местопребывание главы Польши Б. Берута, затем — председателя Госсовета ПНР, а с 1989 года — резиденция президента РП.

специфическом значении, которое в этих теориях придается термину «группа»), решающихся предпринять определенное действие, достигнет некоторого уровня, называемого «критической массой»<sup>1</sup>. Достижение «критической массы» вызывает, как правило, целый каскад актов участия в коллективных действиях — в том числе таких членов группы, которые ранее оставались в нерешительности или даже испытывали скепсис по поводу данного мероприятия (*Oliver, Marwell, 1988*).

На первый взгляд, осуществление коллективного действия в малой гомогенной (однородной) группе должно быть более вероятным, чем в большой группе, ибо «критическая масса» числа ее членов, которая запускает такое действие, должна быть меньше, и вместе с тем гомогенность должна служить фактором, ускоряющим возникновение критической массы по сравнению с группой с сильной внутренней дифференцированностью. Тем не менее теория все-таки говорит нечто другое, а эмпирические исследования подтверждают это. На самом деле оказывается, что, когда группы гетерогенны (неоднородны), большей группе может потребоваться менее многочисленная «критическая масса», чем малой группе. Другими словами, большую по численности, но внутренне дифференцированную группу может побудить к коллективному действию меньшее количество «активистов», чем группу малую, но гомогенную. Это так называемый «парадокс размера группы», на который обращал внимание уже Олсон (*Olson, 1965: 29*), а развили эту проблему Хардин (*Hardin, 1982: 67, passim*), а также Оливер и Марвелл (*Oliver, Marwell, 1988*). В чем же заключается данный парадокс и каким образом можно его распутать без привлечения математических формул?

Подвергнем мысленному изучению следующую ситуацию: между деревней и полями, принадлежащими пяти ее жителям, протекает небольшая речка. Во время последнего наводнения она вышла из берегов и смыла мостик, по которому эти крестьяне переправлялись на другой берег, чтобы обрабатывать свои поля. Теперь они вынуждены пользоваться объездом до ближайшего

---

<sup>1</sup> Этот термин заимствован из ядерной физики, где он означает минимальную массу делящегося вещества, необходимую для начала самоподдерживающейся цепной ядерной реакции, т.е. взрыва. В социологии данный термин метафоричен, и именно поэтому автор берет его здесь и далее в кавычки.

сохранившегося моста, что удлинит дорогу на десять километров. В прежние времена старым мостиком при случае пользовались иногда и остальные обитатели деревни, так как это несколько сокращало дорогу до ближайшего города. Одним словом, тот мостик на самом деле был объектом публичного пользования, но гмина у них бедная, и ничто не говорит о том, чтобы в ближайшие годы она ассигновала средства на постройку нового моста. Деревня тоже бедная, но все-таки она насчитывает сто хозяйств, причем весьма однородных с точки зрения доходов. Чтобы мостик мог появиться, необходимо 10 000 злотых. Те пять хозяев, чьи поля располагаются по другую сторону речки, организуют в деревне акцию в пользу постройки моста. Они заявляют, что сложатся по 100 злотых, так как именно столько приходится в среднем на одно хозяйство, причем эта сумма составляет 1% от их годовых доходов. Причина такой готовности проста: они подсчитали, что выложить 100 злотых выгоднее, чем терять время и топливо на объезды. Это, однако, дает всего лишь 500 злотых — иными словами, таких денег слишком мало, чтобы образовать критическую массу. А вот чтобы действительно создать критическую массу, составляющую, например, половину затрат на постройку нового мостика, они должны уговорить на аналогичное доленое участие еще как минимум 45 хозяев. Теперь представим себе ту же самую деревню, но весьма неоднородную по показателям доходов. Несколько проживающих там хозяев очень богаты, причем пятеро из них как раз владеют полями по ту сторону речки, тогда как остальные жители деревни бедны. Богатые хозяева подсчитали, что, если каждый из них выложит по 1000 злотых (что также составляет 1% от их годовых доходов), это все равно окажется по меньшей мере в два раза выгоднее, нежели расходы на топливо плюс время, теряемое на объезды. В этом случае критическую массу удастся достигнуть уже при пяти участниках, тем более что остальные затраты на строительство, разложенные на 95 хозяйств, составят уже не по 100 злотых, а всего лишь неполных 53 злотых *per capita* (на душу, т.е. на одного жителя). Даже если бы эти богатые хозяева не сумели мобилизовать на коллективное действие остальную деревню (хотя они имеют на это больше шансов, чем хозяева из первого примера), то в худшем случае им пришлось бы полностью финансировать все строительство мостика (и, следовательно, сложиться по 2000 злотых), но это все равно было бы для них выгодно. Как пишут Оливер и Марвелл, «для индивида, решающегося сделать вклад в создание

коллективного блага, которое характеризуется полной общедоступностью ресурса, безразлично, сколько людей сможет пользоваться этим благом. Индивиды создадут определенное благо, если их собственная выгода или польза от его появления перевесит понесенные ими затраты» (*Oliver, Marwell, 1988: 3*). В нашем последнем примере размер группы, заинтересованной в возникновении определенного публичного блага (нового моста), имеет не самое существенное значение; зато действительно решающую роль играет соотношение затрат и выгод для тех членов группы, для которых отсутствие этого блага наиболее ощутимо.

Это, однако, не означает, что размер группы вообще не имеет значения. В данном случае чем больше группа, тем выше вероятность создания названного публичного блага. Вероятность увеличивается вместе с размером группы по двух причинам: во-первых, потому что в большей группе, особенно если она не гомогенная, увеличивается вероятность появления состоятельных членов, располагающих такими возможностями, которые выше средних, а это, в свою очередь, позволяет легче достигнуть «критической массы», раскрепощающей деятельность всей группы. Во-вторых, в большей группе постоянные затраты, необходимые для создания определенного публичного блага, раскладываются на большее число лиц, а следовательно, затраты *per capita* уменьшаются. Повторим, однако, что такая закономерность появляется **только** по отношению к публичным благам с **полной совместностью (общедоступностью) ресурса** — иными словами, к таким благам, стоимость создания которых одинакова независимо от того, сколько людей пользуется указанным благом (ресурсом).

С другой стороны, размер группы, заинтересованной в создании определенного публичного блага, оказывает отрицательное воздействие лишь в тех случаях, когда стоимость этого блага возрастает пропорционально числу лиц, пользующихся им. В таком случае большие группы тех, кто заинтересован в создании определенного публичного блага, оказываются в худшей ситуации и имеют меньше шансов на создание такого блага, чем малые группы. Представим себе, что существует группа, заинтересованная в постройке на берегу озера специальных мостков, где можно было бы загорать и удить рыбу. Если эта группа окажется небольшой, то шансы на реализацию подобной совместной инициативы окажутся выше, чем в случае весьма многочисленной группы; так произойдет по той причине, что емкость мостков ограничена,

а затраты на пользование подобными мостками (рассчитываемые через время ожидания освободившегося места) возрастают вместе с численностью группы. В данном случае совместность, или общедоступность, ресурса (каковым являются мостки) иллюзорна, чтобы не назвать ее нулевой, так как мостки могут быть целый день оккупированы случайной группой людей, которые могли вообще не принимать никакого участия в создании этих мостков. Совместность, или общедоступность, ресурса может также быть нулевой в другом случае, а именно когда те лица, которые участвовали в постройке мостков, будут располагать свободным доступом к ним, а те, кто не сделал для возникновения мостков ничего, вообще не смогут ими пользоваться. Однако в таком случае мостки будут уже не публичным благом, а частной собственностью некоторой небольшой группки людей, которые в состоянии свободно уместиться на этом настиле.

Коллективные действия не могут рассматриваться в отрыве от социального контекста. Об отдельных элементах этого контекста (об интересах и ресурсах) мы уже говорили и даже показывали, каким образом они могут функционировать в конкретной ситуации. Однако контекстные факторы не исчерпываются интересами потенциальных членов коллективного действия, а также их реальными возможностями действовать, или, выражаясь иначе, их дифференцированными индивидуальными ресурсами. Требуется также учесть уже существующие сети взаимоотношений между людьми и группами, а особенно взаимоотношений с участием власти. **Интересы, индивидуальные ресурсы, а также степень центральности позиции**, измеряемая местом в иерархии главенства и второстепенности, иными словами местом в системе власти, являются ключевыми — с интересующей нас здесь точки зрения — свойствами, которые дифференцируют членов группы потенциального коллективного действия и вместе с тем представляют собой факторы, которые каким-то образом структурируют эту группу (*Kim, Veerman, 1997: 75*).

Группа, носящая гомогенный характер, отличается равномерным распределением трех указанных выше параметров, а это означает, что все ее члены в равной степени заинтересованы в создании определенного публичного блага, что отдельные члены располагают сходными возможностями по внесению вклада в возникновение данного блага (сходными индивидуальными ресурсами) и, наконец, что все члены группы располагают похожей

властью, иначе говоря возможностью воздействия на остальных членов указанной группы. В свою очередь, в группе, имеющей гетерогенный характер, три названных параметра распределяются неравномерно. Другими словам, в такой группе имеются члены, заинтересованные в создании определенного публичного блага в большей и меньшей степени, причем они располагают неравными индивидуальными ресурсами, а самое важное – какие-то одни члены занимают в группе центральную позицию и располагают большим влиянием на остальных ее участников, нежели другие члены, которые находятся на периферии группы.

Ким и Бэрмен обращают внимание на тот факт, что внутренняя структура распределения сил в группе имеет весьма существенное значение для процесса запуска коллективного действия. Особенно существенны здесь связи, с одной стороны, между степенью центральности положения (властью) и интересами, а с другой – между степенью центральности положения и индивидуальными ресурсами. «Власть, измеряемая центральностью положения в группе, – пишут они, – отличается от остальных ресурсов тем, что позволяет косвенно создавать коллективное благо через процесс личного влияния на других, хотя сама власть не может быть признана непосредственным и прямым вкладом в создание блага» (Kim, Bearman, 1997: 75). Теоретическая модель Кима и Бэрмена (Ibid.: 76, *passim*) различает четыре варианта структуры сил в человеческой совокупности, которые по-разному влияют на шансы того, что коллективное действие будет инициировано и осуществлено. Если центральную позицию в группе занимают акторы, которые сильно заинтересованы в создании определенного коллективного блага и вместе с тем контролируют ресурсы группы, то имеет место **привилегированная** структура сил. В совокупности такого типа все: интересы, индивидуальные ресурсы, а также власть (центральное положение) – коррелирует положительно. В группе с **обедненной** (*impoverished*) структурой сил центральное положение и ресурсы, правда, коррелируют положительно, но лица, располагающие наибольшим влиянием и наибольшими индивидуальными ресурсами, лишь в небольшой степени заинтересованы в создании определенного коллективного блага. В свою очередь, те, кто сильно заинтересован в создании такого блага, находятся где-то на обочинах данной совокупности и не располагают ни влиянием, ни индивидуальными ресурсами. Далее, группа с **отстраненной** (*estranged*) структурой сил характеризуется

тем, что акторы, сильно заинтересованные в создании некоего публичного блага, располагают, правда, ресурсами, но отстранены от других членов группы и их влияние на этих участников ничтожно. И наконец, в четвертом типе совокупности, который Ким и Бэрмен назвали **мятежным**, акторы, занимающие в этой совокупности центральную позицию, сильно заинтересованы в создании публичного блага, но располагают незначительными ресурсами.

Наибольшая вероятность запуска коллективных действий наблюдается, понятное дело, в совокупностях с привилегированной структурой сил. В совокупностях с мятежной структурой сил лидерам почти нечего терять (у них ничтожные ресурсы), так что они, как правило, являются сторонниками более резких форм коллективных выступлений, и если уж им удастся довести ситуацию до таких выступлений, то последние носят революционный характер или по меньшей мере приносят плоды в виде воинственных общественных движений. В группах с обедненной и отстраненной структурой внутренних сил вероятность того, что коллективные действия материализуются, ничтожна<sup>1</sup>.

Очередным измерением, которое нужно принимать во внимание в теории коллективных действий, является интенсивность контактов и взаимоотношений в группе. Когда интенсивность контактов и взаимоотношений в рамках некоторой совокупности близка к нулю, отдельные члены такой совокупности взаимно изолированы и — независимо от того, какова структура сил в данной совокупности, — коллективные действия в ней маловероятны, поскольку не срабатывает личное воздействие одних членов группы на других. Отсутствует также отождествление ее членов с данной совокупностью как единым целым и с теми целями, достижение которых требует какого-то коллективного действия. По мере того как интенсивность контактов и взаимоотношений между членами указанной совокупности растет, решения о подключении к коллективным действиям во все меньшей степени индивидуализированы, а во все большей степени формируются давлением со стороны группы, с которой индивид связан. Дело в том, что в игру входят такие групповые нормы, как солидарность, а также честность перед другими членами группы и нежелание быть

---

<sup>1</sup> Вместе с тем Ким и Бэрмен тут же замечают, что если в группе с отстраненной структурой сил дело все-таки доходит до каких-либо действий, то они носят взрывной характер.



эксплуатируемым. Если одни члены подобной группы уже внесли в создание коллективного блага свой вклад (например, личное время или энергию) и этот вклад наглядно виден другим членам данной совокупности, то запускается норма честности и норма групповой солидарности («если кто-либо внес вклад в создание такого блага, которым и я буду пользоваться, то я тоже должен как-нибудь поспособствовать созданию этого блага»). Указанные нормы содействуют совершению коллективных действий. В свою очередь, если заметная часть группы не принимает участия в создании публичного блага, а только ждет, пока оно возникнет, дабы воспользоваться им, то такая ситуация демобилизует группу, потому что запускается норма нежелания быть эксплуатируемым («если я вкладываю свое время и энергию, а другие только ждут, то я тоже подожду»). Как отмечает Гулд (*Gould, 1993: 184*), люди не любят, когда их эксплуатируют (поскольку убеждены, что эксплуатация — нечестное занятие), но также не хотят, чтобы их воспринимали в качестве тех, кто эксплуатирует других.

Интенсивность контактов и взаимоотношений внутри людской совокупности лежит между двумя крайностями. На одной оконечности располагалась бы уже упоминавшаяся совокупность взаимно изолированных индивидов с нулевыми взаимоотношениями, а на другой — полностью интегрированная группа, где все знают всех и где интенсивность контактов очень высока, а взаимоотношения носят сформировавшийся и устойчивый характер. Большинство совокупностей находятся где-то посередине между этими двумя граничными точками: члены некоторых из них знают друг друга очень хорошо и поддерживают интенсивные контакты, в других они знакомы в меньшей степени, а их контакты между собой окказиональны (эпизодичны), тогда как в еще каких-то третьих группах их члены знакомы очень слабо и могут даже не знать о существовании друг друга. Но все подобные люди обладают сознанием какой-то формы принадлежности к данной совокупности (например, они могут быть соседями по большому дому, прихожанами одной церкви или болельщиками одной и той же волейбольной команды). Однако в таких наиболее типичных ситуациях — как вытекает из эмпирических исследований Кима и Бэрмена (*Kim, Bearman, 1997: 88*), — воздействие интенсивности социальных взаимоотношений статистически существенно и позитивно только в таких совокупностях, внутреннюю структуру сил в которых мы определили ранее как привилегированную

либо мятежную. В группах с обедненной и отстраненной структурой сил свойственная им степень интенсивности взаимоотношений положительно коррелирует с коллективным действием лишь в тех случаях, когда интенсивность взаимоотношений решительно превышает средний уровень.

Как пишут уже цитировавшиеся Оливер и Марвелл, «проблема коллективного действия состоит не в том, возможно ли мобилизовать каждое отдельное лицо, которое может извлечь пользу либо выгоду из коллективного блага. Не заключается она и в том, можно ли мобилизовать каждого, кто хотел бы оказаться мобилизованным. Более того, она заключается даже не в том, есть ли возможность добиться мобилизации всех членов какой-нибудь организации или сети. Проблема кроется, скорее, в том, существует ли какой-нибудь общественный механизм, который связывает достаточное количество людей, обладающих такими надлежащими интересами и ресурсами, что это склоняет их к действию» (*Oliver, Marwell, 1988: 6*).

Об этих механизмах пойдет речь в процессе анализа отдельных разновидностей коллективных акторов и способов их действия. Дело в том, что указанные механизмы дифференцируются в зависимости от типа коллективного актора и от тех потенциально возможных способов функционирования, которые ему по-настоящему доступны.

Резюмируя приведенные выше рассуждения, стоит обратить внимание на тот факт, что типичное коллективное действие протекает на двух уровнях, а также что динамика подобного действия складывается из трех стадий: начальной, промежуточной и зрелой (*Heckathorn, 1996: 253, 272*). Аналитически выделенный первый уровень, на котором протекает коллективное действие в начальной стадии, относится к индивидуальным инициативам, направленным на создание какого-то коллективного блага, а также к индивидуальным решениям отдельных членов данной совокупности по поводу того, включиться ли им в задуманную общую инициативу или же отвернуться от нее. Второй уровень — на котором протекают промежуточная и зрелая стадии деятельности — содержит уже групповые взаимоотношения, поскольку на этом уровне применяются как стимулы и меры поощрения для тех, кто на первом уровне принял решение включиться, так и наказания для таких членов, которые на первом уровне решили для себя, что не будут принимать участия в данной инициативе. Эти поощрения и

наказания могут иметь очень разный характер — от публичной похвалы присоединяющихся и осуждения пассивных до социального ostracism последних.

На начальной стадии инициатором коллективного действия выступает относительно малая часть группы, и в зависимости от внутреннего распределения сил (иными словами, от взаимоотношения между интересами, ресурсами и возможностями влияния на тех, кто инициирует действие), а также в зависимости от степени внутренней интенсивности социальных контактов группа достигает «критической массы» (и в этот момент на публичной сцене появляется новый коллективный актор) или же не достигает ее (и тогда частичная мобилизация группы затухает, а коллективное действие не возникает). На промежуточной стадии, которая образуется после превышения «критической массы», число участников коллективного действия возрастает (иногда лавинообразно, как это было в случае появления «Солидарности» в 1980 году), поскольку здесь уже действуют групповые нормы, появляющиеся на втором уровне формирования коллективного действия (желание избежать подозрения в эксплуатации других людей, а также солидарность), и вместе с тем каждый очередной индивид, вступающий в число участников действия, улучшает отношение затрат на участие к той выгоде, которая ожидается от создания данного коллективного блага. На зрелой стадии возникают границы коллективного действия — из-за физических ограничений на дальнейшее создание данного коллективного блага (например, строительство моста в деревне из нашего примера уже закончено), а также по причине полного исчерпания запаса потенциальных новых участников коллективного действия (почти все жители нашей гипотетической деревни уже приняли участие в строительстве нового моста). Зрелая стадия коллективного действия является вместе с тем критическим моментом для его дальнейшего существования, ибо соответствующее движение или подвергнется атрофии и придет в упадок, или же институционализируется, что обеспечит ему дальнейшее пребывание на сцене публичной жизни.

Публичное пространство представляет собой территорию, где функционирует очень много разнообразных коллективных акторов. Отличают их и влияют на способ их действий не только цели, но также степень институционализации вместе со степенью кодифицированности правил их действия и принадлежности членов. С этой точки зрения можно выделить следующие типы

коллективных акторов, функционирующих в том публичном пространстве, которое простирается между уровнем частной жизни (являющимся областью действия первичных групп) и макроуровнем, где функционируют формальные институты и учреждения государства:

- 1) толпа;
- 2) общественное движение;
- 3) группы интересов;
- 4) гражданские неправительственные организации;
- 5) политические партии.

Сразу нужно оговориться, что эта типология не является исчерпывающей. Потому что здесь, например, нет такого мощного коллективного актора, как церковь. Кроме того, категории в этой типологии не являются также полностью непересекающимися, потому что какие-то отдельные коллективные акторы публичной сцены могут институционализироваться, например, в форме гражданской неправительственной организации, а действовать, по сути дела, так же, как классическая группа интересов. Тем не менее, невзирая на указанные оговорки, приведенная типология, как представляется, охватывает наиболее существенные, качественные различия между отдельными коллективными акторами. Поэтому она может быть также полезной в качестве аналитической схемы, которая служит для описания наиболее типичных коллективных акторов, действующих в публичном пространстве демократического государства.

### Толпа

Толпа бывает только эпизодическим коллективным актором. «Это масса людей, — как пишет Роджер Скратон, — собравшаяся в одном месте и лишенная внутренних связей, которая коллективно реагирует на какое-либо событие» (*Scruton*, 1983: 107). Толпа представляет собой случайное собрание людей, которое может сосредоточиться вокруг какого-то (в большинстве случаев инцидентного, т.е. непредвиденного, окказионального) события, а коль скоро она уже соберется, то варианты ее поведения управляются механизмами, свойственными только совокупности данного типа. Толпе присущи нулевой уровень институционализации, а также отсутствие внутренней структуры. Это аморфная масса, многими своими

характерными свойствами напоминающая косяк рыб или стаю птиц. Встает вопрос, может ли такое собрание (скорее, сборище) людей быть коллективным социальным актором, коль скоро оно неустойчиво, не обладает внутренней структурой, а его появление не до конца предсказуемо. Невзирая на указанные оговорки, ответ на поставленный так вопрос должен быть утвердительным. Правда, сама толпа действительно представляет собой неустойчивое собрание людей, зачастую совершенно случайных, но последствия тех или иных вариантов поведения толпы могут вносить в коллективную жизнь существенные и устойчивые отличия, более того — могут серьезно менять эту жизнь. Именно толпа начала штурм Бастилии — впрочем, слабо защищенной и слабо защищавшейся — в Париже 14 июля 1789 года, в день, который сегодня является датой национального праздника Франции. Уже одного этого исторического примера хватило бы для обоснования того, зачем в главе, посвященной коллективным акторам публичной сцены, дается описание механизмов, которые управляют поведением человека в толпе. Но мы ведь знаем и другие действия толпы, которые имели и имеют место в разных культурах и в разные исторические периоды и которые тоже породили немалые последствия — правда, меньшего калибра, но по-прежнему существенные. Следует упомянуть здесь происходившие в XVIII—XIX веках самосуды в США, которые осуществлялись толпой и вошли в историю под названием линчеваний, или судов Линча, — по фамилии Чарльза Линча (1736—1796), плантатора из Виргинии, который во время американской революции председательствовал в создававшихся *ad hoc* случайных, разношерстных судебных «коллегиях», приговаривавших сторонников британцев к смертной казни через повешение. В нынешние времена толпа футбольных болельщиков способна стать причиной значительных беспорядков и разрушений в городе, а иногда привести к гибели многих людей (как это случилось на [брюссельском] стадионе «Эйзель» в мае 1985 года, когда во время волнений, вызванных болельщиками британского «Ливерпуля», погибло 39 человек<sup>1</sup>).

Попробуем, таким образом, более подробно рассмотреть проблематику коллективных форм поведения толпы. Классическую

---

<sup>1</sup> Есть свежий пример египетского Порт-Саида, где в конце января 2012 года при аналогичных обстоятельствах погибло 74 человек и было ранено около 1000.

работу на эту тему написал Гюстав Лебон (Gustave Le Bon, 1841–1931). Его сочинение, озаглавленное «Психология толпы»<sup>1</sup>, – это, пожалуй, первая попытка дать определение явлению толпы, а также проанализировать механизмы, управляющие поведением толпы. Указанное произведение положило начало исследованиям разных форм поведения толпы, исходной предпосылкой которых был тезис, что индивид в толпе теряет свою отдельность и утрачивает также индивидуальный рационализм. Толпа, когда и если она предпринимает коллективные действия, перестает быть сборищем случайных людей. Она превращается в совокупность, управляемую другими механизмами, нежели те, что управляют конкретными личностями или хорошо интегрированными и структурированными социальными группами. «Чувства и идеи лиц, находящихся в таком собрании, – пишет Лебон, – принимают одно и то же направление, а их индивидуальное сознание атрофируется. Формируется коллективный разум, который, вне сомнения, является преходящим, но обладает некоторыми ясно определенными чертами. <...> Она [толпа] становится единым существом, которое подчиняется закону ментального единства толп» (*Le Bon*, 1960: 2)<sup>2</sup>. Сегодня это определение мы бы охарактеризовали как гипостазирование<sup>3</sup>, которое совершает реификацию (овеществление) некоторой теоретической конструкции («коллективный разум»), но несомненная заслуга Лебона состоит в обращении им внимания на тот факт, что индивид в толпе ведет себя иначе, временами таким образом, который полностью отличается от его

---

<sup>1</sup> Эта книга, написанная в 1895 году, в русском переводе имеет название «Психология масс». Опубликовано в сборнике из двух работ Г. Лебона «Психология народов и масс» (см. раздел «Библиография» в конце этой книги).

<sup>2</sup> В русском переводе (см. второй абзац гл. I «Общая характеристика толпы. Психологический закон ее духовного единства») это место выглядит следующим образом: «...чувства и идеи всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и очень определенные черты. Собрание в таких случаях становится... организованной толпой или толпой одухотворенной, составляющей единое существо и подчиняющейся закону духовного единства толпы».

<sup>3</sup> Гипостазирование – наделение самостоятельным существованием какого-нибудь абстрактного представления, качества, признака (отсюда же понятие «ипостась»). См. также раздел «Малый подручный словарь иностранных слов и терминов» в конце этой книги.

«нормального» поведения. «Изолированный человек может быть вполне сформировавшейся личностью; в толпе он становится варваром — иначе говоря, созданием, действующим на основании инстинкта. Обретает спонтанность, бурный, буйный нрав, злобную жесточенность, но вместе с тем — энтузиазм и героизм примитивных существ. <...> А также поддается словам и образам — которые не оказали бы абсолютно никакого воздействия на каждого из изолированных индивидов, составляющих толпу, — и побуждается к действию вопреки своим более чем очевидным интересам или же хорошо известным обычаям и привычкам», — пишет Лебон (*Le Bon*, 1960: 32). И далее определяет человека в толпе как песчинку, которую швыряет ветром. К этой метафоре песка, пересыпаемого ветром, вернется позднее Ханна Арендт (*Arendt*, 1993), которая искала источники тоталитаризма в социальной дезинтеграции, в превращении значительных сегментов общества как раз в толпу, в лишенную всяких корней «человеческую массу», которую диктатор (иными словами, тот самый «ветер, пересыпающий песок») мог уже манипулировать совершенно произвольным образом.

Итак, толпа — это «масса», терзаемая эмоциями и инстинктами (в общем-то, гневными). «Массы, — пишет Ортега-и-Гассет, — это „средние люди“. Таким образом, то, что было всего лишь количеством, толпой, обретает качественное значение; становится совместным качеством, социальной серостью, бесцветностью. Масса — это множество людей, ничем не отличающихся от других людей и никак не выделяющихся, представляющих собой только повторение биологического типа. <...> Массу составляют все те, кто не приписывает себе какую-то особенную ценность — в хорошем значении этого слова или в плохом, — а чувствует себя „такими же, как все“, и вовсе не горюют по этому поводу, а, напротив, находят удовлетворение в том, что он точно такой же, как другие» (*Ortega y Gasset*, 1995: 10, 11). Это люди «без свойств»<sup>1</sup>, что вовсе не означает, буд-то они не обладают такого рода свойствами, оказавшись вне толпы.

Масса завораживала и привлекала исследователей, но вместе с тем и ужасала их. Некоторые приписывали толпам сверхъестественные свойства. «Масса <...> — явление столь же загадочное,

---

<sup>1</sup> Кавычками автор, видимо, хочет показать, что он здесь неявно ссылается на выдающееся 4-томное произведение Роберта Музиля «Человек без свойств», которое многие считают сопоставимым со знаменитыми романами М. Пруста и Дж. Джойса.

сколь и универсальное, возникающее неожиданно там, где перед этим ничего не было, — пишет Элиас Канетти. — Ничто ничего не предвещает, никто ничего не ожидает. И вдруг кругом становится черным-черно от людей. Со всех сторон стекаются новые участники — буквально так, как если бы улицы имели только одно направление, стали односторонними. Многие даже не знают, что случилось, не способны ответить на вопрос, в чем дело, но, несмотря на это, все-таки спешат, дабы оказаться там же, где другие. Их движению вперед присуща решительность, весьма отличающаяся от обыкновенного любопытства. Повсеместно складывается впечатление, что движение одних передается другим, больше того — что у всех есть цель. Цель возникла прежде, чем для нее нашли название: цель представляет собой центральный пункт, то место, где собралось больше всего людей» (Canetti, 1996: 17). Такой подход к явлению толпы и к стадным формам ее поведения доминировал в теории на протяжении десятилетий. В подобной трактовке акцентировалась иррациональность поведения толпы, преобладание эмоций над рассудком, а также временный отрыв индивидов, находящихся в толпе, от их «нормальных» стереотипов поведения, норм деятельности и социальных связей. Индивид по причинам, которые до конца не известны, отрекался на какое-то время от своей автономности, а также от личности и своего образа — и становился составной частью чего-то большего (как раз толпы), что руководствуется иррациональными эмоциями и действует под воздействием внезапных импульсов, не контролируемых до конца никакой из составных частей толпы, никаким ее членом или группой членов.

Однако в 70-х годах минувшего столетия появился новый теоретический подход, который со временем начал завоевывать себе новых сторонников и сегодня доминирует в исследованиях о формах поведения толпы. Первые ростки этого нового подхода можно обнаружить еще в работе Олсона (Olson, 1965), а его развитие произошло в статье Гордона Таллока (Tullock, 1971), но особенно в книге Чарльза Тилли (Tilly, 1978). Этот новый подход исходит из предпосылки, полностью противоположной тем предположениям, которые уточнил и изложил еще Гюстав Лебон, а затем продолжали и развивали его сторонники. А именно: в этом подходе предполагается, что участие в толпе представляет собой способ реализации тех потребностей и интересов индивидов, которые в «нормальной» ситуации не могут быть достигнуты (и в этом



смысле решение подключиться к толпе рационально). Далее, предполагается, что все коллективные действия (в том числе и действия толпы), по сути, являются агрегацией индивидуальных решений о присоединении к той или иной акции, а указанные индивидуальные решения принимаются и реализуются по принципу убежденности (или даже калькуляции) в том, что собственное подключение к коллективному действию предоставит индивиду некие вознаграждения, которых он был бы лишен, если бы принял решение о неприсоединении (Rule, 1989: 147). Чем больше толпа, тем меньше риск внешнего выражения (экспрессии) таких форм поведения, которые за пределами толпы подвергались бы общественному контролю и наверняка бы гасились или даже наказывались. Пребывание в толпе, рассматриваемое в категориях теории рациональности, снижает социальные издержки внешнего выражения определенных форм поведения, а тем самым улучшает пропорцию затрат и прибылей при проявлении данного (пусть даже резкого и необузданного) поведения. В таких теориях слышится отголосок гоббсовских предположений о природе человека, поскольку их авторы исходят из того, что даже бурные и деструктивные варианты поведения толпы являются не кратковременной иррациональной аберрацией ее участников, а экспрессией жизненных установок и форм поведения, заглушаемых «нормальным» социальным контекстом (и прежде всего культурными нормами), но обнажаемых и проявляемых в данной специфической людской совокупности ввиду радикального снижения потенциальных издержек такого поведения относительно ожидаемых вознаграждений.

Пожалуй, наиболее рафинированную и изощренную модель распространения коллективной деятельности толпы (а также любого общественного движения в начальной стадии его возникновения) создал Марк Грановеттер (Granovetter, 1978). Этот подход, известный под названием «пороговой модели», обращает внимание на некоторое общее свойство любых коллективных действий, характеризующихся низким уровнем институционализации, заключающееся в том, что «склонность произвольного потенциального участника присоединиться к коллективному событию зависит от числа тех, кто уже в нем участвует» (Rule, 1989: 156). Это касается не только форм поведения в толпе, но также распространения моды, зажигания автомобильных фар во время движения либо решения не делать этого (в зависимости от того, насколько много других машин едет с включенными фарами) или, скажем,

выбора ресторана: массово посещаемые заведения этого типа привлекают следующих клиентов, тогда как пустые рестораны отпугивают вероятных посетителей, даже если по качеству еды они ни в чем не уступают популярным. Похожий механизм действует и в случае принятия решения поселиться в определенном районе (*Granovetter, Soong, 1988*). Эта концепция столкнулась с критической реакцией, но вскоре стала развиваться и теперь применяется во многих аналитических рассмотрениях коллективных форм поведения (см., например, *Масу, 1991*); поэтому есть смысл вкратце представить ее здесь.

Каждая ситуация коллективного действия ставит перед любым ее потенциальным участником нуль-единичный выбор: либо присоединиться, либо остаться вне данного коллективного события. Однако индивиды отличаются между собой высотой того порога, после превышения которого они принимают решение о присоединении (например, к толпе). Представим себе, вслед за Грановеттером, гипотетическую толпу, состоящую из ста человек, среди которых существует непрерывное распределение порогов участия: от нулевого порога до порога со значением 99. Высота порога определяется количеством лиц, уже участвующих в данном коллективном событии (например, в уличных беспорядках). Порог нулевой величины означает, что мы имеем дело с лицом, которое будет участвовать в беспорядках независимо от того, сколько человек к ним присоединится. Другими словами, этот человек готов участвовать в беспорядках даже в одиночку. Порог величиной 2 характеризует лицо, которое готово присоединиться к коллективному поведению, если в данный момент уже есть как минимум один человек, демонстрирующий такое поведение; порог величиной 3 означает лицо, которое готово примкнуть к акции, если уже два человека демонстрируют определенное поведение, и так далее, вплоть до порога величиной 99, который характеризует человека, готового присоединиться к беспорядкам, если в случае такой гипотетической толпы из ста человек в беспорядках уже участвуют девяносто девять. Таким образом, если, как мы предположили ранее, распределение указанных порогов участия является непрерывным (от 0 до 99), то вспышка беспорядков неизбежна и неотвратима.

Модель, предполагающая непрерывное распределение порогов участия, характеризуется еще одним интересным свойством. Увеличение численности толпы, участвующей в беспорядках, зависит от того, все ли потенциальные участники толпы,

характеризующиеся такими пороговыми значениями, которые обеспечивают непрерывность распределения, находятся где-то поблизости. Достаточно устранить одного участника, чтобы толпа перестала расти (*Rule*, 1989: 156). Если это будет, например, участник, характеризующийся порогом со значением 50, то в беспорядках будет участвовать только пятьдесят человек, а остальные расположатся невдалеке как наблюдатели событий. Если же отсутствующим окажется участник с порогом 0, то до беспорядков дело вообще не дойдет. В указанной модели, как отмечает Рул (*Rule*, 1989: 156), отсутствуют предположения по поводу мотивации участия, которая ведь, как ни говори, является важным фактором для формирования высоты порога, склоняющего человека подключиться к коллективному поведению. Нет в ней также речи о том, что людские совокупности, характеризующиеся таким идеально непрерывным распределением пороговых значений, случаются в общественной жизни необычайно редко, и их надлежит трактовать скорее как идеализированную теоретическую модель, нежели как возможное описание реального процесса роста некой толпы или общественного движения (в его начальной стадии). По этой же причине в любых коллективных формах поведения мы имеем дело как с участниками (если бы их не было, то не было бы и определенного поведения), так и с пассивными наблюдателями («зевачами»), поскольку в потенциальной толпе не была соблюдена непрерывность распределения значений для порогов участия и поэтому она перестала расти.

### *Общественное движение*

Общественное движение, в отличие от толпы, характеризуется уже некоторым минимальным уровнем внутренней организации – хотя по-прежнему это очень свободная, эластичная организация, – а также какой-нибудь генеральной целью деятельности, объединяющей участников данного движения. В общественном движении ясная цель деятельности существеннее, нежели внутренняя организация этого коллективного актора. Штомпка определяет общественные движения как «нежестко организованные людские совокупности, совместно действующие неинституционализированным способом с целью вызвать изменения в их собственном обществе» (*Sztompka*, 1993: 276). Особенно высокую вероятность вызвать общественные изменения несут в себе движения

массового характера. Для них характерно несколько свойств. Прежде всего, они охватывают такие ориентации и формы деятельности, которые рациональны в том смысле, что привязаны к какой-нибудь неинструментальной, как правило идеалистической, цели. В обыденном, разговорном языке «идеалистическая цель» вызывает, в общем, позитивные ассоциации, однако здесь данное понятие употребляется в чисто описательном смысле — как цель, достижение которой будет означать внесение в общественную практику (в том числе и в формализованную ее часть) какой-либо идеи, оценка которой представляет собой особый вопрос, причем эта оценка вовсе не обязательно должна быть положительной. Такой идеей может быть, например, свобода человека, гражданская субъектность, защита окружающей среды, разоружение. Но подобной идеей вполне может быть также «превосходство одной расы над другой» (как это имело место в нацистских движениях первой половины прошлого столетия). Итак, в массовых общественных движениях существует отчетливая ориентация на некоторые ценности, которые трактуются селективно. Скажем, мы знаем пацифистские общественные движения, для которых высшей ценностью является мир, имеются движения в защиту жизни (резко выступающие против аборт), но также и такие общественные движения, для которых высшей ценностью выступает свободный выбор женщины в вопросе о том, доносить ли свою беременность или прервать ее. Существуют религиозные движения фундаменталистского толка, для которых высшей ценностью является некая частичная истина о Боге и Его заповедях (хотя членами этого движения она трактуется как истина абсолютная и единственная). Существуют, наконец, движения, носящие экологический, контркультурный или же политический характер.

В общественных движениях, вступающих в пространство публичной жизни, как правило, отчетливо просматривается их аксиологический профиль и нечто такое, что Гидденс (*Giddens, 1984: 204*) называет «высокой степенью рефлексивной саморегуляции», иначе говоря регулированием поведения своих членов не столько через их социальные роли (они в очень сильной степени регулируют действия членов формальных организаций), сколько именно отмеченной ранее привязанностью к той общей ценности, в пользу которой высказывается определенное движение. Общественное движение функционирует прежде всего в аксиологическом публичном пространстве, внося в публичный дискурс

новые интерпретации социальной реальности. Однако его деятельность может также иметь политические или культурные последствия и даже влиять на форму функционирования экономического пространства.

Массовые общественные движения характеризуются рассредоточенностью, апрограммным (или даже антипрограммным) способом действий и антиорганизационной ориентацией (*Pakulski, 1988: 250*). Существует некая общая идея, скрепляющая общественное движение, и этого, в принципе, хватает. Нет ни конкретной программы действий, ни какой-либо единой, связной и непротиворечивой идеологии. Зато есть массовый энтузиазм его членов и сильная эмоциональная привязанность к главной цели движения (*Morris, 2000: 448*). Если указанный фактор будет отсутствовать, то мобилизующая сила общественного движения слабеет (особенно по отношению к действиям, которые рискованны для его участников), потому что причастные к движению лица начинают прагматично калькулировать свое участие в категориях затрат и прибылей (*Schrager, 1985*).

Структура массового общественного движения одновременно и открыта, и вместе с тем аморфна. Это означает, что, в общем, не существует, как правило, ни формального членства, ни также формальной процедуры принятия либо отклонения новых членов. Открытость движения означает, что каждый может чувствовать себя его участником, а членство проявляется не столько в формальных ритуалах приема в ряды членов, сколько в конкретной деятельности в рамках движения и для движения. В расчет идет «широкое, эгалитарное участие, солидарность и бескорыстное самопожертвование. Нет строгого деления на активистов, на реально поддерживающих и на всего лишь сочувствующих лиц, нет также институционализированного разделения задач. Дело в том, что важна мобилизация гражданского общества, а не организационное развитие, получение власти или внедрение конкретной программы» (*Pakulski, 1988: 250*).

Способ деятельности общественного движения носит нерегулярный характер и лишен непрерывности — оно действует от акции до акции (ими могут быть манифестации, марши, собрания, пикеты или блокады). Так происходит по причине упомянутой ранее низкой институционализации движения, его аморфной структуры и антиорганизационной ориентации. Оно существует в такой форме до тех пор, пока в состоянии эффективно мобилизовать

своих участников на действия и использовать их ресурсы (деньги, время, энергию, но также контакты и знакомства) для деятельности, ориентированной на общую цель.

Достаточно длительное существование общественного движения ведет обычно к его постепенной институционализации, к формализации правил игры внутри движения и по отношению к внешнему миру, а также к его преобразованию в один из институтов того организованного истеблишмента, протест против которого был поначалу одной из причин возникновения данного движения. На этой стадии существования общественного движения появляются источники напряженности между той частью его членской базы, которая привязана к давним формам деятельности и к свободной, нежесткой структуре, и формальным руководством институционализирующегося общественного движения (Rootes, 1999).

Массовое общественное движение, как правило, настроено оппозиционно к той социальной реальности, которую оно застало, а особенно к прочно сложившейся сети ее институтов (особенно к институту власти). Это отрицание служит наиболее широким «общим знаменателем» (Pakulski, 1988: 251) инклюзивности массового общественного движения и его программной толерантности. Поэтому в одном общественном движении могут присутствовать участники с самыми разнообразными идеологическими предпочтениями – примером здесь может послужить движение «Солидарности» 1980–1989 годов, которое сочетало в себе весьма дифференцированные идейные течения, в полной мере проявившие себя лишь после падения коммунистической системы. Оппозиционность движения по отношению к существующему порядку является следствием того, что – по мнению его участников – в публичном пространстве не реализована какая-то определенная ценность (например, свобода, гражданская субъектность, мир, равенство, забота об окружающей среде и т.д.), и это же обстоятельство служит обоснованием существования общественного движения, ориентированного на введение указанной общей ценности в публичный дискурс и общественную практику. Отрицание объединяет, ориентация на частные позитивные цели – разделяет, разъединяет. Но отрицание, особенно если оно носит массовый характер, – это мощный фактор общественного изменения, на что очень верно обращал внимание Штомпка, когда писал: «...[общественные движения] воспринимаются и как продукты предшествовавших

общественных изменений, и как производители (либо, по меньшей мере, — сопроизводители) дальнейших общественных преобразований. Общественные движения появляются здесь скорее как инструменты, носители, передатчики надвигающегося изменения, чем как его окончательная причина или всего лишь его поверхностная манифестация. Они вырастают не в вакууме, а в какой-то исторической связи с тем общественным процессом, на ход которого стараются воздействовать» (*Sztompka*, 1993: 277–278).

Участие в общественном движении влияет на формирование идентичности его членов. Дело в том, что совместная деятельность в пользу какой-то общей цели создает у участников определенного движения «коллективную идентичность», а также их внутреннюю солидарность перед лицом того внешнего мира, против которого они протестуют. Гамсон (*Gamson*, 1991: 45) определяет коллективную идентичность как процесс, в рамках которого участники общественного движения конструируют — через переговоры и внутренний дискурс — понятие «мы», являющееся существенной частью индивидуальных определений «я», другими словами индивидуальных социальных идентичностей отдельных членов движения. Что же касается солидарности, то она относится к той силе, с которой ощущается лояльность и ангажированность участников по отношению к коллективной идентичности данного движения.

В конце 60-х годов прошлого столетия на публичной сцене демократических стран появилось много новых общественных движений, протестующих против разных фрагментов той действительности, которую они застали. Все разнообразие этих новых, вызвавших массовый отклик общественных инициатив можно сгруппировать в следующие четыре обобщенные категории (*Gortat*, 1987: 42):

- 1) движения, каким-либо образом соотносящиеся с правами человека и протестующие против дискриминации некоторых социальных категорий в публичной жизни (например, феминистические движения);
- 2) пацифистские и мирные движения, которые на рубеже 60-х и 70-х годов вынудили американскую администрацию закончить войну во Вьетнаме, а в 70-х и 80-х годах добились весьма ярких и наглядных мобилизационных успехов в Западной Европе;
- 3) экологические движения, которые привели к серьезному общественному изменению, заключающемуся в том, что

экономическая сфера стала чувствительной к вопросам защиты окружающей среды;

- 4) альтернативные и контркультурные движения, пропагандирующие альтернативные стили жизни и протестующие против экономического рационализма свободного рынка (протест против «крысиных гонок»).

В 70-х годах в нескольких коммунистических странах появились диссидентские движения, протестующие против отсутствия гражданской субъектности и демократии. Из указанных диссидентских движений, имевших на первых порах относительно слабые социальные тылы, в 80-х годах выросли массовые движения (в Польше это произошло уже в самом начале 80-х годов; в нескольких других коммунистических странах — на исходе того же десятилетия), которые привели к падению коммунистической системы.

В 90-х годах появились общественные движения глобально характера, протестующие уже не против социальной реальности в границах определенного национального государства, а против политического и экономического порядка, существующего во всем мире. Наиболее бросающимся в глаза проявлением общественных движений этого типа является антиглобалистское движение, которое на рубеже веков превратилось в альтерглобалистское движение.

### *Группы интересов*

Группы интересов действуют прежде всего в том «пространстве» публичной жизни, которое мы определили ранее как экономическое. Это не означает, что последствия их деятельности не видны в других «пространствах» (например, в политическом), а означает лишь следующее: деятельность разнообразных групп интересов конструирует «экономическое пространство», характеризующееся определенными специфическими формами и целями деятельности, которые не встречаются в других пространствах публичной жизни.

Группа интересов определяется Олехницким и Заленцким как «социальная совокупность, состоящая из лиц с похожими убеждениями и похожими целями, реализация которых зависит от решений, а также от деятельности государственных и иных институтов или учреждений, например, корпораций либо фондов; при этом



группа интересов, пытающаяся влиять на политику указанных учреждений либо институтов, приобретает характер группы давления» (*Olechnicki, Załęcki, 1997: 73*). Говоря кратко, группа интересов — это такое множество людей, чья деятельность внутри группы и через группу увеличивает вероятность достижения такого состояния, которое определяется членами данной группы как выгодное или благоприятное для них.

Группы интересов могут иметь статус формальной организации, но могут также функционировать в качестве неформальных групп. Данное различие существенно в том смысле, что функционирование неформальных групп интересов нарушает институциональную прозрачность системы и создает благоприятную почву для расцвета коррупции. Шире речь об этом пойдет в последней главе данной книги.

Теоретические аспекты формирования групп интересов уже обсуждались в предыдущей главе. Так что здесь есть смысл лишь кратко обсудить способы функционирования акторов этого типа в публичной жизни.

Формальная группа интересов артикулирует свои требования в публичном пространстве и делает это явным способом — или через коллективные действия, носящие манифестационный характер (это может быть, например, забастовка, уличная демонстрация, подача публичной петиции либо ходатайства, объявление о том, что оказание ею политической поддержки зависит от удовлетворения каких-то ее требований, и т.д.), или через участие в коллективных переговорах с представителями тех, чьи решения влияют на уровень удовлетворения интересов определенной группы, или же через формальный либо неформальный нажим на органы, принимающие решение, с тем чтобы они выразили мнение, которое выгодно либо благоприятно с точки зрения определенной группы интересов.

Первый способ действия является демократическим в том смысле, что, добиваясь удовлетворения своих требований, можно и нужно использовать демократические процедуры и те пространства публичной жизни, которые открыты для артикуляции требований. Второй способ действия можно назвать корпоративным (*Tarkowski, 1994: 213, passim*). В корпоративной модели деятельности принимают участие только те организованные группы интересов, которое получили формальное признание со стороны тех, кто принимает решения. Примером ситуации, когда

удовлетворения своих требований и претензий добивались корпоративным способом, является участие в работах Трехсторонней комиссии (правительство + представители работодателей + представители работающих), которая возникла в 90-х годах в Польше. В свою очередь, третий способ удовлетворения требований, известный также под названием лоббирования, состоит в оказании формального или неформального воздействия на органы, принимающие решения, в таком направлении, чтобы в их постановлениях предоставлялись привилегии либо отдавалось предпочтение интересам определенной группы (или по меньшей мере чтобы эти интересы признавались). Лоббирование состоит в том, чтобы убеждать принимающих решения лиц (членов законодательных органов и государственных чиновников) в своей правоте и в справедливости своих требований, а также доставлять им соответствующую информацию и экспертные заключения или даже готовые идеи по разрешению определенных общественных либо социальных проблем (Jasiecki, Mołęda-Zdziech, Kurczewska, 2000: 16–17). На основании исследований того, каким образом отстаивались разные интересы в сейме Польши, Кшиштоф Ясецкий (Jasiecki, 2000: 42) выделяет три формы лоббирования, чаще всего применяемые в отношении депутатов: 1) неформальные виды воздействия, главным образом личные и социальные («светские») связи; 2) воздействие со стороны институционального окружения парламента – правительства, средств массовой информации и др.; 3) воздействие со стороны экспертов, которые консультируют депутатов по существу вопросов, связанных с принимаемыми ими решениями.

Наиболее типичные из организованных и формальных групп интересов – это профессиональные союзы (среди работающих), а также союзы работодателей (Jasiecki, 1996, 1997). Разумеется, эти две категории не исчерпывают перечня всех групп интересов, действующих в экономическом пространстве. Ведь наряду с ними существуют и неформальные группы интересов, действующие закулисно, причем иногда более эффективно, нежели формальные структуры (Zybertowicz, 2002).

### *Гражданские неправительственные организации*

Гражданские неправительственные организации действуют прежде всего в гражданском (гражданском) «пространстве» публичной жизни. Размер этого пространства, преобладающий характер

действующих в нем коллективных акторов, а также взаимоотношения со структурами власти зависят в первую очередь от того, носит ли данное государство демократический характер или нет, а среди демократических государств — какая его модель преобладает в общественной практике. Определение «неправительственные организации» означает всю совокупность формально институционализированных гражданских инициатив, которые не имеют целью обрести власть, иначе говоря участвовать в политической игре, а существует ради того, чтобы, во-первых, решать те общественные или социальные проблемы, с преодолением которых государство не справляется или же вообще не принимает участия в их преодолении, и, во-вторых, чтобы вводить в публичный дискурс такую интерпретацию окружающего нас социального мира, которая близка всем членам определенной неправительственной организации.

В недемократическом государстве гражданское пространство публичной жизни контролируется структурами государства. Возможность институционализации разнообразных гражданских инициатив регламентирована, а те инициативы, которые смогут принять институциональный вид, располагают лишь ограниченной автономией от государственных структур, причем тем более ограниченной, чем ближе определенное государство к модели тоталитарного государства. Что же касается тоталитарного государства, то если гражданское пространство публичной жизни в нем вообще существует, оно заполнено исключительно такими организациями, которые были призваны к жизни самим же этим тоталитарным государством. Их автономия равняется почти нулю.

В государстве, носящем демократический характер, гражданское пространство публичной жизни создается фактически функционирующими в нем неполитическими организациями гражданского общества. Это пространство в принципе открыто для свободной институционализации гражданских инициатив (часть общественных движений институционализируется и преобразуется в неправительственные организации как раз в этом пространстве), но модель конкретного демократического государства оказывает сильное влияние на то, какие разновидности коллективных акторов появляются в этом пространстве и как складываются взаимные отношения между государством и коллективными акторами гражданского пространства публичной жизни (носят ли они конфронтационный, конкурентный или же кооперативный характер).

Современные демократические государства приняли вид опекающих государств всеобщего благоденствия, говоря иначе государств, где проводимая социальная политика заключается в таком перераспределении общественных ресурсов, которое ориентировано на достижение по меньшей мере следующих трех целей: 1) сохранения социального мира; 2) обеспечения гражданам некоего минимума помогающих им социальных услуг; 3) сокращения «чрезмерных» проявлений социального неравенства и ограничения явлений маргинализации и социального исключения, порождаемых «чистым» рыночным механизмом. Размах этой «опекунской» деятельности государства, разумеется, дифференцирован. Эва Лесь (*Les*, 1998: 53) выделяет три модели опекающего государства: либеральную, корпоративную и социал-демократическую. В либеральной модели опекунская деятельность наиболее ограничена, тогда как в социал-демократической модели она наиболее развита и интенсивна. Этот факт связывается со сферой и с родом действий коллективных акторов в публичном пространстве публичной жизни. Как пишет далее та же Эва Лесь, «для либеральной модели характерно относительно незначительное участие государства в финансировании коллективных потребностей, а также большой масштаб деятельности общественных организаций. <...> В свою очередь, корпоративную модель отличает высокий уровень участия государства в финансировании социальных вспомоществований и одновременно — высокая степень участия общественных организаций в их реализации. Эта модель развития общественных организаций возможна в тех случаях, когда доминирующие элиты изъявляют волю к поддержанию в социальной сфере тех целей, которые признаны общими и государством, и этими организациями» (*Ibid.*: 53–54). Социал-демократическая модель опекунского государства выделяется тем, что финансирование и оказание социальных услуг в преобладающей мере находятся в ведении государственных институтов и учреждений, а это ограничивает деятельность в данной области разнообразных неправительственных организаций.

Неправительственные организации, заполняющие гражданское пространство публичной жизни, не нацелены на материальную прибыль (что отличает их от коллективных акторов, функционирующих в экономическом пространстве). Исследователи указанного явления обращают внимание на тот факт, что «небольшим, спонтанно возникающим организациям легче, нежели госу-

дарственной бюрократии, реагировать на многие из социальных потребностей и подвергать проверке новые решения, а процесс проб и ошибок, неизбежный при их поисках, обходится дешевле» (*Frątczak-Rudnicka*, 2003: 243). Эта более высокая эластичность, а также сильная, как правило, укорененность в локальных сообществах, для которых работают многие из указанных организаций, приводят к тому, что в итоге их активность оказывается относительно хорошо отвечающей реальным социальным проблемам, существующим на локальном уровне, и это является дополнительным элементом, отличающим организации данного типа от централизованных и бюрократизированных государственных организаций.

### *Политические партии*

Политические партии действуют в том пространстве публичной жизни, которое ранее мы называли политическим. Это те коллективные акторы, функционирование которых составляет интегральную часть демократической системы. В зависимости от их деятельности и от поддержки, оказываемой этой деятельности достаточно широкими массами сторонников, правительства остаются или уходят, правила игры подтверждаются или подвергаются изменению, а экономика развивается или попадает в состояние застоя либо даже в кризис. Таким образом, партии являются теми коллективными акторами публичной жизни, которые оказывают значительное влияние на жизнь не только своих членов и сторонников, но также тех, кто эти партии не поддерживает или даже находится вне политики и не пользуется своими гражданскими правами во время очередных выборов. Кроме всех прочих причин, именно поэтому мы рассмотрим здесь проблематику политических партий несколько шире.

Начнем с определения понятия «политическая партия». Как указывает этимология этого термина, политическая партия обладает двумя основными свойствами: во-первых, она представляет собой часть некоего большего целого, но отчетливо выделена из указанного целого<sup>1</sup> (это целое есть максимально полное представление всевозможных предпочтений политического общества); во-вторых, это коллективный актор, функционирующий

---

<sup>1</sup> Слово «партия» образовано от латинского *pars* (часть) или *partio* (делить). — *Авт.*

в политическом пространстве, т.е. в том пространстве, где формируются отношения власти. Из этих двух основных свойств вытекают некоторые существенные последствия — теоретические и практические. Если партия — это часть, то ее дополнением до целого должна быть по меньшей мере еще одна политическая партия, которая представляет предпочтения остальных членов политического общества. Наличие всего одной партии в политической системе представляет собой противоречие в терминологии, или — выражаясь более сочно — логический абсурд. Это прекрасно понимал Ленин, после захвата власти большевиками и устранения из политического пространства всех оппозиционных партий назвавший свою группировку «партией нового типа», которая должна была стать «авангардом рабочего класса» в рамках диктатуры пролетариата.

Как пишет Налевайко, «партии чаще всего определяются через указание их основных атрибутов. В числе таковых преимущественно называют: устойчивую общенациональную структуру, ориентацию на управление страной (или на соучастие в управлении), а также поиск поддержки за пределами данной партии, в обществе» (Nalewajko, 1997b: 12–13). Грабовская определяет партию как «объединение с добровольным членством, добывающееся власти в государстве путем конкурентных, свободных и демократических, а также регулярно происходящих выборов» (Grabowska, 2004: 209). Хотя оба эти определения и по-разному расставляют акценты, они отражают сущность политической партии как коллективного субъекта, действующего в политическом пространстве публичной жизни. Политическая партия, которая не борется за власть (или как минимум за участие во власти), — это не политическая партия, а всего лишь организованная группа давления, не желающая брать на себя политическую ответственность за принимаемые решения (Rose, Mackie, 1988). Партия, которая не располагает общенациональными структурами, оказывается не в состоянии выдвигать кандидатов во власть по всей стране и не может рассчитывать на успех в общенациональных выборах. В самом лучшем случае она может быть локальным политическим фактором. Партия, которая не ищет для себя поддержки в обществе, тоже не может рассчитывать — в демократической системе — на то, чтобы ввести своих представителей на властные должности или позиции, и в самом лучшем случае может исполнять роль внепарламентской оппозиции. Что же касается партии, которая борется

за власть, участвуя в неконкурентных выборах, то она является не партией демократической системы, а политической группировкой, поддерживающей авторитарную власть.

Политическая партия в условиях диктатуры, та самая ленинская «партия нового типа», выполняет совсем иные функции, чем партия в демократической системе. Указанные функции настолько различаются, что определение этих столь разных политических структур одним и тем же термином «партия» обманчиво и вводит в заблуждение. Прежде всего, партия в однопартийной диктатуре представляет собой организационный тыл власти, причем она никоим образом не зависит от воли избирателей. Как отмечает Сартори, «Ленин поставил партию над пролетариатом (который, по его мнению, „стихийно“ впитывает буржуазное сознание), а ленинская „партия авангардного типа“ была обязана своим положением не тому, что она представляла пролетариат, а тому, что являлась носителем подлинной и единственно верной идеологии» (Sartori, 1998: 568). Таким образом, ленинской «партии нового типа» требовалось заботиться уже не о том, насколько ее действия представляют рабочий класс, а исключительно о том, «дозревает» ли рабочий класс до признания собственного «авангарда» своим подлинным представителем. Благодаря такой процедуре суверенность диктатора была полной. В связи с отсутствием политической оппозиции политическая программа подобной партии по определению становится безальтернативной программой, которую вдобавок общество не может отвергнуть, так как не существует честного механизма для тестирования общественной поддержки указанной программы. В условиях отсутствия оппозиции такого рода партия становится единственным каналом политического продвижения вверх, поэтому, как правило, среди ее членов находятся и такие люди, которые присоединяются к ней не по идейным соображениям, а по чисто прагматическим («карьеристы»). Отсутствие политической оппозиции порождает еще одно следствие, а именно: в подобной монопартии возникают разнообразные фракции (чаще всего неформальные), которые представляют собой дефективный субститут (заменитель) политического плюрализма. «Партии нового типа» известны не только по коммунистическим системам. Они появляются в каждой недемократической системе, где политическое пространство закрыто диктатором для свободного формирования и институционализации плюралистической партийной системы.

Мы не будем дальше заниматься такими частностями, как особенности политических партий в недемократической системе, потому что сегодня это занятие довольно-таки бесплодно в познавательном плане.

Таким образом, наше внимание сосредоточится на партиях, функционирующих в демократической системе.

Политические партии выполняют целый ряд важных функций. Через партии выражаются предпочтения **политического общества**, иными словами той части общества, которая хотя бы периодически, через какие-то промежутки времени (например, во время выборов) проявляет активность в политическом пространстве публичной жизни. Но партии, кроме того, генерируют также новые опции, к которым стараются привлечь (и привлекают) сторонников. Они, таким образом, являются в некотором смысле «посредниками идей» — как тех, которые возникают и удерживаются на микроструктурном уровне (семья, круг друзей), так и тех, которые появляются в самой партии, а также на уровне государства. Это, однако, активное посредничество, поскольку именно на уровне партии вырабатывается общая позиция по разнообразным публичным вопросам, а также создается агрегированная форма устремлений и предпочтений, присутствующих в социальной базе определенной партии. Данная агрегированная форма представляет собой результат упорядочивания разнообразных конкретных предпочтений, носивших несколько хаотичный характер, и создания из них более общих категорий, которые вносятся в политический дискурс. Такова одна сторона вопроса. С другой стороны, на партийном уровне формулируются определенные общие предпочтения и позиции по публичным вопросам и происходит индуцирование сторонников предлагаемых решений в социальной базе. Таким образом, мы имеем здесь дело с двухсторонним, обоюдным процессом, хотя, вообще говоря, он не симметричен. Чаще наблюдается формулирование предпочтений партийными элитами, а затем — поиск сторонников для них, более редко — передача агрегированных предпочтений, уже находящихся в социальной базе (среди членов партии и симпатизирующих).

Указанный двухсторонний процесс можно определить таким названием, как **артикуляционная функция** политической партии. Реализация артикуляционной функции осуществляется в состоянии динамического **равновесия** между артикуляцией тенденций, идущих снизу, и артикуляцией сверху, для которой индуцируется



поддержка, идущая снизу. Партия, которая обращает внимание прежде всего на артикуляцию, идущую сверху, постепенно теряет контакт с социальной базой и, как следствие, теряет также поддержку, необходимую в демократической системе для участия в борьбе за власть. В свою очередь, партия, которая нацелена главным образом на артикуляцию, идущую снизу, теряет возможность политического маневрирования и становится заложницей своего электората, предпочтения которого бывают переменчивыми во времени и не всегда рациональными. Первый тип поведения грозит тем партиям, которые особенно сильно идеологизированы, тогда как второй — партиям популистского толка.

Политические партии, как я уже упоминал, выполняют также **политические функции**. В первую очередь они служат организационным инструментом возведения во власть собственных кандидатов. По этим же соображениям они представляют собой самый важный канал продвижения в политическую элиту. Партия (или коалиция партий), которая создает правительство, располагает властью — в границах действующих обязательных процедур, — позволяющей реализовать политическую волю, выработанную руководящими органами этой партии и поддерживаемую теми социальными тылами, которые партия сумела к себе привлечь и удержать. Партия (или партии), находящаяся в оппозиции, не обладает, правда, властью и не может, следовательно, реализовать свою политическую волю, но имеет постоянную прерогативу по рецензированию правящих партий и располагает возможностью вносить свои оценки в политический дискурс. Наконец, политическая партия является, как правило, носителем определенной идеологии (трактуемой более или менее ортодоксально), которая служит точкой отсчета для индивидуальных идейных предпочтений обычных граждан и вместе с тем фактором, локализирующим данную партию в политическом пространстве публичной жизни.

Локализация в указанном пространстве требует создания осей координат. Представим себе, что мы хотим локализовать определенную партию в политическом пространстве на основании двух осей. Первая из них — это ось, на которой мы откладываем континуум предпочтений: от крайней привязанности к государственному интервенционизму (политике вмешательства) до столь же крайней привязанности к рыночному механизму. На второй оси мы откладываем континуум других предпочтений — от крайней предрасположенности к традиционализму до крайней

предрасположенности к модернизму. Локализация партий с помощью определяемых таким способом координат представлена на рис. 5.

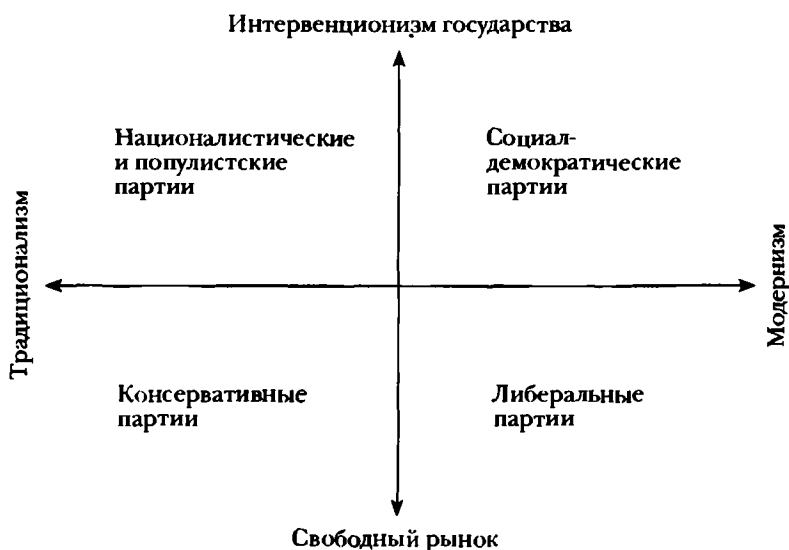


Рис. 5. Локализация партий в политическом пространстве на основании избранных аспектов их идеологических профилей

Можно также представить себе локализацию партий в политическом пространстве по другому набору координат, который конструируется с опорой на несколько иные аспекты идеологического профиля той или иной определенной партии. Предположим, что нас интересует локализация партий в политическом пространстве в зависимости от их расположения на оси (1) свобода – равенство, а также на оси (2) «закон и порядок» (иначе говоря, власть сильной руки) – пермиссивизм (другими словами, разрешение в публичной жизни всего того, что не запрещено явным образом по закону). Рис. 6 представляет собой иллюстрацию того, как локализуются партии в политическом пространстве на основании таких координат.

Приведенную здесь локализацию отдельных типов партий нужно трактовать только как иллюстрацию к рассуждениям. Локализация конкретной партии на оси координат, учитывающей какие-то избранные аспекты ее идеологического профиля и идейных предпочтений ее электората, является предметом эмпирических

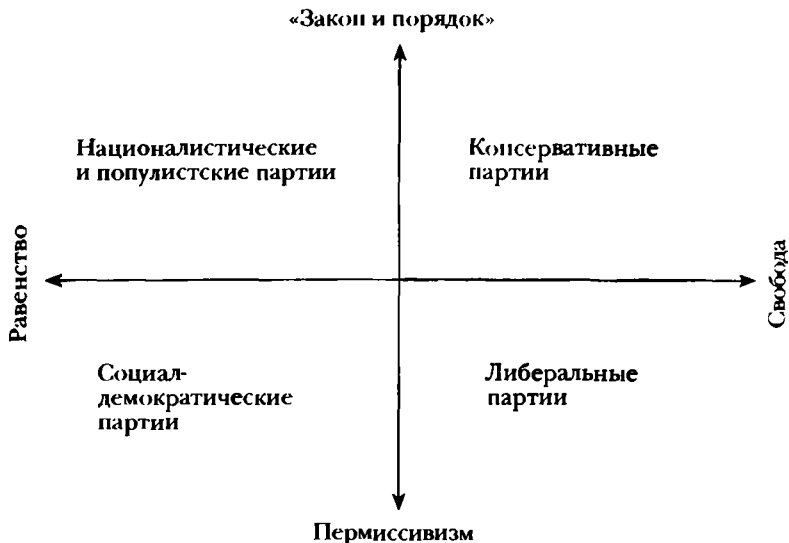


Рис. 6. Локализация партий в политическом пространстве на основании избранных аспектов их идеологических профилей

исследований. И такие исследования предпринимаются (*Żukowski*, 1994; *Wesołowski*, 2000).

Как мы видим, политические функции партий неоднородны, поскольку они охватывают столь дифференцированную проблематику, как назначение кандидатов на должности в структурах власти, внесение в публичный дискурс тех или иных интерпретаций окружающего социального мира, являющихся следствием идеологии, которая играет решающую роль для политической идентичности определенной партии, а также функционирование в качестве точки отсчета для формирования политических идентичностей у отдельных индивидов.

Партии самим фактом своего существования в политическом пространстве и участия в публичном дискурсе, а также вследствие публичной презентации целей своей деятельности и благодаря формулированию идейных аргументов, легитимирующих те или иные требования и притязания, сосредотачивают вокруг себя сторонников. Сторонниками становятся те индивиды, которым близки цели деятельности определенной партии, а легитимация ею главных требований звучит для них убедительно, так же как ее интерпретация окружающего социального мира. Со временем между сторонниками определенной партии образуется чувство

связи, а политическая идентичность таких индивидов делается в значительной степени единообразной, хотя никогда не бывает полностью однородной. Процесс, в ходе которого политические идентичности членов и сторонников партии становятся единообразными, еще более усиливает чувство связи между ними. Таким образом, политическая партия, особенно если она не является эфемеридой (однодневкой) в политическом пространстве, выполняет еще и **интеграционную функцию**.

Совокупность партий, действующих в политическом пространстве публичной жизни, образует **партийную систему**. Партийная система состоит из: 1) партий; 2) процедур; 3) взаимоотношений между партиями. Партии по определению представляют собой компоненты партийной системы. Иногда случается, что в партийную игру вливаются организации другого характера и тоже становятся элементом партийной системы, но подобная ситуация приводит в таких организациях к кризису идентичности, который ставит их перед альтернативой: либо превращаться в регулярную политическую партию, либо выходить из партийной игры за власть и стараться достигать реализации своих требований и притязаний в статусе группы давления. С такой ситуацией мы в Польше имели дело, когда профсоюз «Солидарность» стартовал в начале 90-х годов на выборах и даже получил свое небольшое парламентское представительство. Но это неблагоприятно отразилось на идентичности данного профсоюза, который в дополнение к своим основным обязанностям должен был выполнять еще и функцию политической партии. Во второй половине 90-х годов возникла «Избирательная акция „Солидарность“» (польская аббревиатура — AWS), стержнем которой вновь был указанный профсоюз, а на посту председателя этого профсоюза и вместе с тем главы AWS имела место персональная уния в лице Мариана Кшаклевского. Партия AWS выиграла выборы в 1997 году, но и этот эксперимент по смешению двух организационных идентичностей и двух логик деятельности не был удачным, о чем свидетельствует распад AWS после ее разгромного поражения на выборах в 2001 году. Перед схожей альтернативой оказались «зеленые» в Германии. В данном случае проэкологическое общественное движение включилось в межпартийную избирательную игру и добилось некоторого успеха. Однако попадание в бундестаг вынудило «зеленых» отказаться от формулы общественного движения и превратиться в типичную политическую партию.

Процедуры устанавливают область и способ межпартийной игры за власть. Кроме того, они регулируют передачу власти оппозиционным партиям, принципы формирования правительства, а также порядок занятия политических должностей в структурах власти после выборов – порядок, который обязателен для победившей партии (или коалиции партий). В состав процедур входят помимо этого конституционные сроки выборов, порядок доступа к публичным средствам массовой информации во время избирательной кампании, избирательный закон, а также способ подсчета набранных голосов избирателей на число мандатов в парламенте. Чтобы процедуры выполняли свою задачу надлежащим образом, они должны признаваться всеми участниками партийной игры за власть.

Процедуры не являются одним только формальным кодифицированием правил игры. Ведь доказано, что они оказывают существенное влияние на форму партийной системы, на устойчивость межпартийных коалиций, а также на размеры внепарламентской оппозиции. Избирательная процедура может протекать в соответствии с тремя типами существующих систем подсчета и распределения голосов: 1) пропорциональной; 2) мажоритарной; 3) смешанной. Пропорциональная система, если говорить с максимальной краткостью, предоставляет мандатные (голосующие) места, дающие возможность войти в парламент, в зависимости от пропорции голосов, отданных за список кандидатов определенной партии, по сравнению с голосами, которые отданы конкурирующим партиям. Другими словами, степень поддержки тех или иных конкретных партий относительно пропорциональным образом отражается в числе мест, полученных ими в парламенте. В соответствии с этой системой существующие предпочтения избирателей лучше представляются в парламенте, но ценою его раздробления, а разнообразие входящих туда партий затрудняет формирование правительства и создание коалиций, которые бы располагали большинством. Такая избирательная система действовала в Польше на выборах 1991 года, причем без минимального порога прохождения в парламент (напомним, что это были первые полностью свободные и конкурентные парламентские выборы после Второй мировой войны). В результате действия данной системы депутатские мандаты добыли кандидаты от двадцати девяти избирательных списков, причем семь из этих списков получили по одному мандату (*Wiatr*, 2003b: 106).

Мажоритарная система вознаграждает партии, победившие в данном избирательном округе. Если это одномандатные избирательные округа, то мандат получает кандидат той партии, которая набрала наибольшее количество голосов. Второе место в списке набранных голосов (даже если бы этих голосов было всего лишь незначительно меньше) открывает список тех кандидатов, которые окончательно выпали из избирательной гонки. Мажоритарная система менее точно отражает политические предпочтения избирателей (много голосов приходится на тех кандидатов, которые не заняли в своих округах первое место), но она элиминирует (устраняет) из парламента партии, пользующиеся более слабой поддержкой, и является мощным стимулом для политиков и их партий объединяться в крупные избирательные блоки. Разумеется, данная зависимость не носит автоматического характера, а представляет собой лишь тенденцию, обнаруживающуюся в длительной временной перспективе. В 1991 году выборы в сенат проходили в Польше по мажоритарной системе, но, невзирая на это, их результатом стала значительная раздробленность сената: «целых 16 сенаторов были представителями группировок, располагающих всего лишь единственным мандатом, или же вошли в сенат как независимые» (*Wiatr*, 2003b: 106). В длительной временной перспективе мажоритарная система, как правило, ведет к формированию двухполюсной партийной системы. Наконец, смешанная система означает, что в одних избирательных округах голосование проходит по пропорциональной системе, а в других — по мажоритарной.

Взаимоотношения между партиями существенны с точки зрения коалиционного потенциала, присущего данной партийной системе. Отдельные партии могут определять конкурирующие с ними партии либо как союзников, с которыми можно сотрудничать, либо как врагов, о сотрудничестве с которыми не может быть и речи. Если в партийной системе перевешивает сотрудничество, то ее коалиционный потенциал велик, если же перевешивает враждебность, то коалиционный потенциал незначителен, а коалиции, заключаемые по тактическим соображениям, нестабильны — точно так же, как и правительства, сформированные на их политической основе.

Сила отдельных партий в парламенте зависит, разумеется, от итогов избирательных решений на выборах. Бывает, однако, так, что очередные выборы не меняют сколько-нибудь

принципиальным образом партийного состава парламента. На протяжении нескольких очередных сроков полномочий в парламент входят одни и те же партии, а изменения в самом лучшем случае состоят в несколько модифицировавшихся пропорциях парламентского представительства. Такая партийная система носит консолидированный характер. Уитон (*Wheaton, 1979*), которого я цитирую вслед за: Анквичем (*Ankiewicz, 1988*), выделяет три типа консолидированных партийных систем: 1) несбалансированная; 2) сбалансированная; 3) распыленная.

Несбалансированная партийная система отличается доминированием в политическом пространстве одной крупной партии, рядом с которой существует целая плеяда мелких партий, однако они не в состоянии заключить между собой коалиционное соглашение, располагающее большинством, и приговорены к статусу оппозиции. Зато указанная доминирующая партия располагает возможностью вхождения в коалицию с кем-либо из меньших партнеров (если она сама не сумеет обеспечить себе парламентское большинство). Такая система сил функционировала, например, в бундестаге во времена Аденауэра и в Италии во времена господства христианских демократов. При сбалансированной системе существует политическая поляризация. В политическом пространстве доминируют две большие партии, оппозиционные одна по отношению к другой, но никакая из них не в состоянии обеспечить себе на длительное время парламентское большинство. С такой партийной системой мы имеем дело, например, в США и Великобритании. Наконец, распыленная система относится к такому состоянию, в котором между собой конкурируют несколько меньших партий, но никакая из них не способна обеспечить себе доминирующего парламентского представительства. В связи с этим парламентские представители указанных партий вынуждены заключать коалиционные соглашения с целью создания правительства. Этот тип партийной системы порождает относительно наименее стабильные правительства, которым редко удается функционировать непрерывно в течение всего срока полномочий. С такой ситуацией мы имели дело, например, во Франции до де Голля и имеем дело теперь в Польше<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Так действительно было до написания этой книги. Однако в последние годы партийная система в Польше поляризовалась, и в ней теперь господствуют две достаточно крупные партии: «Гражданская платформа»

Партия является институционализированным коллективным актором политического пространства публичной жизни. Она принимает также участие в дискурсе, который ведется в аксиологическом пространстве, делая это через формулирование идеологических требований и аксиологических интерпретаций социальной реальности, но основная арена ее деятельности — это политическое пространство, ибо именно в указанном пространстве ведутся самые существенные для партии игры за участие во власти. Для политической партии участие в аксиологическом дискурсе важно постольку, поскольку оно повышает уровень легитимации ее требований к власти. Институционализация политической партии ведет к отчетливому очерчиванию границ, отличающих ее от других коллективных акторов, которые функционируют в политическом пространстве. Эти границы устанавливают идеологический профиль и политическую программу, которые должны выделять данную партию и отличать ее от политического фона, но также фиксируют действующие в ней организационные решения и прежде всего формальное членство, которое означает, что нельзя принадлежать к двум конкурирующим между собой партиям. Кроме того, существует устав, где кодифицированы взаимоотношения между членами и руководством партии, определена внутренняя организация партии и ее функционирование, а также способ образования руководящих органов и порядок принятия решений, обязательных для членов определенной партии. В уставе изложены также те общие, стратегические цели, которые представляют собой основание для существования определенной партии.

Как пишут Ричард Роуз и Томас Маки (*Rose, Mackie, 1988*), если группа политиков хочет образовать институционализированную партию, она должна проделать три вещи:

- 1) создать «транслокальную» организацию, чтобы иметь возможность участвовать в выборах на общенациональном уровне;
- 2) назначить кандидатов для участия в выборах;
- 3) продолжать назначение кандидатов в очередных выборах.

Несоблюдение любого из этих трех условий означает, что мы имеем дело не с институционализированной политической пар-

---

(ГП) и «Право и справедливость» (ПиС), хотя ни одна из них не в состоянии сформировать правительство самостоятельно и вынуждена вступать в коалиции.



тией. Партия, которая способна выдвинуть кандидатов для участия только в одних выборах, — это политическая эфемериды. Партия, которая не выдвигает кандидатов, перестает быть партией, а становится или группой давления, или же политическим дискуссионным клубом. В свою очередь, партия, которая не обладает общенациональной структурой, заранее приговорена к статусу группы, которая представляет меньшинство и никогда не добьется участия во власти на центральном уровне.

Хотя институционализация политической партии действительно представляет собой неперемное условие ее четкого функционирования в политическом пространстве публичной жизни, она порождает также отдельные опасности, на которые обратил внимание немецкий социолог Роберт Михельс (*Michels*, 1962) еще в 1911 году. Весьма категоричные и пессимистические в своем звучании утверждения, вытекающие из наблюдений Михельса над тогдашней партийной системой Германии и других европейских стран, были выражением его разочарования способом функционирования в первую очередь Германской социал-демократической партии, которой он длительное время оказывал поддержку и даже активно участвовал в немецком социалистическом движении, а оно в те времена среди целей своей деятельности числило устремление к предоставлению гражданских прав тем социальным категориям, которые были их лишены (особенно женщинам), борьбу за свободу слова, а также массовое участие в деятельности правительственных и экономических институтов разных уровней (*Lipset*, 1962: 15–16). Таким образом, коль скоро даже в такой партийной институции, сильно сориентированной на расширение и утверждение демократических ценностей, Михельс обнаружил тревожные тенденции, он был вправе прийти к обобщающему выводу, что все партии в любом историческом контексте подчиняются аналогичным закономерностям.

Попробуем вкратце реконструировать его основные утверждения. По Михельсу, меньшинство всегда управляет большинством, а большинство предназначено подчиняться меньшинству. Большинство неспособно к постоянному самоуправлению; оно должно выдвинуть узкий руководящий слой, который, правда, принимает решения от имени большинства, но, по сути дела, это имеет лишь ритуальное значение, ибо фактически большинство узнаёт о решениях, принятых от его имени, уже после их принятия. «Суверенные массы, — пишет Михельс, — вообще неспособны

к принятию самых необходимых резолюций» (*Michels*, 1962: 65). Причина в том, что здесь действует закон больших чисел, который делает невозможным осмысленную дискуссию между тысячами членов организации и выработку ими всеми некой общей позиции. В теории любое руководство является только исполнителем, которого обязывают и связывают инструкции, полученные членами организации. На практике, однако, «по мере развития организации не только задачи администрации становятся все более трудоемкими и более сложными, но ее обязанности настолько увеличиваются и становятся такими специализированными, что их уже невозможно охватить одним взглядом» (*Ibid.*: 71, *passim*). В этой ситуации члены организации вынуждены отбросить идею детального контроля за лицами, осуществляющими в ней власть, а принятие все более сложных решений поручить платным функционерам, в отношении которых надеются, что те не будут принимать решения, идущие вразрез с интересами и предпочтениями основной массы членов данной организации.

Для четкой, эффективной деятельности всякой организации необходимо сильное руководство с относительно обширными прерогативами по совершению действий, но этот факт лишь усиливает тенденцию передачи фактической власти в руки узкого круга исполнительного руководства. Организация перестает быть инструментом реализации воли ее членов, а становится целью самой в себе. Организация управляется уставными органами. В свою очередь, «каждый орган данной совокупности, призванный к жизни из-за необходимости разделения труда, едва только он консолидируется, создает свои собственные интересы. Появление этих интересов ведет к неизбежному конфликту с интересами коллектива» (*Ibid.*: 353). И делает вывод: «...это организация порождает доминацию избранных над избирающими, мандатариев над предоставляющими мандат, делегируемых над делегирующими. Кто говорит „организация“, говорит также „олигархия“» (*Ibid.*: 365). Этот тезис, который Михельс определил как «железный закон олигархии», был встречен критикой. В частности, Сартори (*Sartori*, 1998: 190) обратил внимание на тот факт, что Михельс в своих размышлениях не дает ясных определений ключевым понятиям своей теории, а особенно понятиям организации и олигархии. Наблюдения Михельса отличаются меткостью по отношению к организации, носящей бюрократический характер, но обобщение выводов, извлеченных из наблю-

дения за одной партией (Германской социал-демократической партией) в одном, специфическом историческом контексте, на все политические партии в любом историческом контексте, по мнению Сартори, неправомерно. И наконец, отмечает Сартори, даже если признать тезисы о неизбежной олигархизации политических партий в демократии правильными, нельзя из этого делать вывод, что точно так же олигархизируется и сама демократическая система. В подобном направлении движется также критика Грабовской (*Grabowska*, 2004: 210–211), которая дополнительно обращает внимание на то направление критики, где говорится, что Михельс в своих аналитических размышлениях недооценивал роль рядовых членов партии, которые могут отказаться от членства или перенести свою поддержку на конкурирующую партию, и это должно постоянно учитываться руководящими органами. Невзирая на указанные критические замечания, следует констатировать, что Михельс привлек внимание к реально существующей и повторяющейся в разных исторических эпохах тенденции к олигархизации руководящих органов даже в тех случаях, когда их руководящая роль берет свое начало в демократическом выборе. Вопрос об ответственности руководящих органов за принимаемые решения перед членами данной партии, а шире – проблема ответственности партии и необходимости давать отчет по своим обязательствам и декларациям перед поддерживающими ее избирателями является сегодня одной из самых важных проблем в исследованиях на тему политических партий.

Ответственность партии перед избирателями (*accountability*, т.е. подотчетность) – это, по существу, стержень демократического процесса и ответ на пессимистичные тезисы Михельса. Если, однако, эта ответственность иллюзорна, тогда Михельс прав: качество демократии слабеет и ритуализируется, а партии испытывают политическую алиенацию перед своей социальной базой. Марковский определяет этот род ответственности как «политический механизм, опирающийся главным образом на процедуру демократических выборов, через которые народ оценивает свершения и поступки как тех, кто стоит у власти, так и оппозиции, а также предоставляет свою поддержку конкурирующим партиям (или их кандидатам), делегируя им свою власть» (*Markowski*, 2001: 54). Таким образом, указанная ответственность реализуется в взаимодействиях между избирателями и избираемыми, причем одним из прямых и непосредственных последствий ее существования является

чувствительность политических элит по отношению к избирателям, реагирование на их мнения, а также их репрезентирование (представление).

Современность выдвинула перед политическими партиями новые вызовы, которые влияют на эволюцию партийных систем и самих партий, а кроме того, порождают новые разновидности партий, неизвестные из прежней парламентской практики. Грабовская (*Grabowska*, 2004: 213–216) перечисляет следующие исторические разновидности политических группировок, носящих партийный характер: 1) **элитарные партии**, которые хронологически были самыми первыми и характеризовались относительно свободной, нежесткой внутренней структурой и территориальной организацией, активизирующейся только на период выборов; 2) **массовые партии**, которые возникали, эволюционируя, главным образом из рабочих движений и характеризуются иерархической внутренней структурой, профессиональным партийным аппаратом, а также мобилизацией своих членов не только в период выборов; 3) **партии типа *catch-all*** (всеобъемлющие, универсальные, разношерстные; буквально – «улавливающие всех»), иначе говоря партии с относительно слабой ролью идеологии, нацеленные на привлечение как можно более широкой поддержки из самых разных социальных слоев и возникавшие отчасти из массовых партий; 4) **лево-либертарианские партии**, которые сформировались из радикальных общественных движений 60–70-х годов (экологические, феминистические и т.п. партии).

Падение коммунизма открыло политическое пространство публичной жизни для формирования партий и партийной системы. Этот процесс глубоко и пронизательно изучался многими исследователями (*Grabowska, Szawiel*, 2001; *Markowski*, 2001; *Markowski, Czeźnik*, 2002; *Jasiewicz*, 2002; *Bukowska, Czeźnik*, 2002; *Raciborski*, 2003; *Wiatr*, 2003a; *Wesołowski*, 2000; *Nalewajko*, 1997a; *Markowski*, 1999; *Ślodkańska*, 1997; *Grabowska*, 2000, *Szawiel*, 2000). Есть смысл обратить внимание на отдельные частности и особые моменты возникновения партийной системы в посткоммунистических странах. Прежде всего, это не плюрализм разнообразных партийных группировок построил демократию, а демократические процедуры открыли пространство для построения партий и партийной системы. Партии и их электораты характеризовались заметной избирательной неустойчивостью, причем более высокой, нежели на Западе (*Grabowska*, 2004: 231). Это были скорее малые партии,

чем партии массовые, а показатели лояльности значительной части избирателей в отношении отдельных партий претерпевали изменения в период проведения очередных выборов. Впрочем, такая переменчивость лояльности была характерной чертой не только широких электоратов, но и самих тех политиков, которых возводили во власть организационные машины партий. Отнюдь не изолированными были случаи смены партийных цветов, расколы, а также появления политических эфемерид, причем не только в Польше, но и во многих других посткоммунистических странах. Если принять за критерий стабильности, или консолидации, партийной системы способность тех же самых главных партий выдвигать своих кандидатов на общенациональных выборах по меньшей мере в двух очередных конституционных сроках их проведения<sup>1</sup>, то мы должны констатировать, что польская партийная система еще не является консолидированной. Всегда какая-нибудь из партий, входивших ранее в число главных, либо распалась полностью, либо ее части формировали новые партийные группировки<sup>2</sup>. Биографии некоторых ведущих польских политиков пестрят принадлежностью к таким партиям, жизнь которых носила сезонный характер, и сегодня редко кто помнит их названия, хотя в прошлом они даже создавали правительства.

---

<sup>1</sup> Ричард Роуз и Томас Маки в цитированной ранее работе говорили в этой связи о трех таких выдвижениях.

<sup>2</sup> Как уже отмечалось, после написания этой книги партийная ситуация в Польше стабилизировалась: уже на трех общенациональных выборах подряд основными конкурентами являются две самые крупные партии — «Право и справедливость» и «Гражданская платформа», причем последняя победила и в 2007, и в 2011 году, т.е. два раза подряд.

## ГЛАВА 10

# СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ

### Введение

В предыдущей главе мы констатировали, что публичная жизнь представляет собой пространство функционирования коллективных (а иногда также индивидуальных) акторов, которые выступают с требованиями, вытекающими из разных аксиологических опций, из дифференцированных интерпретаций существующего социального мира, из разного жизненного опыта, неодинакового позиционирования в структуре неравенства, неодинаково сформировавшихся дефиниций групповых интересов и т.д. Список причин, которые вызывают дифференциацию требований и притязаний, провозглашаемых отдельными акторами в публичном пространстве, можно было бы продолжить, что, однако, не изменило бы основной предпосылки дальнейших рассуждений, а именно того факта, что указанные требования или хотя бы всего лишь ожидания (какой угодно природы) не только сильно дифференцированы, но бывают также взаимно противоречивыми. Данный тезис сразу вводит нас в самую суть проблематики социального конфликта. Дело в том, что противоречивость требований, претензий и притязаний обязательно должна вести к антагонизации групп, которые выступают носителями этих требований, иными словами как раз к конфликту. Однако жизнь любого сообщества состоит отнюдь не из одних конфликтов. Она характеризуется некоторой двойственностью: с одной стороны, мы имеем процессы, интегрирующие совокупности индивидов в более крупные образования, а также стабилизирующие и репродуцирующие стереотипы социальных взаимоотношений, а с другой — действуют процессы, которые дезинтегрируют и антагонизируют партнеров социальных взаимоотношений, а также нарушают и искажают стереотипы названных взаимоотношений. Когда конфликты и дезинтеграционные процессы отчетливо доминируют над интеграционными процессами и социальной стабилизацией, под угрозой

оказывается продолжение самого существования данной общественной системы и ее репродукция.

Таким образом, нет ничего странного в том, что проблематика социального конфликта, а также возможных способов его разрядки и успокоения издавна принадлежала к главному руслу интересов социологии. Понимание природы социальных конфликтов, их разновидностей и потенциальных последствий было (и остается) целью как эмпирических исследований, так и теоретических интерпретаций наблюдаемых явлений. Представление проблематики конфликта мы начнем с изложения главных теоретических подходов. Теории конфликта, как классические (Маркс, Зиммель [Simmel]), так и современные (Дарендорф [Dahrendorf], Райт [Wright], Козер [Coser]), послужат исходной точкой для уточнения самого понятия социального конфликта и для представления общей типологии данного явления.

Конфликты в недемократическом обществе — в отличие от конфликтов в обществе демократическом — не только протекают по-иному, но часто касаются вопросов, которые специфичны для системы, лишенной демократических процедур. Мы проанализируем эти отличия, в особенности применительно к обществу, функционирующему в коммунистической системе, а иллюстрацией послужат при этом социальные конфликты в ПНР.

### Классические теории социального конфликта

У меня нет намерения реконструировать все классические социологические теории, которые старались охватить в аналитических категориях явление, называемое социальным конфликтом. Перейду сразу к теоретическому наследию двух немецких социологов, перед которыми современная теория конфликта, как пишет Джонатан Х. Тёрнер, «имеет свои обязательства» (Turner, 1985: 182). Мы будем здесь возвращаться к той очень точной реконструкции теоретических утверждений этих двух ученых, которую осуществил как раз Тёрнер.

Карл Маркс (1818–1883) и Георг Зиммель (1858–1918) — это две решительным образом отличающиеся друг от друга индивидуальности, два разных интеллектуальных профиля, два разных подхода к социологии, а также — *last but not least* (последнее по счету, но не по важности) — два понимания роли интеллектуала. Маркс

был заядлым полемистом, он вел спор с взглядами других лиц и отсюда черпал вдохновение для формулирования собственной позиции; Зиммель, всесторонне образованный, блистательный и остроумный, интересовался скорее проблемами, нежели взглядами других людей. Маркс был питбулем, атакующим и раздирающим на куски те проблемы, которые казались ему глупостью. Зиммель был академической пчелкой, черпающей и перерабатывающей нектар с многих цветков. Маркс хотел расшевелить пролетарские массы, которые были, по его мнению, демиургом истории. Зиммелю хотелось блистать в аудиториях высших учебных заведений, а его лекции в Берлинском университете притягивали толпы. Маркс полагал, что нашел «философский камень», благодаря которому можно понять смысл истории. Зиммель с отвращением относился к построению больших теоретических систем и считал, что осмысленным образом удастся исследовать только отдельные фрагменты огромной, невообразимо сложной, пульсирующей общественной жизни, а именно те фрагменты, в которых видны межчеловеческие взаимоотношения и связи. Таким образом, нет ничего странного, что два столь разных исследователя общественной жизни положили начало двум разным — собственно говоря, противоположным — теоретическим трактовкам проблематики конфликта и заложили их основы.

Правда, их обоих связывало использование принципов диалектики (каждый объект имеет свою противоположность, или антитезу), которая была известна еще с классических античных времен, но, применяя этот метод к анализу общества, они приходили к совершенно разным выводам. Согласно Марксу, движущей силой истории является борьба классов; каждая общественная формация «производит» класс, который представляет собой мотор изменения, поскольку он находится в структурном конфликте со «старыми» классами, а особенно с тем классом, который господствует в данной формации. Феодализм произвел буржуазию, которая заменила феодальный строй капитализмом. Капитализм же создал пролетариат, который — как пророчествовал Маркс — станет могильщиком капитализма. Буржуазия находилась в структурном конфликте с феодальной аристократией и в конечном итоге привела к исчезновению этого класса, тогда как рабочий класс — созданный капиталистическими производственными отношениями — находится в структурном конфликте с буржуазией. Этот конфликт носит, по мнению Маркса, неизбежный характер, потому



что подлинные интересы «старого» господствующего класса и нового «угнетенного» класса объективно противоречат друг другу, отсюда также этот конфликт обладает революционным потенциалом, который в конце концов вырвется наружу и приведет — революционным путем — к замене одной исторической формации на другую, находящуюся, правда, на более высоком уровне развития, но не лишенную нового структурного противоречия, и оно в конечном итоге тоже приведет к очередной революции, результатом которой окажется следующая общественная формация.

Согласно пророчествам Маркса концом указанного цикла должно стать возникновение коммунизма — такого общественного строя, который будет, в сущности, означать конец истории. Пока эта формация не будет достигнута — а ее наступление провозглашалось в качестве «неумолимого закона истории», — все общества будет терзать классовый конфликт. В каждой формации Маркс прозревал поляризацию классов, а конфликт должен был носить двухполюсный характер: между классами эксплуататоров и эксплуатируемых. Особенно резко он критиковал капитализм, которому предстояло быть лишь эпизодической формацией на пути человечества к подлинному освобождению. В частности, он писал о «неизбежном при современной системе процессе гибели средних буржуазных классов и так называемого бюргерского сословия» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 204), что приведет к революционному противостоянию угнетаемого пролетариата и буржуазии. Хотя пророчества Маркса оказались неточными, они, как мы знаем, стали идеологическим фундаментом возникновения тоталитарных вариантов коммунистического строя. Наиболее углубленную критику Маркса и его многостороннего наследия сформулировал Лешек Колаковский (*Kotakowski, 1978*), монументальное произведение которого под заглавием «Основные направления марксизма. Возникновение — развитие — упадок» принадлежит уже к классике. Тем не менее теоретические идеи Маркса, если обойти их идеологические последствия и неверное видение истории, стали источником вдохновения для многих современных теорий конфликта. Словно бы попутно они при случае стали также собранием удобных аргументов в полемике с функциональными подходами в социологии, а особенно с теоретической системой, созданной Парсонсом (*Parsons, 1968*), — подходами, которые, по мнению их критиков, делали слишком большой упор на интеграционные функции системы, но обходили или преуменьшали роль

деструкции, нарушений, возмущений и как раз конфликтов. Парсонс в своем сочинении, которое имело амбициозные намерения сделаться крупным теоретическим синтезом и должно было стать «теорией, которая кончает теорию» (Alexander, 1987: 238), к Марксу обращается лишь эпизодически, а Зиммеля вообще не замечает и полностью обходит. Незадолго до первой публикации своей монографии «The Structure of Social Action» («Структура социального действия») <sup>1</sup> Парсонс вычеркивает оттуда уже готовый текст о Зиммеле и устраняет его идеи из того интеллектуального запаса классических теорий, которые должны были составлять источники вдохновения для его собственной теоретической системы. Подход Зиммеля не соответствовал теоретической системе Парсонса: он концентрировался в большей степени на интеракциях (подход Парсонса – на ценностях) как на основном компоненте социальной организации. Разным был также способ конструирования абстрактных теоретических моделей: в подходе Зиммеля присутствовала методологическая предпосылка, что часть и целое взаимно обуславливаются, тогда как для Парсонса отправной точкой выступали определяемые *a priori* первичные элементы системы, а их анализ служил основанием для умозаключений о свойствах всей системы в целом (Levine, 1991: 1099, *passim*). Решение не упоминать Зиммеля имело серьезные последствия для дальнейшего направления развития теоретической социологической мысли – по меньшей мере в США. Дело в том, что работа Парсонса наметила некоторый стандарт теоретических рассуждений и на долгие годы исключила мысли Зиммеля из теоретической рефлексии, хотя ранее к нему обращались часто и охотно (Ibid.: 1100).

Через несколько похожие хитросплетения проходила в западной социологии и теоретическая мысль Маркса, хотя сегодня вдохновленные им идеи наверняка составляют существенную часть ландшафта социологического теоретизирования в США и Западной Европе.

Тёрнер (Turner, 1985: 187) выделяет из творческого достояния Маркса и отдельно указывает шесть тезисов, ставших позднее питательной средой для тех теорий конфликта, которые разрабатывались на основе именно этой традиции.

---

<sup>1</sup> Русский текст основных глав этой книги (1937) и других работ данного автора см.: Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект. 2000.

1. Хотя социальные отношения проявляют системные свойства, они, однако, полны противоречивых интересов.
2. Этот факт показывает, что социальные системы систематически порождают конфликты.
3. Конфликт, следовательно, представляет собой неизбежное и всепроникающее свойство социальных систем.
4. Такие конфликты манифестируются в поляризованной противоположности интересов.
5. Чаще всего дело доходит до конфликта в связи с распределением редких благ, и это наиболее заметно в связи с распределением власти.
6. Конфликт представляет собой главный источник изменений в социальной системе.

Чтобы дело дошло до социального изменения, угнетаемый класс должен, во-первых, верно распознать свои интересы (распознавание которых иногда нарушается «фальшивым сознанием»), а во-вторых, должен обрести «революционное сознание», иначе говоря в эксплуатируемом классе должно распространиться убеждение, что только путем революции, меняющей производственные отношения, можно изменить свой ущемленный, приниженный статус. Гидденс (*Giddens*, 1975: 93–94) очень верно отмечает, что если восприятие собственной эксплуатации носило среди пролетариата довольно-таки всеобщий характер, то превращение такого рода обыденного знания в революционное сознание было явлением редким. Психологический аспект классового конфликта не является сильной стороной Марксовой теории, поскольку для него состояние сознания было эпифеноменом (побочным, сопутствующим явлением) классового положения (знаменитая фраза, что «бытие определяет сознание»). Таким образом, коль скоро классовой структуре неизбежно предстояло измениться, а сознание было по отношению к ней вторичным, то его изменение являлось логическим следствием резкой поляризации классов, когда конфликт должен войти в революционную фазу. Быть может, это слишком далеко продвинутое упрощение мыслей Маркса, ибо ни радикализация пролетариата, ни также его революционная мобилизация не должны были происходить автоматически; тем не менее оно показывает, что в данной концепции субъективное измерение макрообщественных явлений имело второстепенное значение.

Зиммель был в этом отношении психологически более тонким. Во-первых, он не упускал из поля зрения человеческую личность, индивида, а точнее массы индивидов, образующих собой общество. Это индивиды (а не массы) являются первичными носителями конфликта, поскольку среди них есть и такие личности, которым присущ развитый «инстинкт борьбы», равно как и субъекты, которые насковзь пропитаны ненавистью к другим. Противоречие интересов может усиливать эти первичные инстинкты, но без них социальный конфликт не проявлялся бы столь часто, а его протекание было бы, наверное, менее бурным. Во-вторых, Зиммель предполагает, что естественной человеческой потребностью является гармоничная жизнь (мы видим здесь влияние модных тогда концепций общества, связанных с органицизмом), а конфликты представляют собой защитную реакцию общественного организма на «заболевания». После того как они вспыхнут и разрядятся, общественная система возвращается к равновесию и гармонии. В трактовке Зиммеля конфликты, таким образом, являются одним из способов регулирования общественной жизни, но ни в коем случае не содержат заранее predetermined (как у Маркса) результата. Они могут принести качественное изменение, но могут также не внести никаких существенных нововведений в социальные отношения. Как в одном, так и во втором случае после периода возмущений происходит возврат к равновесию. Тёрнер (*Turner*, 1985: 188–189) синтезирует взгляды Зиммеля на природу социальных конфликтов в форме следующих четырех теоретических утверждений.

1. Социальные отношения, складывающиеся в пределах системных структур, можно охарактеризовать только как органические структуры взаимно переплетающихся процессов ассоциации и диссоциации.
2. Такие процессы представляют собой отражение как инстинктивных импульсов человеческих личностей, так и императивов, навязанных различными типами социальных отношений.
3. Ввиду этого процессы конфликта являются вездесущим свойством социальных систем, но они отнюдь не обязательно ведут во всех случаях к краху системы или к социальному изменению.
4. По существу, конфликт — это один из главных процессов, действующих в направлении удержания социального целого или некоторых его элементов.

Маркс релятивизировал свои утверждения, привязывая их к общественной формации (главным образом к капитализму), но вместе с тем формулировал сильные тезисы о смысле истории, тогда как Зиммель не питал честолюбивых амбиций по формулированию универсальной теоретической системы, а скорее довольствовался построением утверждений, которые позднее Роберт Кинг Мертон (*Merton*, 1982: 60) назовет теориями среднего радиуса действия<sup>1</sup>.

### Современные теории социального конфликта

В современной социологии проблематика конфликта концептуализирована во многих, часто принципиальным образом различающихся, теоретических рамках (ср.: *Mucha*, 1978). Соглашаясь на некоторые упрощения, мы можем свести эти различия к двум теоретическим парадигмам. В первой из них слышится отголосок подхода Зиммеля, поскольку конфликт трактуется в качестве некоего способа реализации адаптационных и интеграционных функций социальной системы. Во второй парадигме конфликт выступает силой, взрывающей некоторую социальную систему, дабы создать поле для возникновения нового общественного порядка, что следует признать продолжением подхода Маркса — только с более развитой методологией и понятийным аппаратом. И если в обоих этих подходах конфликт трактуется как фактор социального изменения, то в первом случае делается акцент на эволюционные изменения, тогда как во втором — на переломы, носящие революционный характер.

Хорошей иллюстрацией первой парадигмы может послужить теория социального конфликта, разработанная Льюисом А. Козером (*Coser*, 1956, 1967), тогда как иллюстрацией подхода, соответствующего второй парадигме, может явиться теория Ральфа Дарендорфа (*Dahrendorf*, 1958, 1969). Эти две парадигмы называют по-разному; например, Тёрнер (*Turner*, 1985: 205, 222) определяет

---

<sup>1</sup> В русскоязычной литературе (в том числе в русском переводе той монографии, на которую ссылается автор) данный термин Мертона переводится как «теории среднего уровня». Впрочем, в переводе часто цитируемого здесь труда Тёрнера применительно к Мертону говорится о «теориях среднего ранга».

первую из них названием **функциональной**<sup>1</sup>, тогда как вторую именует **диалектической**. В свою очередь, Дарендорф первый тип подхода к конфликтам располагает в пределах интегративной теории общества, в то время как второй — в рамках коерсивной (принуждающей) теории<sup>2</sup>. «Интегративная теория общества трактует социальную структуру как функционально интегрированную систему, поддерживаемую в равновесии некоторыми сложившимися и повторяющимися процессами». Тем временем «коерсивная теория общества воспринимает социальную структуру как форму организации, поддерживаемую силой и принуждением и постоянно «идущую дальше самой себя» в том смысле, что формируемые ею силы удерживают ее в непрекращающемся процессе изменения» (*Dahrendorf*, 1975: 430).

Конфликты замечаются и в интегративной теории общества, но их трактуют не столько как явление, угрожающее прочности и стабильности системы, сколько скорее в качестве внутрисистемного механизма, полезного для выработки у системы адаптационных способностей к новым условиям. Каким способом конфликт может содействовать новой интеграции системы и развитию ее адаптационных способностей, позволяющих осуществлять репродукцию во времени? Козер включает в свою теоретическую модель утверждение о причинных связях, которые ведут к улучшению адаптации. Указанная цепочка причин и следствий, реконструированная Тёрнером (*Turner*, 1985: 225), выглядит следующим образом: «1) Неравный уровень интегрированности составных элементов социального целого приводит к 2) вспыхиванию разного рода конфликтов между составными элементами, которые, в свою очередь, являются причиной 3) временной повторной интеграции

---

<sup>1</sup> Тёрнер связывает первую из них с Мертоном (у него даже есть раздел под названием «Мертоновская „парадигма“ функционального анализа») и с Зиммелем. Вообще, Мертон (1910–2003) — его предки, кстати говоря, эмигрировали в США из России, и первые годы жизни он носил имя Меер Школьник — принадлежит к числу самых известных американских социологов XX века и является одним из создателей социологии науки и структурного функционализма

<sup>2</sup> От *coercive* — принудительный; мы вслед за некоторыми другими переводчиками сочли термин «коерсивная» более приемлемым и отказались от другой русскоязычной кальки — коэрцитивная, поскольку этот последний термин уже широко используется, причем исключительно в физике.

социального целого, что в некоторых условиях вызывает 4) увеличенную эластичность структуры системы, которая, в свою очередь, 5) усиливает способность системы к преодолению путем конфликта будущих нарушений внутреннего равновесия, стремясь к созданию такой системы, которая 6) проявляет высокий уровень адаптивности к изменяющимся условиям»<sup>1</sup>.

Таким образом, причину конфликта Козер видит в интегративном дефиците системы, причем конфликт является способом возмещения этого дефицита. Он вспыхивает в том случае, когда, например, обездоленные и ущемленные индивиды оспаривают сомнительную правомочность такого механизма распределения желательных благ, который ставит их в приниженное положение. Поскольку система интегрирована в тех случаях, когда все (или, по крайней мере, решительное большинство) признают распределительные механизмы правомочными, то оспаривание их правомочности нарушает общую интеграцию системы (в таком случае мы имеем дело с «неравным уровнем интегрированности отдельных элементов системы»). В результате таких нарушений образуется новый легитимационный механизм, который возмещает дефицит легитимации системы. Так выглядят в максимально сокращенном изложении основные элементы интегративной (или, по терминологии Тёрнера, функциональной) теории социальных конфликтов.

В коерсивной (принуждающей) теории – совершенно иная отправная точка. Ключом к пониманию существа социальных конфликтов в этой теории являются отношения власти. Власть – это редкое благо, и поэтому борьба за власть порождает конфликт. Отношения власти мы встречаем во всех институциональных формах социальной жизни – начиная от малой организации и кончая всем обществом, организованным в какую-то форму государственности.

---

<sup>1</sup> В русском переводе этой работы Тёрнера данное место (см. раздел «Образы социальной организации» в гл. 7 «Конфликтный функционализм: Льюис Козер») выглядит таким образом: «1) Нарушение интеграции составных частей социального целого 2) приводит к вспышкам самых разнообразных конфликтов между составными частями, что, в свою очередь 3) вызывает временную дезинтеграцию целостной системы; при определенных условиях это 4) делает социальную структуру более гибкой, что, в свою очередь, 5) усиливает способность системы избавляться при помощи конфликта от грозящих ей в будущем нарушений равновесия, а это приводит к тому, что 6) система обнаруживает высокий уровень приспособляемости к изменяющимся условиям».

Как пишет Дарендорф, «дифференцирование распределения верховной власти неизменно становится фактором, детерминирующим постоянный социальный конфликт такого типа, который близок к конфликту в традиционном (Марксовом) смысле. Структурный источник такого группового конфликта надлежит искать в структуре социальных ролей и связанных с ними ожиданий, касающихся господства и подчиненности» (*Dahrendorf*, 1975: 435).

В свою очередь, иерархические социальные роли характеризуются некоторыми целями деятельности, на которые каждый — независимо от личных предрасположенностей — должен ориентировать свои действия, производимые в рамках этой роли. Например, учитель — если он не хочет выпасть перед учениками из роли учителя — должен их учить, а не, например, ходить с ними на пиво в близлежащий паб; священнослужитель должен ориентировать свои действия на цели, связанные со своим религиозным саном, а если он этого не делает, то выпадает из своей социальной роли. Названные цели составляют в теории Дарендорфа объективные интересы, приписанные к роли, а не к тому лицу, которому в данный момент доводится исполнять определенную роль. Указанное лицо может даже не в полной мере осознавать, какие именно интересы оно реализует, играя определенную социальную роль. Поэтому Дарендорф (*Ibid.*: 444) называет эти цели **скрытыми интересами** и отличает их от **явных интересов**<sup>1</sup>, осознаваемых индивидом и составляющих сферу тех сознательных целей его деятельности, к которым индивид стремится независимо от того, какую именно социальную роль он в данный момент исполняет. Таким образом, явные интересы приписаны к индивиду, а не к социальной роли. Акторами конфликта являются квазигруппы, иначе говоря агрегаты носителей ролей, наделенных похожими скрытыми интересами. Из названных квазигрупп рекрутируются более узкие группы интересов, понимаемые уже как группы в социологическом смысле, и именно эти группы являются реальными акторами социального конфликта. Ведь они обладают внутренней структурой, какой-то формой организации и общей целью деятельности, разделяемой членами данной группы, а также обладают чувством принадлежности (членства)

---

<sup>1</sup> Скрытые интересы именуется в существующих переводах трудов Дарендорфа, а также в русскоязычных публикациях о нем латентными и негласными, а явные — открытыми и гласными.



и отождествления с группой. Указанное разграничение требуется Дарендорфу для аналитического выделения модели формирования конфликтной группы. Он пишет: «В каждом союзе, основанном на господстве, можно выделить две квазигруппы, объединенные общим скрытым интересом. Направленность этих интересов определяется обладанием или необладанием верховной властью. Из этих квазигрупп рекрутируются группы интересов, их деятельность находит выражение в программах, которые подрывают или защищают правомочность существующей структуры верховенства. В каждом союзе формируются две такие конфликтные группы» (*Dahrendorf, 1975: 447*).

Теория конфликта Дарендорфа столкнулась с критикой – особенно его модель формирования конфликтной группы, из которой косвенно вытекает телеологическая предпосылка, что «конфликт существует для того, чтобы удовлетворять «потребности» системы в направлении изменения» (*Turner, 1985: 220*)<sup>1</sup>. Кроме того, критикуется также чрезмерно классовая – в такой трактовке – природа социального конфликта. Впрочем, и сам Дарендорф в своих более поздних работах подверг собственные концепции довольно основательному пересмотру, дополнив классовую оптику конфликта еще и элементами гражданственности, а также тех конфликтов, которые вытекают из неравных гражданских прав различных социальных групп и необязательно носят классовый характер (*Dahrendorf, 1993: 70*).

Проблематика конфликта присутствует сегодня во многих социологических субдисциплинах, обращающихся к весьма дифференцированным теоретическим традициям. Например, Лауманн и Марсден (*Laumann, Marsden, 1979*) применяют эту аналитическую категорию к изучению политических элит, Маркидес и Коэн (*Markides, Cohn, 1982*), основываясь на протекании конфликта греков и турков на Кипре, исследуют влияние внешнего конфликта на возрастание внутренней сплоченности группы, Лоулер и Лардж (*Lawler, Large, 1999*), применяя категорию конфликта и стратегии его разрядки и успокоения, берут на вооружение методы и теоретическое достояние социальной психологии. Даже

---

<sup>1</sup> В русском переводе книги Тёрнера эта фраза полностью выглядит так: «...очень легко утверждать, что конфликт существует для того, чтобы удовлетворять „потребности“ системы в изменениях, – незаконная телеология».

в коммунитарных подходах, акцентирующих проблематику социальных связей и сплоченности разных общностей, находится место для конфликта. Например, Этzioni пишет, что из понятия сообщества не нужно исключать проблематику конфликта. «Едиственной предпосылкой, которая содержится в этих понятиях, является то соображение, что конфликты вполне укладываются в высшую привязанность к тем связям и ценностям, которые определяют собой целостность сообщества. Если дело обстоит иначе, мы не имеем дело с одним сообществом или одним обществом» (Etzioni, 2000: 190). Он требует, чтобы теоретические модели конфликта и консенсуса трактовались не в качестве альтернативных способов описания социальной реальности, а скорее в качестве взаимно комплементарных подходов.

### Определение социального конфликта

На множественность определений социального конфликта обращают внимание почти все авторы работ, посвященных этой теме. Широкую панораму способов определения данного понятия рисует Тёрнер (Turner, 1985: 145, *passim*). Конфликт обычно характеризуется таким способом, который детерминирован теоретической ориентацией конкретного исследователя (отсюда берется множественность дефиниционных трактовок, являющихся следствием разнородности теоретических подходов к указанному явлению). Наиболее широкое применение имеют, разумеется, общие определения. Такое общее определение сформулировал, например, Финк, проделав это следующим способом: конфликтом является «каждая ситуация или социальный процесс, в котором две или более человеческие совокупности связаны как минимум одной формой антагонистического психологического отношения или как минимум одной формой антагонистической интеракции» (Fink, 1968: 456; цит. по: Turner, 1985: 189). Такое общее определение может быть полезным для объяснения того, что мы имеем в виду, когда говорим о социальном конфликте, но его может оказаться недостаточно, если мы хотим придать данному понятию более сложное аналитическое значение.

Попробуем уточнить указанную теоретическую категорию. Конфликт представляет собой общественное явление, в котором должны участвовать по меньшей мере два социальных актора. Если это индивидуальные акторы, то мы имеем дело с межлическим

конфликтом, если же это акторы коллективные, то мы имеем дело с конфликтом социальных групп. Таким образом, конфликт — это некоторый класс социальных взаимоотношений, которые связывают акторов, стремящихся к неодинаковым или даже взаимно исключающимся целям.

Данное взаимоотношение связывает акторов в том смысле, что достижение цели одним из них уменьшает или сводит к нулю возможность достижения конкурентной цели другим актором. Это взаимоотношение имеет место между действенными субъектами, и если оно осуществляется в публичной жизни наряду со взаимоотношениями сотрудничества и обмена (а мы будем здесь заниматься именно такими взаимоотношениями), то мы имеем дело с социальным конфликтом.

В общем, принято считать, что причиной социального конфликта является такое распределение редких благ, правомочность которого ставится под сомнение и оспаривается одной из сторон конфликта, обделяемой этим распределением. Разумеется, такое случается, причем очень часто, так сказать сплошь и рядом, но это наверняка не единственная причина социальных конфликтов. Более того, можно аргументировать, что самые тяжелые случаи социальных конфликтов совсем не обязательно касаются вопроса правомочного (Weber, 2002: 23) распределения редких благ, где стороны конфликта ведут игру с нулевой суммой. Ведь из истории нам известны случаи тяжелых социальных конфликтов, где причиной вообще была не проблематика правомочного способа распределения редких благ, а, например, определение врага в этнических категориях (этнические конфликты) или в категориях религиозных (религиозные конфликты). Известны также конфликты на аксиологической почве, в которых главной причиной конфликтной ситуации выступала попытка одной из групп данного общества навязать остальным группам определенную интерпретацию окружающего социального мира. В таком случае мы имеем дело не с борьбой за изменение системы распределения редких благ, а с конфликтом, имеющим более глубокие основания, которые вытекают из противоречивых нормативных определений, относящихся к социальному порядку. Причиной конфликта могут также быть обманутые надежды, разочарованность, неспособность власти соответствовать тем общественным ожиданиям, которые сама же эта власть возбудила посредством продвигаемой ею идеологии или же своими пустыми обещаниями. Как

вытекает из приведенного краткого обзора, причины социального конфликта разнородны, и если какую-нибудь из этих причин мы вносим в определение данного понятия, то тем самым сужаем последнюю до определенного типа конфликта (обходя все другие, которые встречаются в социальной реальности).

Резюмируя, можем констатировать, что **социальный конфликт — это такое происходящее в пространстве публичной жизни антагонистическое взаимоотношение между по меньшей мере двумя коллективными акторами, что указанные акторы осознают данное антагонистическое взаимоотношение, а у самого этого взаимоотношения есть свои причины, которые предопределяют характер конфликта и способы его разрешения.**

### Типы социальных конфликтов

Везде, где существует различие, несходство или восприятие действительности в категориях мы—они, там может возникнуть конфликт. Но необязательно должен. Дабы он появился, между «мы» и «они» должна произойти антагонистическая интеракция, охватывающая — хотя бы косвенно — всех участников конфликта, которые вдобавок должны обладать сознанием того, что указанные несходства пребывают в неустойчивом равновесии, а нарушение последнего будет означать получение одной из сторон перевеса за счет второй. В такой ситуации достаточно, чтобы какая-либо из этих сторон демонстрировала в публичном пространстве экспансию, которую другая сторона станет интерпретировать как ущемление или уменьшение ее ресурса, имеющегося у нее имущества, сферы влияния, положения, идентичности или же как угрозу для ее интерпретации социального мира, дабы вызвать противодействие указанной стороны, испытывающей ощущение угрозы. Это противодействие носит характер антагонистической интеракции, которая представляет собой ядро социального конфликта.

Конфликт может носить явный или скрытый характер. Конфликт в скрытой форме существует по многим основаниям. Упомянем две самые важные причины, каждая из которых сильно зависит от степени открытости публичной жизни для свободной артикуляции претензий и требований разных социальных сил. Первая — это полная закрытость публичной жизни для артикуляции претензий и требований либо как минимум значительное

ограничение возможностей такой артикуляции. Данная причина типична для недемократических систем. Вторая, характерная как раз для демократических систем, — это пребывание потенциальных сторон указанного скрытого конфликта в состоянии равновесия, нарушение которого означает для каждой из сторон риск ее поражения, оцениваемого как состояние, худшее, нежели текущее состояние равновесия.

Как мы уже констатировали ранее, степень открытости публичной жизни для артикуляции требований или притязаний в недемократических системах чрезвычайно низка, а в тоталитарных системах приближается к нулю. В таком случае социальный конфликт любого типа будет тлеть в скрытой форме так долго, пока не будет превышен порог толерантности для той ущемленности, в которой пребывает одна из сторон конфликта. Превышение этого порога высвобождает открытую стадию конфликта, инициатором которой выступает сторона, определяющая свое положение как ущемленное.

Когда открытость публичного пространства для артикуляции претензий и требований низка, указанный порог высок, так как с его превышением связывается большой риск репрессий со стороны авторитарной системы. Правда, потенциал такого конфликта не затухает, но сам конфликт расплывается. Поскольку внешне он не проявляет себя в публичной жизни, авторитарная власть может его игнорировать. Бывает, однако, и так, что даже этот высокий порог вхождения конфликта в открытую стадию оказывается превзойденным. Обычно такое происходит в том случае, когда из сопоставления потерь и обретений (отнюдь не обязательно имеющих материальный характер, но и символический тоже) вытекает, что терять особенно нечего, а вот обрести можно значительно больше, причем, кроме всего прочего, в этот расчет включается и риск репрессий со стороны авторитарной системы. Превышение данного порога, как я уже упоминал, начинает открытую стадию конфликта; и чем выше был порог, тем, в общем, более бурно протекает открытая стадия конфликта. Именно такой механизм функционировал, например, при коммунистической системе в Польше, когда в результате значительного (хотя и менявшегося во времени) ограничения на артикуляцию требований в публичном пространстве указанный порог оказывался превзойденным в 1956, 1968, 1970, 1976 годах и многократно — в течение десятилетия 80-х годов.

В демократической системе, где пространство публичной жизни открыто для свободной артикуляции требований самых разных групп, тоже случаются скрытые конфликты. Возникают они в тех случаях, когда потенциально конфликтные группы избегают открытой антагонистической интеракции из опасения, что ее результат может оказаться менее благоприятным или выгодным, нежели текущее состояние. Это не означает, что конфликт затухает, а означает лишь существование в данный момент состояния неустойчивого равновесия, которое является настолько удовлетворительным, что никакая из сторон конфликта этого равновесия не нарушает. Подобный конфликт входит в открытую стадию в тех случаях, когда одна со сторон предпринимает попытку повысить степень реализации своих требований, а это нарушает вышеуказанное неустойчивое равновесие и высвобождает аналогичные (хотя и имеющие противоположную направленность) действия второй стороны конфликта.

С точки зрения возможных последствий для социального порядка конфликты могут носить **внутрисистемный** или **антисистемный** характер. Внутрисистемным является такой конфликт, который не только развивается в соответствии с правилами игры, обязательными в данной общественной системе, но и его разрядка тоже происходит в соответствии с установленными – формальным образом или согласно обычаю – процедурами, которые составляют часть данной системы. Предметом такого конфликта не является ни какое-то существенное правило, играющее решающую роль для идентичности системы, ни – тем более – нормативные основания системы либо вопрос ее правомочности. Конфликт ведется за блага «низшего ряда», а системные правила трактуются сторонами конфликта как подразумеваемые граничные условия протекания данной антагонистической интеракции. Зато в антисистемном конфликте одна из его сторон оспаривает какое-либо существенное системное правило (например, свободные и конкурентные выборы в условиях демократии, руководящую роль партии в условиях коммунизма) или же ставит под сомнение нормативные основания системы в целом и саму логику ее функционирования. Такой конфликт обычно протекает не в соответствии с правилами игры, обязывающими в данной системе, потому что они тоже оспариваются одной из сторон конфликта и, следовательно, не регулируют ход возникшего конфликта. Наиболее типичным антисистемным конфликтом с боль-

шим диапазоном действия является, естественно, революция, но случаются также антисистемные конфликты с ограниченным диапазоном действия, которые не нарушают равновесия всей системы, а подрывают всего лишь стабильность какого-нибудь из существенных системных правил (например, в условиях демократии это может быть деятельность какой-либо антидемократической партии, а в недемократической системе – бунт небольшой части граждан).

Как я упоминал, течение конфликта в значительной мере обусловливается его характером. Более подробное разъяснение этой зависимости требует создания типологии социальных конфликтов с точки зрения предмета спора между сторонами антагонистической интеракции. В этом смысле мы можем сгруппировать разнообразные конфликты в следующие типы:

- 1) конфликты аксиологического характера;
- 2) конфликты интересов;
- 3) конфликты вокруг доступа к политической власти;
- 4) конфликты на фоне действующих правил игры;
- 5) конфликты различающихся социальных идентичностей;
- 6) конфликты различающихся версий исторической памяти.

Эта типология не является ни исчерпывающей, ни создающей непересекающиеся классы. Отдельные типы конфликтов налагаются друг на друга (например, конфликты вокруг доступа к власти и конфликты интересов, а также конфликты интересов, которые накладываются на конфликты различающихся социальных идентичностей), отдельные разновидности конфликтов по мере их протекания могут преобразовываться в другие виды конфликтов (например, конфликт интересов может превратиться в конфликт вокруг правил игры) и т.д. Многие разнородные конфликты локального характера вообще не нашли бы для себя места в этой типологии (например, соседские конфликты). Приведенная типология служит всего лишь иллюстрацией разнородности социальных конфликтов, возникающих в пространстве публичной жизни, – разнородности, значительно выходящей за пределы «антагонистической интеракции на фоне распределения редких благ». Каждый из выделенных здесь типов социальных конфликтов может, в принципе, носить либо явный характер, либо скрытый, а большинство из них могут быть или внутрисистемными, или же антисистемными.

Конфликты, носящие аксиологический характер, касаются в первую очередь того, что в данной общественной системе определяется как благо и добро, а что как зло. Кроме того, конфликты этого типа строятся вокруг притязаний разнообразных коллективных акторов на то, чтобы именно их система ценностей доминировала в публичной жизни. Классическим примером конфликта подобного типа служит противоречие между требованиями сторонников и противников аборта или смертной казни. В этом случае причиной конфликта является не принцип распределения редкого блага, оспариваемый теми, кого этот принцип обделяет, а двоичный, нуль-единичный характер совместности ресурса, доступ к которому не ограничен. Нуль-единичный характер совместной доступности ресурса означает, что общим ресурсом (без ограниченного доступа) является или допустимость аборта, или его запрещение; точно так же смертная казнь либо предусмотрена в уголовном кодексе и применяется, либо, напротив, отменена.

Конфликты интересов присутствуют и хорошо проблематизированы в том теоретическом течении, которое ранее мы назвали диалектическим, или коерсивным (принуждающим), и которое нашло свое начало в теориях Маркса, а разработку — в теории Дарендорфа. Тёрнер (*Turner, 1985: 207–208*) следующим способом разложил по пунктам сходства в подходах Маркса и Дарендорфа.

1. И Дарендорф, и Маркс трактуют социальные системы как структуры, пребывающие в состоянии непрекращающегося конфликта<sup>1</sup>.
2. Оба автора исходят из предпосылки, что такой конфликт генерируется противоположными интересами, которые неизбежным образом присутствуют в социальной структуре системы.
3. И Маркс и Дарендорф трактуют противоположные интересы как отражение различий в распределении власти между господствующими и подчиненными группами<sup>2</sup>.
4. Оба утверждают, что интересам присуща тенденция к поляризации на две конфликтные группы.

---

<sup>1</sup> В русском переводе монографии Тёрнера говорится о «бесконечно повторяющихся конфликтах».

<sup>2</sup> В том же переводе говорится о распределении авторитета между правящими и управляемыми.



5. По мнению обоих, конфликт является диалектическим, причем разрешение одного конфликта создает новый комплекс противоположных интересов, которые в определенных условиях будут генерировать дальнейшие конфликты<sup>1</sup>.

На польской почве похожий теоретический подход к анализу социального конфликта можно обнаружить, например, в работах Адамского (*Adamski*, 1982, 2000), а также Круликовской (*Królikowska*, 1996). В такой трактовке структурный конфликт интересов рассматривается как самый существенный социальный конфликт, который обычно ведет к общественному изменению, а посткоммунистическая трансформация благодаря существованию данного конфликта получает свою дополнительную динамику. Указанный конфликт появился, поскольку механизмы и принципы распределения редких благ в прежней системе делали невозможным удовлетворение интересов крупных социальных групп и вместе с тем – на что обращает особое внимание Адамский – надежды, связанные с прежним механизмом распределения и возбужденные идеологическими предпосылками прежнего режима, не были удовлетворены. Таким образом, при этом угле зрения социальный конфликт вызывается как объективным противоречием между интересами привилегированных групп (занимающих господствующее положение) и обойденных, приниженных групп (занимающих подчиненное положение), с одной стороны, так и разочарованиями и несбывшимися надеждами последних – с другой (*Adamski*, 1982). Интегральным элементом такой трактовки являются отношения власти, а точнее разделение на управляющих и управляемых. Ведь управляющие по определению располагают ресурсом, очень полезным для защиты собственных интересов, а кроме того, это еще и ресурс, позволяющий удерживать в неприкосновенности те принципы распределения редких благ, благодаря которым их привилегированное положение может быть сохранено (таким ресурсом как раз и является власть).

Власть, однако, представляет собой универсальный тип ресурса, и, когда власть связывают исключительно с интересами, это

---

<sup>1</sup> В переводе об этом сказано так: «...„решение“ конфликта в какой-то момент времени создает такое состояние структуры, которое при определенных условиях с неизбежностью приводит к дальнейшим конфликтам противоборствующих сил».

представляется чрезмерным сужением ее функции. Получение доступа к власти благоприятно и выгодно в конфликте каждого типа, а не только в конфликте на почве противоречивых интересов. Поэтому также более разумным представляется аналитическое выделение социальных конфликтов на фоне доступа к власти в особую категорию, особенно с учетом того, что, как правило, стороны такого рода конфликта знают лишь следующее: получение доступа к власти служит для них обеспечением своего доминирования во многих потенциальных областях конфликтов, а не только в том их измерении, которое связано с реализацией групповых интересов, а также знают, что власть дает возможность для реализации весьма разнообразных притязаний (в том числе аксиологических). Следовательно, конфликт на фоне доступа к власти, даже если на первых порах он раскручивается каким-либо явным или скрытым интересом, в дальнейшем автономизируется относительно этого интереса в том смысле, что обретение власти само по себе становится целью, а не только эффективным инструментом, позволяющим добиваться реализации своих интересов.

Конфликты на фоне действующих правил игры по определению носят нерегулируемый характер, поскольку конфликт ведется именно за то, какие правила игры должны действовать в публичной жизни в качестве обязательных (в том числе речь идет также о принципах, регулирующих социальные конфликты). Конфликты данного типа, особенно если они имеют большой общественный диапазон действия и индуцируют активное участие (хотя бы в форме поддержки тех элит, которые персонифицируют собой разные стороны данного конфликта), обычно ведут к существенным общественным изменениям, включая и изменение всей системы. Даже если такие конфликты входят в открытую стадию, они вовсе не обязательно должны принимать облик мятежа или революции, носящих достаточно бурный характер. Протекание социальных конфликтов этого типа, которые привели к демократическим революциям во многих странах Центральной и Восточной Европы, а также ранее на юге Европы и в Латинской Америке, было относительно мягким, хотя и не лишенным серьезных проявлений напряженности. Шире мы обсуждали эту проблему в главе 1.

Конфликты на фоне различающихся социальных идентичностей — это сегодня прежде всего конфликты на этническом и религиозном фоне. Иногда они могут сопрягаться с конфликтом на фоне противоречивых интересов или с конфликтом за доступ

к власти, а именно в тех случаях, когда группа с одной идентичностью господствует в вышеуказанных измерениях над группой с другой идентичностью (Wojakowski, 2000). Однако сущность конфликтов данного типа заключается в несходстве социальной идентичности у сторон конфликта (García, 1993; Bloom, 1990; Bilgrami, 1995), а также в непреодолимом противоречии между этими различающимися идентичностями в самооценочных категориях («моя идентичность лучше» — «чужая идентичность хуже»), что, разумеется, представляет собой социальную конструкцию, которая усиливается несовпадающей культурной укорененностью этих идентичностей. Как пишет Геллнер, «глубокий конфликт в Ольстере состоит не в том, что оба общества разделяет язык, а в том, что каждое из них отождествляет себя с совсем иной культурой, и это отождествление столь же устойчиво, как некое физическое свойство, хотя оно и было вызвано социальными факторами» (Gellner, 1991: 90). Особенно большой потенциал накапливается у конфликта данного типа в тех случаях, когда указанные различающиеся идентичности сильны и общественно видимым способом коррелируют с местом, занимаемым в структуре власти. Тогда мы можем иметь дело с синергическим эффектом: конфликт на фоне доступа к власти усиливается конфликтом на фоне различающихся социальных идентичностей. Так происходит в том случае, когда одна гомогенная этническая или религиозная группа господствует, а вторая находится в подчиненном положении. В недемократических обществах это может вести к конфессиональному, теократическому государству или же к «этноавторитаризму» (Linz, Stepan, 1996: 254).

Последняя категория в сформулированной ранее типологии — это конфликт на почве различных версий исторической памяти. Данный тип конфликта не очень часто переходит в открытую форму, однако его скрытая разновидность может тянуться очень долго — даже на протяжении многих поколений, — и она отражается на взаимоотношениях между потенциальными представителями сторон указанного конфликта. Этот конфликт чаще всего налагается на разные социальные (национальные, этнические или религиозные) идентичности, ибо его сущность состоит в иной интерпретации того прошлого, в котором конфликтующие ныне группы играли существенную роль. Пусть примером конфликта такого типа послужит дискуссия на тему памяти о Холокосте среди евреев и поляков или напряженность между

поляками и украинцами по поводу символической значимости кладбища львовских орлят<sup>1</sup>. А самым поразительным примером явилась необычайно оживленная дискуссия вокруг книги Гросса (Gross, 2000) о местечке Едвабне, где поляки по наущению и под надзором немцев совершили убийство своих соседей-евреев<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Название «львовские орлята» закрепилось в польской патриотической традиции за юными защитниками Львова, учениками школ и студентами, которые во время польско-украинской войны 1918–1919 годов в связи с отсутствием во Львове польских регулярных войск добровольно участвовали 1–22 ноября 1918 года в боях польских отрядов самообороны с наступающими украинскими частями (а затем и в боях советско-польской войны 1919–1921 годов). Погибшая молодежь была похоронена на кладбище защитников Львова, заложенном тогда же, в 1919 году. 25 августа 1971 года это кладбище было по указанию тогдашних властей разорено и затем превращено в свалку (установленный там «Мемориал орлят» был разрушен советскими властями еще в 1951 году); теперь кладбище и мемориал частично восстановлены и реконструируются на польские деньги, но продолжают оставаться предметом передких трений между Польшей и Украиной.

<sup>2</sup> Речь идет о документальной книге «Соседи. История уничтожения еврейского местечка» (2000), которая повествует о погроме в Едвабне недалеко от Белостока, учиненном поляками из этого местечка и окрестностей в начале войны (не следует забывать, что после 17 сентября 1939 года Белосток и его окрестности были включены в состав СССР – создали даже Белостокскую область Белорусской ССР, поскольку в этом районе и сегодня велик процент этнических белорусов, – и поэтому война и немцы пришли туда лишь после 22 июня 1941 года). Сначала местные поляки зверски убивали евреев поодиночке – палками, камнями, мучили их, отрубали головы, оскверняли трупы. Потом 10 июля 1941 года загнали несколько сотен уцелевших евреев в овин и сожгли живьем, добывая тех, кому удавалось оттуда выбраться. (Надо сказать, что и в самом Белостоке все еврейское население города – около 56 тыс. человек – было согнано в гетто и уничтожено в течение августа 1941 года.) Автор книги «Соседи» Ян Томаш Гросс (род. в 1947) – польско-американский ученый еврейского происхождения, выпускник Варшавского университета, участник событий Марта 1968 года (о которых будет говориться ниже), он провел тогда пять месяцев в тюрьме, был затем вынужден эмигрировать, а теперь является профессором исторического факультета Принстонского (до этого – Йельского) университета. Вторая книга Гросса, «Страх: антисемитизм в Польше после Аушвица», написанная по-английски (2006, польский перевод – 2008), посвящена проблематике келецкого, краковского, жешувского и других еврейских погромов 1946 года (в общей сложности после войны в Польше погибло около 2 тыс. евреев), а его третья книга, «Золотая жатва. О том, что случилось на обочинах Катастрофы евреев» (2011),

## Социальные конфликты в демократическом и недемократическом обществе

В недемократическом обществе пространство публичной жизни закрыто, а в самом лучшем случае очень ограничено для свободной артикуляции требований и притязаний, а также для автономного от государства формирования коллективных акторов, которые могли бы публично провозглашать эти требования и при необходимости — в случае появления противоположных притязаний или требований — стать стороной конфликта. Коль скоро в публичном пространстве отсутствуют возможности для свободной артикуляции требований или притязаний и для институционализации человеческих совокупностей, которые их выдвигают, то нет также места для регулируемого конфликта, а точнее вообще нет места для конфликта. Это, однако, не означает, будто требования угасают сами по себе, а означает лишь следующее: они существуют в распыленной форме — точно так же, как и общественные силы, которые являются естественным носителем определенных требований. В результате появляются индивидуальные стратегии смягчения и разрядки конфликта (в их числе отказ от требований, уход, отступление или даже бегство в острые ощущения и сомнительные удовольствия, которые временно снимают напряжение), или же конфликт тлеет в скрытой форме, а поскольку какой-либо общий вектор отсутствует (вследствие вышеуказанного распыления), то и требования не присутствуют в публичном дискурсе и не индуцируют сколько-нибудь широкого круга сторонников. Публичные требования или претензии, которые могли бы придать конфликту открытую форму, невозможны, и, следовательно, для властей недемократического государства никакого конфликта попросту не существует. Когда, однако, порог для придания требованиям публичного характера оказывается превышенным, — а указанный порог тем выше, чем более репрессивна существующая недемократическая система, — то в этот момент на публичной сцене появляется коллективный актор, который артикулирует упомянутые требования. Одновременно с этим обеими сторонами теперь уже открытого конфликта запускается описанный в предыдущей

---

обвиняет поляков в извлечении прибыли и материальных выгод из Холокоста. Эти книги, особенно первая из них, стали в Польше предметом широкой общенациональной дискуссии.

главе процесс мобилизации сторонников. Поскольку в такой системе возможность автономной от государства институционализации коллективного актора очень ограничена, а в тоталитарной системе сведена к нулю, то новые общественные силы принимают слабо институционализированные формы, а начинается все обычно с наиболее слабо институционализированной формы, другими словами с толпы. В недемократической системе, вообще говоря, не существует установленной процедуры, в соответствии с которой протекает социальный конфликт, равно как не существует также и санкционированной и узаконенной процедуры для разрядки конфликта. В частности, еще и поэтому упомянутый новый коллективный актор чаще всего сталкивается с силовой реакцией недемократического режима, а в самом лучшем случае конфликт как-то протекает, а затем смягчается и разряжается в соответствии с процедурами, которые возникают *ad hoc* – по мере необходимости и по ситуации. В пользу таких обобщений говорит и характер течения открытых социальных конфликтов в ПНР.

В демократической системе пространство публичной жизни широко открыто для относительно свободной артикуляции требований, претензий или притязаний, а также для институционализации тех общественных сил, которые выступают их носителями. Кроме того, существуют санкционированные законом процедуры протекания социального конфликта, а также процедуры его смягчения и снятия напряженности. Таким образом, данная ситуация существенным, даже принципиальным образом отличается от существующей в недемократической системе. Это, разумеется, не означает, что все участники конфликта ведут себя в соответствии с правилами протекания конфликта, равно как не означает также, что разрядка конфликтов определенного типа всегда осуществляется в соответствии с одной и той же процедурой. Сущность отличий демократических систем по сравнению с недемократическими заключается в том, что в последних готовые процедуры для смягчения конфликтов вообще отсутствуют, тогда как в системах первого типа, т.е. демократических, такие процедуры существуют, и в связи с этим указанные конфликты носят в общем и целом регулируемый характер.

Открытые конфликты аксиологического характера вызываются в демократической системе новыми общественными движениями или неправительственными общественными организациями, вносящими в публичный дискурс новые требования или претензии.

зии (путем манифестаций, ходатайств, петиций, пикетов, хеппингов, объявлений или пресс-конференций). Политические партии также участвуют в регулируемом аксиологическом конфликте посредством провозглашения требований, содержащихся в идеологическом слое их политической программы, равно как и через действия, нацеленные на привлечение сторонников для определенной идеологической опции. В условиях недемократического порядка конфликты такого типа — если они уже переходят из скрытой стадии в открытую — чаще всего имеют антисистемный характер, потому что в недемократической системе идейный плюрализм сильно регламентирован или вообще не существует, а потому аксиологические требования новых общественных сил не могут не вступить в конфликт с доминирующей идеологией.

В демократической системе открытые конфликты интересов вызываются организованными группами интересов (например, профсоюзами работающих), реже — политическими партиями. В недемократической системе открытые конфликты интересов вызываются бунтами какой-то части трудящихся, а если это система с централизованно планируемой экономикой, то второй стороной социального конфликта подобного типа непременно и неизбежно становится коммунистическое государство в качестве генерального работодателя. Однако в отличие от того, как развиваются события в демократической системе, здесь такие конфликты приобретают чаще всего стихийный и нерегулируемый характер. В свою очередь, в отличие от конфликтов аксиологического характера они необязательно должны носить антисистемный характер и не носят его до тех пор, пока ущемленная сторона конфликта не станет оспаривать действующие правила распределения благ. Поскольку правила распределения редких благ являются обычно частью системы, а уж в коммунистических системах это наверняка имело место, то оспаривание справедливости указанных правил превращало такой конфликт интересов из внутрисистемного в антисистемный.

Конфликты вокруг доступа к власти являются в демократической системе естественной ее частью и носят регулируемый характер (с помощью процедуры конкурентных выборов или арбитража в коллективных спорах). В недемократической системе конфликты данного типа принимают иную форму — скрытую и нерегулируемую. Стороны такого конфликта становятся либо неформальными фракциями в безраздельно правящей партии, либо

кланами или кликами. Общество по определению оказывается исключенным из конфликтов такого рода, и по этой причине — в смысле диапазона распространения — это не широкий общественный конфликт, а всего лишь «дворцовый», хотя его последствия могут охватывать очень большие части общества (как, например, сталинские чистки).

Если социальные конфликты на фоне правил системной игры принимают открытый вид, то они представляют собой реальную угрозу как для демократической системы, так и для недемократической. В демократической системе такого рода конфликт вызывается, как правило, антидемократическими силами, которые могут или использовать для этой цели процедуры, регулирующие конфликт, или же отвергнуть их как часть той системы, против правил которой они протестуют. И если коллективный актор, разжигающий конфликт вокруг правил демократической игры, завоевывает для себя соответствующую поддержку, то он может победить в этом конфликте в соответствии с демократическими процедурами, а после получения власти — изменить правила на недемократические (например, ввести диктатуру). Если в демократической системе какое-то из ее правил устойчиво дискриминирует определенный сегмент общества (примером может послужить статус темнокожего населения в США), то тогда конфликт на фоне этого специфического системного правила необязательно должен вызываться антидемократическими силами. Например, движение Мартина Лютера Кинга не было антидемократическим — напротив, оно очень хотело, чтобы правила демократической системы охватили в США также гражданскую эмансипацию темнокожих жителей страны. В недемократической системе конфликт на фоне правил игры носит — по определению — антисистемный характер, а если общественная сила, возбуждающая этот конфликт, добьется поддержки, которая превосходит «критическую массу», то дело доходит до революции (мирной или нет) и, как следствие, до системного изменения. Именно по этому сценарию развивались события после возникновения «Солидарности» в Польше.

Конфликты на фоне различающихся идентичностей ограничиваются — как я уже упоминал — религиозными или этническими конфликтами. Ведь этнические и религиозные идентичности бывают настолько сильными, что в случае возникновения угрозы для них сразу же появляется сопротивление, которое, в свою очередь, составляет зародыш конфликта. Обычно религиозные



и этнические конфликты налагаются на конфликты, связанные с доступом к власти. Если они имеют место в демократической системе, то ведут к эрозии гражданского общества в целом, а также его типичных функций, реализуемых при демократии. Так случается по той причине, что гражданский статус и идентичность постепенно вытесняются другим, этническим или религиозным, статусом и идентичностью, и именно эти идентичности становятся основной точкой отсчета и соотнесения для кристаллизации политических предпочтений, выражаемых в конкурентных выборах. Католик голосует за католика, по сути дела, независимо от его политической программы, а протестант — за протестанта. Баск голосует за баска, а каталонец за каталонца, и это голосование тоже, в принципе, не зависит от их политической программы. В недемократической системе конфликты такого типа носят распыленный характер (потому что пространство публичной жизни закрыто для свободной артикуляции разных вариантов социальной идентичности и для институционализации общественных сил, вырастающих из этих идентичностей). И поэтому они тлеют в скрытом виде так долго, пока не появится возможность артикуляции указанного конфликта в публичной жизни. Развитие событий после распада Югославии представляет собой хорошую, хотя и мрачную иллюстрацию данного механизма.

Конфликты, произрастающие на фоне разных интерпретаций истории, вообще говоря, появляются на стыке двух культур и двух народов, которые связывает история, полная конфликтов. Примером могут здесь послужить польско-украинские, польско-германские, польско-русские отношения (*Malikowski, 2000*). История интерпретируется сторонами по-разному, а несходство вытекает из того, что обе они долго — в течение многих поколений — отстаивали свою правоту и свои точки зрения, которые в прошлом делили их и выступали зародышем конфликта. В демократическом обществе, в рамках свободного публичного дискурса, появляется возможность (хотя, естественно, нет гарантии) разрядить такого рода конфликт через признание права второй стороны иметь свой, отличающийся взгляд, свои соображения и вместе с тем через изъятие из исторических интерпретаций всех тех мистификаций и мифологических наслоений, которые предназначались для усиления обоснованности одной правоты в ее споре против второй. В недемократическом обществе такой свободный дискурс, разумеется, невозможен, так же как и дискурс между

сторонами, чья история полна конфликтов, по поводу этой конфликтующей истории. Вместо свободного дискурса существует официальное толкование истории – кстати говоря, обычно инструментализированное и ориентированное на текущую политику. В связи с этим указанный конфликт продолжается в скрытом и расплывчатом виде, а в пространство публичной жизни вступает лишь после того, как оно открывается для свободной артикуляции требований и претензий плюралистических социальных сил.

### Способы разрешения конфликтов

Можно выделить шесть способов разрешения социальных конфликтов: 1) в соответствии с демократической процедурой; 2) в соответствии с корпоративной процедурой; 3) в соответствии с кооптационной процедурой; 4) посредством односторонней диалогической инициативы; 5) в соответствии с процедурами, создаваемыми *ad hoc* (специально на этот случай); 6) посредством насилия. Демократическая процедура как способ разрешения конфликтов применяется в полном объеме только в демократических системах. Сама эта процедура была описана в главе 1, и она употребляется для разрешения самых разнородных типов социальных конфликтов, но в системном смысле данная процедура составляет часть механизма, разрешающего конфликты на фоне доступа к власти, а также разрешающего внутрисистемные конфликты на фоне существенных правил игры, которые обязательны в публичной жизни.

Корпоративная процедура разрешения конфликтов не подвергалась до сих пор обсуждению, поэтому нужно посвятить ей несколько больше места. Прежде всего, эта процедура применяется как в демократических системах, так и – иногда – в системах недемократических.

Ответим сначала на вопрос, что собой представляет корпоративизм. Наиболее известное определение корпоративизма, сформулированное Филиппом Шмиттером, описывает его как «систему представления интересов, составные элементы которой организованы в отдельные обязательные, не соперничающие между собой, иерархически упорядоченные и функционально различающиеся категории, признаваемые и лицензируемые (если не созданные) государством, которое наделяет их монополией на представление в рамках соответствующих категорий в обмен за готовность

подвергаться некоторому контролю над отбором лидеров и артикуляцией требований, а также выражений поддержки» (цит. по: *Bunce, Echols, 1986: 181*). Корпоративизм, таким образом, это процедура взаимных согласований между государством и теми организованными группами интересов, которые признаются государством как представители интересов некоей достаточно широкой совокупности лиц. Вслед за Лембрухом (*Lehmbruch, 1986*) мы можем выделить три типа корпоративизма: традиционный (функционирующий в прединдустриальной эпохе), авторитарный, функционирующий в недемократических системах (а особенно при фашистском строе в странах межвоенной Европы), и либеральный, функционирующий во многих индустриальных демократиях. При либеральном корпоративизме мы имеем дело с большой автономией отдельных представительств групповых интересов, а также с добровольным характером участия всех вовлеченных во взаимные конфликты сторон в тех институтах, которые призваны разрешать конфликты. Либеральный корпоративизм, пишет Лембрух, «опирается на теоретическую предпосылку, что в капиталистической экономике существует сильная взаимозависимость между интересами групп, находящихся в состоянии конфликта между собой» (*Ibid.: 176*). Таким образом, мы имеем здесь дело с такой исходной предпосылкой, которую трудно согласовать с обсуждавшимися ранее диалектическими теориями о противоречии интересов, ведущем к конфликтам. Это не означает, что корпоративизм не признаёт противоречий интересов, а говорит лишь о том, что если к противоречивым интересам подойти рационально, то противоречие можно устранить.

Корпоративный способ разрешения конфликтов означает диалог, переговоры и торги. Если этот способ применяется на практике, то в нем доминирует нечто такое, что Яцек Тарковский определил названием «корпоративного менталитета». «Если бы этот менталитет понадобилось определить одним словом, мы бы употребили слово „консенсус“, — пишет Тарковский. — Однако фактором, отличающим корпоративный подход от разных вариантов плюралистической модели, является предпосылка, что торги должны вести к повсеместно одобряемым решениям и что участие в процессах торгов и переговоров не должно опираться только на принцип жесткого и бескомпромиссного силового продвижения представляемых интересов, а должно также руководствоваться долговременным общим интересом и, кроме того, пониманием

аргументации и высших соображений партнеров, принимающих участие в переговорах» (Tarkowski, 1994: 215). Сущностью демократической модели разрешения конфликтов является легитимация тех или иных притязаний и требований волей большинства, давление и запуск общественной поддержки для определенной опции. Тем временем сущность корпоративного подхода состоит в согласовании и сотрудничестве. Главным актором процесса разрешения конфликта при демократической процедуре выступает гражданин, наделенный соответствующими правами, тогда как в случае применения корпоративной процедуры гражданина заменяет эксперт, наделенный соответствующими знаниями, а также полномочиями от определенной группы интересов. Результатом смягчения и разрядки социальных конфликтов в соответствии с корпоративной процедурой является компромисс.

Кооптационная процедура заключается в том, что одна из сторон конфликта привлекает к себе значимых лидеров противоположной стороны конфликта. Обычно такое привлечение сочетается с предложением выгодного или просто доходного — в индивидуальном измерении — положения либо должности в противоположном лагере. Привлечение в свою группировку какой-то части лидеров противоположной стороны укрепляет символические притязания той стороны, которая приобрела для себя лидеров из противоположного лагеря, и, соответственно, ослабляет притязания стороны, потерявшей своих прежних лидеров.

Односторонняя диалогическая инициатива заключается в попытке переломить возникшую при конфликте тупиковую ситуацию посредством сильного сигнала о готовности к уступкам, отправляемого одной из сторон конфликта. Обычно такая инициатива рискованна для предпринимающей ее стороны конфликта, поскольку она воспринимается второй стороной как признак слабости, но вместе с тем она усиливает убеждение, что сторона, выступающая инициатором уступки, заслуживает — быть может — большего доверия. Таким образом, по оценке второй стороны, та сторона, которая инициирует уступки, теряет, правда, в силе, но выгадывает в доверии. В итоге возникает вопрос, в каких условиях подобные односторонние инициативы имеют шанс на преодоление тупика в разгоревшемся конфликте и содействуют его разрядке. Лоулер, Форд и Лардж провели эксперимент, который показал, что «односторонние инициативы наиболее эффективны, когда они (1) увеличивают доверие к стороне, выступающей

их зачинателем, (2) не снижают ее силу ниже некоторого порога и (3) высвобождают у второй стороны желание, чтобы оппоненты тоже увеличили свое доверие» (Lawler, Ford, Large, 1999: 255). Это наиболее вероятно, когда обе стороны конфликта оценивают свою силу как близкую — другими словами, когда ни одна из сторон не является решительно более сильной, чем вторая. Если же стороны конфликта оценивают свои силы как неравные, то одностороннее инициирование уступок воспринимается обычно как признак слабости, причем без явного роста доверия между сторонами конфликта. Более слабая сторона конфликта утверждается в убеждении, что ранее переоценивала силу противоположной стороны, поскольку если бы вторая сторона конфликта действительно была столь сильна, как это выглядит, то она не предлагала бы уступок. В свою очередь, когда с односторонней инициативой об уступках выступает более слабая сторона конфликта, то сильнейшая из сторон укрепляется в убеждении о собственной силе и слабости противоположной стороны, что также не ведет к росту взаимного доверия, а лишь укрепляет искушение вынудить противоположную сторону согласиться с навязываемой ей позицией. Таким образом, одностороннее инициирование уступок более эффективно, когда обе стороны конфликта оценивают свою силу как примерно одинаковую. Размер уступок, предлагаемых в таких односторонних инициативах, пишут авторы эксперимента, приводит к разным последствиям в зависимости от относительной мощи стороны, выступающей застрельщиком уступок, и стороны, которой эти уступки адресованы. Крупные уступки более действенны и быстрее обеспечивают выход из тупика, когда их инициатором выступает сильнейшая сторона; малые уступки эффективнее, когда их инспирирует более слабая сторона конфликта (Ibid.: 240).

Процедуры *ad hoc* — по определению — появляются в нерегулируемых социальных конфликтах, иными словами в конфликтах, принимающих открытую форму в такой системе, которая в случае, когда вспыхивает конфликт определенного типа, не обладает готовыми процедурами поведения (установленными либо обычаем и традицией, либо законом). Как правило, подобное случается в жестких авторитарных системах (с коммунистической включительно), где публичная жизнь закрыта и для свободной артикуляции требований, и для институционализации общественных сил, которые могли бы стать носителями таких требований. В этом случае предметом торгов становится не только само существо вопроса,

его содержательные аспекты, но также установление правил, в соответствии с которыми возникший конфликт может быть разрешен или смягчен, а напряжение — снято. Можно гипотетически предполагать, что выработка таких правил значительно более вероятна, если каждая из сторон конфликта оценивает силу противоположной стороны как примерно равную собственной. Взаимное соблюдение выработанных правил усиливает, в свою очередь, доверие между обеими сторонами конфликта, что, в свой черед, может увеличить шансы на выработку устойчивого компромисса по тем содержательным проблемам, которые реально делят стороны конфликта. Если же стороны конфликта единодушно оценивают свои силы как неравные, то более сильная сторона будет склонна отказаться от выработанных правил, когда выяснится, что они не ведут к разрядке конфликта в соответствии с ее пожеланиями, и перейти к другому способу завершения конфликта (например, посредством принуждения слабейшей стороны к принятию решений, предлагаемых более сильной противной стороной).

Последний способ, иначе говоря применение силы, означает не столько разрешение социального конфликта и его разрядку (так как применение силы никогда не устраняет причин конфликта), сколько окончание открытой стадии противостояния. Тогда характер конфликта претерпевает изменение — он становится расплывчатым и продолжается в скрытой форме до тех пор, пока его реальные источники не окажутся ликвидированными. Применение силы для окончания открытой стадии конфликта весьма вероятно в том случае, если: 1) стороны конфликта, по своей собственной оценке, не равны в смысле реальной силы; 2) только одна из сторон располагает лояльным аппаратом принуждения (полицией, армией); 3) разрядка конфликта другими методами привела бы к утрате более сильной стороной ее власти и привилегий; 4) доверие между сторонами конфликта очень мало или его вовсе нет.

### **Социальные конфликты в Польше после Второй мировой войны**

После Второй мировой войны польская публичная жизнь была ареной многих открытых социальных конфликтов. Сразу же после этой войны навязывание коммунизма Польше сопровождалось гражданской войной с участием сплоченных партизанских отрядов, которые не согласились пойти на демобилизацию. Этот кровавый

конфликт продолжался вплоть до первой половины 50-х годов. Как пишет Пачковский, «под непрекращающимися ударами подполье понемногу и медленно замирало, но корпус внутренней безопасности в 1949–1955 годах арестовал еще около шестнадцати тысяч человек, в том числе тысяча из них была захвачена в боях. <...> Статистические данные, составленные министерством внутренних дел, зарегистрировали в 1948–1954 годах свыше 500 групп и организаций, которые предпринимали — или намеревались предпринять — „антигосударственную деятельность“» (Paczowski, 1995: 270). Этот конфликт не имел, однако, характера типичного социального конфликта, а вытекал из деятельного неприятия того, каким образом была после войны решена политическая судьба Польши.

Хотя аграрная реформа вызвала в стране много локальных конфликтов, ибо в ее результате имели место конфискации не только крупной земельной и сельскохозяйственной собственности, но также хозяйств средней величины, способных на ведение товарного сельскохозяйственного производства (что послужило увертюрой к насильственной коллективизации деревни, впрочем неудачной), но все-таки первым открытым социальным конфликтом широкого масштаба был Познанский Июнь (1956). В том же самом году — на сей раз в Варшаве — произошли события, которые вошли в историю под названием «Польский Октябрь». Двенадцать лет спустя имел место открытый конфликт между интеллигенцией и студентами, с одной стороны, и властью — с другой; он известен под названием Март'68. Еще через два года в городах балтийского Побережья произошел рабочий бунт, вошедший в историю как Декабрь'70. В 1976 году конфликт между рабочим классом и коммунистической властью вновь вступил в открытую стадию (сама коммунистическая власть присвоила пацификации рабочего бунта эвфемистическое определение «события в Радоме и Урсусе»). В 1980 году — на волне общепольских забастовок — возникла и выросла «Солидарность». Конфликт между «Солидарностью» и коммунистической властью носил хронический характер и закончился лишь в 1989 году, после падения коммунистической системы, которую заменила либеральная демократия и рыночная экономика. Новые правила игры в политике и экономике III Речи Посполитой<sup>1</sup> генерировали многочисленные социальные конфликты

---

<sup>1</sup> В Польше принято называть свою страну от Люблинской унии (1569) до завершения разделов Польши (1795) I Речью Посполитой, от

с самым разным диапазоном действия, но — в отличие от конфликтов, наблюдавшихся в старой системе, — в принципе, они носили регулируемый характер.

Социальные конфликты, возникавшие до 1989 года, можно трактовать как случаи конфликтов в недемократической системе. Они носили главным образом скрытый и распыленный характер — и в этом смысле были хроническими, — но в упомянутые ранее календарные моменты переходили в открытые конфликты. Каждая из открытых стадий этого фактически единого длительного социального конфликта внесла в публичную жизнь какое-то изменение, но лишь последний конфликт (между «Солидарностью» и коммунистической властью) принес в публичную жизнь радикальное отличие, поскольку его следствием стало системное изменение. А пока проследим — вкратце — характер перечисленных выше конфликтов, способы окончания каждого из них и, наконец, те изменения, которые они внесли в общественную жизнь.

### *Познанский Июнь (1956)*

Утром 28 июня 1956 года в Познани рабочие завода им. Сталина начали экономическую забастовку и вышли на улицы города. К ним стали присоединяться работники других промышленных предприятий, образуя быстро растущую толпу демонстрантов. Вслед за экономическими требованиями вскоре появились национальные символы (бело-красные флаги) и политические лозунги, наиболее известным из которых был «Хлеба и свободы!». Толпа атаковала учреждения и оборудование, являвшиеся символами коммунистической власти (местопребывание воеводского комитета ПОРП, здание Управления безопасности [УБ], установку для глушения иностранных радиопередач и тюрьму, где содержались в том числе и политические заключенные). В руках толпы оказалось также оружие, обнаруженное в захваченных зданиях. Эта масса демонстрантов не успела структурироваться, поскольку коммунистические власти включили в акцию войска, которые в течение 24 часов уладили беспорядки. В общей сложности погибло около 70 гражданских лиц, а также восемь военнослужащих и функционеров УБ

---

восстановления независимой Польши после окончания Первой мировой войны до сентября 1939 года — II Речью Посполитой, а после 1989 года — III Речью Посполитой.



и министерства обороны (*Paczkowski*, 1995: 301). Этот открытый социальный конфликт закончился силовым решением, а его фоном были как противоречивые интересы (вспомним экономический аспект бунта и требование о повышении зарплат, которое инициировало открытую стадию конфликта), так и конфликт на фоне правил системной игры (в толпе участников демонстрации быстро кристаллизовались антикоммунистические настроения, что на практике означало требование изменить правила игры, составлявшие фундамент идентичности коммунистической системы). Ввод армейских частей закончил, правда, открытую стадию конфликта, но самого конфликта не закончил. В распыленной форме он по-прежнему продолжался, о чем свидетельствовали настроения во многих промышленных агломерациях, жители которых солидаризировались с познанским рабочим классом, а также резкая разобщенность в коммунистической властной элите. В ней выделились две неформальные фракции: «твердолобых», именуемых «натолинцами» (от названия маленького особняка в {варшавском дворцово-парковом ансамбле} Натолин, где они встречались), и «либералов», именуемых «пулавянами» (от комплекса правительственных зданий на ул. Пулавской в той же Варшаве, где устлавали свои встречи «либералы»). Мятужные настроения среди населения, а также расхождения во властной элите привели к Польскому Октябрю.

### *Польский Октябрь*

Как пишет Рошковский, «начало октября 1956 года предвещало принципиальный политический перелом. Советское руководство оказалось активно вовлеченным в поддержку натолинцев, тогда как общественное брожение в Польше, благодаря которому у власти оставались пулавяне, уже выходило за рамки, которые Кремль был в состоянии терпеть. Гомулка<sup>1</sup>, привлекаемый обеими

---

<sup>1</sup> Владислав Гомулка (1905–1982) – видный коммунистический деятель. До войны провел свыше пяти лет в тюрьмах, во время войны был на подпольной работе в Прикарпатье и Варшаве. Один из организаторов (1942) Польской рабочей партии (ППР) и генеральный секретарь ее ЦК (1943–1948). В 1944–1949 годах – 1-й вице-премьер и министр воссоединенных земель. В 1948 году был обвинен в так называемом правонационалистическом уклоне, в 1949 году лишен партийных постов (генсеком вместо него сделали откровенного сталиниста Б. Берута), затем он

фракціями на свою сторону, вимагав поста першого секретаря для себе, мест в політбюро для своїх людей і усунення з цього органу Минца (отвечавшего за економіку) і Рокоссовського<sup>1</sup>. Він склонявся к соглашению с Охабом<sup>2</sup> і Циранкевичем<sup>3</sup>, а также к тому, чтобы для равновесия оставить в політбюро по одному представителю обоих крыльев» (Roszkowski, 1992: 236). Указаний конфлікт був, по суті дела, конфліктом між фракціями во властной еліті, боровшимися між собою після смерті Сталина. Познанські події придали цій боротьбі новий імпульс, а Польський Окітябрь — 56 і броженіє умов в вищих навчальних заведеннях разом з кипінням на багатьох промислових підприємствах привели во власть Гомулку<sup>4</sup>. Таким образом, це був нерегульований конфлікт на фоні доступу к власті, причеи він носив внутрисистемний характер в тому сенсі, що на тогочасний момент антисистемна сторона конфлікту не проявилася, за исключением епізоду с кроваво подавленими маніфестаціями в Познані. А розрядився він рокировками на вищих рівнях структури комуністическої власті. Основні, принципиальні

---

постепенно понижаляся в должностях, а с 1951 года по апрель 1956 года сидел в тюрьме. В августе 1956 года был восстановлен в партии, а с октября 1956 года до 1970 года — 1-й секретарь ЦК ПОРП.

<sup>1</sup> Советский маршал К.К. Рокоссовский (1896—1968) в 1949—1956 годах был министром национальной обороны и заместителем председателя Совета министров Польши, а также членом политбюро ЦК ПОРП.

<sup>2</sup> Эдвард Охаб (1906—1989) — в 1950—1956 и 1959—1964 годах секретарь ЦК ПОРП, в 1954—1968 годах член политбюро, в марте—октябре 1956 года 1-й секретарь ЦК. В результате мартовских событий 1968 года ушел из политической жизни.

<sup>3</sup> Юзеф Циранкевич (1911—1989) — долгое время был вторым лицом в Польше, занимая посты председателя Совета министров ПНР в 1947—1952 и 1954—1970 годах, затем председателя Государственного совета ПНР в 1970—1972 годах.

<sup>4</sup> 21 октября 1956 года VIII пленум ЦК повторно назначил Гомулку 1-м секретарем ЦК ПОРП. Пленум заседал в условиях политического давления со стороны митингов, проходивших на заводах и в вузах. Существовала и угроза советского военного вмешательства (19—20 октября члены политбюро ПОРП и В. Гомулка совещались с делегацией ЦК КПСС, которая неожиданно прибыла в Польшу, а отдельные советские части, расквартированные в Польше, двигались маршем в сторону Варшавы). Гомулка получил в обществе широкую поддержку, в том числе на массовом митинге 24 октября в столице, где он обещал перемены во всех сферах общественной жизни.

устой системы остались невредимыми, тем не менее Октябрь '56 все же внес существенные отличия в публичную жизнь. Прежде всего, окончательно завершилась тоталитарная стадия коммунистической системы, связываемая с именем Сталина. Освободили из тюрьмы примаса Польши кардинала Стефана Вышиньского<sup>1</sup>, обновились творческие организации и объединения, активизировались независимые католические круги, началась операция по репатриации поляков с территории СССР. Облегчилась цензура в области литературы и искусства, а польская наука и культура обрели немного творческой свободы, хотя их деятельность по-прежнему оставалась регламентированной.

### *Март '68*

Открытый конфликт, который вошел в историю как Март 1968, подобно конфликту 1956 года, носил внутрисистемный характер. В партии существовали фракции «ревизионистов» и «партизан». Ревизионисты, которые вели свою родословную от Польского Октября, состояли членами партии, но начали оспаривать некоторые догматы партийного аппарата (например, полный контроль над публичной жизнью и публичным дискурсом). К ним присоединились либеральные интеллектуалы и протестующая молодежь. «Партизаны» представляли собой фракцию, сосредоточенную

---

<sup>1</sup> Стефан Вышиньский (1901–1981) – примас Польши (1948–1981) и государственный деятель, кардинал с 1953 года. В период усиления коммунистических репрессий против церкви и общества встал на защиту христианской идентичности народа, выступая вместе с тем инициатором политики рассудительных отношений с государственными властями (в 1950 году подписал соглашение, регулирующее отношения государства и церкви). В период повторного усиления борьбы с церковью был заключен в тюрьму (сентябрь 1953 – ноябрь 1956), где сформулировал программу возрождения религиозной жизни в Польше. В середине 60-х годов имел место острый конфликт примаса Вышиньского и епископата с государственными властями в связи с известным воззванием польских епископов к немецким, призывавшим к примирению обоих народов (со словами «прощаем и просим прощения»), а также в связи с церковным празднованием Тысячелетия крещения Польши, которое власти трактовали как тысячелетие Польского государства. Вещом жизни Вышиньского, которого называли примасом Тысячелетия, стало избрание (1978) его питомца и близкого сотрудника, краковского кардинала Кароля Войтылы Папой Римским.

вокруг Мечислава Мочара, и образовывали группировку «твердолобых» национальных коммунистов<sup>1</sup>. В этот же период в Чехословакии шел процесс запоздалой десталинизации, который привел к Пражской весне, что наверняка оказало влияние и на настроения в Польше (Paczkowski, 1995: 364). Катализатором превращения скрытого конфликта в явный было снятие с афиши варшавского театра «Народовы» («Национальный») инсценировки «Дядюшка» Мицкевича в постановке Казимежа Деймека – ввиду... антисоветских акцентов в этом спектакле (Eisler, 1991: 154). После этого начались студенческие демонстрации и митинги, а литературные и академические круги пребывали в состоянии бурления. И данный конфликт тоже носил нерегулируемый характер, а значительную часть его потенциала Гомулка канализировал тем, что направил острие критики на лиц еврейского происхождения. Началась позорная антисемитская кампания, которую с особой силой раздувала фракция «партизан» (Ibid.). Ее результатом стали чистки в армии, государственном аппарате, в учебных заведениях и партии. В итоге Польшу покинуло тогда около 15 000 человек, в том числе почти пятьсот научных работников, примерно 1000 студентов, а также 200 сотрудников средств массовой информации и людей из творческих кругов (Paczkowski, 1995: 371)<sup>2</sup>.

Встает вопрос, каким образом этот конфликт укладывается в ранее сформулированную типологию социальных конфликтов.

---

<sup>1</sup> Генерал Мечислав Мочар (1913–1986) – в 1964–1968 годах министр внутренних дел, в 1968–1971 годах секретарь ЦК, в 1970–1971 и 1980–1981 годах член политбюро ЦК ПОРП. Основные принципы «мочаризма» таковы: 1) «социалистическая» экономика; 2) отказ от марксистского интернационализма в пользу национального подхода; 3) критика Сталина и СССР, а также отмежевание от фашизма и нацизма; 4) преследование оппозиции, террор против нее; 5) отказ от иллюзии парламентаризма, резкое сокращение чиновничества, передача всей полноты власти в стране вождю, которому доверяет народ.

<sup>2</sup> Эти граждане Польши еврейского происхождения (обычно их численность оценивают несколько выше, в 20–22 тыс. человек) не столько покинули Польшу (такая формулировка предполагает добровольность), сколько были выдвинуты из страны – их не только увольняли с волчьим билетом и лишали возможности трудоустроиться, но и многих бросали в тюрьму. Кроме того, отъезд этих людей из страны был обставлен унижительными процедурами; в частности, разрешение на эмиграцию они могли тогда получить лишь при условии отказа от польского гражданства, от государственных наград и др.

В нем, несомненно, присутствовали элементы конфликта на фоне доступа к власти. Эйслер пишет: «Рассматривая события в более узком контексте, а именно через призму распределения сил внутри властного лагеря, можно сказать, что Гомулка в Марте'68 не потерпел решительного поражения; не потерял власть и частично сохранил то, чем распорядился. Партийный аппарат ниже и среднего уровней хотел быстрых изменений и продвижения вверх — главным образом, за счет лиц еврейского происхождения, но также за счет старших по возрасту партийных деятелей „арийского“ происхождения, которые блокировали многочисленные должности. Знаменательно, впрочем, что и в таких случаях часто прибегали к практически полезным антисемитским лозунгам» (Eisler, 1991: 411). Несомненно также присутствие аксиологического измерения, ибо студенты высказывались по поводу свободы. Данный конфликт внес в общественную жизнь существенное изменение: в структурах власти упрочилась мочаровская фракция, а Польша потеряла многих выдающихся граждан. «Атмосфера погрома воцарилась среди значительной части интеллигенции, — пишет Рошковский, — у которой появилось парализующее убеждение, что за национальными и демократическими устремлениями может стоять полицейская провокация. Для большей части молодежи март 1968 года явился болезненным уроком тоталитаризма. Однако он дал этому поколению примеры политического опыта, а также легенду битвы — проигранной, но не завершенной, а может быть, даже начинающейся заново борьбы с коммунизмом» (Roszkowski, 1992: 292). И этот конфликт тоже не разрядился; пассивацией закончилась лишь его открытая стадия. Общественное спокойствие продолжалось, однако, недолго — всего лишь два года.

### *Декабрь 1970-го и конфликты 70-х годов*

13 декабря 1970 года, в воскресенье, в стране вступило в силу весьма резкое повышение цен на самые разные товары. На следующий день, в понедельник, несколько тысяч судостроителей с Гданьской верфи им. Ленина вышли на улицу. Толпа направилась к зданию воеводского комитета ПОРП, но оттуда к демонстрирующим рабочим никто не вышел. После обеда в столкновение с толпой демонстрантов вступили милицейские силы. Беспорядки продолжались вплоть до поздних ночных часов, а на утро следующего дня забастовка охватила уже многие из предприятий

Труймаста<sup>1</sup>. Горело здание воеводского комитета ПОРП, а в акцию вступила армия. 16 декабря волна забастовок и беспорядков захлестнула едва ли не всю Северную Польшу (Щецин, Эльблонг, Гдыню, Слупск). Импровизированные делегации, представлявшие взбунтовавшихся рабочих, были арестованы, а по демонстрантам открыли огонь. Убитых насчитывалось не меньше сорока одного, свыше тысячи человек были ранены, а более трех тысяч человек оказались задержанными (*Paczkowski*, 1995: 388, *passim*). Открытую стадию данного конфликта, непосредственно вызванную повышением цен, закончило применение силы. Таким образом, это был прежде всего конфликт на фоне противоречивых интересов. Следствием его открытой стадии явились перестановки на вершинах коммунистической власти (Гомулку на посту 1-го секретаря (ЦК) ПОРП сменил Эдвард Герек, партийный технократ из Силезии). Открытая стадия конфликта, хотя и становившаяся все более расчлененной, продолжалась вплоть до середины февраля 1971 года. «Лишь объявленная вечером 15 февраля отмена декабрьского повышения цен — с сохранением полученных повышений заработных плат и ассигнований на социальное обеспечение, а также с обещанием двухгодичного замораживания цен на продовольственные товары — окончательно успокоила настроения и положила конец продолжавшейся два месяца забастовочной волне» (*Paczkowski*, 1995: 398). И правда, успокоение настроений действительно наступило, но причины конфликта не были устранены. Поэтому и сам конфликт тоже продолжался в скрытой и распыленной стадии вплоть до 1976 года, когда в Радоме и Урсусе вновь наступила его открытая стадия (забастовки, а также уличные манифестации и беспорядки). И в этом случае предлогом для возобновления указанной стадии конфликта снова стало повышение цен. Открытая стадия данного конфликта была закончена — как обычно — применением силы, хотя на сей раз обошлось без смертельных жертв<sup>2</sup>. Однако позднее многих

---

<sup>1</sup> Таким словом (его можно перевести как «Троеград») в Польше часто называют крупную городскую агломерацию, в которую входят Гданьск, Гдыня и Сопот.

<sup>2</sup> 25 июня 1976 года в ходе уличных демонстраций в Радоме их участники сожгли здание воеводского комитета ПОРП и вели сражения с милицией, а в Урсусе манифестанты блокировали железную дорогу. Были арестованы тысячи людей, которых затем приговаривали к заключению и штрафам, а также увольняли с обычным в таких случаях волчьим билетом.

участников событий затронули репрессии (аресты, избиения на так называемых тропинках здоровья<sup>1</sup> и т.д.). Указанные события внесли существенное изменение в публичную жизнь: в рефлекторном порыве солидарности с рабочими, над которыми издевались и всячески третировали, в Варшаве, в сугубо интеллигентской среде, организовался Комитет защиты рабочих (польская аббревиатура KOR, или КОР), который предоставлял всем преследуемым юридическую и материальную помощь. Это была не единственная диссидентская группа — но лишь она начала вести среди самых обыкновенных людей, одиноких и беспомощных жертв системы, относительно широко задуманную деятельность по оказанию помощи и по их идейному обеспечению. На арене публичной жизни появился новый коллективный актер, организованный и никак не зависящий от структур коммунистического государства, — актер, деятельность которого нарушала логику системы и выходила за ее пределы, а следовательно, носила антисистемный характер. Характерной чертой этой деятельности стал сформулированный позже Яцеком Куронем, лидером КОРа, лозунг «Не жгите комитеты, организуйте свои собственные», который указывал на возможность идущего снизу построения организационной альтернативы для коммунистической системы. Возникли зачатки контрэлиты.

### *Польский Август и его последствия*

Социальный конфликт, который в 1980 году заполнил почти все пространство публичной жизни, вошел в историю под названием «Польский Август». То был первый конфликт, который в массовых масштабах поляризовал коммунистическую власть и общество и содержал в себе реальную трансформационную силу, а это означает, что в своих последствиях он привел к свержению коммунистической системы и ее замене новой системой. Все указанное произошло благодаря идущей снизу самоорганизации, которая сгенерировала мощного коллективного актора, иными словами «Солидарность». Эта организация была одновременно

---

<sup>1</sup> Пресловутыми тропинками здоровья в Польше иронически называли двойные шеренги спецназовцев, которые избивали (обычно милицескими дубинками) прогоняемых между ними манифестантов; особенно широко они практиковались в ходе и после событий в Радоме.

профсоюзом (который впервые в коммунистической стране был автономным от властей), общественным движением, гражданской инициативой, а также патриотической организацией. Все названные общественные силы нашли один вектор в виде «Солидарности», которая явилась организационной альтернативой для коммунистической системы. Если рассматривать все случившееся в историческом разрезе, то и на сей раз предлогом для вспышки открытой стадии конфликта явилось повышение цен на мясо, введенное 1 июля 1980 года. Сразу же после объявления об увеличении цен по стране прокатилась забастовочная волна, особенно сильной она была в Люблинском воеводстве. Правда, в данном регионе срочные уступки властей по вопросу зарплат погасили забастовки, но их подхватили работники промышленных предприятий других регионов. «На исходе июля остановили работу заводы и фабрики во Вроцлаве, Свиднице, Острове-Велькопольском, Сталёвой-Воле, Познани и других городах. В самом конце месяца забастовал порт в Гдыне, а в первых числах августа новым забастовочным центром стала Лодзь. Власти по-прежнему делали уступки в вопросах оплаты труда, что лишь способствовало расширению забастовок» (Roszkowski, 1992: 360). До этого момента все забастовки носили чисто экономический, «зарплатный» характер, а конфликт легко поддавался интерпретированию в категориях противоречия экономических интересов. Когда, однако, 14 августа начала забастовку Гданьская судоверфь, ситуация изменилась, причем довольно-таки радикально. Прежде всего, непосредственным предлогом для забастовки на указанной верфи послужило требование восстановить на работе крановщицу Анну Валентынович и электрика Леха Валенсу, которых вышвырнули с верфи за диссидентскую деятельность. В этот момент здесь впервые появились требования о создании независимых профсоюзов, избавленных от политической опеки со стороны коммунистического государства.

Было сформулировано 21 требование, которые со временем стали легендой свободной Польши и удостоились внесения в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Среди указанных требований были, правда, и вопросы, связанные с заработной платой, но вскоре они перестали быть важными, поскольку на передний план вышли главные, политические требования: свободные профсоюзы, свобода слова и публикаций, освобождение из тюрем политических заключенных, доступ к информации о состоянии страны и ее экономики, а также предоставление права



на забастовку. Данный конфликт полностью изменил свою природу. В его генеральной, дихотомической природе одной из сторон стала коммунистическая власть, а второй — общество, представляемое бастующими трудовыми коллективами предприятий. В рамках этой общей дихотомии поляризовались, по существу, все разновидности конфликтов, выделенные ранее в нашей типологии. Таким образом, конфликт между «Солидарностью» и коммунистической властью носил, в частности, аксиологический характер (стороны решительно расходились в том, какие ценности должны доминировать в публичной жизни). Это был также конфликт интересов, поскольку власть хотела обязательно удерживать и сохранить свои привилегии, тогда как «Солидарность» представляла интересы людей труда. Правила системной игры тоже оспаривались «Солидарностью» (в частности, само существование независимого самоуправляемого профсоюза «Солидарность» ставило под сомнение упомянутые правила игры прежней системы, не говоря уже о требованиях открыть публичное пространство для свободного дискурса и для свободной, автономной институционализации разнообразных общественных сил). Тем временем власть желала в любом случае сохранить существовавшие до сих пор правила игры. Стороны данного конфликта обращались к совершенно разным общественным идентичностям: «Солидарность» — к национальным и религиозным идентичностям, власть — к идентичностям социалистическим и интернационалистическим. Помимо этого с самого начала существования «Солидарности» мы имели также дело с конфликтом двух сильно различающихся версий исторической памяти, особенно во всем, что касалось Второй мировой войны (Катынь, Армия Крайова<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Армия Крайова (АК) — конспиративная военная организация, действовавшая во время Второй мировой войны на территории Польши (в ее границах до 1 сентября 1939 года) и подчинявшаяся эмигрантскому правительству страны, которое располагалось в Лондоне. АК активно боролась с немецкими оккупантами и с польскими коллаборационистами, а также вела борьбу с советскими партизанами на территориях, вошедших после 17 октября 1939 года в состав СССР. С 1944—1945 годов разрозненные, хотя и организованные остатки АК пытались вести борьбу с советскими войсками, освободившими Польшу, а затем и с новыми, просоветскими властями страны. После войны многие тысячи бывших бойцов АК были репрессированы, в том числе расстреляны, и лишь в середине 1950-х годов выживших стали выпускать из тюрем

Варшавское восстание<sup>1</sup>, 17 сентября 1939 года и т.д.). Этот конфликт оброс обширной литературой — социологической, политологической и даже философской. Здесь не место для реконструирования всех предложенных исследователями существенных положений или теоретических интерпретационных моделей. Читателей, которые глубже интересуются данной проблематикой, я отсылаю к литературе по предмету (это, в частности, *Koralewicz, Bialecki, Watson, 1987; Staniszkis, 1991; Adamski, 1982; Tischner, 1992a; Touraine, 1982; Adamski, Rychard, Wnuk-Lipiński, 1991; Adamski, 1996; Staniszkis, 1984; Krzeмиński, Bakuniak, Banaszak, Kruczowska, 1983; Adamski, Pańków, Rychard, Sainsaulieu, 1988*).

После введения военного положения 13 декабря 1981 года команде генерала Ярузельского, невзирая на репрессии и смертельные жертвы, не удалось закончить открытую стадию конфликта. В разных формах, а прежде всего в форме подпольной активности (издательства, деятельность по самопомощи, разнородные независимые гражданские инициативы), конфликт продолжался, хотя число его участников значительно сократилось ввиду опасений перед репрессиями. Создалась патовая ситуация: власти военного положения, правда, восстановили контроль над значительными территориями публичной жизни, но

---

и реабилитировать. АК и сразу после войны, и много лет спустя противопоставлялась другой военной организации, боровшейся с немцами на территории Польши, — Армии Людовой, которая возникла позже АК по инициативе и под эгидой СССР.

<sup>1</sup> Варшавское восстание 1944 года (которое не следует пугать с восстанием в варшавском гетто весной 1943 года) организовала и проводила АК по указанию эмигрантского правительства из Лондона, стремившегося взять Варшаву под свой контроль раньше, чем это сделают советские войска. Восстание началось 1 августа 1944 года в момент, когда к правому берегу Вислы напротив основной, левобережной части Варшавы подошла Красная армия (после этого она на несколько месяцев остановила свое продвижение и, по существу, никак не вмешивалась в ход событий на другом берегу). Восстание, длившееся 63 дня, было жестоко разгромлено немцами. В Варшаве погибло 150–200 тыс. человек, еще примерно столько же ее жителей немцы выселили и вывезли в концлагеря, а примерно 70% территории города оказалось полностью разрушенной (в том числе планомерно сожженная ранее немцами территория гетто). Выжившие варшавские повстанцы по условиям капитуляции были отправлены в германские лагеря для военнопленных, где многим из них, к счастью, удалось выжить.

не восстановили гражданского повиновения. Не удалась и попытка кооптационного решения конфликта, так как никто из существенных лидеров «Солидарности» не согласился на кооптацию во власть. «Солидарность», ослабленная репрессиями, эмиграцией многих активистов и демобилизацией значительной части ее членов, была не в состоянии вернуть себе инициативу. Тулик смогли преодолеть лишь переговоры Круглого стола (1989 год), вследствие которых была обеспечена разрядка данного конфликта по корпоративным правилам. Одновременно динамика указанных переговоров, а особенно повторная легализация «Солидарности» запустила в ход те общественные и политические процессы, которые открыли дорогу к возникновению III Речи Посполитой.

### *Конфликты в III Речи Посполитой*

Возникновение III РП означало, правда, окончание затяжного конфликта 80-х годов, но открыло публичное пространство для свободной артикуляции требований и притязаний самых разных социальных групп, а также для свободной институционализации коллективных акторов, являющихся носителями этих требований. Вместе с тем глубокие реформы правовой системы означали также системное изменение тех правил игры, которые регулируют протекание конфликтов и процедуры их разрешения. Именно поэтому в III РП решительное большинство конфликтов носит регулируемый характер, а среди способов их разрядки доминируют две модели: демократическая и корпоративная. Демократическая модель относится к конфликтам на фоне доступа к власти, тогда как корпоративная модель — к конфликтам на фоне противоречивых интересов. Институциональной иллюстрацией демократической модели является парламент, тогда как корпоративной модели — так называемая Трехсторонняя комиссия (по социально-экономическим вопросам), где происходят коллективные переговоры между работодателями, работающими и демократическим государством. Конфликты в III РП типичны для либерально-демократической системы и рыночной экономики: как правило, они носят открытый характер, их протекание в значительной мере урегулировано, а их природа, в принципе, является внутрисистемной. На нашей политической сцене единственное исключение представляет собой деятельность партии

«Самооборона», которая опротестовывает некоторые системные правила и в этом смысле может интерпретироваться как антисистемный фактор<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В этой крестьянской партии на момент написания данной книги более всего был известен ее лидер Анджей Леппер (1954–2011) – популист, крикун и демагог, завоевавший популярность благодаря организованным им скандальным акциям гражданского неповиновения и радикальным, зачастую необузданным высказываниям в адрес своих оппонентов. Невзирая на все это, партия «Право и справедливость» (ПиС) после своей победы на выборах пригласила партию Леппера в состав правящей коалиции, сам он был заместителем премьера Ярослава Качиньского и министром сельского хозяйства в правительстве ПиС, а, затем, после поражения ПиС на выборах, вместе со своей партией «Самооборона» канул в политическое небытие. В середине 2011 года А. Леппер покончил с собой.

# ГЛАВА 11

## МАРГИНАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

### Введение

Проблема маргинализации и социального исключения представляет собой один из самых важных моральных вопросов — но и политических тоже. Социальное исключение и маргинализацию трудно примирить с чувством справедливости (как бы мы ее ни определяли), а диапазон воздействия данного явления небезразличен для политической культуры, а также для жизнеспособности гражданского общества и в целом — для формы публичной жизни в любом обществе. Чем большая часть общества затрагивается данной проблемой, тем, вообще говоря, ниже его политическая культура и одновременно тем слабее там гражданское общество. И это вовсе не тот вопрос, который охватывает исключительно бедные страны или же страны, проходящие через радикальное общественное изменение (как Польша), — он касается также обществ во вполне обеспеченных и безбедных странах (*Sen, 1992: 114; Faux, Mishel, 2000*).

Как маргинализация, так и социальное исключение — это термины для обозначения ситуации, которая описывается и в популярной публицистике, и в академических работах. Поэтому нет ничего странного в том, что они понимаются по-разному, хотя у этих дифференцированных вариантов понимания имеется бесспорный общий знаменатель: оба указанных явления оцениваются негативно. Например, Мария Ярош считает, «что именно бедность предreshает наличие социального исключения». И далее она выделяет три типа социального исключения: «структурное исключение, которое предопределяется местом жительства и наличием доходов ниже границы бедности; физическое исключение, которое предопределяется возрастом, ограниченными возможностями (инвалидность), а также в некоторой степени — образованием отца; наконец, нормативное исключение, которое

вызывается алкоголизмом, наркотиками, конфликтами с правом, одиночеством, пребыванием жертвой дискриминации (независимо от ее причины)» (Jarosz, 2004a: 158). В целом разделяя ее оценку, что маргинализация и социальное исключение, в общем, предопределяются бедностью, я предприму, однако, попытку представить данное явление несколько по-иному.

Начну с уточнения понятий, а особенно с проведения различия между маргинализацией и социальным исключением. Однако уже сразу можно сказать, что, хотя данные понятия действительно означают явления, которые сильно коррелируют между собой, они все-таки не тождественны. Явления, о которых здесь ведется речь, распространяются на многие области публичной жизни. Постараемся идентифицировать их и описать типичные для них проявления как исключения, так и маргинализации.

Разбирательство и диагностирование данного явления позволяют перейти к обсуждению вопроса о его причинах. Предварительно указанные причины можно разделить на **системные, структурные, культурные и индивидуальные**. Займемся ими по порядку.

После падения коммунизма системная трансформация во всех странах, вышедших из этой системы, создала социальную категорию, определяемую социологами как «структурные жертвы трансформации», или как проигравшие. В этой связи есть смысл задуматься, до какой степени концепции маргинализации и социального исключения являются полезными аналитическими категориями по отношению к структурным жертвам реформы. Если бы оказалось, что они верно описывают социальную реальность после радикального системного изменения, это бы означало, что посткоммунистическая трансформация может трактоваться в качестве одной из «системных» причин маргинализации и социального исключения. Мы займемся также проблемой последствий для публичной жизни определенного общества того факта, что в нем существуют категории исключенных и маргинализированных лиц. Утверждение, что весомость указанных последствий зависит в первую очередь от размеров этой категории исключенных, не является особенно оригинальным и открывает мало что нового, но оно обращает внимание на необходимость предпослать анализу последствий хотя бы приближенную оценку социального диапазона воздействия таких явлений, как маргинализация и исключение.

## Концепции и определения: маргинализация и исключение

Как я уже упоминал, маргинализация и исключение — это не взаимозаменяемые понятия, хотя иногда их трактуют именно так. Понятие маргинализации касается скорее размещения индивида на периферии существенных течений публичной жизни, тогда как исключение является более острым, резким термином и означает полное отсутствие у него возможности участвовать в вышеупомянутых существенных течениях публичной жизни. К существенным течениям, или измерениям, публичной жизни мы относим такие, которые в соответствии с культурными критериями, доминирующими в данном обществе, играют решающую роль для достижения жизненного благополучия или даже подлинного успеха. В качестве возможных иллюстраций пусть нам послужит уровень дохода, наличие работы (занятость), образование, профессиональная квалификация, возможность брать слово и высказывать свое мнение по публичным вопросам, касающимся как локального сообщества, как и всего общества в целом, состояние здоровья и доступ к системе здравоохранения, а также к другим социальным услугам или даже возможность профессионального, цивилизационного либо материального роста.

Как маргинализация, так и исключение означают явления, которые характеризуются сильной взаимной положительной корреляцией; те индивиды, ситуацию которых мы бы описали в категориях социального исключения, по определению находятся на обочине самых разнообразных измерений публичной жизни и являются маргиналами; с другой стороны, лица, принадлежащие к маргиналам, отнюдь не обязательно должны находиться в ситуации социального исключения — они могут участвовать во всех существенных измерениях социальной жизни, хотя и в степени, которая пропорционально гораздо ниже, нежели у остального общества. Таким образом, мы видим, что понятие маргинализации шире, чем понятие исключения.

Применение одного лишь критерия участия ведет нас к слишком широкому определению, поскольку оно бы охватывало также тех лиц, которые сознательно и в силу собственного решения не хотят участвовать в коллективной жизни. Например, отшельников, затворников или анахоретов трудно признать исключенными, хотя, по правде говоря, в нынешние времена их значительно

меньше, чем бывало прежде. Более наглядным примером могут послужить члены какой-нибудь секты, отвергающие участие как в политической жизни, так и на рынке труда, или же радикальные хиппи, которые в 60–70-х годах XX века создавали коммуны, живущие на обочине основного течения социальной жизни.

Следовательно, наше определение необходимо сузить, введя для этого возможность проводить различие между социальным исключением и самостоятельным решением об уходе с тех территорий социальной жизни, которые повсеместно признаются важными для благополучия и процветания индивида. Ведь встречаются такие люди, которые не хотят участвовать в политической или экономической жизни по той причине, что они или не признают эти области существенными для собственного благополучия, или же совсем иначе, чем остальное общество, определяют то, что привычно признается удачной и обеспеченной жизнью. Следовательно, в определении нам надо ввести элемент воли и индивидуальных предпочтений, касающихся жизненных целей и стиля жизни. Но и это может оказаться недостаточным, на что обращает внимание Вольф (Wolfe, 1995: 81). Он критически относится к ооновскому определению, в соответствии с которым исключение означает лишение каких-то групп контроля над факторами, влияющими на их жизнь и на их место в обществе, ибо исключенные — это, по его мнению, люди, вытолкнутые или выманенные из предшествующих форм существования и включенные — на условиях эксплуатации, неуверенности и обнищания — в такие стили жизни, которые являются функциональными для более общего процесса развития. Правда, указанное определение относится прежде всего к странам третьего мира и охватывает крестьян, вытесненных с земельных угодий, жителей трущоб в больших городах или же людей, покидающих африканские племена и заселяющих гетто нищеты в составе крупных городских агломераций. К этому наблюдению мы вернемся, когда станем обсуждать явление исключения в категориях побочного продукта системной трансформации.

Говоря самым общим образом, исключенные лица — это те люди, которые **хотят участвовать** в главном течении общественной жизни и в распределении национального дохода, но не знают, как это сделать, или же на пути к их участию стоят препятствия, которые они сами не в состоянии преодолеть. Тем временем маргинализированные — это такие люди, которые иногда участвуют в общественной жизни, а иногда нет, и, если взять более длительный



период, их эпизодическое участие **не преобразуется** — без помощи **извне** — в относительно устойчивое участие в существенных течениях публичной жизни. Маргинализация понимается здесь в соответствии со значением, предложенным Пахольским и Слабонем, которые определяют данное понятие как «процесс потери социальной значимости или влияния на ход событий; перемещение из центрального положения в периферийное. Маргинализация может принимать форму деградации, пауперизации или добровольного бегства» (*Pacholski, Staboni, 1997: 96*).

Исключение, таким образом, представляет собой более крайний и серьезный случай, нежели маргинализация, хотя и явление маргинализации тоже относится к числу трудных социальных проблем, в разрешение которых должна быть вовлечена или та сфера гражданского общества, которая занимается помощью нуждающимся, или государство, или же оба указанных фактора совокупно.

Маршалл Вольф (*Wolfe, 1995*) выделяет шесть измерений, в рамках которых удастся наблюдать явление социального исключения в сегодняшнем мире.

### 1. Исключение из приемлемого уровня существования.

Правда, сам Вольф (*Wolfe, 1995: 84*) относит этот тип исключения главным образом к мигрантам из сельских местностей в города, которые свое относительно стабильное деревенское существование заменяют прозябанием на периферии городов, на городских окраинах, но мы можем эту разновидность исключения определить несколько иначе. Исключение из приемлемого существования может наступить также в случаях потери работы, смены правил игры в результате радикального системного изменения (как это имело место в странах, выходящих из коммунизма) или потери здоровья (например, вследствие несчастного случая). Тем самым нет никакой необходимости перемещаться из одной среды в другую. Данное явление может также иметь место, когда изменению подвергается социальный контекст (вместе с действующими в нем обязательными правилами игры), с чем индивид не в состоянии справиться. Стоит обратить внимание на некоторую многозначность и расплывчатость определения «приемлемое существование», поскольку оно может означать некий абсолютный уровень, позволяющий на определенной географической широте всего только выжить, но может также пониматься относительным образом. В этом последнем случае приемлемое существование соотносят с тем уровнем

жизни, который является «нормальным» или преобладающим среди данного класса либо совокупности людей<sup>1</sup>.

**2. Исключение из социальных пособий, опеки со стороны государства и системы социального обеспечения.** Развитие опекающего государства всеобщего благосостояния принесло с собой побочный эффект в виде роста общественных ожиданий, связанных с коллективными пособиями, а также с социальным обеспечением. Этот рост ожиданий произошел как в богатых странах, так и в бедных, для которых страны первой группы играли роль своеобразной точки отсчета, откуда они черпали для себя образцы. Расчет на государственные пособия раньше или позже порождает такой эффект, как возникновение зависимости от них, и часто ведет к синдрому жизненных установок, известному в социальной психологии как «приобретенная беспомощность» (Marody, 1987). В этой ситуации срыв или провал системы социальных пособий, ограничение их размера, а также ухудшение доступности исключает из сферы пользования ими какие-то сегменты общества, которые уже успели сделаться зависимыми от них и на этой зависимости строили свое существование.

**3. Исключение из потребительской культуры.** «Во всем мире, — пишет Вольф, — людей сегодня бомбардируют информацией на тему дифференцирующихся и постоянно меняющихся стереотипов потребления. Эти нормы интернализуются в степени, неизвестной еще несколько десятилетий назад, когда „революция растущих ожиданий“ стала модным клише, и вместе с тем они устанавливают стандарт, который для большинства оказывается недостижимым» (Wolfe, 1995: 90). Наблюдение Вольфа обращает наше внимание не только на тех, кто не в состоянии удовлетворить даже самые элементарные жизненные потребности (их ситуация — самая трудная в категориях абсолютных деприваций), но также на таких людей, которые исключены из стандарта существования, доминирующего в данном обществе, и не участвуют в потреблении плодов экономического роста или цивилизационного развития.

**4. Исключение из политического выбора.** Наиболее очевидная разновидность исключения данного типа — это жизнь (скорее, существование) в рамках недемократической системы (подробнее речь об этом пойдет в дальнейшей части данной главы). Одна-

---

<sup>1</sup> В английском оригинале использована формулировка *earning a livelihood* — зарабатывание средств к жизни (пропитания).

ко даже в демократических системах, а тем более в полудемократических подобное исключение появляется в тех случаях, когда определенный сегмент общества не участвует в реализации политического выбора (хотя формально имеет на него право), поскольку совершение соответствующего действия превышает его гражданские компетенции или же — по убеждению отдельных индивидов — лишено всякого смысла и не имеет ни малейшего значения. В этом последнем случае термин «исключение» представляется слишком категоричным, ибо формально мы имеем здесь дело с «самоисключением».

**5. Исключение из сети гражданских организаций и из общественной солидарности.** В связи с мерами по реструктуризации рабочих мест, вынуждаемыми растущей конкуренцией и технологическим прогрессом, в связи с безработицей, распадом традиционных локальных сообществ, а также с миграциями ради большего заработка в мире возрастает численность лиц, исключенных из поддержки со стороны соседских сообществ, профсоюзов, кооперативов, групп самопомощи и т.д. Исключение из организаций этого типа лишает отдельные социальные сегменты общественной солидарности на местном уровне. Как отмечает Вольф, «по мере ослабления других источников поддержки все важнее становится религиозный и этнический фундамент общественной солидарности» (Wolfe, 1995: 94).

**6. Исключение из понимания того, что происходит<sup>1</sup>.** «Люди из всех классов и кругов, — пишет Вольф, — в некотором смысле лишены возможности улавливать импликации (скрытый смысл; значимость) происходящих изменений в науке, технологии, экономике, политике, культуре, демографии, в естественной среде сегодняшнего мира, но вместе с тем они в своей повседневной жизни испытывают последствия этих изменений, а телевидение, равно как и другие источники информации (не исключая сплетен и слухов), бомбардируют их сведениями, интерпретациями и предостережениями, которые тем или иным образом касаются их. <...> Общества испытывают переходы от социальных взаимоотношений, организованных вокруг трудовой деятельности, к социальным взаимоотношениям, основанным на способах получения информации. Неспособность пользоваться компьютером

---

<sup>1</sup> В английском оригинале есть уточнение: «...что происходит с обществом и с самим собой».

становится формой исключения» (Wolfe, 1995: 94). Эта цитата обнажает то пространство исключения, которое существенно именно сегодня, на заре XXI века и, вероятно, станет значительно существеннее в будущем, а именно исключения из правильного и своевременного получения, изучения и освоения информации, становящейся все более значимым фактором, который предreshает, насколько удачно либо неудачно сложится жизнь.

Обсужденные здесь измерения исключения и маргинализации присутствуют в мировой научной литературе на данную тему, и поэтому я о них вспоминаю. Однако типологию Вольфа можно подвергнуть критике, поскольку в его трактовке социальное исключение теряет свою жесткую остроту и резкость; получается, что, в принципе, всякую сколько-нибудь серьезную проблему адаптации к меняющемуся общественному контексту или всякую социальную деградацию можно интерпретировать в категориях исключения. В таком случае социально исключенным оказался бы как президент крупной американской корпорации, потерявший работу и вынужденный жить на собственные сбережения, так и обитатель кварталов нищеты в Кейптауне, который влачит жалкое существование в будке, сколоченной из картона и жести, и не знает, найдет ли он пропитание на следующий день. Исключенным оказался бы как тот, кто не умеет пользоваться компьютером, так и тот, кто не умеет писать и читать, или же, скажем, некто такой, кому не по карману одеваться в соответствии с нормами того социального статуса, к которому он тянется, и в связи с этим он отказывается от посещений разных тусовок и светских компаний, равно как и тот, кому недоступна покупка для себя самых дешевых туфель; тот, кто испытывает ощущение непонимания происходящего в мире, и наряду с ним тот, кому не очень известно о самом существовании какого-то другого мира. Таким образом, мы видим, что в подобной трактовке категория социально исключенных становится очень дифференцированной внутренне, — пожалуй, настолько сильно, что она вообще теряет смысл. А если это так, то нужно задуматься над совсем иной трактовкой, которая сохранит аналитический смысл категории исключения и позволит пользоваться ею значимым способом.

Как уже я упомянул, маргинализация означает расположение индивида на периферии некоего существенного измерения публичной жизни, тогда как исключение является не зависящим

от воли данного индивида отсутствием у него возможности участвовать в указанных измерениях коллективной жизни. В главе 9 мы выделили четыре пространства (измерения) публичной жизни, в которых действуют коллективные и индивидуальные акторы публичной сцены, поскольку участие в этих измерениях играет решающую роль для существенных аспектов социальной позиции человека, для его шансов на удачную жизнь, а также позволяет придать смысл как собственному существованию, так и тому социальному окружению, в котором это существование имеет место. Стоит поэтому напомнить, что мы выделили ранее следующие пространства публичной жизни: 1) экономическое; 2) гражданское; 3) аксиологическое; 4) политическое. С маргинализацией и социальным исключением мы можем иметь дело в каждом из названных пространств. Обычно отдельные разновидности исключения кумулируются, образуя синдром бедности (*Frieske*, 1999; *Tarkowska*, 2000). Это означает, другими словами, что, например, исключение из участия в экономическом пространстве с большой вероятностью наблюдается совместно с исключением из участия в остальных пространствах публичной жизни. И хотя кумуляция исключения и маргинализации наблюдается не всегда (например, известны случаи такой самоорганизации бездомных или безработных, которая предоставляет им возможность вхождения в гражданское пространство и даже в аксиологическое и политическое), она, однако, возникает настолько часто, что мы можем трактовать ее как социальную закономерность.

Говоря самым общим образом, исключение из участия в экономическом пространстве означает относительно постоянное отсутствие материальных средств существования на уровне, признанном в данном обществе и на данной географической широте в качестве биологического минимума, а возможность выживания опирается на срочное, со дня на день доставание каких-то средств пропитания и проживания из самых разнообразных источников (легальных и нелегальных). Биологический минимум, называемый иногда «прожиточным минимумом», — это порог, ниже которого существует реальная проблема угрозы для физического и психического здоровья, а также даже для жизни человека.

В то же время маргинализация относится к той категории лиц, которые находятся ниже черты бедности. Черту бедности не следует отождествлять с категорией социального минимума. Черта бедности представляет собой нормативный порог, обязывающий

систему социальной опеки определенного государства предоставлять помощь, пособие или услуги. Таким образом, порог, ниже которого простирается бедность, — это вопрос конвенции (условной договоренности); ведь уровень, который в зажиточных странах определяется как порог бедности, в отсталых странах может характеризоваться в качестве обеспеченной жизни. Определения уровня бедности в отдельных странах модифицируются, определяясь совокупной зажиточностью всего общества. Но ведь не все бедные люди могут трактоваться как исключенные из экономики (так случается в тех ситуациях, когда мы имеем дело с лицами, которые не хотят браться ни за какую работу), а с другой стороны, не все исключенные люди непременно должны быть бедными (например, лицо с ограниченными физическими или умственными возможностями, иначе говоря инвалид, в индивидуальном измерении оказывается исключенным из экономической активности, но если такой человек живет в семье, располагающей высокими доходами, то его нельзя классифицировать как бедного). Тем не менее пространства бедности или даже нищеты очень сильно пересекаются с социальными пространствами исключения из экономики.

В отличие от биологического минимума или от уровня бедности социальный минимум — это условное понятие, означающее установленную экспертами «корзину» благ и услуг, необходимую человеку (или домашнему хозяйству, членом которого тот является), чтобы иметь возможность удовлетворить свои бытовые потребности на уровне, признанном в данном обществе в качестве минимального порога пристойной жизни.

Если биологический минимум вытекает из устройства человеческого организма и из его физиологических потребностей, а черта бедности указывает адресатов социальной помощи, то социальный минимум представляет собой нормативное мерило, которое информирует о числе лиц, испытывающих те или иные трудности с нормальным функционированием в обществе ввиду недостаточности имеющихся у них средств существования. Куровский определяет социальный минимум следующим образом: «Это социальный показатель, измеряющий затраты на содержание домашнего хозяйства. Он представляет собой нормативную модель удовлетворения бытовых и потребительских нужд на уровне, который является низким, но еще достаточным для репродукции витальных сил человека, для наличия и воспитания потомства, а также для поддержания связи с обществом. Принимая во внимание последний

из упомянутых факторов – требование о поддержании социальных связей с обществом, – в корзине социального минимума находятся не только блага, служащие для удовлетворения экзистенциальных жизненных потребностей (пища, одежда и обувь, жилище, здравоохранение). В ней учтены также расходы на то, что сегодня можно бы назвать **социальной интеграцией**. Это затраты на местный транспорт и связь (вызванные, в частности, поездками на работу), расходы на обучение и воспитание детей, расходы на поддержание минимума семейных связей и контактов дружеского и иного социального общения, а также затраты на скромное участие в культуре» (*Kurowski, 2005: 1*).

Как показывают аналитические материалы Института труда и социальных вопросов, за последнее десятилетие в Польше количество лиц, находящихся ниже порога биологического минимума, равно как и количество лиц, находящихся ниже уровня социального минимума, возрастало. Если в 1994 году лица, пребывающие ниже черты биологического минимума, составляли 6,4% общего населения, а в 1996 году – даже 4,6%, то в 2003 году доля их участия выросла до примерно 12%. В 1994 году ниже социального минимума оказалось 48% населения, тогда как в 2003 году – уже почти 60% (*Ibid.: 2*). Ниже уровня бедности в Польше находилось 18,4% населения, в то время как в Чехии аналогичный показатель составлял 0,8%, в Словакии – 8,6%, а в Венгрии – 15,4% (*Gilejko, 2005: 189*). Представленные здесь данные служат подтверждением тезиса о прогрессирующей пауперизации некоторых сегментов польского общества – пауперизации, более глубокой, нежели в других странах вышеградской группы. Территория экономического исключения и маргинализации увеличивается, и это многолетняя тенденция.

Исключение из участия в экономическом пространстве ведет к нищете, тогда как маргинализация – к бедности. Как пишет Тарковская, «драматизм современной бедности не всегда заключается в том, что она угрожает здоровью и жизни, как это бывало в прошлом, а часто скорее в опасности ее закрепления и передачи следующим поколениям, иначе говоря – попросту наследования ситуации экономической нужды и сопутствующих ей негативных явлений» (*Tarkowska, 2000: 16*).

Применительно к гражданскому пространству публичной жизни исключение означает отсутствие не только связи, но даже минимального контакта с организациями гражданского общества

(в том числе также с организациями, ориентированными на оказание помощи), тогда как маргинализация означает долговременное отсутствие гражданской активности, уже не вспоминая о членстве в институтах гражданского общества. Расширение указанных явлений в гражданской сфере ведет к социальной апатии, к концентрации на разовых, сиюминутных способах справляться с жизненными трудностями, а также к алиенации (отчуждению) от гражданского общества.

В политическом пространстве публичной жизни также можно зафиксировать явления исключения и маргинализации, хотя в данном случае — точно так же, впрочем, как и в гражданском пространстве, — в недемократических системах исключение способно принимать массовые масштабы. 1989 год и падение коммунизма ликвидировало в странах Центральной и Восточной Европы (в том числе также в Польше) системные барьеры для свободного участия граждан в политике. Если в предыдущей системе социальное исключение из политики носило почти всеобщий характер, ибо политическая сфера была зарезервирована только для действий, одобряющих идеологические и прагматические каноны общества советского типа, то после падения указанной системы казалось, что явление исключения из политики перестало быть проблемой. Ведь либеральная демократия по определению является открытой и инклюзивной системой, способной абсорбировать (впитать) почти каждую, иногда даже причудливую форму гражданской экспрессии. Означает ли это, что сегодня, после многих лет функционирования и укрепления демократической политической системы, мы можем сказать, что в польской политике не существует проблемы социального исключения и маргинализации? Такой вывод был бы, вероятно, слишком оптимистическим. Да, это верно, что формально ни один гражданин не исключен из политического пространства публичной жизни (разве что он не имеет формального статуса гражданина нашего государства, но такова норма, повсеместно принятая во всех демократических государствах). Однако политическая маргинализация все же присутствует, хотя ее размеры трудно оценить сколько-нибудь точно. Ее проявления состоят не в самом отсутствии людей на выборах или в отсутствии их гражданской активности в политических организациях. Дело в том, что этот тип пассивности может быть обусловлен очень разными причинами, и политическая маргинализация является всего лишь одной из них. Можно не участвовать в выборах,



например, протестуя против всего политического истеблишмента, а можно еще и потому, что человек доволен правительством, создаваемым теми партиями, которые долгое время доминируют на политической сцене (демобилизация по причине успеха). Существует, однако, определенная категория граждан, которые устойчиво не участвуют в политике просто потому, что это участие превышает их когнитивные (познавательные) компетенции (*Baker, 2002; Felis, 2002*). Именно таких людей мы были бы склонны характеризовать как политически маргинализированных, или – употребляя терминологию Вольфа – исключенных из возможности политического выбора.

Маргинализация в аксиологическом пространстве означает отсутствие интереса к аксиологическому дискурсу, ведущемуся в этом пространстве, а в случае исключения из данного пространства мы имеем дело с отсутствием интернализации моральных норм, доминирующих в культуре данного общества, и вследствие этого с трудностями, которые возникают при необходимости различать добро и зло как в социальном окружении, так и в собственном поведении.

### Причины маргинализации и исключения

Можно выделить как минимум четыре класса причин маргинализации и социального исключения:

- 1) **системные**, которые возникают в тех случаях, когда основные правила игры определенной системы – ввиду самой своей логики – создают в каком-либо из выделенных пространств публичной жизни категорию маргинализированных и исключенных;
- 2) **структурные**, когда недостаточная или нулевая приспособленность социальной структуры к запросам и потребностям рынка исключает отдельные категории людей (чаще всего – из участия в экономическом пространстве публичной жизни);
- 3) **культурные**, которые появляются в тех случаях, когда дефицит культурного капитала у отдельных сегментов общества исключает их из публичной жизни;
- 4) **индивидуальные**, когда неудачные или неверные индивидуальные решения, ограниченность физических или умственных возможностей, несчастные случаи или саморазрушение

из-за какой-нибудь дурной привычки (пьянства, наркомании) исключают такого индивида из участия в публичной жизни или выталкивают на ее обочину.

В экономическом пространстве к системным причинам маргинализации и исключения можно отнести безработицу. Ведь безработица является следствием системных правил рыночной экономики, а исключение из рынка труда — особенно если оно носит долговременный характер — ведет к экономической деградации. Стоит напомнить, что в системе распорядительно-распределительной экономики тоже существовали системные правила, следствием которых была экономическая маргинализация или даже исключение, — прежде всего в результате политических действий (коллективизации деревни, лишения крестьян и других землевладельцев их собственности, травли частной торговли и предпринимательства и т. д.). Хотя формальной безработицы не было, однако существовала скрытая безработица (особенно в деревне), а также занятость без наличия осмысленной работы (излишняя, гипертрофированная занятость, так называемые раздутые штаты), что привело к падению самого этоса труда (*Tischner, 1992b: 70, passim*).

Таким образом, в рыночной экономике некоторый уровень безработицы представляет собой следствие системных правил. Серьезная социальная проблема появляется в том случае, когда из рынка труда исключается обширный сегмент общества и когда вдобавок к этому масштабная безработица носит хронический характер. В подобной ситуации появляющаяся в результате экономическая деградация ведет к заколдованному кругу бедности, из которого индивиды не в состоянии вырваться без помощи извне. Мечислав Кабай (*Kabaj, 2005: 235, passim*) сформулировал несколько характерных свойств польской безработицы. Во-первых, на тот момент она являлась самой высокой из всех тридцати стран, принадлежавших к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Во-вторых, она очень дифференцирована в территориальном смысле: есть места с относительно низким уровнем безработицы (большие города во главе с Варшавой, где в последние годы на сто работающих приходилось шесть безработных) и, напротив, северные и восточные регионы, с Голдапским поветом во главе, где на сто работающих приходилось семьдесят пять безработных (*Ibid.: 237–238*). В-третьих, польская безработица носит, в общем, долговременный характер. «Долгов-

ременная безработица, — пишет Кабай, — представляет собой одну из самых крупных социальных проблем современного капитализма. С безработицей такого рода мы имеем дело в тех случаях, когда безработные остаются таковыми дольше, чем 12 месяцев. В конце 2003 года количество длительно безработных составляло в Польше 1 667 000 чел., что означает 52,5% общей численности лиц, зарегистрированных в органах занятости и трудоустройства» (Кабай, 2005: 238). В-четвертых, данное явление отличается большим уровнем безработицы среди молодежи — самым высоким среди всех стран ОЭСР. В-пятых, относительно мало безработных получают пособия из Фонда труда, и их число все время уменьшается.

Со структурными причинами исключения из экономического пространства мы имеем дело в тех случаях, когда локальная социальная структура не отвечает потребностям местного рынка труда, или же в таких ситуациях, когда на этом локальном рынке труда доминировала немногочисленная группа работодателей, которые закончили или ограничили свою деятельность на данной территории (вследствие банкротства, перенесения деятельности в другое место, реструктуризации или из-за падения спроса на производимые ими изделия либо на предоставляемые услуги).

Культурные причины исключения из экономического пространства проявляются в тех случаях, когда мизерные умения и навыки индивида не дают ему шансов включиться в активное зарабатывание денег на доступном для него рынке труда. В этом случае самыми важными факторами являются низкий уровень образования и отсутствие профессиональной квалификации.

Индивидуальные причины также имеют весьма разнородную природу. Среди них можно выделить физическую или умственную неполноценность, которая делает невозможной экономическую активизацию, природные катаклизмы, ведущие к экономической деградации (например, долговременная засуха, уничтожающая урожаи земледельцев, или наводнение, которое лишает людей копившегося годами имущества). Среди индивидуальных причин следует выделить и чисто субъективные (например, отсутствие желания учиться и приобретать профессию, подверженность губительным дурным привычкам, отсутствие желания трудиться).

Как вытекает из вышеприведенных рассуждений, ключом к тому, чтобы выбраться с территории экономической маргинализации либо исключения и, как следствие, вырваться из круга

бедности, является наличие работы. Такое утверждение нельзя назвать оригинальным или открывающим нечто новое, но из-за этого оно не перестает быть правильным. По мнению Ярош (*Jaros*, 2004а: 157), работа представляет собой в современном обществе не только способ содержать себя и выживать, но и своего рода институт, устанавливающий место человека – и группы – в современном обществе. Как это сформулировал Ральф Дарендорф, постоянная работа является «входным билетом в мир ресурсов».

В политической и гражданской (гражданской) сферах можно оказаться исключенным из политики либо действующими правилами игры (например, не позволяющими свободно функционировать политической оппозиции в целом или только некоторым ее оттенкам), либо действующей на тот момент властной элитой, закрывающей публичное пространство для артикуляции любых требований, которые могут поставить ее лидерство под сомнение. В Польше теперь не существует такого рода причин исключения из политики, хотя перед 1989 годом обе вышеназванные сферы публичной жизни были строго регламентированы коммунистическим государством. Сегодня, однако, нет разумных аргументов, в целом звучащих в пользу тезиса, что в Польше существуют лица или группы лиц, которые хотели бы участвовать в политической жизни, но им этого по каким-то причинам не позволяют. Из указанного общего правила имеются, однако, три исключения. Во-первых, из политической жизни исключены лица, лишенные публичных прав законным приговором суда. Во-вторых, люстрационные процессы на десять лет исключают из публичной жизни тех людей, которые не признались добровольно в тайном и сознательном сотрудничестве со специальными службами коммунистического государства. В-третьих, в силу действующего ныне конституционного положения из политической жизни исключаются те лица и группы лиц, которые открыто призывают к религиозной или этнической вражде и в своей риторике обращаются к насилию. Как известно, первое и третье из перечисленных исключений принадлежат к практике, довольно-таки повсеместно применяемой почти во всех либерально-демократических системах, тогда как второе правило – это практика, которая используется во многих странах, вышедших из тоталитарного режима. Трудно было бы признать упомянутые решения системными или тем более структурными причинами исключения из политики или из гражданской сферы.

Однако существует такая культурная причина социального исключения из политики и из активной деятельности гражданского общества, которая не зависит ни от принципов, действующих в публичной жизни в качестве обязательных, ни от воли лиц, принимающих решения, а лишь от умения пользоваться либеральными правилами игры, другими словами – если выражаться кратко – от умения пользоваться своим гражданским статусом. Исключенными из политики в данном случае оказываются те, кто хотел бы в ней участвовать, но не знает, каким образом это сделать. Навыки, вынесенные из предыдущей системы, в новой действительности не срабатывают, а это порождает разочарованность, фрустрацию и убежденность в отсутствии возможности влиять на события, которые происходят в родной стране. Как вытекает из исследований, проведенных Центром изучения общественного мнения. ЦИОМ (CBOS, 2000b, сообщение за январь), у отдельных индивидов чувство отсутствия всякого влияния на то, что делается у них на родине, довольно широко распространено, хотя с течением времени оно уменьшается: в 1992 году на вопрос «По Вашему мнению, оказывают ли такие люди, как Вы, влияние на дела страны?» целый 91% анкетированных поляков ответили отрицательно, а в конце 1999 года доля такого рода ответов составила 82%. Отсутствие ощущения собственного влияния на дела страны не является, естественно, показателем исключенности из политики, поскольку это может означать (и чаще всего действительно означает), что интересы и ценности таких людей не в полной мере реализованы политикой и, вероятно, этого никогда не произойдет – хотя бы вследствие их взаимной противоречивости: когда одни хотят большей опеки со стороны государства – другие хотят меньших налогов, когда одни желают введения смертной казни – другие выступают против нее и т.д. Однако среди тех, у кого нет чувства влияния на дела страны, наверняка присутствуют и лица, исключенные из политики, которые не понимают новых правил игры и характеризуются низкими гражданскими компетенциями. Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что отсутствие чувства собственного влияния на дела своей страны сильно коррелирует с уровнем образования и профессиональным статусом: чем выше степень образованности, тем сильнее чувство влияния на дела страны (от 7% среди лиц с начальным образованием до 33% среди тех, у кого высшее образование), а самые низкие процентные доли лиц, испытывающих

ощущение влияния на дела страны, наблюдаются среди безработных (8%), домохозяек (9%), крестьян (9%), а также среди неквалифицированных рабочих (10%). Из аналитических исследований Пелчиньской-Наленч вытекает следующее: как заинтересованность политикой (что является предварительным условием участия в ней), так и всевозможные показатели участия в политике (например, участие в выборах) отчетливо дифференцируются в зависимости от образования и профессионального статуса респондентов — чем выше уровень обеих этих переменных, тем выше интерес к политике и, как следствие, тем выше политическая активность. Из того же самого аналитического исследования вытекает вывод, что «пассивные формы поведения не коррелируют с системными предпочтениями и мнениями по поводу института власти. Тем самым отсутствие доверия к текущей власти и неодобрительное отношение к основополагающим принципам существующего политического порядка не являются непосредственными причинами отхода от участия в процессах осуществления власти» (*Pelczyńska-Nałęcz*, 2000: 128). Указанные корреляционные зависимости, подтвержденные, кстати говоря, в других исследованиях (*Markowski*, 1993), наводят нас на существенный след возможной причины политической маргинализации, а именно на низкую гражданскую компетентность, особенно сильно сконцентрированную среди лиц с низким уровнем образования и низким или отсутствующим профессиональным статусом. Именно здесь надлежало бы искать исключенных из политики и гражданской активности, иначе говоря тех людей, которые, может быть, и захотели бы участвовать в названных сферах, если бы знали, как это сделать, и если были бы способны рационально предвидеть последствия собственного участия. Категорию исключенных из политики ввиду отсутствия у них компетентности не удастся оценить численно — даже приблизительно, поскольку граница между лицами, политически и общественно индифферентными, с одной стороны, и реально исключенными лицами — с другой, размыта, а при этом индифферентность и исключенность подобного типа взаимно подкрепляются. Зато можно констатировать, что общий рост уровня образования в обществе является ключевым фактором роста гражданских компетенций, а тем самым фактором, который в условиях либерально-демократического порядка сокращает категорию исключенных из политики и гражданской активности (какой бы ни была ее численность).

Исключение из аксиологического пространства публичной жизни не вызывается — в демократических условиях — ни системными причинами, ни структурными. Чаще всего мы имеем здесь дело с чисто индивидуальными причинами, которые отгораживают индивида от правильного процесса социализации, а моральные нормы или системы ценностей, доминирующие в данном обществе, у него слабо интернализированы — если такая интернализация вообще имеет место. Нарушение правильности социализирующего процесса — это типичное явление в патологических семьях, где господствуют алкоголизм и преступность. Исключение из аксиологического пространства представляет собой главным образом вопрос неудачных индивидуальных биографий, социопатологического общественного окружения, в котором растет и воспитывается индивид. Таким образом, исключение из аксиологического пространства или хотя бы только маргинализация применительно к нему касается прежде всего криминогенной среды.

### **Маргинализация как побочный эффект системной трансформации**

Многие авторы обращают внимание на тот факт, что переход от коммунизма к демократии, а также от распорядительно-распределительной экономики к экономике рыночной породил социально болезненный эффект в виде исключения и маргинализации огромных сегментов общества. Данный эффект обычно именуется «социальными издержками трансформации», и его часто относят к процессу деактивизации в экономической сфере, а также — что за этим следует — относительной деградации по уровню жизни. «Трансформация, — пишет Кабай, — привела к глубокой деактивизации населения Польши» (Kabaj, 2005: 233). И документально подтверждает этот тезис данными Главного статистического управления (ГСУ) страны, из которых вытекает, что в 1988 году 16,5% лиц, способных к труду, не имели работы, а в 2002 году не работало даже 44% лиц трудоспособного возраста. К столь глубокой экономической деактивизации привела совокупность многих причин. Лешек Гилейко констатирует: «В Польше и других посткоммунистических странах значимое воздействие оказал территориальный фактор, связанный с хозяйственной и экономической монокультурой разных регионов, с драматической ситуацией на многих локальных рынках труда и с концентрацией

традиционных промышленных отраслей в двух или трех регионах» (Gilejko, 2005: 193). Социальные издержки трансформации коснулись прежде всего крестьян и рабочих; оптимизация занятости устранила с рынка неэффективные рабочие места, а это сократило число таких мест, доступных для трудящихся. Отнюдь не изолированные случаи эксплуатации последних со стороны владельцев малых и средних предприятий – в условиях ограниченности рынка труда – ухудшили условия труда для многих рабочих. Дело в том, что для рабочих, как пишет Гилейко, «факторами деградации стали главным образом безработица, переход из публичного сектора в периферийные сегменты частного сектора, занятость в серой зоне и „левая“, неофициальная работа. В свою очередь, крестьянский класс подвергся теперь процессам значительной дифференциации, он делится на состоятельных хозяев, имеющих хорошие перспективы развития, на средних собственников, чьи перспективы не выглядят слишком светлыми, а также на пауперизованных владельцев малых хозяйств, численность которых увеличилось за счет работников госхозов, а также лиц, увольняемых сейчас с работы в городе, а ранее принадлежавших одновременно к числу как городских, так и сельских жителей» (Ibid.: 204).

Таким образом, побочным эффектом системной трансформации явилось явное увеличение числа лиц, которые оказались маргинализированными и исключенными из экономического пространства публичной жизни. В свою очередь, гражданское, политическое и аксиологическое пространства избавились от пут идеологических догм прежней системы и открылись для тех сегментов общества, которые ранее были исключены из указанных пространств, а также для огромного числа лиц, подвергавшихся в предшествующей системе политической и гражданской маргинализации.

### **Последствия маргинализации и социального исключения**

Маргинализация и социальное исключение порождают много нежелательных последствий в публичной жизни. К числу наиболее важных из них нужно отнести изоляцию и социальную дезинтеграцию, алиенацию относительно институтов гражданского общества, аномию, а также ряд явлений из сферы социальной патологии, в том числе особенно самую заурядную уголовную



преступность. Исследователи согласны по поводу явной и несомненной корреляции между маргинализацией и социальным исключением, с одной стороны, и преступностью — с другой. Бедность, особенно хроническая, криминогенна (*Merton, 1982; Jarosz, 2004a*).

Изоляция означает здесь два процесса, поскольку, с одной стороны, лица, исключенные из разных пространств общественной жизни, изолированы от остального общества и часто стигматизированы как «неудачники», «лузеры», «лентяи» или просто «они». В польском обществе — а, наверное, подобным же образом выглядит ситуация и в других посткоммунистических обществах, где большинство испытало на себе при коммунизме какие-нибудь формы маргинализации или даже исключения, — это явление не столь широко распространено, как в тех обществах, где доминирующим образцом является успех в каком-нибудь из пространств публичной жизни, а стигматизация исключенных носит более категорический характер (например, в США). Однако, с другой стороны, мы имеем дело с процессом самоизоляции тех, кто оказался вытолкнутым на обочину и стал маргиналом. Какой бы из названных процессов ни происходил, его следствием является дезинтеграция и атрофия социальных связей.

Маргинализация (особенно в гражданском и политическом пространствах публичной жизни) ведет к такому явлению, как политическая алиенация (*Mason, House, Martin, 1985*), иначе говоря к отчуждению от коллективных и индивидуальных акторов, функционирующих в указанных сферах. Перед нами ситуация, которая возникает вследствие изоляции и социальной дезинтеграции. Для отчужденного индивида институты гражданского общества чужды, он не отождествляет себя ни с каким из них. Это такой социальный мир, из которого испытывающий алиенацию индивид оказался вытолкнутым, или же он сам отступил от него и ушел в сторону. Среди указанной категории людей доминирует чувство беспомощности в формировании собственного бытия, а также априорная убежденность в принципиальном отсутствии у них контроля над собственной жизнью.

Маргинализация в аксиологическом пространстве чаще всего ведет к аномии, иначе говоря к краху или распаду тех социальных норм, которые ранее регулировали поведение индивидов. Как уже указывал Дюркгейм (1858–1917), аномия бывает побочным продуктом радикального изменения общественного порядка (а ведь переход от коммунизма к демократии был именно чем-то

таким). Явления аномии – если они широко распространены – ведут к социальной дезорганизации, а также к девиантным (отклоняющимся от нормы) формам поведения (*Merton*, 1982: 199, *passim*). Маргинализация и исключение из отдельных пространств публичной жизни представляют собой один из источников социальных патологий, хотя этот источник далеко не единственный, а в случае патологий в кругах власти он, безусловно, не принадлежит к числу существенных. Об этих вопросах идет речь в следующей, последней главе.

## ГЛАВА 12

# ПАТОЛОГИИ ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

### **Введение — что является частным, а что публичным**

Как было замечено ранее, пространство публичной жизни представляет собой территорию функционирования акторов, которые — через коллективные или индивидуальные действия — устремляются к самым разнообразным целям. Эти цели можно разделить на две категории, а именно на публичные и частные. Публичная цель — это деятельность (индивидуальная или коллективная) с намерением создать публичное благо, частная цель — это деятельность с намерением создать частное благо. Публичное благо и частное благо понимаются здесь очень широко; в это понятие укладывается все то, что людям, вообще говоря, хотелось бы иметь. Таким образом, речь здесь идет как о материальных благах, так и о нематериальных (например, о социальном статусе или власти), как об измеримых благах (например, о деньгах), так и о благах, не поддающихся измерению (например, об обязанности людей, занимающих публичные должности, соблюдать лояльность — с надеждой, что когда-нибудь такого рода лояльность будет использована в частных, частных целях).

Публичное благо и частное благо характеризуются принципиально различающимися статусами, которые интуитивно понятны каждому, хотя, как правило, только в случае определения «того, что мое». Чьим является то, что «не мое», бывает, вообще говоря, неясно. С другой стороны, определения «того, что мое», тоже бывают растяжимыми. Как мы констатировали в главе 9, граница между публичным благом и частным благом размыта не только в обыденном языке. И аналитически точное, строгое разграничение этих двух разновидностей благ тоже порождает некоторые трудности. Так происходит по той причине, что в общественной практике мы имеем дело не только с чистыми формами собственности (публичной или частной) на отдельные блага, но и со

смешанными формами, в которых доли частной и публичной собственности находятся в определенной пропорции. С такой ситуацией мы имеем дело, когда, например, в числе акционеров определенного предприятия присутствует как государственная казна, так и частные собственники. Такое предприятие не является ни чисто публичным благом, ни чистой разновидностью частного блага.

Чаще всего **публичное благо** определяется как **неисключительное**, а это означает, что им может пользоваться каждый член определенной человеческой совокупности, и ни один из таких членов не имеет большего права на пользование указанным благом, чем кто-либо другой, принадлежащий к той же самой совокупности. Это хороший шаг — по меньшей мере в аналитическом выделении чистой формы публичного блага. Он пригодится при описании ситуаций, которые представляют собой отступление от нормы, содержащейся в вышеуказанном определении, и которые — как мы увидим позднее — можно интерпретировать в категориях патологии публичной жизни. Публичное благо, которое образует общий, **совместный ресурс**, стоит ровно столько же независимо от числа пользующихся им лиц. Примером такого блага служит дорожка в публичном парке, городские зеленые насаждения или вал, защищающий от паводков и наводнений на Висле. Если такой ресурс является полностью совместным, то мы имеем дело с чистой формой публичного блага, а пользование им носит — по определению — неисключительный характер; если же этот ресурс является совместным (общим) только частично, то какая-то часть указанного блага носит исключительный характер, а значит, находится в исключительном распоряжении некоего частного владельца. В данном случае благо носит публично-частный характер. Если, наконец, совместный ресурс является нулевым, это конкретное благо имеет чистую частную форму, а пользование им носит исключительный характер, ограниченный его собственником и теми пользователями, которых этот собственник укажет.

В публичной сфере функционируют как публичные, так и частные коллективные акторы. Есть смысл уточнить разницу между этими двумя типами коллективных акторов. Тем, что принципиальным образом отличает их, является характер материальных и финансовых средств, на которые опирается их деятельность. Если это публичные средства, то и организация, питаемая указанными средствами, носит публичный характер, если же эти средства — частные, то мы имеем дело с частным коллективным

актером. Например, коллективным публичным актером мы назвали бы Варшавский университет, питаемый фондами из государственного бюджета, тогда как коллективным частным актером — польское телевидение TVN. Стоит при случае попутно обратить внимание на характер членства. Членство в организации, которую мы определили как публичного коллективного актора, чаще всего носит инклюзивный характер (хотя из данного правила случаются исключения). Это означает, что теоретически каждый, если только он выразит соответствующую волю, может стать членом подобной организации. Тем временем членство в организации, которая имеет статус частного коллективного актора, носит, как правило, эксклюзивный характер (также и в данном случае это скорее тенденция, нежели строгое правило). Другими словами, членом такой организации можно стать только в том случае, когда соблюдаются критерии принадлежности, установленные ее учредителями. Характер членства в организации служит скорее вспомогательным указанием, поскольку самым существенным является характер средств, на которые опирается ее деятельность.

Следовательно, публичная деятельность, как мы видим, не резервирована исключительно для публичных акторов; частные акторы тоже могут вести и ведут публичную деятельность. Возможность проведения публичной деятельности частными акторами — один из основных факторов, определяющих нормальное функционирование гражданского общества и играющих в этом решающую роль.

### **Патология публичной жизни и социопатология — определения**

Когда мы говорим о патологии публичной жизни, то обращаемся не ко всем патологиям общественной жизни, а исключительно к той их части, которую можно наблюдать в одном из выделенных ранее пространств публичной жизни, а именно в гражданском (гражданском), политическом или экономическом пространстве (аксиологическое пространство является в данном случае исключением). В гражданском пространстве иллюстрацией патологии может быть завладение публичными или частными фондами, осуществленное какими-то аполитичными организациями, которые функционируют в этом пространстве и используют для такого завладения недостаточно точные положения закона. Например,

экологическая организация может на почве существующего права опротестовать каждую инвестицию, что отчетливо увеличивает затраты на трансакцию. Это еще не патология. Она появляется лишь в тех случаях, когда указанная экологическая организация опротестовывает какую-то инвестицию исключительно для того, чтобы вытянуть из инвестора ту или иную дань, а затем после соответствующих оплат с его стороны отказывается от протеста. Примером патологии в политической сфере может послужить использование политической должности для извлечения частной выгоды (об этом пойдет речь дальше). Пример патологии в экономической или хозяйственной сфере — обход экономических правил игры, которые обязательны для всех акторов, функционирующих в этом пространстве, с целью повышения своих шансов в конкурентной борьбе на рынке. Однако чаще всего патологии публичной жизни появляются на стыке акторов, функционирующих в политическом и экономическом пространствах. Аксиологическое пространство публичной жизни может служить территорией для внешнего выражения (экспрессии) принципов, внедрение которых в жизнь вело бы к патологии в публичной жизни. Примером такого патогенного принципа может послужить декларация одной из существенных политических сил, что действующие в публичной жизни обязательные правила игры будут отвергнуты представителями этой силы, если их соблюдение станет мешать достижению частных целей данной политической силы.

Мы не учитываем здесь явлений патологии в семье, поскольку они происходят в частном пространстве (хотя их следствия могут быть видны и в публичном пространстве — например, в том случае, когда индивиды, развращенные в патологических семьях, вступают на сцену публичной жизни). Общую совокупность тех патологических явлений на уровне социальных микроструктур (а особенно семьи), которые имеют место в частной жизни, мы будем называть социопатологией. В этом контексте патология публичной жизни обладает своей особой спецификой, поскольку она реализуется во взаимоотношениях между действительными субъектами, функционирующими в публичном пространстве.

В 70-х годах XX века Адам Подгурецкий, один из первоходцев изучения явлений социальной патологии в Польше, отмечал, что в этой проблематике находится место для исследований по индивидуальной патологии (самоубийства, убийства, наркомания, азартные игры, алкоголизм, проституция) и по групповой

патологии (дезорганизация семьи, кровосмешительство, организованная преступность), но фактически отсутствуют исследования по патологии учреждений и институтов (*Podgórecki*, 1976a: 11–12). Впрочем, в том же сборнике Подгурецкий (*Podgórecki*, 1976b: 175, *passim*) приводит очерк проблематики и подлежащих изучению вопросов, которые могли бы присутствовать в исследованиях по патологии учреждений и институтов, но сами исследования на указанную тему были редкостью. Вероятно, так происходило по довольно очевидной причине: в тогдашние времена исследования по патологии учреждений и институтов должны были бы в числе причин наблюдающихся там негативных явлений идентифицировать в том числе и причины, лежащие в самой природе коммунистической системы. Свобода научных исследований была тогда ограничена, и такие исследовательские проекты наверняка не получили бы средств на реализацию. А ведь именно патология учреждений и институтов является одним из самых существенных элементов патологии публичной жизни.

Термин «патология» означает, вообще говоря, какое-то вредное отступление от нормы. Как мы видим, даже в такой весьма общей характеристике присутствуют два элемента, которые мы встретим в определении общественной патологии, а именно (1) элемент оценки — что-то оказывается вредным, а также (2) нормативный элемент — какое-то состояние дел принимается в качестве нормы. И если, например, в медицине установление патологических состояний, в общем, не составляет трудностей, поскольку нормой является состояние здорового организма в определенном биологическом возрасте, а вредным — все то, что составляет отклонение от этой нормы, то в общественной жизни давать определение патологии значительно сложнее и такие определения менее однозначны.

Определение «социальная патология» появилось в XIX веке и относилось к «человеческим действиям, которые противоречат сельским и провинциальным идеалам стабилизации, собственности, бережливости, трудолюбия, семейной и соседской солидарности, а также дисциплины воли» (*Cygielska*, 1976: 83–84). Уже первые случаи употребления данного термина показывают, что приписываемый ему смысл является исторически изменчивым, а варианты и формы поведения, которые в одном периоде порой определяются как патологические, необязательно должны характеризоваться точно таким же образом в другом периоде существования того же

самого общества. Более того, формы поведения, определяемые в одной культуре как патологические, в другой культуре могут принадлежать к тем, которые вполне согласуются с нормами. Сегодня социальную патологию определяют, вообще говоря, как девиацию (отклонение) от социальных норм, генерально обязывающих в данном обществе; однако не каждую девиацию, а только такую, которая оценивается негативно. Ведь бывают же такие девиации, или отступления от общепринятых обязательных социальных норм, которые представляют собой зародыши грядущего социального изменения. Пахольский и Слабонь (*Pacholski, Słabon*, 1997: 30) определяют такую девиацию как позитивную, или «сверхнормальную», в отличие от негативной, или «субнормальной», девиации. Следовательно, при такого рода трактовке социальная патология является «субнормальной» девиацией, иначе говоря отступлением от норм, ведущим к деструкции или аутодеструкции (разрушению или саморазрушению) групп людей, а иногда даже целых обществ, к социальной дезорганизации или нелегитимизированному насилию.

Таким образом, социальная патология, или, выражаясь иначе, социопатология, относится к таким видам поведения, которые — с какой-либо точки зрения — вредны для человека или для той микроструктуры, к которой он принадлежит. Мария Ярош (*Jarosz*, 1987: 35–36) констатирует, что данное понятие относится к таким видам поведения, как (1) преступность; (2) образ действий и поступки, вызывающие дезорганизацию семьи; (3) аутодеструкция (алкоголизм, наркомания, самоубийства); (4) девиантные варианты сексуального поведения; (5) психические нарушения и неврозы, а также в целом всевозможные формы асоциального поведения. Социопатология, следовательно, — это понятие, относящееся к индивидам и к их патологическим социальным взаимоотношениям, которые в своих последствиях оказываются вредными как для самих указанных индивидов, так и для ближайшего социального окружения, в котором такие индивиды функционируют.

Тем самым возникает вопрос, как в этом контексте надлежало бы определить патологию публичной жизни для общества, функционирующего в демократической системе. Здесь дело обстоит проще, чем в случае социопатологии. Ведь известно, что публичная жизнь каждого современного демократического общества регулируется, как правило, кодифицированными нормами. Таким образом, если указанные нормы, или правила игры акторов коллективного действия, функционирующих в каком-нибудь из



пространств публичной жизни, формируются в демократических условиях, то мы можем признать их общественно правомочными. Ибо за ними стоит воля большинства. Следовательно, под патологией публичной жизни мы будем понимать явные или скрытые отступления от правил игры, общеобязательных для акторов, которые функционируют в публичной жизни.

### Теоретические подходы к проблеме патологии публичной жизни

В социологической литературе можно выделить много теоретических подходов к явлению социальной патологии вообще, а к патологии публичной жизни — в частности. Первая группа теорий опирается на концепцию культурной девиации (*Cygielska*, 1976: 89; *Jarosz*, 2004a: 65). В этой концепции исходно предполагается, что «разные части современной культуры меняются в разном темпе — некоторые меняются более стремительно, чем какие-то иные, а поскольку эти части коррелируют между собой и зависят одна от другой, то стремительные изменения в одной из частей нашей культуры требуют нового приспособления к ним путем дальнейших изменений различных коррелирующих частей культуры» (*Ogburn*, 1975: 255)<sup>1</sup>. Вследствие неодинакового темпа развития разных элементов культуры появляются социальные ниши или анклавов, в которых процесс адаптации к постепенно наступающим изменениям идет медленнее. В связи с этим внутри одного и того же общества уживаются разнообразные субкультуры, в рамках которых желательные и нежелательные формы поведения определяются иначе, чем в доминирующем культурном образце, что ведет к общественной дезорганизации, а субкультурные варианты поведения, отличающиеся от этого общего стереотипа, интерпретируются в категориях культурной девиации.

Вторая группа теорий ищет источники социальной патологии в конфликте между теми ценностями, которые в отдельных

---

<sup>1</sup> Это так называемая концепция культурного отставания (иногда в русскоязычной научной литературе говорят «культурный лаг» [cultural lag] или, реже, «культурное запаздывание»), которую в свое время как раз сформулировал Уильям Огборн (1886—1959). В этой концепции детерминантой социокультурного процесса выступает развитие техники и новые изобретения, причем сферы техники и культуры развиваются с различной скоростью, в результате чего и происходит культурное отставание.

сегментах общества сохранились еще от предындустриального периода, и ценностями, типичными для современного, высокоорганизованного общества (Cygulska, 1976: 90; Jarosz, 2004a: 66).

Третья группа теорий обращается к дезорганизации функционирования той социальной группы, к которой принадлежит индивид (Faris, 1948; Cygulska, 1976: 90–91). В данном подходе источники социальной патологии связываются с дезинтеграцией и распадом групп, с неопределенностью по поводу социальных ролей членов отдельных групп, падением существенности первичных групп (особенно семьи) для индивида, с конфликтом ролей, исполняемых индивидом в разных группах, с отсутствием доверия среди членов группы и т.д. Ярош (Jarosz, 2004a: 66), критикуя указанный подход, отмечает, что преступные группы характеризуются сильной внутренней интегрированностью, и факторы, которые дезорганизуют функционирование группы, там не наблюдаются.

Четвертая группа теорий обращается к нарушениям социального контроля как к причинам возникновения патологий. Под социальным контролем мы понимаем «систему распоряжений, запретов, санкций, а также других средств и методов, которые служат группе или обществу для сохранения конформизма их членов по отношению к ценностям, нормам и образцам поведения, принятым в данной совокупности» (Olechnicki, Zalecki, 1997: 100–101). В соответствии с таким подходом нарушение социального контроля (например, взаимно противоречивые системы распоряжений, запретов и санкций, которые вызывают нормативную дезориентацию индивида или исчезновение у него веры в правомочность указанных запретов и санкций, что, вообще говоря, ведет к направленному против них бунту) открывает перед индивидом возможность предпринимать любые формы поведения, в том числе также те, которые определяются как патологические. При такой теоретической трактовке «система функционирует правильно, когда действующие социальные нормы ясны и пользуются социальным одобрением, а те варианты поведения, которые им противоречат, сталкиваются с предусмотренной для этого общественной санкцией» (Jarosz, 2004b: 67).

Как я уже упомянул ранее, патологии публичной жизни характеризуются определенной спецификой, которая отличает их от патологий, наблюдаемых в частной сфере. Прежде всего, они происходят в публичном пространстве, хотя это, разумеется, не означает, что их не скрывают от общественного мнения. Конечно же,

участники патологических взаимоотношений стремятся к тому, чтобы последние не были публично видны, поскольку их раскрытие могло бы запустить в ход санкции (от общественных или социальных через политические и вплоть до уголовных). Но санкции касаются взаимоотношений, вытекающих из публичных ролей отдельных акторов. Во взаимоотношениях, носящих патологический характер, мы можем выделить как минимум три важных аналитических измерения: функциональное, аксиологическое и нормативное. Во-первых, **такого рода взаимоотношения дисфункциональны применительно к формальным целям, функционирующим в публичной жизни.** Во-вторых, в публичном понимании добра и зла их **располагают на стороне общественного зла.** В-третьих, они являются **отступлением от социальных норм и правил игры, которые признаются конститутивными для данного общественного порядка.**

Со взаимоотношениями дисфункционального характера мы имеем дело в тех случаях, когда какой-то актор, исполняющий публичную роль, которой приписаны определенные цели, действует способом, затрудняющим достижение этих целей или делающим его невозможным. Примерами таких акторов, которые реализует патологические дисфункциональные взаимоотношения, являются: пристрастный и необъективный судья; продажный полицейский; журналист, пишущий статьи по заказу тайного спонсора и выгодные для последнего; предприниматель, укрывающий свои доходы, чтобы не платить налогов; мепеджер, действующий в пользу конкурирующего предприятия; опекун молодежи (учитель, священник, воспитатель), принимающий участие в совращении несовершеннолетних.

Со взаимоотношениями, которые в публичном понимании добра и зла, хорошего и плохого определяются как плохие и связанные со злом, мы имеем дело в тех случаях, когда их публичное раскрытие сопровождается, причем вне всяких сомнений, отрицательной оценкой. В качестве иллюстрации могут послужить примеры дисфункциональных взаимоотношений, раскрытие которых связывается с их осуждением, а также, например, организованные формы преступности, использующие для своих целей публичные роли своих членов (когда полицейские, политики или судьи находятся в услужении у мафии).

Взаимоотношения, представляющие собой отступление от правил и норм, конститутивных для данной системы, указывают

на такой аспект патологии публичной жизни, который особенно грозен по своим последствиям. Ведь подобная патология ведет к тому, что правила игры и нормы, составляющие фундамент, например, демократической системы, теряют в глазах граждан свою сущность, становятся фасадом (Zybertowicz, 2002), за которым неформальным и в большинстве своем тайным способом реализуются интересы отдельных акторов публичной жизни, причем за счет тех, кто соблюдает правила игры. Типичным примером служит коррупция властных структур и то, что Антони Каминьский (Kamiński, 1987) еще в 80-х годах называл процессом «приватизации государства». Говоря в самом общем виде, мы имеем здесь дело с передачей какой-то части публичных благ в частную сферу.

Резюмируя представленные до сих пор рассуждения, мы можем констатировать, что патологии публичной жизни представляют собой такие взаимоотношения, которые характеризуются тремя измерениями, налагающимися одно на другое. Это взаимоотношения, дисфункциональные применительно к целям, приписанным к определенным публичным ролям; они оцениваются в публичном дискурсе как общественное зло; они являются сознательным нарушением формальных правил и норм, составляющих фундамент функционирования демократического общественного порядка.

Среди многих проявлений различных патологий публичной жизни на передний план выдвигаются две их разновидности, а именно **коррупция** и явление, которое определяется названием **политического капитализма**. Причем если коррупция – это патология, встречающаяся во всех известных формах политических систем, то политический капитализм представляет собой прежде всего побочное следствие, а согласно некоторым концепциям – даже неотъемлемый составной элемент всякого процесса перехода от коммунизма к демократии. Именно поэтому обе эти формы патологии публичной жизни заслуживают отдельного обсуждения.

## Коррупция

Явление коррупции, на что обращают внимание многие авторы, занимающиеся данным явлением (Kamiński, Kamiński, 2004; Jarosz, 2004a; Łętowska, 1997; Kamiński, 1997), носит вневременной характер и присутствует на всех географических широтах, в обществах отсталых и современных, претерпевающих радикальные изменения и стабильных, западных и восточных. Словом, явление

коррупции обнаруживается везде там, где имеются структуры власти и публичные институты, от решений которых зависит благополучие и успех заинтересованных граждан, или где, наконец, существуют редкие блага, доступ к которым бывает регламентированным. На трудности, связанные с попыткой строгого определения данного понятия, указал Маковский (*Makowski*, 2004), а также Татур (*Tatur*, 2005), так что нет необходимости повторять здесь анализ возможных определений коррупции. Вместо этого мы используем самое простое ее определение, благодаря которому окажется возможным разумно использовать данное понятие в дальнейших размышлениях. Итак, под коррупцией мы понимаем **использование занимаемого в публичном пространстве общественного положения (должности) в противоречии с формальными нормами, приписанными к этой должности, с целью достижения частных выгод**. Заметим, что данное определение не уточняет, имеем ли мы дело с общественным положением (должностью) в частном секторе (который тоже действует в публичном пространстве) или в публичном, поскольку в сегодняшние времена случаи «частной» коррупции тоже встречаются — например, такова коррупция менеджеров в частных предприятиях либо коррупция врачей в частных учреждениях службы здравоохранения — и нет разумных причин, чтобы упускать эту патологию из поля зрения. Аналогично если мы говорим о коррупции власти, то имеем в виду использование публичных должностей во властных структурах таким способом, который не соответствует формальным нормам, регулирующим деятельность на указанных должностях, а направлен на достижение частных выгод. И в одном, и во втором случае речь идет об общественных должностях, дающих какую-то власть или компетенции по принятию решений, от которых зависит доступ граждан к редким благам (к хирургической операции в обход очереди, к размещению публичного заказа в «нужной» частной фирме, к установлению приемлемого размера налога, который зависит от оценки или интерпретации чиновника). И коррупционные искушения создаются только подобными компетенциями по принятию решений, особенно если они не должны выноситься в соответствии со строго определенной и явной процедурой. С другой стороны, компетенции по принятию таких решений, от которых доступ граждан к редким благам никак не зависит (например, решений о выдаче паспорта, свидетельства о рождении или о браке), не создают такого рода искушений, так

как документы данного типа получает каждый, кому полагается законный статус гражданина Польши.

Однако для возможности возникновения самого явления коррупции конкретная сфера компетенций по принятию решений, приписанная к определенной общественной должности, имеет все-таки второстепенное значение; она может быть важна только для размера причитающегося коррупционного вознаграждения. Таким образом, коррупция может присутствовать как на уровне рядового полицейского, от решения которого зависит, будет ли выписан штраф и дисциплинарные баллы за нарушение правил дорожного движения, так и на уровне министра, который может принять решение, выгодное для одного хозяйствующего субъекта и неблагоприятное для конкурирующего субъекта. В обоих указанных примерах существо явления остается точно таким же, разница между ними лишь в сумме того вознаграждения, которое носит коррупционный характер. Это самые тривиальные иллюстрации коррупции. Но существуют и такие коррупционные процессы, природа которых более сложна. Как пишут Каминьский и Каминьский, «в работах, посвященных коррупции, указываются всякие ее разновидности – кража, взяточничество, nepotизм, торговля влиянием. В каждом из этих случаев мы имеем дело с ситуацией, когда публичные функции трактуются как бенефиций (доходная должность), – иначе говоря, с приватизацией публичной сферы» (*Kamiński, Kamiński, 2004: 127*). Эти авторы, идя по стопам исследований Всемирного банка, выделяют два типа коррупции. Первый – это **административная коррупция**, популярно именуемая чиновничьим взяточничеством, а второй – это **присвоение государства/экономики в личную собственность** посредством стирания границы между тем, что является публичным, и тем, что частное. «В политико-экономической структуре появляются и начинают занимать все более серьезное место два взаимно дополняющихся типа ролей: роли политиков-бизнесменов, трактующих публичные должности как способ приобретения имущества и положения в бизнесе, а также бизнесменов-политиков, внимание которых концентрируется вовсе не на рыночном соперничестве, а на контактах в сфере политики и на добывании таким путем прибыльных публичных заказов. Политики-бизнесмены и бизнесмены-политики живут в симбиозе, совместно паразитируя на публичном имуществе. Именно это и составляет сущность такого явления, как присвоение государства в личную собственность»

(*Kamiński, Kamiński*, 2004: 143). Казимеж В. Фриске (*Frieske*, 2005: 275) характеризует данное явление в подобном же духе, говоря о превращении публичных ресурсов в частные благодаря использованию положения или должности, занимаемых в публичной жизни. Как бы мы ни уточняли сферу действия данного понятия, оно интуитивно ясно и относится к **незаконному черпанию частных выгод и преимуществ из той роли, которую человек исполняет в публичной жизни.**

Следует ли в сегодняшней Польше считать коррупцию серьезным общественным явлением? Трудно дать на этот вопрос точный ответ, ибо исследования по поводу коррупции в силу понятных обстоятельств неполны и опираются скорее на оценки, нежели на надежные эмпирические данные. Так происходит потому, что само указанное явление — хотя оно относится к публичной сфере — прячется за кулисами учреждений и старательно избегает всяких демонстративных проявлений или привлечения к себе внимания. Тем не менее число лиц, воспринимающих коррупцию в качестве серьезной общественной проблемы, за последние пятнадцать лет постоянно увеличивается: в 1991 году 33% респондентов ЦИОМ (CBOS, 2004a) констатировало, что это очень серьезная проблема, тогда как в 2004 году — уже 75%. Наверное, сразу несколько причин породили столь высокий процент обследуемых, которым известно, что данное явление носит в нашей стране всеобщий и повсеместный характер. Во-первых, здесь действовали примеры из личного опыта, иначе говоря столкновения с коррупцией при контактах с публичными институтами и учреждениями либо с публичными функционерами. Во-вторых, некоторое влияние оказало также растущее количество сообщений в средствах массовой информации о разнообразных коррупционных аферах на вершинах власти. Однако обыденные знания широкой публики о том или ином явлении не могут служить показателем степени его распространенности. Гораздо сильнее, например, такой показатель, как признание респондентов в ходе анонимных анкетных обследований и опросов, что они лично участвовали в коррупционном поступке. Такое исследование провел ЦИОМ (CBOS, 2000), и из него вытекает следующее: 19% испытуемых признаются в том, что на протяжении минувших четырех лет лично вручали деньги или подарок для устройства какого-то дела или хотя бы для его ускорения; 5% респондентов отказываются отвечать, а это — как отмечают авторы отчета — скорее всего, означает, что и они имели в течение последних четырех

лет какой-то опыт, связанный с вручением взятки. Таким образом, можно оценить, что по меньшей мере одна четверть обследуемых располагает личным опытом подобного типа. Однако и этот показатель не отражает с достаточной точностью истинного размаха указанного явления и степени его воздействия. Ведь весьма вероятно, что какое-то число респондентов, трудно поддающееся установлению, в ситуации интервью сочло более безопасным заявлять об отсутствии у них личного опыта этого грязного и гнусного занятия. Тем самым можно полагать, что приведенный выше показатель занижает фактические размеры обсуждаемого явления.

Другой попыткой оценить такое явление, как коррупция, служат индексы восприятия коррупции, готовящиеся международной организацией по обеспечению прозрачности и борьбе с коррупцией «Transparency International». Эти индексы опираются на оценки отечественных и зарубежных инвесторов, имеющих дело с публичными функционерами определенного государства, а также на прикидки независимых экспертов. Достоинством этих индексов является применение унифицированной методологии для оценки ситуации в более чем ста сорока странах, что предоставляет возможность ранжировать эти страны по воспринимаемой степени коррупции. В данном рейтинге, учитывающем 2004 год, наименее коррумпированной страной мира является Финляндия, тогда как Польша занимает далекое место (шестьдесят седьмое), разделяя его с Хорватией, Перу и Шри-Ланкой. Из оценок экспертов «Transparency International» вытекает, что Польша принадлежит в последние годы к группе из примерно полутора десятков стран, где уровень коррупции увеличился (Transparency International, 2004).

Системная трансформация в Польше (но, впрочем, не только в нашей стране) создала особенно сильное коррупционное искушение. Ведь в течение этого периода страны, выходящие из коммунизма, должны были также перейти от централизованно планируемой экономики к рыночной. Этот процесс состоял, в частности, в приватизации огромного имущества, находившегося в прежней системе под контролем государства. Как мы уже отмечали в главе 1, начальная стадия перехода от коммунистической системы к демократии характеризовалась неясностью правил игры (старые правила уже не функционировали, а новые еще только кристаллизовались), что было использовано многими людьми из коммунистической, но также и из демократически выбранной власти для личного обогащения.



## Политический капитализм

Макс Вебер, пожалуй, первым обратил внимание на явление, называемое сегодня «политическим капитализмом». Он, правда, не употреблял этого выражения, поскольку пользовался категорией «политически ориентированного капитализма», иными словами добывания капитала (или шире – ресурсов) благодаря политическому положению (имеются в виду захваченные трофеи, монопольная позиция, принудительный или рабский труд, контролирование поставок). Однако Вебер уловил сущность данного явления и сформулировал его отличия от чисто рациональной рыночной экономики (Weber, 2002: 125–126). В польский академический дискурс это понятие еще в начале 90-х годов ввела Ядвига Станишкис. Мы не будем излагать здесь всю теорию возникновения и функционирования политического капитализма, сформулированную Станишкис (Staniszki, 1999: 71, *passim*), а ограничимся только той ее частью, которая стала плодотворной почвой для расцвета социальной патологии.

Политический капитализм, специфически соотнесенный с посткоммунистической трансформацией, означает неправомочную передачу публичных ресурсов в частные руки вследствие такого положения в структуре власти, которое обеспечивает привилегированный доступ к информации, влияние на формирование правил игры в экономике, а также привилегированный доступ к кредитам. Указанное явление определяется иногда наименованием «конверсия политического капитала в капитал экономический» (Wnuk-Lipiński, 1996). Один из элементов данного явления – «наделение номенклатуры собственностью», иначе говоря перехватывание определенной частью аппарата коммунистической партии, называемого обиходно «номенклатурой», публичных ресурсов в личную собственность (Wasilewski, Wnuk-Lipiński, 1995). Кофман и Рошковский (Kofman, Roszkowski, 1999: 153–154) оценивают, что данное явление так или иначе наблюдалось фактически во всех странах, выходящих из коммунизма (за исключением ГДР), а наибольшего размера оно, вероятно, достигло в России.

В Польше посткоммунистический политический капитализм начался – по мнению Станишкис (Staniszki, 1999, 71, *passim*) – с коммерциализации, которую ввело еще правительство {последнего коммунистического премьера Мечислава} Раковского. В качестве официальной задачи указанной коммерциализации

планировалась стабилизация экономической системы в государстве, но вскоре коммерциализация превратилась в политический капитализм, поскольку наделенная собственностью номенклатура начала использовать свое положение для реализации собственных целей, самой важной из которых было ускорение создания частного капитала.

Политический капитализм в Польше и в других посткоммунистических странах прошел через три этапа. **Первый этап**, пишет Станишкис, заключался прежде всего в «перемещении средств и капитала из государственного сектора в частные руки. Это касается 1984–1989 годов. <...> **Второй этап** (1990–1993) характеризуется как интенсивное использование номенклатурой разных учреждений мягкого финансирования. Эти учреждения были организованы на более раннем этапе с целью создания облегчений в деле сохранения и спекулятивного умножения капитала. В Польше можно было наблюдать на этом этапе специфическую смесь рыночных инструментов с распорядительно-распределительными. <...> **Третий этап** политического капитализма (1993–1996) связывается с неожиданным и бурным ростом уровня организации капитала» (Staniszki, 1999: 74, 76, 78). Далее Станишкис пишет, что «доминирующим элементом этого этапа является политика институционализации, иначе говоря борьба организованного капитала за удобные формы рыночной инфраструктуры, а вместе с тем борьба за исключительность доступа к учреждениям, снижающим стоимость транзакции. <...> На данном этапе выкристаллизовались две специфические организационные формулы, хотя начало их формирования имело место уже на втором этапе. Речь здесь идет о гибридной формуле собственности, сочетающей государственную, частную, организационную и групповую собственность, а также о так называемой формуле „организованных рынков“ с регулируемым входением на них и ограничениями для свободной конкуренции» (Ibid.: 79).

Явление, очерченное названием политического капитализма, несомненно, придало специфические черты всем тем версиям рыночной экономики, которые пришли на смену экономике с центральным планированием. Остается открытым вопрос, должен ли политический капитализм быть переходным этапом между распорядительно-распределительной и рыночной экономикой или же он появляется в качестве спасательного круга для элиты старого режима – либо сконструированного самой уходящей элитой, либо

подсунутой ей на начальной стадии трансформации той контрэлитой, которая занимает ее место, с целью демобилизовать по-прежнему остающиеся готовыми к применению силовые структуры предшествующего режима. Если бы существовали трудно опровергаемые аргументы, говорящие в пользу неизбежности появления политического капитализма на начальной стадии посткоммунистической трансформации, то мы имели бы дело с социологическим законом, который вошел бы в теорию радикального системного изменения обществ такого типа. Однако трудно доискаться неопровержимых доказательств неизбежности данного явления.

С интересующей нас здесь точки зрения указанное явление политического капитализма представляло собой несомненную патологию публичной жизни — по меньшей мере в аксиологическом измерении данного понятия, ибо тайная, скрытая передача публичных ресурсов в частные руки размещает данное явление на той стороне, где находится общественное зло. Эта передача приняла трудно поддающиеся оценке, однако же наверняка внушительные размеры. Как пишут Кофман и Рошковский, «вскоре после поражения коммунистов на выборах 4 июня 1989 г. комитеты ПОРП самых разных уровней начали в соответствии с поступающими сверху директивами спешно создавать собственные предприятия под управлением надежных лиц» (*Kofman, Roszkowski*, 1999: 173). Следовательно, это была в каком-то смысле организованная и скоординированная акция уходящей политической элиты, имеющая целью перехват определенной части публичных ресурсов и их приватизацию.

Рассмотрение данного явления в категориях дисфункции вызывает, однако, некоторые трудности. Причина такова: в публичном дискурсе появились и нашли выражение взгляды и позиции, утверждающие, что политический капитализм был в каком-то этически «грязном» смысле функционален применительно к построению капитализма на развалинах распорядительно-распределительной экономики, точно так же как грабительское и эксплуататорское первичное накопление капитала было — в столь же этически «грязном» смысле — функциональным применительно к формированию зачатков капитализма. Появление подобного рода «теорий» зафиксировали Каминьский и Каминьский, констатировавшие, что «следствием такой позиции, которая во многих странах приняла облик неофициальной политики их правительств, была деморализация политической элиты» (*Kamiński*,

*Kamiński, 2004: 131*). В свою очередь, рассмотрение политического капитализма в категориях девиации от общепринятых норм тоже порождает трудности, поскольку в течение особого периода перехода от распорядительно-распределительной экономики к рыночной старые правила игры и нормы находятся в отступлении, а новые лишь кристаллизуются. И только в аксиологическом измерении указанное явление можно, вне всяких сомнений, классифицировать как принадлежащее к патологиям публичной жизни.

## **Причины патологий публичной жизни**

Причины патологий публичной жизни несколько отличаются от причин, которые связываются с явлениями социопатологии отдельной личности и семьи, что является еще одним показателем специфичности негативных явлений в публичном пространстве. Среди причин социопатологии чаще всего перечисляют факторы двоякого рода: индивидуальные, а также структурные. Индивидуальные причины записаны в биографии индивида; мы имеем здесь дело с дезорганизацией семей (алкоголизмом, наркоманией, насилием, сексуальными домогательствами в отношении детей или с банальной преступностью, встроенными в повседневную жизнь семьи), которая чаще всего оказывается связанной с нарушением процесса социализации индивида на той стадии его жизни, в течение которой у него кристаллизуется базовая система ценностей, а также умение отличать хорошее от плохого. Дети из таких семей сильнее подвержены социопатологическим формам поведения в их взрослой жизни. Среди структурных причин чаще всего упоминается хроническая бедность и маргинализация или даже социальное исключение. Наследование такой приниженной, ущемленной позиции представляет собой фактор, который увеличивает вероятность разных видов социопатологического поведения. К причинам подобного типа присоединяются также дезинтеграция и утрата социальных корней, особенно часто сопутствующие социальным миграциям, в результате которых индивид радикально меняет свое общественное окружение (например, из традиционного сельского сообщества попадает в среду большого города). Дело в том, что утрата корней и дезинтеграция снижают уровень стабилизирующего воздействия социального контроля, а это может (но необязательно должно) вести к формированию социопатологических взаимоотношений.

Тем временем причины патологий публичной жизни находятся совсем в другом месте – в дефектном, глубоко ошибочном функционировании институциональной сферы, а также в неэффективном функционировании тех правил игры, которые формально обязательны для действенных субъектов, совершающих различные поступки в публичном пространстве. Именно эти два фактора чаще всего идентифицируются в качестве непосредственных причин патологических явлений в публичной жизни (Jarosz, 2004a; Kamiński, 1997; Kamiński, Kamiński, 2004).

Дефектное функционирование учреждений либо институтов может означать сразу несколько явлений. Во-первых, оно может быть связано со слабостью институтов как таковых, что затрудняет возможность их функционирования в соответствии с теми публичными целями, для реализации которых они были образованы. Ведь в слабых институтах возникает – наряду с формализованными взаимоотношениями – сильная сеть неформальных связей, которые используют данный институт как фасад. Во-вторых, неясность компетенций или расплывчатость статуса тех или иных институтов публичной жизни, функционирующих на стыке частной и публичной сфер, также может вести к патологиям. Как пишет Каминьский, подобные институты или учреждения «создают легальные возможности для захвата публичных средств частными группами и организациями посредством коррупционной практики» (Kamiński, 1997: 51). В-третьих, на что Каминьский также обращает внимание, слабость публичных институтов «облегчает вторжение частных интересов в публичную сферу» (Ibid.: 55). В-четвертых, институциональная слабость ведет к ситуации, когда неизбежность санкций (в том числе уголовных) за действия, нарушающие правила игры, сомнительна. Примером может служить неэффективность всей правоприменительной системы, а особенно ее судебной ветви, которая не в состоянии справиться с захлестывающим ее потоком дел, требующих решения (Kojder, 2005: 139, *passim*).

Неэффективное функционирование правил игры – это явление, которому присущи как минимум следующие два аспекта. Во-первых, мы можем думать, что правила игры, правда, ясны и точны, но их слабо соблюдают или не соблюдают вообще. Во-вторых, правила игры могут функционировать неэффективно, так как они или взаимно противоречивы, или недостаточно точны, что дает возможность интерпретировать их способом, ведущим

к социальной патологии. Первый случай представляет собой часть явления слабой институционализации, которая предоставляет возможность создания взаимоотношений или даже неформальных связей, носящих патологический характер. Например, игнорирование формальных процедур (правил игры) при работе Совета министров Польши над законом о средствах массовой информации, выявленное в ходе деятельности специальной комиссии сейма, которая расследовала так называемое дело Рывина<sup>1</sup>, служит хорошей иллюстрацией слабой институционализации и в результате несоблюдения правил игры. Вторым аспектом (неверно сконструированные правила игры) чаще затрагиваются исследователями социальной патологии. Как пишет Койдер, «почти в каждой области права существуют не до конца ясные, расплывчатые, плохо отредактированные, непоследовательные и внутренне противоречивые правила, равно как и такие, которые допускают самую разнообразную интерпретацию» (Kojder, 2005: 133). Ошибочно сконструированные правила игры становятся, как правило, инструментом в руках неких групп интересов, использующих эти неясности или даже противоречия ради собственных частных интересов (чаще всего за счет публичного блага). Здесь, в частности, и находился источник политического капитализма (разумеется, помимо причин политического характера). На этом основании процветает также патологическое лоббирование (Jasiecki, Molęda-Zdziech, Kurczewska, 2000: 23), впутывающее представителей власти в различные формы непосредственной зависимости от каких-либо групп интересов.

Нужно упомянуть еще о двух причинах возникновения патологий публичной жизни, а именно о действиях по усмотрению властей, особенно при предоставлении лицензий или концессий на хозяйственно-экономическую деятельность, а также о терпимом отношении к конфликту интересов. Банальной истиной

---

<sup>1</sup> В Польше и по сей день продолжают так или иначе звучать отголоски «аферы Рывина», пазываемой также Рывингейтом, — одного из крупнейших, но так и не выясненных до конца коррупционных скандалов в III РП. Он разразился на фоне коррупционного предложения, сделанного в июле 2002 году местным медиамагнатом Львом Рывиным главному редактору крупнейшей и самой влиятельной в стране «Газеты wyborczej» Адаму Михнику, который не только с возмущением отверг это предложение, но и довел его до сведения широкой общественности, в результате чего разразился громкий скандал.

звучит утверждение, что принцип «по усмотрению» в случае административных решений, особенно имеющих экономические последствия, представляет собой коррупциогенную ситуацию и служит плодотворной почвой для разрастания коррупции, для ориентации на личную выгоду за счет общественного блага и для nepoтизма. Особенно это касается публичных заказов (Jarosz, 2005: 327). Точно так же обстоит дело с предоставлением лицензий на некоторые разновидности хозяйственной или экономической деятельности.

С конфликтом интересов мы имеем дело в тех случаях, когда индивид исполняет сразу несколько общественных ролей, характеризующихся взаимно противоречивыми целями. Например, человек занимает руководящие посты в двух конкурирующих между собой экономических организациях или хозяйствующих субъектах (что случается не слишком часто, если эти организации носят частный характер) или одновременно является чиновником, выдающим лицензии, и сотрудником фирмы, которая пользуется такой лицензией. Каминьский и Каминьский обращают внимание на тот факт, что «коммунистический строй связал экономику и политику в одно целое, а понятие „конфликт интересов“ не входило в коммунистический лексикон» (Kamiński, Kamiński, 2004: 130). Видимо, в этом же состоит и причина того, что терпимость к конфликту интересов, которая наблюдалась в посткоммунистических странах — по крайней мере, на первой стадии преобразований существовавших форм собственности, — была настолько велика, что сделала возможным появление политического капитализма. Однако объяснения сегодняшней толерантности к конфликту интересов одной только ментальностью, унаследованной от прежней системы, недостаточно. Ведь прошло уже столько лет, что сегодняшняя легитимность конфликта интересов если и существует, то представляет собой скорее следствие сиюминутного переплетения всевозможных факторов, действующих в нынешней общественной реальности, нежели наследие предыдущей системы. К числу таких факторов принадлежат, вне всякого сомнения, низкий уровень уважения к законодательству, если оно мешает реализации частных интересов, а также очень небольшой респект к тем этическим стандартам, которые публичная администрация должна рассматривать в качестве обязательных.

## Эпилог

Если бы не те демократические революции, начало которым в советском блоке уже на самом старте 80-х годов минувшего столетия положила «Солидарность», данная книга почти наверняка не возникла бы, а если бы даже это произошло, то ее бы напечатали в польском «самиздате»<sup>1</sup> как неподцензурную публикацию, причем очень ограниченным тиражом. В конечном итоге это мелочь, но из огромного числа таких маленьких событий, для которых не было бы места в ПНР, как раз и построена жизнь свободной Польши. Этот простой пример показывает, насколько сильно самые разные сферы жизни в сегодняшней Польше зависят от того, что произошло в нашей стране в 1980 году (возникновение «Солидарности»), а также в 1989 году (переговоры Круглого стола и первые, еще не в полной мере свободные выборы). Указанные события изменили нашу жизнь настолько сильно, что сегодня трудно себе вообразить ее форму, если бы указанные изменения не наступили. Польша — точно так же, как и многие другие страны данного региона Европы, — пережила демократическую революцию, последствия которой имеют переломное значение не только для нас, поляков, но также для остального мира. В результате целой серии демократических революций, случившихся в бывшем советском блоке, вся планета изменилась, а третья волна демократизации планеты добралась и до нас. Существуют сильные аргументы в пользу тезиса, что третья волна демократизации вошла во взрывообразную фазу лишь после падения коммунизма. Только после этого стремительность указанной волны резко, драматически выросла, поскольку большинство стран, освободившихся от коммунизма, выбрало для себя путь построения демократии и рыночной экономики.

---

<sup>1</sup> Буквальный перевод польского термина *drugí obieg*, соответствующего нашему понятию «самиздат», — «вторая система обращения». Однако в отличие от советского самиздата, где основным инструментом тиражирования служила пишущая машинка (вспомним, как Александр Галич пел: «„Эрика“ берет четыре копии. Вот и всё. И этого достаточно!»), в Польше уже с 1970-х годов существовала целая сеть подпольных издательств с квалифицированными редакциями и сравнительно неплохими типографскими возможностями и выходило множество самых разных книг, причем внушительными тиражами.



Те читатели, которые воспользовались приглашением совершить интеллектуальное путешествие по сложным тропинкам формирования нового общественного порядка и неутомимо выдержали вместе со мной весь этот путь вплоть до данного места, уже знают, что переход от коммунизма к демократии не был легким вояжем на скором поезде, в мягком вагоне первого класса, а скорее трудным маршем через «долину слез» (если воспользоваться образным сравнением Ральфа Дарендорфа<sup>1</sup>). Этот марш еще не закончился, хотя, наверное, самая трудная его стадия уже позади. Перед нами, однако, большой вызов в виде модернизации всей страны: начиная с технической инфраструктуры и кончая политической культурой. Мы еще не добрались до того места, откуда начинается относительно нормальное существование стабильной страны со здоровой экономикой и консолидированной, эффективной, четкой и честной политической системой.

Метафора марша далеко не оригинальна и не является особым открытием, а вдобавок еще и неточна. Если, однако, придерживаться ее, то следовало бы сказать, что, во-первых, не все принимают участие в этом марше (некоторые не выдержали его трудностей и отпали); во-вторых, есть немало таких, которые застряли в обозе и продолжают там копаться, равно как есть и такие люди, которые благодаря своим способностям, таланту, ловкости или же обманным, мошенническим путем пробились вперед, оставив других за спиной. Большинство, однако, продолжает шагать, хотя не все знают, что нас ждет после прохождения «долины слез». Политики, которые должны в этом марше выполнять функцию проводников, ссорятся по поводу его направления и темпа продвижения. Одни выступают за долгие привалы в пути, другие подгоняют марширующих и требуют спешить, еще кто-то считает, что мы должны двигаться в темпе самых медлительных из наших пешеходов. Есть, впрочем, и те, кто даже оспаривает сам смысл дальнейшего марша.

Необходимость перехода к демократии была в Польше очевидной с самого начала перелома, причем как в элитах, так и среди обыкновенных граждан. Исследования 80-х годов показывали, что среди разных видов депривации, наиболее сильно ощущавшихся поляками в тот период, — который ведь, помимо всего прочего, был еще и очень нелегким в материальном смысле, — назывались

---

<sup>1</sup> Р. Дарендорф говорил о «долине слез» применительно к возникновению фашизма.

ограничения гражданского статуса. Устранение столь острых деприваций уже не было возможным без изменения системы. Она должна была стать демократией, хотя целевая модель этого нового общественного порядка выглядела туманной — и другой, наверное, не могла быть. Впрочем, только в ситуации, когда радикальное изменение общественного устройства обладает каким-то общим (хотя бы и туманным) видением того строя, который должен прийти на смену старому режиму, есть смысл описывать такое изменение в категориях перехода. Когда в общественном сознании не существует подобного целевого видения, радикальные преобразования общественного устройства лучше описываются понятием трансформации, которое не содержит в себе вышеуказанной телеологической компоненты.

Переход к демократии можно признать завершившимся успехом, если преобразования общественного устройства доберутся до стадии консолидации в тот момент, когда в публичной жизни уже функционируют основные институты и правила игры демократической системы. Если период внедрения этих правил и институтов чрезмерно затягивается, мы можем иметь дело с явлением «преждевременной консолидации», в результате которой возникает гибридный строй, сочетающий в себе конститутивные элементы старого и нового общественного порядка. Такой гибридный строй мы наблюдали в Украине — вплоть до времени, когда там вспыхнула оранжевая революция. И, хотя результаты указанной революции по-прежнему остаются неясными<sup>1</sup>, она, однако, представляла собой импульс, который, вероятно, разбудил гражданское общество этой страны и открыл перед Украиной возможность вырваться из ловушки «преждевременной консолидации». Что касается Беларуси, страны, которая соседствует с Украиной, то ей такой импульс еще только предстоит пережить, хотя, естественно, нет никакой гарантии, что это произойдет в недалеком будущем.

Обычно переход к демократии начинается процессом либерализации правил старой системы. В свою очередь, либерализация открывает в публичной жизни некое пространство для появления общественных сил, которые будут стремиться к демократизации системы, а значит, к широкому распространению указанных либерализованных правил таким образом, чтобы ими могли

---

<sup>1</sup> Напомним, что второе издание этой книги, с которого сделан настоящий перевод, вышло из печати на польском языке в 2008 году.

пользоваться не только узкие олигархические группы, но и все общество в целом. Ведь демократизация является жизненным интересом тех новых общественных сил, появление и проявление которых стало возможным благодаря либерализации.

Подобное состояние чревато предреволюционной ситуацией, когда достаточно всего лишь мелкого инцидента, чтобы запустить в ход весь потенциал революции. При таком развитии событий мы имеем дело с бурным и внезапным изменением общественного порядка — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, победоносная революция приносит фундаментальное изменение правил функционирования общественного порядка. Меняются также принципы, на которые опирается стабилизация и репродукция новой системы. Старая властная элита заменяется существовавшей к этому моменту контрэлитой.

Такое бурное и внезапное изменение ассоциируется, в общем-то, с шелестом развевающихся знамен, свистом пуль, баррикадами и кровопролитием. Данная ассоциация вытекает из исторического опыта и целого ряда реальных испытаний, поскольку именно так выглядели великие, классические революции, заканчивающие жизнь тех общественных формаций, против которых они были направлены. Тем временем в рамках третьей волны демократизации в преобладающей части стран происходившие там революции носили совсем иной характер: их течение было мирным и опиралось на контракт между уходящей элитой старого режима и представителями тех социальных сил, которые служили мотором, движущей силой происходящего изменения общественного устройства. Те переломы, которые привели к падению коммунизма, не были в этом смысле исключениями. Напротив, они хорошо подходили к модели «договорных революций», которые ранее имели место в Южной Европе (Португалия, Испания), а также в Латинской Америке. И там существовала проблема, какой статус должны в новой системе получить люди старого режима. В Чили размежевание на сторонников и противников Пиночета еще сегодня возбуждает коллективные эмоции.

Переход к демократии, если он завершается успешно, закрывает, правда, главу с проблемами, создававшимися старым режимом, но не в состоянии мгновенно покончить с воздействием тех факторов, которые являются наследием этого старого режима (например, со структурой экономики, цивилизационным отставанием или, наконец, с менталитетом немалых сегментов общества).

Кроме того, открывается новая глава с проблемами, которые, с одной стороны, связаны с тем особым историческим периодом, каким являются стадии перехода от старой системы к новой, а с другой стороны, вытекают из разбежки между запросами, устремлениями и надеждами людей, возлагаемыми на демократическую революцию, и реальными возможностями молодой демократии и рыночной экономики, которые, как правило, не в состоянии удовлетворить всеобщие ожидания. У возрождающегося гражданского общества появляется разочарование, фрустрация и критическая установка по отношению не только к нынешней властной команде, но также ко всей общественной системе, какой она видится в повседневной жизни. Это не означает, что все люди, которые критически оценивают реально функционирующие демократические институты, вообще отворачиваются от демократических принципов по направлению к каким-то формам авторитаризма. Критическая оценка функционирования демократических институтов сопровождается в большинстве случаев одобрением самих демократических принципов, и это явление довольно-таки типично для обществ, которые прошли через мирную демократическую революцию. Как вытекает из исследований Клингеманна и Хофферберта (*Klingemann, Hofferbert, 1998: 22*), и соблюдение властями гражданских прав, и уровень функционирования экономики положительно коррелируют с оценкой функционирования демократии. Чем лучше достигнутые хозяйственные и экономические результаты и чем лучше соблюдаются гражданские права, тем выше оценивается функционирование демократии. Граждане молодой демократии способны больше простить новому режиму в экономической сфере, чем в сфере политической, однако при одном условии — если распределение национального дохода ведется справедливо.

Тем временем значительная, если не основная часть фрустрации, присутствующей в публичной жизни сегодняшней Польши, берется из распространенной убежденности в том, что распределение плодов экономического и хозяйственного роста носит несправедливый характер. Эту убежденность нельзя назвать беспочвенной, так как высокая динамика публичной жизни сопровождается разнообразными патологиями, самыми важными из которых представляются коррупция, а также перехватывание — особенно на начальной стадии перехода к демократии — публичных благ частными субъектами. Именно это явление, называемое «политическим капитализмом», привело к тому, что разделение

на сторонников прежнего режима (меньшинство) и на его противников (большинство), с одной стороны, и разделение на «выигравших» и «проигравших» в результате удачного перехода к демократии и рыночной экономике — с другой, не согласовывались между собой. Среди выигравших оказалась значительная часть партийной номенклатуры, тогда как среди проигравших — значительная часть сторонников системного изменения (*Wasilewski, Wnuk-Lipiński*, 1995), особенно рабочих, которые составляли костяк того массового движения протеста, каким была первая «Солидарность» (*Gilejko*, 2005).

Тем самым возникает вопрос, насколько те пласты фрустрации, которые присутствуют в нашей коллективной жизни и время от времени принимают вид коллективных публичных проявлений, представляют собой угрозу для стабильности системы. Демократия, в отличие от старого режима, является очень эластичной системой, а пространство публичной жизни открыто в ней для экспрессии (проявления) даже таких коллективных эмоций, которым присущ очень высокий накал. Таким образом, эта внешняя экспрессия не является угрозой для стабильности системы, ибо возможность ее возникновения в публичной жизни представляет собой одно из базовых системных свойств. Максимум, на что способна такая экспрессия, — это составлять угрозу для стабильности текущей правительственной команды, которая в результате подобной внешней экспрессии может потерять легитимацию, предоставляемую ей свободными, всеобщими и честными выборами. В демократии резкий легитимационный дефицит правительства ничем не угрожает стабильности системы, и существует способ его устранения — повторные выборы. Антиправительственные демонстрации, которые часто появлялись в публичной жизни Польши на протяжении минувшего пятнадцатилетия и, надо думать, будут, вероятно, ничуть не реже происходить в будущем, не составляют, таким образом, угрозы для самой системы, однако при одном условии — если они протекают в соответствии с правилами игры, которые обязательны для всех акторов, функционирующих в публичной жизни.

Хофферберт и Клингеманн (*Hofferbert, Klingemann*, 2000: 12), анализируя формы общественной неудовлетворенности, выражаемые в публичной жизни Германии, составили типологию существующих там позиций и установок, в рамках которой выделили три категории граждан: 1) удовлетворенных демократов;

2) недовольных демократов; 3) недемократов. Из их эмпирических исследований вытекает, что в Западной Германии больше всего удовлетворенных демократов (51%), несколько меньше недовольных демократов (40%) и решительно меньше всего недемократов (9%). Тем временем в Восточной Германии, жители которой имеют за плечами исторически недавний опыт коммунизма, большинство составляют недовольные демократы (52%), заметно меньше удовлетворенных демократов (32%) и меньше всего недемократов (16%). Мы не располагаем аналогичными данными для Польши, но на основании некоторых промежуточных показателей (*Strzeszewski, Wenzel, 2000*) можем предполагать, что если бы применить эту же типологию к польскому демосу, то в его составе пропорции удовлетворенных и недовольных демократов, а также недемократов были бы приближены скорее к Восточной Германии, нежели к Западной. Однако, невзирая ни на что, это все-таки пропорции, образующие солидный тыл для социальной правомочности демократической системы.

Период перехода от коммунизма к демократии, помимо всех других его свойств, был также школой гражданства для людей, которые свыше полувека были лишены всей полноты гражданских прав. То было время возвращения субъектности в публичную жизнь, а обучение всему новому, проходившее посредством практического опробования тех возможностей, которые предоставляет система либеральной демократии, было отнюдь не легкой задачей. Особенно трудным оказалось – для некоторой части наших граждан – восприятие границы между свободой и вольницей, своеволием, разгулом, тогда как для другой их части возвращенная свобода и субъектность скорее ассоциировались с восстановлением прав, чем со второй стороной этой медали, иначе говоря с гражданским долгом и обязанностями перед общностью. Политическая культура многих коллективных акторов публичной жизни оказалась ничтожной, хотя феномен первой «Солидарности» давал надежду на то, что за долгий период коммунизма гражданские добродетели выжили и сохранились. Тем не менее такие явления, как безудержное стремление к личной выгоде, своекорыстие, партикуляризм, отсутствие уважения к тем согражданам, которые придерживаются иных взглядов, недоверие в межчеловеческих отношениях, а также стремление любой ценой «добиваться своего» за счет других, распространились широко. Наверняка одной из причин этого явились стереотипы поведения,

служившие образцами и создававшиеся политическими элитами, а точнее той их частью, которая трактовала политику и должности во властной элите как удобный случай для реализации собственных интересов без оглядки на общее благо. Ведь примеры низкой политической культуры шли сверху. Нельзя, однако, забывать, что при демократической системе в политическую элиту попадают люди с мандатом общественной поддержки. И поэтому не удастся полностью снять ответственность с рядовых граждан, так как это их поддержка или ее прекращение открывает дорогу на вершины власти тем людям, которые не только не удовлетворяют возлагавшихся на них надежд, но и вносят в публичную жизнь низкие стандарты дебатов и дискуссий, предлагают утопические рецепты, реализация которых была бы несчастьем для всех, а также реализуют свои частные цели за счет публичного блага. Этот факт, в свою очередь, отпугивает и отталкивает от политики многих разумных, честных людей. А ведь они составляют решительное большинство гражданского общества, но их голос — в общем шуме и гаме — слышится слабо, и вовсе не он создает климат публичной жизни.

Я начал эту книгу с требования Фрыча Моджевского, который считал, что «таковою должна быть цель государства, дабы все его граждане могли жить хорошо и счастливо, честно и благородно». Эта цель необычайно честолюбива и амбициозна, чтобы не называть ее утопическим, несбыточным мечтанием. Ее невозможно осуществить целиком, но это ведь не означает, что она не является верным отражением желаний молчаливого большинства. От нас, обыкновенных граждан, а также от наших представителей, которых мы делегировали для того, чтобы они от нашего имени находились во власти и осуществляли ее, зависит, будем ли мы приближаться или же отдаляться от названной цели, начертанной почти пятьсот лет назад. Если эта книга, показывающая закономерности и обусловленности функционирования публичной жизни, укрепит — по меньшей мере среди некоторых из читателей — убеждение, что приближение к указанной цели возможно, то я сочту свою задачу выполненной.

Варшава, октябрь 2005 г.

## Приложения

### *Акт Тарговицкой конфедерации (фрагменты)*

Мы, сенаторы, министры Речпосполитой, коронные чиновники, а также же чиновники, сановники и рыцарство коронное, видя, что уж нет для нас Речпосполитой, что сейм пышный, созданный токмо на шесть недель, присвоивши себе законодательную власть навсегда и узурпируя оную с непрестанным попранием прав уже с лишним три года с половиной, поломал кардинальные законы, отменил все вольности сословия шляхетского, а в день 3 мая года 1791-го, переменявшись в революцию и крамолу, с вспоможением мещан, уланов, солдат новую форму правления и навязанное престолонаследование постановил, королю от присяги, на раста conventa [договоре о всеобщем соглашении] учиненной, освободиться дозволил, власть королей уширил, республику посполитую в монархию обратил, шляхту без владений от равенства и вольности отторгнул, волю народа, в воеводских инструкциях данную, ни за что посчитал, кару, учиненную неприятелям Отчизны, на тех простер, кои бы противу тех беззаконностей пенять посмели, войско народное к присяге на защищение учрежденной неволи понудил... сам под конфедерацией сеймующи, конфедеровать всему народу, окромя себя, воспретил... в бедственную войну противу России, самопаллучшей нашей соседки, самопаладвейшей из друзей и союзников наших, впутать нас старался. Ибо кто же счастье сумеет притеснения и удары нынешнего сейма, причиненные вольности, — а мы, будучи без надежды, дабы сейм оный когда-нибудь опомнился и образумился... не привыкши к каждам, кои надела на нас конституция 3-го мая, а неволю кладя вровень со смертию, — восстаем яко можно паторжественнейше противу престолонаследования, учрежденного конституцией 3-го мая... а на конец — противу всех законов и установлений, на том сейме возникнувших, кои бы вольность Речпосполитой испровергли. <...> Конфедеруем и свяжем себя узлом неразрывным вольной конфедерации при вере Святой римской католицкой, при равенстве и стародавности для всяческой шляхты, а не токмо для оседлой, при целости границ любых владений Речпосполитой... при правительстве республиканском и яко можно павольнейшем, при оставлении вольности унийных прав Великого княжества Литовского на Корону, при целости шляхетских прав, при сохранении национальной мощи... а противу престолонаследования, противу приращения власти королей, противу отрывания самопаладвейшей частицы страны... противу конституции 3-го мая, обращающей посполитую республику нашу в монархию... противу всего, что только сотворил сей сейм недозволенного [беззаконного], а на конец — противу всех тех, кои бы конституцию 3-го мая удерживали и силою подкрепить хотели, — и с таковой целью выбрали мы себе за маршала Его честь Станислава Щенного Потоцкого, генерала коронной артиллерии... а за предводителей войск коронных, при конфедерации и ея властях пребывающих,



Его честь Ксаверия Браницкого, гетмана коронного, и Северина Жевуского, польного гетмана коронного...

А поелику Речпóсполита, побитая и всю мощь имеющая в руках своих утеснителей, собственными силами из неволи подвигнуться не может, личего иного ей не остается, токмо приобегнуть с доверительностью к Великой Екатерине, коя над народом соседственным, приятельным и союзническим, с такою славою и справедливостью властвует, полагаясь как на великодушность сей великой монархини, так и на трактаты, кои связуют ея с Речпóсполитой.

Требования наши таковы, дабы Речпóсполита осталась удельной, обособленной, самовластной, независимой, цельной в границах своих, ибо спокон веков никому подневольной и ничьей собственностью либо наследством не бывала. — Требуем вольности, приличествующей народу нашему, ибо в ней предки наши жили извечно, ибо в ней родились мы все и умирать хотим. — Требуем внутренней спокойности, долговечного мира с соседями, ибо ищем счастья и безопасности имуществ наших, а не замешательства войн. — Требуем утвердить у себя республиканское правительство, потому как к иному привыкнуть не сумеем и потому как всякое иное может токмо доуку нам принести и разор.

Таковы намерения наши, а дабы суметь нам оные свершить, взываем к доблестной помощи той великой монархини, каковая, будучи красой и гордостью века нашего и гнушаясь завистью подлой и кознями хитроумными, коихумышления храбрая ея безбоязность крушит и изничтожает, — умеет счастье народов ценить и подает им руку помощи<sup>1</sup>.

Справедливость просьб наших, святость трактатов и союзов, кои связуют ея с Речпóсполитой, а более всего величие ея души дают нам верную надежду бескорыстной, великодушной, одним словом, достойной ея для нас помощи. <...>

Братие наши, к вам взываем! Воздымаем руки наши к вам за ту общую Отчизну, каковая гибнет, а кою вы сохранить можете, и не о нас тут только речь — сгинете и вы, коль Речпóсполита гибнуть будет, памяуйте, что где восседается тирания, там на время оттянуть кончину свою можно, но оной не избежать, позднее ли, скорее ли все, что дышит вольностью, под бременем деспотизма пасть должно.

Источники оригинального польского текста: <http://www.republika.pl/rg1/teksty/18/html>; Radziwiłł A., Roszkowski W. *Historia 1789–1871*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

<sup>1</sup> Этот и два предыдущих абзаца цитируются в приблизительном переводе в книге Н. И. Костомарова «Старый спор. Последние годы Речи Посполитой» (М.: Чарли, 1994. С. 414).

*Декларация прав человека и гражданина,  
принятая 26 августа 1789 г.*

Представители французского народа, образовав Национальное собрание и полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиною общественных бедствий и испорченности правительств, приняли решение изложить в торжественной Декларации естественные, неотчуждаемые и священные права человека, чтобы эта Декларация, неизменно пребывающая перед взором всех членов общественного союза, постоянно напоминала им их права и обязанности, чтобы действия законодательной и исполнительной власти, которые в любое время можно было бы сравнить с целью каждого политического института, встречали большее уважение; чтобы требования граждан, основанные отныне на простых и неоспоримых принципах, устремлялись к соблюдению Конституции и всеобщему благу. Соответственно, Национальное собрание признает и провозглашает перед лицом и под покровительством Верховного существа следующие права человека и гражданина.

*Статья 1*

Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе.

*Статья 2*

Цель всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковые – свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению.

*Статья 3*

Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации.

*Статья 4*

Свобода состоит в возможности делать все, что не нанесит вреда другому; таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены только законом.

*Статья 5*

Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не может быть принужден делать то, что не предписано законом.

*Статья 6*

Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он должен быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане равны перед ним и поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, что обусловлены их добродетелями и способностями.

*Статья 7*

Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписанных им формах. Тот, кто спрашивает, отдает, исполняет или заставляет исполнять

основанные на произволе приказы, подлежит наказанию; но каждый гражданин, вызвавший или задержанный в силу закона, должен беспрекословно повиноваться: в случае сопротивления он несет ответственность.

#### *Статья 8*

Закон должен устанавливать наказания лишь строго и бесспорно необходимые; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, принятого и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще примененного.

#### *Статья 9*

Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не установлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые излишне суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться законом.

#### *Статья 10*

Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом.

#### *Статья 11*

Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом.

#### *Статья 12*

Для гарантии прав человека и гражданина необходима государственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена.

#### *Статья 13*

На содержание вооруженной силы и на расходы по управлению необходимы общие взносы; они должны быть равномерно распределены между всеми гражданами согласно их возможностям.

#### *Статья 14*

Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих представителей необходимость государственного обложения, добровольно соглашаться на его взимание, следить за его расходованием и определять его долевого размер, основание, порядок и продолжительность взимания.

#### *Статья 15*

Общество имеет право требовать у любого должностного лица отчета о его деятельности.

#### *Статья 16*

Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет Конституции.

#### *Статья 17*

Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом явной общественной необходимости и при условии справедливого и предварительного возмещения.

### Варшавская конфедерация 28 января 1573 г.

Мы, Рады коронныя, духовныя и светскія, и Рыцарство всякое, и иные сословия единой и нераздельной Р. П. [Речи Посполитой] из Великой и Малой Польши, Великого княжества Литовского, Киева, Волыни, Подляшья, из земли Русской, Прусской, Поморской, Жмодской [Жемайтской], Лифлянской, и грады коронныя.

Возглашаем всем и всяким, кому падлежит, *ad perpetuam rei memoriam* [на вечную того дела память], что при нынешних опасных временах, без верховенства государя нашего короля проживая, о том старались мы все усердно на съезде Варшавском, каково бывало по примеру предков своих, дабы сами между собой мир, справедливость, порядок и оборону Речи Посполитой удержат и сохранить могли. Также же степенным и единогласным соизволением и священным присяганием себе мы все сплоченно именем всей Речи Посполитой обещаем и обязуемся верою, честью и совестью нашей: Впредь никакого раздора промежду собой не чинить и никакой *dysmembascuję* [безначальности и разобщенности] не допускать, яко же в единой нераздельной Речи Посполитой ни единой части без другой государя себе не избирать, и *factionibus privatis* [мятежных заговоров приватно] ни с кем не учинять, по сообразно здесь назначенному месту и времени съехаться всею громадой на коронное собрание и сплоченно да спокойно то *act electionis* [дело избрания государя] сообразно воле Божьей до правомерного итога довести, а иначе ни на какого государя не дозволять, единственно с таким твердым и ясным условием, что он нам попервоначалу на все права, привилегии и вольности наши, каковые есть и каковые ему укажем *post electionem* [после элекции], присягнуть обязан. А присягнуть о таком: между людьми, разъединенными и розными в вере и богослужении, мир всеобщий сохранять, и нас за границы коронные никогда и никоим образом не тянуть, ни обычаем, ни просьбою своей королевскою, ни *solacione quinque margarum super hastam* [выплатой пяти марок на древце копья], ни сбора посполитого рушения без сеймового узаконения не чинить.

Также же восставать противу каждого того обещаемся, кто либо иные места и времена для элекции короля себе бы выбирал и назначал, либо смятение на элекциях творить хотел, либо люд служилый особно набирал, либо вышепомянутой элекции, с согласия всех *conclusae* [совершенной], противившись бы посмел. А затем, что в Речи Посполитой нашей есть *disidium* [раздор] немалый *in causa religionis christianae* [в делах веры христианской], и упреждая то, дабы по сей причине между людьми *seditionis* [смута] какая-нибудь вредоносная не затеялась, каковую по иным королевствам ясно видим, обещаем себе кунно *pro nobis et successoribus nostris in perpetuum sub vinculo iuramenti, fide, honore et conscientiis nostris* [за нас и за потомков наших на вечные времена под порукою присяги, под верою, честью и совестью нашей], что мы, кои суть *dissidentes de religione* [несогласные в вере], будем мир промежду собой сохранять, а изза несхожести в вере и отличия в церквах не проливать крови и не карать *confiscatione bonorum* [отобранием благ], бесчестьем, *carceribus et exilio* [заключением под стражу и изгнанием], и никакому начальственному лицу, ни власти такому *progressu* [деянию] никоим способом не помогать, и напротив, где бы ее кто проливать возжелал *ex ista causa* [по сей причине], твердо все

должны будем стать в защищение этого, хотя бы также под страхом приговора либо некоего разбираня судебного, кто бы оное учинить хотел.

Во всяком же случае через сию конфедерацию нашу никакого верховенства господ над подданными их, как господ духовных, так и светских, не отымаем, и никакого повиновения подданных противу их господ не портим, а напротив, если бы таковые licentia [своеволия] где и были sub praetextu religionis [под предлогом верований], тогда, яко бывало искони, вольно будет и ныне каждому господину своего подданного непослуного in spiritualibus quam in saecularibus [в делах как духовных, так и светских] сообразно своему разумению покарать. Дабы всяческие beneficia iuris patronatus regii praelaturarum ecclesiasticarum [бенефиции и блага от покровительства королевского и от прелатств церковных], таковые, яко архиепископства, епископства и иные бенефиции всякие были даваемы не иным, но токмо римского вероисповедания клирикам и особам духовным, indigenis Polonis iuxta statutum [коренным жителям польским, согласно статуту]. А бенефиции и блага греческих церквей даваемы должны быть людям той же веры греческой. И затем, что для мирности многое зависит от того, чтоб differentiae inter status [различия между сословиями] сдерживаемы были, а между сословием духовным и светским есть немалое differentia de rebus politicis temporalibus [различие в делах политических преходящих], обещаем все оные между собою comperere [согласовать и уравнивать] на ближайшем будущем сейме для элекции.

Справедливости же таковые порядки в силе оставляем, кои себе которое воеводство купно дома установило либо еще слаженно установит, — также и касательно потребной обороны для пограничных замков.

Кто-нибудь ежели кому некий долг записал и перед судом гродским firma inscriptione [в силу твердой расписки] добровольно отвечать повиновался, будь ли то пред смертью королевской либо уже и после смерти, таковой каждый в согласии с записью своею пусть progressum iuris usitatum [обычные последствия закона] терпит. А господа старосты будут должны vigore huius generalis confederationis sine omni dilatione iuxta usitatum formam [в силу здешней всеобщей обязанности без всякой отсрочки согласно обычным правам] судить, и вершить, и исполнять таковые causy [дела], опричь тех воеводств, кои себе особенную форму для экзекуции справедливости установили sub interregno [при междуцарствии и в пору небытности короля] либо еще будут устанавливать. Inscriptiones [Записи] всяческие et resignationes bonorum perpetuas coram authenticis actis factas et fiendas sub interregno [и завидетельствования имущества на вечные времена, лично в подлинных актах учиненные и кои впрямь будут совершены во время междуцарствия и небытности короля,] сплоченным сей конфедерации соизволением утверждаем, дабы sub interregno [во время междуцарствия и небытности короля], начиная со дня смерти королевской, никому in progressibus iuris fatalia [в совершении предначертанных правовых деяний] сии praescriptio [рескрипты и возражения] не вредили на будущее для справедливости его. Тако же кои должествовали terminum [в определенное время] получать деньги на прошлые годы либо на новые лета, либо на какое-то уже минувшее время, этим всем дабы должию было получить свои деньги на первых судах, ежели даст сие Господь Бог после избрания нового короля, либо на первом открытии земских книг.

Обещаем тако же то себе, что, едуци на назначенные элекции короля, и на месте будучи, и по домам разъезжаясь, никакого насилия людям и

сами между собой чинить не будем.

Таковые все вещи обещаем за себя и за потомков своих хранить прочно и держаться того *sub fide, honore et conscientiis nostris* [под верою, честью и совестью нашей]. А кто бы тому воспротивиться хотел и мир, снокойствие да порядок повсеместный поганить, *contra talem omnes consurgemus in eius destructionem* [противу такового восстанем все ради его изничтожения]. А для лучшей удостоверенности во всех вышеописанных делах приложили мы печати свои к сему и собственными руками подписали.

*Actum Varschoviae in convocatione Regni generali, vigesima octava mensis Januarii, Anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo tertio* [Совершено в Варшаве на конвокационном съезде вальном коронном, двадцать восьмого дня месяца генваря Года Господнего тысяча пятьсот семьдесят третьего].

*Franciscus Crassinski episcopus Cracoviensis subscripsit* (Францискус Красинский, епископ краковский, подписал).

Ян Фирлей, из Домбрович воевода и староста краковский генеральный, коронный польский маршал etc. (и проч.), собственной своею рукой *subscripsit* (подписал).

Петр Зборовский, воевода саудомерский, собственной рукой.

Ласки Ольбрихт, воевода серадзский.

Ян Сераковский, воевода лепчицкий, собственной рукой.

Ян (из) Слюзова, воевода бжеский (брестский), собственной рукой *subscripsit* (подписал).

Ян из Крот[ошина], воевода ишовроцлавский, собственной рукой.

Миколай Мельецкий, воевода подольский и проч., собственной рукой *subscripsit* (подписал).

Миколай Мачеёвский, воевода любельский (люблинский),

Анзельм Гостомский из Лезенич, воевода равский.

Фабиан Черна, воевода мальборский.

Остаффей Воллович, кастелян троцкий, подканцлер В. К. Л. [Великого княжества Литовского] и проч.

Павел Пач, кастелян витебский, староста вилькомерский, от своего лица *manu propria* (собственной рукой).

Хиероним Оссолинский, кастелян саудомерский, собственной рукой *subscripsit* (подписал).

Ян Томичский из Томич, кастелян гнезненский.

Станислаус Херборт, кастелян львовский, староста самборский, своей рукой.

Хиероним Сенивский, кастелян каменецкий, *subscripsit* (подписал).

Станислав Слупецкий из Кошар, кастелян любельский (люблинский), собственной рукой.

Зигмунт Вольский, кастелян черский, староста варшавский и ланчкоронский.

Ян Дульский, кастелян хелминский, собственной рукой.

Ян Костка, кастелян гданьский, староста мальборский.

Ян Тарло, кастелян радомский, собственной рукой *subscripsit* (подписал).

Ян Христофорский из Христофорич, кастелян велкопский, собственной рукой *subscripsit* (подписал).

Валенти Святковский *subscripsit* (подписал).

Станислав Дрохоёвский.

Миколай Сенницкий, подкоморий хелмский.

Ян Бейковский, стольник пшемысльский, своей рукой.

Паулус Джевицкий, ex propria tantum persona non ut legatus (собственной персоной, не будучи ничьим послом).

Александр Зоравницкий, ключник лудский, от своей персоны.

Петр Черни, собственной рукой.

Петр Кашовский, manu propria (собственной рукой).

Йоаннес Замойский Белзензис etc., capitaneus pro se subscripsit (и проч., капитан, за себя подписал).

Станислаус Чиковский, подключник краковский, своей рукой.

Войцех Вилькановский, подключник плоцкий.

Станислав Иван Карныцкий.

Климунт Коженский.

Петр Олессницкий из Олессник.

Бальчер Порембский, manu propria subscripsit (собственной рукой подписал).

Петрус Граевский, capitaneus Yisnensis succamerarius Zacrozimensis manu (капитан юсепский, подкоморий закروحимский, собственноручно).

Андреас Красинский, iudex terrae Cziechanoviensis subscripsit (судья земли чехановичской, подписал).

Станислаус Смечинский, sub iudex Cziechanoyiensis propria subscripsit (помощник судьи чехановичского, собственной рукой подписал).

Йоаннес Давидовский de (из) Давидува.

Мальхер Нечецкий, succamerarius Drohicensis (подкоморий дрогиченский).

Ян Тарювский, подचाший черский, subscripsit (подписал).

Михал Заливский, помощник судьи ливский.

Станислав Радзиминьский, староста ливский и каменский, своей рукой от своей персоны со стороны одного только мира.

Хиероним Буженьский, подскарбий коронный, subscripsit (подписал).

Якуб Рокоссовский, кастелян сремский.

Паулус Щавиньский, de magna (из большого) Щавина, кастелян Brzezi-nensis, capitaneus Sochaczewiensis subscripsit (кастелян бжезинский, капитан сохачевский, подписал).

Павел из Дзялиня, кастелян добжиженский, своей рукой.

Ян Хербурт, кастелян саноцкий, староста пшемысльский, своей рукой subscripsit (подписал).

Матиас Щепановский.

Лукас Олессницкий.

Миколай Фирлей, староста казимирский.

Анджей Зборовский, кроме hasti (копья), manu propria (собственной рукой).

Гежи Фредро из Плессовиц, manu propria (собственной рукой).

Станислав Виссоцкий из Будзиславья, кастелян ледский, subscripsit (подписал).

Адам Поцей, писарь земли бжеской (брестской), от своей персоны subscripsit (подписал).

Подпись русскими буквами, и вторая подле нее — тоже русскими буквами.

Рахмалъ Пишемский, подचाший калишский, propria (собственной [рукой]).

Лепарт Страш, бургграф краковский, manu propria (собственной рукой).

Анджей Недрвицкий, Sendomiriensis nuncius (пунций сандомирский).

Сигмунт Цижовский, посол земли сацдомерской.  
 Станислав Конечпольский, староста велюньский.  
 Станислав Пшеремпский из Пшеремба.  
 Анджей Заремба из Калиновы, manu propria subscripsit (собственной рукой подписал).  
 Михал Язёвецкий из Бучача, староста хмельницкий.  
 Ян Творовский на Бучаче, собственной рукой.  
 Валентинус Понентовский, подкоморий ленчицкий.  
 Томас Дембовский, iudex tertae Lanczicziensis, manu propria subscripsit (судья земли ланчиценой, собственной рукой подписал).  
 Миколай Малеховский, посол ленчицкий, староста гостыньский  
 Мышка и проч.  
 Марчиан Хелмский, земский хорунжий краковский, manu propria (собственной рукой).  
 Эразмус Айхлер, консул краковский.  
 Сигизмундус Гутетер, консул краковский, tanquam nuncii a senatu Cracoviensi (а также нунций в краковском сенате).  
 Иероним Ланскорунский subscripsit (подписал).  
 Миколай Гжибовский, подкоморий варшавский.  
 Станислаус Сираковский, кастелян ковальский, subscripsit (подписал).  
 Якуб Немоевский, посол из воеводства влоцлавского.  
 Валенти Чирский, собственной рукой.  
 Даниель Племецкий.  
 Христув Конарский.  
 Станислав Кобильницкий, староста пшеасненский.  
 Флориан Криский.  
 Миколай Длуский из Котфича, manu subscripsit ([своей] рукой подписал).  
 Андреас Биличский.  
 Петр Доброческий.  
 Кшистов Салёвский из Шалёвой.  
 Ян Пенковский de (из) Пенк[овице].  
 Каспар Щепановский.  
 Габриель Яссенский.  
 Петр Орачёвский.  
 Йоаннес Кшенцовский собственной [рукой].  
 Ян Сильничский из Сильнич.  
 Станислав Шильнезский их Сильнич своей рукой.  
 Войцех Потоцкий subscripsit (подписал).  
 Мельхиор Кропка из Крукборка subscripsit (подписал).  
 Теофил Хойнацкий, districtus Ravensis nuncius (нунций округа равенского).  
 Михал Пальчёвский из Бжезнич.

Источники оригинального польского текста: <http://www.literatura.hg.pl/warsconf.htm>; *Wierzbowski T. Jakób Uchański («Якуб Ухальский»)*. Warszawa, 1895, rozdz. IX; *Sobieski W. Niepawisć wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III («Религиозная ненависть толп при правлении Сигизмунда III»)*. Warszawa, 1902; *Kot S. Humanizm i Reformacja («Гуманизм и реформация»)*. Lwów, 1927. S. 424–427.



*Конституция 3 мая  
Правительственный закон  
(3 мая 1791 г.)*

(Установление правительственное.  
Закон, утвержденный мая 3 дня 1791 года<sup>1</sup>)

ВО ИМЯ БОГА В ТРОИЦЕ СВЯТОЙ ЕДИНОГО. Станислав Август, божиею милостию и волей народа король Польский, великий князь Литовский, Русский, Прусский, Мазовецкий, Жмойдицкий, Киевский, Волынский, Подольский, Подляшский, Лифляндский, Смоленский, Северский и Черниговский, купно с сословиями сконфедерованными, в двояком числе народ польский представляющими.

Признавая, что жребий всех нас зависит единственно от утверждения и приведения в совершенство национальной конституции, познав долговременным опытом застарелые правления нашего недостатки и желая воспользоваться порою, в какой находится Европа, и той угасающей минутой, которая нас самим себе возвратила, свободные от поносительных чуждой власти наказов, ценя превыше жизни, превыше счастья личное политическое существование, внешнюю независимость и внутреннюю вольность народа, коего судьба вверена в руки наши, желая также на благословение и на благодарность современных и будущих поколений заслужить, невзирая на препятствия, которые в нас страсти причинять могут, ради всеобщего блага, ради утверждения вольности, ради спасения Отечества нашего и его границ, с величайшей твердостью духа настоящую Конституцию утверждаем, и сию за святую и ненарушимую провозглашаем, пока бы народ во время, законом предписанное, своей отчетливой волей не признал за нужное переменить в ней какую-либо статью.

К каковой Конституции дальнейшие постановления нынешнего сейма во всем применяться должны.

### *1. Господствующая религия*

Господствующей народной религией есть и будет святая римская католическая вера со всеми ее законами; переход от господствующей веры

<sup>1</sup> В основу настоящего перевода (в том числе данной части заголовка, которая в польском оригинале книги отсутствует) положен текст, хранящийся в Архиве внешней политики Российской империи, фонд «Сношения России с Польшей», оп. 79/1, 1791, д. 1294, л. 103–118 (подлинник); л. 119–145 (перевод XVIII века, выполненный в Коллегии иностранных дел коллежским ассессором Степаном Адвиновским – предположительно для императрицы Екатерины II), который был опубликован в кн.: *Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego* («Избранные тексты первоисточников по истории польского государства и права»). Т. 1. Ч. 2. Warszawa, 1951. С. 88–97 – и затем воспроизведен в монографии: *Стегний П. В.* Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772, 1793, 1795. М., 2002. С. 516–526 (цит. по: <http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Polen/XVIII/1760-1780/Stegniy/1-20/13.htm>) – с исправлениями, изменениями и примечаниями, внесенными переводчиком данной книги (помеченными [Е. Г.], с пояснениями Эдмунда Внук-Липиньского (помеченными [Э. В.-Л.]), с вариантами Степана Адвиновского (помеченными [С. А.]) и с оформлением, в основном повторяющим польский оригинал.

к исповеданию какой-либо другой религии возбраняется под карами отступничества. А затем, что та же самая святая вера повелевает нам любить ближних наших, потому всем людям, какого бы ни были исповедания, спокойствие в вере и правительственное покровительство от нас подобает. И для того всяких обрядов и религий вольность в польских краях сообразно отечественным установлениям оговариваем.

## II. Шляхта, землевладельцы

Почитая память предков наших яко основателей вольного правления, шляхетскому сословию все свободы, вольности, прерогативы преимуществ в приватной и публичной жизни наиторжественнейше гарантируем; а особливо права, статуты и привилегии оному сословию от Казимира Великого, Людовика Венгерского, Владислава Ягеллы и Витольда, брата его, великого князя Литовского, не менее от Владислава и Казимира Ягеллонов, от Яна Альберта, Александра и Сигизмунда I братьев, от Сигизмунда Августа, последнего из линии ягеллонской, справедливо и законно дарованные, утверждаем, обеспечиваем и ненарушаемыми объявляем. Достоинство шляхетского сословия в Польше равным признаем всем степеням шляхетства, где бы то ни было употребляемо. Всех шляхтичей равными быть между собой признаем, не токмо в том, что касается до стараний о должностях и до оказания Отечеству услуг, приносящих честь, славу и пользу, но тако же чтобы равно им пользоваться привилегиями и преимуществами, шляхетному сословию свойственными. А паче всего права личной безопасности и личной вольности, земельных и движимых собственности, тако же, как они извечно каждому принадлежали и были полезны, благочестиво и ненарушимо сохранять хотим; и сохраняем: ручаясь наиторжественнейше, что противу собственности чьей-либо никакой отмены или эксцепции [изъятия. — Э. В. Л.] в праве не допустим, а паче верховная отечественная власть и правительство, оною установленное, никаких притязаний под предлогом *iurium regalium* [исключительных королевских прав. — Э. В. Л.], и под каким-либо другим видом на обывательские собственности, в части ли, или в целом, предъявляться не будет. Для чего личную безопасность и всякую собственность, кому-нибудь по праву принадлежащую, яко подлинный общественности узел, яко зеницу обывательской вольности почитаем, обеспечиваем, утверждаем, а тако же хотим, дабы оные в потомственные времена были почитаемы, обеспечиваемы и ненарушимо пребываемы.

Шляхту наипервейшими защитниками вольности и настоящей Конституции признаем. Каждого шляхтича добродетельности, гражданственности и чести поручаем ее святость почитать и ее ненарушимость соблюдать, яко единую твердыню Отечества и свобод наших.

## III. Города и горожане

Закон, на нынешнем сейме постановленный, под заглавием «*Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej*» («Города наши королевские вольные во владениях Речи Посполитой»), в совершенном сохранении иметь хотим; и частью настоящей Конституции провозглашаем

яко закон, шляхетству вольному польскому для обеспечения его свобод и целости общего Отечества придающий новую, подлинную и действительную силу.

#### *IV. Крестьяне-землепашцы*

Землепашцев, из-под коих рук течет изобильнейший в отчем краю богатств источник, кои в народе составляют самое многочисленное население, а потому нахрабрейшую государства силу как по справедливости, добросердечию и обязательствам христианским, так и по хорошо понимаемой собственной нашей пользе, принимаем под защитение закона и отечественного правительства, постановляя, что отныне всяческие свободы, пожалования или договоры, каковые помещики с крестьянами своих владений доподлинно составили, будь бы оные свободы, пожалования и договоры с общинами или же с каждым жителем деревни порознь сделаны, станут составлять совместное и взаимное обязательство сообразно с точным добросовестным смыслом условий и описаний, в таковых пожалованиях и договорах заключенных, которые попадают под покровительство отечественного правительства.

Таковые постановления и происходящие из них обязательства, добровольно принятые одним владельцем земли, не только его самого, но и наследников его или приобретателей прав так обязывать будут, что их никогда самовольно отменять не будут в силах. Во взаимство того крестьяне-землепашцы какого угодно владения, от добровольных договоров, принятых дарований и с оными сопряженных повинностей отступать не смогут по-иному, как только в таком способе и с такими условиями, кои в описаниях тех же договоров имели постановленными и кои вечно ли или до времени принятые, строго их обязывать будут. Обеспечив таким образом помещиков всеми выгодами от землепашцев, им принадлежащих, и желая как можно сильнее поощрить умножение народа в государстве, объявляем совершенную вольность для всех людей, как заново прибывающих, так и тех, кои бы, прежде из страны удалившись, хотели ныне возвратиться в Отечество, да настолько, что каждый человек, из которой ни будь стороны новопришедший или возвращающийся во владения Речи Посполитой, как только ступит ногой на землю польскую, имеет полную вольность пользоваться своим промыслом, как и где пожелает, волен он учинять договоры на поселение, на работу за плату или на подать, как и доколе уговорится; вольно ему осесть в городе либо в деревнях, вольно жить в Польше или воротиться в какой бы край он захотел, в полной мере удовлетворив обязательствам, кои добровольно на себя принял.

#### *V. Правительство, или означение властей публичных*

Всякая власть в человеческом обществе берет свое начало от воли народа. А посему, дабы целость владений государства, обывательская вольность и общественный порядок в равновесии навсегда пребывали, три власти должны составлять правительство народа польского, и в силу настоящего закона навсегда составлять будут; это есть: власть законодательная в Сословиях собранных; власть верховная исполнительная в короле

и страже, и власть судебная в судебных местах, на сей конец учрежденных или впредь подлежащих учреждению.

## VI. Сейм, или законодательная власть

Сейм, или Сословия собранные, на две палаты делиться будут, на палату посольскую и на палату сенаторскую под предводительством короля. Палата посольская, яко воображение и состав всевластования народного, будет святилищем законодательства. Посему все проекты спервоначала в посольской палате решаемы будут.

1-е<sup>1</sup>. Насчет общих законов, то есть: конституционных, гражданских, уголовных и устанавливающих вечные подати, в кои то материях предложения, от трона воеводствам, землям и поветам на рассмотрение поданные и чрез наказы в палату приходящие, спервоначала к решению взяты быть имеют.

2-е. Насчет установлений сеймовых, то есть поборов временных, сплава монеты, занятия публичного долга, придания благородного звания и других случайных награждений, раскладки публичных расходований ординарных и неординарных [обыкновенных и чрезвычайных. — Э. В. Л.], войны, мира, окончательной ратификации союзных и торговых трактатов, всяких дипломатических актов и договоров, посягающих на права народов, подтверждения постановлений исполнительных присутственных мест [судебных постановлений. — Э. В. Л.] и тому подобных событий, первейшим народным нуждам отвечающих, в кои то материях предложения от трона прямо в палату посольскую долженствующие приходить, будут первенство в производстве иметь.

У сенаторской палаты, составляемой из епископов, воевод, кастелянов и министров под главным начальствованием короля, имеющего право в первый раз подать свой голос, а в другой раз паритет [равенство голосов. — Э. В. Л.] разрешать лично или присылкою своего мнения в ту же палату, обязанности таковы: 1-е. Всякий закон, который после формального прохождения в посольской палате тотчас послан должен быть в сенат, а оный может его принять или удержать для дальнейшей делиберации [рассуждения. — С. А., совещания, обсуждения. — Э. В. Л.] народа, описанной в законе большинством голосов; принятие будет силу и святость закону придавать, а удержание только приостановит закон до будущего ординарного [обыкновенного. — С. А.] сейма, на коем, когда повторное последует согласие, закон, приостановленный и предоставленный от сената, должен быть принят. 2-е. Всякое сеймовое установление в вышепомянутых материях, кое посольская палата тотчас должна сенату прислать, купно с тою же посольской палатой, большинством голосов решить, а соединенное обеих палат большинство, сообразно закону описанное, будет приговором и волею Сословий.

Остерегаем, что сенаторы и министры, в предметах дел по должностям своим, было бы то в Страже или в комиссии, не будут в сейме иметь *votum decisivum* [решительного голоса. — С. А., решающего голоса. —

<sup>1</sup> В оригинальном тексте конституции здесь и везде далее нумерация пунктов состоит из порядкового номера, выраженного арабской цифрой, и латинского окончания, например 1-мо (т.е. primo), 2-до (secundo) и т.д.

Э. В. Л.), а только в ту пору должны заседать в сенате для дачи экспликации [объяснения. — Э. В. Л.] по требованию сейма.

Сейм всегда будет готов. Законодательный и ординарный [обыкновенный. — С. А.] сейм должен начинаться чрез каждые два года, а продолжаться по предписанию закона о сеймах. Готовый, в необходимых спешных нуждах созванный, имеет постановлять о той только материи, для которой созван будет, или о надобности, после времени его созыва последовавшей. Никакой закон на том обыкновенном сейме, на коем был он установлен, отмененным быть не может. Полное собрание сейма составляться будет из числа особ, нижеследующим законом означенного, как в посольской палате, так и в сенаторской.

Закон о сеймиках, на нынешнем сейме установленный, яко наисущественнейшее основание обывательской вольности, торжественно обеспечиваем.

А понеже законодательство не может быть исполняемо всеми, и народ выручается в сей мере чрез представителей, или послов своих, добровольно выбранных, потому постановляем, что послы, выбранные на сеймиках для законодательства и для общих народа надобностей, должны быть считаемы, в согласии с настоящей Конституцией, яко представители всего народа, будучи составной частью всеобщей доверенности.

Все и везде должно быть решимо большинством голосов. Того ради *liberum veto*<sup>1</sup>, конфедерации всякого рода и сеймы конфедерационные, яко духу настоящей Конституции противные, низвергающие правительство и разрушающие общественность, навсегда отменяем.

Отвращая, с одной стороны, внезапные и частые перемены национальной конституции, с другой стороны, признавая надобность к приведению оной в совершенство после испытания ее последствий относительно публичной полезности, назначаем удобную пору и время ревизии и поправок Конституции чрез каждые 25 лет, желая иметь таковой конституционный сейм экстраординарным [чрезвычайным. — С. А.] согласно особого о нем в законе описания.

## VII. Король, исполнительная власть

Никакое правление наисовершеннейшее без деятельной исполнительной власти стоять не может. Счастье [благоденствие. — С. А.] народа от законов справедливых, а законов последствие от исполнения их зависит. Опыт научил, что небрежение сей частью правления наполнило несчастьями Польшу. Посему, обеспечив вольному народу польскому власть устанавливать для себя законы и возможность наблюдать за всякой исполнительной властью и тако же выбирать чиновников к должностям в магистратуре [присутственных местах. — С. А.] и начальстве, отдаем власть высочайшего исполнения законов королю и совету его, который совет — Стражеку нрав зваться будет.

<sup>1</sup> *Liberum veto* (свободное «запрещаю») в Польше XVII—XVIII веков — принцип полного консенсуса на сеймах, дававший возможность вследствие протеста или несогласия всего лишь одного-единственного депутата (из нескольких тысяч) сорвать работу сейма и даже отменить уже принятые им постановления.

Исполнительная власть к прилежному наблюдению законов и строгому исполнению оных купно обязывается. Там она деятельною по себе будет, где законы позволяют, где законы требуют надзиракия за исполнением и даже сильной помощи. Послушанием всегда обязаны ей все магистратуры [присутственные места. — С. А.], и в ее руке оставляем силу [возможность. — С. А.] понуждения непослушных и нерадящих о своих обязанностях магистратур [присутственных мест. — С. А.].

Исполнительная власть не может устанавливать законов, ни толковать их, налагать податей и поборов под каким-либо названием, брать общественное в долг, отменять раскладку казначейских [казенных. — С. А.] доходов, сеймом положенную, объявлять войну и *definitive* [определятельную. — С. А., окончательно. — Э. В.-Л.] заключать мир, или трактат, или какой-либо дипломатический акт. Вольно ей только будет временно с заграничными [государствами. — Э. Г.] производить негодииции, а тако же решать надобности временные и обыденные, вытекающие для безопасности и спокойствия страны, о коих должна она донести ближайшему содействию сейма.

Престол польский навсегда хотим и постановляем иметь избираемым по фамилиям. Дознанные разорения междуцарствований [и небытность короля. — Э. Г.], периодически правление испровергавших, долг обеспечивать жребий каждого жителя земли польской и заградить навсегда дорогу влияниям чужестранных держав, память преуспевания и счастья Отечества нашего во времена беспрерывно [долго. — С. А.] царствовавших фамилий, надобность отвращения от славолубия трона имущих поляков и обращения к единодушному поддержанию вольности народной указали нашему благоразумию отдать престол польский правам наследования. Потому постановляем, что после жизни, сколько оной благодать Божия нам позволит, нынешний электор, курфюрст саксонский будет королем в Польше. Династия будущих королей польских начнется на особе Фридерика Августа, нынешнего электора, курфюрста саксонского, ко его преемникам *de lumbis* [от крови. — С. А., от чресел, натурально зачатим. — Э. В.-Л.] из мужеска полу трон польский предназначаем. Самый старший сын властвующего короля после отца долженствует вступить на трон. А если бы нынешний электор, курфюрст саксонский не имел потомков мужеска полу, тогда супруг дочери его, курфюрстом, по согласию собранных Сословий, избранный, долженствует начать линию наследования в мужеском поле к польскому престолу. Для чего Марию Августу Помпучену, дочь электора курфюрста, инфантиною польской объявляем, сохраняя при народе право, никакой прескрипции [предписанию. — С. А., ограничению. — Э. В.-Л.] подлежать не могущее, выбора на престол другого дома по угасании первого.

Каждый король, вступая на престол, учинит присягу Богу и народу в сохранении настоящей Конституции и *facta conventa* [договора о всеобщем согласии. — Э. Г., договоров, согласно подтвержденных. — С. А.], кои с нынешним электором, курфюрстом саксонским, яко предназначенным к престолу, будут постановлены, и кои так, как давние, обязывать его будут.

Особа короля есть святая и безопасная от всего; ничего сам собой не делающий, за ничто в ответе народу быть не может; не самовластным правителем, но отцом и главою народа быть должен, и таковым быть его закон и сия Конституция признает и объявляет. Доходы, так, как оные

в согласно подтвержденных договорах будут описаны, и прерогативы, свойственные трону и сею Конституцией для будущего избранника обеспеченные, затронутыми быть не смогут и неприкосновенны.

Все публичные акты, трибуналы, суды и магистраты [присутственные места. — С. А.], монеты, клейма должны идти под королевским именем. Король, коему всякая власть благотворения оставлена быть должна, будет иметь *ius agratiandi* [право прощать. — С. А., право помилования. — Э. В.-Л.] на смерть осужденных, кроме *in criminibus status* [в государственных преступлениях. — С. А., в измене государству. — Э. В.-Л.]. До короля надлежать будет верховное распоряжение вооруженными государства силами во время войны и назначение комендантов [начальников. — С. А.] войска, с вольной, однако, их переменой по воле народа. Патентовать офицеров и назначать чиновников к должностям по закону ныне писанному; предназначать епископов и сенаторов сообразно описанию того же закона, тако же и министров яко первейших служителей исполнительной власти будет его обязанностью.

Стража, или королевский совет, приданный королю для надзора цели и исполнения законов, состоять будет: 1-е из примаса, яко главы польского духовенства и яко президента Образовательной комиссии, могущего быть замененным в Страже первым *ex ordine* [по порядку. — С. А., по иерархии. — Э. В.-Л.] епископом, кои решения подписывать не могут. 2-е из пяти министров, т.е. министра полиции, министра печати, министра *belli* [военного. — С. А.], министра казны, министра печати по чужестранным делам. 3-е из двух секретарей, из коих один — протокол Стражи, другой — протокол чужестранных дел держать будут, оба без решительно го *votum* [голоса. — С. А.].

Наследник престола, вышедши из малолетства и учинив присягу на конституцию, может присутствовать во всех заседаниях Стражи, но не имея голоса.

Сеймовый маршал яко на 2 года выбранный входить будет в число заседающих в Страже, не вдаваясь в ее резолюции, а единственно для созывания готового сейма в таком случае: когда бы он в обстоятельствах, требующих непременно созвать готовый сейм, признал подлинную в нем надобность, а король созвать оный возбранялся, тогда тот же маршал должен разослать послам и сенаторам циркулярные письма, созывая их на готовый сейм и изъясняя причины такового созыва. Обстоятельства же необходимого созыва сейма суть только следующие: 1-е в крайней нужде, относящейся до права народа, а особливо в случае соседственной войны; 2-е в случае внутреннего замешательства, угрожающего революцией стране [бунтом государству. — С. А.] или раздором между магистратурами [присутственными местами. — С. А.]; 3-е в явной опасности всеобщего голода; 4-е в осиротелом состоянии Отечества чрез смерть короля или в опасной его болезни. Все резолюции в Страже разбираемы будут вышеупомянутым собранием. Решение королевское, по выслушивании всех мнений, должно иметь перевес, дабы одна была воля в исполнении закона. Потому всякая исходящая из Стражи резолюция под именем королевским и за подписанием его руки выходить имеет. Должна, однако, быть она подписана также одним из министров, заседающих в Страже, и, так подписанная, будет обязывать к повиновению и ее исполнению комиссию ли, или же какие другие исполнительные магистратуры [присутственные места. — С. А.], в тех, однако, только материях, кои отчетливо настоящим

законом не суть исключены. В случае, когда бы никто из заседающих министров не хотел решения подписать, король отступит от одного решения, а буде бы при оном настаивал, в таковых обстоятельствах сеймовый маршал будет испрашивать о созыве готового сейма, а ежели король замедливать станет сей созыв, то маршал исполнить оный должен.

Как назначение всех министров, так и призыв из них одного от каждого отдела администрации в свой совет, или Стражу, есть право короля. Призвание министра для заседания в Страже будет на два года, с вольным оного подтверждением короля оставить его на долее. Министры, призванные в Стражу, заседать в комиссиях не должны.

В случае же, когда бы большинство двух третьих частей тайных [секретных. — С. А.] голосов обеих совокупленных на сейме палат требовало переменить министра в Страже ли, или в ином учреждении, король тотчас должен на его место назначить другого.

Желая, дабы Стража национальных законов строго обязана была отвечать народу за все оных преступления, постановляем; что, когда министры обвинены будут депутациями, определенными для исследования их дел, в преступлении ими закона; тогда должны они отвечать особами и имуществом своим. Во всех таковых обвинениях собранные Сословия простым большинством голосов совокупленных палат имеют отослать обвиненных министров в суды сеймовые для получения справедливого наказания, уравнительного их преступлению, или при доказанной их виновности — для освобождения от процесса и наказания.

Для порядочного исполнительской власти выполнения учреждаем отдельные комиссии, имеющие связь со Стражею и обязанные повиноваться той же Страже. Комиссары оных будут избираемы Сеймом для исправления должностей своих чрез все время, законом описанное. Комиссии оные суть: 1-е — образования, 2-е — полиции, 3-е — войска, 4-е — казны.

Комиссии порядковые воеводские, на сем сейме учрежденные и тако же надзору Стражи подлежащие, будут принимать повеления чрез упомянутые посреднические комиссии *respective* [что касается. — С. А., в огнесении. — Э. В.-Л.] до предметов власти и обязательств каждой из них.

### VIII. Судебная власть

Судебная власть не может быть исполняема ни властью законодательной, ни королем, но магистратурами [присутственными местами. — С. А.], на сей конец учреждаемыми и избираемыми. Должна же она так быть к местам привязанною, дабы каждый человек близко для себя нашел справедливость, дабы преступник видел везде грозную над собой руку отечественного правительства.

1-е. Потому устанавливаем суд первой инстанции [нижней расправы. — С. А.] для каждого воеводства, земли и повета, в кои судьи избираемы будут на сеймиках. Суды первой инстанции будут всегда в готовности и бдительны к возданию [учинению. — С. А.] справедливости тем, кои оной требуют. Из сих судов идти будет апелляция в главные трибуналы, надлежащие быть учрежденными для каждой провинции и состоящие равно из особ, выбранных на сеймиках. И сии суды, как первой, так и последней инстанции, будут помещичьими [землевладельческими. — С. А.] судами для шляхты и всех владельцев земельных с кем угодно *in cau-*



*sis iuris et facti* [в делах права и поступка. — С. А., в делах согласно праву и процедуре. — Э. В. Л.].

**2-е.** Судебные же юрисдикции для всех городов по законам нынешнего сейма о вольных городах королевских оставляем по-прежнему.

**3-е.** Суды референдарские<sup>1</sup>, для каждой провинции особые, иметь хотим в делах вольных землепашцев, давними законами сему суду подлежащих.

**4-е.** Суды надворные ассессориальные<sup>2</sup>, реляционные и курляндские сохраняем [остаются на прежнем основании. — С. А.].

**5-е.** Исполнительные комиссии будут вести суды в делах, ее ведомству подлежащих.

**6-е.** Кроме судов в делах гражданских и уголовных, для всех сословий будет суд верховный, сеймовым называемый, в который при открытии каждого сейма будут выбраны особы. До сего суда надлежать имеют преступления против народа и короля, или *crimina status* [государственные преступления. — С. А.].

Новый кодекс гражданских и уголовных законов повелеваем составить особам, определяемым сеймом.

## IX. Регентство

Стража будет также регентством, имея главою королеву или, в ее недоступности [отсутствии. — С. А.], — примаса. В сих только трех случаях может иметь место регентство [такое правление. — С. А.]: **1-е** — во время малолетства короля; **2-е** — во время немощи, вызывающей долговременное помешательство [мыслей. — С. А.]; **3-е** — в случае, когда бы король взят был на войне. Малолетство продолжаться будет только до совершения 18 полных лет, а немощь в рассуждении долговременного помешательства объявленной быть не может, только чрез готовый сейм, большинством голосов трех частей противу четвертой совокупленных палат. Потому в сих троих случаях примас короны польской тотчас должен созвать сейм; а буде бы примас в сей повинности замедлил, сеймовый маршал разошлет к послам и сенаторам циркулярные письма. Сейм готовый распорядит очередь заседания министров в регентстве и королеву к заступлению короля в обязательствах его утвердит. А когда король в первом случае из малолетства выйдет, в другом — придет к совершенному здоровью, в третьем — из плена возвратится, регентство должно отдать ему отчет в своих поступках и отвечать народу за время своего правления так, как предписано о Страже, — на каждом ординарном Сейме, особами и имуществом своим.

<sup>1</sup> Референдарий — так в давней Польше именовался королевский чиновник, который выслушивал стороны, докладывал дела в королевской канцелярии, а также участвовал в таких делах, решение по которым принимал монарх; кроме того, референдарий — это самостоятельный судья, имевший право выносить приговоры по делам, которые касались королевских землепашцев.

<sup>2</sup> Ассессориальный (заседательский) суд — королевский, или придворный, суд, происходивший без участия короля и рассматривавший дела большей значимости (апелляции на городские приговоры); председательствовал в нем канцлер, замещавший монарха.

## X. Образование королевских детей

Королевские сыновья, коих к наследованию престола Конституция предназначает, суть первейшими детьми Отечества, посему смотрение за добрым их воспитанием и образованием надлежит до народа — без умаления, однако, прав родительских. Во время правления королевского сам король со Стражею и с назначаемым от Сословий надзирателем образования королевичей о воспитании их пещися будет. При правлении регентства та же Стража с помянутым надзирателем образование их вверенным себе иметь будет. В обоих случаях надзиратель, от Сословий назначенный, должен доносить на всяком ординарном Сейме об образовании и поступках королевичей, а комиссии Образовательной повинностью будет подать собрание инструкций об образовании сынов королевских для подтверждения сейму, а сие для того, дабы единообразные в воспитании их правила впечатлевали постоянно и заблаговременно в умы будущих наследников престола религию, любовь к добродетели, Отечеству, вольности и государственной Конституции.

## XI. Национальная вооруженная сила

Народ должен самому себе быть обороной от нападения и для охранения своей целостности. Посему все обыватели суть защитники целостности и народных свобод. Войско ни что другое есть, как только протянутая оборонительная и пекущаяся о порядке сила из общей силы народа. Народ должен войску своему воздавать наградой и уважением за то, что оно жертвует собой единственно для его обороны. Войско должно народу воздавать охранением границ и общего спокойствия — словом, должно быть одного наисильнейшим щитом. А дабы предназначение сие без ошибки [верно. — С. А.] им исполнено было, оно должно постоянно оставаться в повиновении исполнительной власти сходственно с описаниями закона; должно учинить присягу в верности народу и королю и в защищении народной Конституции. Следовательно, национальное войско может быть употреблено к общей государства обороне, к охранению крепостей и границ или к помощи узаконению, если бы кто к исполнению одного не был послушным.

*Станислав Наленч Малаховский*, великий референдарий коронный, сеймовый и маршал конфедерации коронных провинций.

*Казимеж, князь Салега*, генерал литовской артиллерии, маршал конфедерации Великого княжества Литовского.

*Юзеф Корвин Коссаковский*, епископ инфлянтский и курляндский, преемник и коадьютор<sup>1</sup> епископства виленского, яко депутат.

*Антоний, князь Яблоновский*, кастелян краковский, депутат из сената Малой Польши.

*Симеон Казимеж Шидловский*, кастелян жарновский, депутат из сената малопольской провинции.

<sup>1</sup> Кoadьютор в католической церкви — помощник епископа или иного высокого иерарха, назначаемый церковными властями в ситуации, когда епископ становится неспособным к отправлению своих обязанностей; обычно коадьютор сам является титулярным епископом.

- Франциск Антони на Квильче Квилецкий*, кастелян калишский, депутат для конституции из сепата Великопольской провинции.
- Казимеж-Константы Платер*, кастелян генерального троцкого старостата, депутат для конституции из сепата Великого княжества Литовского.
- Валериан Стройновский*, подкоморий бугский, посланник волянский, депутат для конституции из Малой Польши.
- Станислав Костка Потоцкий*, посланник любуский, депутат для конституции из малопольской провинции.
- Ян Непомуцен Збоиньский*, посланник земли добжиньской, депутат для конституции.
- Томаш Нововейский*, ловчий и посланник земли вышегородской, депутат для конституции.
- Юзеф Радзицкий*, подкоморий и посланник земли закрочимской, депутат для конституции из великопольской провинции.
- Юзеф Забелло*, посланник из жмудского княжества, депутат для конституции.
- Яцек Путткамер*, посланник мипского воеводства, депутат для конституции из провинции Великого княжества Литовского.

Оригинальный польский текст этого документа подготовлен на основании работы: *Adamczyk M., Pastuszka S. Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym 1791–1982* («Польские конституции в историческом развитии 1791–1982»). Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (Школьные и педагогические издательства), 1985.

Источник оригинального польского текста: <http://www.konstytucje.ho.pl/>

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Adamski W. (1982). *Structural and generational aspects of a social conflict // Sisyphus. Sociological Studies. Vol. III: Crises and Conflicts. The Case of Poland 1980–1981.* Warsaw : Polish Scientific Publishers.
- Adamski W. (1993). *Social conflict as a challenge to systemic change / W. Adamski (red.) // Societal Conflict and Systemic Change. The Case of Poland 1980–1992.* Warsaw : IFIS Publishers.
- Adamski W. (red.) (1996). *Polacy'81. Postrzeganie kryzysu i konfliktu.* Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Adamski W. (2000). *Konflikt strukturalny i zmiany ustrojowe w Polsce // M. Malikowski, Z. Serega (red.) // Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych.* Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
- Adamski (W.) и др. (1981). *Polacy 80. Wyniki badania ankietowego.* Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
- Adamski W., Pańków W., Rychard A., Sainsaulieu R. (red.). (1988). *La Pologne en Temps de Crise.* Paris : Méridiens Klincksieck.
- Adamski W., Rychard A., Wnuk-Lipiński E. (red.) (1991). *Polacy'90.* Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN i Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Alexander J. C. (1987). *Twenty Lectures: Sociological Theory Since World War II.* N. Y. : Columbia University Press.
- Alexander J. C. (2001). *Robust utopias and civil repairs // International Sociology.* N 16 (4).
- Almond G. A., Powell G. B. (1975). *Kultura polityczna («Политическая культура», пер. W. Kalinowski) / W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.) // Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej.* Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Almond G. A., Sivan E., Appleby Scott R. (1995). *Fundamentalism: Genus and Species / M. E. Marty, R. Scott Appleby (red.) // Fundamentalism Comprehended.* Chicago ; L. : University of Chicago Press.
- Almond G. A., Verba S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations.* Princeton: Princeton University Press. Фрагменты переведены на русский язык, см.: Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций // Антология мировой политической мысли: в 5 т. М., 1997. Т. II. С. 593–600.
- Ankiewicz M. [Tarkowski Jacek] (red.) (1988). *Władza i polityka.* Warszawa : Wydawnictwo In Plus.
- Archer M. (1996). *Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory.* Cambridge : Cambridge University Press.
- Archer M. (2000). *Being Human: The Problem of Agency.* Cambridge : Cambridge University Press.
- Arendt H. (1991). *O rewolucji («О революции», пер. M. Goduń).* Kraków: Wydawnictwo X, Totus. Рус. пер.: Арендт Х. О революции / пер. с англ. И.В. Косич. М. : Европа, 2011. 464 с.
- Arendt H. (1993). *Korzenie totalitaryzmu («Корни тоталитаризма», пер. M. Szawiel, D. Grinberg).* Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza. Рус. пер.: Арендт Х. Истоки тоталитаризма / пер. с англ. И.В. Борисовой и др. М. : ЦентрКом, 1996. 672 с.

- Baglieri J. (1980). Italian fascism and the crisis of liberal hegemony: 1901–1922 / S. U. Larsen, B. Hagtvet, J. P. Myklebust (red.) // Who Were the Fascists. Social Roots of European Fascism. Bergen-Oslo-Tromsø : Universitetsforlaget.
- Baker K. M. (1990). Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth Century. Cambridge : Cambridge University Press.
- Baker R. (2002). Społeczeństwo obywatelskie w procesie stawania się. Casus społeczności Torunia lat 1989–1999 / E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz (red.) // Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Banfield E. C. (1958). The Moral Basis of a Backward Society. Chicago : The Free Press.
- Barbu Z. (1980). Psycho-historical and sociological perspectives on the iron guard, the fascist movement of Romania / S. U. Larsen, B. Hagtvet, J. P. Myklebust (red.) // Who Were the Fascists. Social Roots of European Fascism. Bergen ; Oslo ; Tromsø : Universitetsforlaget.
- Bartyzel J. (2004). W gąszczy liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji. Lublin : Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej.
- Baskiewicz J. (1998). Powszechna historia ustrojów państwowych. Gdańsk : Wydawnictwo Arche.
- Baumeister R. F. (1986). Identity. Cultural Change and the Struggle for Self. New York ; Oxford : Oxford University Press.
- Beck U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności («Общество риска. На пути к иной современности», пер. S. Cieśla). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar. Рус. пер.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седелника и Н. Федоровой ; послесл. А. Филиппова. М. : Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.
- Bilgrami A. (1995). What is a muslim? Fundamental commitment and cultural identity / K. A. Appiah, H. L. Gates Jr. (red.) // Identities. Chicago : The University of Chicago Press.
- Bloom W. (1990). Personal Identity, National Identity, and International Relations. Cambridge : Cambridge University Press.
- Bobbio N. (1997). Społeczeństwo obywatelskie // Szacki J. Ani książkę, ani kupiec: Obywatel. Kraków ; Warszawa : Społeczny Instytut Wydawniczy «Znak», Fundacja im. Stefana Batorego.
- Bokajło W. (2001). Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demokracji / W. Bokajło, K. Dziubka (red.) // Społeczeństwo obywatelskie. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Botz G. (1980). Varieties of fascism in Austria. Introduction / S. U. Larsen, B. Hagtvet, J. P. Myklebust (red.) // Who Were the Fascists. Social Roots of European Fascism. Bergen ; Oslo ; Tromsø : Universitetsforlaget.
- Bourdieu P. (1984). Distinctions: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, Mass. : Harvard University Press (польское изд.: Dystynkcja. Społeczna krytyka osądu («Различение. Социальная критика суждения», пер. P. Biłoś). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005–2006). Рус. пер.: Бурдьё П. Различение: социальная критика суждения / сост. и науч. ред. В. В. Радаев ; пер. О.И. Кирчик // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. 680 с. См. также: Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 25–48.

- Bruszt L. (1991). The negotiated revolution of Hungary / G. Szoboszlai (red.) // *Democracy and Political Transformation*. Budapest : Hungarian Political Science Association.
- Bukowska X., Cześniak M. (2002). Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991–2001 / R. Markowski (red.) // *System partyni i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Bunce V., Echols J. (1986). Polityka sowiecka w erze Breżniewa: pluralizm czy korporatyzm? / M. Ankwicz [Jacek Tarkowski] (red.) // *Władza i polityka*. Warszawa : Wydawnictwo «In Plus».
- Burke E. (1998). Rozważania o rewolucji we Francji / S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pielniński, M. Tański (обраб.) // *Historia idei politycznych. Wybór tekstów*. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Рус. пер. см.: Берк Э. Размышления о революции во Франции. Л.: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992 (то же: М.: Рудомино, 1993. 144 с.; сокращ. пер. с англ.: Е. И. Гельфанд).
- Burnheim J. (1995). Power-trading and the environment // *Environmental Politics*. N 4 (4).
- Canetti E. (1996). Masa i władza («Масса и власть», пер. Е. Бог, М. Przybyłowska). Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik. Рус. пер.: Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. 527 с.
- Castells M. (1997). *The Power of Identity*. Oxford : Blackwell Publishers.
- CBOS (2000a). Korupcja i łapownictwo w Polsce. Komunikat z badań, Warszawa.
- CBOS (2000b). *Poczucie reprezentacji interesów i wpływu na sprawy publiczne*. Komunikat z badań, Warszawa.
- CBOS (2004). *Postrzeganie korupcji w Polsce*. Komunikat z badań, Warszawa.
- Chajewski L. (2005). Agency theory in economic sociology. *Current Sociology* (в печати).
- Cohen J. L., Arato A. (1992). *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Mass.; London : The MIT Press. Рус. пер. см.: Коэн Д. Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / общ. ред. И. И. Мюрберг. М.: Весь мир, 2003. 784 с.
- Colás A. (2002). *International Civil Society*. Cambridge : Polity.
- Cole G. D. H. (1953). *A History of Socialist Thought, 1.1: The Forerunners (1789–1850)*. N. Y. : St. Martin's Press.
- Coleman J. (1988). *Foundation of Social Theory*. Cambridge, Mass.; L. : The Belknap Press of Harvard University Press.
- Collier R. B., Collier D. (1991). *Shaping the Political Arena: Critical Junctures, the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America*. Princeton, N. J. : Princeton University Press.
- Coser L. A. (1956). *The Functions of Social Conflict*. Glencoe, Ill. : Free Press. Рус. пер.: Козер Л. Функции социального конфликта / пер. О. Назаровой под ред. Л. Г. Иопина. М.: Идея-Пресс, 2000.
- Coser L. A. (1967). *Continuities and Change in the Study of Social Conflict*. N. Y. : The Free Press.
- Courtois S. (1999). *Zbrodnie komunizmu* / Courtois S., Werth N., Panné J. L., Paczkowski A., Bartosek K., Margolin J. L. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania. Warszawa : Prószyński i S-ka. Рус. пер.: Куртуа С., Верт Н., Панне Ж.-Л., Пачковский А., Бартошек К., Марголен Ж.-Л. Черная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии. Paris, 1997. Пер. с фр.: М.: Три века истории, 2001. 780 с.

- Cygielska K. (1976). Przegląd teorii / A. Podgórecki (red.) // Zagadnienia pa-  
tologii społecznej. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Czempiel E. (1992). Governance and democratization / J. N. Rosenau,  
E. O. Czempiel (red.) // Governance without Government: Order and  
Change in World Politics. Cambridge : Cambridge University Press.
- Dahl R. (1971). Polyarchy, Participation and Opposition. New Haven: Yale Uni-  
versity Press. Рус. пер.: Даль Р. Полиархия: участие и оппозиция / пер.  
с англ. под ред. С. Деникиной, В. Барановой. М. : ГУ ВШЭ, 2010.
- Dahl R. (1995). Demokracja i jej krytycy («Демократия и ее критики»,  
пер. S. Amsterdamski). Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak  
(ориг. изд. 1989: Democracy and Its Critics. New Haven ; London: Yale  
University Press). Рус. пер.: Даль Р. Демократия и ее критики / пер.  
с англ. под ред. М. В. Ильина. М. : РОССПЭН, 2003. 576 с.).
- Dahrendorf R. (1958). Out of Utopia: Toward a reorientation of sociological  
analysis // American Journal of Sociology. N 64. Рус. пер.: Дарендорф Р.  
Тропы из Утопии. К новой ориентации социологического анализа //  
Дарендорф Р. Тропы из Утопии. М. : Практис, 2002. —536 с.
- Dahrendorf R. (1969). Class and Class Conflict in Industrial Society. L. : Rout-  
ledge & Kegan.
- Dahrendorf R. (1975). Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym  
(«Теория конфликта в индустриальном обществе», пер. А. Kamiński-  
ski) / W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.) // Elementy teorii  
socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachod-  
niej. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Dahrendorf R. (1993). Nowoczesny konflikt społeczny («Современный соци-  
альный конфликт», пер. S. Bratkowski, W. Niepokólczycki, B. Orłowski,  
E. Szczepańska, W. Wertenstein). Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza Czy-  
telnik. Рус. пер.: Дарендорф Р. Современный социальный конфликт.  
Очерк политики свободы. М., 2002.
- Davies J. C. (1975). Przyczynek do teorii rewolucji («К теории революции»,  
пер. Z. Szawarski) / W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.) //  
Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjo-  
logii zachodniej. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Di Palma G. (1990). To Craft Democracies. Berkeley ; Los Angeles ; Oxford :  
University of California Press.
- Diamond L. (1993). The globalization of democracy / R. O. Slater, B. M. Schul-  
tz, S. R. Dorr (red.) // Global Transformation and the Third World. Boul-  
der, Colorado : Lynne Rienner Publishers.
- Didier J. (1995). Słownik filozofii («Словарь философии», пер. K. Jarosz). Ka-  
towice : Wydawnictwo Książnica.
- Domański H. (1996). Na progu konwergencji. Stratyfikacja społeczna w krajach  
Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii  
i Socjologii PAN.
- Doorenspleet R. (2000). Reassessing three waves of democratization // World  
Politics. N 52, April.
- Drzycimski A., Skutnik T. (red.) (1999). Zapis wydarzeń. Gdańsk — Sierpień  
1980. Dokumenty. Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa.

<sup>1</sup> Вероятно, под таким названием вышла в Польше (1957) книга Р. Дарендорфа «Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft» («Социальные классы и классовый конфликт в индустриальном обществе»).

- Dziubka K. (2001). Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problem / W. Bokajło, K. Dziubka (red.) // *Spółczesność obywatelska*. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Eisenstadt S. N. (1995). Fundamentalism, phenomenology, and comparative dimensions / M. E. Marty, R. Scott Appleby (red.) // *Fundamentalism Comprehended*. Chicago ; London : University of Chicago Press.
- Eisler J. (1991). Marzec 1968. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Emirbayer M., Mische A. (1998). What is agency? // *American Journal of Sociology*. N 103 (4).
- Etzioni A. (1996). A moderate communitarian proposal // *Political Theory*. N 24 (2).
- Etzioni A. (2000). Creating good communities and good societies // *Contemporary Sociology*. N 24 (1).
- Faris R. E. L. (1948). *Social Disorganization*. N. Y. : The Ronald Press Company.
- Faux J., Mishel L. (2000). Inequality and the global economy / W. Hutton. A. Giddens (red.) // *On the Edge. Living with Global Capitalism*. L. : Jonathan Cape.
- Federici M. P. (1991). *The Challenge of Populism. The Rise of Right-Wing Democracy in Postwar America*. N. Y. : Praeger.
- Felis J. (2002). Paying to participate? Postcommunist democracy and changes in access to higher education in the 1990s / E. Mokrzycki, A. Rychard. A. Zybertowicz (red.) // *Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji*. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Fine G. A., Sandstrom K. (1993). Ideology in action. A pragmatic approach to a contested concept // *Sociological Theory*. N 11 (1).
- Fink C. F. (1968). Some conceptual difficulties in the theory of social conflict // *Journal of Conflict Resolution*. N 12.
- Frątczak-Rudnicka B. (2003). Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie // J. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias. *Demokracja polska 1989–2003*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe «Scholar».
- Friedrich C. J., Brzeziński Z. K. (1956). *Totalitarian Dictatorship and Autocracy*. N. Y. : Praeger. Имеется подробный реферат на русском языке: Фридрих К., Бжезинский З. Тоталитарная диктатура и автократия. URL: <http://pavroz.ru/dov/friedrichbrzezinski.pdf>.
- Frieske K. W. (1999). Marginalność społeczna – normalność i patologia / K. W. Frieske (red.) // *Marginalność i procesy marginalizacji*. Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
- Frieske K. W. (2005). Korupcja znana i nieznaną / M. Jarosz (red.) // *Polska. Ale jaka?* Warszawa : Oficyna Naukowa, Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Fuchs S. (2001). Beyond agency // *Sociological Theory*. N 19 (1).
- Garcia S. (1993). Europe's fragmented identities and the frontiers of citizenship / S. Garcia (red.) // *European Identity and the Search for Legitimacy*. L. ; N. Y. : Pinter Publishers.
- Gawkowska A. (2004). Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Gąsiorowski M. J., Power T. J. (1998). The structural determinants of democratic consolidation. Evidence from the Third World // *Comparative Political Studies*. N 31 (6), December.



- Gellner E. (1991). *Narody i nacjonalizm* («Нации и национализм», пер. Т. Holówka). Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. Рус. пер.: Геллнер Э. *Нации и национализм*. М. : Прогресс, 1991. 240 с.
- Giddens A. (1973). *The Class Structure of the Advanced Societies*. L. : Hutchinson.
- Giddens A. (1975). *The Class Structure of the Advanced Societies*. New York; Hagerstown ; San Francisco ; London : Harper Torchbooks.
- Giddens A. (1984). *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press. Рус. пер.: Гидденс Э. *Устроение общества: Очерк теории структуризации*. 2-е изд. М. : Академический Проект, 2005. 528 с.
- Giddens A. (2000). *Runaway World. How Globalization Is Reshaping Our Lives*. N. Y. : Routledge. Рус. пер.: Гидденс Э. *Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь*. М. : Весь мир, 2004.
- Gilejko L.K. (2005). *Przegrana większość. Robotnicy i chłopci* / M. Jarosz (red.) // Polska. Ale jaka? Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
- Gortat R. 1987. *O naturze nowych ruchów społecznych* / E. Lewicka-Banaszak, P. Marciniak, W. Modzelewski (red.) // *Studia nad ruchami społecznymi*. Warszawa : Instytut Socjologii UW.
- Gould R. V. (1993). *Collective action and network structure* // *American Sociological Review*. N 58 (2).
- Grabowska M. (2000). *Dlaczego partie?* / M. Grabowska, T. Szawiel (red.) // *Korzenie demokracji. Partie polityczne w środowisku lokalnym*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Grabowska M. (2004). *Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe «Scholar».
- Grabowska M., Szawiel T. (2001). *Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Gramson W. A. (1991). *Commitment and agency in social movements* // *Sociological Forum*. N 6 (1).
- Granovetter M. (1978). *Threshold models of collective behavior* // *American Journal of Sociology*. N 83.
- Granovetter M., Soong R. (1988). *Threshold models of diversity: Chinese restaurants, residential segregation, and the spiral of silence* // *Sociological Methodology*. N 18.
- Gray J. (1989). *Liberalism. Essays on Political Philosophy*. N Y. : Routledge.
- Gray J. (2001). *Po liberalizmie. Eseje wybrane* («После либерализма. Избранные эссе», пер. P. Maciejko, P. Rymarczyk). Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Alertheia.
- Gross J. T. (2000). *Sąsiedzi. Sejny*: Wydawnictwo Pogranicze.
- Gurr T. R. (1970). *Why Men Rebel?* Princeton : Princeton University Press. Рус. пер.: Гурр Т. Р. *Почему люди бунтуют* / пер. В. Анушин. СПб. : Питер, 2005.
- Gyarfasova O. (1995). *Slovakie after split: Dilemmas of the new citizenship* / A. Liebich, D. Warner (red.) // *Citizenship East and West*. L. ; N. Y. : Kegan Paul International.
- Hardin R. (1982). *Collective Action*. Baltimore : Johns Hopkins University Press.
- Havel V. (1988a). *Anti-political politics* / J. Keane (red.) // *Civil Society and the State. New European Perspectives*. L. ; N. Y. : Verso.

- Havel V. (1988b). *Sila bezsilnych* («Сила бессильных») / Havel V. *Thriller i inne eseje* («„Триллер“ и другие эссе», пер. Р. Heartman). Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza. Рус. пер.: Гавел В. Сила бессильных // Мораль в политике: хрестоматия / сост. Б. Г. Капустин ; пер. И. Шабловской, Л. Вихревой. М. : КДУ: МГУ, 2004. С. 215–311.
- Hayek F. A. (1979). *The Road to Serfdom*. L. ; Melbourne ; Henley : Routledge & Kegan Paul. Рус. пер.: Хайек Ф. А. *Дорога к рабству* / предисл. Н.Я. Петракова; пер. с англ. М. Б. Гнедовского. М. : Экономика, 1992. 176 с.
- Hays S. (1994). Structure and agency and the sticky problem of culture // *Sociological Theory*. N 12 (1).
- Hechter M. (1992). Should values be written out of the social scientist's lexicon? // *Sociological Theory*. N 10 (2).
- Hechter M., Kanazawa S. (1997). Sociological rational choice theory // *Annual Review of Sociology*. N 23.
- Heckathorn D. D. (1996). The dynamics and dilemmas of collective action // *American Sociological Review*. N 61 (2).
- Hegedus Z. (1990). Social movements and social change in self-creating society: New civil initiatives in the international arena / M. Albrow, E. King (red.) // *Globalization, Knowledge and Society*. L. : Sage Publications.
- Held D. (1991). *Democracy, the nation-state and the global system* / D. Held (red.) // *Political Theory Today*. Cambridge : Polity Press. Рус. пер.: Хелд Д. *Демократия, национальное государство и глобальная система* // *Современная политическая теория*. М., 2001. С. 278–331.
- Held D. (1992). *Democracy: From city-states to a cosmopolitan order?* // *Political Studies*. Vol. XL, Special Issue: Prospects for Democracy.
- Held D. (1997). *Democracy and the Global Order. From Modern State to Cosmopolitan Governance*. Oxford: Polity Press. Рус. пер.: Хелд Д. *Демократия и глобальный порядок*. М., 2005. 336 с.
- Horvát A., Szakolczai A. (1992). The discourse of civil society and the self-elimination of the party / P. G. Lewis (red.) // *Democracy and Civil Society in Eastern Europe*. N. Y. : St. Martin's Press.
- Howard M. M. (2000). Can populism be suppressed in a democracy? Austria, Germany, and the European Union // *East European Politics and Societies*. N 14(2). URL: <http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2005/combined2005.pdf>
- Huizinga J. (1967). *Jesień Średniowiecza* («Осень средневековья», пер. Т. Brzostowski). Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Huntington S. P. (1991). *The Third Wave. Democratization in the late Twentieth Century*. Norman ; London : University of Oklahoma Press. Рус. пер.: Хантингтон С. *Третья волна. Демократизация в конце XX века* / пер. с англ. Л. Ю. Пантшой. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. 368 с.
- Inglehart R. (1990). *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton-New Jersey: Princeton University Press. Частичный рус. пер.: Инглехарт Р. *Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе* // *Новая постиндустриальная волна на Западе: антология* / под ред. В. Л. Иноземцева. М., 1999. С. 249–260.
- Isaac L., Christiansen L. (2002). How the civil rights movement revitalized labour militancy // *American Sociological Review*. N 67 (5).

- Jagers K., Gurr T. R. (1995). Tracking democracy's Third Wave with the Polity III Data // *Journal of Peace Research*. N 32 (4).
- Jarosz M. (1987). *Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie*. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Jarosz M. (2004a). *Władza, przywileje, korupcja*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Jarosz M. (2004b). *Samobójstwa. Ucieczka przegranych*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Jarosz M. (2005). Nie tylko kłopoty z transformacją. Jaka Polska? / M. Jarosz (red.) // *Polska. Ale jaka?* Warszawa : Oficyna Naukowa, Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Jasiecki K. (1996). Przedsiębiorca jako „aktor transformacji” // *Studia Socjologiczne*. N 1 (140).
- Jasiecki K. (1997). Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w Polsce / J. Wasilewski (red.) // *Zbiorowi aktorzy polskiej polityki*. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Jasiecki K. (2000). Lobbying gospodarczy w Polsce // *Studia Socjologiczne*. N 159 (4).
- Jasiecki K., Mołęda-Zdziech M., Kurczewska U. (2000). *Lobbying. Sztuka skutecznego wywierania wpływu*. Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC.
- Jasiewicz K. (1995). Citizenship in post-communist Poland: Civil society or Das Volk? / A. Liebich, D. Warner (red.) // *Citizenship East and West*. L. ; N. Y. : Kegan Paul International.
- Jasiewicz K. (2002). Portfel czy różaniec? Wzory zachowań wyborczych Polaków w latach 1995–2001 / R. Markowski (red.) // *System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Jelinek Y. (1980). Clergy and fascism: The Hlinka Party in Slovakia and the Croatian Ustasha Movement / S. U. Larsen, B. Hagvet, J. P. Myklebust (red.) // *Who Were the Fascists. Social Roots of European Fascism*. Bergen ; Oslo ; Tromsø : Universitetsforlaget.
- Jørgensen K. E. (1992). The end of anti-politics in Central Europe / P. G. Lewis (red.) // *Democracy and Civil Society in Eastern Europe*. N. Y. : St. Martin's Press.
- Joubert D. (1992). *Reflections on Social Values*. HSRC Series in Methodology. Pretoria : HSRC Publishers.
- Jowitt K. (1993). A world without Leninism / R. O. Slater, B. M. Schultz, S. R. Dorr (red.) // *Global Transformation and the Third World*. Boulder ; Colorado : Lynne Rienner Publishers.
- Kabaj M. (2005). Bezrobocie w III Rzeczypospolitej / M. Jarosz (red.) // *Polska. Ale jaka?* Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa.
- Kamiński A. Z. (1987). Uprzywilejowanie państwa. O problemie korupcji w systemach post-rewolucyjnych / M. Marody, A. Sulek (red.) // *Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią*. Warszawa : Instytut Socjologii UW.
- Kamiński A. Z. (1997). Korupcja jako symptom instytucjonalnej niewydolności państwa i zagrożenia dla rozwoju polityczno-gospodarczego Polski / E. Popławska (red.) // *Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym*. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych.



- Królikowska J. (1996). *Struktura procesu konfliktowego* / K. Piątek (red.) // *Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej*. Toruń : Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika.
- Krzemiński I., Bakuniak G., Banaszak H., Kruczkowska A. (red.) (1983). *Pola cy – jesień 80: proces powstawania niezależnych organizacji związkowych*. Warszawa : Instytut Socjologii UW.
- Kurowski P. (2005). *Informacja o wysokości i strukturze minimum socjalnego średniorocznie w 2004 r.* Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
- Kutrzeba S. (2001). *Historia ustroju Polski*. Korona. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
- Lacko M. (1980). *The social roots of Hungarian fascism: The arrow cross* / S. U. Iarsen, B. Hagtvet, J. P. Myklebust (red.) // *Who Were the Fascists. Social Roots of European Fascism*. Bergen ; Oslo ; Tromsø : Universitetsforlaget.
- Lamont M., Lareau A. (1988). *Cultural capital: Allusions, gaps and glissandos in recent theoretical developments* // *Sociological Theory*. N 6 (2).
- Lane R. (1962). *Political Ideology*. N. Y. : The Free Press.
- Laquer W. (1998). *Faszyzm wczoraj – dziś – jutro («Фашизм вчера – сегодня – завтра», пер. В. Стоклоса)*. Warszawa : Wydawnictwo Da Capo.
- Laumann E. O., Marsden P. V. (1979). *The analysis of oppositional structures in political elites. Identifying collective actors* // *American Sociological Review*. N 44 (5).
- Lawler E. J., Ford R. Large M. D. (1999). *Unilateral initiatives as a conflict resolution strategy* // *Social Psychology Quarterly*. N 62 (3).
- Le Bon G. (1960). *The Crowd: A Study of the Popular Mind*. N. Y. : The Viking Press. Рус. пер.: Лебон Г. Психология народов и масс. СПб. : Маркет, 1995 (под таким названием публикуется книга, объединяющая под одной обложкой два труда Г. Лебона, «Психология народов» и «Психология масс», – второй как раз и цитируется в настоящей монографии).
- Leca J. (1992). *Question of citizenship* / Ch. Mouffe (red.) // *Dimension of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community*. L. ; N. Y. : Verso.
- Lehmbruch G. (1986). *Nowy korporatyzm i demokracja uzgodnieniowa* / M. Ankiewicz [Jacek Tarkowski] (red.) // *Wladza i polityka*. Warszawa : Wydawnictwo In Plus.
- Leś E. (1998). *Organizacje społeczne. Studium porównawcze*. Warszawa : PHARE.
- Levi-Strauss C. (1970). *Antropologia strukturalna («Структурная антропология», пер. К. Поміан)*. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Рус. пер. см., например: Леви-Строс К. Структурная антропология / пер. В. В. Иванов М. : Директ-Медиа, 2007. 779 с.
- Levine D. N. (1991). *Simmel and Parsons reconsidered* // *American Journal of Sociology*. N 96 (5).
- Lijphart A. (1977). *Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration*. New Haven ; London : Yale University Press. Рус. пер.: Лейпхарт А. Демократия в многоэтнических обществах: сравнительное исследование / пер. с англ. Б.И. Макаренко под ред. А.М. Салмина, Г.В. Каменской. М. : Аспект Пресс, 1997.
- Lin N. (2000). *Inequality in social capital* // *Contemporary Sociology*. N 29 (6).
- Linz J. J., Stepan A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press.

- Lipset S. M. (1962). Introduction // R. Michels Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. N. Y. : The Free Press.
- Lipset S. M. (1998). Homo politicus. Społeczne podstawy polityki («Гомо политикус. Социальные основания политики», пер. G. Dziurdzik-Kraśniewska). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. Рус. пер. фрагментов из книги см.: Липсет С. М. Политический человек. Социальные основы политики / пер. с англ. С.В. Патрушев, Л.Е. Филиппова // Политическая наука. 2011. № 3. Р. 195–245.
- Lipset S. M., Rokkan S. (1967). Cleavage structure, party systems, and voter alignments / S. M. Lipset, S. Rokkan (red.) // Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. N. Y. : The Free Press. Рус. пер.: Липсет С., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы предпочтения избирателей. Предварительные замечания // Политическая наука. 2004. № 4.
- Lipset S. M., Seong K. R., Torres J. Ch. (1993). A comparative analysis of the social requisites of democracy // International Social Science Journal. N 136, May.
- Lorenz K. (1975). Tak zwane zło («Так называемое зло», пер. A. D. Tauszyńska). Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy. Рус. пер.: Лоренц К. Агрессия (так называемое „зло“) / пер. Г. Швейник. М. : Прогресс, 1994. 112 с.
- Łętowska E. (1997). Dobro wspólne – władza – korupcja / E. Popławska (red.) // Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikty interesów w życiu publicznym. Warszawa : Instytut Spraw Publicznych.
- Mach B. W. (1987). Zróżnicowanie autoidentyfikacji społecznych / E. Wnuk-Lipiński (red.) // Nierówności i upośledzenia w świadomości społecznej. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Mach B. W. (2003). Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- MacIntyre A. (1996). Dziedzictwo snoty. Studium z teorii moralności («Наследие добродетели. Исследование по теории морали», пер. A. Chmielewski). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. Рус. пер.: Макингайр А. После добродетели / пер. В.В. Целищева. М. : Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 384 с.
- Macy M. W. (1991). Chains of cooperation: Threshold effects in collective action // American Sociological Review. N 56 (6).
- Maistre J. de (1998). Portret kata («Портрет палача», пер. J. Tybusiewicz) // A. Samus Rozważania o gilotynie («Размышления о гильотине»). Kraków : Krakowski Klub Artystyczno-Literacki. Рус. пер.: Местр Ж. де. Портрет палача / пер. и прим. А. Васильева // Санкт-Петербургские вечера. СПб. : Алетейя, 1998. 731 с.
- Makarczyk W. (1991). Studia nad aparaturą pojęciową socjologii. Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
- Makowski G. (2004). Korupcja jako problem społeczny // Kultura i Społeczeństwo. N 2.
- Malikowski M. (2000). Świadomość historyczna jako źródło współczesnych konfliktów polsko-ukraińskich / M. Malikowski, Z. Seręga (red.) // Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych, t. 2. Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
- Mannheim K. (1968). Ideology and Utopia. L. : Routledge & Kegan Paul Ltd. Рус. пер.: Манхейм К. Идеология и утопия / пер. М. Левина //

- Мапхейм К. Диагноз нашего времени [авт. сб.]. М. : Юристъ, 1994. С. 7–276. (В оригинале книга выходила в 1929 г. по-немецки).
- Manterys A. (2000). *Klasyczna idea definicji sytuacji*. Warszawa : Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
- Markides K. C., Cohn S. F (1982). External conflict / internal cohesion: A re-evaluation of an old theory // *American Sociological Review*. N 47 (1).
- Markowski R. (1993). *Polscy non-voters* // *Studia Polityczne*. Cz. II. S. 1–4.
- Markowski R. (red.) (1999). *Wybory parlamentarne 1997. System partyjny, postawy polityczne, zachowania wyborcze*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Markowski R. (2001). Democratic consolidation and accountability: News from Eastern and Central European democracies / R. Markowski, E. Wnuk-Lipiński (red.) // *Transformative Paths in Central and Eastern Europe*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Markowski R. (2004). *Populizm a demokracja: ujęcia, dylematy, kontrowersje* / R. Markowski (red.) // *Populizm a demokracja*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Markowski R., Cześnik M. (2002). *Polski system partyjny* / R. Markowski (red.) // *System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Marks K. (1949). *Manifest komunistyczny («Коммунистический манифест»)* // Marks K., Engels F. *Dziela wybrane*. T. 1. Warszawa : Książka i Wiedza. (Имеется русский перевод).
- Marks K. (1963). *Praca najemna a kapital («Наемный труд и капитал»)* // Marks K., Engels F. *Dziela*. T. 6. (Пер. O. Szechter). Warszawa : Książka i Wiedza. (Имеется русский перевод).
- Marody M. (1987). *Antynomie podświadomości zbiorowej* / E. Wnuk-Lipiński (red.) // *VII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny – Materiały*. Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
- Marshall T. H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge : Cambridge University Press. Рус. пер.: Маршалл Т. Х. *Гражданство и социальный класс* / пер. Ю. Дергунова // Капустин Б.Г. *Гражданство и гражданское общество*. М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011. С. 145–222. [Приложение].
- Mason W. M., House J. S., Martin S. S. (1985). On the dimensions of political alienation in America // *Sociological Methodology*. N 15.
- McGrew A. G. (1999). Democratising global governance. Democratic theory and democracy beyond borders. *Theoria* // *A Journal of Social and Political Theory*. N 94, December.
- Merton R. K. (1982). *Teoria socjologiczna i struktura społeczna («Социологическая теория и социальная структура»)*, пер. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski; ориг. назв. «*Social Theory and Social Structure*», 1949). Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Рус. пер.: Мертон Р. *Социальная теория и социальная структура*. М. : АСТ : Хранитель, 2006. 880 с.
- Meyer J. W., Jepperson R. L. (2000). The «actors» of modern society: The cultural construction of social agency // *Sociological Theory*. N 18 (1).
- Michels R. (1962). *Political Parties. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. N. Y. : The Free Press. Фрагменты этой работы в переводе на русский язык опубликованы под названием: Михельс Р. *Социология политической партии в условиях демо-*

- кратии // Диалог. 1990. № 5, 9; 1991, № 4 — и затем несколько раз перепечатывались, см., в частности: Политология: хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. М.: Гардарики, 2000. 843 с. С. 539–551.
- Mill J. S. (1998). O wolności («О свободе») / S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański (обраб.) // Historia idei politycznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Рус. пер.: Милль Дж. Ст. О свободе: Антология мировой либеральной мысли / пер. А. Н. Неведомского.— М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 288–392. (Напечатано по изд.: Милль Д. С. Утилитарианизм. О свободе. СПб., 1900).
- Minogue K. (1995). Two concepts of citizenship / A. Liebich, D. Warner (red.) // *Citizenship East and West*. L.; N. Y.: Kegan Paul International.
- Mokrzycki E. (1995). Class interests, redistribution, and corporatism / Ch. G. A. Bryant, E. Mokrzycki (red.) // *Democracy, Civil Society and Pluralism*. Warsaw: IFIS Publishers.
- Moore B. (1978). *Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt*. L.: The Macmillan Press.
- Morawski W. (1992). Economic change and civil society / P. G. Lewis (red.) // *Democracy and Civil Society in Eastern Europe*. N. Y.: St. Martin's Press.
- Morris A. (2000). Reflections on social movement theory: Criticism and proposals // *Contemporary Sociology*. N 29 (3).
- Mouffe Ch. (1992). Democratic citizenship and the political community / Ch. Mouffe (red.) // *Dimension of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community*. L.; N. Y.: Verso.
- Mucha J. (1978). Konflikt i społeczeństwo. Z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Muller E. N., Seligson M. A. (1994). Civil culture and democracy: The question of causal relationships // *American Political Science Review*. N 88 (3).
- Murawski K. (1999). Państwo i społeczeństwo obywatelskie. Wybrane problemy rozwoju demokracji w Polsce 1989–1997. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Nagle J. D., Mahr A. (1999). *Democracy and Democratization. Post-Communist Europe in Comparative Perspective*. L.: Sage Publications.
- Nagy G. (1995). Citizenship in Hungary, from a legislative viewpoint / A. Liebich, D. Warner (red.) // *Citizenship East and West*. L.; N. Y.: Kegan Paul International.
- Nalewajko E. (1997a). Budowanie partie polityczne: doświadczenia polskie / J. Wasilewski (red.) // *Zbiorowi aktorzy polskiej polityki*. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Nalewajko E. (1997b). Protopartie i protosystem? Szkic do obrazu polskiej wielopartyjności. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Nałęcz S. (2004). Społeczne znaczenie sektora non-profit w III RP. Niepublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Narojek W. (1982). Struktura społeczna w doświadczeniu jednostki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- Narojek W. (1996). Jednostka wobec systemu. Antropologia trwania i zmiany. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Nowak S. (1970). *Metodologia badań socjologicznych*. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Nowak S. (1979). System wartości społeczeństwa polskiego // *Studia Socjologiczne*. N 75 (4).



- Nozick R. (1999). *Anarchia, państwo, utopia* («Анархия, государство, утопия», пер. Р. Maciejko, M. Szczubialka). Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Aletheia. Рус. пер.: Нозик Р. Анархия, государство и утопия / пер. В. Пинскер под ред. Ю. Кузнецова и А. Куряева. М. : ИРИСЭН, 2008. 424 с. (Серия: «Политическая наука»).
- O'Donnell G. (1997). *Illusions about consolidation* / L. Diamond, M. F. Plattner, Yun-han Chu, Hung-mao Tien (red.) // *Consolidating the Third Wave Democracies*. Baltimore ; L. : The Johns Hopkins University Press.
- O'Donnell G. (1999). *Democratic theory and comparative politics* : Доклад на Annual Meeting of the American Political Science Association, Atlanta, 26–29 sierpnia.
- O'Donnell G., Schmitter Ph. C. (1986). *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press.
- Offe C. (1996). *Modernity and the State*. Cambridge : East West, Polity Press.
- Ogburn W. F. (1975). *Hipoteza opóźnienia kulturowego* («Гипотеза культурного запаздывания», пер. U. Niklas) / W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.) // *Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej*. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Olechnicki K., Załęcki P. (1997). *Słownik socjologiczny*. Toruń : Wydawnictwo Graffiti BC.
- Oliver P. E., Marwell G. (1988). *The paradox of group size in collective action: A theory of the critical mass*. II // *American Sociological Review*. N 53 (1).
- Olson M. (1965). *The Logic of Collective Action*. Cambridge, MA. : Harvard University Press. Рус. пер.: Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. М. : ФЭИ, 1995. 174 с.
- Ortega y Gasset J. (1995). *Bunt mas* («Бунт масс», пер. P. Niklewicz). Warszawa : Muza SA. Рус. пер.: Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс / пер. А.М. Гелескул ; сост., предисл. и общ. ред. А.М. Руткевича // Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М. : Весь Мир, 1997. 704 с. С. 43–163.
- Ossowski S. (1967). *Z zagadnień psychologii społecznej*. Dzieła, t. 3. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Our Global Neighbourhood (1995). *The Report of the Commission on Global Governance*. Oxford ; New York : Oxford University Press. Рус. пер.: Наше глобальное соседство : Доклад комиссии по глобальному управлению и сотрудничеству. М. : Прогресс, 1996.
- Pacholski M., Słaboń A. (1997). *Słownik pojęć socjologicznych*. Kraków : Akademia Ekonomiczna.
- Paczkowski A. (1995). *Pół wieku dziejów Polski 1939–1989*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Pakulski J. (1988). *Social movements in comparative perspective* // *Research in Social Movements, Conflicts and Change*. N 10.
- Palous M. (1995). *Questions of Czech Citizenship* / A. Liebich, D. Warner (red.) // *Citizenship East and West*. L. : N. Y. : Kegan Paul International.
- Pańków J., Ziółkowski M. (2001). *Przemiany w sferze gospodarczej. Produkcja – praca – zatrudnienie – bezrobocie* / E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.) // *Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Pareto V. (1994). *Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne* («Чувства и действия. Социологические фрагменты», пер. M. Dobrowolska, M. Rozprowska, A. Zinserling). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Parsons T. (1964). *Social Structure and Personality*. L. : The Free Press: Collier – Macmillan Ltd.
- Parsons T. (1968). *The Structure of Social Action*. N. Y. : Free Press. Рус. пер.: Парсонс Т. О структуре социального действия. М. : Академический проект, 2000.
- Parsons T. (1972). *Szkice z teorii socjologicznej* («Очерки социологической теории», пер. A. Bentkowska). Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Paxton P. (2002). *Social capital and democracy: An interdependent relationship* // *American Sociological Review*. N 67, April.
- Payne S. G. (1980). *The concept of fascism* / S. U. Larsen, B. Hagtvet, J. P. Myklebust (red.) // *Who Were the Fascists. Social Roots of European Fascism*. Bergen ; Oslo ; Tromsø : Universitetsforlaget.
- Pełczyńska-Nalec K. (2000). *Dynamika uczestnictwa politycznego w warunkach zmiany ustrojowej: Polska w latach 1989–1998*. Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN (машинопись).
- Pérez-Díaz V. (1996). *Powrót społeczeństwa obywatelskiego* («Возвращение гражданского общества», пер. D. Lachowska). Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
- Pietrzyk-Reeves D. (2004). *Idea społeczeństwa obywatelskiego: współczesna debata i jej źródła*. Seria «Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej». Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
- Podgórecki A. (1976a). *Wstęp* // A. Podgórecki (red.) *Zagadnienia patologii społecznej*. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Podgórecki A. (1976b). *Patologia działania instytucji* // A. Podgórecki (red.) *Zagadnienia patologii społecznej*. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Popper K. (1984). *The Open Society and Its Enemies*. L. : Routledge. Рус. пер.: Поппер К. Открытое общество и его враги / под ред. В.Н. Садовского. М., 1992. Т. 1: Чары Платона. 448 с.; Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. 528 с.
- Przeworski A. (1986). *Some problems in the study of the transition to democracy* / G. O'Donnell, Ph. C. Schmitter, L. Whitehead (red.) // *Transitions from Authoritarian Rule. Comparative Perspectives*. Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press.
- Przeworski A. (1992). *The games of transition* / S. Mainwaring, G. O'Donnell, S. Valenzuela (red.) // *Issues in Democratic Consolidation*. Notre Dame ; Indiana : University of Notre Dame Press.
- Putnam R. D. (1993). *Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton ; New Jersey : Princeton University Press. Рус. пер.: Патнэм Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной Италии. М. : Ad Marginem, 1996. 287 с.
- Putnam R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. N. Y. : Simon and Schuster.
- Raciborski J. (2003). *Wybory i wyborcy* / J. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frączak-Rudnicka, J. Kilias. *Demokracja polska 1989–2003*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar.
- Rawls J. (1998). *Liberalizm polityczny* («Политический либерализм», пер. A. Romaniuk). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Rieger E., Leibfried S. (1998). *Welfare state limits to globalization* // *Politics & Society*. N 26 (3).

- Robinson W. I. (1996). *Promoting Polyarchy Globalization, US Intervention and Hegemony*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Rootes Ch. A. (1999). The transformation of environmental activism: Activists, organizations and policy making. *Innovation // The European Journal of Social Sciences*. N 12 (2).
- Rose R., Mackie T. T (1988). Do parties persist or fail? The big trade-off facing organizations / K. Lawson, R. H. Merkl (red.) // *When Parties Fail: Emerging Alternative Organizations*. Princeton ; New Jersey : Princeton University Press.
- Roszkowski W. (1992). *Historia Polski 1914–1991*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Roy O. (2002). Neo-fundamentalism. Social Science Research Council. URL: <http://www.ssrc.org/sept11/essays/roy.htm>
- Rule J. B. (1989). Rationality and non-rationality in militant collective action // *Sociological Theory*. N 7 (2).
- Rychard A. (1987). *Władza i interesy w gospodarce*. Warszawa : Uniwersytet Warszawski.
- Sartori G. (1968). The sociology of parties: A critical review / O. Stammer (red.) // *Party Systems, Party Organizations, and the Politics of the New Masses*. Berlin : The Free University.
- Sartori G. (1998). Teoria demokracji («Теория демократии», пер. P. Amsterdamski, D. Grinberg). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. В отдельных фрагментах этой книги, переведенных на русский язык (см.: Политология: хрестоматия / сост. М.А. Василик, М.С. Вершинин. М. : Гардарики, 2000. 843 с. С. 386–400), она называется «Пересматривая теорию демократии», что соответствует оригинальному американскому названию «The Theory of Democracy Revisited».
- Schmitter Ph. C. (1980). The social origins, economic bases and political imperatives of authoritarian rule in Portugal / S. U. Larsen, B. Hagtvet, J. P. Myklebust (red.) // *Who Were the Fascists. Social Roots of European Fascism*. Bergen ; Oslo ; Tromsø : Universitetsforlaget.
- Schmitter Ph. C. (1997). *Civil society East West* / L. Diamond, M. F. Plattner, Yun-han Chu, Hung-mao Tien (red.) // *Consolidating the Third Wave Democracies*. Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press.
- Schooler C. (1999). Social structure and the environment: Some basic theoretical issues / A. Jasińska-Kania, M. L. Kohn, K. M. Słomczyński (red.) // *Power and Social Structure*. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
- Schrager L. S. (1985). Private attitudes and collective action // *American Sociological Review*. N 50 (6).
- Schumpeter J. A. (1995). *Kapitalizm, socjalizm, demokracja («Капитализм, социализм, демократия»*, пер. М. Rusiński). Wydawnictwo Naukowe PWN. Рус. пер.: Шумпетер Й. А. Капитализм, социализм и демократия / предисл. и общ. ред. В.С. Автономова. М. : Экономика, 1995. 540 с.
- Schwartz D. (1973). *Political Alienation and Political Behavior*. Chicago : Aldine.
- Scruton R. (1983). *A Dictionary of Political Thought*. L. : Pan Books Ltd.
- Seligman A. B. (1997). *Komentarze o społeczeństwie obywatelskim i obywatelskiej cnotcie w ostatniej dekadzie XX wieku / J. Szacki (red.) // Ani książkę, ani kupiec: Obywatel*. Kraków ; Warszawa : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego.

- Sen A. (1992). *Inequality Reexamined*. Cambridge, Mass. : Russel Sage Foundation: Harvard University Press.
- Sewell W. H. (1992). A theory of structure: Duality, agency, and transformation // *American Journal of Sociology*. N 98.
- Shaw M. (1994). *Global Society and International Relations. Sociological Concepts and Political Perspectives*. Cambridge : Polity Press.
- Shils E. (1994). Co to jest społeczeństwo obywatelskie? («Что такое гражданское общество?», пер. D. Lachowska) / K. Michalski (red.) // *Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo*. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
- Słodkowska I. (1997). Partie i ugrupowania polityczne polskiej transformacji / J. Wasilewski (red.) // *Zbiorowi aktorzy polskiej polityki*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Słomczyński K. M. (2002). Introduction: Social structure, its changes and linkages / K. M. Słomczyński (red.) // *Social Structure: Changes and Linkages. The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland*. Warsaw : IFIS Publishers.
- Słownik wyrazów obcych («Словарь иностранных слов и выражений») PWN. (1971) / pod redakcją naukową J. Tokarskiego. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
- Smith A. D. (1991). *National Identity*. Reno ; Las Vegas ; London : University of Nevada Press.
- Somers M. R. (1993). Citizenship and the place of the public sphere: Law, community, and political culture in the transition to democracy // *American Sociological Review*. Vol. 58 (5).
- Somers M. R. (1995a). Narrating and naturalizing civil society and citizenship theory: The place of political culture and the public sphere // *Social Theory*. N 13 (3).
- Somers M. R. (1995b). What's political or cultural about political culture and the public sphere? Toward an historical sociology of concept formation // *Sociological Theory*. 1995. Vol. 13 (2). P. 113–144.
- Spates J. L. (1983). The sociology of values // *Annual Review of Sociology*. N 9.
- Staniszki J. (1984). *Poland: Self-Limiting Revolution*. Princeton : Princeton University Press.
- Staniszki J. (1991). *The Dynamics of the Breakthrough in Eastern Europe*. Berkeley : University of California Press.
- Staniszki J. (1999). *Post-Communism. The Emerging Enigma*. Warsaw : Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences.
- Stepan A. (1986). Paths toward redemocratization: Theoretical and comparative considerations / G. O'Donnell, Ph. C. Schmitter, L. Whitehead (red.) // *Transitions from Authoritarian Rule. Comparative Perspectives*. Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press.
- Strzeszewski M., Wenzel M. (2000). Postawy wobec demokracji / K. Zagórski, M. Strzeszewski (red.) // *Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989–1999*. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog.
- Strzeszewski M., Zagórski K. (red.) (2000). *Nowa rzeczywistość*. Warszawa : Centrum Badania Opinii Społecznej.
- Swell W. H. (1985). Ideologies and social revolutions: Reflections on the French case // *Journal of Modern History*. N 57 (1).
- Szacki J. (1994). *Liberalizm po komunizmie*. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

- Szacki J. (1997). Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego / J. Szacki (red.) // Ani książkę, ani kupiec: Obywatel. Kraków ; Warszawa : Społeczny Instytut Wydawniczy Żnak, Fundacja im. Stefana Batorego.
- Szacki J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Szacki J. (2004). Konserwatyzm / P. Mazurkiewicz, S. Sowiński (red.) // Religia i konserwatyzm: sprzymierzeńcy czy konkurenci? Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Szawiel T. (1982). Struktura społeczna i postawy a grupy etosowe // Studia Socjologiczne. N 1-2.
- Szawiel T. (2000). Partie polityczne a społeczeństwo obywatelskie / M. Grabowska, T. Szawiel (red.) // Korzenie demokracji. Partie polityczne w środowisku lokalnym. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Szawiel T. (2001). Interesy czy ideologia? / M. Grabowska, T. Szawiel (red.) // Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Szelenyi I., Treiman D., Whuk-Lipiński E. (red.) (1995). Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja? Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Szmatka J. (1998). Aktor // Encyklopedia socjologii. Warszawa : Oficyna Naukowa.
- Sztompka P. (1991). Society in Action. The Theory of Social Becoming. Chicago : The University of Chicago Press.
- Sztompka P. (1993). The Sociology of Social Change. Oxford UK ; Cambridge USA : Blackwell. Рус. пер.: Штомпка П. Социология социальных изменений / пер. под ред. В. А. Ядова. М. : Аспект-Пресс, 1996. 416 с.
- Sztompka P. (1999). Trust. A Sociological Theory. Cambridge : Cambridge University Press.
- Sztompka P. (2000). Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Żnak.
- Śpiewak P. (1998). W stronę wspólnego dobra. Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Aletheia.
- Tarkowska E. (2000). Bieda, historia i kultura / E. Tarkowska (red.) // Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce. Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
- Tarkowski J. (1994). Socjologia świata polityki. Patroni i klienci. T. 2. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Tatarkiewicz W. (1995). Historia filozofii. T. 2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. В рус. пер. выходила: Тагаркевич В. История философии. Античная и средневековая философия. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2000. 482 с.
- Tatur J. (2005). Kapitalizm polityczny i korupcja w Polsce. Kryzys zaufania obywateli do państwa. Niepublikowana praca magisterska. Warszawa : Collegium Civitas.
- Tazbir J. (1999). Reformacja, kontrreformacja, tolerancja. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie.
- Tilly Ch. (1978). From Mobilization to Revolution. Reading, Mass. : Addison Wesley.

- Tischner J. (1992a). *Etyka Solidarności oraz homo sovieticus*. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Его работы на русском языке см.: Тишнер Ю. Избранное / пер. Е. Твердислова. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. Т. 1: Мышление в категориях ценности. Т. 2: Философия драмы. Спор о существовании человека.
- Tischner J. (1992b). *Świat ludzkiej nadziei*. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
- Tocqueville A. (1994). *Dawny ustrój i rewolucja* («Старый строй и революция», пер. Н. Szumańska-Grossowa). Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. (Имеются русские издания, в частности: Токвиль А. де. Старый порядок и революция / пер. с фр. М. Федоровой. М. : Московский философский фонд, 1997).
- Touraine A. и др. (1982). *Solidarité*. P. : Fayard.
- Transparency International (2004). *Corruption Perception Index 2004*. Berlin : TI Secretariat.
- Tullock G. (1971). *The paradox of revolution* // *Public Choice*. N 11.
- Turner J. H. (1985). *Struktura teorii socjologicznej* («Структура социологической теории», пер. J. Szmatka). Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Рус. пер.: Тернер Дж. Структура социологической теории. М. : Прогресс, 1985.
- Turner J. H. (1994). *Understanding the populists* / W. F. Holmes (red.) // *American Populism*. Lexington, Mass. ; Toronto : D. C. Heath and Company.
- Vanhanen T. (1997). *Prospects of Democracy. A Study of 172 Countries*. L. ; N. Y. : Routledge.
- Walicki A. (1996). *Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Wallerstein I. (1979). *The Capitalist World-Economy*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Walzer M. (1992). *The civil society argument* / Ch. Mouffe (red.) // *Dimensions of Radical Democracy. Pluralism, Citizenship, Community*. L. ; N. Y. : Verso.
- Wasilewski J., Wnuk-Lipiński E. (1995). *Polska: kręta droga od elity komunistycznej do postsolidarnościowej* / I. Szelenyi, D. Treiman, E. Wnuk-Lipiński (red.) // *Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy reprodukcja?* Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Weber M. (2002). *Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej* («Хозяйство и общество. Очерк понимающей социологии», пер. D. Lachowska). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. Рус. пер.: Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова // Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 808 с. С. 454-546.
- Wesołowski W. (1995). *Niszczanie i tworzenie interesów w procesie systemowej transformacji* // *Kultura i Społeczeństwo*. N 2.
- Wesołowski W. (2000). *Partie: nieustanne kłopoty*. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Western B. (1991). *A comparative study of corporatist development* // *American Sociological Review*. N 56 (3).
- Węclawski T. (2002). *Dwanaście tez o fundamentalizmie* // *Gazeta Wyborcza*. 4 marca.

- Wheaton M. (1979). Parties and government decision-making / J. Hayward, R. N. Berki (red.) // *State and Society in Contemporary Europe*. Oxford : Oxford University Press.
- Whitmeyer J. M. (1994). Why actor models are integral to structural analysis? // *Sociological Theory*. N 12 (2).
- Wiatr J. J. (2003a). Narodziny i przemiany systemu wielopartyjnego / J. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kiliias. *Demokracja polska 1989–2003*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe «Scholar».
- Wiatr J. J. (2003b). Pięć parlamentów III Rzeczypospolitej / J. J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kiliias, *Demokracja polska 1989–2003*. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe «Scholar».
- Wnuk-Lipiński E. (1987). Social dimorphism / I. Białecki, J. Koralewicz, M. Watson (red.) // *Society in Transition*. L. : Berg Publishers.
- Wnuk-Lipiński E. (1994). Fundamentalizm a pragmatyzm: Dwa typy reakcji na radykalną zmianę społeczną // *Kultura i Społeczeństwo*. N 4.
- Wnuk-Lipiński E. (1996). Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Wnuk-Lipiński E. (2004). Świat międzyepoki. Globalizacja – demokracja – państwo narodowe. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
- Wojakowski D. (2000). Religia a konflikty etniczne na pograniczu polsko-ukraińskim / M. Malikowski, Z. Serega (red.) // *Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych*. T. 2. Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
- Wolfe M. (1995). Globalization and social exclusion: Some paradoxes / G. Rodgers, Ch. Gore, J. B. Figueiredo (red.) // *Social Exclusion: Rethoric, Reality Responses*, International Institute for Labour Studies. Geneva : United Nations Development Programme.
- Wolfson M. C. (1994). When inequalities diverge // *The American Economic Review*. N 84 (2).
- Wolek A. (2004). *Demokracja nieformalna. Konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku*. Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN.
- Wright E. O. (1997). *Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis*. Cambridge, UK : Cambridge University Press.
- Ziółkowski M. (1999). Interesy i wartości jako elementy świadomości społecznej / A. Jasińska-Kania, K. M. Słomczyński (red.) // *Władza i struktura społeczna*. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Ziółkowski M. (2000). *Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego*. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
- Zybertowicz A. (2002). *Demokracja jako fasada: przypadek III RP* // E. Mokrzycki, A. Rychard, A. Zybertowicz. *Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji*. Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- Zukowski T. (1994). *Wybory 1993: wyniki i ich uwarunkowania*. Warszawa : Uniwersytet Warszawski.

## МАЛЫЙ ПОДРУЧНЫЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ТЕРМИНОВ

AD HOC (*лат.*) — специально устроенный для данной цели.

CONSTITUTIO LIBERTATIS (*лат.*) — конституция свободы.

CONTRADICTIO IN ADIECTO (*лат.*) — противоречие в прилагательном; логическое противоречие; выражение, один член (часть) которого противоречит второму.

DIFFERENTIA SPECIFICA (*лат.*) — качественная разница; определяющие, специфицирующие отличия.

DO UT DES (*лат.*) — даю, чтобы ты дал.

ESPRIT DE CORPS (*фр.*) — корпоративный дух.

EX DEFINITIONE (*лат.*) — по определению, в соответствии с определением.

EX POST (*лат.*) — после факта, постфактум.

EXPLICITATE (*лат.*) — открыто, ясно, без обиняков.

GEMEINSCHAFT (*нем.*) — общность (сообщество, община), характеризующаяся традиционными, неформальными и персональными социальными отношениями между ее членами (вытекающими из родства или соседства), а также неформальным общественным контролем поведения отдельных членов. Термин ввел в обращение Ф. Тённис (Toennies).

GESELLSCHAFT (*нем.*) — объединение или, шире, институционализируемая часть общества, характеризующаяся формальными и безличными социальными отношениями, которые вытекают из исполняемых формальным образом ролей и связей делового типа (договора, общего интереса), и реализующая общественный контроль через кодифицированные, безличные нормы права. Термин ввел в обращение Ф. Тённис.

HABEAS CORPUS (*лат.*) — личная неприкосновенность; защита гражданина от произвольного или самовольного заключения под стражу.

HOMO HOMINI LUPUS EST (*лат.*) — человек человеку волк.

IMPLICITATE (*лат.*) — подразумеваемая, догадываемая, неявно.

IN STATU NASCENDI (*лат.*) — в состоянии возникновения; в процессе зарождения.

LAST BUT NOT LEAST (*англ.*) — последний по счету, но не по важности.

LEBENSWELT (*нем.*) — мир жизни, жизненный мир, мир живого опыта. Сложный философский термин, который ввел в обращение Э. Гуссерль (Husserl) и который приблизительно означает, что для человеческого опыта центральное значение имеет мировосприятие во всей



его сложности; опыт мировосприятия многомерен, поскольку в него входит испытание единичных вещей в их контексте, материализованная природа воспринимающего сознания и интерсубъективная природа мира — так, как она воспринимается сознательным субъектом, — а также знания о других субъектах, их действиях и о разделяемых с ними элементах культуры.

PAR FORCE (*фр.*) — с применением силы.

PASSIM (*лат.*) — в разных местах (книги).

PER CAPITA (*лат.*) — на одного жителя, на душу (коэффициент пересчета определенной величины, релятивизирующий ее по отношению к численности населения).

PER SE (*лат.*) — само по себе.

POPULUS (*лат.*) — народ.

REM PUBLICAM (*лат.*) — публичные вещи.

RES PUBLICA (*лат.*) — публичное дело, речь публичная, республика.

RESIDUUM (*лат.*) — остаток.

SENSU LARGO (*лат.*) — в широком смысле.

SENSU STRICTO (*лат.*) — в строгом (точном) смысле.

АБСТРАГИРОВАТЬ (*лат. abstraho* — отвлекать, отрывать, отделять) — 1) обходить что-либо в логическом выводе или рассуждении; 2) выделять из целого какой-то основной элемент.

АГРЕГИРОВАНИЕ — 1) объединение, собрание; 2) создание обобщенных категорий из более мелких, детализированных категорий.

АКСИОЛОГИЯ (*греч. áksios* — достойный, ценный) — наука о ценностях или же определенная теория ценностей.

АЛЛОКАЦИЯ — размещение (в социальном пространстве).

АМОРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВИЗМ — максимизация выгоды или пользы для своей группы за счет других групп, вытекающая из убеждения, что подобным же образом поступают все группы.

АМОРАЛЬНЫЙ ФАМИЛИЗМ (термин, введенный в обращение Э. Банфилдом [E. Banfield]) — максимизация выгоды или пользы для себя и своей семьи за счет социального окружения, вытекающая из убеждения, что подобным же образом поступают все.

АМОРФНЫЙ (*греч. ámorphos* — бесформенный) — лишенный отчетливой формы.

АНОМИЯ — аксиологическая дезориентация; состояние социальной потерянности, которому может подвергаться индивидум или общественная группа в результате распада или ослабления социальных норм, ранее регулировавших установки индивидов и варианты их поведения.

АРКАДИЯ — метафорически: идиллическая страна, рай земной; и аркадия — о беззаботной, благодатной жизни.

АРТЕФАКТ (*лат. arte factum* — искусственное образование) — искусственное изделие, продукт или понятийная конструкция.

АТРИБУТ (*лат. attributum*) — индивидуальное или групповое качество, свойство, черта; характерное свойство предмета.

АТРОФИЯ (*греч. atrophía*) — исчезновение, отмирание, потеря.

**ГЕРМЕНЕВТИКА** (*греч.* hermēneutikós — касающийся объяснения) — 1) объяснение и внутренняя интерпретация письменных источников; 2) анализ понимания человеческого существования как своеобразного способа бытия человека в мире.

**ГЕТЕРОГЕННОСТЬ** — неоднородность, разнородность.

**ГИБРИД** (*лат.* hybrida — помесь, смесь) — целое, состоящее из качественно разных элементов.

**ГИПОСТАЗИРОВАНИЕ** (*греч.* hypóstasis — основание) — приписывание реального существования понятиям и абстрактным конструкциям.

**ГЛОБАЛИЗАЦИЯ** — возрастающая взаимозависимость событий в отдаленных друг от друга местах нашей планеты.

**ГОМЕОСТАЗ** — способность поддерживать состояние равновесия.

**ГОМИНЬДАН** (*китайск.* guo-min-tang — народная партия страны) — политическая партия, которую основал Сунь Ятсен в 1912 году.

**ГОМОГЕННОСТЬ** — однородность.

**ДЕИЗМ** (*лат.* deismus) — доктрина, признающая существование Бога, но отвергающая его вмешательство в историю нашего мира.

**ДЕМОС** (*греч.* demos) — народ, общая совокупность всех граждан.

**ДЕПРИВАЦИЯ** — отнятие, лишение чего-либо причитающегося.

**ДЕПРИВАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ** — чувство индивидуума, будто он не получает того, что ему по праву причитается; это чувство появляется в результате сравнения своей ситуации с какой-то точкой отсчета: другим лицом, другой группой, другим обществом или же, наконец, с какой-то нормой социальной справедливости (отсюда — относительная депривация).

**ДЕТЕРМИНИЗМ** (*лат.* determino — я ограничиваю) — убеждение, что каждое явление подчиняется устойчивым, постоянным законам.

**ДЕТРАДИЦИОНАЛИЗАЦИЯ** — отход от привычных, местных способов существования в пользу способов, которые получают распространение в глобальном обороте благ и услуг (стимулирующем возникновение новых потребностей), а также идей и ценностей, легитимирующих эти новые потребности.

**ДИССИДЕНТ** (*лат.* dissidens — кто-либо несогласающийся) — отступник, отказывающийся от убеждений, которые доминируют в публичной жизни.

**ДИСТОПИЯ** — антиутопия; критическое или сатирическое видение мнимого, воображаемого мира.

**ДИСФУНКЦИЯ** — нарушение функции; препятствие в реализации определенной функции.

**ДОКТРИНА** (*лат.* doctrina — наука, знание) — обширная совокупность предположений, утверждений и точек зрения из какой-то области знаний или идеологии.

**ИГРА С НУЛЕВОЙ СУММОЙ** — социальное взаимоотношение, в рамках которого кто-либо выигдывает ровно столько, сколько кто-нибудь другой теряет. Термин восходит к теории игр.

**ИММАНЕНТНЫЙ** (*лат.* immanens — остающийся в чем-либо) — внутренне присущий, являющийся интегральным, неотъемлемым составным элементом чего-либо.

- ИНДОКТРИНАЦИЯ** — внушение кому-либо положений определенной доктрины.
- ИНКЛЮЗИВНОСТЬ** — свойство общественных явлений или процессов, которое не исключает из них никого. {Противоположно эксклюзивности}.
- ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ** — закрепление и формализация какого-либо общественного явления.
- ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ** — усваивание.
- ИСКЛЮЧЕНИЕ** — лишение кого-либо возможности — вследствие воздействия экономических, политических или культурных факторов — участвовать в главном русле публичной жизни конкретного сообщества; невозможность для индивидуума осуществлять контроль над факторами, определяющими его положение в обществе и условия его существования.
- ИСТЕБЛИШМЕНТ** (*англ.* establishment) — относительно устойчивая группа политических, религиозных, военных или экономических лидеров.
- ИСТОРИСОФИЯ** — философия истории.
- КЛИЕНТЕЛИЗМ** — наличие зависимости от взаимоотношений с патроном, в результате которой индивидум за лояльность и подчинение получает разнообразные вознаграждения (от денежных до психологических).
- КОЕРСИЯ** — принуждение; тяжелое (затруднительное) положение.
- КОММУНИТАРИЗМ** — идеология, стержнем которой является убеждение о превосходстве интегрированных и кооперирующихся местных сообществ над деперсонализированными и формализованными массовыми обществами.
- КОНСЕНСУС** (*лат.* consensus) — всеобщее, единодушное согласие, всеобщее позволение.
- КОНСОЛИДАЦИЯ ДЕМОКРАТИИ** — процесс упрочения и рутинизации способов действия демократических институтов, а также демократических правил, управляющих публичной жизнью, вместе с добровольным принятием этих правил управляющими и управляемыми, а также с их практическим применением в повседневных социальных интеракциях.
- КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ** — учет влияния (общественного) контекста на исследуемое явление.
- КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ** — создание понятий.
- КООПАЦИЯ** — призыв нового члена сообщества, осуществленный самим этим сообществом (организацией, группой).
- КОРПОРАТИВИЗМ** — способ разрешения общественных конфликтов посредством постоянного и институционализированного включения в процесс принятия решений тех организованных и признанных государством групп интересов, которых касаются указанные решения.
- КОСМОПОЛИТИЗМ** (*греч.* kosmopolitês — гражданин мира) — идеология и общественная установка, признающие родиной человека весь мир.
- КРЕДО** (*лат.* credo) — символ веры.
- КРИТИЧЕСКАЯ МАССА** — число элементов, после превышения которого запускается в ход какой-то процесс.

**ЛЕГИТИМАЦИЯ** – придание законной силы, убежденность управляемых в том, что правящие имеют право осуществлять свою власть; в более общем смысле – вера в правильность определенного способа функционирования некоторого института или формы общественных отношений.

**ЛОББИРОВАНИЕ** (*англ.* lobbying) – 1) оказание неформального нажима на органы, принимающие решение, теми кругами, которые заинтересованы последствиями определенного решения; 2) выражение интересов организованных групп.

**МАНИХЕЙСТВО** (название происходит от фамилии создателя этой доктрины, Мани, который жил в III веке н. э.) – религиозно-философская система, берущая начало в древней Персии и основанная на дуализме двух борющихся между собой первичных элементов мироздания – добра и зла, света и тьмы; в обыденном понимании – восприятие действительности в двойственной, дуалистичной перспективе добра и зла.

**МАРГИНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ** – пребывание лиц, групп или (в глобальном измерении) даже целых народов вне главного течения общественного обмена благами, услугами и информацией.

**МЕЛИОРИЗМ** (*лат.* melioratio – улучшение) – убеждение в том, что коллективная жизнь, равно как и функционирующие в ней институты и структуры, обладают естественной способностью к саморегуляции и самосовершенствованию.

**МЕССИАНИЗМ** (*с древнеевр.*) – религиозный взгляд, проповедующий скорое пришествие мессии, который в трудной ситуации спасет верующих.

**МИЛЛЕНАРИЗМ** (*с лат.*) – религиозный взгляд, проповедующий скорое наступление тысячелетнего Царства Небесного.

**МОДЕРНИЗАЦИЯ** – процесс, ведущий к осовремениванию; с одной стороны, он относится к постепенной индивидуализации личности, ее эмансипации, автономизации и отрыву от первичных связей; с другой стороны, он относится к постепенной атрофии традиционных обязательств индивидуума, его привычек и ожиданий.

**МОРФОГЕНЕЗ** – 1) процесс взросления и вырастания субъекта до строения и формы, свойственных данному виду; 2) процесс сложных интеракций, которые приводят к изменению данной формы, структуры или состояния общественной системы; морфогенетические изменения означают, что каждая очередная интеракция будет отличаться от предшествующей, поскольку она обуславливается последствиями предшествующих интеракций.

**ОЛИГАРХИЯ** (*греч.*) – осуществление власти небольшой группой людей.

**ОРТОДОКСИЯ** (*греч.*) – строгая верность доктрине.

**ОРТОПРАКСИЯ** (*греч.*) – формы поведения, строго соблюдающие предписания доктрины,

**ПАРАДИГМА** (*греч.* parádeigma – пример, образец) – стереотип занятий наукой в целом, конкретной научной дисциплиной либо специальностью или же стереотип определенного способа мышления.

**ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО** – утопическая концепция гражданского общества вне публичной жизни; эта концепция появилась в Польше после введения военного положения режимом ген. Ярузельского.

- ПАРТИЙНАЯ НОМЕНКЛАТУРА** — совокупность должностей в публичной жизни, занятие которых должно предваряться одобрением со стороны соответствующей инстанции коммунистической партии; в ПНР Центральный комитет ПОРП принимал решения по подбору кадров для занятия стратегических должностей общегосударственного значения, тогда как партийные комитеты более низких уровней — по подбору кадров на подчиненной им территории.
- ПЕРМИССИВИЗМ** (от *англ.* permission — разрешение) — общественная доктрина, исходящая из того, что человеку можно делать все, если он не нарушает аналогичного права другого человека
- ПЕРМУТАЦИЯ** (*лат.* permutatio — обмен, замена, перестановка) — каждая из возможных комбинаций определенной совокупности элементов.
- ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЙ ГРАЖДАНИН** — концепция, в соответствии с которой индивидуум исполняет в публичной жизни много гражданских ролей, будучи членом разнообразных структур гражданского общества.
- ПОЛИАРХИЯ** (*греч.* polyarchy — правление многих; термин, который ввел в обращение Р. Даль [R. Dahl]) — эмпирически наблюдаемая общественно-политическая система, которая удовлетворяет на практике критериям демократического строя (выборность высших политических руководителей, свободные и честные выборы, всеобщее — пассивное и активное — избирательное право, доступ граждан к независимым источникам информации, свобода объединений, свобода высказывания).
- ПОЛИС** (*греч.*) — 1) государство-город в Древней Греции; 2) сообщество свободных граждан.
- ПОПУЛИЗМ** — непоследовательная идеология, стержнем которой является убеждение, что все общественные проблемы удастся разрешить, если послушаться так называемого простого человека; популизм носит антиэлитарный, а также антикорпоративный характер и возникает, как правило, из протеста на экономической почве.
- ПРИБРЕТЕННАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ** — снижение умения справляться с жизненными ситуациями вследствие попадания в зависимость от помощи со стороны других, чаще всего — от услуг опекающего государства всеобщего благосостояния.
- РЕДКИЕ БЛАГА** — желаемые вещи, состояния дел, социальные и общественные позиции (должности), запас которых ограничен и доступ к которым регулируется каким-то правилом.
- РЕЛЯТИВИЗАЦИЯ** — принятие во внимание многих точек соотнесения.
- СИНДРОМ** — относительно устойчивое сочетание свойств и черт определенного явления.
- СИНЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ** — взаимное усиление последствий одновременного воздействия по меньшей мере двух совместно протекающих процессов.
- СОЦИАЛИЗАЦИЯ** — приобщение к социальной жизни; усвоение индивидуумом знаний, норм и ценностей, дающих возможность жить в обществе.
- СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ** — культурно обусловленная дефиниция и интерпретация самого себя; она представляет собой ответ на

вопрос «Кем я являюсь по отношению к окружающему меня социальному миру?».

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ** – эволюция разных видов социального неравенства по направлению к двум крайним полюсам.

**СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ** – система общественных классов и социальных слоев.

**СОЦИАЛЬНЫЙ АКТОР** – человеческая личность (индивид), группа лиц или учреждение (институт), играющие в коллективной жизни свою роль или набор ролей по социально определенным правилам.

**СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ** – система социальных санкций, склоняющих индивидуума к соблюдению норм.

**СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ВАКУУМ** – алиенация (отчужденность) по отношению к структурам, посредничающим между микроструктурным уровнем (малыми группами во главе с семьей) и макроуровнем (пародом); отсутствие социальной идентификации с промежуточными институтами. Термин ввел в обращение С. Новак (S. Nowak).

**СТАТУС** (*лат.*) – состояние.

**ТЕЛЕОЛОГИЯ** (*греч.*) – точка зрения, согласно которой все процессы в природе и обществе устремляются к какой-то окончательной цели.

**ТИПОЛОГИЯ** – классификация какой-либо совокупности элементов по выделенным типам.

**ТРАНСГРЕССИЯ ИНТЕРЕСОВ** – эволюция определений разнообразных интересов, которая зависит от протекания радикального системного изменения. Термин ввел в обращение В. Весоловский (W. Wesolowski).

**ТРАНСМУТАЦИЯ ИНТЕРЕСА** – изменение способа реализации того или иного интереса, который сам по себе остается неизменным. Термин ввел в обращение В. Весоловский.

**ТРЕТИЙ СЕКТОР** – общая совокупность неправительственных общественных организаций.

**УНИВЕРСУМ** (*лат.*) – множество элементов {(в философии – мир как целое)}.

**УТИЛИТАРИЗМ** – доктрина, провозглашающая, что поступок является хорошим тогда и только тогда, когда он увеличивает всеобщее счастье, понимаемое как рост удовольствия в мире и снижение страданий.

**ФАТАЛИЗМ** (*лат. fatalis* – отмеченный судьбой) – вера в неизбежность предназначения.

**ФРУСТРАЦИЯ** – состояние сильного психического дискомфорта (неудовлетворенности, разочарования), вызванное блокированием возможностей по удовлетворению какого-либо влечения (первичная фрустрация) или же блокированием возможностей по достижению целей и удовлетворению потребностей (вторичная фрустрация). Разрядка этого состояния часто достигается с помощью направленной или слепой агрессии.

**ЦИРКУЛЯЦИЯ ЭЛИТ** – процесс постоянного обновления элит. Термин ввел в обращение В. Парето (V. Pareto).

**ШАРИАТ** (*араб.* Shari'at – правильная тропа) – совокупность принципов, установлений и правил, берущих начало из Корана и служащих для применения в повседневной жизни приверженцев ислама.

**ЭПИФЕНОМЕН** (*греч.*) – вторичное, побочное явление.

В Москве книги издательства «Мысль»

можно купить в магазине

**«Фаланстер»**

Пн-Вс 11<sup>00</sup>—20<sup>00</sup>

м. Тверская, Пушкинская, Чеховская

Малый Гнездиновский пер., 12/27

Вход в арке, над аркой вывеска "КНИГИ", 2-й этаж.

Тел.: (495) 749-57-21



Эдмунд ВНУК-ЛИПИНСКИЙ

## СОЦИОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

Подписано в печать 15.09.2012. Формат 60×90 1/16.

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Объем 33,5 печ. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 9745 .

Издательство «Мысль»

тел. (495) 956-17-40

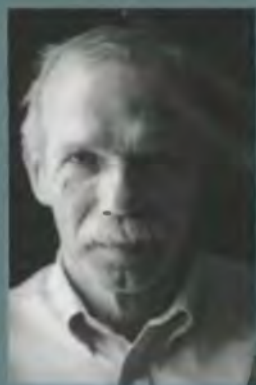


Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

www.oaompk.ru, www.olompk.pdf тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685





Эдмунд Внук-Липиньский (род. 1944 г.) — польский социолог, основатель Института политических исследований Польской Академии наук. Работал приглашенным исследователем в Institut für die Wissenschaften von Menschen в Вене, преподавал в Университете Нотр-Дам (г. Саут-Бенд, шт. Индиана, США) и в Wissenschaftskolleg (Берлин).

Учебник «Социология публичной жизни» представляет собой попытку очертить поле исследований для одноименного раздела социологии, а также упорядочить новейшие теоретические знания и эмпирические установления именно с этой точки зрения.

У социологии публичной жизни более широкая сфера, чем у социологии политики, потому что в поле интереса первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных микроструктур, с одной стороны, и уровнем национального государства — с другой. Публичную жизнь любого общества не удастся свести к политической сфере: существует огромная территория публичной жизни, которая носит аполитичный характер. Многие — а возможно, даже большинство — из институтов и проявлений активности гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно такой, сугубо аполитичный характер.

